

ГРАНИ

GRANY

34-35

1957

Postverlagsort: Frankfurt (Main), 1. 4. 1957

Г
Р
А
Н
И

34
—
35

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XII

№ 34 - 35

Апрель - Сентябрь 1957 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Стихи из России	3
НИНА ФЕДОРОВА — Дети, роман. (Окончание)	14
НИКОЛАЙ ОЦУП — Антихрист, стихотворение	135
СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ — Раздумья, цикл стихотворений	137
В. САМАРИН — Счастье, рассказ	142
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА — Стихи	146
Н. НАРОКОВ — Прошлогодный снег, рассказ	148
СЕРГЕЙ РАФАЛЬСКИЙ — Поэма о потустороннем мире	157
А. МАЗУРОВА — Восьмушка гороха, рассказ	161
Из современной венгерской поэзии. Переводы А. Неймирока	166
ЛАДА НИКОЛЕНКО — Королева Анна, очерк	168

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

(К восьмидесятилетию писателя)

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ — Со креста	176
Репуха	195
НИК. АНДРЕЕВ — А. М. Ремизов	202

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

ГЕОРГ ПАЛОЦИ-ХОРВАТ — Янош Кадар	215
----------------------------------	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

АНАТОЛИЙ ОРЛОВ — Дагестанское восстание 1934 - 35 гг.	226
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. ОЦУП — Гуманизм в СССР	252
Б. ФИЛИППОВ — Погорельщина	270
Б. ЛИТВИНОВ — Восстание совести	286

НАУКА И ТЕХНИКА

Н. ДЕШЕВОЙ — Атлантида и Америка по древним преданиям	292
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. МАРГОЛИН — О свободе	305
Р. РЕДЛИХ — Доктрина революции в холодной войне	336
Д. СТЕФКО — Реорганизация управления промышленностью	349

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ И ЖУРНАЛАХ

Николай Армазов. В ответ на книгу Краснова. — **Глеб Струве.** Об Адамовиче-критике. — **М. Шведова.** «Завтра будет». — **А. Неймирок.** Первая вежа. — **Александр Шик.** Комедия в советском театре. — **В. Гришин.** Гонители и гонимые. — **В. Самарин.** Люди с уцелевшей душой. — **А. Сольский.** Юбиляр — Московский университет. 361

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы за апрель — сентябрь 1957 г. 381

Обращение российского антикоммунистического изд-ва «Посев» к деятелям литературы, искусства и науки поработанной России 395

Стихи из России

Вместо вступления

Некоторые из печатаемых ниже стихотворений неизвестного автора были известны разным лицам, в том числе и мне. Но впервые они собраны вместе редакцией журнала «Грани», которая, посылая мне их, просила меня сопроводить их несколькими строчками не то, чтобы вступления (такие стихи в нем не нуждаются), но своего рода зха на них.

Эти стихи, переписываемые неизвестными читателями, передаются из рук в руки в Москве и других больших городах России.

Значительно, по-моему, не только мастерство автора, очевидное для всех, кто знает цену оригинальным и находчивым усилиям современной техники стиха, но, в особенности, обаяние образа-идеи этих стихотворений. То, что христианская лирика не могла иссякнуть в современной России, мы знали, не требуя доказательств: как религиозное чувство, так и песни, проникнутые этим чувством, могут быть лишь насильно и лишь на время подавлены, но не окончательно истреблены. И все же радостно видеть живое подтверждение этому нашему априорному знанию, да еще в форме небанальной и делающей честь уровню поэтического ремесла кое-кого из наших литературных коллег по ту сторону советской границы.

Николай Оцуп

НА СТРАСТНОЙ

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячеletье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной Субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у Царских Врат,
И черный плат и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Многоголосый разговор,
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

А март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек
И вынес, и открыл ковчег
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь, —
Смерть можно будет побороть
Усиьем Воскресенья.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена

Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепе цветной мишуры . . .
. . . Все злей и свирепей дул ветер из степи . . .
. . . Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожану.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листьями слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримиыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленьи дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей, рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостя, смотрела звезда Рождества.

ЧУДО

Он шел из Вифании в Иерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.

Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.

И так углубился Он в мысли свои,
 Что поле в унынье запахло полынью.
 Все стихло. Один Он стоял посредине,
 А местность лежала пластом в забытьи.
 Все перемешалось: теплынь и пустыня,
 И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась невдалеке,
 Совсем без плодов, только ветви да листья.
 И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?
 Какая Мне радость в твоём столбняке?»

Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,
 И встреча с тобой безотрадней гранита.
 О, как ты обидна и недаровита!
 Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла,
 Как молнии искра по громоотводу,
 Смоковницу испепелило до тла.

Найдись в это время минута свободы
 У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
 Успели вмешаться законы природы.
 Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
 Когда мы в смятенье, тогда средь разброда
 Оно настигает мгновенно врасплох.

ДУРНЫЕ ДНИ

Когда на последней неделе
 Входил Он в Иерусалим,
 Осанны навстречу гремели,
 Бежали с ветвями за Ним.

А дни все грозней и суровой,
 Любовью не тронуть сердец,
 Презрительно сдвинуты брови,
 И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею
 Легли на дворы небеса.
 Искали улик фарисеи,
 Юля перед Ним как лиса.

И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданье развязки,
Валандались взад и вперед.

И шопот уж полз по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались как сон.

Припомнился скат величавый
В пустыне и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол.
И море, которым в тумане
Он к лодке, как посуху, шел.

И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал.

МАГДАЛИНА

1.

Чуть ночь, мой демон тут как тут,
За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут
Воспоминания разврата,
Когда раба мужских причуд,
Была я душой бесноватой
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.

Но раньше чем они пройдут,
Я жизнь свою пройдя до края,
Как алебастровый сосуд,
Перед Тобою разбиваю.

О где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ногами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех,
И смерть, и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С Тобой, как с деревом побег,
Срослась в своей тоске безмерной.

Когда Твои стопы, Иисус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь
Креста четырехгранный брус
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,
Тебя готова к погребенью.

2.

У людей перед праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.

Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Иисус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.

Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы собьемся вместе в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятыя,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без сопротивления,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная тень теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их. «Вас Господь сподобил
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как пласт,
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи, и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек,
Но слышит: «Спор нельзя решать железом.
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
И волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».

ДЕТИ

Роман

(Окончание)

XX

Жизнь супругов Питчер, если смотреть на нее со стороны, была самая завидная. Прекрасный дом. Полная финансовая обеспеченность. Мистер Питчер застрахован в пятьдесят тысяч американских долларов; миссис Питчер — в двадцать пять. И дом застрахован и обстановка (от огня, бури, наводнения, землетрясения, краж). Жизнь их текла спокойно, ровно, без событий. Это была научно-гигиеническая жизнь. Не счастье, не погоня за ним, — комфорт был идеалом супругов Питчер.

Но нет ничего более обманчивого, чем чересчур спокойная жизнь, и более подозрительного, чем безусловно и всегда спокойные люди: супруги Питчер, в действительности, вели мучительное существование. Причина этому, не видимая для глаза, таилась глубоко внутри них самих. Она маскировалась обоими, как рана, и была не заметна не только для посторонних, но и для каждого из них. Оба страдали одиноко и тайно. Однако же, корень болезни обоих был тот же: природная скупость человеческих чувств, принявшая чудовищную форму. Они не истратили своего сердца, и этот тяжелый мертвый капитал только давил их, потому что они не прикасались к нему. Они развили в себе способность, а потом и привычку, не отзываться ни на что (вовне себя) теплым человеческим чувством. При случае они могли дать денег, послать формальное письмо или даже телеграмму, поздравляя или соболезнуя, но это не сопровождалось никаким искренним внутренним движением.

Конечно, у них не было детей. У них не было также родственников; по крайней мере, никто не видел их в доме Питчеров. Не было и особенно близких друзей. Они никогда не знакомились со своими соседями. С прислугой не разговаривали, ей приказывали. Взаимные отношения их были безусловно корректны. Единственным, что походило на какое-то выражение чувств, являлся ежегодный букет от мистера Питчера для миссис Питчер в день ее рождения. Она уже получила

двадцать таких букетов за годы своей супружеской жизни. Цветы эти заказывались по телефону. Букет всегда был очень дорогим, оранжевым, так как день рождения приходился на самый холодный сезон, когда ничего не цветет естественным образом в природе. Какие, собственно, цветы любила или предпочитала миссис Питчер, мистер Питчер не знал.

Цветы, цветы! Образ весны, символ любви! Разве не преступление, что за деньги их может купить всякий и потом подарить кому угодно! И равнодушные мужчины дарят их злым, безобразным женщинам, как корове дают сено. Их подносят на юбилеях со лживой речью, надоевшим актрисам — с фальшивым восторгом, назойливым родственникам — с досадой, начальникам служб — с лестью, их бросают под ноги на парадах ненавистным вождям. Цветы надо бы продавать только тем, кто влюблен, и дарить только тому, кого любят. И прежде чем отдать цветы, продавец должен бы спросить: «Вы влюблены? Как давно? Как глубоко?» Поэтам, художникам и музыкантам их надо бы посылать ежедневно и даром. Три четверти человечества может жить без цветов, не замечая совсем их отсутствия.

Итак, цветы миссис Питчер заказывались по телефону. Мистеру Питчеру и в голову не приходило пойти и самому их выбрать. Она же, со своей стороны, дарила ему неизменно или галстук или запонки. Им обоим казалось бы странным, если бы они страстно любили друг друга, совершенно неприличным, если бы выражали это. Страсти относились, по их мнению, исключительно к области литературы и театра. Миссис Питчер любила только камерную музыку. Она носила только белые перчатки. Она не любила духов. Никогда ничего не рассказывала, не любила и слушать рассказов.

Он был человеком с пониженной деятельностью сердца, физиологически унаследовав это свойство от целого ряда спокойных, сдержанных и рассудительных предков. Быть вполне человеком казалось ему ниже человеческого достоинства. Всякий сердечный порыв в его глазах являлся неприличием, всякое откровенное слово — от сердца — неуместным, всякая теплая привязанность к нему самому — посягательством на его личность, на его свободу. Жизнь испробовала на нем свои самые сильные средства: голод, труд, красоту, жалость, — но он остался невозмутим. Если бы его подвергнули даже искушениям Святого Антония — он, вероятно, и в этом случае, взирая на них ироническим оком, спокойно курил бы свою трубку.

За двадцать лет спокойной супружеской жизни и мистер и миссис Питчер остались далеки духовно, как незнакомцы, не открыв друг в друге ничего такого, что могло бы их сблизить. Наоборот, с годами они как будто все более отдалялись, делаясь все молчаливее и необщительней. Все, что еще оставалось у них общего, это — дом, обстановка и деньги.

Но внешне жизнь их протекала одинаково.

— Доброе утро! — произносил мистер Питчер в восемь часов утра, сядя за стол и развертывая газету.

— Чашечку чая? — спрашивала миссис Питчер через пять минут.

— Пожалуйста.

Так начинался день. Приблизительно такой же разговор велся ве-

чером за обедом. Завтракали они отдельно: она — дома, он — в ресторане клуба.

Мистер Питчер успешно закончил ликвидацию своего коммерческого дела незадолго до нашествия японцев на Маньчжурию. Он ничего не потерял на этом. Питчеры были богаты, не тратили даже всего ежегодного дохода. Собственно говоря, им незачем было жить в Маньчжурии. Весь земной шар, все континенты были открыты для них, были к их услугам. Но их привязанность к комфорту, к покою развила уже страшную, убийственную для души инерцию. Прежде, в более молодые годы, они иногда обсуждали возможности заселить пустыню, в которой жили. Рассматривались проекты завести собаку, кошку, попугая, золотых рыбок или даже взять хорошенького ребенка из приюта. Но тут же возникал вопрос о соединенных с этим трудностях и ответственности. Собака? Но она лает! У ней могут быть блохи. Она линяет, а в гостиной очень светлый ковер, да и софа покрыта серебристым атласом, возможны пятна. Атласа же такого больше нет в продаже. Если переменить обивку, то софа не будет одинакова с креслами. И еще — вы знаете? — собаки в Китае часто болеют. Им делают какие-то прививки. О нет, только не собаку! Кошка? Но вы подумали о котятках? Их надо будет топить. Да и кошка также может запачкать софу, она также линяет. Попугай или канарейка? Но разве вам нравится крик попугая? Вы не заметили, что у них обычно хриплый голос. Канарейки? Конечно, они довольно приятно чирикают по утрам, а иногда и поют. Но они такие маленькие. Не на что и посмотреть. Иногда болеют, нахохлятся — и тогда у них пренеприятный вид. А между тем везде будут рассыпаны зерна — они их разбрасывают как-то из клетки. Рыбки? Но где мы поставим аквариум? В гостиной? А вам не кажется, что аквариум придает комнате нежилкой вид? Эта зеленоватая вода... кажется, будто в комнате завелась сырость.

Аквариум все же купили. Одновременно купили и две книги с инструкциями об уходе за рыбками. Затосковали рыбки в гостиной Питчеров. Живя своею жизнью, связанной с их стихией, рыбки повиновались движениям моря, часам прилива и отлива: с приливом — там, в далеком море, — и в своем аквариуме, — они послушно подымались на поверхность; с отливом опускались на дно. Они тосковали, на них грустно было смотреть — и Питчеры на них не смотрели. Рыбки дошли одна за другою. Слуга вылавливал трупик и дарил соседней кошке. Когда слуга за утренним чаем тихо доложил Питчерам, что рыбок больше нет, они приказали выбросить стеклянный ящик из гостиной.

Заговорив как-то о ребенке из приюта, они пришли в ужас. Ведь мальчик или девочка из приюта могут иметь самые низкие, самые преступные качества и склонности. Их — увы! — невозможно установить в детстве, но когда они проснутся, тогда уже ничем не поможешь. Число возможных пороков в приемьше было так чудовищно, что одно их перечисление заняло целый вечер. Более того, ребенок вначале может быть совсем как ребенок, дитя, но потом вдруг разовьется в морона, монголоида, если не хуже — вероятно, есть еще что-нибудь и хуже этого! И этот монстр будет носить имя Питчеров! Он будет красть у них же, он подожжет дом, совершит какое-нибудь ужа-

сное преступление — и об этом будет сообщено в газетах. И их фотографии — фотографии Питчеров — появятся там же. Они, возможно, будут бегать по судам, как поручители. Полиция придет вот сюда, в этот дом — и полицию нельзя не впустить.

Разговор о ребенке был окончен. Перешли на неодушевленное: мистер Питчер стал читать детективные романы; миссис Питчер взялась за вязание.

Чтение детективных романов из средства сделалось целью. Он выписывал все детективные журналы, а его книжный агент добывал для него все то, что выходило отдельными книгами. Интерес перешел в одержимость. Мистер Питчер стал знатоком преступлений, специалистом по способам их совершения, авторитетом по их раскрытию. Это был тот мир, в котором мистер Питчер отныне жил духовно. Вся остальная деятельность человечества — не преступная — его не занимала. Он, между тем, становился все более безжизненным, почти перестал разговаривать, и так отвык от речи, что стал заикаться. Он устал, если произносил десяток слов.

Миссис Питчер вязала. Она могла позволить себе купить сколько угодно ниток и шерсти, и всяких спиц, крючков и иголок. Сначала она связала шторы для спальни — на два больших окна. Потом она связала два покрывала того же узора на две больших кровати. Затем она связала, опять тем же узором, салфетки на ночные столики. После этого она перешла на вязание шерстью. Она связала два пледа, два одеяла, себе четыре шарфа (мистер Питчер не носил шарфов ее работы), три юбки и шесть светров. Затем она опять перешла на вязание крючком, начав весь ассортимент для спальни, но уже другого узора. Вскоре все в доме, если не было связано на спицах, то было связано крючком. Самая маленькая салфеточка или носовой платочек уже имели хорошенькую кружевную каемочку. Это постоянное скручивание ниток, между тем, как будто скручивало что-то и в самой миссис Питчер, в ее физической природе и в ее душе.

Так Питчеры проводили последние годы — дни, вечера. Он — с детективами, она — с иглами и крючками. Он — наблюдая преступления, она — узор. Он — подкарауливал убийц за углом, исследуя полицейские снимки, вглядываясь в отпечатки пальцев душителей; она — считая петли, перекручивая их, собирая в одну, накидывая новые. Оба молчали. А великая мстительница — жизнь — тоже плела из них уже свои узоры.

За стенами их дома, под окнами, кипела человеческая жизнь — звенел смех, лились слезы; там проходили военные парады, похоронные процессии, крестные ходы; по ночам совершались преступления, чей-то голос взывал о помощи, летела «скорая помощь», пронзительно резал ночной воздух свисток полицейского, звучал набат, — Питчеров это не касалось. Они бы удивились даже, очень удивились, если бы им кто сказал, что на крик о помощи мистер Питчер мог бы выйти из дома с револьвером, а миссис Питчер с чем-либо для оказания первой помощи.

Если случалось, что бездомный китаец в лютую зиму замерзал на ступеньках крыльца Питчеров, то труп убирала рано утром полиция, задолго до того часа, когда Питчеры выходили из дома. Таким об-

разом они могли просто и не знать о замерзшем китайце. Он же, со своей стороны, замерзая на их ступенях, не мог все же быть таким наивным идеалистом, чтобы попробовать постучать, вообразив, что на стук ему откроют дверь этого богатого дома, приютят и обогреют. Он и не пробовал стучать.

Было и еще одно обстоятельство, отчасти оправдывающее мистера Питчера. Если бы замерзал не китайский нищий, а, предположим, какой-либо кузен мистера Питчера, как бы он поступил? Он распорядился бы, чтоб слуги внесли кузена в запасную комнату. Между тем миссис Питчер вызвала бы «скорую помощь», заказав комнату в лучшей больнице. Ни он, ни она не прикоснулись бы к кузену, предоставляя слугам все заботы. У них были свои причины для такого поведения.

У мистера Питчера с годами развилось физическое отвращение к людям вообще. Всякое прикосновение к человеку, будь то простое пожатие руки, было ему мучительно неприятно. Он мог еще переносить людей, так сказать, в абстракте. Но стоило ему представить себе, что его собеседник — конкретный человек, которому присущи все человеческие функции, как его охватывала непреодолимая брезгливость. Он слегка отодвигал свой стул, закуривал трубку, смотрел в сторону. Он не переносил человека вообще.

Миссис же Питчер сторонилась людей из страха перед заразными болезнями. Страх этот рос в ней и принимал угрожающие формы. При спокойной жизни, без отвлекающих внимание событий — будь то горе или радость — ее мысль все чаще притягивалась к тому единственному неизбежному событию, которым является смерть. О ней миссис Питчер думала, не переставая, и, не переставая, выискивала в себе болезни. Здоровая телом, она находила в себе симптомы всех болезней. Она выписывала множество медицинских журналов. Докторам она не верила и, благодаря этому, в одиночестве сражалась со своими страхами. Она избегала прикасаться к людям вообще. Она носила белые перчатки и, откуда бы ни пришла, сейчас же переодевалась и принимала ванну.

В десять часов Питчеры шли спать, оба совершенно разбитые усталостью от бесцельного, пустого, мучительного и мертвого дня.

В десять часов, лежа в постели, Питчеры не могут сразу заснуть. Они лежат спокойно, неподвижно, каждый в своей комфортабельной кровати, каждый под своим прекрасным одеялом. Градусник проверен; — в спальней именно та температура, которая должна дать наиболее здоровый спокойный сон. Но оба они полны тем смутным, горьким беспокойством, какое охватывает человека перед неминуемым несчастьем, за которым следует смерть. Это — самые грустные минуты их дня. Каждый из них спешит укрыться в привычной атмосфере своих обычных дум. Мистер Питчер мысленно отправляется преследовать преступников и, в конце концов, засыпает где-нибудь на улице за углом, в темную, ненастную ночь. Засыпает он тяжелым, даже мучительным сном. Он спит среди опасностей, трупов и детективов.

Миссис Питчер страдает и больше и глубже. Лишь только она оказывается в постели — начинаются боли. Это, собственно, и не боли даже, а страх, что у нее что-то может заболеть. Увы! она изучила симп-

томы всех страшных болезней. Она лежит в большом нервном напряжении, прислушиваясь. Да, что-то как будто заболело в боку. Боже, что это! Желудок? Печень? Почки? О, это печень, печень! Камни? Вдруг это камни! Что делать? Где телефон? Надо звать доктора и сказать, чтоб захватил сильнейшие наркотики. Она не может терпеть, она не может переносить никаких болей. Доктор должен это понять. Но болит, кажется, желудок, не печень. Миссис Питчер вся в поту от страха: что она ела за ужином? Сардинки! Но короока могла быть зажатвенной! Где эта короока? Ее, вероятно, придется послать на исследование, узнать, что за яд. И как это она могла не пойти на кухню и не проверить, какая была короока! Яд! Рыба и металл! Что может быть хуже, чем такой яд! Боли сильнее. Прошло четыре часа с момента еды — процесс отравления уже начался. Она хватается рукою то за электрическую лампочку, то за телефон. Зажигать? Звонить? Здравый рассудок подымает голос: мистер Питчер тоже ел сардинки, однако, он не оолен. Подождать! А не будет ли поздно? Что-то беспомощно детское встает в ее душе, и она, обливаясь тихими слезами, внутренне взывает: «Господи! Пожалей меня!» Она старается вспомнить, как кричали Христу слепые, калеки, бесноватые, — и внутренне кричит Ему, как они: «Иисусе! Сын Божий, помилуй меня!» Она повторяет и повторяет про себя этот вопль и, изнеможенная напряжением, вдруг чувствует, что болей нет. Она успокаивается и засыпает, летит в сон, как бы катясь, переворачиваясь всем телом, с высокого и мягкого холма. Последняя ее мысль: надо исключить сардинки из меню навсегда. Потом мыслей уже нет больше, они исчезают. Она видит последний узор своего вязания: петли, петли. Две направо, три налево, две вместе, две налево, три направо. . . Она спит.

Питчеры заснули. Им снятся сны. Он — в подвалах, он в химической лаборатории исследует пятна крови на чьей-то одежде. В лупу рассматривает фальшивую подпись на чеке. Она слегка стонет по временам от болезней, которые видит во сне. Она страдает. Ее болезни мучительней физических, потому что от первых ей помог бы доктор, но эти — воображаемые страдания — она носит в себе, лелеет их — и никто не может ей помочь, кроме нее самой. Иногда и она видит сон, это — опасная испорченная пища или нечто об эпидемиях и смерти. Иногда она видит и более спокойные сны — вязанье — узоры, узоры, узоры.

Утром они просыпаются. Мистер Питчер подымается сразу и идет принимать душ. Ей же надо много усилий, моральной решимости, чтоб начать еще один новый день. Она каждое утро, лежа с закрытыми глазами, старается уговорить себя встать — и жить. Она старается найти что-нибудь милое, привлекательное в грядущем дне, чтоб зацепиться мыслью — и жить для этого момента, она ищет — и не находит. Боже мой! Что мы сделали с жизнью! — внутренне восклицает она. Но утром как-то не верится в Бога. Светло. Странно, если б Он существовал. Она чувствует Его только в гибели, в темноте, в страхе. Он кроется в неизвестном, в незримом. Но в этом реальном видимом мире Его нет и не может быть. По утрам ее тошнит. Возможно, это происходит от одной только мысли о том, как она встанет, начнет оде-

ваться, пить кофе, говорить, приказывать прислуге. Все же собирается с силами — и встает.

В восемь часов она в столовой. Это — холодная спокойная женщина, неторопливая в манерах и словах. Она застыла, заморозила себя в дневную форму.

— Чашечку чая? — спрашивает она мистера Питчера.

— Пожалуйста, — отвечает он.

XXI

Мистер Райнд не ожидал, что в Харбине, перенаселенном и грязном, может быть такое прелестное театральное здание. И публика в театре тоже немало удивила его. Без сомнения, это было хорошее общество. Привыкнув встречать русских только в самой бедной обстановке, он с удивлением наблюдал хорошо одетых дам и господ, их прекрасные манеры и оживленные лица.

В зале царило оживление, какое наблюдается только у горячих поклонников театра перед началом оперы, когда оркестр уже настраивает инструменты, и вот-вот начнется увертюра. Довольно равнодушный к опере вообще, здесь мистер Райнд поддался всеобщему настроению и тоже начал слегка волноваться, как будто бы и его ожидала какая-то радость. Он видел, как вошла госпожа Мануйлова, а за нею Лида, которая, казалось, не прошла, а протанцевала из коридора в зал, так она была полна веселым нетерпением. Затем все головы повернулись в одну сторону: «появилась» Первая Красавица города, воспользовавшись для этого не главным входом, а боковой узкой дверью, в рамке которой, на фоне темно-красного бархата занавеси, она остановилась на несколько мгновений, глядя как бы бесцельно куда-то в пространство своими сказочными серыми глазами, которыми восхищался весь город. Дав заметить себя и полюбоваться собою (ей было всего восемнадцать лет), она медленно, ни на кого не глядя, прошла к своему месту. Деликатной красотой, хрупкостью, нежностью, каким-то налетом светлой, прозрачной грусти она напоминала Психею. В ней для зрителя соединялась и радость в том, что красота существует, и печаль о том, что она — мимолетна и, как все в мире, бесследно уходит. Внутренне эта Психея была не тем, чем казалась снаружи. Она была полна не поэзии, а самых определенных, обычных земных желаний: ей хотелось поскорее влюбиться в подходящего, богатого молодого человека и выйти за него замуж. Ей хотелось хорошо есть — увы! она была бедна и недоедала, — наряжаться, непременно хорошо наряжаться, веселиться, танцевать, путешествовать. Ей хотелось иметь поклонников — и чем больше, тем лучше, — пусть бы они страдали, и пусть бы все вокруг видели, как они страдают. Одним словом, земной аппетит был главной чертой Психеи. Но она обладала одним талантом, редким к тому же: она умела создавать иллюзии. Она умела создавать для себя образ и заставлять всех видеть ее такою, какою она хотела, чтоб ее видели.

Это платье, казавшееся на ней каким-то чудом искусства, она сшила сама, а материал для него она вымолила в долг, в рассрочку у китайца, разносчика мануфактуры. Не могло быть сомнений, что ее

единственные шелковые чулки, правда, скрытые от взоров под пышным и длинным платьем, были повсюду заштопаны, а цветы. . . цветы ей подарил безнадежно влюбленный в нее служащий оранжереи, взявший их в счет жалования — и отдавший их ей за одну улыбку, мимолетную, ничего не обещавшую, за рассеянный взгляд и за тихо, как бы для себя одной, произнесенные слова: «Боже, как я хотела бы иметь все эти розы!» Это были маленькие розы, почти бутоны. Из них она сделала муфту — и вот «появилась», держа руки в этой маленькой благоухающей муфте. Все знали о ее бедности, но при виде ее забывали, что она бедна. Да и важно ли, из чего создана красота, если она действительно так прекрасна. Вот она шла — одна, светлая, легкая, слегка грустная, с головкой, чуть склоненной набок — и, казалось, у ней нет, не может быть никакой связи с буднями жизни, как, например, долг за платье. Психея, Беатриче, Лаура, Джульета, Наташа, — кто хотите, только не провинциальная глупая девочка с большой жадностью к материальным благам жизни. На расстоянии — как она им приказала — шли за нею, и, будто бы, не за нею — трое мужчин: мистер Капелла, служащий оранжереи и мистер Рэн.

Увидя последнего, послушно следующим за Первой Красавицей города, Глафира Платова, сидевшая на галерке, сделала жест рукою, как бы желая остановить свое забившееся сердце, и на мгновение закрыла глаза.

Профессор Кременец, в починенном и полглаженном костюме, стоял у барьера ложи и раскланивался со знакомыми.

— Посмотрите на эту публику, — говорил он мистеру Райнду. — Говорят, что после Мировой войны финансовое положение Европы сильно пошатнулось, но здесь, в Харбине, оно совершенно фантастическое. А попробуйте обыскать всю эту публику, не найдете и ста китайских долларов наличными. Только очень незначительная часть русского населения этого города живет на постоянные жалованья. Остальные кормятся при них: они шьют для них, пекут хлеб, учат в школах, заводят молочное хозяйство, поют в церкви, издают газеты — все это в русском духе. Замечательная система всеобщей взаимной заложности развилась в этом городе. Все русские должны друг другу, и еще — всем китайцам: купцам, домовладельцам, прислуге, сапожникам. Все, во что одета эта публика, взято в кредит, как и то, чем они будут ужинать после театра. И вот такой город имеет оперу, драму, симфонические концерты, церкви, школы, университет. Если у кого-либо иссякнет мужество жить, в газете мы читаем о самоубийстве. И это совершается в особом, уже установившемся «хорошем тоне». Жертва, обрекая себя на исчезновение, незаметно готовится, посещая знакомых, сходя еще раз в театр, в церковь, и оставляет после себя письмо, дабы не упало на кого подозрение. В письме обычно посылаются всем привет и наилучшие пожелания. Я собрал уже порядочную коллекцию таких писем — очень интересно для чтения.

Мистер Райнд ничего не возразил на это. Питчеры, сидевшие в ложе, хранили молчание. Они как-то неприязненно наблюдали царившее вокруг оживление. Чему радуются эти люди? Опера! Какая малость! Они, Питчеры, сидели здесь не ради удовольствия, не ища и не ожидая его. Они три раза в сезон выезжали в театр. Это бы-

ло их общественной повинностью, как и то, что раз в месяц они давали обед и иногда отправлялись в гости.

Сегодня в этом посещении оперы было еще меньше комфорта, чем обычно, особенно для миссис Питчер. Собственно только тело ее, одетое соответственно хорошему тону, находилось в ложе, душа ее блуждала где-то в потемках, далеко-далеко.

В последние дни ей становилось все хуже. Она не могла даже встать. В ней будто шевелилось что-то тяжелое, мучительное. Она с трудом поддерживала свой обычный внешний вид и достоинство. Временами ей вдруг ужасно хотелось начать кричать. Кричать, кричать, не останавливаясь.

И вот вчера...

Она сидела спокойно в обычный час, на обычном месте, когда в комнату вошел мистер Питчер. Он что-то искал на столе и вдруг спросил:

— Какое число сегодня? Тринадцатое? Четырнадцатое?

Тот факт, что он зачем-то заговорил, что он спросил, что он сказал больше, чем просто «пожалуйста», — вдруг бросил ее в ярость. Этого с ней прежде никогда не бывало. Она затряслась от внезапного гнева:

— Какое число? — закричала она. — Почему это я должна знать, какое сегодня число? Разве для меня есть разница в днях и числах? Что у меня сегодня? Праздник? Работа? Бал? Свидание с любовником? Что такое дни для меня, что числа?!

Она уже не помнила, не понимала сама, что кричала ему дальше. Схватившись за голову и все еще продолжая кричать, она убежала в спальню, захлопнула дверь и бросилась на кровать. Ее сотрясал слепой безумный гнев. Она готова была разрушить, разбить, раскрошить в пыль мистера Питчера, себя, весь окружающий ее мир.

Позднее она пришла в себя.

— Боже мой! Что я наделала! Почему я кричала?

Жгучий стыд, как если бы она голой пробежала по людной улице, залил ее горячей волною. — Боже, зачем Ты допускаешь меня до этого?!

Она лежала, обессиленная, в полном упадке духа. Она лежала неподвижно. И хотя глаза ее были открыты, она видела не свою комнату, а страшную бездонную пропасть, куда ей суждено было свалиться.

К обеду она встала, оделась и вышла уже обычной миссис Питчер. Она проговорила, обращаясь к мистеру Питчеру, обычным сдержанным бесцветным тоном:

— Извините меня. Я думаю, что я больна. На днях я пойду к доктору.

— О, пожалуйста. Не беспокойтесь. Я думаю, что вы должны, не откладывая, повидать доктора.

О невозможный, ужасный вчерашний день, день необычных событий и разговоров! Они оба содрогались при воспоминании о неуместности, некорректности всего происшедшего. Конечно, прислуга слышала...

— Боже, зачем Ты допускаешь меня до этого?!

И вот она сидела в ложе. Кругом были чему-то радующиеся лю-

ди. Они смеются. Что научило их жить? Почему я не научилась? — И опять вспомнилась вчерашняя сцена.

— Почему я тогда сказала «свидание с любовником»? Разве я думала когда-нибудь о любовнике? Я никогда в жизни не думала об этом! Я более всего в жизни избегала именно любви, именно привязанностей, чувств, всего такого. . .

Ей вспомнилась молодость, потом замужество. Совсем одна, она стояла перед революцией и ее ужасами. Уже все, кроме молодости и жизни, было у нее отнято. В лучшем случае ее ожидала голодная смерть. Умереть с голода? Но в молодости это самая ужасная смерть. Организм здоров, он хочет жить, он восстает, он борется каждой своей клеточкой, потому что каждая клеточка молода, здорова и, созданная для жизни, хочет жить. Ей тогда казалось, что легка смерть от болезни, от старости, когда усталое тело согласно умереть, и вянет, блекнет. . . Но в молодости — о, отчаяние!

Тут она встретила мистера Питчера, Боже, как она тогда заволновалась! Спасение! Укрыться за мистера Питчера! Укрыться от всех ужасов жизни! Но голодных девушек было много, мистер Питчер — один. Он занимал административную должность, он был ненадолго, только проездом, в столице. Как она молилась тогда, падала на колени: «Господи! Выдай меня за мистера Питчера! Спаси меня! Ты увидишь, какую я буду женою».

Мистер Питчер очевидно предчувствовал, что она будет ему самой подходящей женою. Он женился на ней и вывез ее из России. До вчерашнего дня внешне все шло благополучно.

Она сидела в ложе театра и смотрела перед собою. Но видела она не этот белый зал с колоннами — она видела широкую реку без берегов. Вода в ней была тяжелая, серая, мутная. Она струилась, уходила куда-то с тихим плеском. Струилась, струилась. . .

Миссис Питчер вздрогнула: ей показалось, что она вяжет — и выронила спицы.

Она посмотрела на свои руки в белых перчатках, мертво лежащие перед нею, и подумала горько: — укрылась за мистера Питчера! От всего ушла, от всего укрылась. . .

И опять она увидела реку и воду: — Туда, уплыть с водою, уплыть. . . — Она вздрогнула, пришла в себя, постаралась взять себя в руки. — Надо успокоиться, надо не думать, не то — опять закричу.

Она посмотрела на мистера Питчера. Со вчерашнего дня она не могла смотреть на него так, как смотрела прежде: ее охватывало чувство стыда за себя и, вместе с тем, чувство гнева против него.

— О чем думает этот человек? — спросила она себя.

Он сидел тоже в глубокой задумчивости, не видя зала, не слыша ни голосов, ни звуков настраиваемых инструментов. Он когда-то читал, а сейчас никак не мог вспомнить, о чем была эта «Пиковая Дама». Есть убийство, кажется, и игорный дом — но кто убивает, кого и по каким мотивам — он не мог вспомнить. В общем, стоит посмотреть. Конечно, лучше, если б без музыки. . .

Миссис Питчер не заметила даже, как началась опера. Только дуэт — «Уж вечер. Облаков померкнули края» пробудил ее к настоящему. «Последний луч зари». . . и вдруг она вспомнила, что в молодости

у нее был голос. Она пела этот самый дуэт на выпускном вечере в гимназии. Но почему потом она перестала петь? Ах, да, она вышла замуж за мистера Питчера. — Укрылась, укрылась! — думала она, а в ушах звучало: «угасает»... «догорает»...

Когда же начался третий акт, и у погасшего камина сидела старуха в чепце, отбрасывая страшную тень на стены, миссис Питчер показалось, что это она сидит, это ее показывают миру. Так будет через несколько лет. Но нет, и эта старуха была счастливее: у ней было прошлое... она могла вспоминать. А миссис Питчер?

... Mon coeur, qui bat, qui bat, qui bat,
Je ne sais pourquoi...

Стул был отодвинут без шума. Миссис Питчер встала:

— Я плохо себя чувствую, извините, — едва слышно произнесла она. — Я еду домой.

— О, пожалуйста, — и мистер Питчер встал и последовал за нею. А опера разливалась в звуках над трепещущим от волнения залом.

«Откуда эти слезы? Зачем они?..»

Как много женских сердец задрожало при этих звуках!

Лицо Лиды, одновременно полное счастья и печали, засверкало слезой: три недели нет писем!

Вся семья Платовых (они истратили американский доллар «марина» на билеты), сидевшая на самых дешевых местах, испытывала неземное блаженство. Все, кроме Глафиры.

«Ночью и днем только о нем
Думой себя истерзала я...»

Да, да, да! — думала Лида, но, стараясь себя поддержать, добавляла в утешение: — Я так могу петь! Когда-нибудь и я буду петь это же, в этой же опере!

Профессор Кременец более всего отозвался сердцем на арию Германа:

«Что наша жизнь? Игра!
Добро и зло — одни слова».

Мистер Райнд был очарован, хотя понимал далеко не все слова арий; чувства действующих лиц ему казались преувеличенными, музыка — слишком эмоциональной. Он был одним из тех, кто в искусстве ищет реализма: в литературе ему важен сюжет, в живописи — точность рисунка, в музыке он любил отчетливость темпа и всему предпочитал хороший военный марш. Кое-что из этих своих взглядов он и высказал после оперы профессору, добавив, что его девиз и в жизни и в искусстве — «ничего слишком».

Профессор Кременец был совершенно с ним не согласен. Он находил, что удовольствие и заключается в том, чтоб «перешагнуть обычную меру».

— Да, человеческие страсти... — сказал он, — в сущности, они, единственно, и украшают жизнь. Я имею право говорить так: вот уже двадцать лет, как я все приношу в жертву моей страсти и ничуть не раскаиваюсь.

— К науке? — спросил мистер Райнд.

— Нет, к карточной игре. Я — игрок. Я — пламенный, я — страстный игрок. Эта страсть — одна из самых всепоглощающих челове-

ка. Вы не найдете таких пламенных любовников, как пламенные игроки.

Тема эта была неприятна мистеру Райнду, воспитанному в убеждении, что о таких вещах вообще не говорят в обществе, тем более, мало знакомые между собою люди. Он попытался переменить тему. Но профессор Кременец посмотрел на него — прямо в глаза — испытующим взором и сказал:

— И вы т а к ж е — игрок, мистер Райнд. Не уверяйте меня в противном. Вы — человек приглашенных, скрытых страстей. Вы играете тайно. Я же — явный игрок: карты мои на столе.

— Во что же я играю? — осторожно спросил мистер Райнд.

— О, это какого-то рода карьера, «бизнес», — небрежно ответил его собеседник. — Вы сами лучше знаете об этом.

Мистер Райнд больше не задавал вопросов.

XXII

— Мистер Райнд, — сказала Лида, — угадайте, кого я встретила сегодня.

Лида виделась с мистером Райндом почти ежедневно в те часы, когда навещала госпожу Мануйлову в отеле. Обычно они сидели в гостиной у окна.

— Как я могу угадать? — ответил он. — У нас нет общих знакомых.

— Я встретила ту бедную армянскую вдову, которая — вы помните? — отдала всех своих девочек в католический монастырь, и у ней еще осталось три мальчика. Вы помните, мы ехали вместе?

— Прекрасно. Как она поживает?

— Она волнуется. Она не знает, что делать с тремя мальчиками. У нее нет ни образования, ни профессии. Она всегда была домашней хозяйкой. И мальчики тоже не могут зарабатывать. Вы их видели: они еще маленькие.

— И что же она решила?

— Она думает... она раздумывает, — Лида оглянулась вокруг, затем нагнулась к уху мистера Райнда и прошептала: — Она раздумывает над тем, не отдать ли двух старших мальчиков большевикам.

— Что?

— Отдать большевикам, пусть они сами их воспитывают. Они тогда уедут в Россию, на Кавказ, их там будут кормить и учить работе.

— Хм...

— Не говорите «хм», мистер Райнд. пожалуйста, не говорите. Уже довольно люди упрекали ее и укоряли. Вы подумайте одно: никто, никто никак и ничем ей не помог. А дети голодные.

— Но у человека должны быть принципы. В этом человеческое достоинство.

— Ах, мистер Райнд! Если маленький голодный мальчик хочет есть... Он хочет и просит у матери, и плачет. А вы ей «принципы» и «человеческое достоинство». Принципы — для богатых. А у бедных — какое там человеческое достоинство! Вот здесь сейчас японцы могут подойти и ни за что ударить кого угодно — если он бедный — тут же,

на улице. И он смолчит, вот и все его достоинство. А богатого, как вы, он не ударит — вот вам кажется, что это легко — сохранять человеческое достоинство. Вы — хороший человек, мистер Райнд, но в жизни вы какой-то неопытный. Вы мало знаете жизнь.

— Чего же я не знаю, что знаете, например, вы, Лида?

— Голода не знаете, вечной нужды не знаете, не знаете, как все боятся, что убьют, и молчат об этом, чтоб не пугать семьи; без паспорта как жить не знаете, беззащитности не знаете. Я понимаю, что нужно иметь принципы, но я еще лучше понимаю, вернее, я очень чувствую, что не надо осуждать и презирать очень несчастных людей. И знаете, что? Пойдемте к ней, ко вдове, в гости вместе со мною. Она пригласила меня на их армянское Рождество.

— Когда же это?

— Она еще и сама не знает точно.

— Пожилая женщина и не знает. . .

— Ах, — перебила Лида, горячо защищая вдову, — вот вы опять говорите о ней таким тоном. Вы послушайте, я вам объясню. Много столетий армяно-григорианская церковь праздновала Рождество шестого января, то есть когда у русских Крещение, по новому стилю это — девятнадцатого января. Хорошо. Глава их церкви — Католикос живет в Эчмиадзине, на Кавказе. Теперь слушайте: если Католикос объявит что-либо относительно церкви — это для всех обязательно, потому что это — истина. И, самое главное, ни одно постановление Католикоса о церкви уже не может быть отменено. Но вот, после революции в России, армяне — некоторые из них — стали прямо-таки осаждают Католикоса: «Давайте праздновать Рождество вместе с русскими». Это значило — перенести его с шестого января по старому стилю на двадцать пятое декабря по новому стилю. Вы понимаете? Вы слушаете, мистер Райнд? Католикос был старый, он очень устал, потому что революция была и в Армении. Он согласился и сказал: «Да будет так». И вы знаете, что потом случилось? — глаза Лиды сделались круглыми от изумления перед тем, что случилось. У мистера же Райнда от всех этих стилей — новых и старых — начала кружиться голова.

— Знаете, что случилось? — еще раз воскликнула Лида. — Он согласился, а русские в это время стали просить своего Патриарха праздновать Рождество как во всем мире, со всеми вместе, то есть на тринадцать дней вперед. И пока все это решалось, и все убеждали друг друга, советское правительство отменило Рождество совсем. И все эти дни и числа стали буднями. И затем они ввели в России новый стиль. И знаете, что получилось? Новый Год пришелся на старый рождественский пост, и те, кто еще верует и постничает, не могут праздновать и . . .

— Лида! — взмолился мистер Райнд, — Вы хотели рассказать об армянской вдове. Перейдите к ней!

— Да, но без этих объяснений вам будет непонятно, почему она так страдает. Она верующая и всю жизнь строго соблюдает посты. И вот: Католикос не мог снова изменить день Рождества. Армяне в этом городе распались на две группы: одни хотят праздновать по-новому, другие по-старому. Они ссорятся из-за этого между собою.

Священник уже давно послал запрос в Эчмиадзин, но почта через Россию идет очень медленно, часто совсем не приходит.

— Но вдова? Вдова?

— Она постничает. О, мистер Райнд, — воскликнула Лида, — я совсем не знала, какой ужасно трудный армянский пост! Наша покойная бабушка строго соблюдала посты, но наш пост куда легче!

— Но вдова?

— Она постничает. Им нельзя есть — уж конечно — мяса, молока, масла, яиц. Да это ничего. У нее все равно их нет. Но, мистер Райнд, за п р е щ а е т с я не только рыба, за п р е щ а е т с я вообще всякая вареная пища. Р а з р е ш а е т с я хлеб, вода и сырые овощи. В Харбине зимой какие же сырые овощи? Картофель? Но его невозможно есть сырым. Она купила фунт сухого гороху и грызет в день по несколько горошин. Мистер Райнд, она ужасно голодает. Она начала постничать заранее, на случай, если Рождество ей объявят по самому скорому, по новому стилю, чтобы быть готовой, отпостничав все положенные для поста недели. Но время идет, новый стиль прошел, русское Рождество прошло, а священник все не объявляет. Она перепостничает, значит, лишних три недели! Она стала такая худая, маленькая и черная-черная! Теперь уж остался только старый стиль, хоть это одно — несомненно. Но, мистер Райнд, а вдруг она не доживет? Умрет от истощения?

— Пусть бросит пост. .

— Бросить пост?! Никогда, никогда! Это делают те, у кого есть что-то другое в жизни! У ней же нет никого и ничего. Вы видели, как все ее оттолкнули! Она скорее умрет, но не бросит. Она так ожидает Рождества! Как будто, правда, Христос так и родится у нее на глазах, в ее доме.

Мистер Райнд молчал. Лида передохнула и продолжала.

— На это так тяжело смотреть! Ах, как тяжело на это смотреть!

— Ну, хорошо, — сдался мистер Райнд. — Скажите, что вы хотите, чтоб я сделал?

— Пойдемте к ней вместе на Рождество и сердечно ее поздравим. Вы пойдете со мною? Да?

— Хорошо, — сказал мистер Райнд. — И мы понесем ей и ее детям в подарок много хорошей еды.

Лида глубоко-глубоко вздохнула: это последнее и было ее целью, к этому она и клонила весь разговор.

Прошло несколько дней. Лида пришла со словами:

— Сегодня вечером мы идем к армянской вдове. Наступает ее Рождество.

— Когда мы пойдем?

— Вечером, часов в десять.

— Почему так поздно?

— Армянское Рождество начинается ночью.

В десять часов вечера они пошли к Хайкануш, так звали вдову. Лида не шла, а птицей летела с большой корзиною продуктов. Мистер Райнд нес два пакета. Вдова жила на окраине города, снимая одну комнату. Эта комната была завалена старыми вещами, обломками какой-то мебели, ручками от кастрюль, от дверей, надбитой по краям посуды, переплетами без книг и книгами без переплетов. Казалось, более

счастливые и богатые люди сбрасывали сюда мусор, чтоб не заводить сорного ящика в своем доме. И все же, в комнате было чисто, и в ней царил какой-то своеобразный порядок.

У Хайкануш, как видно, не было праздничной одежды. На ней было то же черное платье и тот же черный платок, скрывавший и лоб и нижнюю часть лица. Видны были лишь нос и глаза. Один взгляд этих глаз рассказывал всю сорокалетнюю жизнь Хайкануш. Но глаза ее повествовали не только о личных страданиях, из них глядела печаль всего народа, столетиями склонявшегося под чужеземным ярмом. Глаза ее рассказывали о твердости тех, кто боролся за свободу и веру против более сильного врага, без надежды увидеть победу, о тех, кто умирал, не отступив; и о печали тех, кто отступил — не вынес. В них также таилась непоколебимая вера в высший смысл бытия и покорность ведущей, хотя и неведомой воле. Наконец, в них была та удивительная стойкость духа, которую знают только невинно страдающие люди. Сегодня Хайкануш была готова встретить рождающегося Христа, — глаза ее сияли неземным счастьем. И это выражение пламенной радости на таком темном лице, в таких скорбных глазах было столь разительно, неожиданно, необыкновенно, что мистер Райнд, взглянув, даже вздрогнул, как маловерный при виде чуда.

Три мальчика молча сидели по углам. Посреди комнаты стоял стол, покрытый заштопанной, но белоснежной скатертью. Вдова низко поклонилась гостю, представила сыновей: Геворк, Сурен и маленький Сашик. Мальчики вставали по очереди, мрачно кланялись и садились опять. Она пригласила гостей к столу, села сама и погасила лампу. Они остались в полной темноте.

— Это старинный обычай, — шопотом объяснила Лида мистеру Райнду. — Они столетиями жили под игом мусульман; их преследовали и убивали за веру во Христа. Потому вошло в обычай праздновать Рождество тайно, ночью, в темноте, говорить шопотом, чтобы ничем не выдать, что делается в доме.

Лида замолкла. Они все сидели неподвижно, в полном молчании и темноте. Странное чувство охватывало постепенно их гостя. Он стал думать о том, что и его предки когда-то боролись за веру, скрывались, страдали, покинули Старый Свет и нашли новую землю. Ему стало жаль, что никаких следов этого не сохранилось в настоящей жизни. Поддаваясь настроению темноты, тишины и ожидания, он сам стал ожидать чего-то. И ему стало казаться, будто нечто необыкновенное, нездешнее, небесное уже готовится, идет, приближается и... вот вот озарит жизнь, наполнит ее светом и счастьем. Его сердце стало биться чаще. В этой темноте ему по-детски вновь поверилось, что существуют небесные тайны, и на земле совершаются чудеса.

Вдруг тихий осторожный стук раздался у двери. Хайкануш встала и, тихо подойдя к двери, отворила ее. Несколько темных фигур скользнули в комнату, и дверь так же бесшумно закрылась. Никто не произнес ни слова. Чиркнула спичка и осветила лицо высокого человека необыкновенной и странной красоты: лицо аскета с горящими счастьем глазами. Это был священник. Он молча дал каждому по восковой церковной свече. Все поочередно зажигали ее друг у друга, став тесным кругом, прикрывая свечу ладонями, заслоняя телом своим мерцающий

свет, чтоб из щелей окон случайно его не увидали снаружи. На малом пространстве уютился этот светлый круг, отгороженный телами людей от внешнего неверующего мира. Все молчали. Но вот священник воскликнул что-то, и все вздрогнули. Хайкануш зарыдала от счастья: родился Христос!

Он родился для них именно здесь, именно сейчас, в этот момент, в этой тайне, в этом кругу света, в доме вдовы Хайкануш, которая задолго до того приготовилась встретить Его, очистив тело постом, молитвою — душу.

Все радостно запели древнюю молитву. Затем, поздравив находящихся в доме, священник и певчие ушли совершать то же чудо в других домах.

Когда на столе вспыхнула лампа, она осветила уже другую комнату, других людей, иное настроение: все были шумно радостны.

Лида развешивала принесенные пакеты. Хайкануш расставляла посуду. Мистер Райнд старался завести с мальчиками более близкое знакомство.

Это был незабываемый ужин.

После изнурительного поста Хайкануш ела очень мало и осторожно, но с каким благолепием, с какой благодарностью за то, что еще раз дожидка до великого праздника.

Когда Лида и мистер Райнд собрались уходить, вдова сказала Лиде:

— Переведи господину, что я тебе сейчас скажу.

Сначала она поблагодарила его за посещение, за внимание и подарки, потом прибавила:

— Господин! Вы знаете о моей скорби о детях. Не осуждайте меня вместе со всеми. Мое сердце разрывалось от боли, когда я решала их судьбу. Детям нужна сильная рука и строгое сердце отца. Я — бедная, покинутая всеми неграмотная женщина. Я люблю моих детей, но одной любви недостаточно. Сама ничего не знаю — чему я могу их научить? Как зарабатывать хлеб? Голод — губитель молодых душ. Я рисковала пустить в мир восемь уличных девушек и трех разбойников. Я решила отдать моих детей тем, кто захочет взять их, чтобы научить их работать и жить. Таких мест, где детей берут, мало. Я просила, я ждала — никто не пришел за ними. И вот я их отдаю туда, где учат работать, а остальное — на то Божья воля!

XXIII

Накануне Крещения Глафира и Лида решили погадать. Галя отказалась, она, как будто бы, не интересовалась своею судьбой или уже знала о ней самое главное. Мушка была еще мала.

В сумерки обе вышли из дому и направились в разные стороны — спросить у прохожих имя суженого.

Увидев русского пешехода, Лида нерешительно двинулась ему навстречу и, поравнявшись, застенчиво спросила:

— Простите, что беспокою вас: как имя моего жениха?

Прохожий засмеялся.

— Затвердила баба про Якова! Третий раз сегодня меня спрашивают. Ну, пусть жених твой будет Яковом, лисичка!

Лида охнула, крикнула спасибо и побежала. Сердце ее сильно стучало. Яков — по-английски — Джим. Это и было то единственное имя, которое она желала услышать. Сияя счастьем, прибежала она домой. Глафира же вернулась задумчивой, вошла медленным шагом и ни с кем не поделилась тем, что узнала.

— Похоже? Похоже? — добивалась Лида.

— Похоже, но невероятно.

Это был тот самый вечер, в который Лида с мистером Райндом встречали армянское Рождество у Хайкануш. Она вернулась в полночь, Глафира ожидала ее. На столе лежала лепешка.

Госпожа Платова делала все возможное, чтоб разнообразить жизнь детей, придать ей больше интереса. Сегодня она испекла на ужин соленые лепешки, чтобы ночью, ощутив жажду, дети увидели, как полагается в Крещенскую ночь, пророческие сны. Лида съела свою лепешку.

Эта ночь в доме Платовых была наполнена вздохами и сновидениями. Лида видела Джима, но смутно. Он стоял где-то далеко и говорил ей что-то, но она не могла понять, что. Томимая жаждой, она проснулась. Глафира тоже уже не спала и пила воду. Она принесла и Лиде стаканчик. Обе сидели на Лидиной постели, и между ними начался интимный разговор. Шопотом Глафира повествовала о своей любви.

Мистер Рэн приехал из Австралии два месяца тому назад, с намерением жениться. Ему нужна русская невеста. Его родители переселились из Харбина в Австралию, когда он был еще мальчиком. Теперь же он был, во-первых, английский подданный, во-вторых, обеспеченный человек. Родители написали в Харбин о намерении сына задолго до его появления и послали его фотографию. Невесты города ожидали его, готовились к встрече. Сколько интриг велось среди русских невест! Многие влюбились в него до его приезда. И Глафира влюбилась тоже, ей удалось увидеть его карточку. Познакомившись, она влюбилась еще больше, потому что он был милый, милый... Но — увы! — она не видела взаимности. Он всегда был окружен и занят. А после оперы, после «Пиковой Дамы», она уже и не надеялась. Он был с Первой Красавицей города! Вы помните, как она вошла? У ней была муфта из маленьких роз!.. Надежды растаяли. Глафира поделилась горем неразделенной любви пока только с Владимиром, написав ему в Шанхай. Лида была вторым человеком, кому она доверила тайну. Кончена жизнь! Собственно, не жизнь, Глафира не верила, что умрет от горя, но кончена надежда на счастье, мечта о любви. Придется остаться старой девой, не искать никого, сохранить в тайне верность первой любви.

Обе девушки всплакнули над этим решением.

— Ты не думай, — шептала Глафира сквозь слезы, — что это потому, что он — английский подданный, что у него есть паспорт. Нет. И не потому, что у него свой собственный дом, и автомобиль, и деньги, и служба... Поверь, я любила бы его и без всего этого...

Обнявшись, они сидели и тихо плакали, сладостно предаваясь своей молодой печали.

Утром, порассказав свои пророческие сны, вся семья собиралась в церковь. Одевались как можно теплее, предполагая идти с крестным ходом на Иордань.

После долгой обедни крестный ход двинулся от собора с крестами, хоругвями, под колокольный звон. К нему присоединялись по дороге крестные ходы других церквей. В этот день река Сунгари превратилась в Иордань. На ней возвышался прекрасный ледяной крест у свежеприготовленной проруби. Он был высок — пятнадцать футов — и сиял и сверкал на зимнем солнце, под голубым маньчжурским небом. Крест был высечен местным русским скульптором и украшен с замечательным мастерством и художественным вкусом барельефами. От него к небу подымался ореол преломленного солнечного света. Крестный ход подходил к нему под звон колоколов всего города. Это зрелище, эти звуки, эти колыхающиеся золотые хоругви — всё было полно необычайного величия. Трудно было подумать, что это — бедняки-изгнанники на чужой земле празднуют уже забытый многими народами праздник.

Митрополит начал богослужение — молебен об освящении воды, о даровании ей на этот день чудесных свойств: очищать, освящать, исцелять, изгонять зло, удалять грех.

Митрополит молился.

Это был небольшой старичок с кругленьким детски-невинным лицом. На нем светились два глаза, светились чистою верой, которая ничем никогда не была поколеблена и не знала сомнений. То, что Господь был на небесах, для него было так же очевидно, как и то, что сам он ходил по земле. Эта вера давала мир его душе, его молитвам, его словам. Видя мертвого, он помышлял о его воскресении, о воздвижении его к новой и вечной жизни; видя преступника и преступление, он возносился мыслью к уже совершившемуся искуплению. В мире темном и страшном он шел светлой тропой, всё спокойно созерцая, принимая, за все благодарая и благословляя.

На Иордани присутствовала многотысячная толпа. Только большие да малые дети оставались в этот день дома.

Митрополита окружало около пятидесяти священников. Наступил самый торжественный момент: тоекратное погружение креста в воду. Пел хор, выпускали голубей на свободу. Люди плакали от беспричинной, светлой религиозной радости. Нашлись даже, несмотря на сильный мороз, охотники окунуться в ледяную освященную воду проруби.

Мистер Райнд глядел вокруг и удивлялся. Лида стояла около, очень взволнованная. Она видела, как мистер Рэн подошел к Глафиру. И вот, сквозь толпу, поднимаясь на цыпочки, она старалась разглядеть, что происходит, там ли он еще, вместе ли они? Она не видела и волновалась.

Когда все вернулись домой, оказалось, что Глафира пригласила мистера Рэна к чаю. Тут Лида стала принимать все меры, чтобы родственники оставили Глафиру как можно дольше одну с гостем, а о себе заявила, что идет еще раз на Сунгари, полюбоваться ледяным крестом.

Берег Сунгари со стороны города — высок. Лида стояла и любовалась широким, открывшимся перед ней горизонтом. Заходило солнце, и оранжевый зимний закат постепенно темнел, заливая снеговую пелену земли и ледяную поверхность реки тихим мерцанием, легким дро-

жащим светом. Тут и там, на берегу и на льду реки гуляла небольшая группа молодежи. Всё было свежо, радостно вокруг, всё сияло, во всем было что-то упоительно прекрасное, умиротворяющее. Лида стояла, как в полусне, ни о чем не думая, отдыхая душой и любуясь. Вдруг она почувствовала, что кто-то тронул ее за руку. Она обернулась. Перед нею стояла Даша.

— Поклонялась льду сегодня? — спросила она насмешливо.

— Не льду, а кресту. Символу человеческого страдания.

— Но, ведь по существу, это — лед.

— Даша, — сказала Лида мягко, — это вы так понимаете. Но люди, что были здесь, верующие. Они веруют...

— Во что? — перебила ее Даша.

— Во Христа.

— Ха! — воскликнула Даша и засмеялась. — Да разве остался еще хоть один человек, который действительно верует в то, чему учил ваш Христос. Просто вы обманываете друг друга.

Лида двинулась, чтобы уйти.

— Стой! — и Даша схватила ее за руку. — Разве я не права? Христианство существует две тысячи лет, и что же оно сделало? Есть ли хоть одна христианская заповедь, которая теперь честно и до конца выполняется христианами?

Лида опять сделала движение, чтобы уйти, но Даша удерживала ее, продолжая:

— В кого верить и почему? Если есть Бог и Он добр и имеет власть над всем, как Он допускает несправедливость, почему Он не вмешивается в земные дела, не жалует людей?

— Я не знаю этого, — ответила Лида. — Я не задаю вопросов, я просто верю всем сердцем, что Бог — есть.

— Да? — спросила Даша. — До какой степени вы верите во Христа? Вы, например, умерли бы за Него?

— Я? — Лида растерялась на мгновение. — Я? То есть если бы надо было отречься... Да, я лучше бы умерла.

— Вы не лжете?

— Нет.

Вдруг без всякого повода со стороны Лиды, без всякого ее слова или движения, Даша подняла обе руки раскрытыми ладонями к небу, как бы готовясь получить что-то, и крикнула весело и дерзко:

— Эй, Бог! Если Ты существуешь, ударь-ка меня так, чтоб и я в Тебя поверила!

Лида, пораженная, смотрела на нее. В глазах Лиды был великий испуг, более того — ужас. Потом она закрыла лицо руками, как-то жалко всхлипнула и побежала от Даши прочь.

XXIV.

Миссис Питчер сидела в кабинете врача. Это был уже второй визит к нему. На столе лежала горка больших конвертов: рентгеновские снимки, анализы и прочее. Она смотрела на эти конверты — ее судьба! — и волновалась. Доктор молчал. Их разделял только письменный стол, и на этом малом расстоянии она мучительно чувствовала, слов-

но это были прикосновения, его быстрые, как бы случайные, но призывающие взгляды. Он быстро взглянул на ее лоб, как бы что-то отметил, затем так же взглянул на ее рот, глаза, плечи, руки. Казалось, он делал моментальные фотографические снимки и куда-то складывал их. Затем он окружил ее всю своими взглядами, как бы заключив ее в круг — приговор! — и в его взгляде не было ни теплоты, ни сожаления, ни внешней профессиональной ласковости, присущей очень популярным докторам. В его взгляде была скорее беспощадность. Миссис Питчер начала слегка дрожать. Доктор произнес наконец:

— Расскажите подробно, как вы проводите день.

Но ей нечего было рассказывать. Что можно было сказать о том, как она проводит дни? Она их не проводила никак. Они сами шли мимо нее, потому что движение времени — закон жизни. Она молчала.

— Как вы начинаете день?

— Я встаю. . . — начала она нерешительно.

Он ждал.

— Я встаю, одеваюсь, выхожу в столовую. . . — Смущаясь, как чего-то постыдного, миссис Питчер рассказала, как она проводит день.

Она говорила волнуясь, нервно; она слегка дрожала. Ее глаза все возвращались к большим желтым конвертам. Ей хотелось скорее услышать диагноз, но доктор не торопился.

— Какие особенные, выдающиеся события произошли в вашей жизни за последние пятнадцать лет?

— События? В м о е й жизни? Никаких.

— Все эти годы вы жили в Харбине?

— Да.

— Но вы уезжали иногда на лето? Куда?

— Мы были два раза в Японии, раз — в Корее, раз — во Владивостоке, затем в разных курортных городах Китая: Чифу, Пэ-Тай-хо.

— И ничего не случилось с вами во время поездок?

— Ничего.

— Вам нравится уезжать на лето? Вы ожидаете этих поездок?

— Нет, дома спокойнее, удобнее. За последние годы мы и лето проводим дома.

— Вы пробовали брать в дом приемных детей?

— Нет.

— Есть у вас в доме собаки, кошки, птицы?

— Нет.

— Гостят ли иногда в вашем доме знакомые или родственники?

— Нет.

— Есть ли у вас близкие, душевные подруги, друзья?

— Нет.

— Любовники?

— О, нет!

— Кто ваш любимый писатель?

— О. . . Я затрудняюсь сказать, доктор. За последние годы я мало читаю. Чаще всего по медицине.

— Живя так долго в Китае, вы изучали, например, китайский язык?

— Нет. Зачем же? Я говорю по-русски, по-французски и по-английски, но это — с детства. У меня были гувернантки.

— К каким обществам, клубам, кружкам вы принадлежите?

— О, меня они не привлекают. . . Я не принадлежу. . .

— Занимаетесь ли вы какой-либо общественной работой?

— О, для меня Харбин скорее иностранный, чужой город. Я держусь в отдалении. . . Я не чувствую себя дома в Китае. Но если вы подразумеваете благотворительность, мистер Питчер дает ежегодно определенную, довольно крупную сумму.

— Спорт?

— Я была воспитана по старым обычаям. Я не занимаюсь спортом.

— Искусства?

— Мы иногда ходим в театр.

Доктор помолчал.

— Вы дружны с вашим мужем?

— Мы никогда не ссорились.

— Но много ли у вас общих интересов? Политика?

— О, мы никогда не обсуждаем политических вопросов.

— О чем вы говорите, прочитав утреннюю газету?

— За последние годы я почти не читаю газет. Меня отталкивают все эти ужасы, преступления. . .

Доктор опять помолчал.

— Вы работаете в саду?

— Нет.

— Но у вас есть сад? Кто работает в нем?

— Садовник. Китаец.

— Как его имя?

— Имя? — удивилась она. — Я не знаю его имени. Мы его называем «Садовник».

Они говорили еще с полчаса. Он задавал вопросы, а она отвечала: нет. Перед ее глазами медленно разворачивалась как бесплодная, безжизненная пустыня, ее собственная жизнь.

Доктор был по-прежнему холоден и строг. Это как-то даже оскорбляло миссис Питчер. «Обращается, как с вещью, — думала она. — Ему платят. Он должен высказать какое-то участие. Ведет себя, как судья. Я пациент, не подсудимый».

Наконец доктор взялся за конверты. Он подал их ей и сказал, что у нее не найдено никакой болезни, то есть никакой о р г а н и ч е с к о й , ф и з и ч е с к о й болезни, подчеркнул он. Но ей грозит опасность со стороны внутренней, психической ее жизни. Ей нужно немедленно и коренным образом переменитьсь. Он предлагал ей критически взглянуть на себя самое. Посоветовал не бояться болезней, а лучше по-настоящему заболеть — и раз и два, — это научило бы ее наслаждаться здоровьем. Он осудил весь комфорт ее жизни. Ей полезнее было бы физически работать, и не для удовольствия или там для упражнения, нет, из необходимости. Ей хорошо бы стать бедной, зарабатывать кусок хлеба и волноваться не оттого, что она съела, а оттого, что есть нечего. Физическая усталость, голод и боль прогнали бы все ее теперешние фантастические волнения и страхи, и она, вероятно, быстро бы поправилась.

Она слушала и возмущалась: «вот это совет, вот это доктор». Он, конечно, угадывал ее чувства.

— Но поскольку я не совсем верю, в радикальное изменение вашей жизни, испробуйте хотя бы полумеры: старайтесь наблюдать жизнь, читать о ней, интересоваться ею, принимать в ней участие. Ежедневно, после завтрака, длиннейшие прогулки пешком, во всякую погоду. Ходите по тем улицам города, где вы никогда не бывали. Пусть не останется в городе угла, куда бы вы не заглянули по несколько раз. Разговаривайте с людьми, которых встречаете: с торговцами, прислугой, нищими. . .

— Но позвольте, — перебила она, — все это не в моем характере. Это не облегчит меня, а затруднит. Вы мне советуете именно то, к чему у меня отвращение. Боюсь, непреодолимое. Скажите, доктор, что будет, если я ничего этого не сделаю, если я стану жить, как прежде?

— Видите ли, — начал он как-то очень осторожно и медленно, — есть различные нервные и душевные болезни. . . довольно тяжелого свойства. . . иногда трудно излечимые, если запущены, иногда неизлечимые. . . Зачем же идти в этом направлении, если есть еще возможность избежать? Вы говорите — это трудно для вас. Но при серьезных болезнях не рассуждают о невкусности лекарств, а прибегают к решительным мерам.

Он замолчал. Она встала, поблагодарила и ушла.

— Я попробую начать сегодня, — думала она. — Буду ходить по улицам до полной, до смертельной усталости.

Она шла и старалась смотреть на все и интересоваться всем. Но как? Но чем? Город за последние годы опустился, обеднел, стал грязен. Бульвары — все до одного, — по которым она шла, не имели права даже называться бульварами. Дома стояли в запустении. Давно-давно никто ничего не красил, не поправлял. Конечно, повсюду двигались люди. Проезжали извозчики, рикши, иногда — автомобили. «Но, Боже мой, что мне до этого? Пусть идут. Ни я им не нужна, ни они мне! Но эта бедность, — думала она опять. — Откуда это? Давно ли Харбин считался одним из богатейших городов Дальнего Востока. Он ведь центр очень богатой земли, плодородной Маньчжурии. Здесь всегда хороший урожай, все по-прежнему работают, и вот почему-то все обеднели. И еще его называли «веселым». Я ехала сюда впервые, и кто-то, помню, сказал мне и мистеру Питчеру: «В Харбин! Веселый город!» Но вот я гляжу и не вижу, чтоб он был веселый. И это куда-то ушло!»

Вблизи она увидела церковь. Это была небольшая деревянная церковь пригорода, расположенная в саду. Но сад был пуст и гол зимою. Раздавался благовест к вечерне. Народ шел в церковь. Была суббота.

Она остановилась: не зайти ли в церковь? Но ей не хотелось. — «Боже, как мне ничего больше не нужно! Боже, как я никому не нужна!» И все же решила: раз надо лечиться — пойду.

Нищие всех возрастов, видов и состояний толпились у входа в ограду и на ступеньках храма. Оборванные, продрогшие, голодные и грязные они протягивали страшные, изуродованные болезнями и старостью, дрожащие руки. От одних несло дешевым табаком, от других — водкой, от всех исходил запах затхлости, сырости, болезней.

Миссис Питчер, проходя по этой аллее из нищих — от ограды до дверей храма, — старалась и не дышать и не смотреть. Но она заметила все же, и это ее поразило, что в них не чувствовалось той подавленности духа, которая, в ее воображении, неизменно связывалась со всякой человеческой заботой, болезнью, нуждой. Наоборот, это была оживленная толпа; одни что-то громко рассказывали, другие жаловались, третьи переругивались, кое-кто поддразнивал соседа. При приближении миссис Питчер они останавливались на полуслове и, меняя тон, многословно и жалостно молили о подаении.

— Как поживаешь, доченька? — обратилась к ней страшная старуха, подсовывая сухую темно-коричневую руку почти под самое лицо миссис Питчер. — Помоги убогой, Христа ради, будешь мне дочкой, перед Господом Богом! Как о дочке, буду о тебе повседневно молиться.

Миссис Питчер даже вздрогнула от внезапного враждебного чувства к старухе. Не останавливаясь, она прошла мимо. Ее мутило от отращения к человеку.

Она вошла в церковь. Давно она не была здесь, не видала всего этого: иконы, свечи, кадилный дым... В полумраке она вглядывалась во все окружающее. «Приидите, поклонимся Цареву нашему Богу». — «Я пришла, я рада поклониться, — думала она, — только бы успокоиться, только бы найти душевную свободу, душевный мир».

Кто нынче ходит в церковь? Несчастные люди, конечно. Для счастливых есть другие места, где провести зимний вечер. Сюда же идет овдовевшая женщина, мать больного ребенка, брошенная жена, сирота, не знающая, куда деваться, люди старые, люди больные, люди забытые судьбой, люди, преследуемые невинно, люди, живущие в страхе за близких... Они идут сюда с просьбами, с упованием. Они пробовали найти утешение или защиту у людей, они искали их повсюду и, не найдя нигде, шли сюда, к последнему прибежищу человеческой надежды. Отсюда уже некуда было идти, да никто и не торопился покинуть храм, все располагались на три-четыре часа жаркой молитвы. С усилием опускались на колени, со стоном разгибали спины после земного поклона, трещали больные и старые кости. «Работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом»...

«Как странно, я все еще помню эти слова! Я когда-то пела в гимназической церкви. Годы прошли — как все переменялось! А у них те же слова, тот же напев... «Яко весть Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет»... Но кто праведен? Где праведники, когда все люди вокруг так противны? — думала миссис Питчер. — Все людские пути погибнут. Они уже гибнут, как гибну я, неизвестно за что, почему. — «Аллилуия!» — Мне страшно грустно здесь. Я могу закричать. Лучше уйду отсюда».

Она вышла из церкви.

В ограде за это время появился еще один нищий.

В маленькой низенькой тележке, сделанной из деревянного ящика, к которому прилажены были колеса, а впереди длинная оглобля, находилось туловище человека, с головой, но без рук и без ног. На голове была надета старая солдатская шапка, из-под нее глядело распухшее синевато-белое лицо — и на нем весело сверкали два коричневых глаза. У оглобли стоял оборванный мальчишка, заменявший

лошадку, он же — телохранитель и казначей. Мальчишка держал в руках шапку, в ней уже светились две копейки.

Отвращение судорогой прошло по всему телу миссис Питчер. Но она решила сделать усилие над собою и, стиснув зубы, остановилась у тележки. Нищие поняли это движение, как желание подать милостыню. Мальчик протяжно произнес заученное. Миссис Питчер молчала, стояла, не двигаясь. Удивленное туловище, взглянув вверх на нее, спросило:

— Как поживаешь, сестра?

Но она все еще не находила сил ни заговорить, ни уйти.

К ней уже начали тесниться и другие нищие. Ее дорогое меховое пальто и ее странная остановка возбудили надежды. Она же дрожала от отвращения к этим лохмотьям, этим лицам и запахам. Но, помня советы доктора, продолжала бороться с собой.

— Что это... с вами? — наконец спросила она туловище и заставила себя, широко открыв глаза, прямо взглянуть на него вниз, в тележку.

— Со мной? Ничего, — удивилось, и даже как будто смутилось, туловище.

— Но где... ваши ноги и руки? — Миссис Питчер мучительно чувствовала, что не умеет разговаривать с калекой и нищим.

— Немецкая техника! — засмеялось туловище. — С немцем сражался в Великой мировой войне. Вот он и отделал меня — на память!

— Кто вас содержит? — спросила она.

— Что?

— Кто помогает вам?

— Петька вот, мальчишка этот, катает коляску.

— Он ваш мальчик?

— Нет, нанимаю. Работает за процент, — и калека опять засмеялся. Петька швыркнул носом и сунул ей шапку в самое лицо. Она отмахнулась от дурно пахнувшей шапки, где мех сохся в войлок, и спросила:

— А чей мальчик Петька?

— А кто же его знает! Приблудился, вот вместе и орудуем.

Мальчишка нетерпеливо тыкал ей шапку:

— Подайте, ради Христа! Ради мучеников святых страсотерпцев, живот на поле брани положивших...

— Постой! — остановила его миссис Питчер. Она снова обратилась к туловищу.

— Но почему вы так живете? Раз вы были изуродованы на войне, вам должна быть пенсия... Правительство и общество...

Тут загалдели, загудели все нищие:

— С луны свалилась! Пенсия! Это от какого же правительства? От какого же общества? — в голосах этих слышалось недоброежелательство, нарастающее негодование:

— А еще русская! Где же ты была все это время, матушка? Не знает ничего про нашу русскую жизнь. Пенсия! — передразнивали ее на все лады. — Слышь, от правительства да потом еще и от общества! Надела меховое пальто, тепло ей, вот и забавляется — расспрашивает...

— Эх, матушка! — заговорила одна старушка. Растолкав толпу, она стала вплотную к миссис Питчер. — Нынче один Бог у нас остался. Нету нам правительства и никакого нету общества. Ну, есть кое-кто верующий, тот и бросит копеечку. А ты, голубушка, чем расспрашивать, дала бы, милая, рублик на все наше тут нищенство, а сама бы шла с миром домой.

— Даст она тебе, как же! — заговорили вокруг.

— Такая чистенькая дамочка скорее позовет полицию.

Миссис Питчер один доллар дала старухе, а другой бросила в коляску и поспешно ушла из церковной ограды.

Немного успокоившись, она пошла медленно, раздумывая над тем, что ее более всего поразило. Эти люди не были в том безнадежном состоянии духа, какое испытывала она. Разрушаемые физически, они не были подавлены духовно. Она же, как сказал доктор, была благополучна физически — почему же она больна душою? Где причина? Где помощь? Где выход?

Проходя мимо другой церкви, мимо собора, где также шла служба, светились окна, и где нищие тоже стояли на всех ступенях крыльца, она уже не вошла в ограду. Она лишь остановилась на минуту, посмотрела вверх, на купол и крест, и горько обратилась к Богу: — «Скажи, чего Ты от меня хочешь?»

Дальше она шла по освещенным улицам, останавливалась, глядя в окна магазинов. Ничто не привлекало ее, ничто ей не нравилось. Ее все сильнее охватывала глубокая грусть, обволакивая, как туман, двигаясь за нею, как туча. «Конечно, все кончено — я не хочу жить. Жизнь мне в тягость. Ничего мне не нужно. Ничего больше. Ничего».

Перед книжным магазином миссис Питчер опять остановилась. Здесь она покупала медицинские книги. Она машинально вошла внутрь. Приказчик, увидев и узнав ее, сообщил, что из новых медицинских книг пока получена одна, из Москвы, о шизофрении. Пока он завертывал для нее покупку, она машинально рассматривала книги на прилавке. Раскрыв одну из них, она прочла слова, которые вдруг проникли в ее сознание, оставив там мучительную загадку: — «Разлюбив человека, я лишился вселенной» . . .

— Что? — сказала она вслух, быстро захлопнув книгу. «Разлюбив человека, я лишился вселенной!» Может быть, это. . . может быть, это и есть всему причина? Кто сказал это? Она искоса взглянула на обложку: Бальмонт. Она еще помнила это имя, когда-то в молодости читала его стихи.

Взяв книгу о шизофрении, миссис Питчер направилась домой. Она шла и думала о Бальмонте.

Она вообще не любила поэтов, давно не читала стихов. Она не умела войти в их поэтический мир, увидеть их глазами. Поэзия казалась ей притворством, царством лжи. Поэтическая метафора часто оскорбляла ее трезвый ум, как нарочно придуманная насмешка над доверчивым читателем. Менее всего она стала бы искать в поэзии правды. Но это: «Разлюбив человека, я лишился вселенной» . . .

Почему слова эти так поразили ее? Вдруг, на мгновение, они обдали ее светом, подобно молнии. Какое они имеют к ней отношение?

«Разлюбив человека»... но кто же любит его? Разве возможно любить человека? Боже, Боже, Ты, создавший его, разве Ты его любишь? Нет, Ты прогнал его от себя, изгнал из рая. Ты не являешься ему, Ты не отвечаешь на его зовы, на его слезы, на его вопли. Ты оставил его, удалился от него до такой степени, что он перестает верить в самое Твое существование. Как же можно требовать от нас, чтоб мы любили друг друга? «Я лишился вселенной»... Да, все то, чем была мирная жизнь, разрушается, гибнет».

Домой она пришла поздно. Она опоздала к чаю. И хотя мистер Питчер знал, что она была у доктора, да еще так задержалась, он не кинулся к ней навстречу, с расспросами, — это не было в обычаях их дома.

Она нашла мужа и гостя, мистера Райнда, в гостиной. Подали чай, сливки, сахар, лимон, печенье и булочки. Все трое одинаковым движением развернули салфетки у себя на коленях. Пили чай не у стола, а в креслах, неподалеку от камина. Обменивались короткими фразами.

— Вы слышали о соглашении в Мукдене? — спросил гость.

— О, конечно — ответил мистер Питчер, и так как он уже ответил, миссис Питчер могла не говорить.

— Что вы думаете об этом соглашении? — спросил гость.

В ответ мистер Питчер повел плечами. Так как вопрос был обращен к нему, миссис Питчер опять могла не отвечать.

— Еще чашечку? — спросила она гостя, немного погодя.

— Пожалуйста.

Затем она спросила мистера Питчера:

— Еще чашечку?

— Пожалуйста.

И опять стало тихо, тепло и уютно в гостиной.

«Боже, я гибну! — думала про себя миссис Питчер. — Я не могу любить человека. Никак. За что любить? Вот сидит мистер Райнд. Он мне совершенно безразличен. Что бы с ним ни случилось, мне абсолютно все равно».

— Это уличное побоище в Мукдене, нечто вроде бунта, может вызвать осложнение в области международных отношений в Маньчжурии.

Вопроса не было, и Питчеры хранили молчание.

— Еще чашечку? — спросила миссис Питчер.

— Благодарю вас, пожалуйста.

— Вам?

Мистер Питчер, устав от слов, лишь кивнул головою.

— Советское правительство готовит ноту протеста, — сказал мистер Райнд.

— Как будто, — с трудом проговорил мистер Питчер.

«Я гибну» — думала миссис Питчер. — Я не должна читать этой книги о шизофрении. Я уверена, что и эта болезнь окажется у меня в полном разгаре. Но что делать мне? Что? Что?»

Вдруг заболело где-то внутри. «Боже! — вдруг спохватилась она, — все эти нищие прикасались ко мне, а я не умылась, придя домой, не

приняла ванны . . . Как я могла об этом забыть? Боже! Боже!» — И она поднялась, поблуднев, со своего кресла.

— Простите, я должна вас покинуть. . . — а сама думала: «Ванну! Скорее ванну! Карболовое мыло!»

XXV

На следующий день, после завтрака, миссис Питчер отправилась на прогулку. К ее собственному удивлению, в Харбине оказалось немало мест, где она никогда не бывала. Выбор места прогулки не представлял затруднения.

Она шла, смотрела вокруг и вновь удивлялась запустению и заброшенности города. Вопреки мнению, что японцы — очень хозяйственные, чистоплотны и хорошие организаторы, Харбин под их властью доказывал противное: никогда еще он не был так беден, запущен и грязен.

Дойдя до окраины и остановившись передохнуть, миссис Питчер случайно заметила какое-то объявление в одном из окон ветхой покосившейся хибарки. Подойдя ближе, она с удивлением прочла: «Сдесь дети отдаюца варенду».

«Что это?» — изумилась она. — «В аренду!» В ней зашевелилось давно забытое любопытство, интерес к чужой жизни, как некий отблеск живой и подвижной миссис Питчер во дни ее молодости. «Это надо исследовать!» Она вошла во двор и, стоя на дрожащих под нею деревянных ступенях кривого крыльца, постучала в дверь. Растрепанная, косматая женщина распахнула дверь, но, окинув миссис Питчер подозрительным взглядом, не пригласила ее войти. Она загородила дверь своим телом, как бы защищая вход от врага, и грубо спросила:

— Чего надо?

На минуту миссис Питчер растерялась, она молчала. Женщина же вышла на крыльцо, захлопнув за собою дверь, как бы спеша скрыть от посетительницы внутренний вид жилища. Она взглянула на ее меховое пальто и еще более грубо спросила:

— Ну, чего надо? Чего молчишь? Зачем ты, барыня, тут шляешься, беспокоишь честных людей? Уходи!

Но в миссис Питчер проснулась настойчивость ее прежних молодых лет.

— Это ваше объявление? У меня есть подходящее дело. Нужен ребенок в аренду.

Эти слова произвели впечатление. Женщина еще раз окинула миссис Питчер критическим взглядом, но уже без прежней настороженности и враждебности.

— А тебе для чего же нужен ребенок?

— Да вот . . . — запнулась гостья, — для развлечения . . . Я — одна. Мне грустно. Мне иногда бывает очень грустно.

— Ага! Значит, держать компанию. Что, у тебя свой ребенок умер, что ли? Чего тебе грустно?

— Нет, у меня не было своих детей никогда.

— Так что ж тоскуешь? Любовник бррсил? — и она покосилась на меховое пальто.

— О нет, — заторопилась ответить миссис Питчер.

— Или пить начала? От запоя отвода ищешь?

— Нет, нет. Просто я всё сижу дома и одна, мне скучно.

— Что ж муж-то? Живой? С другой что ли гуляет?

— Нет, — объясняла миссис Питчер, — он — сам по себе, делами занят. А я одна — сижу целый день и вяжу. Поговорить не с кем.

— Для разговору, значит. Есть мальчишка постарше. Разговаривает.

Женщина раскрыла дверь и, войдя в сени первой, пригласила посетительницу:

— Ну, что ж, иди! Торгуйся!

За темными холодными сенцами следовала кухня. Это была комната престранного вида: тут глаз не встречал прямых, вертикальных или горизонтальных линий, все в ней покосилось, покривилось и опиралось одно о другое: потолок, стены, пол, окна, печь, мебель. Все, чему полагалось иметь горизонтальное положение, здесь подымалось вдруг то бугром, то волной. Казалось, эта комната была задумана и выполнена в минуту вдохновения новейшим живописцем, «ультрамодерн», который презирал прямые углы, перпендикуляры и параллели; он мыслил кругами и рисовал так же.

Женщина выдернула откуда-то из-за печи скрюченный, как бы завитый парикмахером стул, с которого посыпалась лакировка. Она вытерла ладонью пыль с сиденья, твердо поставила и придавила стул к полу, в ответ на что он жалобно пискнул, и сказала гостье:

— Ну-ка, сядь на стульчик. Попробуй.

Миссис Питчер осторожно, с опаской, водрузилась на стул, упираясь ногами в покатый пол и локтем зацепившись за выступ стены. Но стул оказался устойчивее, чем обещал его внешний вид. Успокоившись на этот счет, миссис Питчер внимательно оглядела хозяйку. У той было какое-то стертое, изношенное лицо, как старая копейка, на которой, конечно, угадываются знаки, где и что должно было быть. Она подумала: «Животное, не человек».

— Давай толковать про дело, — сказала хозяйка. — Ты начинай. Предлагай цену. Мальчишка есть славный. Десять лет. Никитка.

Гостью не знала, что сказать. Она опустила глаза и смотрела на свои руки в белых перчатках. Не слыша предложения, хозяйка начала объяснять положение.

— Это не мои дети идут в аренду. Тут живет другая женщина, то — ее дети. Те, что поинтересней, уже сданы. Дашь хорошую цену, можно их взять отсюда. Тебе мальчика или девочку?

— А кто взял в аренду?

— Разные люди. Младенец-то всё у той же подлой Нюрки. Ну, тебе к чему же младенец!

— А как велик младенец?

— А кто ж его знает! Должно, месяцев восьми.

— А что делает этот младенец?

— Делает? Да ты что! Он же еще не ходит, куды ж ему работать! — Она засмеялась, и по кухне понесся запах алкоголя. — Да ты знаешь Нюрку?

— Нет, не знаю.

— И хорошо делаешь! А встретишь — не связывайся. Подлая баба. Лентяйка, вруша, воровка, ну и пьет, конечно. Да еще скандалистка и потаскушка вдобавок. В хорошем обществе для нее — нету места. Тюрьма по ней давно плачет... Ну, есть полицейский знакомый, выручает до поры, до времени.

— Но младенец?

— Младенец — что ж! Младенец ничего. Как он еще маленький, то его не касается.

— Но зачем его арендует эта... Нюрка? — Миссис Питчер произнесла ее имя с брезгливостью.

— Да ты с луны свалилась? Как зачем? Она же милостыню просит. Кто же подаст этаккой здоровенной бабе, если она без младенца?

— Но... если она такая... она может обидеть этого... младенца? — миссис Питчер вдруг почувствовала жалость к неизвестному младенцу и беспокойство за его судьбу.

— Нюрка-то? Может. Обидеть может!

— Но она заботится о нем? Кормит... чем-нибудь?

— Ну а как же! Ты его не покорми день-другой, он и помрет. А нужный, младенец-то.

— А он... часто плачет? Он не болен?

— Да кто ж взял бы в аренду больного?хлопотно очень. Нет, младенец — первый сорт. Да и то Нюрка поит его маковой настойкой, как берет на улицу. Он вроде как бы в оцепенение от того приходит, и таскать его по улицам удобно, не беспокойно.

— Но... но... это же вредно! Это влияет на его организм. Этого нельзя делать! — возмутилась миссис Питчер.

— А тебя это касается? — насторожилась хозяйка. — Ты тут причем? Твоя это ребенок? Ты распоряжаться пришла?

— Нет, нет, — заторопилась миссис Питчер. — Я только так... подумала, трудно младенцу переносить это...

— Не беспокойся. Ему легкая жизнь, чистый фарт — сыт, прогуливается по городу на руках у этой кобылы Нюрки. И всей работы — поплакать кой-когда...

— Поплакать? — у миссис Питчер сжалось сердце.

— А как же, в таком-то деле! Публика проходит, не обращает внимания. Если нищий будет молчать, кто ж и подавать станет. Тут голос нужен. Нюрка ущипнет младенца — он заверещит. «Ах, ребеночек!» — и сразу — внимание, женское больше. «Как его зовут? Ах, миленький! Вы говорите — сиротка? Ах, он плачет!» и скажет мужу ли, любовнику ли — какой есть мужчина с нею: — «Ах, дайте, дайте ей денег!»

— А как зовут младенца?

— Это смотря, кто спросит. Простой бабе — Ванька, Петька; даме с благородством — Модест, Викторин, Олег или всё равно, Игорь. Ты не думай — это всё просто, тут догадываться надо, да и помнить, кому что сказано, на случай другого раза. А то расспросы пойдут. Рассказывать надо по спрашивателю, и интересно и жалобно. Но тут, я скажу, Нюрка — мастерица, вот уж расскажет, так расскажет.

— А сколько эта... Нюрка... зарабатывает?

Женщина вдруг рассердилась.

— У этой скотины узнаешь правду? Знаешь, — она нагнулась к самому уху миссис Питчер и свистящим шопотом поведала ей тайну о Нюрке, — да у ней ни капли совести не осталось! Честное слово! — заключила она уже громко. — Уж моему-то честному слову поверь. За младенца — два доллара платит.

— В день.

— В месяц!

Тут женщина переменяла обращение с гостьей на самое ласковое. Она вытащила из-под стола табуретку с каким-то выпуклым сиденьем, похожую на половину глобуса на подставке, примостилась на ней и, хлопнув гостью по колену своей большой распухшей рукой, заговорила вкрадчиво.

— Эй барыня, арендуй себе компанию . . . Вижу, нужен тебе разговор. Дорого не запросим. Я для матери этих ребят работаю, вроде — агентство, значит, контора по найму. Дай и мне заработать, на процентах мы с ней идем. Пожалей и меня, слабую женщину, женского полу. Страдалицы все мы, то есть женский наш пол. Ну, а у матери детей-то деловых мозгов нету, никакого денежного смысла. Я за нее дело веду.

— А где отец детей?

— Убили, давно, уж сколько месяцев . . .

— А кто убил?

— Кто, спрашиваешь? Не оставил имени-отчества-адресу.

— Но, ведь, есть закон, полиция . . .

— Полиция, говоришь? Ты, должно быть, не из здешних мест, приезжая.

— Кто был отец детей?

— Касимов ему фамилия. Каменщик был. Японцы взяли на свою работу, силой взяли, потому отличный был каменщик. Строят тут где-то тайное что-то, военное, под землей. Раз, вечером, приходит человек незнакомый, стучит в эту дверь и говорит: «Ты жена Касимова — каменщика. Не жди, говорит, мужа ужинать: убили».

— А она?

— Она, было, туды-сюды: закон — японский, суд — японский. Побегала и перестала.

— Она горюет?

— Горевала бы, кабы время на то было. Ей детей кормить, а не горевать надо. Детей же — семеро. Чтоб горевать — деньги нужны. Без денег — некогда.

И вдруг вспомнив деловую сторону визита и сообразив, что еще ничего не сделано, она заторопилась.

— Да что ты всё расспрашиваешь да расспрашиваешь! Ты нанимай компанию, не ходи по людям, даром чтоб пользоваться. Бери мальчонку, он тебе всё расскажет. Я-то время теряю, для них из жалости действую, а ты пользуешься.

— Вот что, — сказала миссис Питчер, осторожно подымаясь со стула, — пошли ко мне вдову, мать детей. Я с ней хочу говорить. Вот моя карточка, тут фамилия и адрес. Поняла?

— А я-то? — почти завyla хозяйка. — Я ихний агент! Мы на процентах. У ней мозгов нету!

— После, об этом после. Я пришлю вам комиссионные, когда возь-

му мальчика. — Но, увидев лицо хозяйки, миссис Питчер поспешно вынула из сумки полтинник, — это задаток.

Она уже повернулась, чтобы уйти. В сенях послышались торопливые шаги, дверь распахнулась, и в кухне появился мальчик, Никитка.

— Ну и холод! — начал он, но, увидев миссис Питчер, остановился в изумлении. Это был прелестный мальчишка: здоровый, бодрый, с веселым лицом.

— Дама вот, — представила хозяйка, — интересуется наймом.

— Какая работа? — деловито спросил мальчишка.

— Для компании, для разговору.

— А вы компанию нанимаете как? Со столом? — мальчишка всем своим существом выражал животрепещущий интерес.

Миссис Питчер не хотелось разочаровывать эту детскую надежду. Она ответила: — Я кормлю компаньонов очень хорошо.

— Мадам! Возьмите меня! — мальчишка даже зашепелявил от поспешности. — Вы возьмите! Я и пол подмету, в лавочку мигом сбегаю, если что вынести — ведро помойное — или двор подмести — мигом — чистая работа!

Глядя на миссис Питчер умоляюще, не понимая выражения ее лица, Никитка старался найти в себе еще убедительные достоинства, заинтересовать, показаться желанным компаньоном.

— Не курю — ни Боже мой! Могу не ругаться. А насчет кражи — как Бог свят! — он даже перекрестился, — копейка у вас не потеряется. Возьмите меня, барыня! Ей-Богу!

Он подошел ближе и дохнул на нее луком:

— Ей-Богу, лучше нигде не найдете! Ей-Богу!

Она рассматривала Никитку. Тонкая шея, давно не мытая, зако-рузные руки, поломанные грязные ногти, лохматая, нечесаная рыженькая голова, лохмотья, дурной запах сырости и грязи. И во всем этом заключен милый ребенок. И эти умоляющие глаза, эти дрожащие губы... Голоден, конечно. И ей захотелось сейчас же обрадовать Никитку, не томить его ожиданием. Забыв о том, что необходимо было обсудить проект с мужем, она сказала: — Решено. Я нанимаю тебя!

Он было двинулся к ней, но потом круто остановился. Его лицо смешно собралось в мелкие морщинки, радость блистала в глазах. Он, очевидно, вспомнил кем-то преподанный урок: отвесив низкий смешной поклон, он проговорил в нос:

— Пардон-мерси, сударыня!

Миссис Питчер улыбнулась ему, и на минуту ей стало легко-легко. Ей вдруг понравилось всё — и от всего стало весело. И эта кухня, и эта печка, и женщина, и мальчик, и стул — это была жизнь, всё это таинственно и интересно существовало — и у нее была возможность, власть, войти в эту жизнь, внести в нее радостную перемену.

Она улыбнулась еще раз.

— Так вот, Никита, приходи ко мне с матерью, когда ей будет удобно. Мы сговоримся. Ты будешь служить у меня.

— Со столом, — напомнил он ей.

По дороге домой она вдруг почувствовала сильный голод. Пришлось взять извозчика, чтоб поскорее добраться до дома.

XXVI

В этот фатальный день, после урока, Даша спросила:

— Мистер Райнд, не хотите ли пойти сегодня со мною на митинг?

— Стоит ли! Я почти ничего не понимаю, когда быстро говорят по-русски!

— Но это особенное собрание. Приехал делегат из Москвы, товарищ Бугров.

— О чем он будет говорить?

— Он даст директивы для линии поведения. Положение здесь все осложняется. Требуется большая осмотрительность. Мы от него получим инструкции. Всё это очень важно, и он будет говорить очень просто, понятно и медленно. Вам полезно, вы всё поймете.

— Когда будет это заседание?

— Сегодня ночью. Это — тайное собрание. Пожалуйста, никому об этом — ни слова.

Мистеру Райнду казалось небезопасным идти, но Даша уверила его, что полиция знает о всех тайных собраниях и только делает вид, что ей о них неизвестно. Товарищ Бугров, по словам Даши, — один из самых замечательных людей в партии, и если мистер Райнд интересуется советской страной, если он предполагает остановиться в Москве, то ему просто необходимо увидеть такого человека.

Мистер Райнд согласился пойти на собрание.

Даша пришла за ним после десяти вечера. Они отправились пешком. Дневной шум и суета улеглись, и город, казалось, отдыхал безмятежно. Ночь была необыкновенно хороша. Только в преддверии весны, перед самым ее началом, бывают в Маньчжурии такие глубокие тихие ночи. Воздух был полон особой предвесенней свежестью. На высоком и темном небе дрожали большие яркие звезды. В их свете мир казался фантастическим — таинственным и прекрасным. Даша была очень оживлена и взволнована, мистер Райнд никогда еще не видел ее такою.

С главных улиц города они свернули в какие-то совсем неосвещенные переулки, и красота ночи выступила еще явственнее, еще ощутимее.

Вдруг Даша остановилась. Подняв голову, она смотрела в звездное небо.

— Полюбуюсь еще раз на эту ночь, — сказала она изменившимся странно-печальным голосом. — В такую ночь хочется улететь, как птицы улетают в другие края. Вдруг всё видишь иначе... и не хочется, чтоб пришло утро.

— Вот-вот, — засмеялся мистер Райнд, стараясь развеять это внезапное настроение Даши. Переход от оживления к такой глухой, необъяснимой печали неприятно поразил его. Он смутно почувствовал какую-то опасность. — Вы хотите летать? Я куплю вам билет на аэроплан — и летите в Америку.

— Не то, не то, — тем же глухим печальным голосом остановила его Даша. — Не в другую страну... нет. Я хотела бы куда-нибудь, где можно обо всем забыть, не слышать, не видеть, жить как-то иначе... — Ее голос упал до шопота. — Никогда со мной этого не было, но сегодня не могу себе ничем помочь... Как будто я засыпаю...

— Вы устаете. Вы молоды, и очень рано взяли жизнь всерьез. Это — усталость.

— Может быть, — сказала Даша и, сделав над собою усилие, тряхнув решительно головой, твердо объявила:

— Прошло. — И спохватилась: — Идем, идем! Мы еще опоздаем.

Тут и там их начали обгонять одинокие пешеходы, фигуры темные и молчаливые. Для такого позднего часа и пустынного места количество пешеходов, конечно, казалось подозрительным.

Наконец, Даша остановилась. Они были уже за городом. Из высокого забора она вынула одну доску, сдвинула в сторону другую, и они пролезли в какой-то двор. Даша поставила доски на место и пошла, сделав мистеру Райнду знак следовать за нею. Они двигались по саду между большими голыми деревьями. Далее виднелся дом, большой и темный. Они вошли в него через небольшую, одностворчатую боковую дверь, спустились на несколько ступенек вниз, прошли по каким-то слабо освещенным коридорам и поднялись по лестнице вверх. Дом казался таинственно оживленным. Слышался заглушенный шопот, осторожные шаги. То тут, то там появлялся и исчезал свет потайного фонаря. Наконец, они вошли в очень большую комнату, нечто вроде рекреационного зала в школе. Окна были затемнены, комната была освещена и битком набита людьми.

Мистер Райнд огляделся. После темных дорог и полуосвещенных переходов эта комната, свет и люди наполнили его взволнованностью, возбуждением. В публике преобладали мужчины, молодежь, полная сил и жизни. Молодые люди — типа рабочих. Девушки — по-разному напоминали Дашу. Одеты все были бедно. Среди молодых было несколько пожилых, на вид очень усталых, женщин. Были пожилые, тоже усталые мужчины. Кое-кто, очевидно, пришел прямо с работы, не успев переодеться. Было несколько странных стариков, от седовласого аскета, с видом вдохновенного библейского пророка, до тяжелого мрачного великана, в глазах которого пылали безумие и ненависть.

Несколько человек поднялись на возвышение и сели там за столом, оставив центральное место незанятым. За этим местом виднелась небольшая дверь. К ней были устремлены все взоры: очевидно, товарищ Бугров должен был появиться оттуда. Почти все молчали. Только изредка кое-кто обменивался тихим словом. Сидевшие за столом шептались между собою, и один из них сказал что-то негромко и невнятно ожидающим в зале.

— Товарищ Бугров на пришел еще, — прошептала Даша мистеру Райнду. — Они начинают беспокоиться, не случилось ли чего с ним. Длилось томительное ожидание.

Даша и мистер Райнд сидели в первом ряду, прямо против возвышения, к которому вели всего две ступеньки. Мистеру Райнду были отчетливо видны все сидящие за столом. На него же, как ему казалось, никто не обращал внимания. Очевидно то, что его привела Даша, санкционировало его присутствие на тайном заседании.

Вдруг центральная дверь на возвышении быстро распахнулась, и оттуда появился человек, при виде которого волна радости прошла по залу. В знак приветия поднялись все руки, но тишина ничем не была нарушена.

Товарищ Бугров был человеком среднего роста, молодым, полным энергии и внутренней силы. В нем ощущалось нечто смелое, веселое и агрессивное, словно вот-вот он ринется в бой. Он привлекал к себе симпатию с первого взгляда, как всегда привлекает образ молодости, энергии и силы.

Делегат начал говорить. Его неторопливые отчеканенные слова падали в толпу одно за другим среди могильной тишины. Даша, поглощенная тем, что он говорил, забыла, что должна переводить. Но и без перевода, не вполне улавливая даже общий смысл речи, мистер Райнд чувствовал, что товарищ Бугров верил в то, о чем говорил, что это была правда его жизни, что никакой другой правды для него не существовало, что он не допускал даже мысли о возможности ее существования. Его вера, его слова гипнотизировали зал.

И затем вдруг случилось несчастье.

В полной тишине, между двумя словами оратора, из глубины зала, где-то в задних рядах, прозвучал негромкий посторонний звук, — короткий, сухой, металлический. Из всей толпы лишь одна Даша, услышав, поняла и сообразила, что это. С резким криком, будто подброшенная электрическим током, она вскочила, прыгнула на подмостки, кинулась к Бугрову и встала перед ним, загородив его своим телом. Один за другим, раздались три сухих коротких выстрела. Даша шаталась, но еще стояла, загораживая Бугрова, отступая назад, направляя его к тому месту, из которого он появился. Бугров исчез за той же дверью. Она захлопнулась за ним.

Между тем в зале поднялась суматоха. Публика разбегалась по разным выходам. Даша, оставшись одна, покачнулась и рухнула, во весь рост вытянувшись у маленькой двери. Мистер Райнд, забыв обо всем, кинулся к ней. Одной рукой он старался приподнять ее, а другой — толкал маленькую дверь, но дверь была заперта. Из всех звуков он слышал только громкое дыхание Даши. Он поднял ее на руки. Она дышала с хрипом и становилась всё тяжелее. Ее глаза были широко открыты, и раза два она произнесла какое-то слово. Мистер Райнд не понял, что она сказала.

Они оставались лишь вдвоем во всем зале. Он держал ее на руках и глядел на нее в полном отчаянии, а она еще раз прошептала всё то же русское слово, которого не знал и не понимал мистер Райнд.

Вдруг он почувствовал что-то горячее и мокрое на своем теле и с ужасом понял, что это Дашина кровь, что весь он облит ею, что она просачивается через его одежду. Он держал Дашу крепко, смотрел на нее с горькой нежностью. Он знал, что она умирает.

После первого момента ужаса и растерянности энергия и воля вернулись к нему: Дашу надо вынести на воздух, нужен телефон, доктор, машина «скорой помощи»...

Но куда идти? Где выход? Где телефон?

Мистер Райнд осмотрелся: самая большая дверь должна быть главным входом, ближе к улице, подумал он. Он вынес Дашу через самую большую дверь. Но она вывела не на улицу, а во двор, очевидно, чей-то дровяной склад. Повсюду лежали доски, на земле валялись стружки и опилки. Он остановился на минуту — ему показалось, что Даша опять произнесла то же слово.

Нагнув к ней свое лицо, он попросил умоляюще:

— Ангел мой, скажите это по-английски... Я не понимаю...

Но было уже поздно. Она не слышала. Она не могла говорить ни на каком языке...

Ему хотелось, чтоб она умерла спокойно. Он бережно поднял и положил ее на чистые свежие доски и сам стоял над нею, не спуская глаз с ее детского лица, с остановившихся глаз. Казалось, уже начало светать. Свет был неясный, неопределенный. Лицо Даши покрывалось тенью. Ему казалось, что она все еще смотрит на него в упор, видит его. Этот страшный взгляд сковывал их вместе, и ему казалось, что он не стоит, склонившись над нею, а что оба они летят со страшною быстротою вниз, в бездонную пропасть. Они так быстро падали, летели туда, что ветер свистел в ушах и тьма покрывала их сверху.

Наконец, они достигли дна. Даша ударилась первой, а затем и он почувствовал страшный, отраженный толчок. Мистер Райнд пришел в себя. Он выпрямился и стоял, глядя на Дашу. Она лежала спокойно. Она была мертва.

И он вдруг как-то странно успокоился: она была мертва. Ее не было в живых. На светлых досках, опилках и стружках темнели пятна Дашиной крови. Светало понемногу, или же ему только казалось, что светает. Он дрожал от холода. Его мокрая одежда, клейкие руки — это была жизнь и реальность. Но он снова терялся, не знал, что делать. Время как бы остановилось.

— Эй! Не оставляй свидетеля! — крикнул вдруг кто-то неподалеку, и мистер Райнд увидел двух бегущих к нему людей. Один, с револьвером, отвернув лицо, пробежал мимо. Другой очень медленно (или это так казалось мистеру Райнду?) шел на него. Он смотрел на мистера Райнда испытующим взглядом наступающего боксера, и его намерение, как бы отраженное вдвигающихся мускулах его лица, угадать было не трудно. Но мистер Райнд не двигался. Он стоял на месте спокойно, как в полусне. Подойдя ближе, человек вдруг быстро поднял руку с кастетом и нанес мистеру Райнду страшный удар по голове. Мистер Райнд беззвучно упал на землю около досок, на которых лежала Даша.

XXVII

Когда мистер Райнд пришел в себя и несколько опомнился, ему не захотелось открывать глаз. Он возвращался из небытия медленно, неохотно. Он постепенно отделялся от великого безболезненного покоя, уже слыша голоса и звуки, и знал, что как только он откроет глаза, мир присоединит его к себе и включит в жизнь. В настоящий момент он всему предпочитал покой.

Он лежал, очевидно, на какой-то кровати. Около него были люди. Они трогали его, говорили что-то и ему и о нем. Но мистер Райнд старался не слушать, не вникать, и не открывал глаз. Ему хотелось скрыться, вновь уползти во тьму, в небытие, из которого его выбросило сознание. Там было лучше, там ничего не было, и ему хотелось опять туда.

— Вы слышите меня, мистер Райнд? — мягко спросил кто-то и осторожно тронул его за руку.

Мистер Райнд старался скрыться от голоса. Но голос зазвучал ближе. — Вы — мистер Райнд? Не правда ли?

— Конечно, это — он, — сказал кто-то неподалеку. — Звоните американскому консулу.

Но мистеру Райнду удалось снова уползти в ту спокойную тьму, где ничего не было, и притаиться там.

Затем — позже — он как бы проснулся и открыл, наконец, глаза. И не смог понять, что происходило вокруг. Предметы, комната и он вместе с ней — всё кружилось в быстром движении, как в калейдоскопе. Он закрыл глаза, отдохнул и открыл их снова: все так же мчалось по кругу, в одном сплошном движении, оставляя за собою светящийся след. Но движение это постепенно замедлялось и, наконец, с толчком остановилось.

Мистер Райнд обнаружил себя на кровати, в комнате. В окно глядел солнечный день. Вокруг кровати стояли люди.

— С вами все хорошо, все в порядке, — сказал один из присутствующих. Он был весь в белом. — Все благополучно, — повторил он. — Череп цел. Вас даже можно отпустить из госпиталя. Американский консул был здесь. Он вскоре приедет опять. Он устраивает для вас помещение.

— Что случилось? — спросил мистер Райнд и удивился: он говорил не своим голосом.

— Спокойствие, спокойствие, — сказал человек в белом и положил твердую руку на плечо мистера Райнда. — Не говорите больше. Приедет консул, будете говорить с ним.

— Но где я?

— Вы — в госпитале. Полиция доставила вас сюда. Мы ничего не знаем. Это дело вашего консула. С вами все в порядке. Отдыхайте. Успокойтесь.

И вдруг мистер Райнд всё вспомнил.

— О, эта убитая девочка! — крикнул он, и нервный припадок стал сотрясать все его тело.

Он на всю жизнь запомнил этот день в больнице, тяжелый, путанный день. Приходили знакомые, доктора, консул. Они входили на цыпочках, старались говорить тихо, сочувственно улыбались, кивали головами. Затем приходили полицейские, неуклюже ступая по полу и тяжело сопя, задавали вопросы, записывали ответы. Доктора то и дело притрагивались то к мистеру Райнду, то к пузырю со льдом на его голове. Было тяжело и беспокояно.

Потом мистер Райнд был, наконец, оставлен в покое; остался один на один с сиделкою. Он задремал и смутно слышал, как по коридору медленной шаркающей поступью прошли какие-то люди. Казалось, они несли тяжелую ношу. Сиделка кинулась к двери и плотно прикрыла ее, чтоб ее пациент случайно не увидел, что там происходит. Шествие двигалось мимо комнаты мистера Райнда: это уносили труп Даши. Формальности — полицейские и медицинские — были выполнены, и мертвое тело отдали тем, кто просил об этом: Даша ушла к своим товарищам. Покрытую белой простыней они уносили ее на носилках. Даша не была тяжела, но носилки были чересчур велики, и их с трудом поворачивали в узком коридоре больницы.

Затем еще раз приехал американский консул. С ним был мистер Питчер. Требовалось перевезти пациента из шумного госпиталя в более спокойную обстановку. В Харбине не было ни американской, ни английской больницы. Решено было поместить пациента в дом мистера Питчера, — идеальное место в смысле покоя.

— Пожалуйста, — приглашал мистер Питчер, — пожалуйста.

Мистер Райнд слушал, понимал, соглашался, но как-то не мог вникнуть во все происходящее. Ему казалось, что лечение будет заключаться в нескольких днях бездействия и покоя, а там он будет совершенно здоров. Но если бы ему сказали, что он умрет через полчаса, он принял бы и это с таким же тупым равнодушием. Он слегка заволновался только тогда, когда его на носилках понесли к автомобилю. Он не помнил, чтобы его когда-либо носили, он всегда ходил сам, и эта необычайность положения удивила и встревожила его.

Итак в доме Питчеров произошли перемены: в нем поселились двое новых жильцов: мистер Райнд и Никитка.

Никитка был нанят, мистер Райнд — приглашен, по настойчивой просьбе американского консула. С присущей им экономией чувств и слов, уладили. Питчеры между собою эти два «предприятия»: она — спросив, согласен ли он, он — ответив «пожалуйста», когда дело коснулось Никитки, и в обратном порядке — для мистера Райнда. Комнаты для этих двух посторонних особ были отведены по возможности дальше от тех, где обитали хозяева. Мистера Райнда устроили в самой дальней комнате дома, и к нему был приставлен отдельный, хорошо вытренированный, говорящий по-английски китаец-слуга; постоянно смеющийся доктор немец был приглашен для ежедневных посещений пациента. Никитку поместили в маленькой комнатке, тоже в противоположном конце дома, где, рядом с ним, в другой комнате поменьше, спал повар китаец.

Рутина была восстановлена, и Питчеры, по крайней мере, сам господин Питчер, на большую часть дня мог совершенно искренно забывать о новых жильцах в своем доме.

На третье утро пребывания у Питчеров, часу в десятом, мистер Райнд был разбужен звуками музыки. Играл большой духовой оркестр. Это был какой-то торжественный марш, но звуки его не только торжественно, а, скорее, угрожающе, доносились издалека, всё приближаясь к дому Питчеров. Они проникали через все поры стен, потолка, окон и, непреодолимые, как волны во время прилива, властно заливали всё вокруг. От них невозможно было укрыться. Мистер Райнд встал, накинул теплый халат, распахнул окно и выглянул на улицу.

День был свежий, холодный и яркий. По улице шел духовой оркестр, за ним следовала большая толпа. В середине движущейся толпы несли небольшой гроб: это были Дашины похороны. Ее хоронили самым торжественным образом, по традициям атеизма и коммунизма, без духовенства и молитв, но с песнями, речами и музыкой. Гроб, покрытый красным флагом, несли на руках, и среди этой огромной толпы и оглушительной музыки он выглядел таким маленьким, что казалось хоронили ребенка.

Мистер Райнд увидел всё это отчетливо из окна второго этажа. Его сердце дрогнуло. Ему представилась Даша, такой, какую он наблюдал ее, какой понимал ее характер и жизнь: сирота, чье-то беззащитное дитя, жертва чьих-то политических преступлений, чьих-то исторических ошибок прошлого и настоящего. Но Даши уже больше не было. Ее существование закончилось так же трагически, как началось.

Вдруг музыка прекратилась. Минутное молчание, и... толпа запела. Они пели живую, бодрую песню, не имевшую ничего общего с Дашей, лежащей в гробу. Мистер Райнд подумал, что в этой огромной толпе нет ни одного из родственников Даши. Возможно, их у нее и вообще не было, по крайней мере, никого среди живых. Ни для кого в жизни она не являлась родной, единственной, незаменимой. Для людей в толпе — она была верным, хорошим товарищем, сраженным на пути к будущему счастью народов. И эта песня их была скорее приветом жизни, нежели печалью о смерти. Товарищ в гробу уходил, его место займет другой товарищ.

Толпа проходила, удалялась, унося Дашу. Уже издали доносилось:

Широка страна моя родная,
Много в ней полей, лесов и рек,
Я другой такой страны не знаю...

Это видение Дашиных похорон навсегда запечатлелось в сердце мистера Райнда, как нечто характерное для его времени и поколения: дитя без семьи, усыновленное народом, и сиротствующее в его густой массе.

И Лида пошла хоронить Дашу. Она никому не рассказала о их последней встрече на берегу ледяной Сунгари, но это воспоминание тяжелым камнем лежало на ее сердце: «Зачем я тогда убежала от нее? Мне надо было остаться. Мне надо было попробовать поговорить с нею, ласково-ласково. А я убежала...»

Возможно, Лида была единственной в толпе, если не считать еще мистера Райнда в окне второго этажа дома Питчеров — кто сердечной болью отозвался на Дашину кончину. Ни для Лиды, ни для мистера Райнда не существовало героической стороны ее смерти, обращенной к будущему. Для них Даша была не товарищем, а просто человеком. Лида шла и тихонько плакала. В толпе никто не знал ее, на нее косились, смотрели почти враждебно.

После похорон Лида направилась в монастырь отслужить по Даше панихиду. Игуменья позвала священника и хор и объяснила, по кому заупокойная служба. Старые монахи заволновались:

— Матушка-игуменья, да ведь убиенная девица была неверующей, коммунисткой, значит, враг Христов.

— За врагов Христос и повелел молиться.

— Матушка-игуменья, смущает нас это!

— Слушайте меня, матери, — сказала игуменья, — знаете вы, кто эта убиенная юница? Сирота она, чья — неизвестно. Есть тут, среди вас, вдовы, чьи дети и внуки в России. У всех у нас там остались родственники. А ну, как она твоя родная внучка, мать Перепетуя? Или твоя племянница, мать Анфиса? Или, может, твоя дочка, что ты потеряла на вокзале и по которой по сей день плачешь, мать Се-рафима? Гм... — в скобках заметила мать-игуменья, — как раз ведь

ей около двадцати лет, покойнице-то! Ну, короче, девица убиенная — наша плоть, наша кровь, наша кость, твоя ли она дочь, ее ли племянница — общая она — наша, русская. Не отпустим же ее из этого мира без нашей молитвы, матери! Помолимся! И жила-то она недолго, эх, да и как жила! — сами знаете, в сиротстве, в голоде, в холоде. А смерть ей дана Богом прекрасная — «за други своя». Не всякому дается такой завидный конец, только иным, по любви Христовой. А что не молилась сама она, не верила, так тому ее не научили — а вот мы и помолимся за нее, что следует. И не смущайтесь, матери: лишней молитвы не бывает.

Панихиду отслужили. Но не все монахини успокоились. Они обступили игуменью и просили ее побеседовать с ними о России и революции. Игуменья любила поговорить, порассказать.

— Революция? Как же, помню! Чего-чего, а уж этого не забудешь. Монастырь наш около Костромы был, — большой, знаменитый, богатый. И дома тебе, и леса, и поля. Монашек сотни две — и разного сорта — от самых святых и до самых грешных: люди-то везде одинаковы. Вот пошли страшные слухи: расходилась, разбушевчалась революция. Игуменья наша — безусловно святая душа, — проводила и дни и ночи в сскрушенной молитве: «да остановится». Не внял Господь, однако. Видения ей были — наставительные, и нам приказывала: «Готовьтесь, — говорила, — готовьтесь к испытаниям!» — И вот декрет пришел: распустить монастырь, монахинь, то есть, на все четыре стороны. Велела она отслужить молебен с акафистом, а потом объявила декрет во всеуслышание и сказала: «Кто хочет идти — идите с миром!» Много монахинь ушло, кто с печалью, оглядываясь, а кто и с песнями, без оглядки. В городе тех, что с песнями, хорошо приняли, даже модными они стали на недолгое, правда, время, с речами выступали...

Я же молода была тогда. Молодая и здоровьем сильная. Стала я молиться: «Пошли мне, Господи, мученический конец! Хочу умереть за веру». А игуменья упрекала меня за самолюбие, за излишнее, неразумное рвение: «Честолюбива ты очень, — сказала. — Смирению учись: примешь конец, какой Господь пошлет, не выбирай себе славы и в смерти». Времена же пошли тяжкие, и из оставшихся монашек стали многие уходить, страха ради и голода. Имущество — поля там и леса — всё давно отобрали. Голодали мы. И вот приходит еще декрет от комиссара: отдать всю ценную церковную утварь. А ценная же была утварь, правду сказать, и много было той утвари! Является в монастырь комиссар с солдатами, солдаты же с винтовками. «Давайте!», — говорит. И расположились они пожить в нашем монастыре. Дивились: стены какие толстые! Должно и тепло же тут! Зима тогда стояла. Матушка-игуменья сама лично ведет это с ними переговоры, нам же не велит и показываться. Отвела им жилое помещение, а у них просит милости: сами мы снимем ризы, сами всё соберем и вам отдадим, а уж вы не прикасайтесь, к престолу особенно. Солдаты — ничего, согласные. Игуменья наша им понравилась, слушались ее — церковь осматривать пришли, по ее просьбе и шапки сняли; в церкви тоже она им курить не позволила, в сад выходили курить. Все забрали, игуменья же — расписку, чего сколько взято. А как ушли они, то с ними ушли и еще две монахини.

И вот это оторчило матушку-игуменью больше всего. «Теперь вижу — пошатнулась вера!» — сказала она и заплакала. Осталось нас четырнадцать человек на весь на огромный наш монастырь. Она и говорит нам горько: «Может и еще кто из вас хочет уйти, то идите сейчас!» — и ногою топнула. Мы же заплакали и отвечаем: «Никуда мы не пойдем, матушка-игуменья, да и некуда нам идти!» — «Ну что ж, помолимся за ушедших!» — сказала наша игуменья и приказала нам о них всю жизнь молиться. Я вот и по сей день за них молюсь, — закончила она свой рассказ.

— Матушка-игуменья, — раздался голос, говорила мать Таисия, — слушаю я вас и сердцем моим удивляюсь. Говорите вы о революции спокойно, и коммунисты, по вашим словам, вели себя в монастыре со всем человеческим достоинством... а были же в вашем монастыре, хотя и в другое, более позднее время, страшные события, было и осквернение святынь и мучительства...

Игуменья на минуту закрыла глаза, лицо ее потемнело. Когда она вновь открыла их, они сияли теплом и светом.

— И то было, матери, и то было... но не буду того рассказывать, то — остается на суд Божий — не человеческий. А нам надо забыть и простить. Кончен разговор о революции. Идите с миром!

XXVIII

В жизни Платовых начались неожиданные и большие волнения: Глафира объявила, что выходит замуж за японца Умехара-Сан, Галина — что решила уйти в монастырь. Обе просили родительского благословения. От Володи не было ни обычных сорока долларов, ни объяснений, почему их нет.

Решение Глафиры, как более неожиданное и не терпящее отлагательства, обсуждалось первым. Оказалось, что она уже все обдумала и взвесила все «за» и все «против». Последние были многочисленны, и, по мере углубления в тему, возникали всё новые и новые «против». «За» было одно-единственное — материальная выгода, но этот аргумент обладал такой силой, перед которой отступало все остальное.

О главном, что терзало сердце Глафиры, она и не заикнулась: она любила мистера Рэна. Напрасно. Первая Красавица города, казалось, держала его в руках. Их видели вместе и в цирке и в кинематографе. Не считая себя красивой, Глафира не вступала в единоборство. К чему? Быть смешной? Быть навязчивой? Лучше отойти в сторону, всю жизнь «страдать молча». Пусть у него останется память о ней, как о веселой, приветливой девушке. Она же — Глафира — не сможет больше никогда никого полюбить и, следовательно, для нее — «все жребии равны».

Браки, как она знала, заключаются по любви или по расчету. Ей выпала судьба выходить по расчету. Обстоятельства жизни сужали расчет до единственного претендента — Умехара-Сан. Здесь начинались бесчисленные «против». Японец! От одного этого слова ее мать заплакала горько, — да ведь это, может быть, грех! Но Глафира бодрилась, — ничего! Он мне даже нравится. Японец — тоже человек. Он обещает принять православие, а перед Богом, сама знаешь, «ни эллин, ни иудей», — все одинаковы. Она не давала ни себе, ни роди-

телям надолго останавливаться над мрачной стороной будущего брака, отгоняла тени улыбкой, указывая на все возможные выгоды, дробила их на мельчайшие практические детали, и вставала заманчивая, пленительная картина общего благополучия семьи Платовых.

Подумайте только! Как каждый японец, Сейзо Умехара питал благословенное чувство к семье и родственникам вообще. Он обещал взять к себе всю семью Платовых. В городе у него большая хорошая квартира. Паровое отопление! Он согласен на русский стол. Есть можно будет, сколько угодно. Слышите? Это одно чего стоит! Мальчиков — сейчас же в гимназию. Папу — лечить. Умехара-Сан устроит это бесплатно. Потом папе найдется другая работа, не столь вредная для здоровья. Мама будет заведовать хозяйством, но, конечно, найдем повара китайца и бойку. Сама Глафира поступит на курсы, станет изучать языки. Возможно, удастся выписать и Володю из Шанхая и найти и ему работу в городе. И Галина и Мушка будут учиться и лечиться. Голова кружилась от картины подобного благополучия, и все же, под конец разговора, мать начинала опять плакать. Отец, обычно, мрачно молчал. Глафира же торопилась с окончательным решением вопроса, боясь, что ее бодрость может иссякнуть. Мечтая о том, как прекрасно изменится жизнь семьи, она испытывала теплую благодарность, почти родственную нежность к Умехара-Сан. Она почти любовалась им, когда его не было близко: какой благородный человек! Но тут же вставала горькая мысль: ах, если бы можно было всё это иметь без Умехара-Сан!

Но он был довольно симпатичный японец, вполне приемлемый, поскольку не выходил за него замуж. Он вызывал даже сочувствие, как сравнительно несчастный человек. Воспитанный в Европе, Умехара-Сан оторвался от японской стихии, но, в то же время, не сделался и европеем. Он стоял одиноко между двух культур, двух миров, одиноким и близких и чуждых ему. Подсознательный мир его был, конечно, японским. Сознательный человек в нем желал стать европейцем, утвердиться в этой среде. Глафира отвечала его эстетическим идеалам, а тот факт, что у нее была многочисленная семья, давал ему возможность сразу обрести свой дом, свой готовый мир, большое и прочное основание для устройства личной судьбы.

По наружности, сама того не зная, Глафира была полна очарования для японских глаз. Ее овальное лицо, белая прозрачная кожа с легким налетом румянца, черные прямые волосы, очень длинные и тонкие брови, легкая сутуловатость, слегка склоненный затылок, продолговатые глаза — все это было знакомо мистеру Умехара по старинным поэмам и картинам, как атрибуты женской красоты. Но она имела больше того: ее миндалевидные глаза были не темные, как полагалась бы японской красавице, нет, неожиданно они были голубого цвета. Такое чудо Умехара-Сан видел в первый раз в жизни. Он полюбил Глафиру.

О своих чувствах он сообщил Глафире в прямой и несколько грубой форме. Она обиделась сначала. Но он тут же добавил, что ему неизвестна манера, в какой об этом говорится по-русски, к тому же он знает недостаточно слов. Глафира засмеялась. Она в ту минуту была далека от мысли, что сможет когда-нибудь принять предложение.

Чтоб смягчить отказ, она заговорила о невозможности оставить семью. И тут оказалось, что Умехара-Сан предполагал взять всю семью Платовых вместе с Глафирой и быть почтительным сыном ее родителей, обеспечить их всем, чем обладал сам. И говорил он об этом в прссительной фсрме. Голова ее закружилась при мысли, что все невзгоды семьи могут вдруг так закончиться. Она еще возразила ему по вопросу религии. Умехара-Сан отвечал, что согласен принять христианство, так как его собственная религия для него имеет значение лишь мифологии. Глафира попросила дать ей время на размышление.

Дома ее ожидало письмо от брата. Володя писал ей — любимой сестре — правду, но от остальных по секрету: он потерял работу; ресторан — из-за скандала — был временно закрыт полицией. Володя не сможет послать семье обьчные сорок долларов на этот месяц. Он просил Глафиру как-нибудь устроиться с платой за квартиру.

Через неде́лю пришло другое письмо: Володя спрашивал, не может ли Глафира выслать ему десять долларов, ему не на что жить.

Во всем огромном, широком море был один единственный человек, у кого Глафира могла найти десять долларов взаймы — Умехара-Сан. Она взяла в долг эти деньги и послала их брату. После этого она заявила семье, что довольно раздумывать, пусть родители ее благословят, и она обручится с мистером Умехара.

Был холодный безжалостный день. Квартира стояла нетопленной. Семья грелась чаем. На столе красовалась коробка с бисквитами, подаренная мистером Умехара; и эта коробка была единственным светлым пятном на фоне этого дня, этого вечера, если не считать тихого сочувствующего мурлыканья самовара. Все остальное было темно, печально и мрачно. Но мать Глафиры не прикасалась к бисквитам, словно они были отравлены. Отец-Платов был нездоров. У него расхотелась болезнъ псчек. Он сидел, согнувшись на стуле, молча, устремив неподвижный взгляд на свои колени, прилагая усилия, чтоб не застонать от боли. У Котика был грипп. Он лежал с высокой температурой, укрытый всеми одеялами семьи. Мушку «отделили», то есть она находилась в противоположном углу комнаты, без права подходить к больному брату. У нее были сильно увеличены гланды, всякие простуды для Мушки оканчивались тяжелыми осложнениями в горле. Гланды давно решено было удалить, «как только будут деньги на операцию». Между тем, девочка сопела, задыхалась по ночам, дышать могла только с открытым ртом — болезнъ уже совершала свое разрушительное дело, а денег всё не было.

Мать стирала что-то в потемках на кухне. На душе у нее было тяжело, и она искала уединения, чтоб остальные не видели ее лица. Гриша, по-мальчишески влюбленный в Лиду и героически переносящий страдания первой любви, сидел на полу, у порога, и чистил всем ботинки, особенно трудясь над обувью своего «идеала». Про себя он думал о том, что сделал бы для Лиды, если бы в руках у него вдруг оказался миллион американских долларов. В Лидином «уголке», за опущенной занавеской, Галина и Лидида о чем-то горячо шептались.

Глафира сидела у самовара в мрачном раздумьи. На коленях у нее лежала работа: надо переделать старые брюки отца для Гриши. Задача оказывалась невыполнимой. Нечего было и начинать работу.

— Гибель! Гибель! — думала она, подавленная общим настроением в доме. — Мы гибнем! И никто еще не знает, что от Володи не будет денег... нечем платить за квартиру. Нас просто выбросят на улицу. Мы погибли!

Мать, подкрепившись раздумьем и тайной слезою у себя на кухне, решила, что псра как-нибудь подбодрить свое семейство.

— Детишки! — сказала она, появляясь на пороге. — А что вы скажете, если завтра утром я подам вам лепешек к чаю?

Эти слова как-то вдруг ранили сердце Глафиры. «Вот так надо жить! — подумала она о своей матери. — Мама — герой. Это я, дура, сижу и раздумываю... Что я, трусом родилась, что ли?»

Одним быстрым взглядом она окинула дом и семью. «Все это я могу изменить в минуту! Маме — отдых, папе — доктор, братьям — школа, Мушке — операция. Но пока я, дура, тут сижу и раздумываю, какая-нибудь японочка подхватит Умехара-Сан, вот и будет мне на вечную память — сожаление. Боже, прости меня за малодушие, за колебание, за недостаток любви к ближним, к самым моим ближним!»

Она взглянула на икону в углу. Там не светилась обычная лампада: не было денег на масло. Она посмотрела в темноту и твердо пообещала: «Господи, завтра я дам мое согласие... Будь со мною! Поддержи меня! — и, склонив голову на стол, она тихо, беззвучно заплакала. — Вот и прощай молодость! прощай — самое светлое время жизни!»

Галя, между тем, шептала Лиде:

— Я знаю, я — больная. Все равно, не будет мне обычной жизни, как всем. А в монастыре я стану молиться. И за свою семью, и за всех людей: чтоб не было в жизни мучений, чтоб человек не мучил человека, чтоб научились люди не мучить никого. Я там и работать буду, конечно. Я, знаешь, уже не раз ходила к игуменье. Она говорит, им нужны грамотные мснашки, но что нельзя в монастырь без согласия и благословения родителей. Ты пррси за меня, Лида, и папу и маму. Я буду читать в церкви! Я уже читала игуменье, и она сказала — «превосходно». Хочешь я тебе почитаю? Знаешь, я всем сейчас почитаю. Видишь, и папа болен, и Котик болен, и Мушка нездорова. Мама, я знаю, сегодня все плачет втихомолку.

Они вышли из-за занавески, Галя взяла часослов. Семья любила ее чтение. Она села к столу, к лампе, и начала: «Иже на всякое время, на всякий час».

Она читала вполголоса, смиренно и проникновенно.

... Иже праведные любяй, иже грешные — милуяй, иже всех зовьй ко спасению» ...

Это «всех» звучало у ней твердой надеждой и тихой радостью. Галя никому не желала ада.

После псалмов выпили чаю с бисквитами. Поморщившись, и мать, по настоянию Глафиры, съела пару бисквитов. Как только согрелись, у всех посветлело на сердце, даже шутили и смеялись.

Но утром Глафира получила еще одно письмо от Володи: он заложил скрипку. Прочитав это, она решительным шагом направилась в бакалейную лавочку за углом и оттуда позвонила мистеру Умехара, выразив желание увидеться с ним немедленно, в тот же день. Он был

очень обрадован. Она слышала это по тону его оживленного, торопливого ответа: он пригласил Глафиру пообедать в лучший ресторан города. Домой, из лавочки, она шла уже менее решительным шагом. Мать ждала ее на пороге:

— Глафира, что случилось? Ты получила письмо от Володи? Что с ним? Говори правду! Он не послал денег? Смотри мне в глаза! Володя болен? — она схватила Глафиру за плечи и трясла ее: — Говори скорее! Не мучай меня! Что случилось?

— Мама! — воскликнула Глафира нежно и мягко, заставив себя хорошо, широко улыбнуться, — представь: никаких ужасов! Слушай правду: хозяин ресторана задержал плату всем служащим, самое большое — на две недели. Деньги, значит, придут дня через три-четыре. Володя смущен, стесняется написать вам, пишет мне; вы знаете, у нас клятва — не иметь секретов друг от друга. Всё. Видите, мама, ничего ужасного. Дайте, я вас поцелую!

— А куда ты сейчас ходила?

— Умехара-Сан приглашал меня на обед сегодня. Я обещала позвонить ему. Сказала, что приду.

— Глафира, милая, послушай меня: откажи ты этому японцу. Вот Володя пошлет денег . . . будем жить, как жили. Успокой меня.

— Мама, а если он мне нравится?

— Не лги, Глафира, не лги! Он, может, и славный человек сам по себе и очень хорош для японки. Но я прошу тебя . . . оставь это.

После полудня Глафира начала собираться на свой первый обед в ресторане. Лида, как «опытная», как «видавшая виды», учила ее уму-разуму. Прежде всего — туалет. Лидино платье, чулки, перчатки и шляпа. Перчатки малы, но их можно просто держать в руках, вместе с Лилиной сумкой, без перчаток — никак нельзя.

Умехара-Сан заказал прекраснейший обед. Он хотел заказать и шампанское, но от вина Глафира категорически отказалась. Этот лучший обед, в своей жизни она ела мрачно. Душа ее ныла от унижения: она решила сегодня же, дав согласие на брак с Умехара-Сан, попросить у него денег «взаимы». Думала об этом и не знала, сколько просить, на какой сумме остановиться. Сорок — на квартиру. Но почему не попросить уж сразу — пятьдесят? Или семьдесят пять? Послать Володе пятнадцать, а остальные тратить. Маме сказать, что послал Володя, Володе написать, что деньги достал папа. И концы в воду! Она знала, что родители никогда б не позволили ей взять денег от японца, во всяком случае, до брака. До брака? Это сегодня вечером, сейчас после обеда, она даст ответ. Да и ее приход в ресторан, этот обед с ним — разве это уже не есть полусогласие? Но, Боже, как вкусно! О, если б всё это можно было унести домой, поделить, всех угостить. Всем бы хватило! — Она с оттенком почти злобы, почти мести — думала: уж если выйду за него — обед из трех блюд ежедневно! Да-с, мистер Умехара!

Умехара-Сан увивался, как уж, около Глафиры. Он наклонялся близко и снизу вверх заглядывал в эти навеки поразившие его темно-голубые глаза — верх красоты, верх совершенства! Уловив ее взгляд, он восторженно улыбался, широко открывая рот, где в необычайно

большом количестве видны были страшные, наполовину золотые, кубической формы зубы.

О своей любви к Глафире он начал говорить за десертом. Он продекламировал ей несколько коротеньких классических поэм о любви, которых она, конечно, не понимала. Они ей казались ужасными по той манере, с которой они читались. Умехара-Сан сначала закатывал глаза, а потом суживал их, так что в оставшиеся маленькие щелки видны были лишь белые полоски. Закончив поэму, он слегка шипел, опустив благоговейно голову. У него были темные, серо-лиловые губы. Он предложил Глафире по-японски назваться Глицинией, и этим именем записаться в японский паспорт при брачном контракте. «Жених! — думала горько Глафира. — И под какой звездой это я родилась?»

Умехара-Сан носил с собою свой особый запах, сладковато душистый запах своей расы. «Может, это только мыло его так пахнет, или табак? — утешала себя Глафира. — Может, это удастся изменить?»

В горестных размышлениях она ела вторую порцию мороженого, принимая мстительные решения: мороженое — для всей семьи будет у нас к а ж д ы й праздничный день! — Она старалась вообразить аппетит Мушки, Гриши, Котика, сосредоточиться на этом видении, вдохновиться им. Мистеру же Умехара казалось, что это его поэмы слушает она с таким глубоким вниманием, и он был счастлив. Вскоре он перешел на практическую сторону их будущей супружеской жизни. Начав с гипербол о Японии, с комплиментов горе Фудзияма, городу Токио и дому, где они будут жить, он стал говорить о прелестях интимной жизни. Реализм его речи, возможно, был бы хорош в Токио, на его родине, где давно установился натуралистический взгляд на любовь, но он оскорбил Глафиру.

«Боже мой! — внутренне возопила она, оставляя свое мороженое. — Боже мой! . . . После этого, если я когда-нибудь умирая стану хвататься за жизнь, цепляться за нее, умолять Тебя о ней, — дай мне вспомнить эту минуту — и я отойду с миром!»

Видя, что она резким движением отодвинула мороженое, мистер Умехара забеспокоился и стал детально расспрашивать о ее пищеварении и вообще о функциях ее организма, попутно сообщая кое-что и о себе, что опять-таки было вполне допустимо в Токио. Он любил Глафиру, он был реалистом, он заботился о ее благополучии, интересовался ее здоровьем.

Слезы выступили на глазах Глафиры.

«Боже! — думала она, — я еще не вышла за него замуж, но я уже понимаю, что можно убить мужа. Взять кинжал, всадить ему в грудь и повернуть два — нет, три — раза».

— Когда же наша свадьба? — осведомился влюбленный жених.

Она склонила голову. Она стиснула зубы. «Мама, папа, Володя . . . Бог с ними! — Она не смогла сказать «да!» этому человеку. — Умрем! Умрем все вместе, умрем — и конец! — думала она с отчаянием, и слезы покатались из ее глаз. — Как же я пойду за него, если уже сейчас я думаю, как его убить?»

Мистер Умехара забеспокоился.

— Вы плачете, Глициния? Так надо? Это — русский обычай?

— Добрый вечер! — сказал кто-то над нею.

Она подняла свое заплаканное лицо. Перед нею стоял мистер Рэн.

— Жорж! — воскликнула Глафира, но поперхнувшись слезами ничего больше не смогла добавить.

— Знаете что? — заговорил Жорж, наклоняясь над нею, — только что начал падать снег. Но как! Хлопьями! Я сюда приехал на санках. Поедьте вместе кататься. Это, конечно, последний снег перед весной. Последний случай кататься нам с вами на санках! Едем!

Волнение ее было так сильно, что, встав, Глафира зашаталась. Жорж подхватил ее под руки.

— Ужасно сожалею, — поклонился он мистеру Умехара, — в санях место только для двоих: старинный русский обычай.

И они ушли.

«Не думать! Только не думать! — пронеслось в мыслях Глафиры. — Боже, как я сейчас счастлива! Господи, Ты дал мне это счастье, и больше я не прошу у Тебя ничего!»

Ночь была необыкновенно, волшебю прекрасно. Свет, снег, ветер. Они неслись на санках вдоль улиц, покрикивал ямщик на свою тройку, и всё летело им навстречу, равнялось с ними, потом исчезало. Раскачивались фонари, освещавшие улицы, быстро летела луна. Снежинки сияли, попадая в полосу света, образуя нимбы вокруг фонарей, как будто б их свет был святыней. В этой ночи, действительно, была какая-то новая святость. Под покровом снега уже трудно было узнать то, что давно было знакомо: дома, повороты улиц. «Где мы? где мы?» Все казалось необыкновенным, полным таинственных неожиданностей. Снег падал на лицо, таял на ресницах, щеках, губах. «Как мы летим! Как крепко он меня держит! Какой лихой ямщик! Какие кони!»

— Отчего вы плакали? — спросил Жорж. Его голос доносился откуда-то издалека.

— Мистер Умехара хочет на мне жениться, — прошептала Глафира и вдруг неожиданно всхлипнула.

— Вот как! — сказал Жорж. Он засмеялся и крепче обнял Глафиру. Летели санки. Все упрощалось в мире.

Она и он. Бег лошадей, снег и ветер. «Вот и я счастлива! Помнить буду всю жизнь!» Из беспокойного, угрожающего, хаотического — мир сужался до ясности, простоты и уюта. Ее голова у него на плече. И снег, снег . . .

С прогулки Глафира и Жорж приехали прямо к Платовым. Едва вошли — все стало ясно. Мистер Рэн сделал предложение Глафире: жених и невеста! Поднялась радостная суета. Гриша раздувал самовар. Ямщик, вошедший погреться, тоже сиял улыбкой: он был уверен, что всему причина — его лихие кони. Мать благоговейно снимала икону. Благословили образом Казанской Божией Матери, и все женщины семьи Платовых, включая и Лиду, плакали при этом.

XXIX

Последние дни в Харбине были для Лиды полны особых хлопот и впечатлений. Она выступала на концерте, в котором ей отвели главное место. Всем Платовым она преподнесла контрамарки, радуясь, что хотя бы этим может отблагодарить за гостеприимство. Но мистер

Рэн, стараясь содействовать успеху Лиды, купил для себя и Глафиры места в первом ряду. Гриша, решивший создать громкий успех Лиде, учил Котика аплодировать «по-настоящему». У ослабевшего от болезни Котика выходило это плохо, но оставалось еще достаточно времени для практики. Глафира обещала Мушке ко дню концерта завить ее волосы в локоны.

Концерт давался в пользу местной русской больницы. Госпожа Мануйлова взялась предложить билет мистеру Райнду. Она застала его играющим в домино с Никиткой. Мистер Райнд еще не совсем оправился и отказался присутствовать на концерте, но билет в первом ряду он купил и сказал, что пошлет Лиде на концерт корзину цветов. Питчеров не удалось повидать: они в этот час никого не принимали.

Концерт прошел отлично. Зал был полон, Лида пела прекрасно и пожала большой успех. Знатоки пророчили ей блестящее будущее. «Мировой голос!» — говорили остальные участники концерта с завистью. Лиде вообще завидовали: счастливица! Молоденькая, хорошенькая, с таким чудным голосом, нашла себе даровую учительницу, и — слыхали? — уже есть жених-американец. Миллионер, конечно. Бывает же на свете счастье!

После концерта Лида стояла в фойе театра. Ее окружала публика, пришедшая из зрительного зала. К ней подходили, знакомились, ее поздравляли, просили автограф. Она очень смущалась, улыбалась милой, застенчивой улыбкой, всем отвечала: «Благодарю вас! Вы очень добры и любезны!»

Жорж и Глафира стояли около Лиды, как дополнение к картине счастья. Об их обручении уже было известно, и их поздравляли. Первая Красавица города, в сопровождении мистера Капелла, молча подошла к Лиде и молча пожала ей руку. Затем она приостановилась на мгновение и, через плечо, бросила два, заранее перед зеркалом заготовленных, взгляда: полный упрека — мистеру Рэну, полный презрения — Глафире и, взяв под руку своего кавалера, медленно удалилась, с поникшей головой и опущенным взором.

Мисс Кларк подбежала к Лиде с криком:

— Божественно! Вы пели божественно и чудесно!

Тут она заметила Лидину брошку, подаренную ей миссис Браун.

— Какая божественная брошка! — закричала, она, всплеснув руками. — Какая чудесная! Я не знала, что бывает такой цвет камня! Где вы ее взяли? Она китайская? Она старинная, настоящая?

Мисс Кларк была собирательницей сувениров. Отовсюду, где она путешествовала, где появлялась хотя бы на минуту, она увозила или уносила что-нибудь для своих коллекций; она покупала, выпрашивала, находила, могла и просто стащить: кусочек лавы Везувия, тарелку из ресторана, ладан из монастыря, чью-то косточку со старого заброшенного кладбища, остаток черепа с поля недавней битвы, носовой платок невесты, идущей к венцу, отрубленную лапу нильского крокодила. Больше же всего она любила настоящие драгоценности.

— Ах, какая брошка! Снимите ее! Дайте посмотреть!

И Лида, грациозным движением руки, унаследованным ею от многих поколений богатых и щедрых предков, сняла брошку и протянула ее мисс Кларк:

— Сделайте мне удовольствие — возьмите на память!

— О, я не должна! Я просто не должна брать ее у вас... — кричала мисс Кларк, протягивая руку за брошкой. — Но раз вы настаиваете... о, это так мило, так божественно-чудно с вашей стороны! До свидания! — она повернулась и ушла, на ходу прикалывая брошку к своему пальто. Но всё же в памяти у нее навсегда запечатлелось милое лицо Лиды, ее застенчивая улыбка и грациозный жест, с которым она протянула ей брошку. Так Лида отдала свою единственную драгоценность мисс Кларк, у которой одних бриллиантов было на десятки тысяч.

А дома, у Платовых, шло волнение. Обсуждалась практическая сторона будущей жизни. Жорж, очарованный семейством Глафиры, как он говорил, «всеми этими мушками и котиками», легко и быстро входил в роль родного сына. Он предлагал разделить все тяготы и невзгоды их жизни, точнее, взять все на себя: увезти всех к себе в Австралию. Они казались ему милым дополнением к Глафире. На это предложение родители взволновались. Всех? К себе? Мать первая опомнилась и сказала решительно, что это было бы «чересчур» и «слишком». Короче говоря, — неприятно и недопустимо.

Долгие оживленные часы прошли в совещании, как разделить семью. Решили — Глафира и Жорж берут с собою мальчиков — Гришу и Котика: их надо учить, им нужна профессия, им нужно подданство. Глафира была человеком, на которого можно положиться. Родители благословляли мальчиков ехать. А как с остальными членами семьи? — подождем: поживем и увидим.

Мальчики были вне себя от волнения. Путешествие! Океан! Австралия! Бумеранг! Кенгуру!

Раскладывались географические карты. Расставлялись точки по океану, как ехать, и на материке, где находился дом Жоржа. С удивлением узнавали, что у него два автомобиля: для езды и для тяжелой поклажи. Был также у него дом и сад, а в саду — ручей, собственный ручей, который далее делался притоком большой реки.

У Гриши была еще и тайная мечта. Он будет учиться, будет стараться, и потом сделает какое-нибудь великое открытие или изобретение, одним словом, удивит мир и прославится. После этого он вернется в Китай и женится на Лиде.

Глафира обсуждала, как станет посылать из Австралии посылки. Мушке обещаны были сласти, Галине — шерсть для вязанья. Оживлению, радости, планам не было конца. Жоржа все в семье боготворили.

Через три дня после концерта госпожа Мануйлова и Лида уезжали обратно в Тяньцзинь. Лида нежно прижимала к груди большую коробку шоколада, подарок для матери. Коробку ей прислал мистер Райнд. Он всё еще болел, всё еще жил у Питчеров и не смог прийти на вокзал попрощаться с Лидой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Жизнь в Харбине, развернувшаяся вдруг с новизной и широтой, переполненная событиями, без остановки мелькавшими друг за другом, совершенно поглотила Лиду. Время промчалось необыкновенно быстро. Переходы от смеха к слезам, от похорон к концерту, из лачуги Хайкануш в роскошный театр, из монастыря в комфортабельный отель мистера Райнда, жизнь у Платовых, с их нуждой, самоваром, болезнями, тревогой, потом — радостью за Глафиру — всё это мчалось одно за другим, волнуя, удивляя, потрясая Лиду, не оставляя времени, чтобы вдуматься, выплакаться или отсмеяться — и, закончив с переживаниями, забыть их.

Лида возвращалась домой, к матери, в ту комнатку на чердаке, которая, по степени важности, была для Лиды центром вселенной — в свой угол. Ей захотелось вдруг поскорее уехать, доехать, приехать, увидеть мать — и заснуть.

За несколько недель в Харбине Лида познала новые стороны жизни, и жизнь стала пугать ее. Нигде, нигде в мире, нигде, кроме семьи, не было уюта, верной любви, верной привязанности. Вставало в душе великое сомнение: есть ли логика в жизни? Есть ли в ней справедливость? Есть ли надежда на что-либо более солидное, чем слепая случайность? Жизнь стала казаться ей хаотической, безжалостной, странной — и, главное, совершенно несправедливой.

«Где же мое место во всем этом?» — думала Лида.

Поезд мчал ее в Тяньцзинь, домой, если не в материальный уют, то в духовный — к матери. Но она чувствовала, что возвращение к прошлому не разрешает ее задач. Раньше всё было проще: она хотела выйти замуж за Джима и петь. Теперь вопросы жизни ставились шире: что — моя вера? Каковы мои политические взгляды? Мой долг перед обществом? Кто прав в текущей борьбе? С кем идти, к кому примкнуть? Возможно ли и честно ли суживать жизнь до личных вопросов: своей семьи, своей любви, своего искусства?

Новый мир, открывающийся перед нею, был жесток и страшен. Было страшно оторваться от старого, от этой комнатки на чердаке и писем Джима, и решить, что это — второстепенное, а в мире есть вещи поважнее.

Наступали сумерки, делалось всё грустнее.

«Жить — не понимая жизни, и умереть — не зная, зачем жила!» с грустью думала Лида. Ее охватывала тоска, мало сказать, мучительная, нет, какая-то новая, казалось ей, смертельная тоска. «Должно быть, это «взрослая» тоска. Должно быть, старшие, пожившие люди именно так ужасно тоскуют», думала она, глядя на свою учительницу.

Госпожа Мануйлова сидела напротив. От усталости она дремала и слегка покачивалась в такт движения поезда. В сумерках полуосвещенного вагона на ее лицо ложились тени, двигались, бежали по нем.

Вглядевшись в это лицо, Лида вздрогнула:

«Боже, какое у нее лицо! Боже, я никогда не думала, что она так ужасно, ужасно утомлена и печальна!»

Ей стало стыдно за себя.

«Она отдает мне все свое время, свою жизнь, а что я знаю о ней? Что я делаю для нее? Ничего. Ах, какое печальное, какое тяжелое лицо! Почему мы, люди, так мало знаем друг друга, почему мы не жалеем ближних, отчего вся эта бедность, унижения, этот страх человека перед человеком? Разве не легче и не проще быть бы всем добрыми? Кто знает, как надо жить? Возможно ли, что все человечество так и живет кое-как, в потемках? Существует ли в мире человек, который знает свой путь?»

Подумав, она решила, что есть. Знает игуменья, знала покойная Даша, знает госпожа Мануйлова. Очевидно, знает и мистер Райнд. А мама?

«Мы никогда не говорим на такие темы с мамой. Пока я с мамой, не возникает никаких вопросов. Всегда ясно, как жить, что делать. Но вот выйду из дома, и меня сразу обступают загадки. Как знать, кто прав? И Даша и игуменья думали, что живут для добра и для людей. Но они обе совсем разные. Больше того, их пути взаимно отрицают друг друга. Моя учительница живет для искусства. Она любит не меня, а мой голос, не мою радость, а мой художественный рост и успех. Без голоса я для нее не существую. Мама? Она любит всякого человека, никого не обвиняя, не осуждая, всё всем прощая и в прошлом и в будущем. И вот я ни у кого больше не встречала такой спокойной души... Значит, мне надо жить, как мама: любить, выйти замуж, затем — семья и смиренная жизнь. С любовью у меня решено. Но что я знаю о Джиме? Верно ли, что именно он и есть лучший для меня человек на свете? Я не знаю этого, я это чувствую. А если обманывают меня чувства? Можно ли полагаться на чувство, когда разум не объясняет мне ничего в моем предпочтении Джима всем людям в мире? Нет писем, а я всё в нем уверена, как в себе. Почему я верю? Может быть именно сейчас, случайно вспомнив обо мне, получив мое письмо, он скажет с досадой: «Еще письмо! Надоела мне эта тьянцзиньская Лида!» Разум мой говорит, — возможно, даже и логично, а сердце: — чтобы Джим это сказал? Никогда! Никогда! — Значит, я строю жизнь мою на иллюзии, на надежде, которой не оправдывает мой рассудок. Значит, я строю жизнь неразумно, фантазией, значит, и ожидать от нее я могу лишь нелепостей и несчастий... Я выбираю не то, что разумно, а то, что мне милее, что привлекает меня. Я — не герой, как Даша, как игуменья, как моя учительница. Я — малодушная, трус. Что мне приятней всего вообразить для себя сейчас? Что я дома, я — вхожу, мама целует меня, а на столе — одно, нет, два больших, два тяжелых, два огромных письма от Джима. Боже, какая во мне узость, если сравнить с другими! И с этой узостью я собираюсь жить!»

Ей было грустно, грустно до слез. Ей хотелось участия, общения с человеком, поддержки. Осторожным, легким движением она нежно погладила руку госпожи Мануйловой.

— Что? Что? — встрепенулась та испуганно.

— Вечер, — тихо сказала Лида. — Уже вечер. Я хотела вам сказать только это.

Госпожа Мануйлова, как бы проверяя слова Лиды, придвинулась и посмотрела в окно. Затем она быстро отвернулась от него и опять закрыла глаза. Казалось, всё, что она видела, причиняло ей боль.

Есть вещи в мире, которые обладают свойством погружать человека в печаль. Часто незаметные при свете дня, при ярком солнце, они вдруг выступают вперед, как только спускаются сумерки, и проявляют свою магическую, тайную силу. Это их свойство. От него невозможно укрыться, не устранив самой вещи. Полумрак там, где нет уюта — какая грусть! Лида была полна ею. Она прислушивалась к щелканью колес. Эти звуки как будто бы отсчитывали и отнимали у пассажиров минуты их жизни, пустые, грустные минуты, погибшие для радости и невозвратные навеки.

— Боже, как мне грустно! — вздыхала Лида. Прижав лицо к стеклу, она смотрела в окно, не разбирая сначала, что — земля, что — небо. Но вот она разглядела звезду. Значит, там было небо. — Я буду смотреть на эту звезду и думать о моей любви, пока мне не станет легче.

Она сидела неподвижно, глядя на звезду. Звезда двигалась, летела за поездом, держась всё время в поле зрения Лиды. Затем, вместо звезды, Лида уже увидела маленький столик в комнате на чердаке, а на нём одно, два, три — всё больше и больше — писем от Джима. Убаюканная этим видением, она задремала.

В Тяньцзинь они приехали вечером.

За время их отсутствия город будто сделался меньше, пустынное, тише. Хотя везде и видны были люди, голосов их не было слышно. Одни двигались спешно и молча; другие — бездомные — молчаливо сидели на тротуарах, прижавшись к стенам, выскакивая углы потемнее. Было меньше света, меньше фонарей на улицах, меньше освещенных окон. Только кинематографы блистали еще ярким неоном — синим и красным, режущим глаз. Шли картины, привезенные из других стран, рассказывающие о другой жизни. Потому, вероятно, эти кино и были всегда полны молчаливой, печальной толпой, несшей туда последние гроши: те, кто не курил опиум, ходили в кино. Бездомные собаки, шатаясь от слабости, крались в тени, скрываясь от преследований и ударов; они плелись на запах пищи, доносившийся из некоторых домов и дворов. «Зачем они живут? — думала о собаках Лида. — Почему им хочется жить? Даже вот этой — с проломленным боком, с сочащейся раной, с парализованной задней ногой. Значит жизнь — такое уж благо? Что заставляет и людей и животных всё забывать, всё переносить — лишь бы жить? Вот эта раненая, подыхающая с голоду собака — почему бы не лечь ей тихонько за углом и перестать существовать? Нет, она скачет на трех ногах, всем своим видом умоляя о пище — и, конечно, не надеясь, даже зная, что не получит ничего. Но почему она брошена всеми? Почему должна погибнуть? Кто виноват в этом? Как жаль, что нет у меня...» Но она вспомнила: у нее остался еще кусок харбинского, платовского бутерброда. Она побежала за собакой, но собака шарахнулась от нее. Впрочем догнать было

не трудно. Запах колбасы достиг собаку и уже гипнотизировал ее. Лида присела на тротуар, развернула бутерброд и тихонько позвала:

— Собачка! Собачка! Это — тебе! Кушай, милая собачка! — Вдруг из-за Лидиной спины вывернулась другая, здоровая собака! В одно мгновение она схватила зубами бутерброд и побежала. А за нею помчалось еще несколько собак — отнимать добычу.

— Боже мой, как жестока жизнь! — заплакала Лида.

Она вспомнила слова покойного профессора Чернова о том, что если честно делиться — в мире всем достаточно и места и хлеба. Но как это осуществить? Лида чувствовала свою беспомощность, запутанность, затерянность перед раскрывающейся перед нею огромной, сложной, ужасной жизнью. Она страдала, и ей хотелось тут же на месте что-то сделать, принять какое-то благое решение и этим облегчить свое сердце.

«Я обещаю, — решила она, — никогда не быть богатой, ничего никогда не копить, иметь только необходимое для жизни, а остальное отдавать тем, кого увижу в нужде. Я обещаю, — повторила она твердо. Ей стало легче. — Пусть хоть только это, пусть это мало и ничтожно, но я сделаю это».

Она шла домой пешком. Госпожа Мануйлова уехала на рикше, но у Лиды не было десяти центов для рикши. Она шла пешком, неся свой чемодан. Ее мысли обратились к дому, и последний квартал она почти бежала.

Ее ждали. Повар широко распахнул дверь на ее звонок. В первом этаже ее встретили графиня с обычной спокойной и приветливой улыбкой, Леон — с молчаливым поклоном. Собака — сдержанно, не выражая чувств и, наконец, мать.

Мать быстро сбежала вниз по лестнице. Она обняла Лиду и поцеловала ее. Одно прикосновение этих рук вернуло Лиде утерянное равновесие, а с ним и уверенность, спокойствие духа: она вернулась домой.

Писем не было.

— Не было? — переспросила Лида.

Из Америки не было. Но было письмо из Англии. Должно, подробно, пространно писала миссис Парриш. Начав с погоды, она сообщала все детали своей собственной жизни и жизни Димы. И Дима писал от себя. Его письмо было в отдельном конверте, адресовано Лиде, запечатано сургучем какой-то, очевидно, его собственной печаткой. С большим усердием, как видно, он вывел печатными буквами по-английски: *personal, confidential*.

Первая же фраза заставила Лиду рассмеяться. Письмо начиналось: «Как поживает моя собака?» — Ах, милый Дима! — и Лида поцеловала письмо.

— Мама, я побегу вниз, в кухню, и приготовлю чай. Пить хочу. А потом мы сядем и будем долго-долго пить чай и обо всем разговаривать.

В кухне, пустой и прибранной, за столом сидел повар и читал. Перед ним лежала небольшая китайская книжечка, в коричневой бумажной обложке. Листы книги были легки и тонки, бумага почти прозрачна. На странице стояло всего лишь несколько иероглифов, затей-

ливо-красивых и сложных. Повар сидел, неподвижно и сосредоточенно глядя всё на ту же страницу. Уже и чайник начал кипеть, а он ещё ни разу не перелистнул своей книги.

«Вот странная манера читать», — подумала Лида, которая в ожидании закипающего чайника, наблюдала за поваром. Ей не хотелось его прерывать, но в ней опять зашевелилась печаль при мысли, что из Америки не было писем. Чтоб заглушить ее, услышать человеческий голос, она спросила:

— Повар, что вы читаете?

— Вот это, — ответил он, легким движением головы показывая на книгу и не отрывая от нее глаз.

— А что там написано?

— Вот это, — отвечал он, не отводя глаз от страницы.

— Но что именно? — настаивала Лида.

— Пять небесных добродетелей: Справедливость, Великодушие, Вежливость, Понимание, Честное исполнение долга.

Он произносил имена небесных добродетелей по-китайски. Лида не поняла.

— А как это будет по-русски?

Все не отрываясь от страницы и так же упорно впившись взглядом в темные иероглифы, повар старался объяснить по-русски. Его тон был холоден, он давал понять, что желал бы, чтоб ему не мешали.

«Боже мой! — думала Лида, — китайский повар в бедной кухне знает, что прежде всего — справедливость. А люди, имеющие власть, словно и не слышали об этом».

Избегая возвращения к мысли о том, что из Америки не было писем, она старалась думать о человечестве — пока закипит чайник. А там — с мамой будет легче. Но сердце ее болело.

— Повар, — начала она, и ее голос прервался, в нем послышались слезы. Очевидно, поняв это, повар поднял голову.

— Повар, — начала Лида, и голос ее дрожал от слез, — когда у вас болит сердце . . . очень-очень болит сердце, что вы делаете?

Он посмотрел на нее странно светящимся холодным взглядом.

— Я никому не говорю об этом.

Взобравшись, наконец, с чайником наверх, Лида как будто бы сразу включилась в обычную колею: мама, чердак, самовар, вечер.

Читали письмо миссис Парриш. Радовались за Диму. Лида угощала маму конфетами. Хотела и сама съесть две-три, но вспомнила о сегодняшнем обещании: «только необходимое» — положила обратно. Матери сказала:

— Не хочется. Я так много и часто ела шоколад в Харбине, что потеряла вкус.

II.

Жизнь Лиды снова стала тем, чем была прежде: надеждой на лучшее будущее. Но писем не было.

Не желая поддаваться гипнозу ожидания писем, который становился всё мучительнее, Лида принялась энергично искать службу. Конечно, все ее старания в этом направлении были напрасны. Наконец,

она собралась с духом и попросила госпожу Мануйлову помочь ей. Та обещала поговорить с миссис Браун.

Миссис Браун была не из тех, кого можно видеть, когда захочется и кому захочется. Она, как солнце на небе, обладала своим собственным дневным путем, который ничто на земле не могло изменить. Лида и здесь осуждена была на терпеливое ожидание.

Между тем, у нее вошло в привычку плакать. Для этого уже установился особый порядок: она любила плакать, когда была одна, в сумерки, не зажигая света. После такого припадка слез она ослабевала физически, испытывала притупление чувств и мыслей, но, вместе с тем, погружалась в успокоение и тихую покорность судьбе.

Однажды, вернувшись домой поздно вечером, Леон услышал какие-то странные, заглушенные звуки. Остановившись у входа, он прислушался. Звуки доносились оттуда, где была дверь, а за нею — лестница на чердак. Казалось, там кто-то плачет. Он осторожно открыл дверь. На узенькой лестнице, на ступеньке сидела Лида, положив голову на ступеньку повыше. Очевидно, истощенная припадком слез, она задремала, вздрагивая и всхлипывая во сне. Он видел лицо ее в профиль. Это тонкое бледное лицо и вся ее небольшая фигурка на фоне старой и пыльной деревянной лестницы представляли патетическую картину. Это забытьё, эти вздрагивающие плечи, это судорожное движение мускулов, проходившее по ее лицу, говорили о том, как долго и горько она плакала.

Некоторое время он стоял в дверях молча. Затем он стал на колени на ступеньке лестницы и осторожно прикоснулся к ее плечу:

— Лида! — позвал он.

Она вздрогнула, сразу проснулась, пришла в себя и подняла голову:

— Что? Что случилось?

Увидев и узнав Леона, она протянула к нему руки, как бы ища у него поддержки. Положив голову на его плечо, она снова заплакала.

Он нежно держал ее в своих объятиях.

— В чем дело, Лида? Расскажите мне.

Он знал, конечно, в чем дело: не было писем. Но он научился ненавидеть эти слова: письмо, Америка, Джим — и избегал произносить их. Лида повторила все эти слова, закончив:

— Я больше не могу переносить этого. Я умру тут в слезах. С ним что-то ужасное случилось. Его родители, конечно, никогда мне не напишут. Я им совершенно не нравлюсь, потому что я — русская. Неужели я так никогда и не узнаю, что же с ним случилось, почему он оставил меня?

И опять, припав к нему, как к родной матери, она горько заплакала.

— Лида, — и в голосе Леона послышался рыцарь, благородный испанец — разрешите мне взяться за это. Дайте адрес, я разыщу вашего жениха и узнаю, что с ним случилось.

— Да? — вскричала Лида. — Вы можете? Вы можете это сделать? Зачем же вы так долго молчали? Скорей, скорей, узнайте!

Он взял обе ее руки в свои и крепко сжал их:

— Я обещаю. Даю вам слово. Если даже для этого надо будет по-

ехать в Америку. Не плачьте больше, успокойтесь. Может быть, вы уже будете знать о нем через несколько дней.

— Но как? Как вы сумеете сделать это?

— Есть, прежде всего, телеграф. Там, где ваш жених, должен быть испанский консул. Я могу просить его разыскать вашего жениха по адресу.

— И он разыщет?

— Я думаю. Во всяком случае, он сделает всё возможное. И ответит вам телеграммой.

Лида глубоко-глубоко вздохнула и в изнеможении опустилась на ступени. Но тут же припадок энергии вновь поднял ее.

— О, Леон! Что же вы стоите? Идите! Идите скорее на телеграф! Скорее посылайте телеграмму вашему консулу! Бегите! Телеграф, ведь, не закрывают на ночь?

— Мне нужен адрес...

— Ах, сейчас, сейчас... — Она уже бежала за адресом к себе наверх. Она задыхалась от волнения, от нетерпения. Через минуту Леон отправился на телеграф.

Известия пришли скорее, чем они ожидали.

Телеграмма от консула носила чисто деловой характер. Джим был серьезно ранен в автомобильной катастрофе на большом спортивном университетском празднике. Он лежал в университетском госпитале. Надеялись, хоть и на медленное, но на полное выздоровление. Возможно, что пациенту не передавали вообще никакой корреспонденции. Помимо этих официальных сведений консул не обещал сообщить ничего больше.

Как Лида ждала этой телеграммы! Она выхватила ее из рук почтальона, убежала к себе на чердак и там начала читать быстро-быстро. Но, по мере чтения, биение ее сердца замедлялось, жизнь в ней замирала. — Нет, этого не может быть! Она просто не так читает, не так понимает слова. И опять она начинала с первого слова и снова читала и читала эту телеграмму, такую точную в выражениях. Смысл прояснялся, и вокруг рушился мир. Всё вокруг разрушалось, беззвучно рассыпалось в пыль, и эта пыль превращалась в ничто. Лида была одна, с пустым сердцем, без опоры; она повисла в воздухе, и над нею сгущалась тьма. Ей казалось, что она не видит и никогда уже не увидит ничего. Беспомощно разводя руками, она пыталась опереться о стены, сесть, лечь куда-нибудь, скрыться, умереть.

Это было началом нервной болезни, унесшей три недели Лидиной жизни. Периоды полной апатии сменялись вдруг припадками острого беспокойства. Она вставала и на дрожащих от слабости ногах, хватаясь за стены, за вещи, начинала собираться — куда-то идти, что-то делать, ехать в Америку. Она умоляла достать ей денег, добыть ей визу, помочь одеться, помочь сложиться, увезти ее к пароходу. Она не слушала слов и объяснений матери, графини: на пароходе и там, где дают визы, все поймут — они же люди! — и ее пропустят. Надо только одеться, дойти до пристани.

— Когда уходит пароход? — молила она. — Узнайте, узнайте!

Всё это заканчивалось припадком слез, а затем апатией ко всему. Мать должна была уходить на работу, и Лиду перевели на второй

этаж, в лучшую комнату — и там она тихонько лежала одна. Время от времени приходила графиня, повар приносил ей пищу. Леон подолгу стоял за дверью, прислушиваясь, но не входя в комнату, потому что его появление всегда вызывало в Лиде большой испуг, и она начинала кричать странным, хриплым, не своим голосом:

— Вы еще получили телеграмму? Где она? Нет? Так пишите же консулу! Я умоляю вас!

Он старался ее успокоить.

— Лида, — говорил он, — поверьте, я делаю всё, что возможно. Пищу, телеграфирую. Мы всё узнаем. Надо ждать...

— Ждать? — кричала она. — Чего ждать? Почему надо ждать? Он умрет, и я его не увижу!

И, падая в изнеможении на постель, она, с горящими глазами шептала: — Переплыть бы мне океан! Только переплыть бы мне океан! Он — в Берклее, Берклей на берегу... Там я дошла бы.

Когда не было матери, с Лидой иногда сидела графиня. Она говорила с нею спокойно-спокойно, разумно, но от ее слов лишь яснее делалась безнадежность положения, и глубже становилось отчаяние Лиды.

— Ехать? Куда? К кому? На чем и как?хлопоты о визе, даже успешные, займут полтора года. Затем, уже с визой, надо ждать очереди на пароход. В лучшем случае. Лида будет в Америке через два года. Это ли не вечность?

И вот, наконец, пришло письмо, сухое и краткое, от матери Джима. Тон письма был вполне определенный, не располагавший к переписке: ее сын был в больнице. Его запрещено беспокоить. Когда ему будет легче, доктор передаст ему корреспонденцию. Сама же мать не считает возможным вмешиваться в процесс лечения пациента в госпитале.

— Какая женщина! — сказала графиня матери Лиды. — Ни одной хотя бы маленькой подробности, ни одного хотя бы чуть теплого слова...

Постоянно говоря и думая о Джиме, Лида вдобавок открыла и еще одну чрезвычайно важную подробность: Джим перестал писать ей за месяц до катастрофы. Значит, не только болезнь являлась причиной молчания. Было еще что-то, и Лида не знала, что это.

Она очень похудела, побледнела до синевы. У нее страшно кружилась голова, ослабело и испортилось зрение. Припадки энергии становились всё реже.

Заходили посетители навещать. Пришла госпожа Мануйлова и говорила с Лидой сурово:

— Встань и начинай работать! Довольно малодушия. Наплакалась.

— Зачем мне петь теперь? Я больше не хочу петь, я больше петь не буду. Мне кажется, я уже потеряла голос.

Конечно, пришла и мадам Климова.

— Так я и ожидала! — начала она еще в коридоре, не успев войти в комнату. — Иностранные ваши женихи — тьфу! — и она энергично сплонула в сторону. — И заметь, Лида, — гремела она, уже стоя перед Лидой, лежащей в кровати, — оглянись, Лида, вокруг и заметь: насто-

ящие, лучшие русские женщины не выходят за иностранцев. Эти благородные женщины выходят только за русских.

Но, взглядевшись, и она была поражена переменой, происшедшей в Лиде.

— Да что с тобой!

Но мадам Климова не была способна долго отдаваться простому человеческому сочувствию. Ей надо было поучать.

— Стыдись, себя самой стыдись, русская девушка! Кто он тебе? Муж? Нет. Любовник? Нет. Жених? Нет. Так в чем же дело? Одержимость! Навождение! Где твоя национальная гордость? Ты позволяешь родителям мальчишки так третировать тебя, русскую девушку! Ты, кого воспел сам Пушкин, и Блок и Некрасов! Брось. Некого любить? Люби Россию. Этой любви тебе хватит на всю твою жизнь.

Лида начала тихонько плакать.

— О чем ты плачешь? Тебе не смешно: «любовь в письмах», и это — всё, что у тебя было, хотя, собственно говоря, и писем тоже не было.

Но исцелила Лиду игуменья.

Посетив все свои монастыри и приюты, игуменья ехала в Шанхай, собираясь там «испустить дух». С трудом передвигая ноги и тяжело дыша, вошла она к Лиде и села на стул у ее постели.

— Птенчик, — сказала она, качая головою в высоком черном клобуке. — Любовь! Уж как это мне понятно!

Мать Таисия, тоже запыхавшаяся и устраивавшаяся присесть на тумбочке у двери, так и подскочила.

— Удобно ли вам, матушка-игуменья, на стульчике-то? — спросила она первое, что пришло на ум, лишь бы прервать начатую тему.

— Теперь-то удобно, — отшутилась та, — а вот лет пятьдесят назад — как вспомню — было мне плохо. В восемнадцать лет послушницей стала было и я подумывать о любви да о замужестве. Но в монастыре о том, конечно, напрасно мечтать. И мужчин нету. А думала я так: вот если б нашелся молодец и сказал бы, что любит меня, — пусть бы тот молодец был глупый, хромой, слепой, горбатый — ушла бы я из монастыря. Но велика милость Владычицы — не нашлось такого молодца. И уж как благодарна я за это Владычице!

Это признание игуменьи, такое неожиданное, такое откровенное, привело мать Таисию в оцепенение. Она даже не нашла в себе силы перебить рассказ, и только лицо ее наливалось темною кровью, превращаясь в красно-фиолетовое. Казалось, она была близка в удару. Наконец, она смогла выкрикнуть:

— Матушка-игуменья, понимаю: это ш у т к а ваша для больной!

— Шутка! — воскликнула игуменья в негодовании. — Говорится про любовь, а ты называешь шуткой! Любовь — самая большая сила природы, большей нет и не будет. Шутка! Может, кому и шутка, но никак не молодой монахине в монастыре.

В комнате царила мертвая тишина.

— Что ж, надо всегда говорить правду, особенно монахине, — сконфуженно заключила игуменья.

Тут вошла графиня пригласить к чаю. Игуменья рада была отослать мать Таисию, сказав, что через минутку придет и сама. Ей хотелось остаться наедине с Лидой.

— Много на свете глупых людей, особенно женского пола, — сообщила она Лиде, — ты их не слушай, голубка! А я тебя хорошо понимаю. Как не горевать: жених болен, а писем нету. Но я знаю один секрет и тебе скажу.

И нагнувшись к Лиде, она спросила:

— Есть у тебя вера в твою любовь? Твердо веришь и в его сердце и в свое собственное?

— Матушка-игуменья, — воскликнула Лида, — вот это, и есть главное. Я не могу поверить, чтоб он меня забыл или я его забыла. Я никак не могу поверить, чтобы это могло случиться. Я этого представить не могу. Вот если бы даже увидела своими глазами, что он идет венчаться с другой, я бы и глазам своим не поверила, сказала бы — мне это кажется. Что ни случается, я почему-то знаю, что он меня любит!

— Ну, тогда знай: сердце тебя не обманывает. Выйдешь за него и будешь счастлива.

— А как вы знаете это?

— Вот тут-то и есть секрет. Если в простоте сердца и всею душою, с детской молитвой и верой, с надеждой и без сомнений человек просит чего доброго — получит.

— Всегда?

— Всегда. На это не бывает обмана.

Лида удивленно смотрела на игуменью и молчала.

— Но почему тогда так мало на свете счастливых? — спросила она наконец.

— Одни люди хотят много и всё сразу, и часто совсем несовместимого. Другие сами твердо не знают, чего хотят; иные хотят зла. Вот если бы ты стала желать, чтоб жених твой был и богат, и красив и делал какую-то выгодную карьеру, и всех бы обгонял в успехах, а ты бы имела знатных друзей и всё тому подобное, — то и не вышло бы из твоих желаний ничего. А ты не бойся. Потерпи пока, ну, Богу молись, конечно. Все прояснится. А как взгрустнется — малодушие свойственно человеку — ты о своей матери вспомни. И так подумай: во всем мире нет человека, чье горе ей тяжелей, чем твое. Какой палач мог бы так терзать ее сердце, как вот эта болезнь твоя и твои слезы? Сдерживай себя. Поплакала — будет. И скажи маме: прошло! Никто в мире не может дать ей такой радости, как ты этими словами. Да поторопись, голубка, а то — как знать — потеряешь мать. Она здоровьем, видно, не так и сильна. Много видела она горя от людей, много обид. Пусть не увидит горя хоть от собственной дочери. Пожалеть бы женщину надо. Ты уж постарайся! — подмигнула ей левым глазом игуменья.

— Боже мой! — воскликнула Лида. Она спустила ноги с кровати и стала надевать туфли. — Как я могла ее так мучить... Боже мой! Спасибо, хоть вы мне сказали.

— Не за что благодарить! — отозвалась игуменья и, изменив вдруг тон на совершенно деловой, спросила: — А это твоя комната?

— Нет, — сказала Лида. — Наша на чердаке. А меня поместили здесь по болезни.

— То-то вижу, чересчур хорошая комната. Чья же она?

— Должно быть, графа или Леона, старшего их сына.

— А они, граф или Леон, где же? Помещаются где?

— Не знаю.

— А давно ты тут обретаешься?

— Две, нет, почти три недели.

— Хм, пора, однако, и освободить бы квартиру-то эту.

— Матушка-игуменья! — вскричала Лида. — Мне лучше. Я могу уйти и к себе на чердак.

— Конечно, можешь. Да не забудь графине сказать: очень, мол, вам благодарна.

Лида накинула платье.

— Знаете, я сейчас и пойду.

— Сейчас и пойдём. Вместе. Сначала чай пить нас звали. А потом и подымайся к себе на чердачек. И пусть хозяева-то получают обратно эту свою комнату.

Когда Лида с игуменьей появились в столовой, в первом этаже, все поразились.

— Теперь чайку бы! — прервала игуменья изумленное молчание.

Особенно поражена была матушка Таисия. Она была образцовой монашкой, строго соблюдала все посты, все обряды, не давая себе поблажки ни в чем. Строго судила и себя и других. На теле она носила власяницу. Но она никогда не могла сотворить и малейшего подобия чуда, и уж особенно исцеления. Наоборот, при ней больным людям делалось хуже. Мрачно смотрела она и на игуменью и на Лиду. А игуменья, как ни в чем не бывало, расспрашивала графиню, какие цены стоят на съестные продукты в Тяньцзине, и горько вздыхала о дороговизне.

Вечером, когда мать вернулась из больницы, ей внизу сказали, что Лида уже у себя, на чердаке.

Лида сама распахнула ей дверь с восклицанием:

— Мама, уже прошло! Я поправилась!

И нежно обняв ее, прошептала:

— Хочешь, я сегодня спую тебе бабушкин любимый романс?

III.

Было прелестное майское утро. Легкий ветерок доносил во все закоулки города бодрящий запах моря. Небо было ясное и голубое, солнце еще не жаркое. В такое утро всем, даже очень несчастным, хотелось жить.

Это был день отъезда Леона в Европу, его последний день в Тяньцзине, и этот день он всецело посвятил Лиде, накануне составив вместе с нею программу удовольствий: утренняя прогулка по городу и окрестностям на такси, обед в ресторане, картина в кинематографе.

Увы, настоящей длительной прогулки уже невозможно было предпринять по Тяньцзину: всевозможные правила иностранных концессий, проверка документов при переезде с одной на другую затрудняли движение; за городом же сразу начинались японские военные

зоны, склады, арсеналы, бараки, куда не допускались посторонние. Поехали, было, в китайский город, но он представлял собою такую картину разрушения, нищеты, болезней и страха, что Лиде хотелось заплакать при воспоминании о том, как живописно и бодро жил этот город еще так недавно.

Китайский город от кого-то строго охранялся японской полицией. Время от времени полицейские или солдаты перегораживали дорогу автомобилю, приказывали остановиться и, наведя револьверы или даже винтовки на пассажиров, вступали в длительный разговор с шофером.

Среди бела дня, в такое чудное время года, в том настроении, в каком были Леон и Лида, эти строгости, эти окрики, солдаты, винтовки и дула револьверов казались не настоящими, а частью какой-то нарочно придуманной инсценировки. Однако же шофер всякий раз должен был подробно объяснять: кто едет, куда едет, зачем едет. Записывались фамилии пассажиров, шофера, номер такси, день и час поездки.

На японской концессии был праздник: традиционный день рождения всех японских мальчиков.

У всех домов водружены были высокие шесты, и на них, как флаги, красовались изображения рыб. Эти рыбы были сделаны из ситцев самых ярких цветов. Ветер надувал и развевал их в воздухе. Рыбы были толстые, казались живыми, со своими выпуклыми глазами, плавниками, хвостом, нарисованной чешуей. Число рыб и их размер соответствовали числу мальчиков и их возрасту в каждой семье. С гордостью воздвигали родители такой праздничный шест у своего дома. В самом верху — самая большая рыба, старший сын. потом пониже — поменьше, чем больше рыб — тем лучше.

Рыба, обычно, была одна и та же — карп, для японцев — символ непобедимого мужества. Японцы, по преимуществу, рыбаки. Они знают характеры рыб своих озер и моря. По их мнению, карп — самый неустрашимый и благороднейший из рыб. Когда его, живото, вскрывают ножом на кухонном столе, он не бьется в судорожном страхе, но, виляя, что борьба бесполезна, смотрит, не мигая, в глаза повару, который вынимает ножом его внутренности. Японец желает видеть своего сына таким же храбрым, чтоб и он бесстрашно, не мигнув, встретил смерть. Японец знает, что земля его — мала, что океан, окружающий его острова, вероломен, что стихии — одна за другой — то и дело потрясают его землю, и с момента рождения сына он уже учит его с достоинством встретить смерть.

Но для Лиды, в этом прозрачном воздухе мая, в этот ясный и теплый день, все эти рыбы, эти символы, эти мальчики и их родители — всё казалось забавной выдумкой, милой игрушкой.

В китайском городе жизнь и движение проявлялись в двух формах: похоронных процессиях и толпах нищих. Эти два мира — японский праздничный день и тяжкие китайские будни разделялись друг от друга лишь белой линией на мостовой, ширина которой не достигала и двух вершков. Такие же белые линии отделяли и все иностранные концессии от японской, и друг от друга. Человек, свободно шед-

ший по одну сторону линии, мог подвергнуться тюрьме, пытке и даже смертной казни по другую ее сторону.

Но ни Леона, ни Лиды это пока не касалось. Это была лишь война японцев с китайцами, с относительной только опасностью для остальных. Но всё же, во время этой зловещей прогулки, и их настроение было испорчено. Решили, прекратив катание, пораньше пообедать в ресторане.

За обедом говорили о любви, не о своей, конечно, но о любви вообще. Голос Леона звучал меланхолией.

— Мир полон женщин, — уверяла Лида, понимая его грусть и стараясь его утешить.

— Далеко не все они привлекательны.

— Что же вы ставите женщине в вину?

— Я не мог бы полюбить женщину, если она вульгарна, жадна, агрессивна, если она хвастлива, поверхностна, двулична, труслива, скрытна; если она не любит искусства, не понимает музыки...

— Бог мой! — засмеялась Лида. — Какие требования! Вам придется долго искать.

Картина в кино оказалась совсем не интересной. Это было одно из тех произведений Голливуда, о котором сами директора говорят: глупо, конечно, но так любит публика. А публика, посмотрев, говорит: глупо, удивительно, тратят такие деньги, чтоб создать подобную глупость. И те и другие затем мечтают о той красоте, о тех иллюзиях, которые мог бы создавать кинематограф, если б правильно взялся за дело.

Наконец наступил момент прощания.

Лида вдруг почувствовала, сколь многим она обязана Леону за его внимание, помощь, за его скрытую любовь.

— Леон, — сказала она горячо, — я была так нехороша по отношению к вам, несправедлива, вела себя так эгоистично, возмутительно, что вполне соответствую теперь образу той женщины, которую вы никак не могли бы полюбить. Помните меня на некоторое время именно такой, а потом забудьте.

Леон галантно поцеловал ее руку. Так они попрощались. Леон вернулся к своей семье, Лида — к себе на чердак. Она не пошла на вокзал, желая дать родителям Леона возможность побыть с их сыном наедине.

На следующей неделе и Лида вновь укладывала свой чемодан: она собиралась в Шанхай. В нетерпении сделала из нее законченную певичку госпожа Мануйлова держала Лиду у себя по целым дням, уча то одному, то другому. По ее программе Лида должна была выступить теперь перед большей и более требовательной аудиторией, и именно для этого везла она свою ученицу в Шанхай. Лида укладывала те же свои платья и шляпы. Штопала парадные чулки. Перчаток оставалась одна пара, другую потеряла Глафира в тот снежный вечер, когда она с мистером Рэном каталась на санках. Она хотела «возместить», но Лида настояла: пусть эта потерянная пара перчаток и будет ее свадебным подарком Глафире.

С матерью они обсудили, кого следовало навестить в Шанхае. Список был краток, в нем значилось: матушка-игуменя, гадалка

мадам Милица и Володя Платов, чей адрес ей послала Глафира с просьбой «непременно-непременно» его повидать, всё рассказать, обо всем расспросить и «подробно-подробно» затем описать, послав заказным письмом. У нее были новые причины беспокоиться о Володе, писала Глафира. Марки «на расход» были вложены в конверт, но в Шанхае они негодились, о чем Глафира, конечно, не знала. Адрес Володи был странный: кабаре «Черная перчатка». И этот адрес — с монастырем игуменьи и «кабинетом знаменитой гадалки» — дополнил странную коллекцию шанхайских посещений.

IV.

Жизнь мадам Милицы в Шанхае была не из легких. «Годовой доход», получаемый ею от родственников покойной леди Доротеи, был очень мал; разделенный на двенадцать частей, по числу месяцев в году, он едва оплачивал кофе, выпиваемое мадам Милицей. На всё остальное она должна была зарабатывать сама. Но как? Интерес к гаданиям, если вспомнить, каким он был в Средние Века европейской истории, упал чрезвычайно. Что касается китайцев, то у них были свои предсказатели, у японцев — также. Ее клиентура оставалась по преимуществу русской, но и русские как будто уже не обладали особой охотой узнавать свою судьбу. Возможно, что у тех, кто еще интересовался своим будущим, не было свободных денег. Во всяком случае, гадать приходили немногие, да и то всё такие, кто имел основание уже отчаяться в своей судьбе, и кому, при всем своем искреннем желании, мадам Милица не могла предсказать ничего утешительного. Итак, материальный вопрос существования не был ею разрешен.

Существует бесчисленное количество способов добывать деньги, и все они давным-давно известны и практикуются в Шанхае. Там уже невозможно придумать ничего нового. Приедем надо лишь оглядеться и примкнуть к чему-либо уже практикуемому. Пооглядевшись, мадам Милица нашла, что большинство населения Шанхая живет в кредит или же на благотворительные средства, собираемые в их же собственной среде. Так, например, войны на территории и в окрестностях города велись в кредит, а пострадавшее население жило на благотворительные средства. В этом городе, полном преступников и циников всех наций, существовала какая-то романтическая вера в «честное слово» бесчестного человека. Всякий приезжий на следующий же день имел уже кредит и в ресторане, и в отеле, и у портного, и в лавках, хотя никто толком еще не знал, откуда, зачем и как надолго он приехал, и заимодавец не мог толком ни написать, ни произнести имени своего должника. Секрет заключался в том, что приехать в Шанхай — не трудно, найти кредит — легко, но, не уплатив долгов, уехать — невозможно. Да и в самом городе, при его семимиллионном населении, должнику совершенно невозможно затеряться, скрыться от своих кредиторов. В этом отношении — Шанхай — единственный город в мире.

Этим положением объяснялись многие странности в жизни Шанхая.

Человек, не предвидевший впереди возможности иметь и сотни долларов наличными, спокойно подписывает «чит» на тысячу. Люди

без всякого прочного финансового обеспечения, постоянной профессии, жалованья — в долг пьют, едят, танцуют, одеваются, женятся, играют в карты, разводятся, умирают. Их хоронят в кредит, на «чит», подписанный кем-либо из друзей, живущим по той же системе.

Ничему не научившись из наблюдений, мадам Милица решила держаться своей прежней профессии.

На створке входной двери в свою квартиру она прибила гвоздями деревянную черную рамку, в которую — на день — она всовывала картон с надписью:

**Мадам Милица
Научное предсказание
человеческой судьбы.**

И только. Кратко, просто, но с каким достоинством! Ни намек на славное прошлое, на успехи в Румынии, Бессарабии, Сербии, в городе Кишиневе, на заводах Урала, на Дальнем Востоке. Скромность и отчасти страх перед могуществом Англии не позволяли ей упомянуть, например, об участии в романтической судьбе леди Доротеи.

Вывесив объявление, она села у стола, в ожидании клиентов. В течение первых трех дней не пришел никто. Призадумавшись, мадам Милица решила, что надо, до некоторой степени, стараться шагать в ногу со своим веком, то есть для всякой профессии необходима самореклама. Выбор материала был велик, но осторожность удерживала руку Милицы: было опасно упоминать о сильных мира сего. А бесильные — ничто в деле рекламы. Наконец, она догадалась и добавила на картоне: «Гадалка, предсказавшая конец комиссару Окурорк». От этого она не могла ожидать неприятностей: комиссар мертв, родные его, если в живых, едва ли смогут когда-либо добраться до Шанхая. А «комиссар» — всё же титул.

Начали появляться клиенты. Не так уж их было много, но всё же это поддерживало надежду. И вдруг вынырнули совсем новые, неожиданные осложнения.

Однажды утром, после раннего кофе, мадам Милица вышла на крыльцо, чтобы, как обычно, вставить картон с объявлением в рамку. И что же? Там уже было объявление. На нем значилось:

*«Мадам Милица.
Научное предсказание несчастий.
Гадалка, предсказавшая судьбу Наполеону».*

Она выгнула это злонамеренное объявление и разорвала его на части. Увы! Это было лишь началом. После этого знаменательного дня она то и дело находила всё новые объявления, и в них — оскорбления своему достоинству — и человеческому и профессиональному.

«Мадам Милица, предсказавшая Жанне д'Арк день ее рождения».

Она не знала, кто была вышеупомянутая Жанна, но это не умаляло обиды. Всё же она сдерживала свое негодование. Философ по природе и по профессии, она знала, что от человека следует ожидать всего.

«Мадам Милица, предсказавшая грехопадение Адаму и Еве».

Что ж, мы живем в страшное время дегенерации человека: он превращается снова в обезьяну! Спокойствие и терпение — долг разумного наблюдателя.

«Мадам Милица, предсказавшая сотворение мира».

С горьким вздохом она уничтожала эти пасквили. Но когда ее из Милицы переименовали в Милицию, она решила найти врага, узнать, наконец, кто он, и почему избрал ее своей жертвой.

Ее врагом оказались мальчишки Шанхая.

Русский мальчишка в Шанхае — это особая разновидность человеческого детеныша.

Во-первых, он совершенный бедняк, полный пролетарий. Во-вторых, он нисколько не обескуражен этим и представляет собою самого беззаботного, бесстрашного, беспринципного и изобретательного мальчишку на свете. Он одинаково открыт и добру и злу, выбирая то, что в данный момент для него выгоднее. В общем — это талантливый мальчишка.

Он настроен воинственно, агрессивно, но его естественный враг — мальчик из богатой семьи — отсутствует в Шанхае. Богатые иностранцы в Шанхае не имеют детей. А если и появится в какой богатой европейской семье малое дитя, ему дают совершенно особое, удивительное воспитание. Он растет на руках китайской няни, амы, и совсем не появляется в комнатах родителей. Часы прогулок ребенка и его матери организованы так, что им не угрожает опасность встретиться. Впрочем, иная мать, встретив своего ребенка, могла бы узнать его только по аме, по коляске или по чепчику. Вырастая, такое дитя обычно знает хорошо один язык — китайский, и возможность его духовного общения с матерью из-за этого ограничена. Наступает школьный возраст, и эти дети, организованной группой, под наблюдением уже европейцев, отправляются в Европу, в различные школы, но чаще, в клиники, санатории и больницы, так как обычно не менее половины из них — калеки, и уже все, без исключения, имеют хронические желудочные болезни, что, конечно, относится за счет шанхайского климата.

Между тем, в городе процветает бедный европейский мальчишка, чаще всего — русский. Его арена — улица. Не видя около себя естественного противника, одного с собою возраста, он избирает его — с осмотрительностью — среди взрослых. Мадам Милица сделалась жертвой такого выбора и предметом систематического преследования большой организованной группы. Горестно удивленная, она разложила для себя карты. Они ответили, что враг ее — лукав и многочислен.

Не зная, что и подумать, она решила выследить врага и своими глазами увидеть, кто он.

Но мальчишки эти — хитрый народ. У каждого имелся некоторый жизненный опыт, каждый был уже «мальчишкой с прошлым», то есть числились за ним уже кое-какие проступки. Бывал он не раз и пойман и наказан, и уж если действовал, то искусно и осторожно. Он давно потерял веру в людей, а знал их в разных профессиях, имел встречи и с полицейским, и с миссионером, чья единственная жизненная цель — улучшение моральных качеств человека.

Немало выслушал он разумных наставлений и красноречивых увещаний и неизменно обещал исправиться. Не раз бывал жестоко бит. Но он был мальчишкой, и ему хотелось позабавиться, чем он мог заняться — увы — только вне дома. Дома он был, обычно, тонкий политик. Он знал, как встретить пьяного и буйного отца, измученную истеричную мать, как вздуть младшего братца, укрыться от глаз старшей сестры, как избежать встречи с квартирной хозяйкой, сделаться невидимкой для кредиторов семьи, как услужить злой старухе-соседке, когда предполагается, что она будет печь пирожки.

Вопреки всяким запрещениям, он хитрил, приютить бродячую собаку и скрыть ее от посторонних глаз тут же, во дворе; умел и тихонько задуть хозяйскую кошку, если она не уживалась с собакой. На улице он любил испугать прохожего, изловчался проколоть шину, искусно обсчитывал торговца. В школе он делался знатоком психологии, исподтишка наблюдая своих учителей, изучая малейшие их слабости. Он умел лгать, красть, ругаться, бегать. Все это он проделывал с самым невинным лицом, если могли случиться взрослые свидетели. С друзьями же он не знал притворства, был откровенен.

Он и семья его жили, обычно, в горькой бедности, в беспросветной нужде. Зимой — не хватало тепла, летом — прохлады, в болезни — ни доктора, ни лекарства. Война, эпидемия, наводнение, взрыв арсенала, уличный бой, бомбы, кражи, убийства, пожары — всё это он видел на близком расстоянии. Зная так много о жизни, мальчишка вырос стал материалистом, иронически относясь к духовным благам и желая единственно материальных сокровищ.

Котлету он откровенно предпочитал самой красноречивой проповеди заезжего миссионера.

Некоторые из этих мальчишек были бездомными, без семьи. Незаконнорожденные дети, они были брошены отцами, обычно, дельцами, коммерсантами, жившими в Шанхае недолго. Затем куда-то исчезала и мать. Иным из таких посылались деньги, анонимно, обычно от какого-нибудь мистера Смита, без обратного адреса благодетеля. Такие мальчишки жили в школьных пансионах, где-либо в семьях — и, конечно, их эксплуатировали, как только могли. Совсем же бесприютные, иногда беглецы из родного или чужого дома, жили, где придется, в холодную ночь прокрадываясь переночевать к товарищу, обладавшему своей постелью. От родителей, у кого «довольно и своего горя», такое посещение, по возможности, скрывалось.

Местом, где этот разнородный элемент сходилась и духовно связывался воедино, была школа. Главную роль в их жизни играли римско-католические школы для бедных детей в Шанхае. Эти школы

были самыми дешевыми, во-первых, и, во-вторых, учеников там не подвергали телесным наказаниям, не исключали за проступки. Они были последним пристанищем уличных детей, последней надеждой их родителей. Там, за долгие годы учения создавались тесные дружеские отношения, общие интересы, взаимопомощь. Мальчишка входил в эту школу, не задумываясь, она как бы по праву принадлежала ему. Часто выходил он из нее хорошим человеком.

Отношение к учителю было вначале настороженным, скрыто-враждебным. Он числился в ряду естественных врагов, наряду с полицией и вообще всеми взрослыми. Затем учителя начинали возбуждать интерес у более старших учеников. Делались застенчивые попытки поговорить. Интерес часто переходил в уважение, затем в преданность и благодарность. Эти чувства часто сохранялись уже на всю последующую жизнь.

Методы преподавания применялись совершенно устарелые, но результаты их часто оказывались прекрасными. Достаточно сказать, что окончившие школу обычно говорили свободно на двух-трех европейских языках и приобретали большой интерес к наукам и книгам.

Вот эти-то организованные ученики и преследовали мадам Милицу. Повода к личной вражде с нею у них не было никакого, кроме давно известного и необъяснимого взаимного недружелюбия между пророками и уличными мальчишками.

Организация имела вождя. Общий характер всякого нового предприятия обсуждался всей группой, на переменах в школе, там же принимались практические решения. Затем предводитель отдавал ежедневные распоряжения: кому, что, где и когда делать.

Осуществление предприятий начиналось с утра, по пути в школу. Каждый работал в своем районе. Были дома, за которыми шпионили из чистой любви к искусству, предполагая, что там совершаются преступления, похоронены тайны. Одни выкрадывали почту, другие подбрасывали письма с угрозами. Иногда анонимно, по телефону, сообщали какое-либо свое открытие именно тому, от кого оно скрывалось, а потом наблюдали развязку. «Дело» мадам Милицы не считалось серьезным. Менять ее объявление, улучшив удобную минуту, не представляло трудностей. Мимо ее дома проходила шумная толпа. Из окна она не могла видеть свои двери. На ходу «исполнитель» выскальзывал из толпы, в его ранце наготове был картон с новым оскорблением для гадалки. Вкинуть картон в рамку было делом минуты. Шумная толпа школьников двигалась дальше.

Выследив, наконец, кто был ее врагом, мадам Милица придумалась: силы — по крайней мере, для открытой борьбы — были далеко не равны. И она приняла мудрое решение: презреть врага, не вступив с ним в борьбу.

Как бы стала она его преследовать?

Если он побежит, то как догнать? Если пойман, что с ним делать? Тащить к родителям или в полицию — он не пойдет. Бить? Но мадам Милица не принадлежала к тем, кто бьет детей. И она решила взять врага терпением, стойчески поддерживая все то же в о е объявление: «Мадам Милица. Научное предсказание человеческой судьбы»

V.

Лида начала свои шанхайские визиты с мадам Милицы. Когда она, разыскав, наконец, жилище старой знакомой, в радостном, нетерпеливом возмущении взбежала на крыльцо, перед ее глазами предстала такая надпись:

«Милиция. Держаться левой стороны».

Она даже отступила на шаг в изумлении. Большие буквы, выведенные красными чернилами, придавали еще более необычайный вид такой надписи.

Она нерешительно позвонила. На звонок, не торопясь, с обычным соблюдением достоинства, вышла и открыла дверь сама мадам Милица.

Она не изменилась, была все та же. Казалось, само время действовало осторожно там, где обреталась Милица. Также бессильны были пространство, климат и отношение к ней человечества. Одета, как всегда, в черное, в то блестящее, как уголь, черное, какое она одна умела где-то найти, она, по-прежнему, казалась особенным существом, не вполне смертным представителем человечества.

Она не обняла и не поцеловала Лиду, лишь раскланялась церемонно, пожала ей руку, предложила ей стул и занялась приготовлением кофе. Между делом она задавала неторопливые вопросы о Лидиной матери, о здоровье, о погоде в Тяньцзине, о ценах на квартиры и съестные продукты.

И только тогда, когда кофе был готов, когда его аромат разнесся по комнате, когда налиты были две чашки, мадам Милица спустилась со своих таинственных высот и стала более человеческой. Разговор принял оживленный характер.

Лида спросила, как идет жизнь в Шанхае и ее «дело». Мадам Милица ответила неопределенно: ее цена, доллар за сеанс, недоступна, конечно, многим, но, с другой стороны, она не считает возможным «снизиться» до семидесяти центов. Туманно намекнула она и на тот жизненный факт, что участь исключительных людей — быть непонятыми, а их труда — остаться неоцененным, по крайней мере, современниками.

Еще более туманно сообщила она Лиде о преследованиях и специальной попытке путем подмена объявлений. Из всего сказанного Лида могла уже легко заключить, что заработок мадам Милицы был недостаточен для оплаты ее скромной жизни. Лида поспешила переменить тему и сообщила о себе, что приехала выступить на концерте. На это хозяйка, сжав губы, значительно покачала головой. Получив письмо о приезде Лиды, она тогда же бросила на Лиду карты. С удовольствием она может объявить, что в Шанхае Лиду ждут успех и слава и еще неожиданная встреча с дамой, встреча чрезвычайно приятная. Поощренная этим, Милица еще раз бросила карты уже на Лидину судьбу вообще: выпала долгая жизнь и счастливая смерть.

— Замужем? — спросила Лида.

— Да, замужем.

— За кем? За Джимом?

Мадам Милица поморщилась на эту наивность: карты не называют имен.

— Замужем за иностранцем. В чужой и далекой земле. Долгая бедность, борьба за жизнь, потом слава. Исполнение желаний при конце жизни.

Лида глубоко вздохнула. Попыталась еще:

— Но муж мой выходил на картах блондином или брюнетом?

— Блондином.

— Джим! — внутренне воскликнула успокоенная Лида. В порыве благодарности она хотела было кинуться мадам Милице на шею и поцеловать ее, но у последней был такой мрачно-величественный вид, что один взгляд на нее остановил Лиду.

Она преподнесла хозяйке бесплатный билет на свой концерт. Дар был принят с молчаливым торжественным поклоном. Милица тут же прочитала все, что было написано на билете, затем перевернула его и на оборотной стороне внимательно прочитала адрес типографии. Когда читать было уже нечего, она еще раз поклонилась и поблагодарила. С королевским достоинством она милостиво изрекла, что не забудет оказанного внимания и, в свое время, ответит на любезность Лиды своим подарком. Лида же и так трепетала от счастья: она не сомневалась в талантах Милицы, и предсказанное будущее наполняло ее счастьем.

Пропощавшись, Лида быстро спустилась с крыльца и тут вдруг столкнулась с мальчишкой. Вывернувшись из-за угла, он налетел на нее с такой силой, что она едва устояла на ногах. От неожиданности и он, видимо, испугался и отпрянул в сторону. Из его рук выпал картон. На нем стояло:

«Похоронное бюро «Милица».

Прохожий! Остановись!

Оптовым покупателям скидка».

Из-за угла показалась большая группа школьников, наблюдавшая сцену с противоположного тротуара. Лида схватила картон. Мальчишка пытался вырвать его, но она подняла вверх руку и держала трофей высоко над головой. Мальчишка крутился около, подпрыгивая, стараясь завладеть картоном.

От группы школьников отделился высокий мальчик, очевидно, вождь. Он позвал Лидиногo врага, и тот, сконфуженный неудачей, перебежал улицу и, став со своими друзьями, крикнул ей тоном оскорбления:

— Гадать ходила, красавица?

Лида вспыхнула. Со своего тротуара она крикнула:

— Я не привыкла, чтобы мне кричали через улицу! Иди сюда, если ты меня не боишься!

— Я боюсь? — горшего оскорбления нельзя было и придумать. Полный негодования он выступил вперед, готовый возобновить атаку. В голосе его звучало непобедимое мужество и полное презрение к врагу.

— К о г о я боюсь?

— Меня, бэби, — ответила Лида сладко.

— Тебя? Давно ты выскочила из пеленок? Только бросила сосать соску и бежишь к гадалке про жениха узнавать!

— Молчать! — крикнула Лида в ярости. — Негодяй! А вы что же смотрите, — крикнула она старшему и высокомерно добавила, — взрослый! Почти мужчина! Как вы позволяете, чтоб в вашем присутствии оскорбляли женщину! Вы знаете кто я? Я артистка, певица. . .

— Знаменитость! Мяу! Мяу! — напал снова мальчишка. — Слыхали таких певиц, по ночам мяукаете на крышах, ваша светлая знаменитость.

— Что ж, если хочешь, я — знаменитость! Я пою не на крышах, а в театре. Я буду петь в опере. Я здесь даю концерт.

Слова «театр», «концерт», «опера» произвели свое впечатление. Половина русского населения в Шанхае — музыканты. Группа школьников двинулась к Лиде.

— Правда? — спросил ее враг наивно, подступая ближе. — Какой голос?

— Сопрано. Лирическое.

Но он не привык относиться с доверием к тому, что ему говорили.

— Сочиняешь! — крикнул он и вдруг сделал быстрое движение, чтоб выхватить картон из рук Лиды. Но она таким же быстрым движением подняла его и держала высоко над головой.

— Сочиняю? — даже задохнулась она. — Знаешь что, ты. . . ты лучше носки свои научись сначала носить, а потом разговаривай с дамами. Посмотри на свою ногу!

Выставленная вперед — позиция атаки — нога, правда, представляла жалкое зрелище: стоптанный полуботинок, нависший пестрый и грязный носок, а далее сама нога — бледная и грязная, выше — бахромы штанишек, из которых хозяин их давно вырос. Мальчик смотрел удивленно, он будто впервые увидел эту ногу и свой убогий наряд. Переведя взгляд на элегантную Лиду, он вдруг сконфузился, вспыхнул и, отдернув ногу, постарался скрыться в толпе товарищей. Лиде стало жаль его.

— Гляди! — сказала она. — Видишь, сегодняшняя газета. Вот объявление о моем концерте. Теперь смотри на портрет певицы. Кто это? Я!

Группа школьников окружила Лиду, разглядывая газетное объявление.

— Дайте мне! — сказал предводитель. Выхватив газету, он стал читать вслух:

«Наша соотечественница, молодая, талантливая, очаровательная певица. . . Мы горды объявить о ее прибытии в Шанхай» . . .

— Кто это мы? — выкрикнул с негодованием школьник поменьше. — Подумаешь: горды! Мне всё равно!

— Не перебивай! — кратко приказал старший.

— Мы — значит культурные русские в Шанхае, — скромно пояснила Лида.

— «Блестящий талант, ученица знаменитой оперной певицы императорской сцены госпожи Мануйловой, — продолжалось чтение. — Мы счастливы иметь еще одно доказательство, что жива Россия, хотя и за границей, что, несмотря на нашу трагическую судьбу изгнан-

ников, лучшие из наших детей поддерживают наше былое величие перед изумленными взорами иностранцев. Добро пожаловать, русский талант! Привет тебе, русское дитя! Мы счастливы до слез»...

Читая, он, время от времени, бросал взгляд на Лиду, и в этом взгляде росла очарованность ею.

— Слыхали? — спросила Лида, когда закончилось чтение, и протянула руку за газетой.

— Позвольте! Минутку! — вежливо попросил чтец, которому, как видно, не хотелось расстаться с газетой.

Он смотрел то на карточку, то на Лиду, сверяя сходство. Повторив этот маневр несколько раз, он с вежливым поклоном возвратил газету Лиде.

— Все правильно, мадам. С подлинным верно. Это — вы, мадам. Благодарю вас, мадам.

Толпа мальчишек в изумлении наблюдала необычайное поведение своего вождя.

— Хотите, я дам вам бесплатный билет на мой концерт? — великодушно предложила ему Лида. — У меня осталось три.

— Мне! Мне тоже! Дайте и мне! — раздался голоса.

— Молчать! — кратко распорядился старший. Взяв билет из рук Лиды, он церемонно поклонился. — Благодарю вас, мадам! Сочту за честь присутствовать на вашем концерте.

Мальчишки наблюдали превращение вождя в рыцаря, раскрыв от изумления рты.

— А им билеты? — спросила Лида. — Вот еще два!

— Не наносите себе ущерба, мадам! — рассыпался в любезностях рыцарь. — Вся наша группа будет на концерте, и мы купим билеты. Мадам, не смею вас задерживать, на вас лежит тяжелая ответственность...

— Да может она плохо поет? — выкрикнул из толпы маленький скептик. — Провалит концерт!

— Не надейся на это, ангел! — сказала Лида со сладкой улыбкой. — Впрочем, если ты ничего не понимаешь в пении...

— Да что она расхвасталась! — зашипел мальчик, уронивший картон. — Я играю на скрипке, да не хвастаюсь же...

— Да? — иронически спросила Лида. — На скрипке! Если ты и играешь, едва ли у тебя есть хоть маленький талант. Какой же настоящий артист будет заниматься этим? — и она с презрением помахала картоном перед самым его лицом. — Это грубо, зло, глупо. Только идиот может так тешиться. Настоящий артист прежде всего благороден, великодушен. Он — «возвышен душою», — повторяла она урок госпожи Мануйловой. — К тому же вообще гадко преследовать женщину, которая, вдобавок, не сделала тебе никакого зла. Я попрошу вас, — обратилась она к старшему, — вы, кажется, разумнее остальных... Если, конечно, вы имеете над этой ватагой какую-либо власть, остановите эти злые мальчишеские шалости. Оставьте госпожу Милицу в покое. Этим вы мне окажете личную услугу. Мадам Милица была другом моей покойной бабушки... Пожалуйста.

— Будет сделано, — вспыхнув раскланивался рыцарь. Движением руки Лида подозвала рикшу.

— До свидания, молодые люди!

— Пленительная! — прошептал старший. В этот момент из мальчишки он превратился в юношу. В его сердце загоралась первая любовь. — Пленительная!

Так закончились преследования мадам Милицы.

Вечером она нашла свое объявление в порядке.

То же произошло на следующий день, и еще на следующий. Злые шутки над ней прекратились. Она не знала причины и не интересовалась ее узнать.

VI

Следующий по программе был визит к Владимиру Платову.

Накануне Лида получила длинное и обстоятельное письмо от Глафиры. Описывалась свадьба, сборы в Австралию, планы на будущее. Не имея возможности заехать в Шанхай, на что нужны были особые визы, Глафира горевала, что ей не удастся попрощаться с братом. Она просила Лиду навестить поскорее Володю, всё-всё ему рассказать, обо всем его расспросить, всё заметить и потом всё подробно ей описать: как он выглядит, как живет, как одет, какая у него комната. «Он, как будто, чего-то не договаривает в своих письмах, что-то скрывает, и я беспокоюсь, — заканчивала она, — вся надежда на тебя, на твою наблюдательность и откровенность».

И вот Лида отправилась исполнять это поручение. Она еще раньше оповестила Володю о своем визите, не указав, однако, точно времени: «как только найдется свободная минутка».

В три часа дня она шла по длинному коридору «Европейских меблированных комнат», ища номер Володи. Откуда-то издали доносился молодой женский голос, веселый и задорный, громкий смех, взвизгивание; слышно было, как падали какие-то вещи, что-то разбилось, затем раздался мужской голос, что-то объясняющий и в чем-то уговаривающий.

Тут и была комната Володи.

Лида даже заколебалась, прежде чем постучать. Но стучать ей пришлось несколько раз. Из-за оживленного движения и шума внутри комнаты стука ее не было слышно.

Наконец, дверь открыл Володя. Высокий и стройный, он был, пожалуй, самым красивым из всей семьи Платовых. Увидя Лиду, он смутился. Он сразу узнал ее, так как Глафира в письме дала подробное описание наружности Лиды и ее костюма. Позади его, не обращая внимания на присутствие постороннего человека, девушка в китайской вышитой пижаме выделявала какие-то рискованные, очевидно, балетные пируэты. Носком туфельки она старалась сбросить с гвоздя небольшую картину, подвешенную, очевидно, для ее упражнений, под самым потолком. Девушка была красивая, белокурая, стройная, гибкая. Что-то беззаботно веселое, бесшабашное было во всех ее движениях, восклицаниях, в смехе, в выражении лица.

— Лара! Лариса! — старался успокоить ее Володя.

Увидев Лиду, она крикнула ей — Hello! — и снова принялась за свои пируэты, сбив, наконец, картину, которая с шумом упала на пол.

Тут она остановилась, чтоб передохнуть, но в покое пребывала лишь одно мгновение.

— Володька! Идея! Нет, какая идея! — закричала она, как будто бы в доме был пожар, и, обернувшись к Лиде, попросила: — Дорогуша, одолжите мне ваш костюм часа на два!

Она стояла перед Лидой, как-то по-детски раскрыв рот, ожидая ответа. Растерявшись, и Лида стояла неподвижно, глядя на Ларису и тоже раскрыв рот. Но новый припадок энергии тут же овладел Ларисой. Схватив Лиду за руки, она стала быстро кружиться с нею по комнате, напевая какой-то вальс. Комната была мала. Володя бегал за ними, стараясь поймать и остановить Ларису. Наконец, она в изнеможении выпустила Лидины руки. Лида упала в кресло, полуживая от усталости и изумления. Но Лариса уже опять была на ногах.

— Выйди на минутку! — крикнула она Володе, выталкивая его в коридор и запирая за ним дверь. Затем она кинулась к Лиде и начала расстегивать ее жакет, сдергивать с нее юбку.

— Вот удача! — весело говорила она, как будто и не замечая сопротивления Лиды. — Мы — одного роста. Ваш костюм будет мне совсем впору, словно мой собственный. Я уж давно ищу, у кого бы одолжить верхнее платье... Ни у кого из наших артисток нету костюма...

— Позвольте... — бормотала Лида, — я не понимаю... Что вы хотите делать? Зачем вам мой костюм? Как же я останусь?..

Но костюм с нее уже был снят, и Лариса весело объясняла:

— Милуша, мы собираемся венчаться...

— Кто?

— Я и Володька. Вы ничего не имеете против?

— Кто? Я?

— Вы.

— Я ничего не имею против.

— Тогда давайте костюм, симпатюша. На два часа, не больше. Мы сходим «объявиться» к священнику, чтобы назначить день венчания.

Лида вспомнила Глафиру, Платовых. Она представила себе их отношение к такому браку.

— Но зачем так торопиться? — начала она неуверенно, краснея, чувствуя, что говорит не то и не так.

Лариса бросила на нее подозрительный взгляд.

— А вы чем тут заинтересованы, миледи?

Лида смутилась.

— Я? Ничем. Но вы меня раздели...

— Я дам вам надеть купальный халат, пока... Я ведь только схожу с Володькой к попу — и сейчас же обратно. Мне нечего надеть, чтобы днем выйти на улицу.

— Но к священнику можно идти в каком угодно платье.

— Цыпленок! В платье? Но к нему нельзя идти без платья. А у меня нет ничего, кроме этой роскошной пижамы, роскошная, правда? — да еще черных перчаток. Вы знаете, я — прима-балерина в кабаре «Черная перчатка».

— Но в каком туалете вы там танцуете?

— Туалете? В черных перчатках.

Лида раскрыла рот.

— Только в черных перчатках, — поясняла Лариса. — Черные перчатки — и больше ничего.

Лида отступила на шаг.

— Что ж, — сердито заговорила Лариса, — вы воображаете, что примы выступают в костюме из английского твида плюс меховое пальто? Да? — она наступала на Лиду, размахивая Лидиной юбкой.

— Я... не думаю ничего, — спешила отступить Лида. — Пожалуйста, берите костюм... только верните... потом. Мне надо домой.

— А вы снимите и блузку и комбинацию. Вот! — и она бросила Лиде купальный халат.

— Но как же вы д н е м ходите по улице? — спросила Лида.

— Днем? Днем я не хожу по улицам. Днем я сижу дома.

Лиде, любившей солнце, стало вдруг бесконечно жаль Ларису, а та продолжала. — Я — ночная птица, и у меня подходящий гардероб, но он — у антрепренера, нам не выдают на руки. У меня есть полный костюм летучей мыши, трико «золотая рыбка» из золотых чешуек, и манто «вечерняя заря» из розовых страусовых перьев. Но мечтаю я о белье. Как разбогатею, накоплю себе, прежде всего, белья.

Володя стучал в дверь. Лариса не обращала на это никакого внимания.

— Ах, как приятно одеться! — восклицала она, надевая Лидины вещи. — Как благородно себя чувствуешь в хорошем костюме. Английский! — Вся в движении, она была уже одета, напудрена, причесана. На голые ноги она надела черные бархатные туфли с серебряной мишурой. — Пока, дорогуша! — и она выпорхнула в коридор к Володе. Смеясь и крича, она тащила его куда-то. Вскоре их голоса замолкли. Наступила, наконец, тишина. Лида осталась одна, в старом купальном халате Володи.

Она сидела в горестном раздумье. «Как всё это описать Глафире? «Всё-всё и подробно-подробно». Она вспомнила семью Платовых и старалась вообразить среди них и Володю с Ларисой. Всех было жаль. Как ей было жаль их всех, включая и Ларису! Несмотря ни на что, в Ларисе было какое-то очарование. Лиде она и нравилась и отталкивала в то же время.

Лида разглядывала комнату: здесь, очевидно, жил только Володя. Ларисиних вещей нигде не было видно. Подумав, Лида стала приводить комнату в порядок. Затем она вынула из своей сумочки иглу и нитки, сняла Володин халат и стала его старательно штопать, всё время мучаясь мыслью, как и что написать Глафире.

Часа через два в коридоре послышался шум: Лариса и Володя возвращались домой. Голос Ларисы был гневен. Она распахнула дверь и вихрем влетела в комнату.

— Слыхали? — закричала она Лиде. — Подождать! «Рекомендую подождать!» — передразнивала она чей-то голос, очевидно, священника. — Сначала полагается попостничать, потом поисповедоваться, потом причаститься, потом отслужить молебен и у родителей жениха благословиться, потом обручиться — а уж потом венчаться! «Это, знаете ли, дело сугубо серьезное, — продолжала она издеваться, — торопиться не следует, надо подумавши!» — Она сорвала с себя Лидин

костюм. Володя в смущении вышел в коридор. Лариса накинула свою пижаму, а Лида торопилась завладеть своим костюмом.

И вдруг Лариса громко-громко, как-то буйно зарыдала. Так неожиданно налетает и бушует летняя гроза. За дверью тоже поднялся шум. Очевидно потерявшие терпение жильцы меблированных комнат протестовали против поведения Ларисы. Слышался извиняющийся голос Володи. В дверь стучали. Лариса вылетела в коридор. Лида искала возможности поскорее уйти. Она даже выглянула в окно, но оно было высоко над землей.

Голос Ларисы покрывал все остальные звуки.

— Большой старик? — кричала она. — Старики обязаны быть глухими! Стариков вообще надо убивать! Не будет квартирного кризиса. Тут и молодым мало места. Гоните больного старика. Куда? В могилу, конечно! Куда же еще? А вы, — кричала она кому-то, — если вы сейчас же не замолчите, я тут при всех повторю, что вы мне вчера сказали! Хотите?!

Шум затихал. Володя и Лариса вернулись в комнату.

— Ах! — еще на ходу спохватилась Лариса, обращаясь к Лиде. — Вы же у нас гостья, а мы вас ничем не угостили. Как же это! Хотите чаю? Впрочем, у нас нет ни чая, ни сахара. У меня есть только папиросы. Хотите американскую сигарету? Не курите? Счастливица! Володя, а у тебя не осталось денег?

— Я же уплатил за рикшу, — прошептал Володя.

— Я тороплюсь, — поспешила заявить Лида. — Я так долго уже у вас, — и она начала прощаться.

Тут только, взглядевшись в ее лицо, Лариса почувствовала, что Лида ей очень нравится.

— Какая же вы милая! — воскликнула она. — Вот, должно быть, всем нравитесь! Послушайте, — заторопилась она, опять переменяя тон, — нет ли у вас тут знакомых иностранцев, а? Побогаче. Познакомьте меня, милуша! Умоляю!

Лида, почти с сожалением, объяснила, что она совсем никого не знает в Шанхае.

Володя слушал этот разговор совершенно сконфуженный. Вдруг Лариса страшно зевнула:

— Ой, спать хочу! Знаете что, уведите его, — она показала на Володю. — Пусть вас проводит. Я засну часа на два. У меня сегодня в кабаре новый трюк — очень опасный. Все дело в балансе, упаду — крышка! Партнер меня швыряет с большой высоты.

— Швыряет? — ужаснулась Лида.

— Я изображаю кошку. Он швыряет меня с крыши. Я должна упасть и встать на четыре лапки, — и она показала, как она должна встать.

Володя провожал Лиду, и они долго шли молча, оба в большом смущении. Но понемногу разговор завязался. Лида рассказывала о счастье Глафиры и о радостях всей семьи. Володя, спеша, по-детски возбужденный, задавал вопросы:

— И Гриша и Котик счастливы?

— О да. Им обещана в Австралии настоящая лошадь.

— А у папы болит спина? Он жалуется?

— Да, но теперь он будет лечиться.

— А мама жарит лепешки утром по праздникам?

— О да. И теперь будет подавать их со сметаной.

Володя глотнул слюну.

Голодный, — подумала Лида.

На прощанье он попросил Лиду не писать Глафире всей правды, то есть умолчать о Ларисе.

— Сейчас они все счастливы, — убеждал он, — пусть счастье длится. Зачем огорчать?

Лида колебалась. Она помнила свое честное слово, торжественно данное Глафире. Володя всё уговаривал её.

— Счастье приходит редко. Пусть все они подольше будут довольны. Я буду здесь, они не узнают. Иначе мама так будет несчастна!

Поколебавшись, Лида дала ему слово не писать о Ларисе. И, вместе с стыда за нарушенное доверие, она почувствовала облегчение.

Правда, зачем огорчать?

VII.

Два концерта, данные Лидой, имели большой несомненный успех.

Русские в Шанхае представляли собою очень требовательную публику. Дух критики, скептицизм, брюзжание были естественным настроением людей, которые в течение последних двадцати лет не знали иных переживаний, кроме обманутых надежд и разочарований. Не ожидали ничего хорошего. Во всем уже заранее предвидели обман. К тому же немало было и профессиональной зависти при появлении новых талантов. В Шанхае русские страдали не от недостатка, а от переизбытка артистических сил. Но Лида своей скромностью, простотой и, вместе с тем, спокойной уверенностью в себе, и — главное, конечно, — своим чудесным голосом покорила аудиторию. Она была признана «настоящей» певицей, с «хорошей школой».

Оба раза зал был полон. В публике обращала на себя внимание одна таинственная особа, это была мадам Милица. Она появлялась за полчаса до начала концерта и, пройдя медленной и торжественной походкой через весь зал, величественно и неподвижно усаживалась, устремив взор в одну определенную точку опущенного занавеса или же, во время пения, глядя в рот Лиды. На ней было черное платье в сборку из какой-то необыкновенной тяжелой ткани, должно быть, изрядной древности. На плечах ее покоилась кружевная, ручной работы, пелерина, связанная из ниток, толщина которых мало уступала обычной веревке. Монументальная брошь, в традиционной форме сердца, добавляла, наверное, не меньше фунта веса к остальному наряду. Пелерина и брошь были последними остатками приданого, которым предки наделили Милицу. В прочности этих вещей, казалось, был скрыт таинственный символ бессмертия.

Она сидела торжественно и безмолвно, как Пифия. Кто это? — спрашивали в публике. Но в артистических кругах Шанхая никто не знал о мадам Милице. Местный художник украдкой набрасывал на обороте программы ее портрет. Сидя в середине первого ряда, Милица казалась центром зрительного зала, и как магнит притягивала взоры, но сама она никого не удостоивала взглядом. Независимая ни от кого,

как феодал в своем замке, окруженном высокими стенами и глубоким ровом, в замке, с поднятым мостом, — сидела она в бархатном кресле первого ряда.

Другим пунктом, сосредоточившим на себе интересы зрительного зала, явились школьники. Никто и никогда не видал такого количества «детей» на концерте. Вопреки опасениям публики, мальчики вели себя вполне корректно. Лиде они устроили настоящую овацию. Успех концертов был «оглушительный», как сообщили на другой день газеты. Госпожа Мануйлова могла гордиться своей ученицей.

Затем выяснилась еще одна подробность, доставившая Лиде немало радостных минут.

Денежной стороной поездки заведывала госпожа Мануйлова. После концерта она объявила Лиде свое решение: оплатив все расходы по поездке, она, как было обещано, отдаст остаток в благотворительное русское общество Шанхая. Когда это было сделано, дамы-патронессы явились поблагодарить Лиду, — и как она была счастлива от сознания, что могла кому-то помочь! Она всегда сознавала и ощущала себя такой бедной и, с сердцем, очень склонным к жалости, всегда бессильной помочь. Открывшаяся перед ней возможность наполнила ее радостью. При ней дамы распределяли деньги. Она слышала фамилии бедняков. Ей объяснили их нужды и несчастья. Как рада она была подписать лист, давая свое согласие. Она чувствовала себя крезом.

«Вот этого счастья уже никто не сможет отнять у меня, думала Лида. Я всегда буду петь на всех благотворительных концертах, где меня попросят, — и пусть собирают деньги и пусть раздают! Одним этим могу жить, если не будет другого мне счастья».

Они собирались домой, в Тяньцзинь. Отдать визит игуменье не пришлось: она умерла накануне приезда Лиды в Шанхай. Лида присутствовала только уже на торжественных панихидах — и все ей не верилось, что игуменья могла вообще умереть. Именно в ней, казалось Лиде, было какое-то человеческое бессмертие, что-то прочное, неразрушимое. В ней не было хрупкого, как в других людях — ни в ее жизни, ни в поступках, ни в ее вере. Лида помнила ее слова о том, что верующий получает просимое. Плача стояла она, прощаясь со свежей могилой. Плакала она горько, сама понимая, что плачет не об игуменье, а о чем-то другом, о своем.

«При ее вере, думала она о покойной, что ей смерть? Она так просто говорила: еду умирать. Я плачу, вероятно, не из-за нее, а из-за себя. Я плачу о Джиме, о том, как между нами ничего не устроено, не объяснено».

Наплакавшись и немного успокоившись, но всё еще всхлипывая, побрела она к себе.

Проходя мимо большого отеля, она увидела молодую женщину, усаживающуюся в такси, и узнала в ней мисс Кларк, которой когда-то в Харбине подарила свою брошь. Лида вспомнила, что мисс Кларк собиралась уезжать обратно, домой, в Америку, в Сан-Франциско.

— Мисс Кларк! Мисс Кларк! — крикнула Лида и побежала за такси. Она не знала, зачем бежит, зачем кричит. Но мысль, что эта мисс будет скоро там, в Америке, близко от Джима, руководила ею.

Мисс Кларк еще не успела далеко отъехать. Она услышала Лиду и велела шоферу остановиться.

— Мисс Кларк! — крикнула ей Лида, заливаясь слезами, — вы сейчас уезжаете в Сан-Франциско?

Американка узнала Лиду. Увидев ее слезы, она выпрыгнула из автомобиля, подбежала к ней и обняла ее.

— Не сейчас, через три дня я уезжаю в Сан-Франциско. Но что с вами? Отчего вы плачете? Плакать нехорошо.

— О! — рыдала Лида, — Сан-Франциско так близко от Берклея...

— Не будем стоять здесь, — заговорила мисс Кларк. — Пойдемте ко мне в отель. Вам надо успокоиться и привести в порядок ваше лицо. Нехорошо с таким лицом ходить по улице.

В эту встречу с Лидой мисс Кларк обернулась к ней лучшими своими сторонами, именно теми, которые так привлекают в американских женщинах: дружелюбием, желанием помочь находящемуся в горе, приветливым отношением к человеку, к какому бы классу он ни принадлежал.

В отеле она, прежде всего, велела Лиде умыться, затем позвонила слуге, чтобы принесли чай и сэндвичи, попросила Лиду не называть ее «мисс Кларк», а просто Ивой — и затем, после чая, попросила рассказать, в чем было Лидино горе.

Историю Лиды она слушала с жадностью.

— Всякая девушка должна выйти замуж именно за того, за кого она хочет, — сказала она наставительно после окончания Лидиной повести. — Быть счастливой — это очень важно, это долг человека, он обязан к этому стремиться и этого достичь. Я вам всё устрою.

— Устроите? — задыхнулась Лида. — Как?

С американской энергией и осведомленностью, взяв расписание сообщения с Америкой, календарь и свое золотое перо, она уже записывала имя Джима, его адрес, Лидин адрес в Тяньцзине, отсчитала и день своего приезда в Сан-Франциско, день, когда она сможет быть в Берклее, часы приема в госпитале, назначила час, когда она пошлет Лиде телеграмму, перевела американское время на китайское и назвала день, когда Лида эту телеграмму получит. Перед изумленной Лидой — запутанность, неизвестность, невозможность, недостижимость рушились, превращаясь в простые цифры. Там, где Лида сказала бы «судьба, предчувствие, неизвестность, случайность» — мисс Кларк говорила «телефон, пароход, телеграф». Фантастический мир несчастной любви приобретал конкретную форму в милях, днях и часах.

Записав на листочке день, когда Лида будет держать телеграмму о Джиме в руках, Ива подала его Лиде. — Вот, чтоб помнить (как будто бы Лида могла забыть!)

— А теперь будем пить чай!

За чаем она спросила. — Так ли я вас поняла: вы хотите выйти замуж за этого молодого человека? Да? И потом жить с ним в Америке?

— Да, — ответила Лида шопотом, каким ответила бы на вопрос, хочет ли она из ада в рай.

— Хорошо. Я это устрою.

— Устроите? Но как? — всё шептала Лида. — Трудно . . .

— Что трудно?

— Билет, виза, деньги . . .

— Я вам достану визу, куплю билет, дам денег, пока вы сами станете зарабатывать. Папа вас устроит на службу. Да, ведь вы чудесно поете. Я вас устрою петь по радио. Хотите?

Лиде казалось, что она была перенесена в какой-то сказочный мир благополучия, где люди обязаны быть счастливыми, где можно найти работу. Она смотрела на Иву восторженными глазами. — Боже, как я вам благодарна!

— Однако, почему вы запустили свое лицо, — начала Ива. — Разве можно носить такие брови? Это не модно. Их надо выщипать. Идите сюда!

Она посадила Лиду перед своим зеркалом и начала «приводить в порядок» ее лицо массажем, кремом, пудрой, румянами, карандашами. Под ее руками милое лицо Лиды постепенно теряло свою натуральную нежность, молодость, наивность и свежесть. Оно превращалось в яркую маску, без индивидуальности, без возраста. — Вот так! — воскликнула Ива, когда лицо было «закончено», любуясь своей работой. — Делайте это каждый день. Знаете, я вам подарю всё необходимое для этого. Женщина обязана ухаживать за собой — это ее долг перед мужем, семьей и обществом. Даже в гробу женщина должна выглядеть молодой и счастливой. Это ее долг по отношению к оставшимся в живых.

Она отвезла Лиду на такси, сказав, что заедет завтра, после полудня. На прощанье они расцеловались.

Увидев Лиду, госпожа Мануйлова ахнула.

— Сейчас же умойся! — сказала она Лиде.

На следующий день мисс Кларк примчалась к Лиде на такси.

— Скорей, скорей! Спешим ко мне. Одевайтесь. Время назначено.

— Время? Для чего? — спросила Лида.

— Вы будете говорить по телефону с Джимом.

— Что?

Если б Лиде сказали, что она будет говорить по телефону с покойной бабушкой, она бы удивилась не больше. Живя в бедности, среди людей, не имеющих отношения ни к дипломатии, ни к коммерции, она даже и не знала, что с Америкой можно говорить по телефону. Она стояла молча и всё более и более бледнела.

— Разговор назначен в три тридцать, — объясняла мисс Кларк. — Я звонила в госпиталь. Ваш Джим там. Я звонила доктору, он дал разрешение. Джим уже предупрежден и будет ждать звонка в три тридцать.

— Откуда он будет говорить?

— Как откуда? Со своей постели.

Лида поражалась всё больше. — Но как это возможно?

— Что? Говорить по телефону? Папа, например, постоянно говорит, когда путешествует. Он скучает по дому. Но спешим, спешим!

И она умчала Лиду на такси.

Разговор по телефону состоялся. Он был порывистым и сумбур-

ным. Оба волновались. Однако же оба выяснили с уверенностью, что любят друг друга по-прежнему, остальное будет сказано в письмах.

Затем Лида рыдала от счастья, а мисс Ива снова «делала ей лицо» и, в заключение, подарила полный набор косметики и литературу по уходу за красотой.

Счастливой Лида покидала Шанхай. И отъезд ее был живописен. Газеты сообщили о времени отбытия, и для проводов собралась «публика».

Стояла мадам Милица с фунтиком кофе, ее ответный подарок; дамы-патронессы с коробкой конфет; две монахини с просфорой; Володя с «посылочкой для мамы»; три мальчика, депутаты, с большим букетом, к которому была прикреплена лента с надписью: «Нашей великой русской певице от молодежи Шанхая».

Это последнее подношение имело свою историю. Вождь школьников, безнадежно влюбленный в Лиду, изыскивал способы выразить ей свое восхищение, окружить ее вниманием и заботой. Но она уезжала. Собрав совет, мальчики решили устроить ей сюрприз на прощанье. Раздобыли книгу «Светский этикет», издание 1904 года. Под заголовком «Проводы знаменитых гостей», под рубрикой «женского пола» — значилось:

1. Обед или ужин — с шампанским и речами.
2. Прогулка в экипаже по живописным окрестностям города (никоим образом не в наемном экипаже, прикажите кучеру подать ваших собственных лошадей).
3. Преподнесите ей драгоценности (бриллианты, изумруды или нитку настоящего жемчуга. Подносить в раскрытом футляре).
4. Букет цветов.

Только это последнее, этот номер четыре, и было в пределах возможности. Но и оно не прошло без затруднений: мальчишки роптали. Они далеко не разделяли тайных нежных чувств своего предводителя и ворчали, что билеты на Лидин концерт их разорили и вот еще предстоит покупка букета! В их взглядах на предводителя мелькали догадка и ирония. Авторитет его стремительно падал. Но ему было всё равно. Он уже принял решение: после отъезда Лиды он сложит «полномочия», оставит ватагу и начнет старательно учиться. Ему необходимо сделать какую-нибудь блестящую карьеру — и поскорее, чтоб стать достойным Лиды и предложить ей руку и сердце. Он — моложе, но годы в паспорте можно прибавить.

Букет преподносили три делегата, избранные для этой роли на основании того, что их костюмы выглядели поприличней. Но сам вождь стоял вдали, намеренно затерявшись в толпе. Его сердце болезненно сжималось при мысли о разлуке. Он уже начал вести дневник. На груди у него хранился портрет Лиды, вырезанный из газеты. Он уже знал, что никто никого никогда так не любил, как он полюбил Лиду. Горе и радость наполняли его разбитое сердце. И как будто почувствовав это, возможно, узнав его, Лида бросила одну из самых милых и очаровательных своих улыбок в его направлении. Он был потрясен своим счастьем.

Неописуемая! — вздрогнул он.

VIII.

Возвращение в Тяньцзинь было нелегким.

Благодаря всё продолжающейся борьбе китайцев с японцами, между Шанхаем и Тяньцзинем уже не было прямого железнодорожного сообщения. Госпожа Мануйлова и Лида ехали до Циндао на пароходе, от Циндао до Цзи-нань-фу по железной дороге. В Цзи-нань-фу была пересадка, и с большими трудностями они, наконец, нашли место в поезде, идущем в Тяньцзинь. Уже эта часть пути чрезвычайно их утомила.

День их прибытия в Тяньцзинь — трагическое четырнадцатое июня 1939 года, — был днем объявления японцами блокады Британской и Французской концессий в Тяньцзине. Блокада была объявлена в семь часов утра, а поезд прибыл на станцию в восемь, то есть всего лишь час спустя.

Несмотря на то, что это японское мероприятие и предсказывалось, и ожидалось, и давно обсуждалось, никто не был подготовлен к нему. С другой стороны, никто из населения и не знал, что же надо делать и как готовиться в предвидении блокады.

Когда госпожа Мануйлова и Лида вышли из здания вокзала, их глазам представилось ужасное зрелище.

Вся площадь перед вокзалом, сквер, улицы — всё было буквально забито людьми. Это, прежде всего, были рабочие и служащие города с его семимиллионным населением, те, кто ежедневно передвигался на работу из китайского города в другие его части. Обычный путь на Британскую и Французскую концессии шел через подъемный мост, а этот мост был поднят. Дороги не было, толпы всё сгущались. Тысячи пешеходов, сотни рикш, повозок, грузовых и легковых автомобилей — всё это было скучено, толпилось, давило друг друга! Люди не знали о блокаде и не понимали, что же происходит? Стоял оглушительный шум. Лошади становились на дыбы, ржали в страхе, под их копытами кричали смятые люди.

Было опасно оставаться в этой толпе, но и не было возможности выбраться из нее. Обратное, в здание вокзала, уже не впускали японские солдаты.

А толпа всё прибывала и ее напор на находившихся впереди всё возрастал. Перед людьми же была только река Хэй-Хо, настолько глубокая, что по ней обычно ходили большие пароходы. В реку падали рикши и люди — и тонули. Все цеплялись друг за друга и в ужасе кричали. Расположенные кругом дома, лавки — всё было наглухо закрыто во избежание вторжения этой обезумевшей толпы. Люди в отчаянии колотили кулаками в стены, но стены безмолвствовали.

Лида была страшно испугана. Она, как и все остальные, не понимала, что происходит здесь, не знала также, что происходит и в самом городе. Она ужасалась при мысли о матери. В толпе кричали, что города уже нет, не существует, разрушен с воздуха.

Госпожа Мануйлова изнемогала от слабости, и Лида в отчаянии беспомощно оглядывалась вокруг. Около нее каким-то образом вдруг появился китаец, очевидно, рикша. Отметив их в толпе по одежде, как наиболее состоятельных, он предложил Лиде вывести ее и «старуху» каким-то окружным путем на Британскую концессию. Сторговались

по доллару за человека. Половину суммы, то есть один доллар, он потребовал вперед. Но в такой толпе не было возможности раскрыть сумку, чтобы достать деньги. Проводник поверил на слово. Он взял Лидин чемодан, единственное, что у них было с собой, и начал продираться сквозь толпу. Лида же и госпожа Мануйлова должны были следовать за ним, стараясь без замедления попасть в ту узкую щель в массе людских тел, которую освобождало, продвигаясь вперед, его небольшое тело.

Это продвижение сквозь толпу было одним из тех ужасов, которые уже не забываются никогда в жизни. Они двигались среди стонов, криков и проклятий, крича сами, наступая на людей, проваливаясь куда-то, взбираясь на что-то упавшее, давя что-то мягкое. Их, в свою очередь, жали, давили, толкали, били. Кто-то сорвал с Лиды шляпу, кто-то другой ударил ее по голове. Но они всё продвигались вперед в сплошной массе тел, сквозь живую стену каких-то существ, потерявших обычный человеческий облик.

Когда же, наконец, они выбрались из толпы, то обе упали на землю в изнеможении. Над ними стоял растерзанный, но улыбающийся и довольный проводник с Лидиным чемоданом в руке. У него была рассечена щека, из раны текла кровь. Обтерев ее грязным рукавом, он сплюнул, снова улыбнулся и стал просить прибавки.

Прежде всего надо было привести себя в порядок. Их одежда была разорвана, рукава болтались, на жакетах не осталось пуговиц. Госпожа Мануйлова потеряла одну туфлю, ее нога была сильно повреждена, чулок превратился в лохмотья. Лидина сумка, плотно прижатая к сердцу, оказалась целой. Сумка госпожи Мануйловой, перекинутая через плечо под жакетом, тоже уцелела. В них находились их документы, потеря которых почти равнялась потере жизни.

Вид сумок особенно обрадовал их проводника. Он отказывался двигаться дальше, пока ему не уплатят задатка и не дадут прибавки тут же, на месте. Поторговавшись, Лида ему заплатила.

— Вот живучий народ! — удивлялась госпожа Мануйлова. — Он улыбается.

— Я думаю, он очень беден, а сегодня он хорошо заработал. У него, наверно, большая семья — вот он и радуется.

Они спешили домой, особенно Лида. Хотя город, очевидно, был цел, она беспокоилась о матери. Но они совершенно не знали, где, собственно, находятся, в какой части Тяньцзина. Пришлось опять торговаться с проводником. Он откуда-то уже достал рикшу, усадил обоих, положил на их колени чемодан и заявил, что за пять долларов доставит их окружным путем на Французскую концессию. Начали опять торговаться. У путешественниц оставалось всего четыре доллара. Убедившись, что у них действительно денег больше нет, рикша согласился и на четыре, сказав, что терпит из-за них «большие убытки». И они поехали.

Они ехали каким-то сложным запутанным путем. Всезнающий рикша избегал опасных мест — и тех, где была толпа, и всех тех, где были заставы, полиция, солдаты, баррикады, словом, препятствия. Они ехали через чужие дворы, темные переулки, сквозь какие-то щели между высокими домами и зданиями фабрик, по местам и до-

рогам, о существовании которых никогда не подозревали. Эти места были мрачно-пустынны. Наконец, он доставил их к границе Французской концессии. Здесь их ожидало новое испытание: снова толпа, крики и шум, и ко всему еще была и полиция, конечно, японская, которая всем распоряжалась. Они уплатили рикше, и он — на их глазах — исчез, словно провалился сквозь землю вместе со своей тележкой. Им же пришлось стать в очередь ожидавших пропуска на концессию. Чтобы попасть туда, надо было пройти через японский опрос и обыск в бараке. Там сидели японские чиновники и стояли солдаты. Они опрашивали людей, обыскивали, били, отсылали в тюрьмы, — и не только китайцев, но и европейцев.

Госпожа Мануйлова и Лида, как дамы, были встречены более вежливым обращением. Они должны были лишь заполнить анкету с бесчисленным количеством вопросов.

Анкеты сделались массовой манией японских чиновников, каким-то их повальным сумасшествием; доказательством этому могли быть, например, такие вопросы, установленные специально для русских:

«Когда вы родились по старому стилю?»

«Когда вы родились по новому стилю?»

«Кто ваша бабушка — мужчина или женщина?»

«Что думали вы и ваш отец о Японии пятого января 1905 года?»

«Что вы делали и где вы были седьмого июля 1914 года, в декабре того же года, в сентябре 1915 года, в августе 1918 года?»

«Что думает ваша мать?»

«Когда вы выходите замуж? За кого? Почему? Что он думает о настоящем японо-китайском конфликте?»

Вопросы этих анкет являлись, очевидно, «творчеством» сумасшедших, а сумасшествие это было злое, жестокое. Обычно, «чтобы ответить», на вопросы, например, о том, кто и что думал когда-то, — ответ писался наскоро и забывался. У японцев же сохранялся «документ». Этот же вопрос появлялся вдруг в одной из множества других анкет, ибо «анкетным» пыткам подвергался каждый русский, живущий под «восходящим солнцем», подвергался почти еженедельно. Ответ не сходился с данным ранее, и виновный подвергался обвинению во лжи, в замалчивании чего-то, в «неискренности» по отношению к закону, и часто лишь за это одно попадал в тюрьму, не всегда выходя оттуда . . .

Лида и госпожа Мануйлова должны были ответить и на такие наивные вопросы:

«Храните ли вы коммунистическую литературу?»

«Ведете ли вы коммунистическую пропаганду?»

«К каким секретным коммунистическим обществам вы принадлежите?»

«Напишите их имена и адрес».

Заполнение анкет заняло часы. Полчаса заняла проверка их двух паспортов и виз. Наконец, совершенно обессиленные, госпожа Мануйлова и Лида были выпущены из барака и ступили на Французскую, а оттуда на Британскую концессию. Спокойствие, порядок и тишина ка-

зались им невероятными. Трудно было, видя это, поверить, что пережитое за день не было только кошмаром.

Шатаясь, как во сне, подходила Лида к своему дому, и ей казалось, что он не приближался, а уходил от нее. У нее кружилась голова, она не замечала, что плачет. И когда повар увидел ее и крикнул матери, что Лида подходит к дому, когда мать выбежала навстречу, обняла и поцеловала ее — Лиде показалось, что она достигла, наконец, вечного спокойствия, вошла в рай.

IX.

Что-то, действительно, как бы изменилось в судьбе Лиды. Ее судьба, казалось, взяла новый курс — к лучшему. Ее надежды стали приобретать реальные формы. То и дело она получала письма, телеграммы, посылки с сюрпризами. Она чувствовала себя окруженной заботами трех друзей: Джима, Леона и Ивы Кларк.

Как бы награждая ее за долгое, безропотное терпение, за твердость в надежде, письма приходили часто, иногда по два сразу. Посылки приносили самые неожиданные вещи. Леон, обычно, посылал сувениры, купленные им по дороге. Сам испытав нужду, он неизменно посылал ей то, что можно было заложить или продать: золотые или серебряные вещички. Мисс Кларк, вспомнив вдруг, что у Лиды нет маникюра, с первой же остановки — из Токио — послала ей маникюрный прибор.

Но самым главным были, конечно, письма Джима, объяснение всех прошлых недоразумений. Причина его молчания поразила Лиду неожиданностью.

В простоте сердечной она — в письмах к Джиму — все восхищалась Леоном. Для нее это была единственная живописная фигура на фоне бедной, бесцветной жизни, и ей казалось естественным делиться своими впечатлениями. Она описывала Джиму, как красив Леон, как он хорошо воспитан. Восхищение, казалось, шло с *сесендо*. Леон получил наследство. У него титул графа. Он уезжает в Европу. Они катались на автомобиле. Они обедали в ресторане. Он ей преподнес цветы. Затем сообщения поднялись до зенита: Леон хотел бы на ней жениться. Вот удивительно! Вот какая новость! Его родители не только ничего не имеют против, но даже были бы рады, а уж Лидина мама как бы была этим счастлива!

Здесь прекратились письма Джима. Он решил замолчать на время, дать Лиде возможность свободно разобраться в своих чувствах, самой решить судьбу. Он любил Лиду и был в горестном раздумьи. «Граф», — а у Джима, конечно, не было титула: «Богат», — Джим же должен был сам содержать себя в колледже, мыл посуду в студенческом общежитии, летом работал на фабрике. Семья его не была бедна, но отец, сам на себя зарабатывавший на свое учение, считал, что и сыну его это будет очень полезно. А фраза Лиды, что родители Леона были бы рады, — особенно кольнула Джима. Конечно, его родители не станут препятствовать, если он женится на Лиде, но, по американской традиции, они ничем не помогут. Мать уже дала ему понять, что его брак с русской девушкой ею не одобряется, и что, женившись, он должен держаться в отдалении. И Джим видел перед собой и Лидой

долгие годы борьбы, нужды, неустроенной жизни, молчаливую критику неприветливой семьи. Она восхищается графом: титул, деньги, красив, влюблен, приветливая семья. По американской традиции *fair play* *) — он полагал бесчестным лишить Лиду возможности иметь «свой шанс», удерживать ее и влиять на нее. И в простоте и честности своего молодого сердца он решил отойти на время, предоставив ей этот шанс, замолчав, скрывшись с ее горизонта. Он думал, что если напишет ей открыто о своем решении — дать ей свободу нового выбора, она, по честности своего сердца, запротестует. Просто замолчать казалось ему лучше: это давало ей большую свободу решения. Он знал из писем, что Леон скоро уезжает в Европу. Джим решил замолчать до известия о том, что Леон уже уехал. Если Лида осталась в Тяньцзине и напишет, значит, она выбирает его, а не Леона.

Приняв такое решение, Джим страдал немало. Возможно, что душевное состояние и было причиной тому, что он попал в автомобильную катастрофу.

Сколько слез пролила Лида над этими письмами — и радостных и печальных. — Боже, какая же я была глупая!

А мисс Кларк уже познакомилась с Джимом. Она познакомилась также и с его родителями. Она начала хлопоты о визе. Она обещала непременно найти Лиде работу. Она решила также, что Лиде необходимо поступить в колледж. Она посылала ей кипы проспектов и программ высших школ. Эти пакеты чередовались с письмами, чаще всего отпечатанными на машинке, и посылками с последними изобретениями в области домашней самостоятельной завивки волос. Она задавала Лиде странные вопросы, например, свои ли у нее зубы, не хочет ли она до приезда в Америку стать платиновой блондинкой, не думает ли она несколько убавить свой вес. По всем пунктам она обещала свое содействие.

Но, в общем, каждое письмо мисс Ивы было практическим, трезвым. Оно являлось еще одним солидным кирпичом в постройке здания Лидиною счастья. Изобретательности мисс Ивы, казалось, не было конца. Она уже соображала, как Лиде получить стипендию для образования, а на заработок от выступлений по радио иметь достаточные средства для жизни. Она спрашивала Лиду, как скоро по приезде она хочет обвенчаться, и уже составляла список вещей, необходимых для хозяйства молодоженов, которые надо было получить в виде свадебных подарков. Она подыскивала, с кем бы познакомить Лиду по приезде, в расчете получить свадебный подарок. От родителей Джима она хотела пылесос, не меньше. Отец Ивы уже пообещал стиральную машину, а сама Ива — электрический утюг.

Всё это делало будущее реальным, почти осязаемым.

Но была и большая печаль — о матери. О ней Лида не упомянула Иве, и все хлопоты по въезду в Соединенные Штаты велись для одной только Лиды. — Значит, я оставляю ее? Одну?

Но мать ее была не из тех, кто думает о себе, она жила Лидиным счастьем.

— Но как же иначе? — протестовала она. — Было бы уже совсем

*) Справедливость.

неприличным, совершенно недопустимым просить мисс Кларк еще и обо мне. Подумай, какой расход! Нет, нет, даю тебе слово: если б ты и попросила ее за меня, я всё равно бы не поехала.

Но как ее оставить? Одну? А над Тяньцзинем тучи все сгущались и сгущались. Делалось страшно жить.

— Чем ты огорчаешься! — утешала мать. — Это даже грех. Тебе Бог посылает счастье — радуйся. Грех быть всегда недовольной.

И приводила так часто упоминаемый русскими довод:

— У меня тут могилка нашей милой бабушки. Не хочу оставить ее одну в чужой, китайской земле. Ты поезжай, дорогая, а я уж лучше тут останусь.

А жизнь в Тяньцзине делалась, действительно, страшной. Блокада продолжалась. На перекрестках установлены были громкоговорители, и чьи-то голоса кричали о том, что все беды населения — голод, бедность, дурная погода — всё идет от злых умыслов на Британской концессии, от козней — на Французской.

Они жили, опутанные проволочными заграждениями, окруженные стенами из мешков, наполненных песком: концессии принимали меры на случай открытой атаки. Только пять ворот были открыты для сообщения с внешним миром. За этими воротами немедленно начиналась японская власть, то есть жестокое преследование. Там выстроены были особые «станции» — для осмотра, опроса, ареста. Консульства выдавали особые «пассы», но японцы щадили лишь тех, кого сами считали совершенно безвредным, бессильным, безличным. Китайское население страдало безмерно, — бедное, конечно. Богатое всегда умело укрыться.

Иностранные концессии Тяньцзиня не были обеспечены продуктами. Сами они не производили ничего. Там не было ни фруктовых садов, ни огородов; фермы всегда были под запретом по санитарным соображениям. Таким образом, главным осложнением явился недостаток съестных припасов. Торговцы, разносчики, домашняя прислуга, ремесленники — все жили за пределами концессий, обычно в китайском городе. Все эти тысячи людей ежедневно, на заре, выстраивались в мучительно-долгую очередь у пяти ворот и подвергались жестокости японского произвола.

Никогда нельзя было угадать, кого будут бить японские солдаты — и за что. Это уже вошло у них в ежедневную практику — действовать не аргументом, а силой. Долгие годы подобной «политики» с беззащитным китайским и русским населением в Маньчжурии дали свои плоды: японцы дичали от собственной жестокости. Быть слепо жестоким заменило для них прежде «быть храбрым».

На все, ввозимое на концессии, они налагали неслыханные, непомерные налоги. Как всегда при народных бедствиях, кто-то анонимный «делал» на этом деньги. Конечно, если бы этот аноним сам увидел — своими глазами — все те страдания, на которых наживался его капитал, он, возможно, устыдился бы; возможно, и в нем заговорила бы совесть, и его деньги показались бы ему ядом. Но такие люди не работают сами, они далеки от мест своих преступлений — и, при некотором усилии, — могут вообразить себя честными членами общества. Иногда, набрав миллион, они дают десять тысяч на бедных, и им поют

славу. В руках у таких дельцов — японских и — увы! — китайских — оказалось всё снабжение края.

Жизнь, полная опасностей, тревог, со всегдашней неуверенностью в завтрашнем дне, превращала существование бедного населения города в непрерывный кошмар.

Но хорошие известия, грядущие перемены в жизни Лиды скрашивали всё. И она, и мать легче теперь переносили внешние лишения. Более того, то и дело происходили события, иногда просто мелочи, как бы творимые кем-то тайно или посланные свыше, чтоб облегчить их жизнь.

В городе, переполненном до предела, на Британской концессии было совершенно невозможно найти помещение. Но вот уезжало семейство Диаз. Они отбывали в Европу в августе 1939 г., а их квартира — по контракту, была оплачена до марта 1940 года. Они оставляли свою квартиру Лидиной матери, а Лиде дарили пианино. Это было неслыханной щедростью, неслыханным богатством, которое сразу «почти обогатило» их. Они решили остаться на чердачке, привыкли уже: высоко, как гнездышко на дереве, а остальное помещение сдать по комнатам. Приходили снимать комнаты еще до отъезда семьи Диаз, предлагая высокую цену. Когда же семья Диаз уехала, Лида и повар прибрали весь дом. Лиду можно было видеть поочередно в каждом окне, — она их мыла весело, с песней. Она пела теперь, по преимуществу, русские народные песни. Это была идея госпожи Мануйловой, убежденной в том, что в Соединенных Штатах Лида сможет выступать по радио успешнее всего именно с этим репертуаром. Она также учила Лиду петь и почти забытые старинные русские романсы.

«Среди долины ровные»... — пела Лида, подметая лестницу, «Однозвучно гремит колокольчик», — подметая крыльцо.

Пианино невозможно было поднять наверх. Его поставили в прихожей и решили искать покупателя. Выручка могла покрыть стоимость билета в Америку, — и не нужно будет начинать новую жизнь с долгов. Пока же Лида играла каждую свободную минуту.

— Боже, как я счастлива! — восклицала она.

И только мысль, что она оставляет мать, пугала ее.

— Мама, как только я приеду, я сейчас же, понимаешь, сейчас же начну хлопотать для тебя визу и копить деньги на билет. Ты приедешь? Говори, клянись мне — ты сразу же приедешь?

— Приеду, — обещала мать.

Х.

Возвращаясь однажды домой с ночного дежурства из больницы, мать смутно почувствовала, что кто-то будто следит за ней. Она слышала за собою легкие шаги, которые не приближались и не удалялись; они следовали всё на том же расстоянии, хотя она сама то ускоряла, то замедляла шаг. Дойдя до угла, она обернулась. Улица имела обычный вид: во всех направлениях спешили пешеходы, большей частью китайский народ: рабочие, носильщики, посыльные, торговцы, нищие. Кое-где сидели группы не то бездомных, не то уставших и отдыхающих. Китайские дети, голые, с крохотными заплетенными ко-

сичками на круглых грязных головках, сновали тут и там, высматривая хорошо одетых иностранцев, чтоб попросить милостыню.

Шагах в трех за собой мать увидела китайца, который тоже остановился, когда остановилась она сама. Это был ремесленник, стекольщик. Как бы в объяснение внезапной своей остановки он перемещал свою ношу с одного плеча на другое: обычный ящик стекольщика на плечном ремне. Быстрый взгляд не открыл в нем ничего подозрительного. Мать пошла дальше.

Сокращая путь, она вошла в очень узенький и темный переулочек между двумя высокими домами, и здесь уже совершенно определенно услышала те же шаги за собой: в переулке их было только двое. Прибавив шагу, не оборачиваясь, она вошла с черного двора, через калитку, и только хотела ее захлопнуть, как почувствовала, что кто-то держит калитку снаружи, не давая ей закрыться. Она выпустила калитку. Бояться, казалось, было нечего: белый день, она у себя во дворе, только крикнуть, прибежит повар.

Калитка медленно открылась. Во двор вошел тот же стекольщик. Оглянувшись в переулок, он быстро захлопнул за собой калитку. Немного испугавшись, мать кинулась к кухне, где жил повар.

— Мадам, мадам! — позвал стекольщик.

Она обернулась. Он смотрел на нее с широкой улыбкой.

— Я пришел починить стекло вон там, у вас на чердаке.

То, что он знал, где она живет, было в порядке вещей. В Китае все знают, где живет каждый иностранец. Но слова о разбитом стекле ее удивили.

— Нет работы, — сказала она кратко. — У нас все стекла целы.

— Нет, мадам, посмотрите вон там в углу отбит кусок стекла. Надо поправить. Я поправлю.

Она посмотрела вверх. Правда, кусок стекла был отбит и, очевидно, выпал. Но как? Когда? Она, уходя несколько часов тому назад, видела это окно целым.

Она еще раз, внимательней, посмотрела на китайца. Он стоял смиренно склонившись, почтительно улыбаясь, — воплощение бедняка, жаждущего работы. Ни в одежде его, ни в манере не было ничего необыкновенного. Руки? Она посмотрела на руки: это были рабочие руки, знавшие тяжелый труд.

— Хорошо. Но кто сказал тебе прийти сюда?

— Ваша молодая мадам сказала: иди, почини окно. Я всегда работал для вас, мадам. Я починял всегда все ваши окна. Мадам забыла меня.

Все это не было правдой. Да и в голосе его и в том, как он говорил с ней на обычном ломаном наречии, на котором все китайцы говорят со всеми иностранцами в Тяньцзине, — слышалось нечто чуждое, словно он был не из этого края. Он стоял, ждал — и ей стало его жалко. — Сочиняет, что работал раньше, просто нуждается. Но почему Лида поторопилась послать стекольщика, разбив окно. Обычно такие вопросы они сначала обсуждали вместе, а рабочих приводил повар; это было его привилегией, ибо, по китайской традиции, он взымал за это в свою пользу определенный процент.

Видя ее колебание, стекольщик еще раз бегло оглянулся, ступил на шаг ближе и сказал тихим, но веским, решительным тоном:

— Это стекло должно быть починено сегодня. Мно-го плохого случается, если люди небрежны.

— Что же может случиться со мной из-за этого стекла?

— С другими людьми, мадам.

— Должно быть, голоден сам или семья, подумала мать. — Что ж, — сказала она, — иди, починяй. Только помни, не запрашивай дорого.

— Зачем дорого! — воскликнул видимо обрадованный стекольщик. — Мадам заплатит мне обычную цену. Я уже многие годы почи-няю для мадам стекла.

— Ну, иди наверх! — сказала мать, пропуская его вперед. — И почи-няй поскорее. — Сама она, на всякий случай, решила идти позади и держаться поближе к двери.

Едва войдя в комнату, стекольщик стал быстро-быстро, без обыч-ной китайской медлительности, починять стекло, не говоря ни слова. Он работал умело и ловко, как хороший мастер.

— Готово! — весело воскликнул он, отступая на шаг и откровенно любуясь своей работой.

— Сколько тебе следует?

— Денег не надо. Потом.

Это было удивительно. Что ж он так настаивал на работе? Но сте-кольщик уже сложил свой ящик и собрался уходить. Вдруг мать заме-тила, что на подоконнике он оставил письмо. Оно было в китайском конверте и лежало на узком подоконнике, придавленное небольшим камнем.

— Стой! — позвала она. — Ты забыл письмо.

— Я ничего не забыл, мадам. Спасибо, мадам.

— Но вон там письмо.

— Это не мое письмо. Не я писал, не для меня написано.

— Возьми его. Слышишь! Это не наше письмо. Его раньше тут не было.

— Мадам, — сказал стекольщик примиряюще, — не ваше письмо и не мое. Нас не касается. Пусть полежит тут. Вам — не надо, мне — не надо. Тот, кому надо, придет и возьмет...

— Послушай, — забеспокоилась мать, — зачем ты это делаешь? Мне это не нравится.

— Никому не нравится, — сказал стекольщик. — Кому может нравиться такая жизнь? И все-таки, пусть письмо полежит тут. День полежит, другой полежит... ничего. Вас не касается.

— Но кому оно?

— Я не знаю, вы не знаете. Кому надо, з н а е т.

— Слышишь, возьми его!

— Мадам, — тихо шепнул стекольщик, — вам что-то с к а ж е т тот, кому это письмо. Вы что-то ожидаете, никто — не говорит. Он придет — скажет. Спасибо, мадам.

И он ушел.

Совершенно расстроенная, удивленная мать смотрела на письмо, боясь его тронуть.

Пришла Лида с урока. Она ничего не знала ни об окне, ни о пись-

ме. Она оставила стекло целым и не послала никакого стекольщика. Обе заволновались.

— Знаешь, мама, — догадывалась Лида, — окно, наверное, разбил повар, нарочно. Этот стекольщик, наверно, как-нибудь тайно борется с японцами, прячется. Письмо, верно, его семье. Всех жалко. Кто придет — отдадим и только. Не надо бояться.

В борьбе китайцев с японцами европейцы были на стороне китайцев, сочувствовали и, если могли, рады были им помочь. Лидино объяснение успокоило обеих: ну и пусть лежит это письмо у нас на подоконнике.

Вечером, когда сгустились сумерки, и они сидели у столика и пили чай вместо ужина, на лестнице послышались медленные, осторожные, тяжелые шаги.

— Кто-то к нам, — прошептала Лида.

— Китайцы так не ходят, — тихо ответила мать.

Тот, кто шел, очевидно, шел по этой лестнице впервые. Они прислушались: Он ощупывал стены, проводя по ним рукой, и за дверью остановился, как бы осматривая замок, потом только тихо постучал.

— Войдите, — сказала мать, встав и заслонив собою Лиду.

— Здравствуйте! — по-русски сказал вошедший. Перед ними стоял высокий плотный, тяжелый мужчина, с круглой головой и толстой короткой шеей, на вид — грубый и очень сильный. Он, прежде всего, быстрым взглядом окинул комнату, как бы исследуя, где может быть скрыта засада. В маленькой комнате с покатым потолком он выглядел гигантом. Лида и мать смотрели на него во все глаза, с испугом и изумлением. Он был русский, он говорил по-русски, но в то же время что-то совершенно чуждое для них было в этом человеке. Он был чужой человек, из какой-то чужой земли, из-под других небес. Большая физическая сила и, вместе с тем, большое внутреннее напряжение делали его страшным. Он словно стоял не в маленькой комнате на чердаке, где находились две слабые женщины, а крался в бескрайнем лесу, шел один на медведя, готовый и к нападению и к защите. Это — не был мирный человек. Стоя внешне спокойно, он, казалось, воевал с кем-то, ожидая встретить смертельную опасность каждую минуту, из каждого угла. Он быстро взглянул на их лица, и они поняли, что он уже запомнил их и узнает везде и всегда.

«Боже мой! — подумала мать. — Большевик!»

— Что вам здесь нужно, товарищ? — спросила она.

Он ответил не сразу. Засунул руку в карман тужурки и вынул записку.

Мать сделала шаг вперед.

— Кто вы? Зачем пришли?

— Кто я — совсем неважно, — отвечал посетитель. — Ну, скажем, почтальон. Вам письмо.

— Письмо? От кого?

— От племянника вашего, от Петра.

Мать ахнула: — Боже мой!

— От Пети! — закричала Лида. — Он жив? Жив! От Пети?

И внезапно оба женских лица покрылись горячими слезами. — От Пети! — восклицали они, плача. — Боже мой! Письмо от Пети!

Все эти долгие, долгие месяцы они почти не говорили о нем, почти, казалось, и не вспоминали. Обе глубоко скрывали свою печаль, свое беспокойство. И только теперь, в этот момент, им обоим стало ясно, какая это была душевная тяжесть, какая тоска — не знать ничего о Пете с той минуты, когда однажды ночью он покинул их дом.

Мать взяла записку, но ее руки страшно дрожали, она не могла ее развернуть. Лида тихонько отняла у нее. Конверта не было, просто маленькая записка. Развернув ее, Лида прочитала: «Привет. С любовью, Петя». Это было всё. Но, несомненно, письмо было написано Петей, его почерк, его рука.

На минуту обе забыли о посетителе. Они стояли обнявшись и, плача, глядели на это драгоценное письмо.

— Слава Богу, — перекрестилась мать и про себя прочитала молитву «Исполнение всех благих». Затем она обернулась к гостю и смиренно сказала: — Благодарю вас.

Он стоял внешне спокойно, не отвечая ничего.

Он устал, — подумала мать, — он очень-очень от чего-то устал...

— Садитесь, пожалуйста, — сказала она, предлагая ему стул. — Выпейте с нами чаю.

— А сами вы видели Петю? — вдруг заторопилась с вопросами Лида. — Где? Когда? Где он сейчас? Он не просил вас передать нам что-нибудь на словах?

— Скажу кое-что, — отвечал посетитель, тяжело опускаясь на стул. Не только стул, но даже и пол заскрипел под его тяжестью. Он сел поудобнее, чтоб действительно отдохнуть. Казалось, пол подогнулся под его стулом и потолок спустился ниже.

— Что же на словах? — торопилась Лида.

— Подожди, Лида, — остановила ее мать. — Дай... нашему гостю выпить чашечку чаю.

Ей жаль было этого человека. Видно было, как он изнемог от жажды: он одним глотком выпил чашку и глубоко-глубоко, радостно вздохнул.

— Прячется где-нибудь от японцев, — подумала мать, — и наверно голодный. Но обильной пищи у них самих не было. Она подвинула ему единственный сандвич — свой собственный ужин. — С огурцом и помидором, — сказала она, приветливо улыбаясь.

Теперь он ел и пил медленно, с осторожностью, присущей всем его движениям. Затем начался разговор. Он рассказал историю Пети.

Перейдя границу, Петя явился «на пункт» и «объявил» себя. Его арестовали и посадили в тюрьму.

— В тюрьму? — в негодовании воскликнула Лида.

— А то куда же? — как будто удивился гость.

— Но за что?

— Ни за что. Для порядка — до суда. Как же вы полагаете, гражданка, если в ночь неизвестные люди станут переходить через границы — что с ними делать? В тюрьму — по закону.

Затем, рассказывал он, был суд над Петей. Обстоятельства были для Пети неблагоприятны. Он — по рождению — принадлежал к аристократии, жизнь вел эмигрантскую, за границей. Пришел из Китая, из-под власти японцев — мог быть и шпионом...

— Шпионом? — возмутилась Лида. — Что узнавать? Про советы всем и всё давно известно.

— Не перебивай, — попросила мать, — будем говорить только о Пете.

Петя перешел границу, к несчастью, там, где шла стройка укреплений. Могла ему грозить и смертная казнь.

— Но парень оказался счастливецом, — продолжал рассказчик, — послали его всего-то на каторжные работы.

— Петю! — зарыдала Лида.

— Постой, — отстранила ее мать, а сама спросила спокойно-спокойно: — Он и сейчас там?

— Нет, вышел. На воле. Подошла амнистия: двадцать лет Красной армии. Выпустили Петра.

— Был он болен?

— А как же! Говорил мне, не раз думал, что настал последний день.

Мать молча перекрестилась.

— Где же он сейчас?

— Родственников нашел, живет на Волге-реке. Учитель теперь он. В школе преподает английский язык.

Мать снова перекрестилась.

— Вечером ходит на курсы, сам учится, готовится поступить в Технологический, если пройдет конкурс.

— А какой он на вид? — спрашивала Лида. — Он помнит нас? Он любит нас?

Последними двумя вопросами гость пренебрег, на первый ответил:

— Худой очень, а так — ничего.

— Почему он так мало пишет в этом письме? — спросила Лида.

Гость поглядел на нее долгим, открыто насмешливым взглядом.

— Дорога дальняя, барышня! Опасно письма возить.

— Спасибо вам, спасибо, — еще раз поблагодарила мать.

— Еще одно дело. На словах просил передать, — начал гость. — Петр советует вам выбираться из Китая и ехать домой, на родину. Он так просил сказать: ни в чем он для вас не уверен, то есть легкой жизни никак нельзя обещать: и голод будет, и холод будет, и в тюрьму, хоть ненадолго, посадят. То есть безопасности для вас — никакой. Но, говорит, не намного и хуже, чем вы тут живете. И подальше бы надо вам быть от — японцев. Это — на будущее время. Так и велел передать. Советует, но чтоб окончательно решали вы сами.

— Нас здесь только две женщины, — начала мать.

— Он говорил, есть мальчик.

— Мальчика с нами нет. Нас двое. Для нас теперь вопрос, где жить, уже потерял свою остроту.

— Ваше дело, ваше дело, — сказал гость. — Я на тот случай, если поедете, обещал Петру вам помочь, как устроить для вас это дело поскорей и полегче.

Лида и мать переглянулись.

— Спасибо, — сказала мать, — но мы не поедем. Дочь моя скоро выходит замуж. Я останусь одна.

— Ваше дело, ваше дело. Так и передам.

— А вы когда его увидите?

— Это неизвестно. Не скоро.

— Скажите ему тогда, — заторопилась Лида, — что я выхожу замуж за того, кого еще при Пете полюбила, он вспомнит, кто это. А мальчика нашего взяла к себе та дама, что была пьяницей, только она сейчас живет у себя дома и перестала пить. Мальчику с ней хорошо. Вы запомните всё это? Не забудете?

— Не беспокойтесь, не забудем. Передам, как сказали.

— Вы Петин друг?

Он помолчал. — Очень большой дружбы у нас там нет. Случилось, жили в одном дворе. Он узнал, что я еду в Китай, попросил зайти. Искал я тут вас, вы квартиру переменили.

Собеседники, как та, так и другая сторона, избегали называть имена, города, адреса, избегали всякой фактической точности. Мать не спросила даже, каких родственников нашел Петя.

— Ну-с, а теперь вас попрошу, — встал гость — тут есть у вас для меня письмецо.

— Для вас?

— Да, к вам должны были занести. На китайском языке. На конверте — четыре иероглифа.

— Письмо есть... но как-то странно, — начала мать.

— Письмо за письмо, гражданка, — вдруг засмеялся отдохнувший гость. И мать, и Лида вдруг тоже улыбнулись. На минутку в воздухе промелькнуло дружелюбие. Улыбка и смех вдруг на мгновение напомнили им, что, вопреки всему, они — дети одного народа и говорят на одном языке.

Мать взяла письмо с подоконника:

— Это?

Он внимательно посмотрел на иероглифы.

— Это самое. Ну, спасибо.

— Вы знаете китайский? — удивилась Лида.

— А как же? — в свою очередь удивился гость. — В Китай же ехал, как же без языка?

И, еще раз поблагодарив, он ушел.

ХІ.

В воскресенье, двадцатого августа, под вечер, Лида стояла в маленьком садике при доме, любуясь цветами. Еще ранней весной, до отъезда в Европу графиня, наняв садовника, подолгу работала с ним, приводя в порядок клумбы, дорожки, подстригая кусты, рассаживая цветы. На истощенной почве Китая не так легко вырастить что-нибудь, но в этом году всё росло, всё цвело, распускалось, благоухало. Это был какой-то неслыханный год для растений. Китайцы же, хорошо знающие свою землю, климат, природу считали это приметой, предвещающей стихийное бедствие.

Лида любовалась никотианой. Раньше она знала только те небольшие ароматные цветы, которые назывались табачками. Никотиана, очевидно, была королевой малых табачков. Гигантские цветы, почти как цветы магнолии, раскрывались вечером и разливали тонкий аромат. Они были ослепительно белы, тяжелы, как из воска. Казалось,

они светились в сумерках, и в лучах их света около каждого цветка вилось облачко его аромата.

Это было время тишины, покоя, отдыха. Без всяких мыслей, как в полусне, Лида стояла, любуясь цветами.

— Вода! вода! — вдруг раздались крики. Они поднялись сразу и со всех сторон.

Но Лида не обратила внимания на этот внезапный шум. Ей не хотелось отрывать от своего покоя. Она просто отмахнулась рукой, как от мухи, и осталась стоять в блаженном состоянии отдыха.

— Вода! Вода! — всё громче раздавались крики. В них слышалось большое волнение, испуг.

Вдруг Лида почувствовала, как что-то теплое и мягкое крадется по ступням ее ног. Она вздрогнула и в страхе посмотрела вниз. Это была вода. Она не лилась откуда-либо сверху, нет, она выступала из-под земли, из каждой ее поры, и подымалась всё выше.

Конечно, Лида слыхала об ожидавшемся наводнении. Китайцы говорили о нём с уверенностью. Повар объяснял ей даже, что и цветы в этом году были так прекрасны, потому что их питало обилие подземной воды. Но в тот миг Лида обо всем этом забыла и стояла в оцепенении, глядя на темную, страшную, грязную воду. Она не понимала, что происходит. В этом как будто простом, но таком необычайном зрелище было что-то ужасное. Ее ноги заливала не обычная вода, а какая-то липкая, густая, зловещая. Земли уже нигде не было видно. Лида по щиколотку стояла в воде.

Она побежала к крыльцу, и ее сандалии громко хлопали по воде. Став на ступеньку, Лида, как под гипнозом, растерянно смотрела на воду, которая, как бы догоняя, уже подымалась до ее ступеньки. Она поднялась на следующую, и вода снова догнала ее. Лида подымалась все выше. Откуда-то появилась собака, видимо, испуганная. Прижавшись к ногам Лиды, она глухо зарычала.

Лида вошла в дом. Она была одна. Ее мать ушла на ночное дежурство в больницу. В доме было темно и страшно. Он был полон каких-то необычайных, таинственных шуршаний, тихих писков, мелкой беготни — никогда прежде не слышанных звуков. Лида зажгла свет и вдруг вскрикнула в ужасе от того, что представилось ее глазам. Комната была полна живых существ, она кишела ими: мыши, ящерицы, сороконожки, тараканы — всё то, что живет с человеком, но прячется от него — всё это бегало, носилось зигзагами по потолку, по карнизам, взбиралось по стенам. На притолоке двери бордюром, как приклеенный узор, замерли молодые ящерицы. Их Лида смертельно боялась. Она вскрикнула и побежала к себе на чердак.

— Боже мой! Всё это жило здесь с нами!

Она открыла окно и выглянула вниз. Наводнение быстро делало свое дело. А ночь, как бы торопясь покрыть тьмою это несчастье, спускалась необыкновенно быстро. Повсюду страшно кричали люди. Наводнение всех захватило врасплох. Кто мог, выбирался из подвальных помещений, забирался на верхние этажи, или же на стены оград и крыши. Спасали детей, привязывая их к выступам балконов, по-выше. Вода уже была глубока, подвалы, где живет беднота, были

затоплены. Кричали люди, раздавались пронзительные свистки, звали на помощь полицию.

Лида дрожала от страха.

Она знала, что комната на чердаке — самое безопасное место. Но если вода подмоет основание дома и разрушит его? Что спасать? Какие вещи? Их было немного: сумочка с документами, икона, письма Джима, записки Пети и Димы. Она сложила всё это в чемоданчик. В голову же приходили самые неподходящие мысли.

— Напрасно мы с поваром так убрали дом. Опять всё будет грязно. Завтра должны въехать квартиранты. Куда же мы их поместим? Может быть, только в этой части города наводнение, а в других о нем и не знают.

Но загудели сирены — вестник несчастья.

— Что делать? Что же я должна сейчас начать делать? Почему я тут стою? Люди тонут. Помогать? Но кому и как?

Она кинулась вниз. Прихожая была затоплена. — Но откуда эта вода? — вслух спрашивала она. — Ведь я заперла дверь. Дверь была заперта.

В дверь стучали.

Она пошла прямо по воде и с трудом открыла дверь. За ней стоял повар с узлом своих вещей и чайником кипяченой воды. Внизу уже всё было затоплено. Повар был полон энергии.

— Надо поднимать вверх все вещи.

— Стулья?

— Вот это, — повар показал на пианино. Но, конечно, нечего было и думать вдвоем поднять и унести пианино. Повар измерил ширину лестницы на чердак.

— Нет, — сказал он, вздыхая, — не пройдет. Жалко. — И он занялся спасением плавающих стульев. А Лида всё еще кружилась около пианино. Отдохнув, она снова попыталась его сдвинуть, но напрасно. А вода всё поднималась. — Так и погибнет? — кого-то спрашивала Лида вслух. Но самой ей уже приходилось стоять на лестнице. Когда вода покрыла клавиши, Лида горько заплакала. Пианино погибло.

Затем погасло электричество. Тяжелая тьма окутала всё. Не было видно ни неба, ни звезд, ни луны. Воздух наполнился зловонными парами. Смерд поднимался снизу. Уже плавали спасательные лодки, но трудно было понять, как и кого спасают в этой общей суматохе и криках. Со стен, карнизов и крыш обрывались и падали люди. Где-то вдали, очевидно, тонул скот, и тяжкое мычание доносилось оттуда. Чьи-то кошки впрыгнули в комнату к Лиде и забились в угол. Пробежали куда-то мыши, но кошки не обратили на них внимания.

Всю ночь Лида просидела у окна. В ней росла тревога о матери. — Но там, в больнице, они не растеряются, — старалась она себя успокоить. Она думала о китайской части города, об этих глиняных хижинах на низком месте. Повар отправился туда, к своей семье. — Как? — думала Лида. — Каким путем? Но вот там — какое несчастье! Нет высоких домов, нет деревьев. Боже, Боже! Спаси всех, без Тебя все погибнут!

Первые лучи солнца озарили картину бедствия. Высокие дома,

погруженные до второго этажа в воду, возвышались, как острова, в море.

Слышны были стоны, крики о помощи, плач.

Внизу плавали лодки, проплывали трупы людей и животных. Изобретательные китайцы, отрывая двери от домов и делая из них плоты, вывозили погибающих — за огромную плату — куда-то, «на высокие места». В лодках уже приходила помощь английского муниципалитета, но — увы — недостаточная для массы населения.

Лида спустилась посмотреть, что делается в доме внизу. Пианино уже почти не было видно, блестела только его черная крышка, а на ней копошились какие-то мелкие существа: насекомые, червяки, личинки. А вокруг пианино, в воде, стайками плавали маленькие рыбки.

С первыми лучами солнца стали подплывать к дому квартиранты, зная, что комнаты второго этажа не затоплены.

Первой прибыла мадам Климова, хоть она и не сняла помещения. Она считала вполне естественным селиться там, где ей было лучше. В маленькой лодочке китаец доставил ее прямо к ступеням лестницы наверх, которая отныне и сделалась гаванью для судов, прибывающих в дом.

Растрепанная, в промокшей одежде, мадам Климова, казалось, подняла уровень воды своими обильными, на этот раз вполне искренними слезами, выливавшимися «из несчастного, загнанного, запуганного, истерзанного женского сердца». Лодочник торопил ее с платой, стремясь скорее уплыть — день был единственным в столетие по неограниченным возможностям заработка, — а она все копошилась, — где же мой деньги? — и, найдя их, объявила, что у нее имеется всего лишь половина условленной платы. Обменявшись проклятиями, мадам Климова и лодочник расстались, взаимно выразив желание не встречаться более в этой жизни. Лида уже сбежала вниз на голоса и помогала госте вылезти из воды.

— Лида! — рыдала мадам Климова. — Вы видите перед собой самую несчастную женщину в Китае. Погибли все мои вещи. Скорее — комнату мне, и посуше. Впрочем, я выберу сама.

Очутившись на сухом полу, мадам Климова несколько пришла в себя.

— Эту? Но, милая, где же матрас? Кровать без матраса — где это видано — скажите? И вот что, милая, принесите мне сюда еще мебели и всего. А то поналетят люди, знаю их, всё позаберут. Да! Где у вас полотенца, одеяла, простыни? Всё сюда несите! Главное, одеяла! — кричала она вслед Лиде. — Я уже сама из них смастерю матрас. И скорее. Мне надо прилечь. Я всю ночь провела без сна!

Через минуту она уже укоряла Лиду. — Что вы мне даете? Это полотенце? Какая бедность! Как же вы живете, милая? А это что за тряпка, вы ее мне даете?

Наконец, успокоилось сердце Лиды: мать прибыла на плоту из больницы. Они обнялись в радости, что обе живы, и сейчас же погрузились в заботы о других.

Лидина мать первая вспомнила, что нужно скорее перевезти Аллу. — И генерала! — милостиво разрешила мадам Климова. Вернувшийся повар поехал за ними на своем плоту из двери.

— Захвати побольше вещей! — кричала вслед мадам Климова. — И достань где-нибудь побольше пищи!

— Продрогла, тромокла, — жаловалась она хозяйкам. — Ну, скорее, чем будете меня угощать?

Угощать, действительно, было нечем. В городе не было электричества, не работал телефон, не было питьевой воды, не было настоящего сообщения между отдельными частями города, не было запасов пищи. Город стоял под угрозой эпидемий. Всплыли все нечистоты, плавали трупы. Передавали устно чье-то распоряжение, чтоб не пили сырой воды, и что населению откуда-то будут вскоре подвозить кипяченую воду. К счастью, в доме оказался полный чайник кипяченой воды, принесенный накануне поваром.

— Что ж ты стоишь, Лида? — воскликнула мадам Климова. — Дай мне чашечку горячего кофе.

— Кофе? — удивилась Лида. — У нас нет.

— Найдись. Выйди из положения. Достань! Сейчас ты скажешь: нет спирта, нет спиртовки. Да? Боже, в какие дебри ты меня завела!

Подъехали жильцы, снявшие комнаты, кое-кто из друзей, и, наконец, семья госпожи Климовой. Дом заселился вплотную. Все прибыли без вещей и без съестных припасов, но именно голос мадам Климовой покрывал всё — все жалобы, стоны и вздохи. Она каждому в отдельности описывала свои переживания, как будто бы никто другой не испытал наводнения, и она оказалась его единственной жертвой.

Мать Лиды занялась прежде всего Аллой. Ей отвели маленькую, но славную комнату, ей отдали всё постельное белье, какое имели. Лида принесла ей свою подушку. Аллу уложили, укрыли, и она лежала, как мертвая, без слов, без движения.

Обсудили положение. Распределили обязанности. На генерала было возложено общее командование. Он указывал, какие оторвать двери, как делать плоты. Повару дана была цинковая ванна, чтоб плавать на базар, когда где-нибудь откроется базар.

Два дня они не имели никакой помощи извне, и это были страшные дни — зловонные, жаркие, проведенные без еды и почти без воды. На третий день была, наконец, организована городским муниципалитетом помощь. Прежде всего привезли питьевую воду, и развозчики от дома к дому предлагали ее на все голоса, на всех языках.

— Вода! Питьевая вода от города! Бесплатно!

Затем еврейская пекарня, единственная, оказавшаяся не затопленной со своими припасами, предложила населению концессии хлеба по своей цене, и пекла его круглые сутки, вызывая добровольцев доставлять бесплатно тем, кто сам не мог добраться до пекарни. Наконец, базар открылся во дворе французского клуба, который был расположен на холмике и уцелел от наводнения. Те, у кого были деньги, могли покупать кое-какую пищу.

Но даже и при этих ужасных обстоятельствах, при гибели, при этих народных несчастьях, японцы отказались, хотя бы на время, снять блокаду с иностранных концессий для облегчения доступа помощи извне. Колочей их проволоки под водой не было видно, и уж конечно, глубоко была затоплена и мостовая с белыми линиями, указывавшими границы концессий. Но японские солдаты с винтовками

качались в своих челноках там, где предполагались границы, и делали всё возможное, чтоб затруднить передвижение: они требовали документы и «пассы», проверяли их, били, кого им вздумается, и — при аресте — перетаскивали жертву с его плота или лодки в свою.

Как всегда при народных бедствиях, кое-кто довольно потирал руки, «сделав» большие деньги, главным образом, на съестных продуктах. И тут же рядом находились другие люди, те, кто, рискуя жизнью и здоровьем, спасали тонувших, кормили голодных, собирали сирот, лечили больных — и только это поддерживало еще веру в человека.

ХII.

Бедная Алла доживала свои последние дни.

Она лежала в постели с непрекращающейся болью в горле и убийственными припадками кашля. Ее лицо было темно и страшно, а глаза горели лихорадочным светом. Говорить громко она уже не могла, только шептала что-то изредка. Она мучилась, и тяжело было на это смотреть. Лида и ее мать окружили умирающую ласковым тихим вниманием, какого Алла еще никогда в жизни не знала. Мадам Климова была рада, что нашлись добровольные сиделки. Она возобновила посещения дамского клуба, куда сначала ездила на лодке, потом ходила, возвращаясь неизменно чересчур усталой, так что заняться еще чем-либо дома у нее уже не было сил. Генерал трудился весь день по ремонту церкви — работа бесплатная, добровольная, из христианского усердия. Мистер Нгнуйама уехал из Тяньцзиня еще до наводнения. Почти еженедельно приходил от него на имя Аллы денежный перевод, всегда на очень малые суммы, вид которых приводил мадам Климову в раздражение. — И не стыдно было с этим идти на почту? Несчастный! он не рожден джентльменом — и этому невозможно помочь.

И после каждого «оскорбления» денежным переводом, положив «ничтожную» сумму в свой кошелек, мадам Климова просила окружающих пощадить ее и не упоминать больше имени этого негодя в «ее доме».

Это Лидина мать пригласила доктора и, с помощью жильцов, устроила постоянные дежурства у постели умирающей. Это о ней все жильцы и даже Алла спрашивали: где мама? Мадам же Климова проходила все фазы жизненных перемен под своим неизменным титулом, ни для кого не делаясь никем другим. Заботы посторонних о ее дочери она считала вполне в порядке вещей: кому же, как не специалистам-сиделкам — и она кивком головы указывала на мать Лиды — и заниматься уходом за больной. Лиду старались не допускать к Алле, считая, что она еще молода, чтоб быть свидетельницей таких страданий и такой смерти.

Но самой Алле уже ничего больше не было нужно.

Было время, — давным-давно — когда и она любила жизнь. Тогда сердце было полно желаний, мечталось о многом, строились такие интересные планы. Это она когда-то, очарованная, неподвижно подолгу стояла у витрин магазинов, любуясь нарядами. Это ей хотелось купить и то, и другое. Ей хотелось жить непременно в большом доме, в кра-

сивой комнате, с окном до пола, с овальным венецианским зеркалом, с пушистым ярким ковром. Ей хотелось иметь только красивые вещи, благородных друзей, чистую жизнь, любовь и семью. Но от жизни она получила лишь то, что было вульгарно, безвкусно, бесчестно и грязно. Теперь желать было уже поздно. У нее не осталось желаний. У нее почти не осталось тела. О существовании души своей она больше не думала.

Состояние такого безмолвного и бездонного отчаяния ужасало Лиду. Она не знала о существовании такого в жизни. Все люди, которых она до сих пор встречала, обладали хотя бы искрой света, хоть каплей радости или надежды. Она также не представляла себе, что бывают на свете такие холодные матери, такая слепая жестокость и рядом с нею такое духовное одиночество...

В комнате Аллы было темно и очень душно. Несмотря на ужасную влажную жару, особенно тяжкую в том году, окно было наглухо закрыто, и все щели замазаны, так как снаружи стояло такое страшное зловоние — следствие наводнения — которое трудно и вообразить. Облегчить состояние умирающей было нечем. Конечно, не было льда. Пищу доставали только случайную, — что появлялось на базаре. Доктор сказал, что дни Аллы сочтены, и еда не имеет значения: ничто уже не может ей ни помочь, ни повредить.

Однажды Алла открыла глаза и что-то прошептала. Мать Лиды склонилась над больной с ласковой улыбкой: — Вы хотите чего-нибудь, Алла?

— Чаю с лимоном. Пожалуйста, — прошептала Алла.

Не говоря уже о том, что не было денег в доме, не было и лимонов в городе. Не желая огорчать Аллу отказом, мать ей сказала:

— Будет чай с лимоном. Я пошлю Лиду. Придется немного подождать. — Она надеялась, что Алла забудет о лимоне. Но больная то и дело шептала опять: — Скоро? Чаю с лимоном. Пожалуйста...

Собственно, она уже не могла пить, не могла глотать. Ей только смачивали водою губы. Но она испытывала страшную жажду и снова, и снова просила: — Скоро? С лимоном чаю...

Это было тяжело и ужасно. Такая, казалось бы, незначительная просьба, последняя просьба умирающей, а ее не могли исполнить.

— Мама, — сказала Лида, — я не могу больше. Я пойду, куда глаза глядят, но достану лимон. Я думаю пойти к миссис Браун. Только у нее и могут еще быть лимоны.

— Ты думаешь, у нее найдется лимон?

— У них есть ледник. У них высокий дом. Наконец, она может достать в Французском клубе, там не было затоплено. Ей могли привезти лимонов.

Лида была уже на пороге, как мать вдруг сказала: — Собака наша погибнет от голода. Не возьмет ли ее миссис Браун?

— Взять собаку с собой?

— Возьми. Миссис Браун увидит, какая хорошая порода. Может быть, пожалеет. Собака английская.

Собака сидела тут же и всё слышала. Поняла ли она? Все трое — мать, Лида и собака, — при этом разговоре старались не смотреть друг на друга. Собака, как будто, была духом сильнее остальных; она под-

нялась и, не оборачиваясь, пошла к выходной двери.

— Пойдем, — шепнула ей Лида. У нее не хватило мужества кликнуть ее громко.

Миссис Браун была очень занята. Она не пережила наводнения, так как проводила лето обычно в Калгане, на холмах, спасаясь от жары. Но, узнав о несчастье, она немедленно устремилась в Тяньцзинь организовывать помощь. Работы оказалось много, даже у миссис Браун не доставало сил. Это она помогла устроить убежища, открыв помещения кинематографов, школ и клубов. В два дня было размещено десять тысяч бездомных. Не то чтоб она любила человечество и сострадала ему; она скорей презирала людей и совсем не была сентиментальной. Ею двигало другое: национальное достоинство и гордость. Это была Б р и т а н с к а я концессия, и пока миссис Браун жива, она желает поддерживать тут культурную жизнь, с соблюдением закона и справедливости.

Лиду она не узнала, была с нею суха, деловита, неприветлива. Лиду и допустили к миссис Браун только потому, что она заявила, что у нее — спешное дело по помощи населению. На слово «лимон» миссис Браун нахмурилась — причуда! — однако же приказала выдать Лиде один лимон.

Расхрабрившись, Лида приступила и ко второй своей просьбе.

— Миссис Браун, вот собака. Это — английская собака. Она принаслежала английской леди, а затем была отдана нам. Эта собака ест много. Мы очень ее любим, но не можем ее кормить. Она погибнет от голода. Посмотрите, какая худая! Не могли бы вы взять насовсем эту собаку. Она . . . она очень благородное животное. Очень хорошего поведения. Всё понимает. Мы очень любим ее, но не можем кормить . . . — Лида остановилась, голос ее задрожал от слез.

Миссис Браун рассердилась. Какая навязчивость! Ее лицо побавровело. Она взглянула вниз, на собаку. В этот миг собака подняла голову и подарила миссис Браун тяжелым, мрачным взглядом, в котором светилось совершенное понимание положения. Их взгляды встретились: они поняли друг друга, и между ними установилось взаимное уважение.

— Оставьте здесь собаку. Я беру ее, — сказала миссис Браун.

Лида погладила — в последний раз! — собаку, которую знал Дима, знал Петя, знала Бабушка, — все знали, все любили — и вот . . . Лида всхлипнула. Собака втянула голову в плечи, но не взглянула на Лиду.

Когда Лида пошла из комнаты, собака не последовала за ней.

Идя домой, торопясь, с лимоном, Лида плакала.

Когда Алла открыла глаза и увидела стакан чаю с куском лимона, она улыбнулась. Это была ее последняя улыбка. Чаю она не выпила. Закрыв глаза, она впала в бессознательное состояние, и в этом забытьи умерла.

Она ощутила, что где-то отделили ее звено от общей цепи, приковывавшей человека к жизни. Это разъединило ее с миром. Она оказалась выброшенной из общей массы, из потока быстротекущей физической жизни. Она находилась там, где уже не действовали обычные законы материи. Поэтому не было больше и боли. Боль осталась

в том, прежнем, мире. Но ей казалось, что глаза ее открыты, и она видит.

Комната делалась всё темнее, потом стала таять, как пар, как облако, уплыла вдаль и исчезла. Она, Алла, лежала на мягкой душистой траве, под высоким вишневым деревом. Нигде, вне ее, ни в чем не было больше движения. Все было наполнено покоем.

Алла не почувствовала своего тела, ничего, кроме сердца, как будто бы вся она и была этим одним, бьющимся всё реже, постепенно замирающим сердцем.

«Как тихо», — думала она. Но теперь она думала без слов, как бы образом или чувством.

«Как тихо. Это потому, что надо мною цветущая вишня». И ей казалось, будто вишня склоняется к ней все ниже.

«Я всегда замечала, я знала, что совсем особенная, прекрасная тишина там, где цветут вишни». А вишня уже почти касалась ее лица.

«Особенно, если это облачный день, без яркого солнца, не много облаков, одно... и оно плывет, и всё тихо, и всё темнеет...» И она погрузилась в этот покой.

«Я посмотрю, что я оставила...» и ей казалось, что она приподнялась и оглянулась туда, откуда пришла, чтобы лечь под эти деревья. Она напрягала зрение, потому что всюду поднимался, густел туман, мешая видеть. Но всё-таки она увидела: это было широкое, безрадостное поле. Узкая тропинка, извиваясь по нём, вела к старенькой, покрытой соломой хатке. Соломинки свешивались, качаясь, с крыши. Высокая трава, сухая и серая, качалась у стен и у входа, но ветра не было.

«Никто там больше не будет жить...»

На стеблях сухой травы, на камешках дорожки дрожали капли росы.

«Туман... туман... Я вижу, я никого не оставила там...»

Она почувствовала прохладу. Вздрогнула, вытянулась — и опять легла покойно-покойно под цветущим деревом вишни. Лепестки цветов, отделяясь, стали медленно падать, сначала один, два, потом много, больше, всё больше и больше. Они были прохладные, потом делались всё холоднее.

«Кто-то ждет меня, я знаю, но кто — я не вижу, из-за лепестков...»

Они всё падали, на лету превращаясь в снежинки, покрывая ее всю, и легли над нею белым холмом. Они были уже сухие и холодные. А сердце ее делалось всё меньше, оно, замерзая, затихало. Но это было не важно, ничто не было важно, потому что более нигде ничего не было...

Чья-то рука, движением добрым, но решительным, легла на ее лоб, на лицо, и чьи-то пальцы закрыли ей глаза. Эта рука простерлась издалека и ушла туда же, и с ней исчез мир.

Доктор встал. Он подошел к столу, где стоял таз с водой, и вымыл руки. Потом он взглянул на свои часы и громко чертыхнулся: он опоздал на операцию, а его там ждал тяжело больной!

Мать Лиды, открыв молитвенник, начала печально и мерно читать молитвы «На исход души».

Мадам Климова не могла выносить подобных зрелищ: она не присутствовала при смерти Аллы и плакала отдельно, на диване, у себя в комнате.

XIII.

Похороны!.. Как равнодушно смотрит на них пешеход — незаинтересованный наблюдатель!.. Как часто мы их встречаем, не останавливаясь ни на минуту на них своей мыслью, а, между тем, один их внешний вид — какой материал для наблюдений, для умозаключений о том, как жил человек, какие чувства у близких по себе оставил!..

В Тяньцзине можно было наблюдать самые разнообразные похоронные процессии и ритуалы.

Русские похороны — с крестом, несомым впереди, и толпою громко плачущих людей, идущих за гробом. Идут родственники, поддерживаемые с обеих сторон близкими друзьями. Они — в глубоком трауре. Тут же делятся воспоминаниями друзья, возглашает священник, и хор поет «Трисвятое». Крестятся русские прохожие и тоже плачут, вспомнив кое-кого из своих умерших, русские много хоронили за последние десятилетия. Кладбище встречает покойника печальным звоном. Над воротами ограды, высоко, благая весть: «Приидите ко Мне. Я упокою вас». Выкопана могила, и могильщики поодаль стоят с лопатами наготове. У раскрытой могилы — речи, вспоминают, какой чудесный человек был покойник, и как тяжка была его земная жизнь. И вновь все плачут навзрыд. Родственники в скорби выкрикивают имя умершего, зовут его, просят не покидать. И вся эта скорбь так жива, искренна, так свежа, как будто бы смерть на земле случилась впервые, и никто никогда ничего не знал о ней прежде.

Протестантские похороны — деловитые, спокойные и сдержанные. Джентльмены, изредка обмениваясь тихим словом, медленно шествуют за гробом. Все так спокойны, что наблюдателю не отгадать, кто же из них — ближайший родственник? И кто представитель похоронного бюро, явившийся наблюдать за порядком и точным выполнением условий фирмы. Главная забота — ничем не выдать себя, своих чувств, своей сердечной причастности к утрате.

Католические похороны — с черным крестом впереди, символом земной человеческой жизни, и ответным трепетом «Miserege» в каждом сердце при взгляде на этот высоко несомый крест. Траур и слезы, и вера такая полная, — что за гробом — жизнь, что почти осязаема, и ангелы, хоть и невидимые, почти осязательны.

Еврейские похороны — со стоном и воплем, с морем слез, с толпами родственников и друзей, с видом растрепанных голов и одежд, разодранных в жестоком отчаянии, с гробом, который несут бегом, — отдать смерти ей должное, — а потом, на положенный законом срок дней, предаться всецело и неудержимо выражению своего горя, но в указанный час, — встать и жить, отнеся траур в прошлое.

Магометанские похороны — совсем не похожи на похороны: если умерла женщина, то она не принимается во внимание для будущей жизни. А если умер правверный мужчина, то он в момент смерти уже

вошел в богато обставленный рай, где получил все то, чего ему хотелось при жизни.

На похоронах адвентиста — никто не огорчен, потому что ничего особо важного не случилось. Для трепетно ожидающих Второго Пришествия, предчувствующих, что оно идет, приближается и вот-вот, через год-два, во всяком случае, если не мы, то уж без сомнения наши дети услышат глас труны и увидят разверстое неоо — при похоронной вере и ожидании, что может значить кончина нашего брата? Ну, вступил в тот мир на год-два раньше нас, остальных.

Японские похороны — с большими, взятыми напрокат венками из искусственных цветов, — и венки всё те же, всем знакомые, на всех церемониях. И родственники и знакомые — все улыбаются и отвешивают друг другу глубочайшие поклоны.

Китайские похороны имеют тысячи оттенков в зависимости от затраченной на них суммы, от общественного положения покойника и многих других обстоятельств. При погребении бедняка, вы видите раскачивающийся гроб, подвешенный к длинным шестам, несомый полуголыми кули. Но могут быть похороны и ценою в полмиллиона, с тысячами нанятых профессионалов-плакальщиц, иногда с добавлением нескольких духовых оркестров, с родственниками в белом рубище, со старшим сыном, артистически изображающим последнюю степень человеческого отчаяния, с остановившимся движением в городе, с сотнями тысяч зрителей, с драконом над процессией, и хлопками, отгоняющими злых духов.

Затем вы можете встретить и похороны человека без религии. Его везут или несут к могиле без всяких атрибутов и символов впереди или позади гроба, словно покойник рад закончить со всем раз и навсегда и без суеты убраться из этого мира.

Еще встречаются похороны с красной звездой, символом коммуниста. Музыка играет те же гимны и марши, что и на собраниях в клубе, и товарищи, идущие за гробом, не перестают обсуждать свои многочисленные политические проблемы. А покойник? Но что, собственно, случилось? Выбыл маленький винтик из огромной машины. Минус один — в рядах борцов. Винтик надо поскорей заменить другим, и главная забота не в том, куда идет сломавшийся винтик, а в том, как получше выбрать и вставить новый.

Похороны Аллы не походили ни на одни из этих похорон.

Похороны Аллы не походили ни на какие другие. Судьба, свершившая над Аллой свое безжалостное дело, как бы решила закончить ее жизненный путь с той же жестокостью, с какой вела ее и в жизни.

Кладбище было затоплено водой. Для бедной Аллы не было могилы на земле, и по распоряжению властей ей были назначены морские похороны: тело ее, зашитое в холстину, было брошено в реку Хей-Хо.

Но и эти жалкие похороны требовали расходов. Весь дом хоронил Аллу в складчину. Даже повар дал взаймы три бумажных доллара под обещание, что отдаст генерал (слову мадам Климовой повар не верил).

Когда Лида брала эти три доллара у повара, она заметила, что у него очень нездоровый вид, очевидно, его лихорадило. У него было

осунувшееся темное лицо и глаза какие-то необычайно тусклые. На ее вопрос о здоровье, он ответил, что чувствует себя, правда, немного нехорошо.

За последнее время повара редко видели дома. Утром он уплывал в цинковой ванне, ловко загребая лопаткой для угля, и возвращался лишь к вечеру. Спал он на ступенях лестницы, и по ночам оттуда слышались стоны. Когда вода уменьшилась, он уходил вброд и, по-прежнему, долгие часы проводил вне дома, всегда находя какие-то путаные извинения для своего отсутствия.

Лида сказала матери, что повар болен. Болезней все очень боялись, так как уже начались эпидемии. Мать потребовала повара к допросу. Они говорили с глазу на глаз.

Повар признался, что уходил из дома, чтобы «немножко заработать». Способ заработка оказался самым неожиданным и делал честь изобретательности китайца, до некоторой степени, конечно.

Для предотвращения эпидемий муниципалитет объявил обязательные, бесплатные для бедных, антихолерные прививки для всего населения Британской концессии, без исключения. Каждый житель обязывался иметь при себе документ о том, что такая прививка ему была сделана. Полиция плавала по улицам на лодках, входила в дома, проверяя исполнение этого приказа. Не имевшие свидетельства о прививке тут же увозились полицией на ближайший медицинский пункт и не отпускались до тех пор, пока ими не проделывалась процедура прививки.

Китайское население в массе своей не знает европейской медицины, не доверяет ей, боится её. А тут еще прошел слух о том, что вакцину привозят из Японии и что японцы подмешивают к ней яд, который приведет всех, кому делают прививку, к постепенному медленному умиранию. В городе, потрясаемом ужасными несчастьями, какие за последние годы переживал Тяньцзинь, верилось всему. Народу, видевшему столько жестокости от японцев, не приходило в голову сомневаться, что все возможные средства для истребления китайцев ими могут быть использованы. Испуганное китайское население старалось избежать прививок, не понимая, почему это вдруг чужестранцам стало так дорого китайское здоровье. Вот тут-то повар и сообразил, как заработать. Живя долгие годы в европейских домах, с европейцами, он не боялся их. Не боялся он и прививку, так как видел, что в доме их делали все, и одинаковые и себе и китайцам. И вот он странствовал от одного медицинского пункта к другому, делая себе прививку и получая удостоверение. А затем он продавал эти документы богатым китайцам за приличную цену. Обилие прививок сделало его богатым.

Услышав это, мать испугалась.

— Повар, — сказала она, — это опасно. Ты поступил плохо, ты можешь умереть. Пойдем сейчас в госпиталь. Я расскажу по секрету нашему доктору — никто больше не узнает, — и он скажет, как тебе лечиться.

— Мадам, — ответил повар, — заработок будет длиться еще только недели две. Я потом пойду к доктору.

— Повар, — сказала она, — понимаешь: в тебе яд, и это опасно.

— Мадам, — отвечал он, — кругом много яда — и в пище, что мы теперь едим, в воде, что пьем, в воздухе, которым дышим. Это бесплатно. А тут — за деньги. Пусть еще немного яду, я потерплю. Потом буду лечиться.

У нее не было времени дольше убеждать повара, так как похороны Аллы должны были состояться без промедления.

Ее отпели в доме. Священник служил просто, но горестно звучали его слова. «Житейское море» заставило всех содрогнуться при мысли, что море будет и могилой Аллы. Лида и генерал составляли хор. Все плакали. Мадам Климова горевала о том, что была не в полном трауре. Стоять за гробом единственной дочери в зеленом платье было «просто невыносимо».

Мать Лиды сама зашивала труп в холстину — два грязных ужасных мешка были выстираны ею и сшиты вместе. Ей не помогал никто. Одни боялись мертвецов, другие — заразы. Лиде она сама не позволила. Мадам Климова не могла видеть «такого ужаса» и, уйдя к себе, она там громко проклинала свою жизнь, день своего рождения и день рождения Аллы.

Лида сидела на ступеньке, обессиленная, в отчаянии.

«Если б теперь не было со мною мамы, я бы умерла, я бы не перенесла — всё равно, как бы ни были велики мои надежды на будущее. Я бы не могла, пережив всё это, еще хотеть жить. Забуду ли я когда-нибудь это зловоние, эту грязь, этот липкий пот? Я пропитана этим, я этим отравлена. Все грязно, все зловонно. Я не могу видеть эту землю, эту воду, этот воздух...

Но в это время вышла похоронная процессия, и Лида поднялась со ступеньки.

Впереди шел священник, за ним генерал нес мешок с Аллой на вытянутых руках, далее следовали остальные. Лишь запах ладана освежал атмосферу, и, как всегда, чем-то остро напоминал Россию, ее могилы с крестами, на просторных кладбищах, под зелеными деревьями, под родным небом.

В лодку погрузились только генерал, священник и два китайца-гребца. Священник перекрестил мешок с Аллой, и генерал, раскачав его на руках, бросил в мутную воду в середине широкой реки. Священник благословил то место, куда упал мешок — и лодка повернула обратно.

Равнодушная тысячелетняя Хей-Хо спокойно катила свои волны, неся и эту новую ношу к морю, к океану, туда, к тем островам, где Алла танцевала при жизни.

XIV.

Из всех городов мира Тяньцзинь, пожалуй, оказался наиболее сдержанным в выражении своих чувств, когда была объявлена война, вскоре получившая наименование Второй Мировой. Третье сентября застало Тяньцзинь еще не оправившимся от наводнения. Вода, правда, энергично выкачивалась специальными мощными машинами, привезенными из Шанхая, но уровень человеческих страданий от этого насколько не понизился.

Всё в жизни имеет и свою обратную сторону. Бесстрашные люди

— это, обычно, те, кто видел много опасностей. Сострадательный человек, чаще всего, стал таким, потому что сам пережил много горя. Веселый человек — это тот, кто плачет один, в тиши ночей, а утром является с улыбкой, — у него не осталось ни единой непролитой слезы. Живые и энергичные люди — это те, кто живет в беспокойной или враждебной обстановке.

Жители Тяньцзиня были закалены в несчастьях и научились и встречать и переносить их. Кое-кто выработал в себе психический иммунитет против страха перед ужасами жизни. Тяньцзинец не испытывал нервного потрясения от того, что объявлена еще одна война. Русские эмигранты все последние десятилетия жили на военном положении, в состоянии войны и между собою и с остальным миром; молодежь роллилась в этой атмосфере, не имея понятия об иной жизни. И для китайцев война давно стала частью повседневной жизни. Японцы сами рвались к войнам, создавали для них поводы. Другие национальности в Тяньцзине, представляя собой «иностранный капитал», вложенный, как в банк, в эту страну, интересовались почти исключительно финансовой стороной всякого события, и к войне подходили с вопросом: чем это будет для них — прибылью или убытком. Были еще и миссионеры, но они вообще и всегда были недовольны поведением человечества, не ожидали от него ничего хорошего, и война не могла их поразить. Короче говоря, под ударами судьбы обитатели города так глубоко ушли в свои личные и ближайшие, совершенно неотложные проблемы, что идеологическая и героическая сторона этой войны для них просто не существовала. Услышав новость о начале войны, генерал воскликнул: «Еще одна! Да будет воля Твоя!» — и перекрестился. Мать Лиды сказала только: «Да будет воля Твоя!» — и перекрестилась. Лида ничего не сказала, заплакала и перекрестилась. Мадам Климова всплеснула руками: «Чувствую, эта война будет чревата событиями!»

Фактически война внесла мало перемен в жизнь города. Русские, наиболее резонёрствующая часть населения, уже высказывали вслух заключение: какая сторона ни выиграет войну, русским эмигрантам будет хуже. Они предоставляли другим, менее опытным народам, надеяться на лучшее будущее. Еще никем не издан закон, запрещающий гражданам надеяться. Что же касается русских эмигрантов, смешно и наивно от них ожидать оптимизма.

Только бывшие военные слушали по радио военные сводки, но то, что они слышали, повергало их в ярость. Одни скрежетали зубами, другие почти плакали:

— Что они делают! Боже, что они делают! Разве так надо вести войну? Какое безумие!

Мадам Климова являлась одной из немногих, кто ожидал личных выгод от Второй мировой войны. У нее был свой тонкий расчет.

— Теперь, наконец, русский горизонт проясняется. Германия, с запада, дойдет до Урала; Япония, с востока, тоже дойдет до Урала. Большевизм будет сплюснен там и раздавлен. Наши друзья — союзники — восстанавливают для нас монархию. Русь! Колесо истории твоей повернулось!

И она замолкла, задыхаясь от восторга. — О как мы заживем снова!

— Но кому быть царем? — начинала она вдруг волноваться. — Где династия? — Говоря по совести, она не знала ни одного законного кандидата, кого бы могла поддерживать от всего сердца.

— Но, — успокаивала она себя, — даст Бог, найдется! Есть же родственные связи между династиями. Найдут кого-нибудь, хотя бы среди иностранцев! — и она оставляла этот вопрос, перенося всю силу своего горячего воображения на то, как улучшатся ее личные дела.

У генерала хранился послужной список, и долгие годы в изгнании, пока он не обратился в мистика, он ежемесячно выписывал себе жалованье и в должное время производил себя в следующий чин. Соответственно с этим он прибавлял себе жалованье — и снова ежемесячно выписывал его, не забывая и награды. Генерал был честный человек, не брал лишнего, — его расчет был точен до копейки. Но подпав под влияние философа Сквороды и узнав себя в словах:

Алчен в желании богатства,
Жаден в искании его,
Беспокоен в хранении его,
Печален в потереии его,

генерал устыдился. Он громко исповедался в своем греховном заблуждении перед мадам Климовой и хотел уничтожить послужной список и денежные записи. Но, на правах жены, она завладела книжкой, в первый раз похвалив генерала за проявление «здравого смысла», какого от него и не ожидала никогда. Процесс выписывания жалования увлек ее. Она с нетерпением ожидала двадцатого числа и выписывала его с восторгом. Потом еще догадалась: вписала всю сумму, как положенную в государственный банк, с шестью годовыми процентами. Насчитала проценты и на прошлое — вышла громадная сумма, капитал, богатство! В получении этих денег «когда-нибудь» она не сомневалась, «ибо за царем ничто не пропадает». Велик был долг России перед генералом, и всё еще возрастал с каждым годом!

Итак, на первое время по восстановлении монархии, мадам Климова была обеспечена. Но мечты неслись дальше. Генерал был стар, для действительной военной службы — жаль — не годился. Мадам Климова подыскивала ему подходящую должность при дворе. Он мог быть, например, шталмейстером двора Их Величеств. — О, эти будущие встречи старых друзей при дворе! — восторгалась она. — Для одного этого стоило жить! — Она уже слышала приветственные речи, обращенные к ней лично. Население выражало ей горячую благодарность за то, что она возвратилась в Россию.

Мать Лиды менее всего думала о будущем. Ежедневные заботы так заполняли жизнь, что не оставляли ей этой возможности. Повар лежал в больнице. В доме жило шестнадцать жильцов, из которых ни один не платил за квартиру. К тому же, все эти жильцы яростно ссорились между собою, составляя ежедневно новые коалиции и союзы, с перебежчиками к концу дня, и стараясь изгнать враждебную группу из квартиры. Но всё покрывала постоянная забота о добывании пищи.

Лида сокрушалась о гибели своего пианино. Разбухшее, безобразное, оно потеряло всякую цену, а им предполагалось окупить стоимость билета в Америку.

Между тем, и мистер Райнд снова появился в Тяньцзине. После своего приключения в Харбине он решил оставить мысль о поездке в Россию и через Тяньцзинь возвращался обратно домой, в Соединенные Штаты. Ему пришлось ждать очереди на пароход.

Он нашел Тяньцзинь страшно изменившимся. Конечно, улицы и постройки остались те же, но вид заброшенности, разрушения поражали глаз. Город сгнивал на корню. Всё то, что было затоплено во время наводнения, выглядело отвратительно: грязное, липкое, облупившееся, подгнившее, зловонное. Выше уровня, где прежде стояла вода, стены были чуть лучше. И повсюду теснились толпы людей, преимущественно китайцев, которые выглядели еще беднее, чем прежде. Казалось, город представлял собою какое-то сказочное царство нищих.

Мистер Райнд видел немало городов в своей жизни, но ни один из них не мог бы сравниться с Тяньцзином в это утро.

Из окна своей комнаты в отеле он смотрел вниз на мостовую. Мостовая теперь являлась единственным жилищем многих тысяч людей. Тот, кто сидел на ней, боялся сойти с места, чтобы не потерять его. И толпа, обычно движущаяся, растекающаяся по улицам города, здесь была как бы прикреплена к мостовой. Эта вынужденная неподвижность придавала отенок уныния, бессилия, безнадежности всем сидящим внизу, на кого смотрел мистер Райнд из окна. Люди сидели и ждали. Чего? Что могло случиться, чтоб вывести их из этого положения, вернуть им их поля, их дома, их прежнюю жизнь?

С тоской мистер Райнд размышлял о том, что все обычные, известные ему средства недостаточны: миссии, переговоры, благотворительные общества, даже война. Он просто не видел выхода из создавшегося международного положения.

XV.

На второй день своего пребывания в Тяньцзине мистер Райнд решил предпринять утреннюю прогулку по городу. Он предполагал пройти пешком.

Швейцар отеля был горестно разочарован, узнав, что мистер Райнд не желает взять такси: он получал десять процентов от шофера и не любил, когда эти деньги ускользали от него. Он даже осмелился пробормотать что-то о нарушении традиций, поскольку американцы известны миру, главным образом, как любители машин. Подозревая худшее, то есть, что у мистера Райнда недостаток в деньгах, он, снисходительно улыбаясь, предложил — не позвать ли просто рикшу. Когда же мистер Райнд отклонил и это предложение, швейцар посмотрел на него уже с глубоким состраданием. И это чувство было уже бескорыстным, так как он зарабатывал от рикши только два цента с пассажира, весьма незначительный процент с незначительной суммы.

Но и без приглашения ряд рикш, примчавшихся неизвестно откуда, уже выстроился перед мистером Райндом. Им запрещено было иметь стоянку около отеля, они имели право являться лишь на зов.

Откуда они немедленно узнавали, что из отеля вышел иностранец и не желает брать такси — неизвестно, но рикши явились, не упустив и мгновения. Наперерыв они выкрикивали особые, редкие, неслыханные достоинства своего экипажа, ударяли руками по сиденью, чтобы показать, какое оно мягкое, и при каждом ударе облако пыли подымалось от подушки. Нужен был твердый характер и большая сила воли, чтобы устоять, не взять рикшу единственно для того, чтобы прекратились крики и улеглась пыль. Мистер Райнд был упрям: он решил пройти пешком, и ничто не могло заставить его изменить это решение. Он шел вперед, а за ним следовали рикши, число которых всё увеличивалось. Подозревая в нем исключительно разборчивого потребителя, всё новые и новые рикши присоединялись к процессии, и выкрикивались уже, действительно, неслыханные удобства прибывающих экипажей. Это портило прогулку. Только когда мистер Райнд прошел несколько кварталов, рикши, наконец, отстали, послав по адресу мистера Райнда несколько изысканных проклятий ему и его потомству.

Оставленный в покое, он смог, наконец, осмотреться и понять, где он.

Он был на Французской концессии. Ему нужен был один адрес, и он решил обратиться к полицейскому.

Полицейские, обычно, стояли на перекрестках, посреди улицы, на специальном возвышении, летом под гигантским зонтом. Они представляли собой особую породу китайцев, да и людей вообще: гигантского роста, массивные, имеющие необыкновенное сходство с истуканами, они казались неодошевленными; грубые очертания их странных, с бессмысленным выражением, лиц словно хранили великий секрет, смысла которого они сами не понимали.

Мистер Райнд подошел к полицейскому и, глядя на него снизу вверх, спросил, где находится такая-то улица. Дерзость вопроса поразила полицейского, он даже отступил на шаг. Поступок мистера Райнда был нарушением этикета. Уважающий себя член китайской полиции не говорит на иностранных языках. В городе, где каждый повар, слуга, рикша, торговец умеет — так или иначе — сговориться с потребителем на восьми европейских языках, полицейский не унижается до того же.

По современной китайской расценке официальных положений, полицейский — важный господин, он регулярно получает жалование, он носит форменную одежду, он представляет правительство. К такому господину нужно подходить, зная этикет, одним из параграфов которого является необходимость обращаться к уважаемому господину на его родном языке. Спрашивать же адрес у чиновника — смешно и дерзко: вокруг всегда вертится стая рикш, идут пешеходы, и это их гражданский долг указывать улицы.

Итак, полицейский лишь посмотрел на мистера Райнда, затем полускрыл глаза и ничего не ответил. Мистер Райнд повторил вопрос. Глаза открылись в изумлении и тут же снова захлопнулись; уста не произнесли ни звука. На вопрос, повторенный в третий раз, полицейский тряхнул головой и окончательно превратился в совер-

шенно неподвижного идола. Он так и понимал свои служебные обязанности: он стоял для украшения города.

Попытав счастья с парой других полицейских, на других перекрестках улиц, и всё с тем же неизменным успехом, мистер Райнд решил самостоятельно найти нужный ему адрес.

С грустью брел он по улицам, наблюдая вокруг картины человеческого горя. Растрепанные китайки, в лохмотьях, сидели повсюду на мостовой, окруженные каждая кучкой детей. Те, что поменьше, были совершенно голы, на старших болтались кое-какие остатки одежды, правильное сказать, рубища.

Маленькие китайские дети очаровательны. Их лица всегда полны жизни, веселья, лукавства — и тупое, покорное и, вместе с тем, скрытое выражение лиц, присущее взрослым, приобретает лишь с годами тяжелой жизни. Дети же — полны инициативы и оптимизма. Видя таких славных детей и в такой бедности, мистер Райнд жалел их, и это, очевидно, выразалось на его лице. Инстинктом китайский ребенок сразу и безошибочно угадывает, кто и как к нему относится. Они видели: идет богатый иностранец, и в сердце его жалость, а в кармане, конечно, деньги. Немедленно детишки ринулись к нему с криками о милостыне — и в несколько секунд мистер Райнд был окружен и оглушен толпой детей. Их было не менее сотни.

Как и всё остальное, нищенская профессия в Китае имеет свои особенности. Только благодаря баснословному терпению и выносливости китайца эта профессия там не прекратилась, так как средний китаец не подает милостыни. Это отношение к нищему основано на древней мудрости: для всего живущего у богов есть свой план, в который человек небезопасно вмешиваться. Очевидно, по каким-то высшим небесным соображениям, определенный человек назначен быть бедняком — пусть он им и остается. Если понадобится изменить его судьбу, боги достаточно могущественны, чтоб сделать это без вмешательства прохожего. С появлением иностранцев в Китае профессия нищенства ожила, подняла голову и достигла зенита — всё это под ироническим взглядом того же среднего китайца, в чьих глазах дающий милостыню, другими словами, разбрасывающий свои деньги по улице, не может считаться нормальным, разумным человеческим существом: глупец помогает плуту. Даже и нищий, будучи тоже китайцем, чувствует свое превосходство в понимании жизненных явлений и слегка презирует своего благодетеля.

Китайский нищий, бегущий милу за потенциальным благодетелем, не сделает шагу за тем иностранцем, кто из принципа не подает милостыни. Как он распознает эти разновидности человека с елиного беглого взгляда — его профессиональная тайна. Этим объясняется странное, на первый взгляд, явление: одни иностранцы свободно ходят по улицам Китая, за другими следуют нищие, группами, семьями, кланами, преследуя их из города в город, ночуя за оградой их жилищ и отставая лишь у океанского парохода.

Мистер Райнд воспринимался нищими, как человек, «разбрасывающий деньги по мостовой», — и ему не было пощады. Когда он обернулся к толпе бегущих за ним детей, улыбнулся и бросил им

горсть мелочи, — он запечатлел свою судьбу в Китае. С тех пор, куда бы он ни шел, куда бы он ни ехал — за ним бежали толпы нищих. Круглые сутки стояли у отеля дежурные, следя за появлением мистера Райнда, и подавали сигнал остальным. Они всюду следовали за ним. Если он входил в лавку или в дом, они ожидали его. Терпение их было неистощимо. Если он садился в парке на скамейке, они стояли стеною вокруг. Если он вступал в разговор со случайно встреченным знакомым, они вежливо отступали шага на два-три и ожидали, зорко следя за малейшим движением мистера Райнда.

При его появлении на улицах матери расталкивали сбившихся в кучу детей: — Вон идет безумный, разбрасывающий деньги по мостовой. Бегите за ним!

И дети бежали то рядом с ним, то забегая вперед, то отставая и всё время крича, выпрашивая милостыню. Если он брал рикшу, они толпою бежали за рикшей, и это было тяжелое зрелище. Дети задыхались, отставали один за другим, в изнеможении падая на землю. Те, что покрепче, бежали с посиневшими лицами, с глазами, выкатившимися из орбит от напряжения, уже не имея сил кричать и только тяжело дыша. Мистеру Райнду видно было, что подобное напряжение может оказаться фатальным. Когда еще один из его преследователей падал, он, содрогаясь, думал, что, возможно, ребенок упал замертво. Не имея сил выдержать долее, он бросал монету. Поймав ее, преследователь клал ее в рот, чтоб не отняли, и падал на землю — отдыхать.

Мистер Райнд горестно размышлял об этих детях и судьбах будущего человечества. Китайцы — пятая часть населения всего земного шара. Дети самого многочисленного народа на земле проходили на его глазах подобную школу жизни. Что же они внесут в жизнь человечества, какой вклад даст их поколение?

Однажды, преследуемый толпою нищих, мистер Райнд был спасен от них своей старой знакомой, миссис Браун. Она ехала в автомобиле и, узнав его, предложила довезти, куда нужно. Ей не угрожала опасность преследования, так как она ни разу в жизни не подала и копейки нищему. Она верила лишь в организованную помощь, тратила несколько сотен в год на помощь китайскому населению, давая исключительно на больницы, но милостыни не подавала.

Мистер Райнд обрадовался ей. У него к ней было поручение из Харбина, от Питчеров.

Дело заключалось в том, что Питчеры переслали Никитку в Тяньцзинь с тем, чтобы он поступил в английскую школу (в Харбине английских школ не было). Устройство этого было поручено миссис Браун. Из-за наводнения, блокады, японской цензуры и других обстоятельств почта задерживалась. К тому же, ни миссис Питчер, ни миссис Браун не отличались энтузиазмом в корреспонденции. Таким образом, мистер Райнд, до некоторой степени сдружившийся с Никиткой, не имел о нем сведений.

При его вопросе, при упоминании имени Никитки лицо миссис Браун омрачилось. Она сообщила, что Никитка исчез, сбежал, о чем уже было заявлено полиции, но мальчишка до сих пор не найден.

— Но что с ним случилось? Почему же он сбежал? — заволновался мистер Райнд.

— Ничего особенного не случилось. Его уличили в том, что он обманывал учителя. Его наказали. Он сбежал.

— Это было тяжелое наказание? — спросил мистер Райнд. — Телесное? Удивительно! В английских школах всё еще бьют детей! . .

Миссис Браун посмотрела на него холодным, высокомерным взглядом. Она не допускала иностранной критики по отношению к Англии.

— Его наказали так, как наказывают провинившегося английского мальчика во всех английских школах на всем земном шаре, — не больше. Это наказание переносят английские дети, без сомнения, лучшие дети, из лучших семейств. Вы полагаете, Англия должна менять свои школьные традиции для подобных случайных бродяг?

Мистер Райнд ничего не ответил.

XVI.

Правда о жизни Никитки в Тяньцзине была очень печальна: он стал бездомным бродягой. Это не явилось исключительной виной ни миссис Питчер, ни миссис Браун, ни английской школы, — но все они вместе, плюс обстоятельства прошлого, выбросили этого славного ребенка из круга порядочных людей, лишив его шансов на честную жизнь.

Прежде, в своей бедной семье, он легко приспосаблился ко всем обстоятельствам. Он рос веселым мальчишкой. У него были отец и мать, дом — основа жизни. Голод, холод, часто незаслуженный окрик или даже родительские побои он переносил без надрыва, легко, как неотъемлемую часть детской жизни. Все приятели его в бедной слободке жили точно так же.

Смерть отца, горе матери, появление загадочной миссис Питчер явились событиями, которые трудно было осмыслить ребенку. Никитка стал терять почву под ногами.

Пребывание в комфортабельном доме богатых Питчеров, исключительная атмосфера этого дома, полная душевная растерянность, где же во всем этом его, Никиткино, маленькое место? Что, собственно, от него требуется? — все это окончательно сбilo его с толку, испугало, определило вдруг его низкое общественное положение, ничтожество его личной ценности, отобрало у него его человеческое достоинство. Всё, что было в нем, не годилось, подлежало исправлению. Он был уничтожен. Он не мог бы объяснить этого словами, но превосходно понимал чувством. Постоянная настороженность, неловкость, неуверенность в себе и в окружающих вызывали в нем порою острое недоброжелательство к добродетелям. Между тем, он ощутил впервые разницу между нищетой и богатством, и казалось ему, понял, что первая — являлась результатом тяжкого труда, а вторая — следствием полного безделья. Это наблюдение родило в нем мысль о «счастье», об «удаче», о «везении» в жизни. Перемена в мальчишке совершилась, несомненно, к худшему. Рутинная новая жизнь вскоре стала ему нена-

вистой. Она была такова: в восемь часов, ежедневно, кроме воскресений, Никитка шел в переплетную мастерскую, где его обучали ремеслу. В двенадцать тридцать он возвращался домой, то есть к Питчерам. Полчаса ему отводилось на то, чтоб умыться, почиститься, причесаться, переодеться. Затем он завтракал один, отдельно, в подвальном помещении, в большой комнате, отведенной специально для него. В час тридцать начинались уроки: миссис Питчер занималась с ним в маленькой комнате — классной — наверху. В три часа она спускалась с Никиткой в большую комнату в подвале, где он демонстрировал то, чему научился в тот день у переплетчика. У них дома имелось большое количество «сырого материала» для этого ремесла, то есть кипы детективных романов мистера Питчера. Это время было также назначено для «содружества», взаимного ознакомления и понимания, и Никитке вменялось в обязанность рассказывать о себе. Ему задавались разнообразные вопросы. В его ответах поправлялись ошибки — в построении фраз, в ударениях, в выборе слов. Это обстоятельство, а также и то, что он должен был говорить «только правду», делали разговор для мальчика мучительной пыткой.

Затем Никитке отводилось двадцать пять минут для отдыха.

В пять пятнадцать он обедал один, в классной комнате. Миссис Питчер присутствовала при этом, чтоб учить Никитку манерам: как держать вилку и нож, глотать суп, жевать и прочее. Закончив обед, Никитка должен был сложить салфетку, встать, задвинуть стул, повернуться к миссис Питчер, поклониться и сказать: «Благодарю вас!»

Он заканчивал день приготовлением уроков. Перед сном ему полагалось сесть у своей постели и мысленно проследить взором весь прошлый день, вспомнить все свои ошибки, вспомнить все добрые советы, преподанные ему в течение дня самой миссис Питчер, покаяться в погрешностях и принять благие решения на будущее.

По праздникам его отпускали домой. Жалованья он получал три доллара в месяц. Ему обещаны были настоящие часы, если он хорошо выполнит все свои обязанности в течение указанного срока.

Пунктуальность, точная и мертвая рутина — труднее всего для бывшего уличного мальчишки. Никитка был пунктуален лишь в том, что касалось еды. Сказать правду, пища была единственным, чем он поистине наслаждался в своей новой жизни, особенно, когда ел один, без манер и замечаний. Почти всё остальное он переносил с напряжением и мукой, не видя в нем никакого смысла.

Единственным, чем оставалась довольна сама миссис Питчер, это — готовностью Никитки умываться, переодеваться, причесываться. Ей прежде казалось, что бедные люди естественно сживаются с грязью и даже любят ее. Франтовство Никитки, всегда готового еще раз умыться теплой водой и душистым мылом, вылить на свою голову одеколон, подтянуть пояс, его широкая улыбка при виде новой рубашки — указывали ей на возможность успеха в перевоспитании мальчика, являлись моральной наградой миссис Питчер за ее труды. Но во всем остальном он подавал лишь малые надежды: он был рассеян, как-то неопределенно и тупо внимал тому, что она ему внушала, не интересовался идеей собственного воспитания. Он не проявлял

лично к ней никакой привязанности, никакой теплоты, предпочитая ей китайца-повара на кухне, и она чувствовала, что Никитка испытывает большое облегчение, когда она скрывается с глаз.

Мистер Питчер в предприятие жены с уличным ребенком не вмешивался. Совет доктора относительно этого способа лечения касался исключительно одной миссис Питчер. Ему, конечно, случалось бывать в одной комнате с Никиткой, встречаться с ним в коридоре, но осталось невыясненным, замечал ли он его присутствие или нет.

Ремесло переплетчика нисколько не увлекало мальчишку. Не имея понятия о ценности книг, он и в нем не видел смысла. К тому же ему, как ученику, для начала давали дешевые и старые книги: почему бы им и не оставаться без переплета?

Безжизненные уроки миссис Питчер угнетали его живой, нетерпеливый характер. Необходимость сидеть прямо, не болтать ногами, не почесываться, правильно держать перо — всё было трудно, для всего требовалось напряжение. Всё было скучно. И только картинки в детективных романах мистера Питчера серьезно заинтересовывали его. Эти револьверы, автомобили, трупы, сокровища, кровь — это было ярко — и тут заиграло горячее детское воображение. Под этим углом зрения открывались Никитке широкие горизонты жизни. Его помыслило вдаль.

Событием, нарушившим первоначальный план воспитания, явилось «преступление» Никитки. Он был уличен в воровстве. Тот факт, что мальчик украл провизию, чтоб унести ее младшим сестрам и братьям, не менял в глазах миссис Питчер дела и не подсказывал ей иного решения, кроме изгнания из дома своего воспитанника. Она заключила, что не умеет воспитывать, обвиняя отчасти и себя. С другой стороны, взяв на себя ответственность за мальчика, она считала бы нечестным просто отослать его обратно домой. После краткой беседы с мистером Питчером было решено отправить Никитку с «оказией» в Тяньцзинь, поручив миссис Браун определить его в английскую школу. Всё это финансировалось самой миссис Питчер, она также решила выдавать прежние три доллара в месяц матери Никитки, как его жалованье.

Каким это счастьем показалось вдове! Ее сын будет учиться в английской школе! Она знала, что после этого он сможет стать даже клерком в банке и получать — Боже мой! — сто долларов в месяц. Она бросилась на колени и хотела поцеловать руку миссис Питчер. Бездетной миссис Питчер была непонятна такая экзальтация, неприятно и такое выражение восторга. Она отдернула руку и прочла женщине краткую холодную нотацию о том, что один человек не должен унижать своего достоинства перед другим человеком.

В Тяньцзинь миссис Браун кратко распорядилась судьбой Никитки: он был помещен в русскую семью, чтобы учиться в английской школе.

Жил он у бездетных стариков. Это были уже не люди, а «тени минувшего», и этим минувшим была Российская Империя, Морская улица, их дом, их чин, их круг. Настоящее для них не имело смысла. Оно было чьей-то горькой ошибкой, о которой лучше не думать и не говорить.

И снова Никитка оказался в призрачном мире, которого он не понимал, с которым у него не было связи.

В школе, как не знающего языка, его поместили в первый пригготовительный класс. Он оказался среди очень маленьких детей, почти в детском саду, где учили лепетать слова по кубикам и бросать маленький мягкий мячик. Он и тут был постоянно унижаем тем удивлением, с каким глядели на него все, в первый раз вошедшие в класс: этот мальчик здесь? Дети его сторонились. Английский язык был труден для Никитки. Его ответы учительнице вызывали дружный смех малюток, — они все были или английские дети или дети из семейств, где говорили по-английски.

Все Никиткины попытки завязать дружбу в старших группах школы были безуспешны. На переменах он стоял одиноко в углу школьного двора, из самолюбия пытаясь показать, что ему и одному хорошо: он то прыгал на одной ноге, то сам для себя бросал мячик.

Учительница, старая английская дева, находила это положение в порядке вещей.

Но Никитка был русским, а это означало, что душою он — каково бы ни было внешнее положение человека в обществе, — верил, что во внутреннем духовном мире все люди братья и все равны. Братство людей ощущалось им непреложною истиной, внешние же преимущества одних над другими — жизненной случайностью. Никитка легко переносил обиду, насмешки, удар, оскорбление, если они наносились кем-либо, стоящим с ним наравне, то есть человеком человеку, без высокомерия, не сверху вниз. Его положение в школе, низводившее его на уровень низшего существа, с которым даже не разговаривают — глубоко ранило его, заставило его усомниться в единственном своем жизненном сокровище — в своем человеческом достоинстве, в собственной человеческой ценности. Обратной стороной этого горького чувства явились всё возрастающие в нем неприязнь и недоверие к обществу.

Учиться по-английски ему было трудно. Умея читать и писать по-русски, он усвоил фонетическую систему языка легко и просто. Заучивание слова по буквам изумило его, он не понимал сути, произносил каждую букву в слове, как звук, и вызывал этим и смех класса и гнев учительницы, даже не понимая причины бурной реакции. Заучивание текстов из Библии было для него мучением, и попался он именно на ней: списывал с заготовленной бумажки заданный текст.

В глазах педагогов это было мошенничеством и ложью — наиболее тяжкими и строго наказуемыми школьными пороками. В глазах Никитки это было легким проступком. Не будучи лжецом по натуре, Никитка в нужде легко прибегал ко лжи во имя самосохранения, как часто делают бедные или беззащитные дети, спасаясь от наказания. Все те, кого он знал, тоже при случае лгали, и чаще всего по тем же соображениям — из страха. Так, например, все лгали японской полиции, китайским судьям, сборщикам налогов, таможенным чиновникам. Создавался особый моральный принцип: лгать плохо, грех, если это вредит ближнему; лгать допустимо, если это спасает тебя от врага, от беды.

Пойманный на обмане в школе, Никитка готов был извиниться, побожиться, что больше не будет, стать на колени, если надо. Если б учительница тут же, в порыве гнева, избила его, он не защищался бы, перенес, как должное, его били не раз. Если б весь класс тут же накинулся на него, и это бы Никитка перенес и на другой день забыл.

Но организованное унижение человека ему было и ново и непонятно. Поэтому когда ему объявили, что в назначенный день он будет публично телесно наказан, он изумился, не веря: в русских школах о телесных наказаниях давно не было слышно. Он не предполагал, что это вообще возможно.

И все же он явился в должное время, чтобы быть наказанным. Он шел один, с лицом, горящим от смущения, от нового вида страха перед человеком, — всё еще не веря, что его могут публично бить за списанный текст из Библии. Он слышал, что бьют в тюрьме, но . . . в школе? . .

Всё было готово. Ученики школы в полном составе были выстроены в ряды, девочки взвизгивали от волнения. Учителя стояли торжественной группой — и, наконец, появился директор школы с розгой. Пока он наказывал Никитку, школьный колокол звонил редкими похоронными ударами, чтобы все, и в школе и вне ее, знали о печальном событии — падении человека.

Насколько сильна была физическая боль, Никитка не помнил. Но в душе его произошел надрыв, которого он уже не смог вынести.

Когда наказание было закончено, он встал, подтянул свои штанишки и ушел — прямо, из города, из Тяньцзиня, чтоб никогда уже не возвращаться.

Позже, покидая Китай, мистер Райнд увидел Никитку в Шанхае.

Мальчик стоял на углу улицы, прислонясь к стене. Он казался выросшим, был очень худ, бледен, оборван и грязен. Его блестящие, когда-то светлые и волнистые волосы напоминали войлок.

В нем ничего не осталось от прежнего мальчишеского задора, готовности услужить, веселья. Его глаза были тусклы, и он напряженно, но как-то бесцельно, смотрел перед собой вдаль.

Лишь наполовину уверенный, что это, правда, Никитка, мистер Райнд позвал его:

— Никитка!

Мальчик вздрогнул. Это слово как бы ударило его наотмашь. Он глянул на мистера Райнда и узнал его. На миг — в лице его начала уже проступать прежняя, широкая детская улыбка. Но вдруг он как бы насторожился, поколебался мгновение и потом кинулся в противоположную сторону. Он бежал, что было силы, и вскоре скрылся в толпе.

XVII.

День Лидиногo отъезда был назначен, деньги от мисс Кларк получены, билет куплен, все бумаги в порядке.

— Всё готово! — сказала Лида, разложив на столике эти богатства. — Виза, билет, паспорт. Посмотри, мама!

Она читала и перечитывала свои документы, радовалась, любовалась ими: дверь к будущему, дорога к счастью.

— Я начинаю новую жизнь! А ты остаешься одна, мама! Я не успокоюсь, пока не выпишу тебя к себе. Я буду думать об этом с первой минуты, как приеду в Америку. Возможно, это займет около года, не больше.

— Ты не беспокойся очень обо мне, Лида! Чтобы здесь ни случилось, помни одно: я ничего не боюсь.

— Давай помечтаем, мама! Подумай, какая перемена в жизни! Я почти ничего и не помню, кроме нашей семьи и этого города. Я увижу новые страны, новых людей. Я выйду замуж. Я буду учиться петь. Ах, если только будет возможность, я буду не только петь! Я стану изучать все искусства. Все. Все семь!

— Не забудь и еще одно искусство, восьмое, — с улыбкой сказала ей мать.

— Восьмое?

— Да, искусство страдать.

На прощанье устроили чай, оповестили всех знакомых, всем хватило места, так как дом, наконец, высох, и только запах сырости напоминал о наводнении.

Стоял чудесный золотистый октябрьский день. Гости стали собираться с полудня. Окна были открыты. Из них волнами выливались звуки: говорили о политике, о будущем России и мира вообще; пели и соло, и хором; играли на балалайке, на мандолине, на трех гитарах. Духовенство и старушки утешались разговором о покое в будущей жизни. Мадам Климова и ее «подружки» шумно и страстно играли в маджан. Затем гости, вдруг бросив всё, заспорили. Спор о политике поднялся до горячей ссоры. Тут Лида напомнила, что она уезжает. Спор затих, разногласия отложили до другого раза, и снова каждый гость занялся тем, что ему было по душе. Чай лился рекою, а остальное угощение подавалось скудно, каждому на отдельном блюдечке.

К вечеру гости стали расходиться, по возрастам: сначала старички и старушки, чьи «кости жаждали покоя», потом средний возраст, кому «тяжела теперь и радость, не только грусть, душа моя», а оставшаяся молодежь устроила бал, то есть танцы. Лиде даны были десятки адресов «на случай»: вдруг окажется возможность вызвать в Америку, где всем есть работа; Лидой же были даны десятки самых искренних обещаний. Еще раз спели хором традиционные песни русских вечеринок: и «Не осенний мелкий дождичек», и «Жалобно стонет», и «Быстры как волны» и те, что повеселее — «Гоп, мои гречаньки» и «Как ныне собирается вещей Олег», и «На солнце оружием сверкая». Шумное веселье привлекало общее внимание. Прохожие останавливались. Под окнами собрались нищие.

Соседи-иностранцы, в радиусе двух кварталов, посылали свою прислугу узнать, в чем дело. И слуги возвращались со словами: «R u s s i a n p e o p l e g i v i n g a p a r t y »*). Иностранцы пожимали плечами: но почему такой шум, такой восторг? Можно подумать, что белые восстановили монархию.

А когда все ушли, и дом опустел и затих, Лида впервые всем существом почувствовала, что она уезжает. Ей впервые стала понятна

*) Русские принимают гостей.

мысль о «невозвратном прошлом». Обрывается и умирает один период ее жизни. Она больше никогда не увидит ни этого города, ни этого дома, разве только во сне, в беспокойную ночь. Больше не будет этой фантастической жизни, без планов на завтрашний день, жизни, ни к чему не прикрепленной, как бы висящей в воздухе, жизни — временного бивуака — на одну ночь — по пути, неизвестно откуда, неизвестно куда. Она уезжает в страну, где царит порядок, где будет и регулярный труд и покой. Но страна эта ей вдруг показалась страшной. Огромное пространство, на нем сто пятьдесят миллионов населения — и единственное звено со всем этим Джим. И еще Ива Кларк и мистер Райнд, — утешала себя Лида, — я не затеряюсь там. Я найду русских, познакомлюсь с ними, найду церковь. Я не затеряюсь там . . .

Но кончилось тем, что, обняв мать, она начала горько плакать.

— Мы расстаемся с тобою, мама! Я боюсь, я еще не жила без тебя!

В слезах она всё повторяла обещание выписать мать при первой же возможности, но теперь ей казалось, что случится это через столетия. И при мысли, что оставляет мать, все теряло для нее обаяние, все гасло — и океан, и пароход, и Сан-Франциско, и даже Джим тускнел, и вставала лишь одна пугающая неизвестность.

— Зачем ты отпускаешь меня? — рыдала Лида.

— Ты должна ехать, — утешала ее мать. — Здесь русских ожидает гибель. Смотри: чем дальше, всё хуже. Как сама станешь на ноги, я приеду. Сможешь — устроишь проезд и еще кому-либо из наших друзей. Не грехи — не плачь. Радуйся и благодари Бога.

— Кончена, кончена моя жизнь в Китае, — всхлипывала Лида, оплакивая свою жизнь, будто этот период был полон необычайного счастья.

Мадам Мануйлова помогла устроить кое-что с Лидиным отъездом. До Шанхая Лида ехала одна. От Шанхая до Сан-Франциско она должна была ехать на том же пароходе, что и мистер Райнд. Это очень успокаивало и Лиду и ее мать — знакомый человек. «Не дай Бог, что случится, не будешь одна. Он поможет».

Лида оставила город в туманное раннее утро. Она была в таком душевном волнении, что никогда потом не могла дать себе отчета, какие из запомнившихся ей подробностей были на самом деле, а что вообразилось. Ей казалось тогда, что ничего не осталось определенного, крепкого, твердого во внешнем мире, и она не шла по земле — твердой земли не было — а двигалась по воздуху — в облаке, в тумане — с тенью, с маленькой тенью около себя, которая была ее матерью. За ними таял, расплывался в небытие город и прежняя жизнь.

Она отплыла на моторной лодке в океан, чтобы сесть на пароход, шедший в Шанхай, в Тан-ку. С ней ехало еще несколько незнакомых ей пассажиров. Лодке дана была охрана с Британской концессии, но всё же боялись встречи с японской морской полицией, контролировавшей море. Случись эта встреча, Лиду могли вернуть обратно в Тяньцзинь, так как у нее не было разрешения, выдаваемого белым русским из японского консульства, чтобы покинуть город. Оно выдавалось за деньги, которых у Лиды не было.

В полдень моторная лодка подъехала к английскому пароходу. Конец опасностям! Уже никто не смел ни задержать, ни вернуть Лиду. Стоя на палубе и глядя в ту сторону, где находился Тяньцзинь, Лида мысленно прощалась с прежней жизнью.

«Будет когда-нибудь время, — думала она, — и я скажу спокойно-спокойно: в молодости моей я долго жила в Китае!»

XVIII.

Так началось Лидино путешествие в новую жизнь.

Она снова увидела баснословный Шанхай, его великолепие и его нищету, а затем Великий океан, Японию, в ее единственной, неповторимой красоте. Сотни маленьких островов, отороченные белоснежной полосой океанской кипящей пены, казалось, тихо плыли, слегка покачиваясь, то удаляясь, то приближаясь, по океану. Они состояли из скал, изъеденных прибоями, истерзанных ветрами. На скалах росли сосны. И здесь ветер, капризный и тревожительный художник, не оставил ни одного ствола, ни одной ветки в покое — всё выгнул, выкрутил, всему придавал фантастические формы. Иглы сосен, трава — всё было необыкновенного, невиданно-зеленого цвета, так же как и неповторимы голубой цвет морей. Летали, сверкая серебром, чайки. Рыбачьи лодки, на парусах, уносились и исчезали вдаль. Казалось, это была совсем особенная страна, таинственная и сказочная, с глубоко скрытой, загадочной жизнью.

— Япония! — с восторгом воскликнула Лида. — Это и есть Япония! А я думала, она похожа на водяное чудовище, уродливое и серое, вроде крокодила. Я научилась ненавидеть одно ее имя! Возможно ли, что отсюда, из этих миниатюрных, золотистых на солнце домиков, веселых и легких, выходят те жестокие, бездушные солдаты, от одной поступи которых содрогается все живое в Китае. Они рождаются здесь, здесь играют; согнувшись, трудятся на тех изумрудных рисовых полях, — а потом, в какой-то момент, превращаются в страшное войско, от которого сторонится с ужасом мирный живой человек. Интересно, что делают с их душою, как они могут так изменяться, оставаясь сами живыми, и еще хотеть при этом жить?

Отчасти Лида поняла эту загадку превращения, когда увидела безобразие японских городов, склады товаров, арсеналы, укрепления — весь этот асфальт, цемент, железо, окрашенное в защитный цвет. Города выглядели серым, сухим лишаем на прекрасном теле. Там, очевидно, и менялся человек, приобретая новую форму.

Затем она еще яснее поняла причины такого чудовищного превращения.

В Токио мистер Райнд по каким-то своим делам должен был навестить одного из своих японских друзей, довольно крупного государственного чиновника. Этот господин Миamura получил воспитание в Европе. В его семье все говорили по-английски. Мистер Райнд пригласил Лиду с собой.

В европейском, с виду, доме жила одетая по-японски, живописная семья. Комнаты, предназначенные для гостей, были выдержаны в европейском стиле, но у них был нежилой вид, точь-в-точь, как декорации на провинциальной сцене, и было ясно, что настоящая жизнь

семьи, скрытая от посторонних глаз, происходила где-то в глубине дома.

Лиду угощали зеленым чаем с бисквитами, которых ни сама хозяйка, ни ее дочери не ели. Они вели беспредметный, бессодержательный разговор с гостьей, заранее, с торопливой готовностью, улыбаясь ее каждому, еще не произнесенному слову.

В это время вернулся из школы Сейзо, старший сын Миамура. На нем была дешевая и безобразная европейская одежда, форма для учеников, принятая в Японии.

Затрудняясь в выборе новых тем для разговора, который все время обрывался на улыбках, мадам Ханаки Миамура заговорила о школьном европейском образовании сына.

Мальчик развернул свою географическую карту и с большой точностью указывал горы, города и даже селения Японии, но он не знал, где Париж и где Лондон. Ему было лет двенадцать, но он ничего не знал, кроме своих островов, смутно представляя, что на пяти континентах живут чужеземцы-варвары, люди безусловно низшей породы.

Сейзо с гордостью рассказал Лиде, что боги намеревались сотворить одну только Японию. Они сделали ее острова прекрасными, работая над ними, как мастер трудится над шлифовкой драгоценного камня. Осколки же были выброшены, и из них создан весь остальной мир — низший, ибо был создан из негодных для Японии остатков. Населив Японию героями, боги покровительствуют ей, совершенно не интересуясь остальным миром.

Лида спросила, в чем состоит европейская часть образования в школе. Ей ответили — в изучении иностранных языков и кое-чего из техники, позже будет кое-что из географии, может быть, и истории.

Тут Сейзо развернул свой последний чертеж: прекрасно выполненный разрез паровоза.

— Кто открыл силу пара? — спросила Лида.

Сейзо молчал. Он не знал этого.

— А кто построил первый паровоз? И где?

Он опять не ответил. Но потом вдруг тряхнул головой, как бы подававшись.

— Никто не открыл. Люди Японии всегда знали это.

Затем Сейзо раскрыл свой учебник и показал чертежи, хорошо в них разбираясь, кратко и ясно толкуя практическое применение машин. Но он не знал ни одного имени тех ученых, кто трудился над этими открытиями и изобретениями, как не знал и стран, которым мир был ими обязан. Беседу он закончил вопросом:

— Скажите, в других странах, вне Японии, люди знают об электричестве?

Так из ребенка создавался безжалостный воин, не знающий мира, не понимающий истории человеческого развития, не способный рассуждать, не допускающий критики, — бездушный воин, убежденный в своем превосходстве над всеми, в избранности своего народа.

Потом Лида удивлялась Алеутским островам в поясе бурь, яростные валы которых, как тяжеловесные молоты, опускались и били землю, сами о нее разбиваясь в брызги. «Боже мой, и так круглый

год! И есть люди, которые тут только и жили всю жизнь и только одно это знают».

Затем пароход шел по Великому океану, и наступили длинные-длинные спокойные и пустые дни. Каждый день был долог, как целая жизнь. С ними как будто восстанавливалось здоровье, успокаивались душевные волнения, медленнее текли мысли, поднимала голову надежда, уверенность в том, что жизнь, несмотря ни на что, большое благо. Стушевывались пережитые ужасы, сглаживались острые углы печальных картин прошлого. Душа готова была уже начинать новую жизнь.

Пароход приближался к берегам Америки. День накануне прибытия был отмечен всеобщим волнением. Все укладывались, торопясь, роняя вещи, спеша, хотя не было смысла спешить.

Мистер Райнд обещал не оставлять Лиду, пока не увидит «своими глазами», что ее встретили, что она устроена, и ей не грозит никакая опасность. Самого мистера Райнда никто не встречал, он был с другого берега, из Нью-Йорка.

Они стояли вдвоем, Лида и мистер Райнд, с утра на палубе, среди массы других пассажиров, ожидая увидеть, наконец, желанный берег. Даже мистер Райнд был слегка взволнован — за Лиду: вот-вот должен был выступить из неизвестности мифический Джим, от которого так часто «не было писем». Лида дрожала от страха и волнения перед «великим моментом» встречи.

Но вся эта встреча прошла, как в тумане. Вдруг послышались крики мисс Кларк, и она появилась, одетая в зеленое и желтое, с ярким лицом и радостным смехом. С ней был Джим, такой же, как раньше, и улыбался так же, только он был повыше ростом и, как будто, постарше. Они оба смутились — и Джим и Лида — не кинулись друг другу в объятия, а стояли и смотрели молча, как бы не веря своим глазам. Потом Джим протянул руку, Лида дала ему свою, и они пошли с парохода. Они говорили о чем-то, но сбивчиво, смутно и неясно, потом не могли и вспомнить, кто и что спросил, и кто что ответил.

Мисс Кларк предложила увезти мистера Райнда в отель на своем автомобиле, а Джим и Лида решили идти пешком.

Лихо правя, Ива Кларк умчалась с мистером Райндом, и с ними исчезли смущение и неловкость. Джим и Лида вдруг громко засмеялись и поцеловались.

Они шли, держась за руки, то и дело останавливаясь, чтобы еще раз посмотреть друг на друга, сказать о чем-то, что вдруг почему-то вспомнилось, спросить и тут же забыть вопрос, не ожидая ответа. Этот разговор, бессвязный и радостный, состоял из восклицаний и смеха.

— Боже! Апельсины! — крикнула вдруг Лида в восторге. Кое-кто из прохожих даже обернулся. На открытом прилавке у входа в магазин возвышалась гора чудесных ярких апельсинов. Она никогда в жизни не видела их в таком количестве и такими прекрасными. В Тяньцзине, привозные, они были маленькими, жалкими, завернутыми в бумажки. Их покупали только богатые. Но тут лежали холмы, горы из апельсинов — такого великолепия Лиде не грезились и во сне.

— Мы купим, — сказал Джим.

Они вошли в лавку, и Джим купил две дюжины апельсинов для Лиды. Затем они снова шли по улицам, держась за руки, полные счастьем.

Когда вышли на одну из главных улиц, Лида остановилась, испуганная движением.

— Это не страшно, — сказал Джим. — Мы перейдем улицу, когда будет зеленый огонь.

— Я не боюсь. Я ничего больше теперь не боюсь, — сказала Лида, подняв к нему свое радостное, сияющее лицо.

Ей казалось, что она говорит чистую правду. Жизнь — с горем и радостью, как день, с восходом и закатом, с грозой и часом мирной тишины после бури — всё ей казалось в этот миг простым, приемлемым, понятным и благостным.

— Я ничего не боюсь, — повторила она, улыбаясь.

К о н е ц

АНТИХРИСТ

Не африканский самум
И не сибирский буран:
Это — не людям знакомые вихри,
Это — не наш человеческий план. . .
Братушки, братушки, это — Антихрист!

Слушай, имеющий уши:
Это важнее, чем бедность и деньги и
Скарб, уцелевший от малых свобод,
Это грознее событий в Алжире и Венгрии,
Это идет иссушающий души,
Это Антихрист идет.

Вглядывайтесь, кто имеет глаза,
В наших соседей черты искаженные,
Дело не в том, против вы или за,
Души сожженные!

Или вы думали, так и сошло. . .
Все что в печах и вагонах сгорело и
В воздухе носится: все это зло —
Слишком бесстыжее, слишком умелое. . .
Им-то дороги к спасению и замело.

Будь иудей или выкрест,
Будь православный или католик,
Знай:
Это — Антихрист,
Роль величайшая в серии маленьких ролек,
То же, что рядом с другими горами — Синай.

Думали это про Наполеона
Или про Ленина, все же пигмеев:
Не пролетарский картуз, не корона, —
Это — почти как закон Моисеев,
Даже — почти как Нагорная проповедь,

Некто и нечто в усмешке и шёпоте
Испепеляющих уст,
Испепеляющих все, что мы выстроили
С первых больших откровений доньне,
Словно сгорел наконец нестгорающий куст,
Вспыхнувший перед пророком в пустыне. . .

Все дело в Антихристе!

Богоубийца людьми овладел. . .
Сколько на свете метущихся тел,
Много ли душ?
— Жги, опозорь, изуродуй, разрушь, —
Вместо забвению преданных заповедей. . .
Смерть на востоке, бессилье на западе. . .
Холода междупланетные вихри. . .

Братья и сестры, это — Антихрист!

РАЗДУМИЯ

ЦИКЛ

* *
*

Мне снилось, будто умираю. . .
Вот-вот — минута, и уйду,
в последнем страхе замираю,
последнего забвенья жду.

Казалось, конечно. . . И в муке,
в осиротелом забытии
к вам я протягиваю руки,
друзья и недруги мои!

Прощайте. Не судите строго
за то, что, сердцем одинок,
любил я многих, но немного
и больше полюбить не мог.

Простите холодность поэту!
О, нет, не холодность. . . Скорбя,
в мечтах, в порыве к небу, к свету
вам отдал он всего себя.

И если жар его наитий
не согревал порою вас,
всё ж эти строки вы прочтите:
их завещал мой смертный час.

* *
*

Пусть умирают годы. . . Поневоле
с тенями только жду свиданья.
Дух возвращается почти без боли
на кладбища воспоминанья.

Пусть умерла любовь, — живет, разлукой
преображенная в мечту из страсти.
Всей мукой человеческой, всей мукой
благослови бывшее счастье.

В СОЧЕЛЬНИК

В эту ночь, когда волхвы бредут пустыней
за звездой, и грезятся года
невозвратные — опять из дали синей
путь указывает мне звезда.

Что́ это? Мечты какие посетили
сердце в ночь под наше Рождество?
Тени юности? любовь? Россия? или —
привиденья детства моего?

Тишиной себя баюкаю заветной,
помня всё, всё забываю я
в этом сне без сна, в пачали беспредметной,
в этом бытии небытия.

* *
*

Бескрайные сумрачны земли,
которыми сердце полно.
Люблю их, люблю — не затем ли,
что покинул давно-давно?

Загублено, выжжено, стерто. . .
А вспомнишь когда незначай —
пустыней покажется мертвой
берег твой, средиземный рай.

СКАМЬЯ

Вдали от города и от людей,
от сутолоки общей несвободы,
вдали от жизни прожитой своей
опять я гостем у природы.

В лесу, на перекрестке трех дорог
заглохнувших, стоит скамья под дубом, —
облюбовал я этот уголок
в уединении сугубом.

Чуть шелестит вокруг лесная тишь,
рассказывает сны тысячелетий.
И только слушаешь ее, молчишь
и растворяешься в тепле и свете...

* *
* .

Был создан мир или не создан,
а пребывает нерушимо,
от века и вовеки сущий
и гибнуть вечно обреченный? . .
Что знаем? И до нас — что звездам
в пучинах неба? Мимо, мимо
вчерашний день и день грядущий
летит во тьму мертворожденный.

Из бездны в бездну мчится время,
хоронит всё в одной могиле.
Как искры быстрых метеоров,
зажглись на миг и гаснут люди.
И нет границы между теми,
которые когда-то были,
и теми жизнями, которых
сегодня, завтра ли не будет.

The King's Tower

Стоит с двенадцатого века,
ее воздвиг нормандский воин.
Слезами, кровью человека
точатся выемы пробоин.
Еще грозна тюрьмы вчерашней
гранитнодымная порфира,
в веках неколебимы башни
на водной перекрестии мира. . .

Всё дымом! Рим, святая Жанна,
испанцы, Индия, тевтоны, —
но так же, с алебардой, чванно
шагает брит на страже трона.

И — полудухи-полуптицы,
химеры крепостей британских —
гнездятся вороны в бойницах,
потомки воронов нормандских.

С САМИМ СОБОЙ

Спрашивает — отвечаю,
иль опасливо молчу.
Его ль во лжи изобличаю,
себя ль уговорить хочу . . .

Только ночь — его прихода
не дождусь: ведь с ним в упор,
не со вчера, а годы, годы
веду я тайный разговор.

Собеседник он примерный.
Весь к услугам. Ни на шаг.
Друг? Но увертливый, неверный.
А то и враг, заклятый враг.

Как сказать . . . Бывает жутко.
К путанным его речам
в бессонницу, во тьме — не шутка
прислушиваться по ночам.

Горек он и зол . . . Ну, что же?
Такова моя звезда.
Ведь он один, поморщась, может
сказать и правду иногда.

Был бы, верно, пуст и жалок
век, мне суженый судьбой,
когда б не этот мой диалог . . .
С самим собой.

СЧАСТЬЕ

Рассказ

Когда Аким вывел из конюшни серого в яблоках красавца, — Селихов не мог удержаться и, перегибая рукой шелковистую гриву, потрепал его по шее.

Конь натягивал повод, грыз удила, и клочья пены летели по стономам.

— Ну, балуй! Застоялся! — строгим голосом крикнул Аким, но видно было, что строгость его напускная, и кричит он для вида: власть свою хочет показать.

— Мигом домчит, Лексей Сергеич. Одно слово — Ветер! — обратился он к Селихову и наставительно добавил: — Не поите сразу, как приедете.

«Меня, агронома, учит! Не в первый раз на лошади еду», с досадой подумал Селихов.

— Знаю, Аким, знаю, — сказал он, скрывая раздражение, и улыбнулся. Знал еще, как оба они любят лошадей.

Пока конюх закладывал Ветра в легкую бричку, клал свежего душистого сена, поправлял шлею, проверял чересседельник — не перетянул ли? — Селихов сходил домой и взял плащ: с утра парило, за конюшней и скотным двором собирались облака, стрижи летали совсем низко, так что был слышен тонкий свист крыльев. Все предвещало дождь, грозу.

Только Селихов, легко подпрыгнув, сел в бричку и взял вожжи, как Ветер рванул с места, но, почувствовав крепкую опытную руку, согнул шею и пошел через двор, мелко перебирая ногами. За воротами Селихов свернул с большака, что вел к деревне, и пустил коня по малонаезженной, заросшей травой дороге. Он не любил ездить через деревню, мимо оборванных ребятишек, бабы с подоткнутой юбкой, натруженно вытягивающей бадью из колодца, старика, который всегда в одной позе, согнувшись, сидел на завалинке крайней к выгону избы. Словно стыдился перед ними и кровного рысака, и новой брички с выкрашенными в желтый цвет ободьями колес, и даже своих новых хромовых сапог. Опытное хозяйство, куда назначили его сразу после окончания института и где он работал уже второй год, как некий оазис, стояло среди разоренных коллективизацией деревень.

Невеселые мысли приходили последнее время все чаще, но сейчас, в этот летний вечер, думал об одной Ольге, не сомневаясь, что пришла настоящая любовь, а с нею, наверно, счастье, которого столько ждал.

Ветер шел ровной рысью, покачивая широким крупом, далеко откинув хвост, прочесанный Акимом, волосок к волоску. За колесами оставался примятый след травы и цветов. По агрономической привычке, Селихов стал вспоминать их латинские названия.

Над пологим холмом, куда вела дорога, еще алела вечерняя заря, и в светлом, розовеющем небе, трепеща крыльями, опускался в рожь последний жаворонок, а позади все густели, набегали облака, темнела по горизонту туча.

«А Оля уже ждет», подумал Селихов . . .

Широкая ложбина, где уже легла длинная тень, осталась позади, дорога вывела на возвышенность. Селихов отпустил вожжи, сел поудобнее и, подмяв сено, посмотрел назад. Туча поднималась, охватывая уже полнеба, все росла, темнела, гоня перед собой серые клубящиеся, словно дым, облака. Солнце опускалось за полями, за край земли, и почти вслед пророкотал далекий еще раскат грома.

Понимая, что он может теперь дать себе волю, Ветер пошел широкой рысью, когда, казалось, легкая брочка не катит по дороге вслед за ним, а летит над нею, над широким простором полей.

Из нависшей, клубящейся дымным краем тучи опять громыхнуло и, перекатываясь, ушло вдаль. Молния прорезала черный небосвод блеснувшей ломаной чертой, и вслед треснуло, раскололось небо. Ветер рванул так, что Селихов едва удержался в брочке, и понес, теперь под уклон, мимо потемневшей, притихшей рощи, к большому селу Новоживотинному, что виднелось за нею.

Первые тяжелые капли дождя упали в колеи, поднимая дорожную пыль и оставляя в ней темные вмятины.

Раздувая ноздри, поводя потемневшими от пота боками, конь остановился перед школой, где жила Ольга, и только Селихов успел распрячь его и завести под навес, посматривая в то же время на окно, за которым мелькнуло светлое Ольгино платье и загорелся свет лампы, — как хлынул ливень и загрохотало, засверкало над самой головой.

Он перебежал двор, толкнул дверь в сени и, сбрасывая на пол плащ, почувствовал на шее теплые Ольгины руки.

— Я тебя так ждала, так ждала! А тут гроза заходит . . . Я очень волновалась, и мне так страшно стало, не знаю даже почему. Будто ты не приедешь . . .

Он успокоил ее, целуя щеки, глаза, волосы.

Она засмеялась:

— Теперь все прошло . . . А какой дождь льет!

Дождь хлестал по стенам, на крышу обрушивались потоки, и один за другим следовали удары грома.

Они вошли в комнату, освещенную керосиновой лампой, с постелью, покрытой пикейным покрывалом, небольшим столом с аккуратной стопкой ученических тетрадей и чернильным пятном на зеленой клеенке. На тумбочке, у кровати, в высокой вазе стоял букет, видимо, недавно сорванных цветов, и их запах мешался с запахом духов «Сирень».

Шли дни, недели, учащались их встречи, и уже неодобрительно смотрел директор на частые поездки молодого агронома, а Селихов ничего не замечал и думал только о том, что любит все сильнее, не сможет уже жить без нее и что к осени нужно обязательно решить . . .

Над школой, над селом все грохотало, за окном, за спущенными кисейными шторами, вспыхивали белым зловещим светом молнии, и в коротких промежутках между раскатами грома слышался шум ливня.

Ольга вышла из комнаты, принесла и поставила на стол кипящий чайник, перетерла чашки. Но чай они так и не пили. Эти молнии, тревожно освещающие комнату, раскаты начавшей удаляться грозы . . . Ольга, неожиданно дунув на лампу, чего никогда раньше не делала первой, в каком-то порыве исступления бросилась к нему, словно боялась потерять, словно видела в последний раз. И его охватило такое желание близости, что сам удивился: ведь не первый раз встречаются, мужем и женой на селе уже зовут . . . На селе ничего не скроешь, да и зачем скрывать?

Когда молния, теперь все реже и реже, освещала комнату короткими вспышками, Селихов видел совсем близко ее глаза — она не закрывала их сегодня в смущении, как прежде, — в густых, черных ресницах.

Потом, уже на заре, когда отгремела гроза, прошел дождь и наступила удивительная тишина, а они, сидя рядом, так, что он все время чувствовал теплоту ее плеча, пили давно остывший чай, — Селихов снова подумал, что теперь уже не сможет жить без нее.

Посветлели оконные стекла, и прокричал, неожиданно и задорно в этот тихий послегрозовый час, первый петух в соседнем дворе.

Ольга распахнула настежь окна. Селихов вышел на крыльцо и постоял, с наслаждением вдыхая ночную свежесть русского лета. Конь под навесом стукнул копытом и коротко приветственно заржал. Селихов, не торопясь, принес воды, посвистывая, начал поить его. Конь тянул воду, фыркал, благодарно косил глазом. Напившись, пытался куснуть его за рукав, но не больно, играя. Потом бархатными губами толкнул в лоб.

Селихов стал запрягать. Ольга сидела у окна, облокотившись на подоконник, и молча смотрела, время от времени закрывая глаза и подставляя лицо далекому свету, поднимавшемуся между дворовыми постройками.

Селихов подошел к ней, взял за руки. И стоял, и не мог уйти — он сам не знал, что с ним.

Выезжая из ворот и пуская отдохнувшего Ветра на рысь, он обернулся и внезапно со страхом подумал, что видит Ольгу в последний раз. Но какой невероятной, нелепой показалась эта мысль! И он успокоился, начав подсчитывать, сколько осталось до начала отпуска, до того дня, когда Аким отвезет их на станцию, и целые две недели они будут вместе, и не нужно будет потихоньку от директора брать лошадей, чтобы ехать к ней, и потом возвращаться вот так, на заре, чтобы в шесть часов снова быть на ногах . . .

Ветер шел неторопливой рысью, будто и ему не хотелось возвращаться в знакомый денник, где опять начнет ворчать на него Аким, грозно покрикивая:

— Ну, балуй!

Восток все светлел и светлел, а на западе еще серело небо, и уходили к горизонту, терялись в утренней дымке начавшие зреть хлеба.

После долгой засухи земля с жадностью вбирала воду только что отшумевшего ливня, мокрая трава блестела по сторонам дороги, а в низких местах из-под копыт летели комья мокрой земли, били по передку брички, падали на сено. Он придерживал коня, а потом, на просохших местах снова пускал его радостно, с замиранием сердца, вспоминая сегодняшнюю встречу, ее шопот: «я так ждала тебя, так ждала» . . .

Сокращая путь, Селихов проехал через безлюдную в этот час деревню, осадил коня у самых ворот, соскочил с брички, открыл их и уже шагом проехал к конюшне, думая о том, что еще час-другой удастся поспать.

Аким чистил денник.

— Что так рано? — удивился Селихов.

Старик молча начал распрягать, а потом, оглянувшись, тихо сказал:

— Не хорошо, Сергеич . . . Приезжали за вами, из района приезжали . . .

— Кто приезжал? — спросил Селихов, еще не понимая и невольно понижая голос.

— Ну, кто ж приезжает? Все они . . . энкавэдэ . . . Уходите, Сергеич! Вот в Зарядье так-то пришли за агрономом, а он в поля ударился — и поминай, как звали! — сказал Аким, вводя Ветра в конюшню.

Чувствуя, как что-то обрывается в груди, Селихов пошел за ним.

«А Ольга? Ольга?» — вспомнил он с необычайной ясностью ее лицо, глаза, голос — и такой болью сдавило грудь, что он прислонился к стене.

Стараясь собрать мысли, обдумать, решить, он обернулся к двери: на ее светлом квадрате — солнце уже взошло — темнели и быстро шли по двору, к конюшне, двое в военной форме.

За спиной тревожно, словно чуя беду людскую, заржал конь.

СТИХИ

* *
*

Наш спор был жарок и высок —
Мы шли и луг топтали дикий:
Крутили в пальцах колосок,
Срывали венчик повилики,

И мертвой бабочки крыло,
Не видя, к свету поднимали,
(Оно круглилось и цвело
Отливом бархата и стали),

И жизнь была так молода,
И мир чудесней и огромней...
О чем мы спорили тогда?
Ты помнишь? Я совсем не помню.

* *
*

Помню полустанок под горой,
Солнечную рыжую скалу.
Пахло углем, камнем и жарой,
Паровоз шипел в тупом пыли.

И когда напился паровоз,
Дрогнул поезд, поползла скала, —
А на ней мой колокольчик рос,
Прямо так, — из камня, из тепла.

Легкий, зыбкий, бледно-голубой,
На сухом невидимом стебле —
Для того мы встретились с тобой,
Чтоб расстаться тотчас на земле,

Чтобы поезд вылетел рывком
На равнину из горячих скал,
Чтобы долго синим огоньком
Ты в вечерней памяти мерцал.

БАЛЛАДА

Где гремит ледяной поток
В облака слетая со скал,
Эдельвейс, шерстяной цветок,
Человек для нее искал.

Но скользнул под ногой уступ —
Он упал далеко в реке,
С красной пеной у мертвых губ,
С эдельвейсом в мертвой руке.

Дети дали мокрый цветок
Строгой девушке с чистым лбом:
С ним ворвался горный поток
В непорочный ее альбом.

Но никто не увидел слез
Под ресницами гладких век —
В них высокий сиял утес,
И к утесу шел человек.

* *
*

Жарко небо дымно-голубое,
Жарок берег, каменист и крут.
Золотые метлы зверобоя
В жарком щебне полудня цветут.

Время сонное плывет без шума,
Как рекою плоские баржи. . .
Ты прикрой глаза, не жди, не думай, —
Узелок заботы развяжи.

Шорох осторожного прибоя,
Брызги, сохнущие на лету.
Золотые метлы зверобоя
В неподвижном солнечном цвету.

* *
*

Здесь, в саду таинственном Твоем
Я, как лист на дереве осеннем,
Вся дышу Твоим прозрачным днем, —
Но ползут длиннеющие тени. . .

Скоро ветер колыхнет, шурша,
Сад ночной и, не противясь даже,
Лист увянувший, моя душа,
Подлетит к ногам Твоим и ляжет.

Прошлогодний снег

Рассказ

1.

Хотя он и был наследным принцем, а впоследствии должен был стать королем, он никак еще не влиял на политику и государственные дела: ему было только девять лет, и поэтому он еще не умел разбираться ни в сущности, ни в ценности вещей. По крайней мере, своего сломанного паяца, с оторванной рукой, он ценил выше, чем орден Черного Льва, который прислал ему его дедушка-король. Дедушка был королем в какой-то далекой северной стране, где десятки очень умных людей выбивались из сил, придумывая хитроумные комбинации, ведя жестокие интриги и сбрасывая с высот власти друг друга только для того, чтобы повесить себе на грудь вот такого Черного Льва. Надо полагать, что они-то знали истинную ценность вещей.

И вдруг случилось так, что благодаря ему, ребенку, всколыхнулся весь мир, и зародилось новое движение, охватившее широкие круги разных цивилизованных стран, проникшее во дворцы и в хижинки, породившее специальную литературу и создавшее человечеству новые ценности, несомненные ценности, истинные ценности...

2.

Все началось очень просто и почти незаметно. Началось с того, что однажды принц сидел в глубоком кресле, болтал ногами, скучал и нехотя сосал конфету. Он сосал ее именно нехотя, потому что, во-первых, конфета была совсем уж не такая вкусная, а во-вторых, потому, что он был занят рассматриванием яркой бумажки, в которую эта конфета была обернута. Бумажка была очень нарядной: по затейливому фону цветных арабесков красивыми буквами цвело непонятное, но очень приятное слово: «Lo-La».

Принц с удовольствием всматривался в хитро сплетенный красочный узор, а потом старательно свернул бумажку и деловито закинул ее в карман своей курточки.

— Ваше Высочество, — улыбаясь сказала дежурная воспитательница, — эта бумажка грязная и липкая. Ее надо выбросить!

— Нет, она хорошенькая! — серьезно ответил принц и потянулся к коробке с конфетами.

— Не слишком ли много сладкого на сегодня? — тоном шутливо-го укора попыталась остановить его дежурная воспитательница.

— Я не буду есть! — ответил принц. — Я хочу только посмотреть на бумажку!

— А! Это и в самом деле занятно! — притворилась заинтересованной воспитательница. — Давайте посмотрим!

На одной бумажке были изображены золотые колосья на лазурно-голубом фоне, на другой — причудливые, необыкновенные ананасы, а на третьей — преуморительные слонята с букетами роз в хоботах. Стали искать четвертую, но других сортов в коробке не было.

Принц развернул эти конфеты, но не стал их есть, а только расправил бумажки, аккуратно сложил их и очень деловито спрятал в карман курточки.

— Зачем вам эти бумажки, Ваше Высочество? — улыбаясь спросила дежурная воспитательница.

— Так!.. — пожал плечами принц. — Играть... А какие еще бывают бумажки?

— О, разные! Конфет, Ваше Высочество, так много, что, право, и не пересчитаешь их все!

— Принесите мне еще какие-нибудь бумажки! — попросил принц. — Побольше!

— С удовольствием, Ваше Высочество!

— Вы не забудете?

— О, нет!

Когда воспитательница вернулась домой, она рассказала о затее принца своему отцу, который был богатым, сановным и совершенно независимым человеком. Тот выслушал новость с чрезвычайным интересом и даже как-то взволновался.

— О, это важно! Это очень, очень важно! Грациозная прихоть принца свидетельствует о том, что у него с детства проявляются... гм! какие-то высшие стремления и... и духовные запросы! Но самое главное в его затее то, что нам предоставляется возможность купить симпатии принца маленьким пустяком. А разве можно пренебрегать такой полезной возможностью? Не беспокойся, я завтра же распоряджусь.

И когда воспитательница пришла на очередное дежурство, она принесла принцу не меньше сотни разнообразных бумажек от конфет: больших и маленьких, дорогих и дешевых, нарядных и скромных, художественных и безвкусных. Тут были бумажки с игральными картами и с различными зверями, с цветами и птицами, со стишками и предсказаниями... На одних передвигались части, и к голове бабушки в чепце можно было приставить бороду важного господина; на других были изображены солдаты в нарядных мундирах и с такими страшными саблями, каких нельзя отыскать ни в одном Военном Му-

зее; на третьих были нарисованы Золушка или Красная Шапочка, Кот в Сапогах или Спящая Принцесса . . . И на всех стояло название конфеты, всегда странное и непонятное, но чем-то завлекающее и необыкновенно вкусное: «Kaima», «Fasi», «Агга».

Принц страстно набросился на этот ворох бумажек: он рассматривал их, раскладывал, пересчитывал и сортировал. Он даже плохо пообедал, торопясь к своим бумажкам.

— Что вы с ними будете делать, Ваше Высочество? — спросила воспитательница.

— Я их сложу в порядке! — оживленно блестя глазами, ответил принц. — Зверей к зверям, а сказки к сказкам! А потом пересчитаю их и запишу!

— О, это будет очень хорошо! — фальшиво восхитилась его мыслью воспитательница. — И мы каждый сорт положим в отдельный конверт, а на конверте напишем: «звери», «птицы», «цветы» . . .

— Да! — в восторге согласился принц. — И напишем, сколько штук в конверте!

Все это было страшно увлекательно: сортировать бумажки, паковать их в конверты, делать надписи . . . Принц совсем захлопотался и, сверкая глазами, оживленный и радостный, оглядывал плоды своих рук, не по-королевски вымазанных чернилами.

— У вас теперь будет чудная коллекция! — в преувеличенном восторге восклицала воспитательница.

— Да! Да! — искренно восхищался принц. — Коллекция! Вы принесете мне еще бумажек? Когда вы их принесете? . .

3.

Новая забава принца вскоре стала известной всем при королевском дворе. Принц собирает коллекцию! Среди скуки придворной жизни эта новость показалась интересной и значительной. А молодой принц безо всякой церемонии, с чисто детской непосредственностью, просил каждого:

— Принесите мне бумажек от конфет!

Он просил об этом всех: гофмаршала и камердинера, обер-егермейстера и депутата парламента, дежурного лакея и иностранного посла. И все открыто улыбались в ответ на его просьбу и охотно приносили или присылали вороха нарядных бумажек.

И очень скоро настало такое время, когда принц, получив очередной пакет оберток, говорил разочарованно:

— Такая бумажка у меня уже есть . . . И такая есть! И такая! . .

Началась погоня за неизвестными бумажками. Депутаты писали в провинцию своим друзьям-избирателям, прося их собирать и высылать бумажки провинциальных фабрик; иностранные послы весьма серьезно и настойчиво просили свои министерства озаботиться присылкой подобных бумажек отечественной фабрикации. Подарить принцу такую бумажку, какой у него еще нет, было не только прият-

но, но и полезно, потому что . . . Одним словом, когда директор одного из департаментов министерства внутренних дел неожиданно был назначен министром, то все многозначительно и не без тайной зависти утверждали:

— Но ведь он же постоянно снабжал маленького принца конфетными бумажками!

После этого все начали искать оберточки еще более рьяно и настойчиво. За новыми, оригинальными бумажками начали охотиться, невольно вырабатывая даже правила охоты. Тысячи людей вовлеклись в эти поиски, и, конечно, очень скоро начали появляться подражатели и последователи.

4.

Сначала в одних лишь высших кругах, близких к придворной жизни, а потом и в более широких слоях населения, началось увлечение нарядными бумажками. Не только молодые люди, для которых подобное коллекционирование было изящной забавой, но и пожилые, солидные господа поддались не то очарованию хорошеньких картинок, не то модному течению. И странно: мода не исчезала, а делалась все более устойчивым фактором жизни. Коллекционирование бумажек ширилось, перекидывалось из страны в страну, охватывало многочисленные массы людей и постепенно становилось даже . . . манией. Появились коллекционеры, которые начали соревноваться между собою. Сначала в Лондоне и в Париже, а потом и в других крупных городах мира, начали организовываться общества любителей красивых бумажек. Родились новые слова: «бонбонизм», «бонбонисты» . . . Между членами бонбонистских обществ шла оживленная переписка: каждый посылал бумажки своей страны, получая от корреспондентов иностранные экземпляры. Появились знатоки и специалисты. Предприимчивый и энергичный немец, Фридрих Кранц, составил и выпустил каталог конфетных бумажек, который он пополнял ежегодными периодическими добавлениями.

Сначала любители обменивались своими образцами великодушно, т. е. бесплатно. Но скоро хорошенькие оберточки сделались предметом купли и продажи. Создались специальные биржи, на которых хозяйничали вновь народившиеся спекулянты, устанавливавшие цены и колебавшие бонбонистский рынок. Эти цены прихотливо менялись, и удачливые люди умели наживать крупные деньги.

Были бумажки-плебеи, бумажки массового тиража, которые можно было встретить в каждой коллекции. Но были и бумажки-аристократы, за которыми гонялись и за которые платили очень дорого. Эти принадлежали закрывшимся фабрикам, давно прекратившим свое производство. Их конфеты давно уже были съедены, а обертки от конфет были всеми давно уже выброшены вместе с другим ненужным сором, а поэтому и было естественно, что уцелевшие бумажки эти представляли собой большую ценность. Так, например, было известно,

что коллекционер Рансон в Марселе заплатил 700 франков за обертку с барбарисового леденца фабрики Пужо, которая еще в 1864 году чуть ли не первая начала выпускать барбарисовые леденцы, а потом, в 1869 году, закрылась. С удовольствием передавали, что Рансон через год перепродал свой уникам другому коллекционеру за 1200 франков. Кроме бумажек Пужо очень высоко котировались бумажки с конфет фабрики Штейна, которая закрылась после банкротства фирмы: по упорным слухам эти конфеты предпочитала Элеонора Дузе. Старик Штейн, бывший еще в живых, говорил, смеясь, что при ценах, установившихся на бумажки от его конфет, он в свое время смог бы какой-нибудь сотней бумажек удовлетворить всех своих кредиторов и спасти дело от банкротства.

Конфетные фабрики всего мира, конечно, учли общественную страсть и начали изоцряться в выпуске все новых и новых сортов конфет. Правду говоря, сорт-самих конфет при этом почти не менялся, но оберточные бумажки на них менялись чуть ли не каждый месяц. Придумывались новые трюки. Фабрика «Нимфа», например, стала выпускать серии конфет под названием: «Только 100!» Серии различались литерами: «Только 100 А!», «Только 100 В!». Каждой серии выпускалось только сто штук, все аккуратно перенумерованные. При этом фабрика выпускала в конфетные магазины не более 20—30 штук и ждала, пока на бонбонистском рынке не установится крепкая цена на новую бумажку. После того «Нимфа» выбрасывала остальные 70—80 штук прямо на бонбонистскую биржу и клала себе в карман такую прибыль, какой она не имела бы и с целой тонны подобных конфет.

Были бумажки-уникумы. Рассказывали про одну старушку в Дорсетшайре, которая в своем сундуке, доставшемся ей от ее бабушки, случайно нашла совершенно засохшую конфету, завороченную в бумажку. На бумажке была нарисована полумаска, роза и бокал. Знайки без труда определили, что эта конфета была выпущена фирмой «Браун, Смит и Браун» не позже 1835 г. Счастливая старушка продала свою находку известному коллекционеру Герарду за 8000 тысяч франков и этим обеспечила себе старость.

Годы шли. Бонбонистское движение окрепло, утвердилось и встало на вполне здоровые ноги. За последние десять лет было создано пять бонбонистских конгрессов и были устроены две международные выставки. Кроме того, за это же время была издана обширная литература, посвященная теоретическим и практическим вопросам бонбонизма. Почти в каждой стране начали выходить бонбонистские журналы.

Стойкий и крепкий мир бонбонизма не знал ни кризисов, ни крахов. Но и в нем, время от времени, бушевали бури, которые были тем сильнее, чем глубже и серьезнее были причины, вызывавшие их. Особенно острый кризис произошел в 1898 году, когда у одного скромного любителя была обнаружена бумажка от леденцов фабрики «Прогресс». Подобных бумажек были тысячи, и на всех них была изображена грязно-синяя кошка, сидящая на плече толстой девочки. Но эта бу-

мажка оказалась уникальной, так как на ней был обнаружен брак: у синей кошки не было красных зрачков, которые были на всех тысячах других бумажек. Всем понятно, что подобный брак превращал оберточку в редкую ценность.

Предприимчивые люди вкладывали свои деньги в бонбонистские коллекции, потому что участие в бонбонизме приносило прибыли, которые при удаче и умении были очень велики. Игра на повышение и на понижение шла, так сказать, нормальным порядком, и нередко были случаи очень удачных оборотов и внезапных обогащений.

5.

В конце концов, разыгралось так называемое «дело Дорвиля», которое многие называли «делом со шпорой».

Весной 19... года стало известно, что коллекционер Дорвиль в Тулузе приобрел у какого-то простака всего лишь за 5 франков уникальную обертку: солдат в опереточно фантастической форме бежит в атаку; на голове у него — кивер с конским хвостом, на боку — громадная сабля, а на ногах — шпоры. Вокруг него рвутся бомбы и гранаты. Конфета называлась «Le héros» и была выпущена в 1870 году конфетной фабрикой Прюно в Париже.

Всего этого было, может быть, недостаточно для того, чтобы обертка стала столь знаменитой, сколь знаменитой сделалась она. Но славу ей создала любопытная история, которую обнаружил и обнародовал Дорвиль, и которая была широко оповещена не только бонбонистской прессой всех стран, но даже и общей печатью. Оказалось, что именно такую конфетку задумчиво сосала императрица Евгения в ту минуту, когда в ее кабинет входил граф М. с печальной вестью о седанской катастрофе. Это обстоятельство, как обнаружил Дорвиль, было записано дежурной статс-дамой, маркизой К., в ее дневнике, который был потом напечатан в журнале «Круг семьи», за 1901 год.

«Я слушала, писала прелестная маркиза, вместе с Ее Величеством душераздирающий доклад графа и не сводила глаз с прекрасного лица Ее Величества. Она была потрясена. Тяжесть ее положения усиливалась тем, что у нее во рту была злосчастная конфета, которая не хотела таять, но в то же время была достаточно велика, чтобы ее можно было проглотить разом. Если вообще трудно сохранить достоинство в трагические минуты государственных катастроф, то судите сами: насколько труднее сохранить достоинство с конфетой во рту!»

Далее почтенная маркиза записала в своем дневнике следующее:

«Наконец, граф закончил свой доклад, а Ее Величество справилась с злополучной конфетой. Наступила минута тягостного молчания. Ее Величество опустила глаза, и ее взгляд упал на бумажку, в которую была обернута конфета. На бумажке был изображен солдат, бегущий в атаку, а у его ног было название: «Le héros». Ее Величество уронила слезу и печально проговорила: «Pauvre héros» Потом она протянула мне эту конфетную бумажку и сказала: «Право, ее следует со-

хранить на память об этой печальной минуте!» Я свято исполнила волю моей повелительницы и сберегла бумажку. К сожалению, она потом погибла вместе с моим имуществом во время большого пожара нашего замка» . . .

Трагическая история, связанная с оберточкой от конфеты «Le héros» не только непомерно подняла ее цену, но и породила всеобщий, необыкновенно повышенный интерес к ней. Даже люди, далекие от бонбонизма, интересовались этой бумажкой, и во многих журналах мира были помещены ее изображения. Рисунок с солдатом в кивере стал таким же популярным, как был всемирно популярен портрет Монны Лизы после кражи картины или же как фотография Биля Смайльса после того, как он побил на четырнадцатом раунде самого Дика Джибсона. Многие страстные коллекционеры и бонбонистские спекулянты предлагали Дорвилю буквально бешеные деньги за эту знаменитую бумажку, но Дорвиль с гордым достоинством отклонял все предложения.

Наконец стало известно, что один из старейших бонбонистов Соединенных Штатов, Джон Беллинг, цифра состояния которого оканчивалась восемью нулями, держал пари, что он вклеит бумажку с солдатом в особый альбом, который специально закажет для себя и на переплете которого мелкими бриллиантами выложит надпись — «Le héros» Но Дорвиль ответил на его предложение в таком тоне, что восемь нулей не сочли возможным продолжать переговоры. Джон Беллинг скомкал ответное письмо Дорвиля и, побагровев от гнева, угрожающе прорычал:

— Ладно! Война так война! Я никогда не отказывался от доброй потасовки!

6.

Дальнейшие события развернулись очень быстро.

Началось с того, что на бонбонистском небе загремел гром: стало известно, что у восьми различных спекулянтов появились обложки «Le héros».

Дорвиль не растерялся. Он тотчас же купил одну из этих бумажек и внимательно изучил ее вместе со знаменитым экспертом-бонбонистом Францем Штутценбергом из Гамбурга. Результат своего изучения он широко опубликовал в бонбонистских журналах, настаивая на ложности появившихся оберток. В доказательство он привел семнадцать расхождений между своей бесспорной бумажкой и теми, подлинность которых он оспаривал. Главнейшие из этих расхождений были следующие: 1) сорт бумаги был явно иным; 2) длина строки с названием фирмы была на 1,2 миллиметра длиннее; 3) голубая краска имела несколько иной оттенок; 4) наклон букв в слове «Le héros» был на 6°20' больше . . . Главное же — шпора на ноге солдата нарисована не звездочкой, а *кружочком!*

Опираясь на эти семнадцать расхождений, Дорвиль обратился к международной ассоциации бонбонистов, прося установить факт подлога. Была выделена особая экспертная комиссия, которая признала все семнадцать расхождений и объявила новые образцы поддельными, а образец Дорвиля уникальным.

После этого остальные семь поддельных бумажек исчезли, а победивший и торжествующий Дорвиль успокоился. Единственное, что его немного смущало, была телеграмма, которую он получил от Беллинга: «Сердечно благодарю за исчерпывающие разъяснения».

Через полгода разразилась катастрофа. Бонбонистский рынок всех стран был буквально наводнен ворохами бумажек, вполне и безукоризненно идентичных с уникальной бумажкой Дорвиля. Их были тысячи, и они продавались по франку за штуку, по восемь франков за десяток. Гомерический хохот прокатился по бонбонистскому миру и даже «Punch» поместил карикатуру: все тот же солдат в кивере бежит по полю, в отчаянии и ужасе отмахиваясь саблей от тысяч бумажек «Le héros», которые, вместо бомб, сыплются на него.

Дорвиль был в отчаянии. Тщетно пытался он найти хоть одно расхождение между своим уникальным образцом и «этими жалкими подделками»: идентичность была настолько полной, что он сам был принужден сделать маленькую отметку на своем подлинном образце, чтобы как-нибудь не спутать и нечаянно не переменить его на «жалкую подделку».

И вот тогда . . . Тогда на рынке вновь появились те семь бумажек, которым в свое время было отказано в подлинности, потому что шпора у солдата была изображена не звездочкой, а кружочком. Конечно, все знали, что это «не бумажки императрицы Евгении», но все знали и то, что этих поддельных бумажек было только семь, не считая той восьмой, которая была у Дорвиля, купившего ее специально для того, чтобы доказать ее фальшивость. И никому не было интересно иметь в своей коллекции «подлинную бумажку», какую имеет каждый школьник, но все набросились именно на поддельные. Но спекулянты крепко зажали в руках все поддельные бумажки и держали их до тех пор, пока цена на них не поднялась до нелепости высоко.

А когда все семь были проданы по этой цене, стало известно, что история с ними является не чем иным, как забавно спекулятивным трюком Джона Беллинга. Это он выпустил первоначальные восемь бумажек, желая «сбить спесь с зазнавшегося Дорвиля». Но у художника, делавшего Беллингу рисунок подделки, не было под руками правильного оригинала и поэтому, перерисовывая с фотографии, он допустил семнадцать знаменитых расхождений. Недогадливый Дорвиль сам указал на то, что именно должно быть исправлено в рисунке. Беллинг воспользовался его опрометчивыми указаниями и создал безукоризненно точную фальшивку. После того . . . Впрочем, все остальное понятно и без дальнейших разъяснений.

Так или иначе, но в мире появилась новая культурная и денежная ценность: поддельные бумажки «Le héros».

И семь счастливых коллекционеров, заплатив за них фантастические деньги, гордо хвастались:

— В моей коллекции есть солдат, шпора у которого не звездочкой, а кружочком!

Впрочем . . . Впрочем, их было не семь, а восемь: восьмым был Дорвиль. Ведь он тоже был счастливецом, обладающим солдатом с кружочком на сапоге. Ведь у него тоже был тот драгоценный экземпляр, подложность которого он с такой убедительностью всем доказал. Как же ему было не радоваться тому, что он обладает этой прекрасной поддельной бумажкой, этой шпорой в виде кружочка, этой несомненной, положительной, истинной ценностью! . .

ПОЭМА О ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ

.. .Была страна Муравия
и нету таковой. . .
А. Твардовский.

1.

Когда закончу навсегда
таранить лбом глухие стены,
устанет сердца ход бессменный
и жизнь погаснет, как звезда —
после бесстрастного суда,
освобожденный от Геенны,
увидю вдруг — с полей блаженных
бегут вечерние стада.
Белея, ангельские хаты
глядятся в розовый прудок,
у мельницы, как бесноватый,
кружит и пенится поток,
и баба райской наготой
сияет над шальной водой.

2.

На травы сея пыль, как росы,
дорогами возы бренчат,
Полки умаянных девчат
после страды на сенокосах
влачат напев разноголосый
и с ним, как ношу, потный чад,
а парни им с возов кричат
нарочно-наглые вопросы,
но все стихают, шапки сняв,
когда степенным гулким звоном
среди полей, среди дубрав,
вдоль по холмам ленивосклонным,
по речке мелкой, неуловной,
сойдет Канун с главы церковной.

3.

Склоняясь у икон отец
 по церкви носит дым кадила,
 на клиросе, как сноп на вилы,
 берет Псалтырь неспорый чтец.
 И все — и мельник, и кузнец,
 и плотник, и пастух Вавила
 тройное «Господи помилуй»
 одолевают наконец.
 А бабы, груди спеленав
 под ситцы яркие, как звоны,
 с букетами душистых трав
 толпятся стадом у амвона,
 и Саваоф — с высот святых —
 взирает с благостью на них.

4.

И тут же дом и старый сад
 со всяким милым сердцу вздором —
 свинья зарылась под забором,
 вздыхая, кормит поросят;
 на крыше голуби урчат
 то с вождельем, то с укором;
 лениво, несогласным хором
 поют работницы у гряд.
 От конопли на огород
 смолистый, крепкий дух идет.
 И от колодца — на весу
 раскачивая всплески ведер —
 кольшет девка скифских бедер
 монументальную красу.

5.

И снова стану я в дверях,
 чтоб, тесно пропуская в сени,
 узнать и тот же зуд весенний
 в ее дичающих глазах,
 и стыд лукавящий, и страх
 притворный, как ее колени,
 и влажное изнеможенье
 в еще неопытных губах.
 Но в вознесенном мире оном
 все в естестве преображенном:
 страсть человека, сон цветка...
 И сердце чисто загорится
 от крепкой плоти в складках ситца,
 от шепотка и хохотка.

6.

Потом в прихожей полутемной
увиджу давешний базар:
корзины, лампы медный шар,
в пустой стене крючок огромный,
(как будто сирота бездомный)
под ним — дырявый самовар,
что испустил давно свой пар
и ждет чего-то с грустью скромной.
Взгляну — (привычка малолетства)
за архаический сундук —
и там найду свой первый лук
с дырой мышшиной по соседству,
и змей, упавший, как и я,
с высот мечты в грусть бытия.

7.

Из комнат выйдет, щурясь, мать
улыбкой доброй сына встретит.
Сойдутся взрослые и дети,
и всем захочется узнать,
как довелось мне умирать,
как жизнь на том проходит свете,
кто за дела теперь в ответе
и долго ль Родине страдать?
Кто у кого и где родился,
кто сватался и кто женился,
кто одиноким кончит век,
как одевают женщин моды,
что получилось из свободы,
и чем взволнован человек.

8.

И всем подробный дав отчет,
скажу, что мир, как раньше — мелок,
что люди также — вроде белок —
все в том же колесе забот;
что мудрость вывели в расход,
а добродетель не у дела
хоть всех бессмыслица заела —
никто исхода не найдет;
властям на пользу врут газеты,
в угоду критикам — поэты,
и много есть манер и мод, —
и что Россия понемногу,
быть может, выйдет на дорогу
иль вовсе не туда придет . . .

9.

И вот начнется пир почестный —
 уставят тесно круглый стол
 и маринады, и засол,
 пирог, вниманья признак лестный,
 сыр покупной, овечий местный,
 и все, что сад свой произвел,
 и мед всегда усердных пчел,
 и водка — грех Руси известный.
 Знакомый ангел за окном
 помашет голубым крылом
 и, приподняв хитон лиловый,
 влетит, чтоб, оказав нам честь,
 и пирога со всеми съесть
 и выпить рюмочку перцовой.

10.

Настанет вечер тих и прост,
 и всех уложит сон беспечный.
 Я выйду в сад и бесконечный
 из Смерти в Жизнь увижу мост.
 По нем, комет сгибаая хвост
 и Путь подравнивая Млечный,
 проходит Он, Садовник Вечный,
 и засекает грядки звезд.
 И воплощаясь перед Ним
 мы все закон Его творим
 Ему по-разному покорны:
 один — в дыму колючих вьюг,
 другой — палочий выбрав юг,
 а третий — гордый камень горный.

11.

И вспомню я парижский день,
 голодный труд без оправданья,
 в непоправимости изгнанья
 чужой судьбы над жизнью тень...
 ... А ночь, перемогая лень,
 по листьям легким трепетаньем
 колдует над воспоминаньем
 и раскрывается как сень...
 И вот я — смертью смерть поправ,
 стою в сиянии Звезд и Слав,
 и стали давним сном мытарства,
 и под миражем бытия
 я — это Он, Он — это я,
 и все — Его Святые Царства...

ВОСЬМУШКА ГОРОХА

Рассказ

— Вы чудесная! — сказал Гордон, прощаясь с Ниной у дверей ее квартиры, после знойного дня на пляже — Лонг Айланда. Нина молча взглянула на него, ощутила себя «чудесной» и вынула из сумочки ключ.

— Спасибо за очень приятный день. — Ключ щелкнул в замке, и Гордон повернулся, чтобы уйти:

— Позвоню завтра из конторы.

На полу, за дверью, лежали два конверта: счет за электричество и серый самодельный конверт со знакомой маркой из СССР.

Несколько лет назад эти конверты распечатывались с волнением и ожиданием событий или хотя бы намеков на них. Но... В письмах писалось только о самых обыденных каждодневных делах. Это письмо было от тети Сони, и Нина уже заранее знала его приблизительное содержание. Шло оно семь недель. Никакой спешки распечатывать его не было. Она прошла в спальню: первым делом снять нагретое солнцем платье. Напевая «О, если б знали вы, как сильно сердце бьется», она разделась, приняла душ, припудрила тальком обожженные на солнце плечи и ноги, расчесала мокрые волосы и вставила гребенки, чтобы «волна» легла в должном направлении; на густо покрытом слоем кольдкрема лице брови и ресницы смазались, а губы потемнели, и резко проступил на белизне их рисунок. Накинув пестрый шелковый халат, Нина устроилась в кресле и тогда лишь распечатала серый квадратный конверт:

«Ленинград, 2 июля

Ниночка, родная, в прошлую пятницу я зашла к твоей маме сказать, что в нашей районной лавке выдают сушеный горох, по два фунта труженикам первой категории и четверть фунта — четвертой категории, как мы с мамой. Зная, что ни одной из нас не простоять в длинной очереди, я сговорилась с молодой девушкой, чтобы та постояла за нас, обещая ей половину рациона. Об этом-то и спешила сообщить маме. Мама лежала в постели с повышенной температурой и жаловалась на боль в спине, дышала тяжело, но обрадовалась, когда узнала про горох. Горох — питательный. Мы обсудили, как лучше будет его использовать и решили, если удастся достать кусочек сала, — сварить пюре и заправить ложечкой молока. Тут пришла наша племянница Аня

с другой хорошей новостью: мамин спор о ее праве на светлую комнату суд разрешил в ее пользу. Ты помнишь, я писала, как два года тому назад ее уплотнили: поместили жильцов в ее квартиру, сокращали жилплощадь, оставив ей темную комнату для спанья, с правом пользоваться общей в течение дня, по соглашению. Теперь же ей дали маленькую, но с окном, как полуинвалиду. Мама была очень довольна. Она обрадовалась, что удалось добиться своего угла, сидеть в общей комнате с чужими людьми и им мешать было неприятно. Прощаясь с мамой, я поцеловала ее в лоб, он был весь в испарине, и я попросила Аню остаться, и, в случае, если станет хуже, позвать доктора. На следующее утро, когда я пришла с горохом, она была без сознания. Доктор был и сказал, что воспаление легких и что сердце может не выдержать. К вечеру ее не стало. Не огорчайся, родная. Так — лучше. Ведь мама — сестра мне, но нам виднее, что не всякая жизнь — радость. Досадно, что умерла она как раз, когда получила право на комнату с окном. Ей так хотелось иметь свою светлую комнату. Но теперь ей ничего не нужно, а живым так много нужно, так многого не хватает. Не плачь, милая. Ты молодая, живи своей жизнью, а нам — старым — пора уходить, дать дорогу молодым. Сейчас во всем нехватка, и лишние старые люди — помеха. . . Маму похоронили вчера. За гробом шли Аня с детьми, дядя Толя и я. Молодежь на работе. Я принесла две белые розы положить на гроб, обменяла их на мою порцию гороха. А мамину порцию отдала Ане. Она была очень внимательна к покойной, и Аня все еще очень слаба. Не может оправиться с тех пор, как муж погиб на ее глазах. Я ведь писала тебе, что она была даже в лечебнице, а дети оставались со мной. Теперь она нормальная, время все заживляет. Питается плохо; тем, чьи мужья так «погибают», немного перепадает даже и на детей. Маму похоронили в синем платье, которое я сшила ей в прошлом году из старых штор. В гробу она была очень красивая, спокойная. Поставить крест на могиле нам не по средствам. Будет там только травка. Но это неважно, травка — хорошо, Божьей волей растет. Я люблю травку. А крест не значит того, что раньше значил. Крест мы все при жизни несем. Не рассказывать, как все изменилось. Да и зачем? Не тужи по маме. В ее жизни было так мало смысла, радости еще меньше, а трудностей много. Хотелось бы мне обнять тебя нежно. Смотрю на твою карточку на стене, где ты девочкой, в кудряшках, с куклой, а сказать, что чувствую, не умею. Мы отвыкли говорить о том, что чувствуем, больше молчим. . . Жизнь стала простой, Ниночка, очень простой. Горевать о нас старых не надо. Напиши мне поскорее о себе, как живешь, здорова ли? Любящая тебя тетя Соня».

Жизнь — проста. Только сейчас, сию минуту поняла Нина, насколько проста: мать умерла в день, когда выдавали горох. Она была в четвертой категории, бесполезная, полукалека, и полагалось ей четверть фунта. О ней не надо плакать. Она была красива в гробу, в синем платье из старых штор. . . спокойная, мертвая. . . Умерла, добившись права на каморку для жизни, но не удалось ею воспользоваться. Что у нее теперь? Сколько квадратных метров? Опять темных, как в последние два года. . . А ее порция гороха пошла Ане за то, что та была внимательна. Как благодарна была истощенная Аня

за эти четверть фунта. Нет, не четверть, а только восьмушку. Другая восьмушка пошла девушке, что стояла в очереди. Удалось ли Ане достать кусочек сала и сварить гороховое пюре себе и детям? Вряд ли. . . А маме не пришлось поесть гороху. Теперь ей ничего не нужно. . . Мамы больше нет.

Чем была мама в последние годы жизни для Нины? Нина не писала ей о своих переживаниях, думах, планах, радостях и горестях. Не только потому, что боялась цензуры, а потому, что жизнь у них была такая разная. Да мама и не спрашивала. А Нине было неловко писать о себе. Теперь у мамы, как у людей всех категорий — могила, «смертьплощадь», вероятно, у всех — одна, у всех та же травка, не зеленее, не свежее, чем даже у первой категории. А у кудрявой девочки с куклой, которую тетя Соня хочет обнять и приласкать, нет больше мамы.

Неправда! Это у сорокапятилетней, намазанной кольдкремом Нины, сидящей в кресле на 180 улице Нью-Йорка, нет мамы. . . Следует ли ей послать денег на крест? Или лучше пусть трава, как у всех? А вот тетя Соня принесла все-таки две белых розы на могилу, отдав за них свою восьмушку гороха. Пожалела ли она потом? Аня не принесла цветов. Она была только внимательна и получила горох. Почему щечи у Нины мокрые? После душа. . . Гребенки упали на пол, не видно, куда. Найдя ошупью, она вышла в ванную, включила свет: за сверкал кафель, зеркала. Выключатель быстро щелкнул, блеск померк, а Нина вернулась в кресло, поближе к письму. Аккуратно сложила листки и всунула в конверт.

За окном — тишина. На пустых тротуарах не слышно детей на гремящих роликах, не видно сидящих в вечерней прохладе людей на складных стульях у подъезда.

Напротив — дом, десять рядов окон, между ними железные пожарные лестницы. Темно и тихо. Какой простой рисунок! Два окна, железные ступеньки, железный балкончик, и снова — два окна, балкончик, все одинаковые. На одном из них корзина с увядшими цветами. Почему ее не выбросили? Ведь это же — мусор. Тети Сони цветы на могиле тоже завяли. А о н и мусор? Тетя Соня отдала за них свой горох! А отдала бы Нина свою порцию мертвой сестре? «Там» не говорят больше о чувствах, а горох отдают за цветы! А за горохом хвосты стоят. . . Тетя Соня готова уйти из жизни, чтобы осталось больше места молодым. А Нина готова отдать свою долю жизни? Ей сорок пять лет, но она все еще хочет всего того, что принадлежит молодости. Можно ли это? Поймет ли она, когда придет пора отказаться? Или дождется, пока сама жизнь заставит выполнить свой простой закон?

В комнате стало прохладно. Окна и железные лестницы проступали еще четко.

Нина легла в постель уже тогда, когда молочник прогромыхал пустыми тяжелыми бутылками, сменив их у подъездов на полные.

Проснулась с ноющей головой, тяжелыми веками, разбитым телом, и первое, что бросилось в глаза — серый квадратный конверт на комод. Она была одна и бодриться было не перед кем. Но по при-

вычке, отбросив одеяло на спинку кровати, она, как всегда, задвигала ногами в воздухе, делая утреннюю гимнастику. Потом вскочив и ухватясь за спинку стула одной рукой, вскидывала ноги — пятнадцать раз правую, пятнадцать раз левую. На лбу и на висках заблестел пот; Гордон будет целовать ее и находить «чудесной» еще год, другой, а потом перестанет; из привлекательной женщины она перейдет в разряд увядающих... Она тоже станет «четвертой категорией», хоть и живет в стране, где людей по категориям не регистрируют. Но жизнь все равно оставляет свои зарубки... Нина остановилась. Зазвонил телефон; она не подошла, не взяла трубки; ей некому и нечего было сказать. Резкий, настойчивый звон продолжался. Нина протянула руку, но сняв трубку, положила на стол. Нет. Ни слушать, ни говорить... «Клик, клик, клик» — щелкало в черном горле. Это был Гордон, с которым было хорошо вчера, но не сегодня.

«Жизнь стала простой, очень простой», писала тетя Соня примиренно. «Простой» жизнь была не только «там». Принаряженная здесь, она казалась сложна, но простые законы ее и з д е с ь оставались в силе. «Что толку быть чудесной и оставаться чужой?» — думала Нина, — «молчать, когда мать умерла, а тетя Соня принесла две розы на гроб и осталась голодной... Прыгать в сорок пять лет после бессонной ночи, чтобы тебя хотели целовать...» Сердце строптиво и больно ударило: «Нет!» Нина схватила трубку. «Гордон!» — крикнула она, решив все сказать и услышать в ответ, что не надо больше прыгать, что невозможно же быть чудесной, оставаясь чужой.

— Гордон, мама умерла! — крикнула она отчаянно. Но никто не ответил. Трубка молчала. Рука машинально повесила ее и снова сняла.

— Гордон, — сказала Нина тихо и доверчиво. — Это Нина. — Ответа не было. Она терпеливо ждала. Наконец, молодой безучастный голос деловито потребовал: «Номер, пожалуйста». Нина повесила трубку. По номерам, по проводам не могла она сказать, да и не дошло бы живым то, от чего у нее сейчас подкашивались ватные ноги, но крепко, сгущаясь, решение. Она взяла письмо тети Сони и перечла его, слово за словом. Слезы не застилали глаз. Жизнь, о которой писала тетя Соня, была проста, трудна, ничем не прикрашена, — одна правда. Но сколько покоя и добра в ее словах! И вспомнилось Нине, как прибегала девочкой в комнату тети Сони, в слезах, обиженная, поссорившись со старшими детьми из-за любимой игрушки. Тетя Соня всегда сидела за пяльцами и вышивала; в окне висела клетка, в ней — снегирь на жердочке, а между золотыми прутиками — кусочек сахара, в чашечке — чистая вода. В правом углу божица, в ней, над иконами, пасхальные фарфоровые яички с бантиками и бабушкино и дедушкино обручальные кольца на гвоздике. В комнате всегда был порядок и свет. Обиды затихали под тихие простые слова: «Перестань плакать, Ниночка, расскажи всю правду спокойно, что как было. Будешь всхлипывать, и я не разберу, и сама запутаешься. Стоит ли из-за игрушки так огорчаться? Дети тебя обидеть не хотели. Они тебя любят, а ты их любишь? Не в том радость, сколько себе заберешь. Посмотри в окно, вон они в твоего ослика как хорошо играют. Беги к ним скорее, веселенькая, играй вместе. Не считай что — чье. Тогда и плакать не захочется...»

Тетя Соня и теперь не клянет, не жалуется на тяжкую жизнь. Она продала божницу и золоченые ризы с образов. В ее комнате тоже нет окна, писала мама. Но в ней по-прежнему светло и чисто. «Все очень изменилось», пишет тетя Соня, но она осталась той же. «Мы отвыкли говорить о чувствах». Но она принесла две белых розы мертвой сестре, а сама, живая, осталась голодной. «Не в том счастье, сколько себе заберешь», вспомнила Нина ее слова.

«Не в том, тетя Соня», — ответила она, сорок лет спустя, из далекой Америки.



ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ

Золтан Зелк

Коль народ под угрозой
Смертоносной атаки,
Ты ведь тоже не дрогнешь,
Встретив дула орудий.

В этот день рука в руку,
Вместе, — ты ведь умеешь! —
Нашу чашу осушим
Мы до капли, до дна.

1951 г.

Петер Куцка

ИСТИНА

Я улицей пройду скорее голым,
Под улюлюканье и ругань мне вослед,

Я улицей пройду скорее голым,
И свяжут, как безумного, меня,

Я улицей пройду скорее голым,
От холода, как кедры, почернев,

Я улицей пройду скорее голым,
Обезображенным самоубийцей став,

Я улицей пройду скорее голым,
И в жалкого кретина превращусь,

Я улицей пройду скорее голым,
Чем снова обрету привычку лгать.

Август, 1956 г.

Джула Ильеш

ИЗ «ОДЫ БАРТОКУ»

... Ибо, воистину, сия какофония,
Сей бранный клич
— сплав гулов ада —
Гармонию воспламенил.

Ибо, воистину, сей скорби крик,
Перекрывая лживые частушки,
Симфонию создать велит судьбе.
И правды строй, чтоб мир не захлебнулся.
И кажется вот-вот проговорит народ
Во всем своем величьи...

1955 г.

Примечание переводчика

Выпуск газеты «Иродалми Уйшаг» («Литературная газета»), напечатанной в ноябре 1955 года «Оду Бартоку», был конфискован, а главный редактор смещен с должности. За стихотворение «Коль народ под угрозой» автору тогдашний министр культуры Йожеф Ревая сделал строгий выговор. Номера газеты «Иродалми Уйшаг» от 20 августа 1956 года, где было напечатано стихотворение «Истина» Петера Куцки, перепродавались на «черном рынке» за тридцать форинтов (нормальная цена — один форинт).

Эти стихи были помещены в подстрочном переводе на французском в статье Ласло Сабо о венгерских поэтах — предтечах революции, в газете «Журналь де Женев».

А. Неймирок

Королева Анна

ОЧЕРК

Генриху Первому, королю Франции, было тридцать девять лет, когда его вторая жена Матильда умерла от родов. Собственно говоря, она была его первой женой, потому что ее кузина, лишь обрученная с Генрихом, умерла по дороге во Францию. Молодая династия Капетингов, казалось, была обречена закончиться на нем. Половина его жизни уже прошла в непрерывной борьбе с могущественными домами Блуа и Шампани, чьи обширные территории примыкали к королевским землям. Пока был жив его брат Роберт Нормандский, король всегда прибегал к его помощи для покорения врагов и расширения своих владений. С воцарением же сына Роберта, Вильгельма, будущего завоевателя Англии, Нормандия стала враждебной, и в 1047 году началась новая война, которой суждено было окончиться только со смертью французского короля. Неудачи семейной жизни наполняли Генриха горечью. Его благочестивую душу мучила мысль, что потеря невесты и жены была небесным наказанием за их слишком близкое родство с ним. Одиноким, почти отчаявшимся, он все-таки снова пустился на поиски невесты, постепенно теряя надежды на заключение нового союза.

И как был он обрадован вестью, узнав, что для него нашлась невеста красивая, богатая, превосходно образованная и во всех отношениях достойная стать женой внука Гуно Капета. Еще более радостным было сознание, что между ними не было ни тени родства, даже самого отдаленного. Они родились в разных частях Европы, их семьи до сих пор не входили в соприкосновение.

Эта счастливо обретенная невеста оказалась княжной Анной Ярославной, дочерью киевского князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды, принявшей греческое имя Ирины.

Киевская Русь, соединявшая Восток и Запад, была в то время одним из богатейших и наиболее культурных государств Европы, центром торговли между Византией и западными королевствами, барьером, о который разбивались движущиеся из глубины Азии волны кочевников. Семья князя Ярослава находилась в родстве с королевскими домами Англии, Германии, Скандинавии, Венгрии, Византии и Польши. Князь получил прозвище «зятя Европы». Двор его был широко открыт для гостей из всех европейских стран. Сыновья английского короля

Эдмунда Железный Бок, изгнанные из своей страны датским королем Канутом, нашли пристанище в Киеве. Храбрые викинги — Олаф, норвежский король в изгнании, и знаменитый Гаральд Гаарбрад, также встретили дружеский прием при дворе Ярослава. Гаральд, влюбившийся в старшую дочь князя, Елизавету, посвятил ей поэму, каждый стих которой, после перечисления его героических деяний в Палестине и Сицилии, кончался жалобой: «Только русская дева в золотом уборе презирает Гаральда!» Искренность этих жалоб и его восшествие на престол Норвегии тронули Елизавету и, дав согласие стать его женой, она последовала за ним в Норвегию, а затем в Англию.

Младшая дочь князя, Анастасия, вышла замуж за венгерского короля Андрея и покинула Киев еще до того, как состоялось сватовство Анны с королем Генрихом.

В мае 1048 года послы, возглавляемые Готье де Савейром, епископом Мо и Госселеном де Шалиньяк прибыли в Киев. «Мать русских городов» гостеприимно раскрыла свои ворота перед ослепленными представителями всехристианнейшего короля Франции.

Впервые увидели они город, прославленный богатством и красотой, соперника Константинополя, блестящее украшение православного Востока. В этом большом городе было четыреста церквей и восемь рынков, богато украшенные дворцы и многочисленные лавки, в которых искусные ювелиры и резчики по дереву и кости выставляли свои товары. Корабли, приходившие в Киев по Днепру, Волхову и Западной Двине, привозили восточные ткани с неведомыми зверями, бегущими по золоту, византийские эмали и драгоценности, изделия из глины и камня. Князь Ярослав расширил город и возвел новые восточные стены с башнями и воротами.

Французское посольство въехало в Киев через Золотые Ворота, увенчанные Благовещенской церковью. По обеим сторонам широкой главной улицы вздымались белые стены монастырей Св. Ирины и Св. Георгия. Удали сверкали тринадцать золотых куполов собора Св. Софии, родной сестры прославленной на весь мир Св. Софии Константинопольской. Из-за стен внутреннего владимирского града горделиво высились купола Десятинной церкви и поблескивали крыши княжьего дворца, стоявшего на вершине одного из семи холмов, на которых, подобно Риму, был построен Киев. Все дышало здесь разнообразием: деревянные церкви, дома с острыми крышами и резными ставнями, наподобие старых домов северной Европы, постройки из белого и золотистого камня, купола и кресты православных храмов и бронзовые греческие кони, привезенные князем Владимиром в Киев, после завоевания Корсуни, и установленные на большой базарной площади. На улицах высокие белокурые варяги мелькали среди чернобородых греков и стройных темноглазых грузин. Молчаливые арабы, солидные немцы, шустрые поляки сходились под навесами рынков для обсуждения торговых сделок. С изумлением разглядывали французы азиатов в черных меховых шапках, ярких одеждах, с кривыми саблями на боку. Князя и бояре, выехавшие навстречу послам, поразили их богатством расшитых золотом кафтанов с красными застежками и вышитыми жемчугом воротниками. С их плеч спускались плащи из во-

сточных тканей, а круглые шапки их были оторочены драгоценными мехами. Даже сафьяновые сапоги были украшены золотыми вышивками и жемчугом.

Послы были приняты с почестью и великолепием. Их поместили во дворце. Они принимали участие в почетных пирах, на которых столы были уставлены золотой и серебряной посудой, и тяжелые вина разливались в инкрустированные золотом рога, кубки и резные ковши. Они ходили по полам, покрытым восточными коврами, вдыхали аромат трав, сжигаемых в бронзовых курильницах в форме фантастических животных. Их празднества освещались «жар-птицами» — большими светильниками в виде бронзовых веток с птицами и наколотыми на шипы свечами. Они посетили княжескую сокровищницу и богатейшую библиотеку, в которой хранились многочисленные рукописи. Наконец, французы были приглашены на торжественную службу в соборе Св. Софии — гордости Киева, — где впервые увидели они ту, ради которой и было предпринято их долгое путешествие — княжну Анну Ярославну.

Она появилась со своими родителями и придворными на хорах собора. Византийский головной убор с длинными подвесками из фиолетовых цветов и животных, падавшими вдоль щек, придавал ее спокойному лицу сходство с ликами стенной росписи собора. Высокая и стройная, она держалась очень прямо в своей тяжелой парчевой одежде, с вышитой жемчугом полосой, спускавшейся от воротника к подолу. На шее у нее сверкало ожерелье из медальонов, золотых бус и крестов. Длинные пальцы ее рук были покрыты кольцами, а вокруг запястий обвивались браслеты с изображениями птиц, кентавров и танцующих фигур.

*

Ничто не ускользнуло от внимательных глаз послов: ни королевская осанка, ни красота, ни спокойное достоинство княжны. Французы были в восхищении, а благоразумный епископ уже видел за этой блистательной фигурой широкий поток золота, столь необходимый для казны бедной и воинственной Франции, и стройный ряд принцев, рожденных и воспитанных прекрасной и образованной матерью.

Помолвка состоялась, и весной 1049 года посольство покинуло Киев, отправившись в Париж с нетерпеливо ожидаемой там невестой. При отъезде некоторые из французов выразили желание остаться в Киеве.

Лица городов меняются, и в то время как первая столица Руси была в зените своего расцвета, Париж нес на себе ужасные следы нормандских нашествий и страшного пожара, уничтожившего в начале царствования Генриха большую часть деревянных построек. Восстановление города подвигалось медленно, и многие части Парижа оказались покинуты жителями. Молодая королева была поражена видом грязных немощёных улиц, покинутых церквей и больших болот, простиравшихся вправо от реки и пересеченных шаткими мостиками. Забавные и часто непристойные названия улиц отражали галльское остроумие ее новых подданных. Знаменитый парижский университет тогда еще не был основан, в городе существовала всего лишь одна школа.

Виноградники покрывали левый малообитаемый берег Сены. Утрюмая Меровингская башня, резиденция королей, весьма мало напоминала светлый княжеский дворец, в котором Анна жила в Киеве.

*

Свадьба Анны Ярославны и короля Генриха была отпразднована на Троицу 1049 года. Преждевременно состарившийся от забот и разочарований король сохранил доброту сердца и глубокую религиозность. Этот новый королевский брак, основывался на чувстве долга и исполнении своих обязанностей. Молодая королева разделяла с Генрихом заботы управления, и все хартии, дарующие в те времена земли церквям и монастырям, носят и ее подпись. Но первой и самой священной ее обязанностью было даровать Франции наследника престола. Несколько лет она оставалась бездетной. Она много молилась и даже дала обет выстроить новую церковь после рождения первого ребенка. Ее мольбы не остались без ответа. К 1058 году она была уже матерью троих сыновей. Из них только маленький Роберт умер ребенком. Старший сын, будущий король, первым во всей Франции, получил имя Филиппа в честь македонского царя. Другому сыну, Гуго де Вермандуа, судьба готовила роль одного из руководителей первого крестового похода. Королева готова была уже привести свой обет в исполнение, но король воспротивился, страшась стать отцом слишком многочисленного семейства. Ей пришлось подождать.

Генрих Первый умер в 1060 году, когда Филиппу было всего восемь лет. У умирающего едва хватило времени возложить обязанности регентства на королеву Анну и своего зятя графа Фландрского. Королева отказалась от регентства, сохранив лишь за собой право воспитания своих сыновей. Она покинула Париж и переселилась в Сенлис, свою любимую резиденцию, окруженную лесами, в которых любила охотиться.

Ей было тогда тридцать пять лет, и она была очень красива. Жизнь во Франции, с простыми и строгими модами Западной Европы, изменила ее облик. Она носила теперь меньше золота и драгоценностей. Византийское великолепие ее девичьих нарядов уступило место темному пурпуру, голубым и фиолетовым цветам французской королевской одежды. То было время длинных и свободных платьев целомудренных женщин. Средние века окутали женскую фигуру одеждой и углубили ощущение греховности, связанной с обнаженным телом. Даже нижние рубашки имели длинные рукава. Так называемое «смелое платье» слегка открывало лишь шею. Иногда королева носила «блио», род пальто, доходящего до колен и прилегающего к талии. Однако византийские моды повливали на всю Европу, и вскоре после приезда Анны Ярославны во Францию, модницы того времени стали увлекаться хламидами — мягкими накидками, застегнутыми на одном плече брошкой. Влажный климат Парижа научил королеву пользоваться калошами, высокими деревянными котурнами с полоской кожи вокруг подъема. Трость для прогулок была также обязательной частью дамского туалета. Распущенные или заплетенные в косу волосы были прикрыты вуалью или капюшоном.

Среди деревенских удовольствий Сенлиса королева не забыла своего обета, и вскоре заново выстроенная церковь уже была освя-

щена. Анна даровала церквям новые земли, и один из таких документов носит ее имя, написанное славянскими буквами. Была ли это тоска по родине или шутка образованной королевы, умевшей читать и писать на нескольких языках в век, когда большинство аристократов было неграмотно, остается и по сей день неизвестным. Во всяком случае, эта подпись снабдила филологов материалом для различных предположений.

История не рассказывает также и о том, когда Рауль Великий, граф де Крепи и Валуа, увидел Анну Ярославну впервые. Быть может, он был одним из послов французского короля и увидел ее еще в Киеве, под сводами Софийского собора? Может быть, он встретился с нею, когда она невестой прибыла в Париж? Никто этого не знает. . .

Даже в ту эпоху мужества граф де Крепи был известен силой своей воли и своих страстей. Его любовь к Анне Ярославне была настоящей любовью Средних веков, эпохи Тристана и Изольды, любовью до и после смерти.

Первая жена графа умерла, вторую он отверг, обвинив в измене. Ничто не стояло на его пути. Однажды потрясенная Франция узнала необычайную новость. Добродетельная королева, верная вдова и нежная мать, была похищена графом де Крепи во время прогулки в лесу и увезена в его владения, где неизвестный священник обвенчал их. Это произошло в 1063 году, во второй год царствования маленького Филиппа.

Всё осуждало этот брак: недавняя смерть короля, возраст детей, нуждавшихся в материнском руководстве, родство графа с покойным Генрихом. Поднялась волна протеста. Отвергнутая жена графа спешно выехала с жалобой в Рим к Папе. Она вернулась от главы церкви с письмом, призывавшим графа оставить королеву Анну и вернуться к Алинор. Рауль де Крепи отказался и был после этого отлучен от церкви. Его брак с королевой церковь объявила недействительным, но чета продолжала жить вместе. Протесты постепенно прекратились, негодующие языки умолкли: граф де Крепи был слишком опасным врагом для мальчика-короля. Только имя Анны перестало появляться на государственных бумагах.

Анна Ярославна овдовела вторично в 1074 году. После смерти графа она снова появилась при дворе. Филипп Первый любил свою мать и простил ее, быть может, в тайном предчувствии, что и сам он, много лет спустя, должен будет принять на себя все, вплоть до отлучения от церкви, ради женщины, которую полюбит. Он не расставался с матерью. Имя ее снова появилось рядом с его подписью. Но теперь это было имя не королевы, а всего лишь матери короля.

Со временем Анна покинула двор. О последнем периоде ее жизни почти ничего не известно. Некоторые историки полагали, что она вернулась в Россию, но это оказалось ошибкой, так как могила королевы Анны была найдена во Франции, в XVII веке. Вероятнее всего, она ушла в монастырь и там окончила свою необычайную жизнь. Вера в Бога была неотъемлемой частью жизни людей того времени: они умели признавать и искупать свои грехи. Имя королевы утонуло в громкой славе имен ее современников, в грозных датах великих событий. Она жила в том столетии, которое видело Вильгельма Завоевателя, всту-

пающего на берега Англии, и Генриха Четвертого, стоящего в одежде кающегося перед закрытыми воротами Каноссы.

Более поздние историки, как всегда несправедливые к России, умалили роль Анны, не желая признавать превосходства киевской Руси над тогдашней Францией. Один из них дошел даже до того, что превратил королеву Анну в южнофранцузскую принцессу из дома де-Руси. Другой — раздвоил образ графа де Крепи и Валуа, заставив королеву в третий раз выйти замуж.

Но никакие ошибки, сознательные или случайные, не умаляют ее роли в истории. Брак королевы Анны провел черту через всю Европу, соединив цветущую Киевскую Русь, осужденную на погибель под ударами татар, с молодой Францией, рождавшейся из бесчисленных войн королей и вассалов — великих создателей современных европейских государств. Два изображения Анны полностью отражают те два периода ее жизни, на которые рассеклась она ходом истории: фреска на стене собора Св. Софии в Киеве изображает княжну Анну Ярославну в ряду ее сестер, в строгой и пышной одежде византийской царевны. Скульптура на фасаде церкви Св. Викентия в Сенлисе запечатлела благочестивую католическую королеву Анну Русскую, мать короля и крестоносца, несущую в своих стройных руках маленькую церковь — вечный символ ее веры и исполненного обета.

/



А. М. Ремизов

Алексей Ремизов

Этот номер журнала отмечает восьмидесятилетие со дня рождения писателя Алексея Михайловича Ремизова — одного из самых талантливых и самобытных писателей современной российской литературы.

Со креста

1.

Телеграмма никому — на инспекцию Страховой Конторы:

«Дочь очень плоха помогите поддержите доложите правлению Тимофеев».

Все читали телеграмму: все инспектора и их помощники, — и Антон Петрович, и Комаров, и Блюмменберг.

И всякий как-то очень поспешно отходил от столика, на котором лежала телеграмма развернутая и уже помятая, несвежая. Каждый вдруг почему-то спешил к своему столу и уж больно нетерпеливо и чересчур сосредоточенно принимался за дела, будто и в самом деле во всех этих страховых счетах и бланках заключалось что-то удивительно завлекательное, ну, как газетная статья, за которую газету прихлопнули, — а статья такая невской страховой инспекции, как сахар собаке.

Да, каждый так и уткнулся в свое дело — в страховые счета, бланки, письма, бухгалтерию.

А телеграмма оставалась лежать на столике.

И Баланцев не без досады и также нетерпеливо взялся за бумаги — за счета и бланки: телеграмма его возмутила.

А и в самом деле ведь, всякий из них все, что мог, все для Тимофеева сделал, вот опять . . .

Невская страховая инспекция была выше всяких упреков.

Кого угодно возьмите, до Блюмменберга все были на высоте и долга и чести, да и в душевности никому не откажешь.

Страховое общество людьми вообще отличалось как в московском, так и в петербургском отделении.

Народ подбирался не какой-нибудь: редко кто в свое время в тюрме не сживал, а кто и в ссылке пожил, да и на всяких политических банкетах принимали участие и толклись в девятьсот пятом году на митингах, да и после, если что понадобилось, подписать протест какой, ну, против «кровавого навета» что ли, подпишут, долгом почтут не отказаться.

Сообща выписывали журналы и всякую статью добросовестно прочитывали, да и по беллетристике новинки не обходили, о которых

шумела столичная критика, абонировались на концерты, ходили в театр, предпочитая премьеры, где можно было посмотреть весь знаменитый Петербург.

Нечего и говорить о грешках там каких-то в делах служебных, — такого ни за кем не водилось. Да и подумать грешно, чтобы завелось когда.

И в черствости тоже не обвинишь: все, что можно сделать, все сделают, из петли тебя вытащат.

Взял хоть того же Баланцева, ведь он уж было на все рукой махнул, а вот, видите, вытянул же его Антон Петрович на свет Божий.

Да и Тимофеева . . .

С Тимофеевым обошлись по-товарищески и про это всем известно:

Тимофеев служил у чорта на куличках, выхлопотали ему место в Петербурге и с большим повышением, — у Бойцова на заводе сколько лет сидел он и не в помощниках, а в каких-то подпомощниках бухгалтера, а тут занял сразу место бухгалтера.

Тимофеев не может пожаловаться.

И все теперешние его жалобы и эта телеграмма . . .

— Ну нельзя так распускаться, малодушествовать, надо же себя в руки взять!

— Разве у каждого нет своего такого, отчего бы кричать только и остается, да не кричим же!

«Дочь очень плоха, помогите, поддержите, доложите правлению».

Телеграмма преследовала Баланцева.

Шли всякие дела по службе, а эта телеграмма и совсем неделовая из головы не выходила.

Нет-нет, отрываясь от дела, подымал Баланцев глаза и смотрел на столик, — на столике лежала телеграмма, развернутая, помятая и такая недельная.

Ну, что такое «доложите правлению»?

И как же так можно писать, разве на смех?

И что скажешь в защиту?

Ссылаться на домашние обстоятельства, на дочь — «дочь очень плоха!» — смешно.

Ведь ему же дан был отпуск, срок кончился; попросил еще, продлили, — и вот уж все сроки пропущены.

Да, по-видимому, он и вовсе не собирался являться на службу!

Как же это так?

Так поступать!

Страховое общество не благотворительное учреждение, не богадельня, и таких держать не станут.

Возможно, что постановление уже состоялось.

Как же докладывать?

Нельзя же и инспекцию в дураки ставить!

Баланцев послал Константина за справкой: нет ли чего о Тимофееве?

Ранний морозный вечер ало пушил на воле грустными густыми дымами.

За Гостиным солнце закатывалось . . .

Голубой трамвайный огонек днем, как искорка, а теперь ярко-голубой, резко разрывался.

Зажгли зеленые и голубые лампы.

Баланцев не вытерпел, взял со столика телеграмму, бережно сложил ее и спрятал себе в карман.

Скоро уж домой.

А вот и справка.

Константин, вытаращенный весь, по-фронтовому подал Баланцеву выписку:

«правление не признало возможным удовлетворить ходатайство о продлении отпуска без жалования и постановило считать уволенным со службы».

— Господа, — поднялся Баланцев, — Тимофеева уволили. — Никто ничего не ответил.

Скоро уж домой — на душе обед, тепло домашнее и слава Богу.

2.

Алый морозный вечер посинел.

Грустные белые дымы сгустились в ночь.

Морозило.

Мороз не дремал: не оставил он ни проволоки, ни гвоздика, ни одного карнизного выступа, все верхи и верхушки запустил хрупкими пушинками, сам воздух закалил летучей лютюю и основательно уселся на городовом, — на его усах и белой палочке, на автомобилях и на извозчиках.

Или все прохожие носа не показывали, а сидели по домам, в морозье у керосиновых печек? или и не сидели нигде, а в скороходах обернулись? подгонял, лютюю подстегивал мороз, уж не шли, а бежали по Невскому и кто как — на перегонки.

Забегал Баланцев к Филиппову баранков к чаю купить, вдохнул в себя теплый хлебный дух.

И с теплыми баранками скорее назад в лютюю рысцой мимо Аничковых коней, мимо Екатерины до Публичной Библиотеки, там на Садовой вскочил в трамвай и покатил домой на Монетную.

А мороз за ним . . .

*

Мороз и там давал себя знать.

Неповоротливо от шуб и муфт, а теплее нисколько не становилось.

Стекла нарезаны были цветами — густые хвощи да елочки с крестиками стьли белые и вдруг загорались жемчугом: то как в венчальном венце альбом — то как на темных иконах восковым — в тосках.

Или на эти-то волшебные цветы и загляделась . . .

Баланцев стоял, за ремень держался, а как опросталось место, присел и сразу увидел: против него с бабушкой сидела девочка.

Бабушка в стеганой кофте, ноздрятая, Бог ее знает!

А у внучки — руки длинные, красные, гусиные без варежек, а пальтецо, ветром подбитое, синее, и черная плюшевая ушанка, а из-под ленточек две прядки и такие, напоказ всему лютюю морозу.

Бабушка нет-нет да запахнет ей пальтецо, чтобы не простудилась: несмышлѐнная, сама-то не понимает!

Бабушка сидит на кончике бочком, Бог ее знает.

А внучка прямо и свободно и все-то глазеет.

Да, конечно, волшебные хвощи и белые елочки, это они, живые, волшебные, тянут к себе Машутку.

От уличных огней глаза ее загорались в лад морозным цветам. И вдруг она сладко зевнула всем ротиком — зябко ей.

— Бабушка, а бабушка!

— Скоро, скоро, Машутка.

Бабушка плотней запахнула ее узенькое пальтецо, ветром подбитое, синее.

Баланцев смотрел на цветы, на Машутку и вдруг ему вспомнилось.

Вспомнил он — это тогда, как без должности-то ходил он по Петербургу, у него тоже своя такая росла Машутка, только не с ним, далеко где-то с матерью — вот идет он, бывало, мимо магазинов, и хочется ему купить ей чего-нибудь, а у самого только-только что на Казбек и хватит, такие папиросы самая дрянь, а как ему тогда ну что-нибудь — ведь если любишь, хочется тому что-нибудь сделать, если любишь...

«Дочь очень плоха, помогите, поддержите, доложите правлению».

Баланцев так и съежился, будто его на свете не было, а в трамвае так башлык один в калошах.

Рядом с Машуткой соседка ее: в светло-зеленом узком пальто, уж таком обтянутом, узком и легком, словно бы под ним и рубашки-то нет, а прямо на тело надето, шея открытая совсем не по сезону и паутинки-чулки и туфельки на высоких кривых каблуках.

И не дрогнет.

Или окостенела?

Синие большущие глаза не взморгнули, так и уставились так, как два луча.

И когда морозные цветы, белые хвощи и елочки загорались алым жемчугом, — то алым, то восковым, как чистая свеча, — лицо ея было — жемчужина на темных иконах в тосках.

Сидела она как-то одна, отдельно.

Сосед ее мастеровой к соседу к мастеровому жался.

Машутка к бабушке.

— Кто калошу потерял? — выкрикнул кондуктор.

Стали осматриваться — за теснотой путали ноги с соседскими.

Машутка развеселилась и зевать перестала.

А та — так и осталась, не шевельнулась. И глаз не опустила — не посмотрела на свои туфельки.

— Кто калошу потерял? — выкрикивал кондуктор.

Пересмеивались.

Скоро уж домой — в душе был обед, тепло домашнее и слава Богу.

Баланцев пропустил остановку, — до Большого проспекта махнул.

Он все смотрел на эту Машуткину соседку.

Или уж замерзшая ехала она — мертвую ее вез трамвай?

Или в беде какой — и морозу не взять! — забедованная?

И горело ее лицо: то алым, то восковым чистейшей свечи жемчугом, как у темных икон на тосках.

«Дочь очень плоха, помогите, поддержите, доложите правлению».

Баланцев спрыгнул прямо на мороз.
 У! как колола и больно кусала костистая лютя.
 Он бежал по Каменноостровскому.
 А левая нога его была как скована — налегке — без калоши.

3.

На столе дожидалось письмо.
 Что говорить, за последние недели это всякий день!
 И по почерку Баланцев сразу узнал: Тимофеев забрасывал его письмами.
 И опять взяла досада.
 Еще первые письма писал Тимофеев чернилами, а теперь пошли карандашом.
 Тимофеев просил Баланцева приехать.
 Все свои надежды Тимофеев возлагал на Баланцева.
 Баланцев единственный человек, который может что-то поправить.

*

«Пишу к вам, как к душевному и сердечному человеку, чуткому к чужому горю. Поддержите, не дайте затянуться мертвой петле. Помогите! Вызволите от муки смертной, приезжайте, увезите нас! Приезжайте. Душа умирает.»

И все в таком вот — вопль и жалоба — мольба придавленного человека непоправимой бедой.

Ну, что же это?

И как это назвать?

Одна сплошная несообразность.

Как же может Баланцев ехать?

Поехать, значит, бросить службу: отпуска ему ни за что не дадут!

И что он может сделать, чем помочь?

В инспекции он самый последний, самый незаметный.

И как можно так терять голову, вообразить, что Баланцев может что-то сделать!

Ну, он поговорит еще, пожалуй, с Будылиным.

Впрочем, чего ж! пробовал ведь он, и ровно ничего из разговора не вышло — потому что зря.

И это всякий понимает.

Всякому разговоры его становятся просто в тягость.

Да, он ровно ничего не может.

И денег послать не может, — а именно деньги-то и надобны.

Без должности да в беде бедовой попробуй повернись-ка, попробуй...

Баланцев по себе это очень хорошо знает.

Баланцев сам еще недавно на себе все это вынес. Баланцев может представить — и представить и почувствовать свободу — «освобожденного от занятий»!

Вот почему к нему, к Баланцеву, и писал Тимофеев.

Надо же в самом деле...

Или ничего не надо?

Никогда не надо?

За себя . . .

А за другого, если любишь . . .

В письмах поминалась Маша, в каком она опять горе, но в чем дело — в чем ее теперешнее горе, ничего не говорилось.

Но это все равно, беда пришла.

Откуда она приходит и ничего не боится, ни морозу, ни . . .

Или и на нее можно?

Баланцев словно голову потерял.

Или, как сказало у Тимофеева:

«Баланцев просто плюнул в раскрытое сердце».

Баланцев совсем забыл, или затмение такое нашло, не попомнил, что человек разрывается и в беспомощности душа у него умирает, и стал читать пошлейшую пропись и прежде всего, как полагается, по-советовал не возиться со своим горем, а вспомнить, сколько горя на свете, и всем плохо, и все мучаются, — как будто от чужих мук легче бывает!

И это тыканье чужой бедой, как это не похоже на Баланцева!

Ведь, он сам был в беде, и самому же ему в утешение тыкали эту всесветную чужую беду, сколько раз, и спокойно отходили прочь.

А за чужой бедой следовало само собой прописное: «взять себя в руки»!

И, наконец, упрек: зачем было рассчитывать на других и верить людям?

И этот упрек человеку, когда его хлопнуло, — это уж не только плюнуть в раскрытое сердце, а еще и размазать.

Поистине, Баланцев как одеревенел, — человек человеку бревно!

И деревяшка водила пером по бумаге, выплевывая и размазывая — человек человеку подлец!

*

Баланцев запечатал письмо и ясно вспомнил Машу, какой видел он ее в последний раз, когда отец решил увезти ее из Петербурга: Маша безучастно, как застывшая, с закотившимися глазами, а рядом притихнувший Тимофеев совсем растерявшийся, на все готовый, лишь бы как-нибудь помочь дочери, и не знавший, как помочь, беспомощный . . .

«Помогите, поддержите, доложите правлению»!

И опять как сверло засверлило.

А, может, Тимофеев и прав?

И если бы Баланцев поехал, и вышло что-нибудь путное, не в де-нежных делах, а для души.

Ведь, если так просит, значит, дошел человек . . .

И это неправда, ты можешь, ты можешь! — сверлом засверлило.

Нет, Баланцев никак не мог.

И ничего не может сделать: правление уволило, — ничего не поделаешь!

Или уж каждому в ячейке своей сидеть приходится, в крайней своей хате, чтобы самому-то удержаться, хоть как-нибудь.

Да зачем удержаться-то?

Тимофеев получит постановление. Сразу-то он даже с радостью схватился за это: уволили! — шею подставить, — ну!

Когда пришла беда и бьет, каждый новый удар принимается с каким-то запоем: ну, бей, ну, еще — и добей, подлец — или как? — благодетель или просто никак, меня, подлеца!

Растравит он свою рану, — ничего, хорошо!

А на мелочах и спохватится и увидит пропасть: над пропастью которой стоит — и не один — и никакой надежды.

А Маше все равно: у нее беда, обида ее суженая все заполнила, всю душу, все существо и пугать и грозить ей нечем.

*

Баланцев все представил себе и точно самого его прихлопнули.

И вот деваться ему некуда, а на него валит и хлещет . . .

Но что он может сделать?

В тишине за самоваром сидит он, перед ним баранки свежие с маком. Лампадка горит. И вот книги, немного их, зато любимые. И тепло в его комнате.

А вот все бы взять, да и бросить и ехать — и тогда на сердце затеплится ярче лампадки и в душе раскроется свиток любимее всяких книг.

Нет, он ничего не бросит . . .

И жалко ему, и совестно, что счастливый он такой!

Нет, никуда не поедет . . .

Все равно ничего не выйдет.

И ему жалко и совестно . . .

4.

Успокоенный жалостью, Баланцев заснул.

И приснилось ему . . .

Есть старинный апокриф о смерти Авраама, — этот апокриф когда-то читал Баланцев, а теперь ему приснилось.

Приснилось ему Авраам — он увидел Авраама в ту минуту, когда архангел Михаил вернул Авраама после небесного хождения по мукам опять на землю: потому что пришел последний срок, и смерть должна была взять душу Авраама.

И стала смерть перед лицом Авраама.

И совсем не похожа на ту ощеренную и злую курносую, какой приходит она на землю к простым смертным, нет, она была красоты необычайной — Авраам ведь друг Божий!

Но и красотой не могла смерть обмануть Авраама.

Авраам не назвал смерть именем смертным, а только почувал недоброе в своей необычайной гостье.

И душа его содрогнулась.

В страхе смотрел Авраам на красоту ее — не мира сего.

А в ту минуту, как появилась смерть в необычайной красоте своей — и такого в апокрифе нет, а снится Баланцеву, — призвал Бог души всех людей, которым Авраам за долгий свой век сделал добро, и тех, кому сделал Авраам зло.

И видит Баланцев, как затолпились люди, осененные светом — добром Авраама, и их было без числа, и каждый из них становился за спиной Авраама — против смерти.

И смерть стала еще прекраснее от этого света.

— Молю тебя, скажи мне, кто ты? — спросил Авраам. В эту минуту увидел Баланцев, как с противоположной стороны, как шарик, оторвавшийся от горизонта, катилась прямо на Авраама черная тень; и рос этот черный шарик и свет от него густой темный был, так темен и так ядовит — всякий свет померкал.

А вот из черной тени выступило лицо человеческое — это был единственный человек, обиженный другом Божьим, единственный обойденный на земле Авраамом — и у друга Божьего нашелся такой! — и вот явился на судный зов. Он стал за спиной смерти. И тень от него упала на смерть. И изменила лицо ее из красоты в плач. И человек этот рос, покрывая тенью всю землю — и смерть и Авраама. Это был великан — единственный обойденный на обойденной земле в мире гроз и бурь, тревоги и неутоленности.

«Помогите, поддержите, доложите правлению!»

5.

Тимофеев хотел устроить жизнь свою так, — чтобы было все ровно и гладко.

Сначала-то думалось ему, что у всех идет жизнь и ровно и гладко, и только у него не по-людски: и отец, и мать, и все, кто их окружает, необыкновенно счастливые люди.

Так всегда думается, будто другому легче, а этот другой на тебя косится с завистью: вот, мол, какой счастливец!

Ну, а по правде-то, разве кому легко?

И раз навсегда можно было бы отрешиться от мысли сделать свою жизнь и жизнь других на земле ровной и гладкой.

Сама земля не легка!

Но мало ли, что нужно!

Тимофеев хотел устроить жизнь свою так, — чтобы было все ровно и гладко.

То же самое хотел и отец и дед его, и деда его дед, — до Адама, все Тимофеевы.

И ему казалось, что это совсем легко достижимо, — стоит лишь устранить кое-что чисто внешнее, что постоянно мешало и отцу его и деду и деда его деду — до Адама, всем Тимофеевым.

И такое его решение устроить жизнь свою тимофеевскую по-своему пришло к нему на распутье его лет.

Отец Тимофеева фабрикант — известный человек в деловых кругах. Средства у Тимофеевых были очень большие.

Но жизнь отца, и это уж скоро стало заметно, шла далеко не так, как хотелось старику. С каждым годом отец становился беспокойнее: выгода от дела явственно возрастала, но с ростом выгоды убывал покой.

И чем дальше, тем чаще повторялся один беспокойный припев, что нет надежных людей и некому поверить: — в пустыках обманут!

А казалось бы, как раз наоборот: слишком много людей, на кого можно было положиться и поверить.

И Тимофеев, тогда еще совсем юный, гимназистом, объяснил себе беспокойство отца тем, что люди, среди которых ищет отец веры, совсем ее не заслуживают, — потому что сами ищут выгоды от отцовско-

го дела и подхалимничают и льстят, а случись беда, первые и покинули бы отца.

Это чуял отец и беспокоился.

А почему отец окружил себя именно только такими людьми?

Да очень просто: просто потому, что отцовское выгодное дело при­тягивало именно таких.

А позорче-то взглянуть, выйдет, что, ревниво ограничивая круг своих помощников, отец дал маху: ведь на его стороне было огромное большинство — весь строй жизни держался его делом! — и выбрать можно было не за страх и из выгоды, а за совесть.

Фабрики и торговля, которые были в руках Тимофеевых, это ли не ось, на которой обращается весь наш машинный день — горький хлеб наш насущный?

*

И по мере раздумывания о жизни отца, Тимофееву, тогда еще совсем юному гимназисту, не представлялась жизнь отца той жизнью, какую он избрал бы себе: прежде всего, в ней не было, несмотря на всякие материальные условия, самого главного — ни ровности, ни глади, а одна тревога и беспокойство.

И из-за чего было отцу так стараться? — из кожи ведь лез со своими делами!

Из-за самого дела?

Да, конечно, ход самого дела — искусство делать дела — вот что веселило отца, и отними у него это дело, он потерялся бы: спился бы или еще как, все равно, пропал бы, — без своего дела он не мог и дня прожить!

Так сам он не говорил никогда, он ссылался обыкновенно на семью, — будто все заботы его — все дело его — ради семьи.

А было ли от этого в самой основе жизни в душе легче семье и покойней?

И не легче ли было бы всем, если бы отец так не старался и не беспокоился.

Но отцу не приходило в голову об этом спросить себя.

Он нисколько не сомневался, что положение его и средства, которые он добывает своим делом, укрепляют семью, — без него, без его дела все бы пропало!

А между тем всякие болезни и напасти приходили так же, как и к другим, менее обеспеченным, и хотя в доме у них всего было вдоволь, да и про черный день запасено, охи и ахи были нисколько не меньше, чем в фабричных корпусах, где жили тимофеевские рабочие.

Отец часто говорил, что своим делом он дает жить семье, как живут все порядочные люди, а кроме того, дает заработок очень многим, которые без него просто пошли бы по миру побираться.

И никогда-то не усумнился: подлинно ли хорошо и достойно живут все эти «порядочные люди»? как никогда не сказал себе: правильно ли то его дело, которое дает заработок? и не лучше ли было бы для всех, кому дает он заработок, очутиться безо всего и идти по миру или искать совсем другое дело?

Для отца была установившаяся жизнь нерушимой, строй жизни

незыблемым, и другой жизни, другого строя жизни он и не представлял, да никогда и не задумывался.

И жил по-заведенному, воротил большими делами, с одной мыслью исконной тимофеевской — чтобы все шло ровно и гладко.

И никогда-то не бывало при всех успехах его дела ни ровности, ни глади.

— А потому, — сказал тогда себе Тимофеев, еще мальчиком-гимназистом, — что живет отец не по правде.

А что же такое надо было устранить из отцовской жизни, чтобы началась жизнь по правде?

*

Ради семьи отдавал отец большую половину своих стараний и, расширяя свое дело, он имел в виду в своем деловом глазе пользу не только своего дома, а и того огромного торгового дома, который называется Россией, а Россия — часть еще большего дома — мира.

И ни разу не спросил он себя: хорошо ли для России его хозяйственные дела — строй его дел, а стало быть, и тому огромному большому торговому дому — миру строй хозяйственных домов — строй государств, из которых слагался мир?

И никогда не задумывался: цвет его хозяйственного дела, все то, что называется культурой, подлинно ли необходимо России и миру и ведет мир к расцвету духа, а не к разложению духа, оскотению человека?

Тимофеев, тогда еще совсем юный, верил в силу достигнутой человечеством культуры и не сомневался, что делание житейского дела — мировое человеческое хозяйство — укрепляет мир и ведет мир к благу, а человека к совершенствованию и очеловечению.

Ему казалось тогда неправильным не самое дело, а строй делания, путь дела, и из неправильности пути выводил он и беспокойство и тревогу дельцов — людей, которые хозяйничали на земле и застраивали землю.

Люди, если бы избрали себе иной путь жизни, достигли бы гораздо большего и в смысле удобства жизни и в смысле покоя: устранился бы целый ряд житейских несчастий, неизменно сопутствующих принятому и несомненному для отца строю и укладу хозяйственной жизни — изнурительный труд, проголодь и болезни одних, и излишества и опять болезни других.

Если бы отец его отдал рабочим фабрики, то дело пошло бы совсем по-другому: рабочие, пользуясь прибылями, какие с излишком идут в один карман отцу, устроили бы свой обиход удобнее и жизнь свою сноснее.

Если бы отец точно так же разделял и свои доходы от земли между теми крестьянами, которые работали на его земле, то всем бы жилось куда лучше.

И, прежде всего, всегда озабоченный отец не беспокоился бы так.

Стало быть, всю неправду отцовской жизни видел тогда Тимофеев не в неправде самого дела, а в способе ведения этого дела.

И распространял свой суд с отцовского дела на всю деловую Россию, а по России и на весь деловой мир.

Тимофеев был убежден тогда: совершись так по его суду, и устра-

нилось бы множество бед и несчастий, и пошла бы в мире ровь и гладь, по крайней мере, та ровь и гладь, какая зависит от человека.

В беспокойном тогдашнем питании его и несмирении его перед сложившейся жизнью сказалось в пробуждавшейся душе его исконное человеческое искание г р а д а г р я д у щ е г о.

И ответ был найден.

— Чтобы по правде шла жизнь, — сказал себе тогда Тимофеев, — надо переделать самый строй жизни.

Он не знал еще, что люди плохи — бесовственны и подлы, если прикинуть к человеку божескую мерку, веруя в силу Божию, нечеловеческую, а затем еще люди и глупы, если судить их судом от безбожного свободного разума, и очень часто что выгодно и что невыгодно, они плохо различают, а оттого и хорошее — шатко: хорошо все то, что ближе к носу.

Он не знал, что при человеческой плохости и глупости и самый справедливый строй жизни ничего не поделает — не облегчит человеку жизнь и не поможет в беде.

Это он увидит лишь впоследствии и все-таки найдет для себя лазейку вынести жизнь, но уж без всякой надежды на ровность и гладкость.

Он поймет: искать в жизни ровности и глади дело пустое и бессмысленное, потому что сама жизнь-то в самом существе своем не ровна и не может быть ровной, и никакой нет и не может быть глади по самому движению жизни.

*

Мать при всей обеспеченности их и богатстве была до скряжничества расчетлива.

С самого детства он только и слышал всякие рассуждения ее: что выгодно и как выгоднее?

А все эти свои мелочные расчеты она оправдывала заботами о семье или, как она сама говорила: в виду всяких случайностей!

Эти случайности могут в один прекрасный день разорить их и тогда не будет, в черный-то день, чем семье прожить.

И эти предусмотрительные и скарედные рассуждения, а они повторялись изо дня в день, нестерпимо было слушать.

И хотелось наперекор здравому и дальновидному промышленнику просто швырнуть в печку без счета и разбору те выгаданные и урваные копейки, какие от расчетливых расходов собирались у матери в рубли и целые сотни — «ввиду всяких случайностей про черный день!»

Находились сочувствующие, — искренно или подлачиваясь, не разобрать было, — очень они одобряли мать и ставили в пример.

Но бывало подтрунивали и явно насмехались — и такими оказывались, по положению своему стояли вровень и даже выше Тимофеевых.

Да и как было не смеяться!

Жизнь в доме шла серо, безрадостно: расчет караулил каждый час и все придушивал.

А ведь могли бы при таких больших средствах сделать домашнюю жизнь какой нарядной и праздничною. А вот подишь ты!

Всегда озабоченная, в старом, заплатанном, всегда дома со своими безрадостными расчетами и настороже, — такой видел он мать, такой она и осталась в его памяти на всю жизнь.

После уж, много спустя, узнал он: те самые деньги, которые мать выгадывала, все эти копейки, из которых составлялись рубли и сотни «ввиду всяких случайностей про черный день», ни на какой черный день она и не думала копить, как уверены были кто видел ее всегда озабоченной, нет, совсем не то: все, что собирала мать, все до копейки отдавала тайно бедноте горемычной.

По долгу совести.

От жалостливого сердца.

От своей совестливости.

Так объяснили ему те, кому помогала мать всю свою безрадостную жизнь.

И пораженный он спросил себя:

Неужто ж долг этот совести такой ужасный?

И понял: совестливость это такая страшная сила, сильнее, пожалуй, и самой корыстности, и может совсем оголить человека.

Чуя всем существом своим, как непосильно человеку божеское по высоте своей и — жестокости, видя единственное спасение в человеческом — в милосердии, он понял откуда оно: да только от совестливости!

Матери уж не было в живых.

И ему оставалось одно: идти на могилу просить простить его — по неведению и недогадливости осуждал ее.

*

Жизнь в доме, какую привык Тимофеев видеть с детства, его не прельщала.

И с возрастом он решил ступить на свой путь — по-другому начать жизнь, — в конце которой ровь и гладь.

И эта ровь и гладь жизни представлялась ему не в лежебокости, не в плевании в потолок, нет, совсем, совсем нет: он отрекается от ненужных тревог отца и забот матери, он берет другую тревогу и другую заботу, — безукорно.

Будущее, какое готовилось ему и по воспитанию его и по состоянию Тимофеевых, было в смысле всяких удобств и власти, очень большое: он предназначался для отцовских дел вместе со своим братом.

Все, чему завидуют люди, — деньги и положение, все это было перед ним, стоило ему только, нисколько не раздумывая, пойти по указанной отцовской дорожке.

А он все сжег и пошел по-своему.

6.

С первого шага своей самостоятельной жизни Тимофеев встретил на пути препятствие.

И там, где искал он ровности, оказалось, нет и не было никакой.

Правда, говорится в сказании о льве и старце: — и уж если человек примется очень стараться, жди беды, а зверь неразумный — и подавно.

И если лев, опекая коня, довел коня свирепостью своего вида и подозрительностью до вопиющего ропота и отчаяния — лев, за вынутую старцем занозу, служа старцу, сопровождал коня, когда несчастный конь старцу воду возил, — глупый, старательный человек, охраняющий заветы, может довести другого — «коня!» — до полной безнадёжности, коню старцеву позавидуешь!

Тимофеев, найдя жизнь отцовскую несправедливой, стесняющей жизнь других, положил устроить свою жизнь, — чтобы от его деятельности не только никому не было стеснения или принуждения, а было бы всякому легко и свободно.

И он не сомневался, что может облегчить трудную жизнь, которую видел вокруг себя.

Нелегкая потащила его за границу: там за рубежом найдет он указания, как сделать так, чтобы из его деятельности была польза всем страждущим, трудникам жизни.

Есть великие призывы человека о царстве человеческом на земле — большие кличи к человеку о человеке, о его царстве и его воле и о его свободе, и на эти призывы и кличи идут не только одаренные, но и летит мошकारа. И мошकारа по ничтожному свойству своему опорочивает и умаляет их.

И всякий, кто вздумал бы судить по призыву обо всех откликнувшихся на него, глубоко ошибется, как и тот, кто в мошकारе начал бы суд о призыве.

*

Тимофеев поехал за границу и само собой в Швейцарию: хотелось поскорее всему научиться, — а где как не в Швейцарии найдет он и товарищей и учителей!

Большая была тогда у него горячка.

И когда после уж спросит он себя, что питало эту горячность его тогдашнюю швейцарскую, он ответит: только жалость, только сердце, и никакие рассуждения.

Всякие рассуждения его — вся работа мысли его только выговаривала тихие шопоты сердца.

А сердце горело жалостью.

Ему просто совестно было перед другими, кто жил хуже его. И чтобы успокоить совесть, он и стал рассуждать о легкости и гладкости жизни и, наконец, принял решение отказаться от всех отцовских благ и выйти в мир свободным — безо всего.

Не взяв от отца ни копейки, с грошами, скопленными на уроках, поехал он прямо в Цюрих.

*

Тимофеев приехал в Цюрих с такими чаяниями и с такой открытостью — на все готов!

Все дни он просиживал в русской читальне и все, что было запрещенного или чего трудно было достать в России, все, кажется перечитал до последнего листка.

И как жил он, полуголодный, почти без сна — чтобы только все узнать и начать дело!

Понемногу завязались знакомства. Но близко ни с кем не сошелся: самый младший — все были старше его.

Цюрих — сущее кладбище, и, когда зарядит дождь, тишина там наверху такая! — только часы звонят.

Сначала-то он часов и не заметил, но потом, когда добрую половину загреб литературы да изголодался, и слышит: часы — звонят! Как на кладбище.

И напала на него тоскущая тоска . . .

Кажется, все бы отдал, только бы — назад в Россию.

Но как же так ехать с пустыми руками?

Тут нашелся один — печальный человек — Мушкин.

Из всех этот Мушкин один отнесся к нему душевно и вызвался помочь: будет с чем ему в Россию ехать!

И действительно: за четвертной принесли к нему сундук — не простой, — двудонный сундук и стенки двойные, и все так чисто сделано, никому и в голову не придет и никто не схватится, что и пустой сундук, а полон добра — «литературы» во сколько!

Теперь можно и в Россию ехать — не стыдно.

Вот он какой Мушкин — добрый человек и внимательный.

На Мушкина смотрел Тимофеев как на благодетеля своего, не знал чем и отблагодарить.

А Мушкин — добрый человек, печальный человек еще душевнее стал: повел Цюрих показывать — все в читальне, за книгой, один-то ни разу и не спускался в город — зашли в кафэ, выпили испанского и с колбасой испанской.

Мушкин попросил займы — до зарезу! через неделю обязательно!

Ну, как тут быть, отказать невозможно: Тимофеев все, что было у него, все и отдал.

Так пустяки оставил себе — как-нибудь обойдется, на неделю хватит.

А больше приятеля и не видел: слышал, уехал Мушкин в Женеву.

Прошла неделя, — нет и нет: забыл видно.

Тимофееву уезжать надо — сундук стоит — единственное добро — ждет: пора, пора! А не то, что на билет, за комнату нечем заплатить.

Ну, как тут быть, не хорошо, а пришлось сказать.

Сжалилась учительница Судакова, бывалый человек из Москвы, попеняла она Тимофееву — оказывается, Мушкину в деньгах давно уж никто не верит, и это всем известно, и не впервой такое! — дала денег на дорогу, добрая душа!

На радостях забыл Тимофеев все свои голодные мытарства, забрал сундук — слава Богу! — и в Россию.

И благополучно границу переехал — сберег сундук, единственное добро свое, тяжелый такой, а на глаз пустой.

И прямо в Москву.

*

Приехал Тимофеев в Москву, а что ему дальше делать, и не знает.

Дал Мушкин адрес — к кому в Москве обратиться сундук использовать, да раньше осени того человека в Москве не будет.

Тимофеев жил в Москве, и одна была дума: дожидаться ему поскорее того человека, знакомого Мушкина, и начать делать.

Как-то в самом начале осени встречается он Судакову и очень ей обрадовался и все рассказал, как сундук перевез через границу и как ждет теперь свидания, которое решит это дело.

Холодно слушала его Судакова, неприветливо — он сразу это заметил, а все стоял и, проговорив свое — за месяц в Москве он ни с кем слова не сказал! — ждал уверенный, что и на этот раз, как там в Цюрихе, она поможет ему: она укажет, к кому обратиться.

Ответ Судаковой был совсем неожиданный, и не сразу ответила она ему, а он стоял, ждал — Тимофееву никуда не надо ходить, ни по каким адресам — вот какой был ответ — все равно никто его не примет, — потому что ему не доверяют.

— Зачем вы Стрелкову записали фамилии эмигрантов, вообще лиц, к которым, по вашему мнению, следует обращаться за указаниями?

Тимофеев вспомнил студента Стрелкова, — неприкаянный, растерянный, шатался этот Стрелков по Цюриху, — раза два зашел к нему — единственный гость.

— Ничего подобного, ничего я не записывал!

— Да как же так? Стрелкова спросили, откуда он всех знает, он указал на вас и листочек показывал с записями, — горячилась Судакова, — нет, никого вам не надо разыскивать, бесполезно, и не трудитесь.

Тимофеев не нашелся, чего и сказать: правда, Стрелкову он рассказывал о Мушкине, когда без денег-то остался и не знал, что и делать, а больше ничего, ни про кого.

А то, что бродило в душе его там, в кладбищенском Цюрихе, чего он не смел сказать себе там, вдруг ясно сказалось: это о мошкаре, от которой ничем не отобьешься и которая всюду проникнет.

И в первые жестокие минуты свои он чувствовал себя, как ошпаренный.

И хотя со временем все и улеглось, чувство отстраненности сохранилось у него на всю жизнь.

И остался он один и с ним его сундук двухдонный да раскаленное сердце.

Из Москвы Тимофеев никуда не уехал, просто не знал — куда.

И еще раз привелось ему встретить Судакову.

Столкнулся на Тверском бульваре и так оробел, таким виноватым почувствовал себя, словно бы и в самом деле в чем таком провинился, и вот все двери затворили перед ним.

Откуда это появилось у него, такое чувство оробелое и виновное, и сам не мог бы сказать себе, но и впоследствии всякую клевету принимал так, будто и на самом деле кругом виноват.

А Судакова на этот раз куда была приветливее, ну как там в Цюрихе, когда сжалилась над ним и выручила.

— Знаете, действительно, вышло недоразумение: вас зря обвинили. Вернулся Кашин и все объяснил — это Стрелков путаник, он и вас запутал.

И теперь, когда все выяснилось, казалось бы, может Тимофеев

идти по указанному адресу к тому самому человеку, который его и направит.

Нет, все равно, ходить ему никуда не надо.

— Вы из такой буржуазной семьи, — неожиданно объяснила Судакова, — и родственники у вас такие! нет, пока никуда не ходите.

И, казалось бы, такой ответ просто должен был убить Тимофеева, а его нисколько не тронуло: за все свои московские дни он сжился со своей отстраненностью и ничего уж другого не ждал.

*

Помнит он, как прожил эти последние дни в Москве. В душе кипело, но еще ничего не сказалось, и чувство, охватившее его тогда, не выговорило своего последнего слова.

Шел он так поздним вечером — чуть только снежок выпал и таял — и нахлынуло на его душу широкое, темное, как сама талая ночь.

Помнит, как чего-то остановился он на Полуярославском мосту — деревянный такой мостишко через Язуу у бань.

И казалось ему, один он был на целом свете, а с ним темное небо, земля, покрытая легким снегом, да почерневая Язуа.

И в этой его одинокости перед лицом неба и земли сказалось вдруг из всех чувств его и из всех мыслей его слово — и это слово решило всю его жизнь.

Не взял он никакой литературы, никаких листков из своего драгоценного цюрихского сундука, оставил сундук — не надо ему никакой памяти! — и поехал в родные края, не к отцу, по соседству.

И там поступил на завод к Бойцову.

7.

В тот последний прощальный вечер, когда стоял Тимофеев на Полуярославском мосту и из раскаленных чувств его мыслей вышло слово — в этом решающем слове все сказалось, как ему быть.

Будет жить он простым человеком незаметным, незаметно с такими же, как он, которых больше, чем полмира и, вынося весь труд и лишения, отдаст все свои силы облегчить трудную жизнь.

Тогда-то и сказал он себе о высоте и жестокости божеской в противоположность милосердию человеческому с прощением и смирением.

Жизнь его у Бойцова была не легкая.

Жар и сталь машинная — вы видели заводы с кирпичными красными трубами, и эту угольную плешь далеко вокруг, холодный блеск стекол в корпусах, масляный жар, сталь и стук колес . . .

Колеса, масло и жар, как городские камни, завладевают душой человека — без них не надо жизни, но и какая жгучая тоска о земле с тишиной ее трав и чистотой чистых полей!

Тимофеев, сидя в заводской конторе, проводил целые дни под грохот и шум машин и масляный шмыг ремней.

Жизнь была у всех темная — работали до одури, ели да пили.

У всякого была одна одинокая мысль: так чтоб устроиться, чтобы получать побольше, а делать поменьше: работа давила.

И не было в сущности никакой другой жизни, как пить и есть — и на это и уходил тот малый досуг, какой выпадал от обузной работы.

И когда вспыхнул бунт — и вышли рабочие из корпусов и пошли к Бойцову дому — лиц не видно было, и одни ноги, — большие пальцы, закорузлые и измученные, и один голос, — этот голос, как ременный шмыг.

Тимофеев знал каждого рабочего в отдельности, с каждым приходилось ему иметь дело по всяким расчетам — ни одна получка не могла обойтись без него — каждый в отдельности был очень жалок и в лице у каждого была тягота, но когда вышли все вместе, никакое лица не осталось — одни большие закорузлые пальцы в вихре ремней и колес.

А когда все улеглось, и все стали на работу, и пошла заводская жизнь по-старому, он опять увидел каждого в отдельности, и была у каждого большая жалоба в глазах, перемигающая в ненависть и нечеловеческую покорность.

И какие нужны были средства — нет, он больше не верил в цюрихскую свою науку! — что надо, чтобы подняло самый дух жизни?

8.

Тимофеев женился рано.

А когда стала подрастать дочь, жена померла.

И остался он с Машей да со своей тяжелой думой и покорностью.

Однажды он повез Машу показать родные места.

Ни отца, ни матери не было уже в живых. А с братом, которому перешло все большое отцовское дело, как-то не сладилось: некогда тому было за делами!

Повел он Машу на кладбище, рассказал ей о ее бабушке...

И вернуть не вернешь и ничего не поправишь.

Грустно вернулись домой.

*

Выросла Маша — своя у нее жизнь началась. Кончила гимназию, на курсы поехала в Петербург. А вскоре и он за ней в Петербург переехал.

Перевод от Бойцова в Страховую контору совершился для Тимофеева неожиданно.

Когда Маша уехала на курсы, заскучал он один и задумал хоть куда-нибудь поступить, только бы поближе — о Петербурге он и не мечтал.

Случай сделал самое неожиданное.

В командировку по ревизии страховых отделений послан был из Петербурга инспектор Комаров. Познакомился Комаров с Тимофеевым на заводе, разговорились, понравился ему Тимофеев.

Так и попал Тимофеев в Петербург, совершенно случайно и неожиданно занял большое место.

*

Тимофеев в своем бухгалтерском отличался особенным старанием: книги велись в образцовом порядке и представляли дело со всей ясностью — сразу все увидишь как на ладошке.

А в этом большое искусство! — бухгалтерия есть искусство!

Правление с первого же отчета осталось Тимофеевым очень довольным.

А для самого-то Тимофеева большое было горе.

Петербург был его мечтою. И когда представился случай уйти с завода, оказалось не так-то просто. И сколько он перемучился перед тем, как заявить о своем решении — Бойцов слышать не хотел! — и все-таки при всей своей уступчивости настоял-таки на своем и уехал в Петербург.

И что же оказалось?

В Петербурге он садился на живое место.

Помощник бухгалтера Копорев, исправлявший должность бухгалтера, имел все права на это место, и вот Копорева обошли и посадили Тимофеева.

Какими глазами смотрел на него обойденный Копорев!

Да и вся бухгалтерия — старые служащие сразу же настроились враждебно.

Тимофеев ни сном, ни духом не знал, что есть на свете такой Копорев, и этот Копорев метит на освободившееся место бухгалтера. Сам Тимофеев места бухгалтера не добивался и охотно согласился бы на меньшее и уж никак не думал перебивать у кого-нибудь место.

Но об этом никто не думал, и только видели в Тимофееве не своего, а поставленного правлением, — потаковника начальства, пролазу.

Пробовал Тимофеев объяснить.

И все объяснения его мало чему помогли.

И только постепенно сгладилось.

А впоследствии, когда и сам Тимофеев полетел с места, только тогда примирились.

Но тогда и мир ни к чему.

Начало петербургское бухгалтерское, как обухом ударило. Тимофеев как-то вдруг схрюкнул весь.

9.

За бойцовскую фабричную службу с бедовой думой о человеческой непоправимой страде вскрылась в его сердце острейшая жалость к человеку.

Всякая малейшая уступка тяготила его; ему постоянно казалось, что он тяготит других.

Острейшую жалость чувствовал он особенно к детям и особенно к больным детям: все бы, кажется, сделал, чтобы только помочь.

И всегда Маше рассказывал и, вспоминая, мучился жалостливой этой своей болью.

Жалко ему было Баланцева, когда узнал он всю беду его, и до такой жалости, просто и словами не выскажешь, изнывающей.

И больных животных ему было жалко и вообще животных, потому что они никак не могли пожаловаться и терпели молча.

А когда оставался он один, и судя себя и разбираясь в других — в мире живом, жалость наполняла его сердце безмерная: видел он мучимых — было их не перечесть! — бедою замученных — кто им даст утешение? кто уймёт тоску и скорбь покинутости и обойденности? кто остановит их плач беззвучный, неотпускающий?

Видел оборванных, дрожащих от холода — и одеться было не во что!

Видел голодных — есть было нечего!

Видел обиженных — ни за что, ни про что — и не было кому заступиться! видел оклеветанных — кто успокоит, чем утешить?

Тьма застилала глаза — это стоны человеческие, мычания и рев животных, крик птиц, шип раненой змеи, хруст камня, гул земли и трепет звездный, горечь мира всего.

Тьма застилала глаза . . .

Острейшая боль от боли и горя раскалывала сердце.

И однажды он пошел, стал на Знаменской площади в самой толчее трамвайной и автомобильной.

И сказал от всего своего безопорного расколотого сердца:

— Пусть падет на меня вся мука, на все готов, все перенесу, только б им не мучиться!

10.

Как давно это было, когда мечтал Тимофеев устроить свою жизнь ровно и гладко!

Как давно это, как стоял он в Москве на Полуярославском мосту, весь вскрыленный талой ноябрьской ночью и решал свою судьбу.

Жизнь его многому учила . . .

Или нельзя уж ничем переделать человека?

Сколько обманывали его, сколько всяких проходимцев ловко окручивали его, дурака!

Достаточно было ласкового слова, а может, просто хитро выговоренное, чтобы он поверил в самое искреннее и чистейшее чувство.

— Ведь над тобою же смеются! Тебе всегда все кажется! — часто говорила Маша, когда принимался он уверять ее, как хорошо все к нему относятся и как его все любят.

А по правде только одна Маша и любила его по-настоящему.

А любить по-настоящему, значит, любить не для себя, не для своей какой-то выгоды, а только для того, кого любишь.

Когда Маша после своего иступленного отчаяния иступленно винулась, она повторяла, жалея:

— Папочка, одно мне страшно, — как ты без меня жить останешься! Затопчут тебя.

А когда что-нибудь выходило у него или очень смешно или чересчур несуразно, он говорил Маше, смеясь над собой:

— Вот погляжу на людей, и все какие-то настоящие . . .

— Это ничего, — смеялась и Маша, — ты на настоящего совсем не похож, но это ничего.

Да, когда-то он все сжег и вышел в жизнь — вольной нищеты, да, совсем не как настоящие люди, и устроил себе дом с горчайшей жалостью и нашел в этой жалости мир.

И вот дом его загорелся.

И весь мир, какой был в душе его, кончился.

Не то, что полетел он с места — на его место сел счастливый Копорев, обиженный, обойденный когда-то правлением — нет, не это, а беда, случившаяся с Машей, подожгла дом и унесла всякий мир.

Чепуха

— вселенская чепуха —

I.

Русская «чепуха» выговорилось у Чехова, как латинское *Чепуха* и обернулось — и уж не просто *Чепуха*, а чепуха вселенская — вздор, обман, ложь, призраки, морок, неразбериха, бестолочь, чушь.

«Чепуха» — рефрен раздумий Чехова над жизнью, — чепуха, чепуховина — чепушница.



Моя далекая память — 80-тые годы — время Чехова — Москва. Святки. В Манеже на Моховой елка — «народное гуляние». От входа — стены в елках. И в этом елочном царстве они кажутся кустами можжевельника перед дремучей елью, украшенной серебряными шарами — снизу с яблоко, а к звезде мерцающий горох. Елка не московский обычай — проходят, не задерживаясь, и видны только детские пальчики. Толпятся при входе около непомерной *Коровы* и по другую сторону от елки, у столбов. Мастеровые, фабричные, мелкие служащие, прислуга — не елка, а круг елки диковинки. При входе *Корова* и столбы к эстрадам, где поют малороссийские песни, пляшут и разыгрываются смешные сцены — еврейские и армянские. Три гладких столба, точеные, без мыла никак, а лезут. На среднем, выше соседних, блестит самовар; на другом сапоги, — голенищами на хват, — видна только одна, с левого оборвана — говорят, маляр с Болота, свой под куполами, добрался до сапогов, да, ухватясь за голенища, оборвал и полетел вниз — со счастьем в руках убился насмерть. А на другом столбе — гармонья, раздвинута — некуда, сама заиграет, бери в обе лапы.

Ни на гармонью, ни на самовар никому нет счастья.

К *Корове* за народом неподступно. И только упорство моего любопытства — я пролез и всё вижу.

Корова — обыкновенная рыжуха, и на картинках такие рисуют, но по размеру и рога — слона забодает. Надо влезть в *Корову* и по мягкому «вареному» языку проникнуть в пищевод, спускаться, как в анатомии, сначала в желудок, потом по лабиринту кишек, и по прямой кишке вылезть под хвостом на свободу. Около хвоста столик — полдюжины рыжего трехгорного и пивная закуска; раки, снетки и соленые сухарки — победителю награда. Редко кому удается одолеть анатомию, и залежавшиеся раки скучают. *Корова* обыкновенно выблевывает отважных путешественников. Запутавшиеся в кишках или очумелые в темя желудка выпячиваются раком, и из морды, то и дело дрыгая, высовываются ноги.

Мне посчастливилось — на моих глазах из-под *коровьего* хвоста показалась взбученная образина с живыми ссадинами, а за ней кумачные клочья разодран-

ной рубахи. Каким восторгом встречен был победитель: имя сапожного подмастерья с Пятницкой — Филиппок станет самым громким в Москве. В разодранной рубахе, подергиваясь, в прилипших портках, щерясь во всю рожу, он по-детски пальцем протирает глаза; ему было не до пива, не до подарков, и только дух пестрести.

На эстраде раешник, наряженный во фрак и модные лакированные бронзовые ботинки, подплясывая, безнадежно выговаривал (его масляный голос с насмешливой ржавью на весь манеж):

Чепуха, чепуха,
 Это просто враки.
 Чорт намазал мелом нос,
 Напомадил руки,
 И из погребца принес
 Жареные брюки.

«Чепуха» — припев Чеховских раздумий над жизнью и судьбой человека — свирель с немудреным ладом, наигрывающим чепуху — пропад человека и гибель мира.

«Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые низкие ноты почему-то напоминали туманы, унылые деревья, серое небо. Пропадет всё не за грош, а пуще всего людей жалко». («Свирель»).

2.

Явление жизни — обреченность: цвела и отцветает. Цвет жизни — смех — сказка слово — песня.

Проходит жизнь, спутники живого — беды, напасти, грех — совесть и механизм дней — чепуха.

Не распаленными глазами демона, выгнанного на землю, не Гоголем посмотрел Чехов на чепушную мир, а глазами любопытного замечательного человека, и не гоголевским резким сквозящим смехом отозвался на кавардак, уродство твари Божьей, — добродушный легкий смех вызвала в нем чепуха, и чепуха повернулась лицом чепуховины.

Какой чепуховиной разыгрывается чепуха человеческих дел и желаний души жизни!

Чехов блистает чепуховиной. Первые рассказы Чехова неуваждаемы. Когда я читал, я превращался в Поплавского («Оратор»), и было мне море по колено.

*

На «чепуховине» не разгуляешься. Чепуха (Чепуха) кусается. Веселость духа развеялась и смех погас. Чепуха не ляпка, а зубом — вор, мошенник, обманщик, мерзавец, — не до смеха.

Из веселого забавника Чехов превращается в резонёра. Постарался Григорович: Григорович раздул пламя Достоевского и погасил веселый огонек Чехова.

Характеристика столпов и устоев чепушиного общества не уступает гоголевскому Собакевичу. Достается и самому укладу жизни: «Моя жизнь», «Записки неизвестного», «Дуэль». Праздность, болтливые успокоительные полумеры («Дом с мезонином»).

Его обличения — отголосок от Кантемира, Фонвизина, Грибоедова, Салтыкова и «Абличителей» Курочкина и Буки-ба. Стародум, Штольц — недаром герой «Дуэли» — фон-Корен.

И все его революционные обличения никого не трогают. Это всё равно, как, почесывая брюшко, кот ругают: мерзавец, плут, лежебока.

На революционные обличения революционеры не отозвались. «Кладбищенство». Чехов — безыдейный писатель. «Нытик». Что означает: никакой политической программы. (Эка, дурак, сморозил!) Это не Горький — словесное бурение. Правда — «Палата № 6» — тронула Ленина, но не революционностью, а угрожающей чепухой: он вышел по прочтении повести, не мог оставаться в комнате, ему казалось, он заперт в — Палате № 6.*)

Чехов свой у «либералов», среди обличаемой им «середины».

Я объясняю его необыкновенной деликатностью, ведь только раз сорвалось с гневом: «Соломон, сжегший деньги, свое наследство» («Степь»).

*

Однажды лето я прожил под одним кровом с братом Чехова Иваном Павловичем. Говорили, кто знал Чехова, о необыкновенном сходстве братьев. Конечно, брат, как и однофамилец, не мера, но порода скажется: наше соседство было мне никак не тягостно — всегда внимательный, предупредительный и деликатный. Иван Павлович учитель. Я подумал: учитель — ошибки — как возможно не сердиться? А Чехов — врач — и у кого еще так выговорится: «Един Ты еси без греха».

Отсюда его «человечность» — суд надчеловеческий: «обвинить никого нельзя» («Враги»), и решение судьи не бесстрастное и безразличное: «проходи дальше», а участливое, жалость и сострадание. Теплота глаз, его голоса — слова («Анюта», «Хористка», «Трагик»). По таким глазам — мир детей и безгрешное звериное. Чертовому сухарю не под руку. О детях — «Степь», «Страстная неделя», «Житейская мелочь», «Беглец», «Спать хочется», «Происшествие». А о зверях — «Каштанка», «Белолобый» (Волчица и щенок), «Нахлебники». И мне стало понятно, почему все чеховские обличения никак не трогают — больного не упрекают, на больного не кричат.

Немощи человека, боль и терпение приближают к Богу («Мороз»). «Добрых больше, чем злых» («На пути»).

*

«Чепуха» — кавардак и бестолочь — душа жизни. И даже беда не исключение: несчастье не соединяет, несчастные друг другу враги («Враги»).

«Чехов не сказочник, но сказка для него не закрыта («Степь», «Счастье»). Чудесное для него лишь больное воображение.

Огромное здание Рениксы (Renyxa) — заколоченные окна и двери.

На долю Чехова — маниловские эмпирии. И Чехов Маниловым парит: люди бросят эти фабрики, амбары, канцелярии и куда-то уйдут, на их смену явятся другие и другой породы, и всё пойдет по-другому, и законом не будет чепуха.

«Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть». («Случай из практики»). Чехов верил в человека («Рассказ старшего садовника»).

*) А. И. Ульянова-Елизарова. «Воспоминания о Ильиче». Москва, 1934 г.

3.

На Чехове с ума не сходят, сказать «зачитался» — к Чехову никак. Рассказ искусно отточен, не ухватить выдрать слова, пустых мест нету, но и нет дразнящих мыслей.

Всё завершается на глазах в привычной обстановке и круге прописных чувств, ни тайн, ни изворотов. Задумываться не над чем.

Для нетребовательного или измученного загадками — Чехов как раз. Читать Чехова, что чай пить, никогда не наскучит.

Оттого может так и спокойно. Чехова будут читать и перечитывать.

Комнатные рассказы Чехова, как будто не было ни Гоголя, ни Достоевского, ни Толстого, ни Тургенева.

Документальность: сад в «Черном монахе», «Амбар» («Галантерея») в «Три года», «Фабрика», «Случай из практики» и в «Бабьем царстве».

4.

Чехову никаких снов не снилось, хотя о снах он поминает («Дуэль»). Мир для него скован Эвклидом, — его мир Реникса, с заколоченными окнами — простая обстановка.

И даже там, при повышенной температуре — где для Гоголя, Достоевского и Толстого пролет в другой мир — для Чехова только галлюцинация по Бюхнеру, Фохту и Малешоту — из образов мысли «больного», возможно с бредовой завитушкой, но ничего нового, никаких «клочков и отрывков» другого мира.

И когда я задумал нарисовать из Чехова, как я рисовал из Гоголя, ничего не нашлось, — «прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками» — этим исчерпывается рисунок.

Этот мир он встретил смехом. Смех погас, начались обличения. Выговорившись, Чехов пустился парить в эмпиреях — все эти разглагольствования о грядущем рае на земле и чепушном мире, да ведь это не только чепуха, а чепуховина, над которой он однажды добродушно смеялся.

Чехов верил в человека.



Умный человек — но где? — чепуха показалась еще чепушнее — неизлечимый больной ищет помощи, а средств никаких облегчить.

Распариваться в эмпиреях — зарাপортуешься. Нет, ни смех, ни риторика — ничего не поправишь («Студент»). Обреченность и гибель — закон существования («Сумерки»).

А заря — радость и правда, но это из эмпирей.

И пусть новые люди установят разумный порядок, и все будет рассчитано и предусмотрено по науке фон-Корена, и водворится на земле радость — «веселая жизнь» и Правда просвещенная «справедливость», но куда девать «тяжелых людей», которые непременно сорвут всякий порядок, и куда девать всех этих навязчивых со своими убеждениями «жаб», «Печенегов» и Пришибеевых, куда девать колдующую любовь, под взглядом которой ерунда получает значение («Хорошие люди») и как быть с перевернутыми словами, когда слышится не то, что говорится, а что ждешь («Брак по расчету»), и чем победить страх — не грозы, не покойников, не привидений, а страх самых обыкновенных уличных звуков, страх своих мыслей, страх жизни, страх неизвестного («Страх»). И как и чем обуздать амурную кувырколлегию, слесвцо Лескова, любовь непокорна и неожиданна —

приходит, не спросит, уйдет, не скажется: — любишь — не любит, разлюбишь — полюблю («Три года»). И куда девать жадных зверовидных баб (Ариадна, Сусанна, Аксинья) и расщепливое скотоподобие («Анна на шее», «Супруга», «Попрыгунья»).

И наступит уже не чепуха, не чепуховина, а чепухенция.

Здание Рениксы — не вижу дверей, окна заколочены — ни туда, ни сюда. И никакая новая порода — никакой разумный порядок в «производстве и распределении», никакие пути не приведут к выходу.

Чепуха — единственный «смысл» жизни.

Все ничтожно, бrenно, призрачно и обманчиво — мираж.

5.

Из пропада песня — этот голос и в скрипки и в виолончели — первородная сияющая боль жизни, от скрипа до белого звука.

Под конец жизни, измаявшись, отзывчивое сердце — да и свое неизлечимое, расставаясь, Реникса нарядилась в весеннее белое — вишневый сад. И горечь расставания зазвучала — вы слышите песню, на мотив из завоинных романсов Чайковского, любимой музыки и церковных песнопений — памятник детства.

«О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда в сад, счастье просыпалось вместе со мной каждое утро и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. Весь, весь белый. О, сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы, опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!» («Вишневый сад»).

Заколдованные двери Рениксы вдруг распахнулись — как на этом свете всё быстро делается («Горе»).

«И идет он по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!» («Архиерей»).

Это случилось 2 июля 1904 года — помер Чехов.

6.

«Что мне кажется прекрасным и что я хотел бы сделать, — это книга ни о чем, книга без всякой внешней опоры, которая держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля, как держится в воздухе земля, ничем не поддерживаемая, книга, которая почти не имела бы сюжета, или, по крайней мере, в которой сюжет был бы невидим, если это возможно». (Из письма Флобера к Луи-зе Колэ, 16 янв. 1852 г.).

Всегда сюжетные рассказы Чехова держатся сомкнутым строем фраз и лишь кое-где ассонансы и подглагольные воденят и ломают линию. В словесной чепухе для Чехова оставалась незыблемой и не вызывала сомнений грамматика — литературно-книжная речь с правилами иностранных заимствований, чем и объясняются размягчающие ассонансы, чуждые движению природной русской речи. Кроме книжной грамматики, Чехов верил в легендарную евангельскую «простоту» Пушкинской прозы, которая на самом деле не больше как перевод с французского. Для достижения этой простоты он употреблял при описании природы штампованные определения и только раз, со своего глаза, сравнил звездное небо с начищенными пятиалтынными — мелкая серебряная монета (15 копеек). А глаза с рыжими копейками.

Его глаза нормальны, пелена Майи плотно сплошь, восприятия ограничены. Всякое отклонение от нормы — чепуха.

Среди художников Семирадский, Левитан, а «детский» рисунок не по нем — чепуха.

«Сережа рисовал людей выше домов и старался передавать карандашом, кроме предметов, и свое ощущение в виде сферических дымчатых пятен, свист в виде спиральной нити. В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом: раскрашивая буквы, всякий раз неизменно звук «Л» красил в желтый цвет, «М» в красный, «А» в черный» («Дома»), — какая чепуха!

Чехов читал Лескова, знает Толстого, Достоевского, Писемского; Ибсена, Владимира Соловьева (Пародии на декадентов), Тургенева, Гончарова, Вельтмана («Саломея»), Болеслава Маркевича, Мельникова-Печерского, Мопассана.

От Гоголя «Тарас Бульба» и от Аксакова — «Степь», от Лесова Печерского — «Бабе царство», от «Соборян» Лескова — «Хорошие люди», от Макса Нордау — «Черный монах», от Горького — «Мужики», «Ворон», «В овраге», а о Слепцове он нигде не упоминает, а если от кого вести Чехова, то именно от Слепцова. Василий Алексеевич Слепцов (1836—1878), основатель первой женской коммуны в Петербурге, секретарь «Современника», ближайший к Чернышевскому, автор «Трудное время», рассказы «Питомка», «Спевка» и провинциальных очерков («Осташково») — словесно и душевным настроением предшественник Чехова.

Как и Чехов, исповедовавший пятикнижие русских нигилистов шестидесятых годов: Бюхнер, Фохт, Малешот, Бокль и Миллер.

Слово игра — пульс слова — Чехов не Гоголь — искусство слова — Чехов не задумывался.

Он знал церковно-славянскую грамоту — ирмосы, кондаки, тропари, икосы, каноны и стихиры на восемь гласов, но имени нашего славянского «леттриста» нигде не поминает: медики и естествоведы в словесные дебри не заглядывают, а между тем и кто еще? Только Чехов дает образ Епифания Премудрого.

*

Епифаний Премудрый (феолог), монах Троице-Сергиевой Лавры (конец XIV — начало XV в.), современник Андрея Рублева, заморозил словоплетением русскую книгу XVI в. Епифаний Премудрый из слов плел венки: слово ему цветы. В его глазах пестрое поле, он брал цветы по цвету на ленту, выговаривая: глаза его голоса были цветные. Или по-ученому: «Плетение словес «Епифания — близкий аналог» плетеного орнамента». «Слово, как таковое, часто теряет здесь свои выразительно-смысловые функции; элементы речи объединяются не столько логической связью, сколько на основе своей фонетической стороны, путем рифмы, ассонанса, путем гибкого видоизменения и сочетания слов одного корня».

Потом пришел ученый афонский дидаскал серб, Пахомий Лагофет и сапожищами, ну, топтать цветы.

Слово не пень, не выкорчить, слово — купальский цветок, без заклатья сорвать не дается. Епифанию откликнулся узорным краегранесием (акростихом) монах с Хутины, Маркелл Безбородый, а в наше время Андрей Белый и Хлебников.

Словесный уклад Пахомия признан был как общедоступный на среднего читателя, а Епифаний Премудрый — пускай себе верхушками забавляется — «писатель для писателей». Епифаний известен своим житием Стефана Пермского, а первое его сочинение житие своего учителя Сергия Радонежского (1418 г.) заерзал и подчистил афонский сапог.

«Да и аз многогрешный и неразумный, последуя словеси похвалений твоих, слово полетуши и слово плодящи, и словом почтити мнящи, и от словес похваления собирая, и приобретаая, и приплетаая».

*

В «Святой Ночи» Чехов рассказывает со слов послушника-перевозчика о иеродиаконе Николае, «а я читаю Епифании, сочинял акафисты».

В Богородичном акафисте есть слова: «Радуйся высоте неудобовосходимая человеческими помыслы: радуйся, глубоко неудобозримая и ангельскими очима! Радуйся, древо светло-плодовитое, от него же питаются вернии, радуйся древо благосенно-лиственное, им же покрываются мнози».

«Этого поэтического человека, выходявшего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов».

«Кроме плавности и велеречия, нужно еще, чтоб каждая строчка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так поставить, чтоб оно было гладко и для уха вольготней».

«Радуйся, крине райскаго прозябения», сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто: «крине райских», а «крине райскаго прозябения!» — так глаже и для слуха сладко. Так именно Николай писал!»

Незадачливая доля Словесности — ни к одному искусству не предъявляется столько посторонних требований, как к искусству слова — словесности. Нравоучительная мораль, занимательность, развлечение, и всё это под именем утилитарное, тянется руками расправиться по-свойски. И слово бултыхает, теряя глаза — свой голос и свою краску.

*

С первых книжек издания Суворина я шел за Чеховым. В те годы — 80-е и 90-е выходили переводы Мопассана, ему покровительствовал Толстой. Я читал Мопассана, не пропуская ни одного рассказа, как Чехова, но чувства были разные. Не одно любопытство как к Мопассану, свое горячее — непоправимое — свой пропад — Чеховская свирель сопровождала чтение.

Пропад отравы моих чувств.

И тогда, с моими богатыми глазами на кипящий мир в пожаре красок и чудовищных форм, как и теперь, оставшись с дразнящим миром сновидений — пропад.

Веселость духа и пропад потянули меня к Чехову. И идя по годам за Чеховым, в далекой памяти, гимназистом, я вошел в Московский Манеж: вологодская елка «Дева днесь Пресущественного рождает», столбы с солнцем-самоваром, музыкой-гармонией и сапогами-землей, египетской Королевой-лабиринтом и «чепуха» — покров загадкам, блеску и желаниям.

Чепуха, чепуха —
Это просто враки,
Молотками на пуху
Сено косят раки . . .

А. М. РЕМИЗОВ

«В человеческой памяти есть узлы и закруты, и в этих узлах-закрутах «жизнь» человека, и узлы эти на всю жизнь»...

А. Ремизов

1.

В этом году может быть отмечен тройной — в сущности — юбилей Алексея Михайловича Ремизова: восемьдесят лет со дня рождения (24 июня—7 июля, т. е. в ночь под Ивана Купала, в 1877 году), пятьдесят пять лет начала его литературной работы (в 1902 году был издан Ремизовский перевод книги А. Роде «Гауптман и Ницше»), пятидесятилетие со времени появления отдельных книг с его собственными произведениями.*)

А. М. Ремизов — руссейший из русских писателей. Исконный москвич. Фамилия его «происходит от колядной птицы ремеза**), а не от глагола***).

Сам писатель в автобиографии большое значение придает тому, что родился «в Купальскую ночь, когда в полночь цветет папоротник, и вся нечисть лесная и водяная собирается в купальский хоровод и бывает особенно буйна и громка». Поэтому, ему кажется, «я почувствовал в себе глаз на этих лесных и водяных духов». Именно поэтому «глаз мой, обращенный к таинственному в жизни природы, открыл мне таинственное же и волшебное в жизни человеческой». А затем — «проникнув еще глубже, этот глаз мой вывел меня за дневную явь, в мир сновидений — в пространство многомерное».

*) Сам Ремизов в автобиографии — в сборнике «Литературная Россия», том I (и единственный), Москва, 1924 г., стр. 35 — указал на 1908 год как на дату начала издания своих книг, но это утверждение, очевидно, является шуткой памяти, ибо на самом деле целых три книги писателя увидели свет именно в 1907 году: «Посолонь», сказки. С рисунками Н. П. Крымова. Изд. «Золотое Руно», Москва. «Морщинка», сказка. С рисунками М. В. Добужинского. Изд. «Шиповник», СПб; «Лимонарь», апокрифы. Изд. «Оры», СПб. Стоит отметить эту подробность ввиду, во-первых, сравнительной распространенности этой автобиографии и, во-вторых, ввиду труднодоступности этих давно ставших библиографической редкостью первых книг писателя.

**) О которой в колядах, древних святочных песнях, сложен стих (об этой птице писал академик А. А. Потеня).

***) Ремизить. Потому и ударение в фамилии Ремизов — на первом слоге.

Это и есть первый и важнейший «узел» Ремизова: писательская заинтересованность иррациональным.

Родился Ремизов «в сердце Москвы, в Замоскворечье у Каменного «Каинова» моста, и первое, что я увидел, лунные кремлевские башни, а красный звон Ивановской колокольни — первый оклик, на который я встрепенулся».

И здесь еще один из «узлов» памяти писателя: недаром Ремизов там же подчеркивает: «И я знаю, этот (московский) звон — с него начинается моя странная странническая жизнь — я унесу с собой». Этот «узел» — в обращенности писателя к впечатлениям раннего детства, органически сплетенным с русской стариной, церковью, бытом. В автобиографии Ремизов тоже подчеркивает: «Воспитание получил я строго-религиозное, и это дало мне возможность узнать близко всю обрядовую сторону русского православия, а хождение по монастырям, на богомолье — быт монастырский и душу народной веры, сказавшуюся в отреченных (не канонических) легендах». Отсюда, от отреченных легенд, вероятно, и мост к миру Купальской нечисти.

Но все эти «узлы» возникали и затягивались в условиях нелегкой жизни, о которой сам писатель так рассказал: «Происхождение мое самое буржуазное: из богатой купеческой семьи и по отцу и по матери. Оба московские. Но благами богатой буржуазной семьи не суждено мне было пользоваться. По всяким семейным обстоятельствам — и отец умер рано, и семья была большая — жизнь поддерживалась на благотворительность, и с ранних лет самостоятельно я начал свою жизнь. Раннее детство мое прошло около фабрики, в кругу фабричных и просто бродячих, так называемых уличных, мальчишек, к которым и я принадлежал.

Я был самый младший.

Многие из тогдашних товарищей моих рано погибли.

Меня оберегла*) книга».

В эти годы завязался и еще один «узел» в памяти писателя: внимание к слабым и обижаемым, уразумение частой жестокости жизни, а еще чаще — человека к человеку, и постижение столь частых насмешек судьбы. Отсюда возникло писательское понимание неповторимости человека (его подчеркнутая «глухота» к обобщению и столь заезженной «типичности»), сострадание к человеку, жалость к нему и в то же время строгость к его поступкам, — строгость, подчеркнутая во всем творчестве Ремизова отсутствием сентиментальности.

Рано привлекли Ремизова узорчатость в рисунках (и сам рисовать любил) и книга. Характерно, что «очень любил смотреть на буквы» в «старинных Макарьевских Четьи-минеях в корешковых переплетах с застешками». И рано понял Ремизов: «Сколько голов, столько и почерков, а искусство — каллиграфия — одно». Полюбил с «приготовительного класса», с уроков чистописания «росчерк», но «овладел росчерком много лет спустя», и продолжил тогда традицию «в письме — книгописцев». Ремизов — график и иллюстратор — оказывается одним из важных составных писательского единства.

Пятилетним научился он грамоте у «дьякона Покровской церкви на Воронцовом поле, которая называлась Грузинской по чудотворной иконе Грузинской Божией Матери». Этот дьякон, Василий Егорыч Кудрявцев «славился от Воронцова поля до Старой Басманной, как просвещенный педагог и законоучитель, —

*) «От слова «оберег» — заговор, заклятие». Этот московский фабричный и уличный быт дал писателю материал для романа «Пруд» (1908 г.), преломленный, конечно, сквозь своеобразие его призмы сновидений.

память о моем учителе я сохраняю через всю мою жизнь: это был кротчайший человек».

Ремизова отдали сначала в Московскую четвертую гимназию (хотел в подлиннике читать Софокла и стать филологом — «моя мечта!»), а «в один прекрасный день мне было сказано, что в гимназию мне больше незачем ходить, я переведен в коммерческое училище, куда переводится мой брат; он был хворый и слабый и в гимназии ему было трудно, — «чтобы не оставлять его одного!» («Подстриженными глазами», стр. 174). В Александровском коммерческом училище, как и прежде, брат «очень мучился с головой, и теперь, подпершись кулаком, молча сидел у стола, как в клещах, и мне его жалко стало. И я подумал: буду учиться по-английски, прочитаю в подлиннике Шекспира! А скоро и совсем я утешился: конечно, гимназию вычеркнуть никак нельзя, но надо же как-то... меня утешило „meine Muttersprache“. На уроках немецкого языка читали «Германа и Доротею». Меня очень занимало».

Так завязывались «узлы» памяти у будущего писателя, впервые напечатанного в 1896 году (хотя первый свой рассказ под названием «Убийца» написал, будучи еще гимназистом пригготовительного класса).

Надо добавить и еще один из автобиографии: «С детства пристрастился я к театру. Религиозные процессии — крестные ходы — большое архиерейское служение представляли зрелище большого всенародного действия. А в закрытом театре начал с балета и очень понравилось. А уже потом проник к драме и особенно поразил меня Шекспир. Греческий театр и средневековой были любимыми книгами». Следует запомнить и эту «закруту», которая, как и все иные, определили в какой-то мере литературную форму, иногда тематику, устремленность интересов Ремизова и «как писателя и как человека» (если возможно разделять такие начала, особенно в Ремизовской жизни-творчестве).

Потом «учился я в Московском университете на естественном отделении физико-математического факультета и одновременно слушал курс экономических наук (политическую экономию, финансовое право).

«Философию начал изучать еще в школе». Студенческая жизнь была прервана по банальным рецептам той эпохи: Ремизова арестовали на студенческой демонстрации, он попал в тюрьму, был исключен из университета. Шесть лет (1897—1903) по выходе из тюрьмы провел в ссылке: Пенза, Усть-Сысольск, Вологда.

Эти годы оказались началом его странствий: не случайно «назвали меня Алексеем, именем Алексея Божия человека — странника римского». И эти годы были тоже временем великих для Ремизова встреч. В ссылке сблизился с философом Н. А. Бердяевым, революционером и писателем Борисом Савинковым, с историком литературы П. Е. Щеголевым, видался с писателями А. В. Амфитеатовым, Е. Н. Чириковым. Сдружился с Всеволодом Мейерхольдом, — великим представителем мира «крашенных рыл», как определил актеров в садике Александринского театра какой-то «простой, не искушенный книжными приличиями человек», а Ремизов подслушал это определение, сделанное «безо всякой злобы, с одним добрым желанным сердцем», и так и назвал свою книгу, созданную на материале его работы с 1918 по 1921 год в Театральном отделе в Петербурге — «Крашенные рыла. Театр и книга», изд. «Грани», Берлин, 1922.

Судьбоносной встречей Ремизова в ссылке, определившей многое в его дальнейшей жизни, стала встреча с Серафимой Павловной Довгелло — «из древнего литовского рода Ягеллонов». На ней Алексей Михайлович женился в Вологде. Серафима Павловна оказалась не только добрым гением неприкаянного, как-то

беззащитного, неловкого в практической жизни Ремизова, но, как отметил в автобиографии писатель, «наукам археологическим научила меня», ибо сама была ученым палеографом. С. П. Ремизова-Довгелло являлась долгие годы настоящим вдохновителем писателя, и многие сотни прекраснейших его страниц (см. — к примеру — книги «Оля», 1927 г., или «В розовом блеске», 1952 г.) непосредственно связаны с ее личностью.*)

В 1904 году Ремизов, наконец-то, был освобожден от «полицейского наблюдения» (поразительна — и характерна для неразборчивости русской полиции того времени — эта глава Ремизовской биографии, ибо Ремизов и политика — две вещи «несовместные»). После недолгой службы в Херсоне, в театре Мейерхольда, «настройщиком актеров и по репертуару», после Одессы и Киева, где Ремизов писал роман «Часы» изд. «Еos» СПб, 1908), после 1905 года переехал в Петербург. Здесь Ремизов оставался вплоть до августа 1921 года, когда «по невыносимой головной боли, от которой последний год петербургский много мучился, вынужден был временно уехать из России».

В этот Петербургский период Ремизов и стал тем «литературным явлением», которое, по слову М. А. Осоргина, следует определить как «писатель для писателей». Именно тогда он приобрел громкую славу и как глава новой школы русской прозы,**) и как «оригинал», «чуждак», «шутник» совершенно прежде неслыханного размаха, учредитель «Обезьяньей Великой и Вольной Палаты» («Обезвелволпала») — чуть ли не скоморошье по духу ордена, раздававшего своим членам причудливые звания, подтверждая их забавнейшими грамотами «собственнохвостно подписанными» обезьяньим царем Асыкой и «скрепленные его канцеляристом, Алексеем Ремизовым»***). Здесь Ремизов создал многочисленные дружеские связи (особенная дружба связывала его с В. В. Розановым и Львом Шестовым). Здесь сначала его приняли в большую русскую литературу, а затем он сам стал одним из ее выразителей, кормчих и законодателей. Здесь вышло его «Собрание сочинений» в 8 томах (с портретом автора, рис. М. В. Сабашниковой

*) Тема влияния С. П. Довгелло на творчество Ремизова бесспорно важна, но едва ли допустимо ее так «максималистически» сформулировать, как это сделал М. Л. Гофман в заметке к юбилею писателя (см. «Посев», № 25 от 23 июня 1957 года — «Создатель ритмической прозы»).

**) Этот тезис выдвинул профессор русской литературы в Лондонском университете кн. Д. П. Святополк-Мирский в своей превосходной „A History of Russian Literature“, London, 1949, стр. 477, и его нельзя не принять.

***) Вся эта шутка «разыгрывалась всерьез» десятилетиями (и даже сопровождалась обидами и злословием «незамеченных» Ремизовым, «невовлеченных в Обезьянью Палату»). Шутка требовала сочувствующей легкости души, улыбки взаправду и детской сосредоточенности в веселье: отголосок ребяческого озорства и зрелой сатиры. Среди «документов» этого Обезвелволпала есть «манифест», опубликованный в книжке Ремизова «Ахру — повесть петербургская», 1922 года. В нем за уже традиционной шутливостью видно и то серьезное, что близко душе Ремизова всегда: воля вольная. Приведем «манифест» полностью:

«Мы, милостью всевеликого самодержавного повелителя лесов и всея природы,

АСЫКА ПЕРВЫЙ

верховный властитель всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился, презирая гнусное человечество, огадившее всякий свет мечты и славы, объявляем хвостатым и бесхвостым, в шерсти и плешивым, приверженцам нашим, что здесь

Изд. «Шиповник» — «Сирин», СПб, 1910—12 гг.). Здесь вышло около двадцати томов дальнейших его произведений. Здесь после Октября он служил, как упоминалось, в Театральном отделе то «под началом О. Д. Каменевой», то «М. Ф. Андреевой» (жены Горького). Здесь тогда занимался Ремизов переводами для «Всемирной литературы», созданной Горьким, холодал и голодал, читал какие-то лекции по теории прозы и по истории русской литературы и что-то даже печатал или «издавал» в рукописном виде в своем Обезвельполпале. Политикой Ремизов не занимался, но революцию принял. В автобиографии он писал:

— «Великая русская революция 1917 года революция, как пробуждение человека в жестоком дне жизни,

революция, как семенной весенний вихрь,
революция, как суд человека над человеком,
революция, как пожелания человека человеку.

— Переделать жизнь по-новому! вот клич революции. В эти годы в России возникало много больших мировых задач — ведь никогда, кажется, так ярко не горела мечта человека о свободном человеческом царстве на земле, как в России в эти годы».

И тут же на столь характерной для Ремизова человеколюбивой «ноте» он добавлял:

— «А красна революция не судом. Красна революция озарением (пафосом) и пожеланиями».

Ремизов отозвался на революцию, как и на предыдущие годы войны, множеством страниц («Взвихренная Русь» — «Временник 1917—21 годов в берлинском журнале «Эпопея», основанном Андреем Белым; «Огненная Россия», изд. «Библиофил», Ревель, 1921 год, где самая сильная часть «Слово о погибели русской земли»: если в старой России «были казни», то «была и милость», — а ныне всюду Ремизову чудились «гарь и гик обезьяний». Это «Слово» написано было Ремизовым в августе-сентябре 1917 года; «Шумы города» — рассказы, изд. «Библиофил», Ревель, 1921 и упомянутая «Ахру»). В «России в письменах» (изд. «Геликон», Берлин, 1922), книге необыкновенной по чувству стиля, по экономии словесного материала, в «Обрывыше» вспомнил Ремизов «узкогрудого прапорщика»: «И

в лесах и пустынях нет места гнусному человеческому лицемерию, что здесь вес и мера настоящие и их нельзя подделывать, и ложь всегда будет ложью, а лицемерие всегда будет лицемерием, чем бы они ни прикрывались;

а потому и тем, кто обмакивает в чернильницу кончик хвоста или мизинец, если обезьян бесхвост; надлежит помнить, что никакие ухищрения пузатых отравителей в своем рабьем присяде и хамском присяде, как будто откликающихся на вольный клич, но не допускающих борьбу за этот клич, не могут быть допустимы в ясно-откровенном и смелом обезьяньем царстве, и всякие попытки подобного рода будут караемы изгнанием в среду людей человеческих, этих достойных сообщников лицемеров и трусливых рабов из обезьян, о чем объявляем во всеобщее сведение для исполнения.

Дан в дремучем лесу на левой тропе у Сороковца и подмазан собственноручно. Скрепил и деньги серебряной бумагой получил б. канцелярист, забеглый политиком Обезвельполпала —

cancellarius
Алексей Ремизов

1918—1922 г.

Petersburg—Charlottenburg.

вспомнился мне Саша Ковырнев: застенчивый, неловкий и на лице, как тень, обреченность. На войне, действуя Керенским убеждением, он был истоптан солдатскими сапогами. Ковырнев? Бесцельно погибшая жизнь». «Обрывыш» был написан в 1918 году.

Так и всегда, как и здесь, торжествует у Ремизова скорбь о человеке, — в любой теме.

Именно в Петербурге вокруг Ремизова постепенно сложились легенды: якобы он, как автор, непонятен; якобы он лукав и таинственен; якобы даже заумен подчас.

Со всеми этими традициями славы, признания, чудачества и предвзятых мнений Ремизов в «замятинской рвани» в «суровое августовское утро» «в скотском вагоне», «как скот убойный», переехал тогдашнюю российскую границу у Нарвы, и после некоторого пребывания «в городе рыцарей — в башенном Ревеле», очутился в Берлине, где, по словам автобиографии, «поселился я в Шарлоттенбурге на Церковной улице, продолжая начатые в России работы — голова успокоилась, — и учусь у великой германской культуры, давшей столько миру, и особенно России, в науке и искусстве, в примере труда и бережения культуры».

В ноябре 1923 года Ремизов переехал в Париж, где теперь живет в многим хорошо известном доме номер семь на улице Буало: одна из чуть заметных иронических усмешек судьбы, поселившей этого вольнодумца, литературного бунтаря и новатора русской прозы на улице, носящей имя в честь строгого законодателя и охранителя неподвижности французской литературы времен ложноклассицизма.

2.

Ныне подсчитано, что Ремизов опубликовал восемьдесят одну книгу: тридцать семь в России, сорок четыре за границей, плюс пять книг, им переведенных на родине.*) Ряд его произведений до сих пор лежит в рукописях.

Ремизов подчас даже готов пожалеть самого себя за «нежеланность»:

«Предо мной никогда не было читателя, для меня удивительно слышать, как «настоящие» писатели говорят «мой читатель». Условно называя себя писателем — писатель для себя, для своего удовольствия, сочинитель былей и небылиц, я ни разу не задумывался, будет ли толк от моего письма, будут ли читать мое, или, только взглянув на имя, расплюются. В отличие от «настоящих» писателей — для писателя непечатание его произведений «высшая мера наказания», отчаяние и пропад, а мне с годами стало безразлично, напечатают ли меня или «не подходит»**).

Этот Ремизовский пессимизм, на самом деле, неоснователен. Справедливы наблюдения Г. П. Струве (в его книге «Русская литература в изгнании», Нью-Йорк, 1956 г., стр. 104—107, 259—262) об интенсивности и углублении творчества Ремизова в период его «временного» пребывания за границей и о большом количестве изданий его книг (что само собой явствует из вышеуказанной цифры). Тираж книг — показатель относительный. За границей, среди эмиграции, необычайный

*) Некоторые из них изданы очень ограниченным тиражом. Например, только в 25 именных экземплярах была опубликована книжечка: «Что есть табак». Гонимосева повесть. С рисунками К. А. Сомова, изд. «Сириус», СПб, 1908 г.

**) Цитата по интересной статье близкого к Ремизову «африканского доктора» В. Н. Унковского: «А. М. Ремизову — 80 лет», журнал «Возрождение», тетрадь 66, июнь 1957 г. Париж.

успех имели в свое время романы генерала П. Н. Краснова или переизданные «Три пары шелковых чулок» Пантелеймона Романова, а сейчас «боевиком» книжного рынка оказывается переизданный уже дважды за границей роман Дудинцева «Не хлебом единым». Можно ли считать, однако, успех всех таких книг показателем их высоких литературных качеств? Ключ к их временному успеху лежит в иной плоскости.

История литературы показывает, с каким трудом, как медленно внедряется подлинное новаторство в сознание современников.

Именно А. М. Ремизов — один из тех писателей, которые прокладывают новые пути. Их едва ли оценит всякий современник. Они по самому смыслу своего творчества («против течения») остаются «писателями для немногих», но их литературные усилия, их поиски, их смелость, их подчас экспериментаторство входят в то, что и называется движением литературы, обогащением и углублением, расширением и подъемом литературы.

Без всякого юбилейного фимиама следует признать, что в пределах нашего столетия и русской литературы Ремизов является одной из самых интересных, значительных и сложных писательских индивидуальностей. Его книги, его приемы, его работа над основой писательских основ — художественным словом — далеко выходят за пределы вопроса о степени занятости произведений Ремизова. Сам Ремизов, необычайно скромный, негромкий, будто пробирающийся по жизни и «садам российской словесности» бочком, потупя глаза и спотыкаясь, едва ли отдаст себе полностью отчет в собственных качествах, а тем более — в достижениях и заслугах. Не всегда делает это и критика, которая словно побаивается необычности, нешаблонности приемов этого мастера, шутника, поэта и мудреца одновременно.

Внешне дело обстоит несложно. В Ремизовском творчестве — три линии.

Одна — Ремизовский пересказ эпосов. Как он сам хорошо сказал в автобиографии:

«Мне пришло на мысль выразить русским голосом (самым в мире свободным по мечте своей) голос народов всего мира и, главным образом, народов отверженных, «диких» или затесненных, обиженных, или погибающих, или совсем погибших.

Пусть прозвучит по-русски их заветное на всеобщем суде!

Вроде как на старинных фресках, сохранившихся в старых русских соборах, в «Страшном суде», когда олицетворенные выходят целые страны и народы и говорят о себе — обыкновенно из уст ленточка и надпись на ней: свое последнее слово».

Этот замысел Ремизов осуществляет неукоснительно. Отсюда его изложения эпосов и сказок — русских, тибетских, индийских, арабских, зырянских, кабыльских и других вплоть до последней книги — «Тристан и Исольда», изд. «Оплешник», Париж, 1957 г. (и в ту же книгу включена повесть «Бова Королевич»).

Другая линия: его осмысливание литературы «писаной», в первую очередь литературы русской. Пример: его поразительная многосмысленная и еще никем по существу не оцененная книга 1954 года — «Огонь вещей. Сны и предсонья» — о Гоголе, Пушкине, Лермонтове, Тургеневе, Достоевском. Книга, действительно, невероятного размаха, настоящего взлета и парения, небывалого озарения и проникновения. К ней Ремизов шел долго. И один из шагов — «К звездам» — о Блоке — из «Ахру — повести петербургской», 1922 года: «А звезда его — трепет сердца слова его, как оно билось, трепет сердца Лермонтова и Некрасова — звезда его

незакатна. И в ночи над простором русской земли, над степью и лесом, я вижу горит . . .» — концовка этого изумительного прощания с Блоком.

Третья линия — основная: его повести, рассказы, отрывки воспоминаний о себе, очерки и даже его сны. («Мартын Задека. Сонник». Изд. «Оплешник», Париж, 1954). Эта линия — прозы, написанной поэтом, каким и является Ремизов сам по себе, весь в своей цельности, разорванности, взмятенности, исканиях и убежденности.

Так обстоит дело внешне. И гораздо всё сложнее, ежели любую из этих линий конкретизировать разбором структуры и состава Ремизовской прозы, в чем и есть главная сила его как писателя.

Сложность обусловлена теми самыми «закрутами» и «узлами» памяти писателя, о которых говорилось выше.

Ремизов — не юродивый, не скоморох, не расчетливый математик. Ремизов прежде всего встревоженная душа, мечтатель. Ремизов — представитель эпохи смещений в русской литературе. Схематически об этом достаточно сказать так:

Со смертью Чехова и Толстого кончился уверенный в себе торжествующий реализм прошлого века. Реализм — в большом, общем литературном плане — изжил себя (в этом отчасти причина трагической неудачи и «социалистического реализма»: сейчас реализм — эпигонство, а потому и «смердит»; талантов сколько угодно, а литературы, как искусства, не получается; не случайно в России так увлекались очерком, — это инстинктивный обход обмершего, затертого вида словесного искусства, которому, может быть, как часто в искусстве, надо было бы дать отдых, — на полвека). Символисты типа Андрея Белого и Федора Сологуба (вопреки мнению Замятина) показали своими произведениями, что проза в их манере интересна для демонстрации, но творческого выхода из нее нет. И конец символизма в поэзии (со смертью Блока) был естественным концом всего символического искусства (может быть, тоже на полвека).

Но еще прежде, чем это стало ощутимым фактом для всех, всё творчески сильное среди русских писателей принялось за поиски выхода и новых путей. Некоторые, как Бунин, Зайцев, ушли в лирическую прозу (каждый в совершенно своей манере). Некоторые, как Куприн, ничего не нашли, оставшись талантливыми эпигонами.

Ремизов — ощупью, в полуслепую (близорукость, создающая «подстриженные глаза») — вдруг, внезапно, чутьем и подсознанием (потому Святополк-Мирский и провозгласил его главой школы новой русской прозы) нащупал нечто новое.

Прежде всего Ремизов понял основную опасность для русской прозы: отход от стихии русского слова. Позднее в книге «Огонь вещей» Ремизов сформулировал это замечательным — по сжатости и остроте характеристики — образом:

«Ходили мы в болгарском платье (XI в.) — с этого начинается история русского слова. Потом нарядят в блестящие церковнославянские одежды (XVI век), потом, дубинкой околота драгоценности, заставят напялить тяжелые немецкие камзолы, а потом кургузые прямо из Парижа (XVIII век). Так и пойдет «русская литература»: кто в лес, кто по дрова (XIX век).

За Гоголем (южнорусский лад) и Марлинским (с польского) — первыми искусниками, я назову В. А. Слепцова (1836—1878). Возрождение начнется символистами, но неудачно: слащавый провинциализм Сологуба, гоголевский копиист со стрекотней Заратустры — Андрей Белый и вроде как по-латыни «пушкинская» проза Брюсова.

Всякая попытка искусства на Руси гложет. И нет ничего тут удивительного: в самом деле, какое-то жалкое искусство над искусственной природой.

Искусство — это значит распоряжаться: вертеть и перебрасывать. А как можно что-нибудь передвинуть одеревенелое, искусственно закованное?

Мы ведь и думаем-то не по-русски».

Святополк-Мирский в своей истории русской литературы утверждает, что ни Карамзин, ни Пушкин, ни даже Толстой, особенно много борющийся за приближение литературной речи к разговорной, не смогли всё же преодолеть тех бессознательных и сознательных канонов, которые в основе являются результатом французско-латинских воздействий на строй русского синтаксиса и на писательский словарь.

Явление малой народности русской литературной речи (вне зависимости от того, в какой мере прав или неправ Святополк-Мирский) было замечено давно, — и с ним пытались справиться разными средствами: в частности, попыткой подделаться под различные говоры и жаргоны.

Ремизов по этому пути не пошел. Теперь известно, что он даже во многом осуждает тех писателей, которые такие жаргоны употребляли: «на мещанском жаргоне сорвался Достоевский», «на мужицком — Писемский» с его «теперича и энтим»; и Мельников-Печерский (хотя от него Ремизов со своей «Посолонь» ведет «литературное родословие») разочаровал писателя «его искусственным русским стилем».

На чем же строится у Ремизова его подход к языку, этому «орудию производства», этой стихии и строительному материалу каждого писателя? Говоря общающе, Ремизов строит «на ладе живой речи». Здесь — основа его рассуждений и его практики. На этом строится его «сказ». Его предпосылка — требование естественности: как «духовник и наставник» его протопоп Аввакум, он любит «свой природный русский язык». По Ремизову, жаргон тем опасен, что подделывается «под рассказчика не своего слова», а «лад живой речи знает только свои слова». Поэтому у Ремизова и нет «стилизаций», — они жеманство и фальшь. Этот «лад живой речи» Ремизов, человек городской, крестьянства не знающий, воспитал в себе и на проникновении в лад допетровской языковой стихии (от Аввакума вглубь веков, мог бы вплоть до Даниила Заточника, в «Молении» которого немало есть родственного словесной игре нашего писателя), и на освоении эпосов, сказок, апокрифов — отреченных легенд, и на прислушивании к тому современному говору «неискушенных литературными приличиями» простых людей, которые, как известно, были авторитетами и для Пушкина. В девятнадцатом веке для него с особенной силой зазвучали опрометчиво несущиеся (тройкой-Русью) речи Гоголя и хитроумные словеса Лескова: его литературные единомышленники.

Можно ли принять всё это за «футуризм» (как сделал с твердокаменностью, выдаваемой за «правду-матку», один из критиков Ремизова в «Новом Русском Слове», в номере от 23-го июня 1957 года)? Очевидно, нет.

Стоит напомнить, что кроме этой этикетки «футуриста» на Ремизове наклеено немало и других: «декадент», «символист», «неореалист», просто «реалист», «сюрреалист», «экзистенционалист». . . Как ни вспомнить Гоголевского Тараса Бульбу: — «Фу, ты, какая пышная фигура!» Стоит также добавить, что советская Литературная Энциклопедия (том IX, 1935), если вынести за скобки неизбежные, но ничего не значащие фразы о «классах» и «деклассирующихся», много вернее и конкретнее определила черты Ремизовской прозы, его приемы, тематику и его литературную родословную.

Ремизову удалось найти свой «лад живой речи». Если, вероятно, его писательский словарь, благодаря всему этому, оказывается одним из самых богатых у современных русских прозаиков, то большой интерес представляют собой и его смелые попытки смешать языковые струи, переносить слова иных эпох по воле автора и в нашу современность. Когда, к примеру, он называет парижскую консержку «Костяной ногой», эта смелая пересадка Бабы-яги из русской сказки, воспринимается, как естественный образ злой старухи, терроризирующей дом. Из этого не следует заключать, что все «опыты» Ремизова всегда удачны, но надо признать, что он всеми своими писательскими поисками указал на словесные возможности, до него не осознанные.

Для «лада живой речи» надо уметь строить фразу. Ремизов дает следующую «теорию»: «Есть две грамматики: школьная и неписанная, сказа, природной, произвольно складывающейся речи. В книжной можно достигнуть большой выразительности: начиная со «Слова», Макарьевские Минеи, классическая литература. В книгах пример сказа — Житие Аввакума. Но Аввакум проповедник, книжник, и его сказ прослойка живого слова в условную книжную речь.

Где же искать речевые русские лады, не подчиняющиеся правилам грамматики церковнославянской, Мелетия Смотрицкого (XVII в.)? Роман Якобсон указывает на Летописи, Обнорский на Русскую Правду, — так далеко в веках и не поймешь, а есть ли что ближе — послетатарско-русское? Есть, это дьячий язык Приказов. В этой приказной речи никакой книжности, никаких «щей», да и как в деловое загнать витийство — словесность. И еще только не в «художественной литературе» — повести XVII века написаны по Мелетию Смотрицкому, сказ проникает в историю — Хронограф, в подметные листы Смутного времени. Сказ — живая вода. Никто не говорит: ходить по дьякам, нет, приказная грамота только путь. Это всё равно, как в начертании букв, кто говорит паутинить скорописью XVII века? Идти из этой паутины и создавать свой рисунок-росчерк, раз я пишу русскими буквами. Книжную, застылую в книжных формах фразу надо встряхнуть и выговорить, и такая фраза зазвучит живо и выразительно».

Это — теория. А вот — кратчайший пример из «Крашенных рыл» (стр. 74): в некоей пьесе фраза — «Ты знаешь, я слышал, что здесь последнее время каждый день пьянствует Дантон». Ремизов поправляет: «Так по писаному, а в разговоре так: «Знаешь, я слышал, тут последнее время каждый день пьянствует Дантон». Если прочитать вслух (как делает Ф. А. Степун с Ремизовской прозой), слышно: звучит иначе, лучше. И это есть то, что зовется писательской техникой.

3.

Представляется естественным и последовательным, что Ремизов, чье писательское дело развивалось в период крупнейших смещений, сдвигов, поисков в русской литературе, не мог удовлетвориться только обновлением словаря и «встряхиванием» предложений. Он, как истый бунтарь, понял, что кризис претерпевают и жанры. Его вовлек в этот «искус», вероятно, тот общий для русской культуры «серебряного века» подъем, который коснулся решительно всех областей искусства — поэзии, живописи, скульптуры, театра драмы, балета, музыки, книжного оформления и так далее, включая струнные оркестры и гимнастические общества.

Представляется вероятным, что Ремизов был воодушевлен — в частности — необычайным экспериментаторством своих многочисленных или удачливых или только претенциозных друзей-режиссеров: не случайно он прятельствовал и с

Мейерхольдом и с Евреиновым, не случайно в той же книге «Крашенные рыла» он сердечно огорчился на Художественный театр с его инсценировкой «Братьев Карамазовых». Он начал с попыток новой драматургии: «Бесовское действо» — начало хаотическое, Трагедия о Иуде — начало человеческое, Егорий Храбрый — начало хоровое. И отдельно «Царь Максимилиан», написанный по записям народных представлений. Создал он и «музыкально-плясовое действо — русалию». Так произошли три русалии: «Алалей и Лейла, Ясня, Гори-Цвет». И впечатления военных лет (повесть «Мара») и революции надо ли укладывать в твердые формы старых, прочных жанров?

Ремизов этот вопрос решил для себя отрицательно: он стал губителем жанров, как непереносимой предпосылки прежней литературы. Ремизов производит систематическую ломку жанров. Он нарочно (может быть, из «озорства», а вернее, по инстинкту) соединяет будто бы несоединимое, приводя в гнев литературных консерваторов, в недоумение читателей, в устрашение критиков. Он нарочито соединяет психологическую повесть с очерком и экскурсами в демонологию, автобиографическую лирику с сатирической выдумкой, поэтический запев-обобщение с сугубой мелочностью конкретной подробности мелкого факта. Трудно сказать, удача ли это в творчестве вообще (не Ремизова). Вероятно, подражать ему в этом и невозможно.

Но это явление в целом оказывается закономерным в прозе Ремизова. Вопреки распространенным суждениям, у Ремизова все его приемы, все его поиски, обновление языка, перестройка грамматических норм, игра жанрами и стилями — не самоцель. Он верно говорит в своей автобиографии:

«Основной вопрос — о судьбе, о человеке и о мире: о человеке к человеку и о человеке к миру.

— Что есть человек человеку?

— Человек человеку бревно, стена — человек человеку подлец — человек человеку дух-утешитель.

— Человек в вечном круге хорового мира, вечная борьба человека с мировым хором за свой голос и действие.

— А над всем как — судьба какая».

Ремизов полон любви к этому человеку, он улыбочив к нему (не случайно его ненависть к не улыбочивым, закостеневшим в псевдосерьезности). Его мечта: «Что если бы собрать все улыбки, от которых теплеет на сердце, все взгляды, от которых и в самой густой темноте светлеет, соединить это всё и показать миру! Да ведь как бы тогда ожил мир! Земля ожила бы! Ведь это было б для мира, что теплый дождь земле, после которого дышать легко» (из рассказа «Звезды»).

«Узлы» и «закруты» памяти Ремизова научили его одному: любви и вниманию к человеку, к его миру подсознательного, иррационального, что и открывается в страшных или непонятных или упоительных снах. Сон может быть и мистическим. Надо ли прибавить еще одну этикетку на творчество Ремизова? Едва ли. Ремизов, кажется, признает одно: человек и писатель не должны пренебречь и мистическим, раз это входит в мир и душу человека, — и до него это самое почувствовали многие из великих русских авторов.

Ремизов, как никто прежде, понял и напомнил всем об этом. Некто из английских читателей Ремизова (по-русски, в подлиннике, — вопреки ошибочному клише, повторенному, к сожалению, и М. А. Алдановым, англичане весьма нередко отличные лингвисты и, в частности, преуспевают в русском языке, «оправдывая» ересь Хомякова о славянском происхождении англичан — «угличан») сделал, как мне показалось, тонкое замечание: «Ремизов — живописец по всей своей сути.

Он любит узор, краски, у него всё видишь. Если бы не его зрение, «подстриженные глаза», он был бы великим русским художником, — тоньше, наверное, и несомненно духовнее Пикассо».

Условное наклонение — романтическая форма грамматики: мечтание.

Но следует подчеркнуть, что писателя Ремизова, действительно, можно назвать Пикассо русской прозы, — в творческом разнообразии и в проникновении в суть вещей.

Чтобы ни думали негодующие современники, предпочитающие инерцию стояния инерции движения, Ремизов нашел отклики среди, прежде всего, русских писателей.

Литературная Энциклопедия, которую трудно заподозрить в переизбытке дружеских чувств к эмигрировавшему автору, даже эта Энциклопедия сообщает:

«Ремизов — значительный мастер слова, оказавший своей стилистикой, а отчасти и тематикой, заметное влияние на Замятина, Рукавишникову («Проклятый род»), Пильняка». О последнем и сам Ремизов рассказывает: «... мои грамматические рассуждения, сказанные не безразлично, я сам опутан школой и рвусь освободиться от «Мелетия Смотрицкого», поразили когда-то Пильняка. И Пильняк-Вогау упорно переучивался грамматике и встряхивал фразы».

М. Л. Слоним, хорошо чувствующий манеру Ремизова, с ее нарочитой смесью стилей, считает, что «десятки советских и эмигрантских писателей, сознательно и бессознательно подражают Ремизову (след Ремизова легко отыскать у Замятина, Пильняка, Шишкова, Пришвина, Артема Весёлого, Алексея Толстого и многих других)». Г. П. Струве находит, что влияние Ремизова «было очень велико в советской литературе в ранний ее период. С поворотом к социалистическому реализму Ремизов оказался не ко двору. На молодую зарубежную литературу Ремизов оказал мало влияния, хотя у него было в ее рядах много почитателей».

Может быть, это объясняется тем, что молодые зарубежные писатели в какой-то мере утратили свою интимную связь с русским словом».

Мнение князя Д. П. Святополк-Мирского о Ремизове, как главе школы новой русской прозы, приводилось выше.

Конечно, вопрос влияния всегда один из наиболее спорных, — в случае Ремизова он ясен, до будущих детальных историко-литературных исследований, во внешнем плане стилистического и как бы методологического воздействия.

Но уже, например, у Замятина и Пильняка проблема осложняется рядом индивидуальных черт этих авторов. Бесспорно одно, что Ремизов своими поисками и бунтарством, знанием и чувством языка, пониманием стилей и смелостью новых форм выражения замысла, борьбой со старым синтаксисом помогал выработке собственных путей у ряда авторов. Но в гораздо меньшей степени вдохновляла Ремизовская борьба с жанром. К примеру — Замятин никаких жанров не ломал и, по-видимому, не собирался вступать на этот опасный путь, который едва ли годится быть возведенным в правило.

Любопытно, что Ремизов всё больше проникает в иностранный мир. Особенный успех у Ремизова замечается во Франции,^{*)} где отзывы критики в органах

^{*)} Благодаря любезности Н. В. Резниковой, одной из прекрасных переводчиков произведений и доброго друга А. М. Ремизова, автор этой статьи получил большую сводку сведений о переводах Ремизовских вещей на французский язык и о французских критических откликах на них. Однако использовать их в данной статье невозможно: настолько богат и красноречив материал. К тому же, вероятно, сама Н. В. Резникова сделает такой обзор с большим правом и знанием.

печати решительно всех политических ориентаций (начиная с Humanité) дает высокую оценку своеобразному, «типично русскому» по характеру, творчеству писателя. Ряд переводов произведений Ремизова есть на немецком, английском и других языках.

Наименее известен Ремизов сейчас в России.

Когда-то он с заклинательной страстью писал в автобиографии, что покинул родину временно. В каком-то смысле писатель прав. Возвращение Ремизовских произведений в Россию не за горами. И российские читатели, встретившись, впервые или вновь, со словом замечательного писателя, с волнением узнают, что в «узлах» и «закрутах» памяти Алексея Михайловича Ремизова ничего другого и не было, как только думы о человеке и о России, что пространство — условность, а важно, что в человеческом сердце, о чем оно помнит. Ибо тогда побеждено и время.

Янош Кадар

(Портрет)

Помещаемый ниже очерк принадлежит перу известного венгерского историка и публициста Георга Палоци-Хорвата.

В 1949 году Палоци-Хорват был арестован и приговорен к пятнадцати годам тюрьмы на основе сфабрикованных против него обвинений. Через год он вместе с венгерским писателем Палом Игнотусом был избран органами госбезопасности как «свидетель» в процессе, организованном Ракоши против Кадара.

После своего выхода на свободу в 1954 г. Палоци-Хорват отказался вновь вступить в ряды коммунистической партии. Он входил в различные оппозиционные группировки, как, например, «Кружок им. Петефи», и активно участвовал в народном восстании. После подавления революции Палоци-Хорват эмигрировал в Лондон, где продолжает вести борьбу за свободу своей родины.

Когда я в последний раз видел Яноша Кадара, он быстро шел по одному из коридоров будапештского парламента. Это было в середине ноября 1956 г. Я входил в состав делегации, которая должна была от имени Союза Венгерских Писателей протестовать против ежедневных арестов. Кадар не имел времени принять делегацию. Он совещался за закрытыми дверями со своим начальником полиции, и когда мы, наконец, добрались к нему, он уже готовился принять одну из советских «технических миссий», ожидавшую его в соседней комнате. Он выглядел потрепанным и усталым. Его мертвенно-бледное лицо, морщинистый лоб, мутные глаза и опухшие веки выдавали в конце изнеможенного человека, который стоит на ногах и продолжает работать лишь с помощью сверхчеловеческих усилий. Это лицо, когда-то красивое, а теперь, после долгих лет насилия над собой и лжи, ставшее отталкивающим, могло бы вызвать жалость, если бы не было так ясно, что именно владеет им и изменяет его.

Когда Кадар исчез за одной из дверей, я невольно вспомнил умного и красноречивого токаря, который около 25 лет тому назад присоединился к рабочему движению. Было ли это случаем или это было predetermined некоторыми роковыми чертами его характера, что он был избран, как тип сталинского партийного вождя, руководством партии и инструкторами коминтерна?

Тогда, в Будапеште, он ни в какой степени не казался мне чем-то, выходящим из обыденных рамок. Он вполне соответствовал нашей общей хаотической обстановке, — сгоревшим танкам, обманувшим ло-

зунгам, на стенах полуразрушенных домов, — обстановке Будапешта, только что ставшего кладбищем революции. Но сегодня, когда я пишу эти строки в Лондоне, я смотрю на Кадара глазами нормального человеческого мира. Как трудно описать его для этого мира! Как можно достичь того, чтобы, в конце концов, создался не портрет одного только человека, но и картина процесса, в котором совесть и твердость характера превращаются в моральное безумие, а человек со здравым рассудком, — в «великого коммунистического вождя»?

Всё началось вполне нормально. Один еще очень молодой человек, по моральным побуждениям, включился в политическую деятельность. Он присоединяется к небольшой нелегальной группе коммунистов, борющихся против социальной несправедливости, за мир свободы и благосостояния. Воодушевление и убежденность небольшой группы заражают его. Он слепо предан двум или трем коммунистам, с которыми коротко знакомится. У них прекрасное самообладание, исключительные знания и сила фанатизма. Они посвящают его в тайну, открывающую дверь в будущее: марксистская теория сделает рабочий класс непобедимым! Он учится «марксистскому мышлению»; не располагая же временем научиться размышлять вообще.

Молодой человек живет пуританской жизнью. Венгерские коммунисты в эту эпоху — «сектанты», даже по терминологии позднейших официальных историков. Они серьезны, держат себя с достоинством и придерживаются чрезвычайно скромного образа жизни. Всё их существование проходит под строжайшим партийным контролем: «аппарат» наблюдает за каждым их шагом. Как будто в голове у каждого помещен телевизор. В тех редких случаях, когда их собственное мышление отклоняется от партийной линии, от предписанных норм, они подвергаются строгим выговорам.

Мы вступаем в эру Гитлера и испанской гражданской войны, которая постоянно приносит подтверждения правильности теории. В эту эпоху Янош Кадар еще, пожалуй, нормален. Нет никакого разрыва между его личным мнением и публичными высказываниями. Он еще верит, что его партия есть партия истины.

*

Во время второй мировой войны Янош Кадар уже входит в десятиголовое партийное руководство в Будапеште. Вождь подпольной партии Ласло Райк — его друг и идеал. Человек из рабочего класса, ставший «интеллигентом с высшим образованием», выдающийся коммунист, герой испанской гражданской войны, носящий подпольную кличку «Киргиз», — Райк принадлежит к храбрейшим из храбрых. То же относится и к его жене. В 1943 году она была арестована венгерским гестапо и подверглась пыткам. В гестапо не знали, что она жена Райка; было лишь обоснованное подозрение, что она знает нелегальных руководителей партии. Ее подвешивали за ноги и били резиновыми палками по голому телу. Гестаповцы хотели узнать лишь два имени: вождя коммунистов и его заместителя. Госпожа Райк смолчала и спасла тем своего мужа и Яноша Кадара.

В 1944 году Кадар пытается тайно перейти границу, чтобы по заданию партии пробиться к Тито. Его арестовывают, но очень скоро

выпускают. В конце 1944 года, когда Красная армия уже осаждает Будапешт, партия поручает ему новое задание. Он должен пробраться к Красной армии и вступить в связь с большевиками. Ему это удается. Кадар впервые встречается с партийным руководителем московской выучки, — «человеческим автоматом» Эрне Гёре. Гёре — один из важнейших людей в международной коммунистической иерархии. Под кличкой Зингера он долгое время был инструктором коминтерна (фактически, согладатаем) во французской компартии; одновременно он нес ответственность за чистку в рядах коммунистических борцов в Испании.

Этот человек стал вторым великим учителем Кадара. Он обучил его практике коммунизма после захвата власти. Позднее Кадар прошел еще школу Матьяша Ракоши. Прославленный своим шестнадцатилетним тюремным заключением Ракоши с правом считался лучшим учеником Сталина. В кошмарные послевоенные годы, когда венгерская компартия с советской помощью и путем обманных и вымогательских маневров укрепляла свою мощь и убивала людей, Кадар готовил свое восхождение в высшее партийное руководство.

Гёре и Ракоши ввели венгерских руководителей, не прошедших московской школы, в переднюю вождя — Сталина. Здесь идеология либо принималась всерьез, либо ею полностью пренебрегали, смотря по обстоятельствам. Здесь цель оправдывала средства; здесь преподносился великий сталинский принцип: ты вправе убить, ты вправе убить тысячи, чтобы будущим поколениям обеспечить счастливую жизнь; но это лучезарное будущее может быть построено лишь на основе сильного и непрестанно усиливающегося Советского Союза; поэтому интересы Советского Союза совпадают с интересами всего человечества.

Политическая борьба коммунистических «кадров» диктовалась «реальностями». Всё еще у каждого верного члена партии имеется «телевизор» в голове, но его мышление уже не целостно.

Его частная истина теперь уже отличается от официальной «истины», другими словами, от пропаганды на данный отрезок времени. Между его личным и общественным «я» уже существует глубокий разрыв.

Но это только первый в длинном ряду разрывов, вызванных политическими «реальностями». Первый же моральный разрыв наступил, когда общественное мнение было подменено организованной официальной ложью. Нужно быть верным другу, не обманывать, не воровать, не клеветать, не убивать, но общественное «я» одобряет предательство, обман, клевету, убийства, если они производятся ради благоденствия и счастья грядущих поколений (следовательно, в интересах великого советского отечества всех трудящихся). В этом случае все эти действия нужно защищать, ими нужно восторгаться. В часы же самоанализа и сомнений нужно убеждать самого себя в том, что еще в тебе не выкорчевано влияние буржуазной сентиментальности, что ты еще идеологически не крепок. Чем выше стоит член партии на партийной лестнице, тем меньше у него времени для подобных моральных самобичеваний. На самых высоких ступенях слышен лишь условный партийный жаргон. Такой человек, как Кадар, первый секре-

тарь будапештской парторганизации, воспринимает теперь жизнь лишь в форме донесений своих подчиненных, а эти последние сообщают не истину, а предписанные партией марксистские шаблоны, овладевать которыми они уже научились. Они сообщают не «объективную», а «политическую» истину. «Истина — всё то, что полезно партии».

Кадар теперь один из популярных вождей партии, член ЦК и Политбюро венгерской компартии. Он пользуется репутацией обходительного, храброго и работоспособного человека. Появившись на митинге возмущенных рабочих в Мишкольце в 1947 году, он один, оказывается, был в состоянии успокоить толпу, уговорить ее мирно продолжать работу.

В 1948 году компартия захватывает всю власть в свои руки. Кадар становится заместителем генерального секретаря партии. Ракоши вводит советскую систему. Члены Политбюро получают в свое распоряжение роскошные автомобили, виллы, неограниченные чековые книжки. У них нет текущих счетов в госбанке; они могут взять из него для себя любую сумму.

Эти вожди «борьбы за дело рабочего класса» ведут жизнь тяжело работающих миллионеров. Они разъезжают в своих огромных автомобилях, опустив занавески на окнах, чтобы избежать любопытных взглядов пешеходов. Они принимают участие в совещаниях и в государственных банкетах, ведут государственные и партийные дела. Они встают рано и ложатся поздно. Все учат русский язык, чтобы объясняться со своими советскими коллегами и пытаются отдохнуть и развлекаться по их вкусу.

Отдых Кадара после тяжелой, полной ограничений, жизни прежних дней протекал в сравнительно скромных рамках. Женщина, которую он любил, принадлежала к кругу мелкой буржуазии. Партия не позволила ему на ней жениться, но они тихо жили вместе, как верная супружеская чета из рабочего предместья, хоть и окруженные роскошью, которую партийные инстанции предоставили в распоряжение членов Политбюро.

Рабочие уже не играли в жизни товарища Кадара особо крупной роли. Старое чувство проснулось в нем снова, когда он посетил Ласло Райка и его жену. Райк — слепой идеалист — сохранил свой прежний энтузиазм, и внутренне походил больше на простых честных коммунистов Запада. Дружба с ним оказывала на Кадара известное морально-сдерживающее влияние.

Партия у власти; мы входим в 1949 год. Взаимная лояльность коммунистических товарищей принадлежит уже прошлому. Произошли первые партийные чистки. Правда, еще никто не арестован, но диктатор Ракоши уже возвестил в одной из своих речей, что «прокрававшиеся в партийные ряды вражеские элементы должны быть изгнаны и посажены за решетку». Райк удален со своего поста министра внутренних дел и перемещен на маловажную должность министра иностранных дел. Его преемник в министерстве внутренних дел — Янош Кадар.

В личном плане они по-прежнему хорошие друзья. Весной госпожа Райк дарит жизнь сыну. На церемонии «октябрин» (по советскому об-

разу) роль восприемника играет Кадар. Несколькими неделями позже Райка арестовывают. В столицу прибывает посланец московского МВД генерал Белкин. Дюжины, а затем и сотни коммунистов из «старой гвардии», герои испанской гражданской войны, известные марксисты и испытанные товарищи заключаются в тюрьмы. Их объявляют «шпионской бандой Райка». Газеты сообщают об арестах лишь в двух-трех строках, но уже на всех фабриках, во всех парторганизациях страны устраиваются митинги протеста, на которых ставится требование быстро и безжалостно покарать «Райка и других бандитов и шпионов». Изодня в день газеты помещают телеграммы, в которых требуется немедленная ликвидация «империалистического чудовища Райка».

Янош Кадар, новый министр внутренних дел, без устали повторяет в своих речах, что Райк — презренный шпион, империалист, агент Тито, начавший свою карьеру агентом венгерской политической полиции и продолживший ее в гестапо, французском «втором бюро» и в американской разведке.

*

Кадар — министр внутренних дел, а заболевшая госпожа Райк лежит в подвальном каземате тюрьмы АВО. По приказу свыше у нее отняли сына. Долгое время мы все, заключенные в ту пору в соседних камерах, думали, что роль, сыгранная восприемником Ласло Райкамладшего в трагедии Райка-старшего этим и исчерпывается. Спустя несколько лет мы удостоверились, что ошибались.

В 1951 году арестовали и самого Яноша Кадара. Его арест, конечно, должен был быть для него большим ударом, но отнюдь не неожиданностью.

Кадар, доверенное лицо Ракоши, сам ответственный за подготовку и ведение многих показательных процессов, знал, что жизнь партии состоит из бесконечного ряда больших и малых показательных процессов. Практика «критики и самокритики» в повседневной жизни партии есть не что иное, как процесс самобичевания в миниатюре, в котором члены партии сами на себя взваливают надуманные обвинения.

Таковы малые показательные процессы в повседневной жизни партии. Большие же процессы с показательным самобичеванием служат руководству для того, чтобы через известные промежутки времени избавляться от слишком самостоятельных товарищей и, одновременно, для пропаганды новой политической линии партии. Они, кроме того, поддерживают атмосферу террора, необходимую для сталинской системы.

Кадар всё это хорошо знал. Но он не верил, что сам попадет в число жертв после того, как он столь долго жертвовал другими. Удар был ему нанесен с исключительной жестокостью. После своего освобождения, три года спустя, он описал центральному комитету партии, как его пытали. Его мучителем была «известная в общественной жизни личность», подполковник госбезопасности Владимир Фаркаш, сын министра обороны и заместителя генерального секретаря компартии Михала Фаркаша. Этот человек избил Кадара до потери сознания. Когда же тот пришел в себя, Владимир Фаркаш стал мочиться ему в лицо. «Мы не можем, — заключил тогда свое сообщение Кадар, —

бездеятельно наблюдать, как каждый в нашей стране находится под угрозой таких методов госбезопасности».

Кадара долго пытали: он по личному опыту знал, что обещания, даваемые кандидатом на показательный процесс, не сдерживаются и поэтому не подписывал требуемых от него признаний. Вообще же с главными руководителями с самого начала обходятся с крайней жестокостью. Их унижают и пытаются, чтобы они забыли о том, что некогда были значительными лицами. «Мы выьем из твоей шкуры членство в Политбюро!» — воскликнул в первые же дни один из мучителей Кадара.

На различных людей пытки действуют по-разному. Это общеизвестная истина. Какое действие произвели они на Кадара, можно только предполагать. Вероятно, они на него подействовали так же, как шестнадцатилетнее заключение на Ракоши, — он, по-видимому, стал еще бесчеловечнее, или, если можно так выразиться, подчеловечнее.

В 1951 году, когда я уже успел превратиться в истощенного узника тюрьмы госбезопасности Вац, меня в «черном вороне» доставили в главную квартиру будапештского АВО на улице Фо. Подполковник АВО Матьяш Карольи заявил мне, что Кадар и некоторые его друзья «совершали отвратительные дела и должны быть ликвидированы». Неделями меня «допрашивали» о Кадаре и его друзьях. Когда я после этих допросов вернулся в свою камеру к своему товарищу по заключению, известному венгерскому писателю Палу Игнотусу, то выяснилось, что и он был предназначен в «свидетели» и что он тоже отказался изобретать против Кадара ложные показания. Наше мнение о бывшем министре внутренних дел, в правление которого мы свыше года подвергались пыткам, не было высоким, но мы также не желали оказаться подмастерьями у АВО и массового убийцы Ракоши, сводящего счеты с одним из своих сообщников.

В начале декабря 1951 г. нас снова повезли в главную квартиру АВО, где 11 декабря происходил суд над Кадаром. Кроме обвиняемых присутствовали лишь чины АВО. Я должен был выступать в качестве свидетеля первым. На скамье подсудимых сидели Янош Кадар и трое других партийных чиновников. Хотя их так же жестоко пытали, как и Кадара, в выражении их лиц было некоторое достоинство, ранее им неизвестное. Лицо же Кадара, напротив, было ужасающим. Он смотрел на меня остановившимися от страха глазами. Он знал, что я имел все причины его ненавидеть. Он знал также методы АВО и ожидал худшего. Остальные трое смотрели на меня с надеждой. Один даже мне улыбнулся.

Низкое творенье, бывшее председателем суда, некто д-р Ионас, (за год перед тем он приговорил меня к пятнадцати годам тюрьмы на основании вымышленных обвинений) прочел сформулированные АВО вопросы. Он стал явно нервничать, когда я вместо ожидаемых ответов ограничился общими замечаниями. Имен обвиняемых я вообще не упомянул. Вторым свидетелем был Игнотус. Он также ответил общими рассуждениями о политике, не назвав ни одного имени.

Но вернемся к лицу Кадара. Перед своим выступлением каждый свидетель должен был по требованию председателя взглянуть в лица подсудимых и сказать суду, известны они ему или нет. Я для этой

процедуры употребил как можно больше времени. Надо заметить, что я долгий срок просидел в одиночной камере никого не видя, но и затем, после приговора, видел лишь моих сотоварищей по заключению и двух-трех уголовников, бывших тюремными сторожами. При подобных обстоятельствах каждое новое человеческое лицо становится в своем роде событием. И глаза смотрят острее и видят больше, чем обычно. Я вглядывался в четыре мне уже известных лица: в Кадара и трех обвиняемых вместе с ним. Один из них был раньше достаточно вымуштрованным и бессовестным партийным сановником. Теперь, после длительных пыток, его лицо стало заметно человечнее. Последний подсудимый, Шандар Харашти, старый гордый революционер, был даже по-своему почти красив. А лицо Кадара искажалось всё более и более . . . Его черты выдавали что-то трусливое и, одновременно, дикое.

*

Воздействия пыток и одиночного заключения на Кадара можно проследить по его поведению после выхода на свободу в 1954 году. В 1953 году — во время антисталинской оттепели — венгерским премьер-министром стал Имре Надь. Однако сталинец Ракоши оставался вождем партии. В борьбе с последним Имре Надю удалось выпустить из тюрем и концлагерей около девяти тысяч политических заключенных. В числе первых освобожденных находился и Кадар со своей группой; в начале осени за ними последовали тысячи других.

Начиная с лета 1954 г. в продолжение года (до лета 1956 г.) в рядах и вне рядов компартии развивалось и усиливалось движение против диктатора Ракоши и сталинского террора вообще. Янош Кадар лично никогда не выступал против Ракоши, он пытался лишь создать впечатление, что он против системы террора.

Имре Надь боролся с этой системой. Но его усилия саботировались мощным партийным аппаратом, находившимся в руках Ракоши. Все антисталинцы в партии сплотились вокруг Имре Надя, но лишь немногие из них находились на ответственных и влиятельных постах. Огромное большинство тогда еще бессильного населения было на стороне Надя, так же, как и многие мелкие партийные и государственные чиновники. Позиция Кадара в этой борьбе была решающей, вернее, могла быть таковой. Он был секретарем одного из важнейших округов; к тому же, все знали, что он вскоре продвинется на еще более ответственный пост. Но он ничего не предпринял, если не считать уже упомянутой речи в Центральном Комитете партии.

Позже мы узнали о нем еще кое-что. После своего освобождения из тюрьмы в 1954 году он посетил точно так же выпущенную на свободу госпожу Райк. Когда-то она спасла Кадару жизнь. Ее муж был лучшим другом Кадара. А Кадар, как министр внутренних дел, участвовал в показательном процессе, закончившемся тем, что Райка казнили, а жену его заключили в тюрьму.

Приход Кадара глубоко ее потряс. Он рассказал ей, что был тем, кто, следуя указаниям Ракоши, давал Райку фальшивые обещания с целью выудить у него ложные показания.

— Простишь ли ты меня? — спросил Кадар. Госпожа Райк, помолчав некоторое время, ответила:

— Я тебя прощаю. Моего мужа убили бы при всех обстоятельствах. Это было решено Сталиным, генералом Белкиным и Ракоши. Если бы ты отказался, лысый убийца (прозвище Ракоши в Венгрии) нашел бы других послушных исполнителей.

Наступило молчание. Затем госпожа Райк продолжала:

— Но прощаешь ли ты самого себя?.. Не отвечай мне теперь... Есть нечто более важное. Если ты хочешь жить как порядочный человек, ты должен сказать всей Венгрии, всему миру о тайнах процесса Райка и о роли, которую ты в нем играл.

(Госпожа Юлия Райк тогда рассказала об этом свидании лишь немногим людям. Но когда в 1956 г. Ракоши воспроизвел перед членами центрального комитета записанный на ленту разговор между Райком и Кадаром, она рассказала о своей встрече с Кадаром всем своим друзьям и знакомым, в том числе и мне).

Кадар, казалось, имел тогда еще в себе нечто вроде совести. Зачем ему было нужно, по сути говоря, навестить госпожу Райк и рассказать ей то, что тогда никому не было известно? Кадар, по-видимому, свое признание в то время рассматривал, как первый шаг в ряду дальнейших шагов, но их не последовало: у Кадара не хватило мужества открыто признаться в своих поступках.

*

В 1955 г. Ракоши усилил свою кампанию против Имре Надя. Кадар пассивно наблюдал, как Ракоши удалил его из правительства, и, наконец, даже исключил из партии. Но в течение 1956 г. антисталинское движение в Венгрии достигло своего апогея. Со всех сторон раздавались требования привлечь Ракоши к ответственности за показательные процессы и массовые убийства. Центральному Комитету и членам Политбюро стало ясно, что Ракоши, ради спасения собственной шкуры, должен будет пожертвовать некоторыми своими близкими сотрудниками. Они полагали, что Кадар будет приемлемым наследником Ракоши — мнение, которое поддерживал и сам Кадар.

Ракоши прослышал об этом плане и принял контрмеры. На очередном заседании Центрального Комитета он сделал несколько замечаний о «неумном поведении товарища Кадара, который присоединился к людям, требующим наказания всем виновникам в процессе Райка». После этого, венгерский диктатор с довольным лицом повернулся к одному из своих сотрудников и попросил его включить поставленный тут же магнитофон.

С удивлением и волнением члены Центрального Комитета слушали разговор, происходивший семь лет тому назад между убитым в 1949 году Ласло Райком и Яношом Кадаром в помещении главной квартиры АВО на улице Андраши № 60. Кадар уговаривал Райка, своего лучшего друга, признаться во всем, что от него требовали АВО и генерал Белкин.

При этом Кадар не делал тогда ни малейшей попытки представить Ракоши, как преступника. Да, подчеркивал он неоднократно, Райк явно невиновен. Единственным аргументом Кадара было: мировой коммунизм спешно нуждается в признаниях, ибо это единственный способ разоблачить роль Тито. Он напомнил Райку, что и Тито был неодно-

кратно готов пожертвовать своей жизнью ради партии. От него же партия не требует столь многого, а только лишь моральное самоубийство. После того, как о его казни будет официально объявлено, он вместе с женой и сыном отправится на отдых в Крым. После известного времени Райк, под другим именем, получит ответственную партийную должность в какой-либо отдаленной области России. Партия ему за это будет благодарна.

Разговор доказывал, что Райк, несмотря на многие недели бессоницы, голода и пыток не сразу дал Кадару себя убедить. Кадар уговаривал его, льстил ему, обещал звезды с неба — Райк от всего отказывался. Он считал, что никто не поверит, что он, будучи с ранней юности членом партии и убежденным коммунистом, мог оказаться полицейским агентом, да еще к тому же работать одновременно на дюжину разведок, включая и гестапо.

«— Что вы выиграете от того, если докажете, что я всегда был негодяем? — спрашивал Райк. Если вам уж так непременно нужен виновный, вы можете объявить, что я организовал заговор против Ракоши. Это тоже неверно, но, по крайней мере, звучит убедительно».

Кадар отвечал ему, что для того, чтобы поднять против Тито простых людей, Райк должен быть заклеен как полный, окончательный негодяй. Наконец, Райк пообещал еще раз пересмотреть предложение Кадара. Кадар дал честное слово, что сразу же после процесса Райк с женой и ребенком отправится в один из роскошных советских санаториев. Госпожа Райк в это время уже сидела в тюрьме. Ее мальчика, под ложным именем и после уничтожения метрического свидетельства, отправили в детский дом.

Члены Центрального Комитета и некоторые высшие партийные чиновники, всего около пятидесяти человек, вспоминали в эти минуты, пока крутилась лента, судьбу Райка и его семьи. Райк не получил возможности обменяться последними словами с женой. Еще в день казни он верил, что партия сдержит свое обещание. В Будапеште все знали, что один из старших офицеров АВО должен был покончить с собой после того, как он, посвященный в тайнуговора, сделал некоторые неосторожные замечания. Шептались также о том, что некоторые из осужденных, стоя под виселицами, закричали: «Вы нас обманули!»

Янош Кадар слушал ленту, опустив голову. Несколькими годами раньше, в тюрьме АВО, чекисты его глубоко унизили. Теперь это прошлое вновь всплывало и бесчестило его перед лицом пятидесяти присутствующих. Он должен был считать свою политическую карьеру конченной: скоро о его преступлении узнает весь венгерский народ. Но тут вмешался случай или, если угодно, судьба в лице министра юстиции Эрика Мольнара, приверженца Кадара: Мольнар попросил чиновника еще раз пустить ленту. В первый раз, очевидно, что-то было не в порядке: собравшееся руководство услышало начало разговора, которое при первой демонстрации было от него утаено. Янош Кадар говорил своему другу Ласло Райку:

«— Дорогой Лачи, я пришел к тебе по поручению товарища Ракоши. Он просил меня объяснить тебе обстановку. Конечно, мы все знаем, что ты невиновен... Ракоши, однако, держится того мнения, что ты должен войти в наше положение. Лишь действительно великие това-

рищи могут взять на себя роль, которая поручена тебе. Товарищ Ракоши просил меня объяснить тебе, что ты окажешь историческую услугу коммунистическому движению, если последуешь нашим указаниям . . .»

Любая группа нормальных людей после таких разоблачений (Ракоши слушал с побагровевшим лицом) немедленно бы постановила исключить из партии и арестовать и Ракоши и Кадара. Но Центральный Комитет коммунистической партии не состоит из нормальных людей. Эти люди видели лишь последствия, которые имела бы подобная реакция для них самих, т. к. некоторые из них опасались рано или поздно стать объектами таких же разоблачений. Само собой разумеется, что Кадар не знал о том, что его разговор с Райком увековечен на ленте.

Весть о заседании ЦК стала распространяться по стране. Члены ЦК рассказали о нем ближайшим друзьям, те передавали ее дальше, и некоторое время спустя о заседании ЦК знал «каждый». Позже — во время революции — я был свидетелем, как три члена ЦК рассказывали эту историю нашему комитету. (Революционному комитету Союза Венгерских Писателей. — *Примечание переводчика*).

Случай с магнетофоном разыгрался в мае. 18 июля 1956 г. Микоян произвел смещение Ракоши. Его наследником был назначен Эрне Гёре. В Венгрии и в Польше началось всеобщее брожение.

*

К изумлению многих Кадар не считал нужным уйти с арены политической жизни. Он переживал внутренний процесс, который я бы обозначил, как «контролируемую шизофрению», как сознательное смещение самообмана и цинизма, одержимости с чистейшим оппортунизмом.

Во время Венгерской революции, после падения Гёре, он стал генеральным секретарем более не существовавшей в тот момент коммунистической партии Венгрии. Рабочие сталелитейного завода в Чепеле разорвали свои партбилеты и сожгли их перед разрушенным ими же памятником Сталину. Подавляющее большинство членов партии во дни революции выступило против режима. В многочисленных речах Кадар должен был открыто признавать все ошибки и преступления прежнего руководства. Он объяснил, что в будущем партия будет держиваться только правды. 30 октября он заявил по радио: «Наши чистые и справедливые идеалы мы должны были осуществлять чистыми и справедливыми средствами».

В это время Кадар входил в состав правительства Имре Надя. 30 октября последний объявил по радио о победе революции. Его речь закончилась восклицанием: «Да здравствует свободная, независимая, демократическая Венгрия!»

Вскоре после этого выступил Янош Кадар. Он сказал:

«Я торжественно заверяю, что все члены президиума МПТ (коммунистической партии) целиком и полностью поддерживают решения председателя правительства. Со своей стороны я могу удостоверить, что я целиком и полностью одобряю всё сказанное прежде выступавшими моими друзьями и высокоценными соотечественниками Имре Надем, Золтаном Тильди и Ференцем Эрдей».

Итак, еще 30 октября Имре Надь входил в число «высокоценных соотечественников» Кадара. 31 октября и 1 ноября Кадар принимал участие в работе революционного правительства. Вечером 1 ноября он незаметно покинул здание парламента, где заседало правительство, и отправился под защиту советского главного командования. В этот момент, очевидно, в Москве уже решили раздавить венгерское освободительное движение.

1 ноября под председательством Кадара был организован семичленный подготовительный комитет для основания новой коммунистической партии. Шесть других его членов в настоящее время либо расстреляны, либо арестованы. Это заставляет предполагать, что Кадар получил инструкции из Москвы лишь после первого заседания комитета.

4 ноября в 4 часа утра начался штурм Будапешта советскими войсками. Четыре с лишним часа спустя, в 8 ч. 15 мин. утра балканская служба московского радио объявила о создании нового правительства Кадара. В 8.30 балканская служба огласила воззвание нового правительства, содержавшее пятнадцать пунктов. Пункт 14 гласил:

«Венгерское Революционное Рабоче-Крестьянское правительство в интересах нашего народа, нашего рабочего класса и нашей родины обратилось к главному советских войск с просьбой помочь нашему народу разбить темные силы реакции и контрреволюции и восстановить социалистический народный режим, мир и порядок в нашей стране».

Позже Кадар неоднократно повторял, что его правительство просило советскую власть о вторичной интервенции. Однако, как следует из воззвания, новое правительство обратилось к главному лишь спустя несколько часов после начала советской интервенции.

В начале января 1957 г. Кадар дал свое долгожданное основное политическое заявление. Нам достаточно привести из него лишь одну цитату:

«Предательство правительства Имре Надя открыло дорогу контрреволюции, чьей целью было разрушить венгерскую народную демократию и отдать страну во власть капиталистов, фашистов и помещиков».

Трудно в одной единственной фразе нагромоздить больше лжи о венгерском народе. Выходившие во время революции газеты и листовки, которые еще и сейчас прячет у себя большинство венгров — документальное доказательство того, что ни одна возникшая во время революции партия или политическая группа не желала господства помещиков или капиталистов, и что все они вместе были настроены антифашистски.

Янош Кадар, естественно, знает, что венгерскому народу не нужны даже подобные документальные данные, чтобы вспомнить истину. Это его не тревожит, ибо он пренебрегает людьми. Единственное, что его занимает, это власть.

Теперь Кадар у власти. В стране, где вновь господствуют убийцы, доносчики и секретная полиция; в стране, где почти каждый должен считаться с возможностью внезапного ареста и казни, где вряд ли найдется хоть один человек, верящий Кадару. Он достиг своего зенита. Он — великий коммунистический вождь.

Перевод А. Неймирока

Анатолий Орлов

Дагестанское восстание 1934-35 годов

(Из опыта вооруженных восстаний)

1. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОН И ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ

Прежде чем приступить к описанию Дагестанского восстания 1934—1935 гг., необходимо вкратце ознакомить читателя с территорией и обстановкой, где и при каких условиях происходили эти кровавые события.

Дагестанская АССР расположена в северо-восточной части Кавказа, между главным Кавказским хребтом и Каспийским морем. На юге она граничит с Азербайджанской ССР, на западе и севере — с Грозненской областью РСФСР. На востоке омывается Каспийским морем. Территория составляет 38,2 тыс. кв. км. Но редко где можно встретить на такой, сравнительно, незначительной территории такое разнообразие природных условий. Северо-западное побережье Каспийского моря — песчаные пустыни, полынная степь, колоссальные болота — поймы мощных рек. А Дагестан — это пышная субтропическая растительность, лесистые невысокие горы, скалистые ущелья, напоминающие Памир, сосновые леса, альпийские луга и снежные вершины.

Население насчитывает более миллиона жителей и состоит из 32 народностей, говорящих на различных языках-наречиях. Доминирующей национальностью там не существует. Крупнейшими являются аварцы, лезгины, даргинцы, кумыки. Русские и другие недагестанские народности составляют около 50% всего населения и живут, главным образом, в городах и на равнинах: в Кизлярском, Ачикулакском, Шолковском районах.

В историческом прошлом Дагестан являлся местом столкновения «волн народов», двигавшихся с юга на север и с севера на юг. Около Дербента (что в переводе означает «Железные Ворота»), в наиболее узком проходе между морем и горами, сталкивались эти «волны».

Дагестан для большевиков, с самого начала захвата ими власти в России, оказался твердым орешком. Так, например, крупный коммунистический деятель, член ЦИК партии большевиков Дагестана, Н. Самурский, по национальности даргинец, в книге «Красный Дагестан» писал следующее: «Установление советской власти в Дагестане вызвало бешеное сопротивление феодалов, духовенства и кулачества. К началу сентября в соседнем с Грузией горном Гунибском округе вспыхнуло

контрреволюционное восстание. Центр его определялся именно близостью к Грузии, т. к. инициатором и организатором этой авантюры было грузинское меньшевистское правительство Жордания-Рашишвили».

Во время нэпа в Дагестане никаких больших всплесков против власти не происходило и в горных аулах и кишлаках почти не ощущалось присутствие большевиков.

Первым тревожным сигналом для горцев явилась насильственная коллективизация, начавшаяся в 1929 году, в приморской полосе. В горах она еще не проводилась, но слух о том, что делалось на равнине, сразу дошел до горных жителей.

Нужно хорошо знать горные дороги и тропы Дагестана, все его естественные преграды, воздвигнутые природой для разобщения людей, чтобы по-настоящему понять и удивиться, как люди, несмотря на всё это, общаются здесь не в пример легче, чем те же жители степей Украины или России. В горном Дагестане переход из аула в аул, от кишлака к кишлаку является если не подвигом и риском, то, во всяком случае, большим трудом. Вести же разносятся в горах с изумительной быстротой, будто бы страна вся окутана телеграфными и телефонными проводами.

Итак, всё, что происходило на равнинах, глубоко взволновало и обеспокоило горцев.

В 1929 году во многих аулах стали собираться джематы (собрания), на которых обсуждались тревожные слухи и дела. Здесь следует подчеркнуть одну общую психологическую черту дагестанских горцев: дагестанцы очень дисциплинированные, знают что, где и когда сказать, а о чем, где и когда смолчать. Говорят они бойко, дипломатично, взвешивая каждое свое слово. Невольно возникает вопрос: кто успел и сумел таким образом воспитать дагестанцев? Некоторые историки, как например Гассан Лавиров (см. «История Дагестана». Дагестанский архив 1899 г.), доказывают, что это передающееся по наследству от отца к сыну воспитание Шамиля. Но едва ли можно с этим согласиться... Скорее, это наследие более отдаленных времен, которое и сам Шамиль получил от своих предков.

1929—1932 годы были годами упорной борьбы и сопротивления крестьянства советской власти. В этот же период огромные силы большевиков были направлены и на уничтожение казачества.

Ввиду больших трудностей проведения одновременной коллективизации по всей стране, коллективизация в горном Дагестане началась с большим запозданием — только в 1934 году.

Она и послужила сигналом к Дагестанскому восстанию.

Можно с полной уверенностью утверждать, что восстание было подготовлено заранее. Многие факты и данные говорят именно за это. Население горного Дагестана следило долго и внимательно за развивающимися событиями и было хорошо о них информировано. Об этом говорят следующие факты: в феврале 1930 года на Кубани происходили повальные аресты и высылки целых станиц. Так, например, девять кубанских станиц — Полтавская, Медведовская, Уринская, Уманская, Незамаевская, Ладожская, Старо-Деревянковская, Старо-Корсунская и Ново-Деревянковская — и четыре донских — Мешковская, Старо-

Щербинская, Боковская и Платнировская — попали под выселение на Дальний Север.

Ростовская краевая газета «Молот» за февраль 1932 года, в передовой статье, за подписью первого секретаря Азовско-Черноморского крайкома партии Шеболдаева, писала:

«... Кулацкие элементы открыто демонстрировали свою звериную ненависть к стране Советов... Нам могут сказать, что наши меры чрезвычайно жестоки. А как же? Разве у нас не было такого положения, что заводы давали целые полки белогвардейцев? Разве у нас не было Кронштадта?..»

В это же самое время в «Дагестанской правде» была напечатана статья под заглавием «Враг не дремлет», в которой сообщалось:

«... Более того, ни Дон, ни Кубань не одиноки. Опыт саботажников Северного Кавказа не учтен. На Урале, на Нижней Волге, в Закавказьи и, наконец, у нас в Дагестане — на всем этом громадном пространстве кубанские саботажники имеют близких им по духу врагов пролетарского государства».

И эти газеты, равно как и рассказы очевидцев, конечно, проникали во все уголки необъятной страны. Но главное, что послужило моральной опорой дагестанским горцам в их борьбе против коммунистической тирании, это сотни и тысячи беглецов, которым удавалось скрыться от преследований власти. Так, беглецы с Украины, Дона и других мест появлялись в глухих местах Закавказья и Дагестана. В этом я лично убедился в 1931 и 1932 годах, когда мне пришлось с командой альпинистов-спортсменов провести время в горной части Дагестана и посетить самые отдаленные его уголки. Иногда в глухом ауле, маленьком кишлаке, на высоте 4—5 тысяч метров над уровнем моря, я встречался с кубанцами, донцами, сынами широкой Волги и прекрасной Украины, которым охотно давали приют и убежище местные горцы. Дагестанцы, конечно, хорошо знали, что час расправы с ними приближается. Советские газеты всё чаще и чаще писали о том, что пора приступить к полной ликвидации кулачества, гнездящегося в горах Закавказья и Дагестана.

В 1933 году в столицу Дагестана Махачкала стали прибывать внутренние части войск НКВД или, как их называли местные жители, «краснобаши». Одновременно местные власти повели наступление на церковнослужителей. Каждую ночь в горах и селах приморского Дагестана шли аресты. В те годы местное НКВД возглавлял некто Алиев. Небольшого роста, коренастый, с черными пронзительными глазами, он был пугалом для всего населения. Будучи местным жителем, по национальности даргинцем, он проявлял бешеную активность и энергию. Он терроризировал всё мирное население; аресты, показательные процессы в судах, провокации и административные высылки на Дальний Север сыпались на население края, как из «рога изобилия». В милиции Алиев произвел жесточайшую чистку — весь ненадежный, с его точки зрения, «элемент» исчезал в подвалах НКВД. В помощь местным партийным органам он создал из комсомольцев всех национальностей так называемую «осад-милицию». Пущены были в ход все известные средства — слежка, доносы, шантаж и, как следствие — массовые аресты. Его «осад-милиция» была вооружена наганами послед-

него образца. Кроме этого, к концу 1933 года все автомашины советских учреждений были мобилизованы; с шоферов бралась подписка, что они по первому требованию НКВД должны являться, каждый со своей машиной, в любой указанный им пункт, конечно, с принятием на себя обязательства неразглашения тайн. В горы Дагестана Алиев забрасывал большое количество сексотов, вербуя их всякими путями из среды местных жителей, знающих те или иные наречия горцев. Но из последнего мероприятия Алиева мало получалось толку, потому что в силу сохранившегося в горах «адата» горцы не шли ни на провокацию, ни на предательство.

Директивы Москвы в это тревожное время шли по двум направлениям: по линии партии и НКВД. Действия этих двух всемогущих организаций были согласованными. Большой и решающей силой, на которой базировались расчеты Алиева, была мощь внутренних войск НКВД. Как уже упоминалось выше, в Приморском Дагестане в 1933 году их было немало. Солдаты этого рода войск, вооруженные до зубов, откормленные, молодые и сильные, не вступающие с населением в разговоры, именно и являлись основной ставкой советской власти в борьбе с населением. Эти «отборные» воинские части состояли из лиц всех национальностей: среди них были русские, украинцы, белорусы, татары, армяне. Спецчасти же состояли только из грузин. Советское правительство учитывало все трудности борьбы, и это было совершенно ясно. Алиев делал всё возможное, чтобы облегчить путь в горы: местные власти старались во что бы то ни стало создать в горах свой актив; было сделано много попыток перетянуть на свою сторону молодежь. Причем, в этом случае применялись все меры, начиная с посул всяческих заманчивых благ и кончая провокацией. Но все это, помогающее иной раз в других местах, здесь разбивалось о стойкость и упорство горцев.

Власть стала побаиваться возможности восстания, хотя для этих опасений данных у нее тогда почти еще не было.

В Дагестанском восстании 1934—35 гг. национальная проблема не играла никакой роли. Борьба фактически велась только против власти. Как со стороны повстанцев, так и со стороны усмирителей восстания участвовали представители различных национальностей, населяющих Советский Союз. Конечно, в процентном отношении подавляющее большинство восставших составляли местные жители, но подобное явление вполне закономерно. Экономические мотивы явились решающими в вопросе восстания. Следует тут оговориться, что в отдельных случаях, о которых я буду говорить ниже, религиозные вопросы имели несомненное влияние на ход событий. Но наличие в рядах повстанцев большого количества мулл, принимавших в борьбе активное участие и сумевших в отдельных случаях внести в нее религиозный фанатизм, скорее повредило успеху дела, чем помогло. Что было характерным для событий того периода — это полное отсутствие ненависти к русским. Вся злоба, все обиды, протест, как правило, были направлены против представителей коммунистической власти: членов партии, ответственных работников и подхалимов.

Разбирая Дагестанское восстание, необходимо помнить, что большинство горцев, будь то аварцы, лаки, лезгины, кумыки и др., сохра-

няли свою самобытность и почти не были заражены коммунизмом. Их религиозность, верность обрядам и обычаям, которые носят название «адат», помогли им сохранить свою цельность. К тому же, следует учесть еще и то обстоятельство, что власть на местах состояла из своих же горцев, которые, учитывая психологию и обычаи населения, не особенно стремились перегибать палку. Без специальных директив свыше они старались оставаться в тени. Жизнь каждого партийца постоянно находилась в опасности. В те годы кровная месть еще не была изжита. Обычное, к сожалению, для русских оскорбление имени матери нецензурным словом в Горном Дагестане могло легко окончиться метким ударом кинжала. О смелости дагестанцев говорить не приходится. Хочу только напомнить читателю, что во время покорения Кавказа из всех кавказских народностей русские штыковые атаки выдерживали одни дагестанцы. В книге «Записки генерала Ермилова», изданной в 1878 году, сухим военным языком сказано: «... Горцы Кавказа бесстрашны, верны данному слову и, как враги, опасны».

Большое значение для восставших имело то обстоятельство, что Дагестан граничит с Грузией. Как известно, Грузия расположена рядом с Дагестаном, но их разделяет стена из громадных скал, загораживающая узкое ущелье. Чтобы проложить дорогу из Грузии в Дагестан, нужно было пробить эту стену. Многократные попытки царского правительства создать горный проход, не увенчались успехом. Советской власти, еще во времена нэпа, с большим трудом удалось построить дорогу, так называемую Аваро-Кахетинскую. Учитывая всю важность этого стратегического пункта, советское правительство на всем протяжении новой горной дороги расставило сторожевые пункты. Охрану этого перевала несли красноармейцы 39 Краснознаменного стрелкового полка. Во время первой фазы восстания участникам удалось врасплох захватить охрану и удержать в своих руках перевал, что в дальнейшем помогло многим многим борцам при разгроме восстания спасти свою жизнь. Молодежь горных аулов и кишлаков в большинстве случаев сражалась в рядах повстанцев. В то время комсомольские ячейки в Горном Дагестане были малочисленны и неактивны. Попытки некоторых старых партийцев из местного населения организовать комсомольцев — не удалось. Хорошо организованная контрразведка партизан сумела вовремя эти маневры обезвредить.

Совсем иначе обстояло дело в Приморском Дагестане. Несмотря на то, что подавляющее большинство населения, независимо от национальности, было на стороне восставших, террор и провокация, умело использованные большевиками, сделали всё-таки свое пагубное дело. Алиеву, как я упоминал выше, удалось создать из молодежи «боевые резервы». Они оказались в непосредственном подчинении внутренних войск НКВД. Правда, в самый разгар жарких событий много молодых и честных перешло на сторону повстанцев.

Для горца-дагестанца колхозная система, которую хотели насильственно провести большевики, была ужасна по многим причинам. Главным же образом потому, что весь уклад его жизни веками строился на частной собственности. Неприкосновенность жилища — это для горца вопрос жизни и смерти. Самостоятельность и независимость в вопросах личного характера были вековой привычкой. К этому еще

немалую роль играл весь уклад его семейной жизни. Оберегать свой очаг от постороннего вмешательства — для мусульманина священный долг. И вот все эти, веками созданные правила и неписанные, но твердые законы, должны были рухнуть. Гонение на религию окончательно переполнило чашу терпения горцев.

Началом восстания можно считать март-апрель 1934, концом его — октябрь 1935 года. Активные действия начались в мае 1934 года. Начало его было многообещающим. Старые опытные вожди, горная местность, единодушные населения, прекрасная оперативная осведомленность, огнестрельное оружие (хоть и старого образца), быстрота и внезапность первых нападений, а главное, одновременность выступления — всё являлось залогом успеха.

Местность, охваченная восстанием, простиралась за речку Кара-Койсу, которая является, собственно, естественной границей между Горным Дагестаном и приморской полосой.

Очагом Дагестанского восстания, как и в прежние времена, был Гуниб. Гора Гуниб — природная цитадель, и с высоты ее, действительно, можно царить над всем Дагестаном. «Гуниб — это громадная, наподобие усеченного конуса, особняком стоящая гора, с ее верхним стеноподобным карнизом, который мастерски выведен как бы зодчим-исполином, чтобы окружить неприступной твердыней самую верхнюю площадь горы, снабженную всякими угодьями: и водой, и лесом, и полями. Эта величавая и своеобразно красивая горная громада сама по себе служит наилучшим и самым красноречивым монументом в память совершившихся здесь событий. Всё, что на ней устроено до сих пор, всё это, перед ее массивностью и величавостью, весьма мизерно». На самой вершине горы Гуниб раскинулся большой аул под тем же названием. Этот аул — районный центр. Близость других аулов, расположенных на подступах Гуниба, как, например, Телетель, Кунам или Куйада, Корода, Андалал, Ури и Зиури, давали возможность организаторам восстания всегда располагать нужным количеством людей, откликнувшихся на их первый же зов. Мое знакомство с одним из главных организаторов восстания — Абу-Бекиром — произошло именно в Гунибе: в 1933 году я гостил у своего закадычного друга Назима Гассанова. Отец моего товарища пользовался в Гунибе большим и заслуженным авторитетом. Рустан Гассанов был интереснейшей личностью. Девяностопятилетний старик, еще бодрый и сильный, он казался несокрушимым вековым дубом. Обладая для своих лет поразительной памятью, он рассказывал о походах и битвах Шамиля. Глубоко верующий, он в то же время не был религиозным фанатиком и, как это ни покажется странным, хорошо разбирался в происходящих событиях.

Впервые я увидел Абу-Бекира в доме Гассановых. Это был человек лет пятидесяти, худощавый, подвижной, маленького роста, ловкий и сильный. Юношеский блеск его глаз, взгляд твердый и пронизательный говорил о его природном уме. Как я узнал много позже, он был легендарной личностью Дагестана. Абу-Бекир, бывший соратник Гоцинского, сумел не только скрыться от большевистской расправы, но, живя под разными фамилиями, быстро и часто меняя местожительство, он сумел создать боевое повстанческое ядро со своим штабом. Будучи высоко образованным человеком, он знал все главные языки и наречия

Дагестана. Решительный и смелый Абу-Бекир был очень популярен среди населения: в каждом ауле у него были кунаки и названные братья (обычай, который в то время еще существовал в Дагестане). Горные проходы и козьи тропы для Абу-Бекира были родной стихией. Еще в первый период борьбы против коммунистической власти этот замечательный человек сумел завоевать любовь и дружбу горцев.

Начальником штаба повстанцев был некто Александров. С ним я познакомился в городе Дербенте еще в 1932 году. Но только спустя несколько лет я узнал, что Александров и Абу-Бекир были связаны узами тесной дружбы еще с 1917—18 годов.

Помню, как сейчас, загорелого, слегка согбенного человека, нервного и быстрого, с добрыми яркими глазами и с большим выпуклым лбом чуть-чуть лысеющей головы. Таков был Александров, старый офицер, служивший еще при Бичерахове, пользующийся большой известностью в горах Дагестана.

Третьим руководителем и крупной фигурой восстания был большой советский чиновник, член партии с 1917 года, в прошлом — верой и правдой служивший большевикам, идейный революционер, хорошо знавший самого С. Орджоникидзе, дальний родственник Гассановых, — Сулейман Рамазанов. Умный, резкий и темпераментный, он быстро разобрался в сущности коммунизма. С. Рамазанов ловко скрыл от власти свое разочарование в большевистской революции и, надо сказать, он оказал много неоценимых услуг повстанцам. Его осведомленность в партийных делах и близость к Алиеву, которого он так умело обходил, — всё это давало возможность Абу-Бекиру и Александрову действовать в некоторых случаях наверняка. Здесь хочется подчеркнуть одну интересную деталь: если большевики могли легко объявить Абу-Бекира и Александрова «классовыми врагами» пролетарского государства, доказав их происхождение из «привилегированного сословия», то в отношении С. Рамазанова их карта была бита. Рамазанов, сын простого крестьянина горца-бедняка, был с их точки зрения безукоризненного происхождения.

Как человек С. Рамазанов был очень интересен: идеалист, искатель правды, он очень походил по характеру на Чапаева. Наружность Сулеймана Рамазанова стоит описать: широкоплечий, коренастый и мускулистый, он обладал медвежьей силой и всегда был готов прийти своим друзьям на помощь, не считаясь ни с какими препятствиями и опасностями.

В том же 1933 году, в столице Дагестана Махачкала, мне посчастливилось свести знакомство с еще двумя значительными руководителями восстания. Мой друг Назим Гассанов был послан своим отцом с поручением к друзьям. Я поехал вместе с Назимом. Поздним вечером, недалеко от центральной махачкалинской тюрьмы, в узком глухом переулке, в небольшом домике мы встретили тех, к кому были посланы. Нас приняли приветливо. В светлой, просто обставленной комнате, состоялось наше знакомство, перешедшее затем в самую крепкую дружбу, так трагически оборванную впоследствии . . .

Первым, кого мы увидели, был Шалико Вачнадзе, уроженец города Тифлиса, сын офицера 13 лейб-гренадерского Эриванского полка. Отец его был убит в 1915 году, на австро-венгерском фронте. Шалико

Вачнадзе был молодым стройным мужчиной лет 26—28. Черные бархатные глаза его смотрели ласково и внимательно. Говорил он с чуть заметным грузинским акцентом. Вторым был Аршак Полунцев. Местный житель, сын простого рабочего. Полунцев был вне подозрений у власти. Эти два лица также оказывали существенную помощь повстанцам. Шалико Вачнадзе, несмотря на свою молодость, был хорошим разведчиком. С большой ловкостью и врожденным тактом умел он проникать в высшие слои советской иерархии. В его умении доставать ценные сведения немалую роль играли женщины, у которых Вачнадзе пользовался большим успехом, сам умея оставаться холодным, расчетливым и действующим только наверняка. Для восстания он работал жертвенно и с энтузиазмом. Не было такого задания, за которое бы он не брался, не страшась никакого риска. Советскую власть он ненавидел лютой ненавистью. Никакой компромисс, никакая поблажка, никакие обещания не могли поколебать его отношения.

Аршак Полунцев был совсем иным. Пожилой, умудренный житейским опытом, он был вкрадчивым и на первый взгляд производил впечатление мягкого человека. У Полунцева были громадные связи и знакомства по всему Северному Кавказу. Его умение всё доставать — было поистине изумительным (например, он обеспечивал восставших медикаментами). Его знакомства играли огромную роль: все те, кого вербовал Алиев из местного населения для засылки в горы, Полунцеву были прекрасно известны, и не успевали «осад-милиционеры» или комсомольцы-активисты доехать до места назначения, как весть о них была уже на месте.

Но несмотря на эти благоприятные обстоятельства, Абу-Бекиру и Александрову предстояли большие трудности. Наибольшее затруднение возникло в двух крупных отдаленных горных районах, — в Аварском и Андийском, где население было особенно враждебно настроено по отношению к советской власти. Руководителем этих районов был Мустафа Халилов. И он не желал подчиняться общему плану, выработанному штабом повстанцев. М. Халилов выдвинул свой план, который сводился, примерно, к следующему: во-первых, по его мнению нужно было объявить газават — священную войну; во-вторых, он рекомендовал целиком и полностью базироваться на священнослужителях, которые были фанатически настроены. Все боевые отряды он предлагал подчинить руководству единого вождя, которого он предлагал выбрать из своей среды. Большое честолюбие и стремление к власти толкали Мустафу Халилова на крайности. Цель восстания, по его мнению, заключалась в объединении всех мусульман под знаменем Ислама. К тому же он был ярким противником армии и горских евреев (которые, кстати сказать, живут не в малом количестве в Дагестане). По русскому вопросу он дипломатично не выдвигал никакой программы.

После долгих и тяжелых переговоров с большим трудом удалось Абу-Бекиру и Александрову договориться о совместных действиях с Мустафой Халиловым. Тут считая необходимым в доказательство вышеизложенного сослаться на официальные советские данные. В конце 1935 года, в последней фазе восстания, когда большевики уже были уверены в своей полной победе, в городе Махачкала была издана книга под названием «Красный Дагестан». В статье Н. Самурского, на стр.

28 читаем: «... Все эти успехи, конечно, не свалились с неба, а добыты настойчивыми усилиями дагестанской парторганизации при помощи и под руководством ленинско-сталинского ЦК партии и в ожесточенной классовой борьбе с врагами пролетарской диктатуры. В этой борьбе в первую очередь разгромлено духовенство. У него отняты все рычаги материального воздействия на население. Вакуфные имущества переданы комитетам взаимопомощи, сбор заката прекращен, шариатские суды ликвидированы решением трудящихся... Сотни мечетей за последнее время превращены колхозниками в клубы. Муллы и кади из знатных людей аула обратились в приживальщиков. Кулачество на плоскости ликвидировано, а в горах доживает последние дни. Вместе с влиянием духовенства подорвано и влияние патриархально-родовых пережитков, «честь рода» — «намус» — «долг кровавой мести» и тому подобные понятия кодекса родовой морали вызывают только насмешку среди дагестанских комсомольцев». (Разрядка моя. — А. О.). Более убедительных доказательств, чем признание официального органа советской печати, трудно найти. Тот самый факт, что Н. Самурский сознается в настойчивом и ожесточенном сопротивлении горцев власти, ярко иллюстрирует общую картину. Немаловажно также отметить, что даже к концу 1935 года, как подчеркивает Н. Самурский, в горах Дагестана «кулачество» еще не было сломлено окончательно. Н. Самурский употребляет слово «кулачество», которое, как хорошо известно, любимый термин коммунистической власти. Всех свободолюбивых крестьян и крепких хозяев власть окрестила этим «крылатым» словечком. В восстании 1934—1935 гг. большевики приписывали вначале руководящую роль священнослужителям. Только значительно позже, когда им удалось в процессе борьбы обнаружить организованные и крепко спаянные очаги сопротивления, они убедились в неверности своих предположений. То, что власти удалось обнаружить в первую очередь вождей Ислама — вполне естественно. Бесперывные и не ослабевающие схватки коммунистов с религией заставляли власть обращать сугубое внимание на служителей культа любого вероисповедания. Наибольшее количество сексотов и провокаторов засылали они именно в ряды проповедников слова Божьего. Кроме того, фанатики-муллы, во главе с Халиловым, хорошо известным жителям Дагестана, особенно в горных районах страны, выпустили прокламацию, которая попала в руки большевиков и явилась формальным поводом к усилению террора против церкви. Как документ прокламация, выпущенная в большом количестве, очень интересна. Для характеристики приведу ее по памяти почти полностью: «Правoverные! Настал тот долгожданный час, когда мы вместе с вами освободим от поработителей нашу родину. Каждый из вас обязан для торжества этой минуты отдать свою жизнь. Вы, как магометане, знаете: «Помощь бывает только от Бога, могущественного, мудрого». Да будет воля Аллаха! Вознесем совместную торжественную молитву Всевышнему, да услышит Он наше моление и дарует нам победу над безбожниками! О, Боже истины, Господи, ниспославший книгу, скоро рассчитывающийся, обрати вспять полчища неверных и помоги нам против них. Господи, даруй мир странам нашим и способствуй воинам нашим достигнуть блага в сей и будущей жизни. Господи, исправи му-

сульманских правителей и облегчи им искоренить дурные наклонности в народе и окажи им свои милости и благодеяния. Господи, помоги помогающему в вере и попри попирающего веру. О, Владыка миров, помоги нам против народа неверующего и спаси нас своим состраданием от притеснителей. О, Правоверные! Вы все должны стать на защиту народа нашего. Займите, где можете, горные крепости и становитесь для защиты границ наших от порабощителей. Чтобы сердце ваше было спокойно, перевезите семейства свои и имущества в места, защищенные и отдаленные. Сами же днем и ночью находитесь вблизи неверных, устрашайте их и стреляйте в них. Отсекайте головы тем, кто выскажет радость при проявлении их».

Это воззвание было подписано Советом Правоверных и распространялось по всей территории Дагестана, но ни в составлении, ни в распространении этого возвания Штаб Повстанцев не участвовал. Наоборот, Абу-Бекир неоднократно предостерегал Мустафу Халилова, чтобы он не форсировал события, потому что это может пагубно отразиться на общем деле. Пользуясь случаем, чтобы передать некоторые биографические данные Мустафы Халилова.

М. Халилов родился в начале 90 годов в селении Орота Аварского района. Отец его, Муса Халилов, был крупным землевладельцем. Революцию 1917—1918 гг. Мустафа принял враждебно. Примкнув с самого начала к отрядам «чалмоносцев-фанатиков», Халилов всю гражданскую войну яростно сражался против красных. Гордый и самолюбивый, мечтавший о славе и власти, Халилов в готовящемся восстании, в 1934 году, видел лишь путь к достижению своих целей, хотя ненависть к коммунизму играла не последнюю роль в его действиях.

В других районах Дагестана почти не было ни недоразумений, ни неувязок. Самым активным после Гунибского, был Кази-Кумухский район. В административном отношении он принадлежал к среднему Дагестану. Но жители этого района резко отличаются от остальных жителей Дагестана. Население Кази-Кумухского района называют себя «лаке». Советское правительство почему-то переименовало их в кази-кумухов, вероятно, по названию района. Лаке принадлежат к наиболее промышленным и предприимчивым жителям Дагестана... Главное селение лаков — Кумух (по местному произношению — Кумук). С первого же взгляда на Кумух, бросается в глаза, что селение это расположением своим и постройками значительно разнится от других селений Дагестана. Лаке насчитывают по советским статистическим данным (перепись 1928 года) сорок восемь тысяч жителей. Земли Кази-Кумухского района не хлебородны. Как правило, обитатели этого бедного района расходятся на заработки по всему северному Кавказу. Лучшими лудильщиками медной посуды и мастерами по металлу в Дагестане считаются именно лаке. Организовать в этом районе население и подготовить его к восстанию было сравнительно нетрудно. Сознательность жителей, их богатый житейский опыт и рабочая солидарность, которая выработалась на протяжении десятков лет, являлись благоприятными факторами в этом начинании. С русскими лаке познакомились в двадцатых годах прошлого века. Самой большой популярностью у лаков пользовался Александров. У него в этом районе были завязаны крепкие связи с местным населением еще с давних пор.

Им были созданы здесь боевые ячейки, во главе которых стояли молодые, хорошо проверенные люди. Принадлежность их к самым бедным слоям общества отстраняла от них всякое подозрение власти. Самым старшим по летам и опыту был тридцатилетний Годжа-Магомет Ухманов — сын лудильщика, окончивший семилетку в городе Дербенте. Он обладал ловкостью, настойчивостью в достижении цели и природным дарованием обходить препятствия. Его непосредственными помощниками и связистами с центром были: Селим-ага Самбиев, Сулейман-ага Махмудов и Ибрагим Чабаев. Это были совсем еще молодые люди. Их горькая доля и вера в лучшее будущее — были основными двигателями в борьбе против коммунизма. В районах Табасаранском, Баматулинском и Ахтынском у Абу-Бекира также были хорошо подготовленные отряды, под хорошим командованием. Некоторые из них, как, например, Амир Якубов, житель села Могох, Аварского района, и Акай Маибов были старыми соратниками Бекира. Из молодежи в этих районах у повстанцев был создан небольшой корпус лазутчиков. Тренировкой их занимался кубанский казак, бывший пластун-разведчик Михаил Рохманенко. Он родился в станице Кавказской и в 1929 году, когда началась коллективизация, успел выехать из родных мест и осесть в Дагестане.

В самом конце 1933 года Назим Гассанов был послан Александровым с боевым заданием в аул Дарго. Селение Дарго — бывшая резиденция Шамиля, — славилось на весь Дагестан неприступностью своих позиций. Лесистая местность, дикие, почти непроходимые ущелья, давали возможность повстанцам концентрировать большие силы именно в этом глухом районе. Тому, кто видел и знает густой, первобытный ичкеринский лес, охватывающий со всех четырех сторон Дарго, будет ясно, почему штаб повстанцев старался освоить эту, столь удобную как для обороны, так и для нападения местность.

По донесениям, полученным Абу-Бекиром из столицы Дагестана Махачкала, Алиев готовил большой отряд из милиционеров и комсомольских активистов для захвата именно этого района. По всей вероятности, Алиев из Дарго хотел создать предместное укрепление. В инструкции, которые получил Назим Гассанов от штаба, входило следующее: 1. Ни под каким предлогом не оказывать сопротивления отряду Алиева. 2. Замаскироваться в лесу и не проявлять себя. 3. После того, как враг займет позиции, постараться окружить его и по общему сигналу уничтожить.

В планы штаба повстанцев входили соображения следующего порядка: в 1933 г. внутренние войска НКВД в горы еще не посылались. Они концентрировались в приморской полосе и обычно ждали сигнала к атаке. Абу-Бекир с Александровым рассчитывали в первом же натиске на Алиевские отряды уничтожить местные силы, а затем вступить в бой с главными силами противника. Тонко задуманная операция, в основном, удалась повстанцам, чем и можно объяснить сравнительную продолжительность восстания. Другим районам, связанным со штабом, также были даны соответствующие указания.

По всей вероятности, власть, учитывая опыт прошлых войн на Кавказе, стремилась действовать по системе «постепенной атаки гор». Расчет был на энергию и предприимчивость Алиева, который вероят-

но и получил соответствующие указания свыше действовать в этом направлении. В самом начале 1934 года Алиев усилил наступательные действия на горы. Он пытался завладеть всеми важными пунктами в горах и укрепиться на них. Здесь считаю нужным отметить, что Алиев не учел одного обстоятельства, которое и дало вначале решающий перевес восставшим. Если бы силы Алиева стали действовать одновременно с внутренними войсками НКВД, то картина восстания была бы иной. Но, как я уже упоминал выше, о размахе восстания Алиев знал сравнительно мало, потому он и рассчитывал исключительно на свои силы. Он предполагал, что для окончательного разгрома духовенства этих сил вполне достаточно. Внутренние же войска НКВД являлись, по его мнению, резервом, который можно будет использовать только в самом крайнем случае.

2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ДАГЕСТАНЕ И РАЗМЕРЫ СОБЫТИЙ 1934—1935 ГОДОВ

В числе восставших были представители всех национальностей. Поскольку этот вопрос имеет большое политическое и историческое значение, считаю своим долгом остановиться на нем подробнее. Для более ясного понимания национальной проблемы в Дагестане необходимо привести несколько исторических справок. В 1813 году по Гюлистанскому договору Дагестан был формально присоединен к России. Но уже с XVII столетия начинает ощущаться здесь влияние русских. После похода Петра I на Индию в начале XVIII века России пришлось вести ряд кровопролитных войн с Персией за торговые пути и за побережье Каспийского моря, которое неоднократно переходило из рук в руки. Во все времена и эпохи Дагестан был ареной жестоких схваток многих народов. Так, например, с начала нашей эры и до VII века здесь боролись хозары с армянами и персами. В IV веке прошла волна гуннов. В VII веке (638 году), пришли арабы и после двухвековой борьбы с хозарами завоевали Дагестан и утвердили среди его народов магометанство. В XII веке на Дагестан распространила свое влияние Грузия. В XIII веке Дагестан был присоединен к царству Персидскому, в это время он представлял ряд мелких владений, враждующих между собой.

В 1859 году, 25 августа, в четыре часа пополудни, князь Барятинский в своей палатке принял в качестве военнопленного великого Шамиля. Это был завершающий аккорд «Кавказской войны». С этих пор народы, населяющие Дагестан, стали постепенно сближаться с русскими.

Конечно, как многие хорошо знают, «моральное сближение с чуждым народом, покоренным силою оружия или дипломатическими трактатами, обыкновенно заключенными без ведома и согласия народного, представляет большие затруднения, которые могут проистекать из различных причин. Бывает иногда, что все классы народонаселения, при новом порядке вещей, чувствуют себя в худшем материальном положении, чем прежде. Являются новые повинности, налоги, пресекаются прежние выгодные сношения с соседями. Это есть, без сомнения, самый естественный повод к неудовольствию. В этом отношении мы, да-

гестанцы, не можем пожаловаться на русских. По окончании войны с Россией мы целиком остались там, где она нас застала. У нас на Кавказе, как всюду и всегда, масса народонаселения состоит из людей, дорожащих домашним кровом. Если в прежние годы многие из нас находили возможным грабить соседей, то теперь, наоборот, мы сознали, что это ремесло сделалось уже невозможным, и большинство из нас свыкается с этим убеждением. Не думаю, чтобы в настоящее время, по крайней мере у нас в Дагестане, случаи грабежа повторялись чаще, чем, например, в Московской губернии. Мы, горцы Дагестана, в большинстве своем не питаем никакой ненависти к русским за то, что они отняли у нас возможность грабить и убивать. В другом они нас не притеснили. Чего, чего мы не вытерпели при Шамиле! Мы меньше потеряли от русской картечи, чем от хищничества мюридов! Настоящее время нам представляется в виде пробуждения от страшного сна, в виде излечения от тяжкой болезни».

Эту характерную выдержку я взял из газеты «Кавказ» № 44, 1869 года. Статья написана известным в XIX веке в Дагестане ученым Магомедом Хандиевым. Если в 1869 году многие мыслящие люди Дагестана рассуждали таким образом, то вполне естественно напрашивается вопрос: как могли думать дагестанцы в 1934 году?

Не подлежит никакому сомнению, что в период тридцатых годов XX века борьба восставших велась против коммунизма, а не русских.

В доказательство этого приведу несколько соображений. Я лично знал десятки и сотни дагестанцев магометанского вероисповедания, которые были женаты на русских. Большое количество молодежи аварцев, лаков, лезгин и других национальностей учились в высших учебных заведениях Москвы, Ленинграда и многих других крупных городов центральной России. Я был знаком с преподавателями русской литературы, которые, будучи мусульманами, проявляли самую искреннюю любовь к русской литературе и русскому народу. Совместное обучение в школах также играло немалую роль: общие интересы, дружба отдельных ребят никак не могла создавать предпосылок к узкому шовинизму. Понятия «родина», «народ» — раздвинулись, став более широкими. Да и вообще смешно было бы утверждать, что страна, имеющая миллион жителей, из которых 40% составляют русские, а остальные 60% состоят из тридцати двух разных народностей, говорящих на различных языках и наречиях, может претендовать на национальную независимость. Спрашивается, может ли такая страна стать самостоятельным государством?

В те годы каждый здравомыслящий дагестанец хорошо понимал, что его жизненные интересы связаны нераздельно с Россией. Если и были отдельные уголки в Дагестане, где еще сохранялась неприязнь к русским и другим немагометанским народам, то это был настолько мизерный процент, что оказать какое-либо значительное влияние на весь ход событий он никак не мог. Для всех народов, населяющих Советский Союз, существовала и существует единственная проблема: избавиться от диктатуры коммунистической партии. Приведенные мною раньше выдержки из советских газет и журналов того времени полностью подтверждают мою точку зрения. «Правда», ростовский «Молот», «Дагестанская правда» и журнал «Красный Дагестан» неоднократно

подчеркивали факт сопротивления всего Союза, всех народов именно советской власти.

Граждане Советского Союза, независимо от их национальности, давно уже поняли сущность коммунизма, его интернационализм. Каждому из нас хорошо известно, что борьба против коммунизма должна вестись всеми нациями, населяющими СССР. Для каждого советского человека это — бесспорный факт.

Еще в 1921 году Д. С. Мережковский в сборнике «Царство Антихриста» в статье, озаглавленной «Большевизм, Европа и Россия» писал: «Как интернационален в существе своем сам большевизм, так и борьба с ним должна быть интернациональной, всемирною . . .»

Итак, в Дагестанском восстании 1934 г. принимали участие, как я говорил выше, представители всех национальностей. Многими отрядами повстанцев командовали русские, грузины, армяне . . . Так, например, в ауле Гимры руководителем местного отряда был некто В. Степанов. Уроженец города Хасавюрта, он хорошо знал местные языки, наречия и нравы горцев. Степанов пользовался у дагестанцев большим авторитетом. По образованию инженер-механик, он создал в горах Дагестана много технических школ и из учащейся у него молодежи сумел организовать боевые резервы для повстанцев. С сыном Степанова, Алексеем, я был лично хорошо знаком. А. Степанов также принимал активное участие в повстанческом движении и погиб в Темниковском концлагере в 1936 году на штрафной подкомандировке (район Черной Речки), где в то же время находился и я в качестве такого же обреченного. Подобных примеров можно привести множество, но я ограничусь только несколькими: в горном ауле Джильда восставшими руководил грузин Борис Хоталошвили, большой приятель моего друга Назима Гассанова. В селении Ках вождем был некто С. Василенко, кубанский казак, в прошлом хорунжий. В Хунзахе, столице Аварии, на родине знаменитого сподвижника Шамиля Хаджи-Мурата, немалую роль в организации боевых отрядов играл кубинский армянин В. Григорианцев.

Я упомянул только о тех, которые были руководителями и организаторами восстания, а сколько тысяч рядовых участников всех национальностей и племен, населяющих Дагестан, дрались бок о бок против мирового интернационала, доказывая словом и делом свою ненависть к общему врагу. Из сорока одного района Дагестана в первой фазе восстания подняли знамя борьбы под командой Абу-Бекира и Александра в полном составе 23—25 горных районов. В 5—6 районах, там, где партийные и комсомольские ячейки были более активны, имели место частичные беспорядки, а в двух районах действовали религиозные фанатики, о которых я уже говорил выше. В общей сложности 30—32 района в той или иной форме сопротивлялись власти. В это время все шесть городов Дагестана, как-то: Махачкала, Дербент, Буйнакс, Хасавюрт, Избербаш, Каспийск и четыре поселка городского типа: Сулак, Огни, Ачи-Су, Лопатин находились под строгим контролем советской власти. Никаких беспорядков и эксцессов в этих местах не было. Террор отрядов Алиева и наличие крупных частей войск НКВД заранее обрекали здесь всякую попытку к выступлению на неудачу.

Общее число восставших, активно действующих, по приблизительному подсчету было не менее 25—30 тысяч человек. Но надо учесть еще и то обстоятельство, что большой процент жителей присоединился к восставшим уже во время боев, когда первые успехи повстанцев зажгли энтузиазмом многие сердца. Данные о количестве восставших я могу сообщить, подчеркиваю, только приблизительно. Точных данных не было даже у Абу-Бекира с Александровым.

По стратегическому плану штаба повстанцев каждая боевая группировка восставших не должна была превышать 1200 человек. Самые маленькие отряды состояли из 30—40 человек. Горы, почти непроходимые ущелья, густые, мало исследованные леса давали возможность Абу-Бекиру оперировать малыми силами. Партизанский способ ведения войны был самым удобным и практичным. Иногда 25—30 хороших стрелков, занимая выгодные позиции, могли остановить и задержать на несколько дней крупные соединения войск. Другое преимущество этого способа ведения войны было в неожиданности лихих налетов, главным образом, в ночное время, в тыл противника. Всевозможные военные уловки, засады, тонко обдуманые комбинации почти всегда удавались Абу-Бекиру.

В апреле 1934 года состоялось секретное совещание руководителей восстания. На нем обсуждались следующие вопросы. Во-первых, было решено открыть боевые действия первого мая текущего года. Вначале должны были начаться будто бы неорганизованные беспорядки в 3—4 районах страны. Они должны были сыграть роль «приманки» для самого Алиева. Расчет был прост. Те силы, которые должен был бросить Алиев на усмирение бунтовщиков, должны быть перехвачены отрядами партизан и уничтожены. Как показала практика, эти расчеты в большинстве случаев оправдались. Вторым вопросом стояло обсуждение судьбы военнопленных. Большинство присутствующих было решено: все командные чины НКВД, все комиссары и вредные своей активностью члены партии, а также и сексоты, по получении от них нужных сведений, расстреливаются. Мелкие партийные сошки, комсомольцы и безвредные члены партии используются на работах для обороны или, при их добровольном желании, зачисляются в ряды повстанцев. К рядовым красноармейцам и боевым командирам Красной армии решено было относиться мягко и делать всё возможное для их перехода на сторону восстания. Тут же, на собрании, был составлен текст воззвания восставших ко всем народам Советского Союза. Он был всеми одобрен, принят и подписан. Последним вопросом было обсуждение политической программы, которую предложил Абу-Бекир. После небольших дебатов, опять-таки подавляющим большинством, программа в целом была принята. Тут надо упомянуть, что на этом совещании руководителей восстания представителей от Мустафы Халилова не было.

Политическая платформа, принятая на совещании, сводилась примерно к следующему (передаю выдержки по памяти, причем, не гарантируя точности изложения, за смысл ручаюсь):

«... Наша народная вооруженная революционная борьба с бесчеловечным коммунизмом ставит своей целью победу над ним... После свержения большевистского строя, все народы, населяющие Россию,

вправе в свободном волеизъявлении определить свою судьбу... В случае создания Российской Федеративной Демократической Республики, на территории Федерации все народы, большие и малые, равноправны... Немедленное восстановление свободы слова, свободы печати и свободы собраний. Неприкосновенность жилищ... Ликвидация принудительного труда. Освобождение всех политических заключенных. Свобода политических партий, за исключением коммунистической... Строгий, но справедливый суд над руководителями НКВД... Бесплатное обучение, бесплатная медицинская помощь, государственные пособия рабочим и служащим в случае безработицы или увечий... Свобода торговли, свобода совести, свобода вероисповеданий...»

Вот, в основном, всё, что у меня сохранилось в памяти от политической программы Абу-Бекира. Теперь считаю целесообразным перейти к хронологическому описанию восстания.

3. ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВОССТАНИЯ

1 мая 1934 года в некоторых окружных центрах Кумук, Касумкент, Ботлих, Ароказа и в ближайших к ним мелких аулах вспыхнули беспорядки. В первую очередь, воставшими были захвачены районные советские учреждения. Разгромлены кооперативы и торговые базы. Местные крупные партийные работники в подавляющем большинстве были расстреляны или заколоты кинжалами. Комсомольцы и прочие мелкие активисты под охраной были отправлены в Дарго в распоряжение Александрова, который в то время находился там. В тот же самый день, только немного позже, когда Алиеву стало известно о событиях в этих районах, им немедленно были двинуты из города Буйнакса на подавление восстания летучие отряды, состоявшие из осадмильционеров и чинов местного НКВД. Но, благодаря плану штаба повстанцев, события в этих местах приняли для усмирителей плохой оборот. Они были по дороге перехвачены силами партизан и почти поголовно уничтожены. Главный штаб повстанцев (засекреченный) в это время находился в Гунибе. В самом Гунибе никаких беспорядков и волнений не было. Наоборот, местным властям города дали возможность беспрепятственно выехать из пределов района. Это было одной из военных уловок Абу-Бекира: на полпути между Буйнакском и Гунибом «товарищи» попали в заранее подготовленную повстанцами засаду и бесславно сложили свои головы за «власть советов».

Второго мая произошло первое сражение с регулярными войсками в ауле Леваша. Здесь стояли два батальона 39 Краснознаменного стрелкового полка. На рассвете 750 повстанцам, под командой С. Рамазанова, удалось окружить и внезапно напасть на красноармейцев. Темнота и неожиданность нападения помогли партизанам захватить врасплох врага и одержать сравнительно легкую победу. Бой был коротким и не особенно кровопролитным. Победители захватили большое количество боеприпасов, ручных гранат и винтовок. Но самым ценным трофеем было несколько легких горных орудий и пять пулеметов. Все военнопленные были направлены в Гуниб в расположение штаба. С красноармейцами обхождение было очень мягким. Как потом выяснилось, сто двадцать человек из взятых в плен Рамазановым, доброволь-

но изъявили желание сражаться на стороне повстанцев. Это было первой крупной моральной победой Абу-Бекира.

Того же числа в ауле Кирабаши повстанцам удалось ловко напасть на большой отряд врага. Командовал этим отрядом помощник Алиева Кизи-Бектаров. После ожесточенной схватки партизанам посчастливилось уничтожить большую часть отряда. К сожалению, Бектарову с остатками милиционеров удалось вырваться из кольца и скрыться в направлении Дербента.

В ряде мелких аулов, где почти не ощущалось присутствия власти, стычки не носили столь ожесточенного характера. В большинстве случаев они кончались любовной сделкой и переходом местных милиционеров и комсомольцев на сторону восставших. Зато события в Маджалисе для повстанцев не оказались удачными, благодаря предательству некоего Сакараджиева, которому (как потом выяснилось, он был тайным агентом Алиева) удалось сообщить о готовящихся событиях в Дербент. Оттуда и были двинуты усиленные отряды милиции, поддержанные крупными соединениями железнодорожного НКВД и осад-милиционеров. Враг, сломив сопротивление партизан на подступах к аулу, ворвался в село. Начался жестокий рукопашный бой. Несмотря на отчаянное положение, горцы дрались с ожесточением. Но неравенство сил, в конце концов, привело к тому, что большевики сломали сопротивление повстанцев.

Расправа была жестокой: всех тех, кого захватывали с оружием в руках, немедленно расстреливали. Всё остальное население, включая женщин и детей, под бдительным надзором конвоиров направляли в Дербент в помещения театров и клубов, где они содержались под стражей, как заложники, т. к. в описываемое время все тюрьмы городов Дагестана были переполнены арестованными.

Третьего мая над горными очагами восстания появились самолеты. И туда, где они обнаруживали какое-либо скопление народа, сбрасывались бомбы небольшого калибра и производился обстрел из пулеметов с бреющего полета.

Удачная ситуация для восставших сложилась в Верхнем Дженгутае благодаря тому, что горная дорога к аулу со всех сторон тесно, почти вплотную защищена горами. Умело подготовленной штабом повстанцев засаде удалось напасть на значительные силы врага, движущегося со стороны Буйнакса. Используя превосходство горных позиций и наличие в своих рядах большого числа метких стрелков, партизаны в этом районе разгромили врага наголову. И даже самолеты, использованные в этой местности противником, не могли оказать существенной помощи своим разгромленным отрядам.

Интересная битва разыгралась 8 мая 1934 года на Цумадинской Тропе. Цумадинская Тропа тянется от Цумады до Шауры. Шауры — это сравнительно большой бывший районный центр. Он населен немногочисленной народностью дидойцев. Это — воинственный, суровый, сильный народ, отличающийся храбростью и мстительностью. Представители его — высокорослые мрачные люди. Руководителем дидойцев был последователь и друг Абу-Бекира некто Абдул Магома. Битва произошла приблизительно так: лазутчиками горцев были замечены

большие силы врага, которые двигались по ущелью Андийского Койсу, по берегу реки одноименного названия . . . Силы противника состояли преимущественно из милицейских частей, комсомольцев и чинов местного НКВД. По всей видимости, враг стремился неожиданным броском захватить удобный горный район, непосредственно граничащий с Грузией. Овладев же этой горной позицией, не трудно было господствовать над всей местностью, а, главное, контролировать все козы тропы и перевалы. Итак, лазутчикам повстанцев удалось своевременно обнаружить силы противника, несмотря даже на то, что те передвигались большей частью ночью. Несмотря на то, что отряды Магомы были плохо вооружены, в большинстве случаев охотничьими ружьями и винтовками устарелого образца, тактика и хорошая оперативная осведомленность помогла отрядам Магомы незаметно для противника окружить его. Темная ночь и лесистая местность благоприятствовали успеху. В двенадцать часов ночи, с 8 на 9 мая на вершине Лысой Горы, самой высокой в этом районе, вдруг вспыхнул яркий одинокий костер. Это был условный сигнал для общей атаки на врага. Молниеносное и одновременное нападение в лоб, с флангов и тыла было так стремительно и неожиданно, что сопротивление противника с самого начала схватки было сломлено. Сокрушающая лавина партизан с бессмертным криком «Алла-иль-Алла, Магомет Рассул Алла!» обрушилась на сталинских опричников. Началась жестокая резня. Пленных не брали. Орудовали больше кинжалами. Вся затаенная злоба за все обиды, нанесенные коммунистической властью за годы ее владычества, вылилась в этом полном ненависти, беспощадном, но справедливом порыве. Утром 9 мая Абдул Магома в спешном донесении Абу-Бекиру сообщил о большом количестве взятых военных трофеев. Потери врага числом в 1672 убитых дополняли общий успех этой операции. Потери же повстанцев оказались незначительны: 96 убитых и 126 раненых.

Упорные бои за перевал Шашерек, длившиеся с 21 мая по 10 июня, шли с переменным успехом. Перевал Шашерек является границей между Аварией и Буйнакским округом. Мощные соединения войск НКВД стремились во что бы то ни стало прорваться к сердцу Аварии, к Хунзаху, где, по их сведениям, якобы концентрировались главные силы восставших. Хунзахское плато поднято на 1750 метров над уровнем моря. Громадная горная долина со всех сторон окружена высокими горами. Кроме старинной крепости и аула Хунзах, на плато расположено еще 26 более мелких аулов и поселков. В качестве ключевой позиции, Хунзахское плато для обеих сторон имело громадное стратегическое значение. В самом Хунзахе и ближайших к нему пятнадцати аулах был полным властелином Халилов. Еще 2 мая ему удалось полностью очистить Хунзахское плато от коммунистов. Вначале Халилов действовал в контакте со штабом Александра, и успех общего дела был налицо. Но с 20—21 мая Халилов перестал придерживаться общего плана и начал действовать на свой страх и риск. В битве за перевал Шашерек отряды Халилова фактически не участвовали, лишь небольшое количество добровольцев из самых отдаленных аулов Хунзахского плато принимали участие в защите этой позиции громадного значения. В основном, здесь сражались части Абу-Бекира под командованием имеретина Бориса Хоталошвили.

8 июня трем отрядам повстанцев удалось с флангов и с тыла атаковать части НКВД, штурмующие перевал Шашерек. С тыла, со стороны Казанищева, восставшим, под командованием самого Абу-Бекира, удалось нанести сильный удар в тыл противнику. С левого фланга небольшое соединение снайперов, которыми руководил Назим Гассанов, выводило из строя значительное количество энкаведистов своим метким огнем. С правого фланга отряд Ибрагима Чабаева непрерывными ложными атаками на противника заставлял последнего днем и ночью не выходить из состояния боя. 10 июня враг, неся громадные потери в людях, стал отходить к городу Буйнакску. 12 июня 1934 года состоялась в Хунзахе встреча Абу-Бекира с Халиловым. Первый пытался во чтобы то ни стало уладить конфликт с Халиловым, найдя с ним общий язык. Было бы преступлением, по мнению Абу-Бекира, не использовать такую благоприятную ситуацию для восставших. Совместные действия сулили и в дальнейшем успехи для общего дела. Но вся дипломатия, уступки и такт, которые проявил Абу-Бекир по отношению к Халилову, не увенчались успехом. Заносчивость и спешивость последнего не знала никакого предела. Дикий план Халилова — нападение на г. Буйнакск — Абу-Бекиром был категорически отвергнут. Нелепость и громадный риск этого предприятия был очевиден, но никакие доводы логики и здравого смысла на Халилова не действовали. Он шел напролом и готов был на окончательный разрыв с Абу-Бекиром. Халилов продолжал упорно настаивать на своем плане. Он же в общих чертах сводился к следующему: Халилов рассчитывал лобовой атакой ударить в штаб-квартиру войск НКВД. Неожиданность нападения и безумная смелость его людей, по мнению Халилова, были залогом успеха его плана. Итак, несмотря на все старания Абу-Бекира, ему не удалось договориться с Халиловым. 28 июня последний, собрав около пяти тысяч бойцов, состоявших преимущественно из аварцев и большого количества фанатически настроенных мулл из разных мест Дагестана, объявил «Газават», то есть, священную войну. Без определенного твердого плана и какой-либо сносной разведки, рассчитывая только на быстроту без глазомера, он бросил плохо вооруженных людей в бой. Эта большая кровопролитная битва произошла на подступах и в предместьях Буйнакска.

Результат оказался плачевный. Несмотря на упорство и отчаянную смелость горцев, внутренним частям войск НКВД после пятнадцатичасового боя удалось разгромить отряд Халилова. Враг использовал превосходство вооружения и сумел спешно подтянуть резервы. Большая часть людей-фанатиков была уничтожена, остальные рассеяны. Сам Халилов пал в этой схватке.

В тех же числах июня, в районах Касумкента и Кубачи повстанцы понесли большие потери. Противнику удалось со стороны города Кубы (который находится на территории Аз. ССР), большими силами переправиться через реку Самур и окружить Касумкент. Шесть часов он вел ураганный артиллерийский огонь по обреченному аулу. Когда же замолчали орудия повстанцев, враг цепями пошел в атаку. Плающее село безмолвствовало: ни выстрела, ни крика. Но как только первые красноармейцы достигли крайних саклей аула, притаившиеся горцы открыли меткий огонь. Но всё было напрасно... За первыми павшими

солдатами шли другие. Стена за стеной — с севера, с востока, с запада и юга — они всё туже стягивали роковое кольцо.

Из окруженных в плен не сдавался никто. Каждый повстанец хорошо знал, что значит попасть с оружием в руках в плен к коммунистам. Победителям достался сожженный аул, молчаливые женщины, рыдающие дети и тяжело раненые, в бессознательном состоянии, горцы.

Расправившись с Касумкентом и оставив там свой гарнизон, части противника двинулись в направлении Кубачи. В это же самое время со стороны Дербента отборные силы войск НКВД форсированным маршем шли в том же направлении, что и частидвигающиеся с Касумкента. Прошедшее в Касумкенте повторилось в Кубачи. Правда, очень маленькому количеству горцев после отчаянной защиты своего села всё-таки удалось скрыться в направлении Дюльты-Дага.

Зато на линии Ахты, Микрах и Курушо положение восставших оказалось более устойчивым. Все попытки врага перейти Самурский хребет оказались безрезультатными.

К концу июля 1934 года в руках повстанцев находились полностью следующие горные районы Дагестана: Ботлих, Хорахи, Хаджал-Махи, Вачи, Дюльты-Даг, Ахты, Гуниб и много других более мелких аулов и поселений. Все горные перевалы Андийского хребта были также в руках восставших. Много раз со стороны Хасавюрта большевики пытались прорваться к Ботлиху, но, неся большие потери, вынуждены были откатываться назад. В Кази-Кумухском районе противник был выбит с самого начала восстания, но в августе 1934 года большевикам всё-таки удалось после ожесточенных боев прорваться. В сентябре повстанцам удалось снова отвоевать полностью весь Кази-Кумухский округ. Потери в этих боях со стороны восставших были значительные. Там погибло очень много молодежи, а из руководителей были убиты: Годжа-Магомет Ухманов, Селимага Самбиев и Сулейман Махмудов. Но ни в одном районе Нагорного Дагестана большевики не понесли таких крупных потерь, как в Даргинском. Как говорилось выше, в ауле Дарго были сконцентрированы значительные силы противника, которые беспрепятственно были пропущены туда повстанцами. Алиев, как я уже говорил, рассчитывал, что, овладев Дарго, он станет хозяином положения во всем Даргинском округе. Но расчеты начальника НКВД Дагестана, как показали события, оказались преждевременными. Как только вспыхнуло восстание, все отряды Алиева в один и тот же день и час были атакованы повстанцами и почти поголовно уничтожены. Всеми боевыми операциями в этой местности руководил Александров. В течение только мая и июня враг потерял в районе Дарго около 4 000 человек. Потери восставших были, сравнительно с противником, незначительны.

В первых числах сентября 1934 г. 29 Особая дивизия войск НКВД вступила в Ичкиринский лес. В это время аул Дарго и весь район находился полностью в руках восставших. Командование войск НКВД по-видимому поставило себе целью очистить этот район от крупных и хорошо организованных партизанских отрядов. Медленно продвигаясь по первобытному Ичкиринскому лесу, войска НКВД непрерывно вынуждены были вступать в ожесточенные схватки с повстанцами. За-

сада следовала за засадой. Каждое дерево, куст, глухое ущелье были чреваты опасностью. Ночь — самая лучшая союзница партизан и самый лютей враг противника. Артиллерия и самолеты в этом случае были почти бесполезны. Приходилось бороться вслепую, не видя и не зная сил врага. Все преимущества в этой борьбе были на стороне восставших. До конца 1934 г. энкаведисты так и не смогли справиться с Александровым. Победа явно ускользала из рук сталинских опричников.

Тут, кстати, считаю необходимым для ясности картины обрисовать общую ситуацию, которая сложилась во всем Дагестане к этому времени. Зимняя кампания 1934 года для власти складывалась неблагоприятно. Подход свежих резервов к действующим частям НКВД в тот период не решал вопроса. Одновременное использование крупных соединений в этой горной местности было невозможно. Правда, не считаясь ни с какими потерями, противнику всё-таки удалось кое-где продвинуться вглубь гор. После непрерывных ожесточенных схваток коммунистами был взят Ходжал-Махи, откуда они стали угрожать Гергебилию. Со стороны Избербаша враг, введя в бой свежие резервы, сумел захватить перевал Кызыляр, который расположен на высоте 1560 метров над уровнем Каспийского моря. Зато на Ботлихском направлении, со стороны Ведено, большевикам так и не удалось овладеть Андийским хребтом. К этому времени линия обороны повстанцев проходила приблизительно так: Ботлих, Хорахи, Гергебиль, Вачи, Ахты. В ноябре 1934 года коммунистическое командование решило предпринять самое крупное наступление из всех тех, которые до сих пор были. По всему участку боевых действий разгорелись ожесточенные бои. Ударные части войск НКВД, неся громадные потери и не считаясь с ними, после ряда яростных схваток, продвинулись вперед и захватили ряд стратегических пунктов повстанцев. Надо заметить, что метеорологические условия для противника были неблагоприятными: страшные горные метели, глубокий снег, заледелые тропы затрудняли положение. Люди гибли десятками, но считаясь с человеческими жизнями — не в коммунистических правилах.

Несмотря на потерю важных горных позиций, восставшие дагестанцы продолжали оказывать сопротивление, усиливающееся с каждым днем. В некоторых местах удачными контратаками повстанцам удалось вернуть некоторые потерянные ими раньше населенные пункты. Например, после одной крупной кровопролитной битвы повстанцы овладели Ходжал-Махи, ликвидировав этим угрозу Гунибу и Гергебилию. Этой, сравнительно крупной операцией, руководил сам Абу-Бекир. В битве за Ходжал-Махи были убиты трое из больших вожаков восстания: С. Рамазанов, В. Степанов и Борис Хоталошвили; Назим же Гассанов и Михаил Рахманенко были тяжело ранены. На боевой линии Ботлих повторные попытки войск НКВД прорваться, как и раньше, не увенчались успехом. Одним словом, к концу 1934 года коммунистам так и не удалось полностью овладеть инициативой. Героизм повстанцев, горная местность и умелое руководство Абу-Бекира и Александрова были причиной их неудач в зимней кампании 1934 года. В течение всего декабря во всех районах боевых действий горного Дагестана бои, стычки, атаки и контратаки продолжались с неослабевающей

энергией. Развить задуманное крупное ноябрьское контрнаступление и ликвидировать восстание в кратчайший срок власти не удалось. Можно считать, что борьба повстанцев с коммунистической властью в 1934 году увенчалась успехом.

4. РАЗГРОМ

5 января 1935 года центральная дагестанская газета «Дагестанская правда» в передовой статье за подписью А. Ахундова писала: «Пора покончить с кулаками и саботажниками Горного Дагестана... Вооруженное сопротивление врагов пролетарского государства должно быть сломлено в кратчайший срок... Дагестанское крестьянство обязано встать твердо на путь коллективного хозяйства... Дагестанский Областной комитет партии должен, несмотря ни на какие трудности, проявить максимум усилий и трудоспособности... Со всеми разгильдяями, рвачами, трусами и скрытыми классовыми врагами нужно вести активную борьбу, достойную большевиков...» Выдержки из статьи А. Ахундова говорят сами за себя и не нуждаются ни в каких комментариях. Официальное советское сообщение лишней раз подтверждает, что сопротивление горцев в начале 1935 года не было еще сломлено. Только в конце февраля внутренним войскам НКВД «посчастливилось» развить наступление по всему фронту, и после двенадцати яростных атак большевики овладели Гергебилем. Одновременно на Самурском участке партизанами были потеряны Ахты, Микрах и Куруш. Со стороны Буйнакса войска НКВД, после тяжелых ночных боев, прорвались и взяли Хорахи. Таким образом, они стали угрожать Ботлиху и Гунибу. Март, апрель и май 1935 года для повстанцев оказались тяжелыми. Браг наседал со всех сторон. 25 мая, после тридцатипятидневной осады, большевики овладели Ботлихом. Взятие этой твердыни дорого обошлось врагу. Карабкаться по крутым скалам под огнем восставших и штурмовать каждую саклю, как крепость, было нелегкой задачей. Как я уже упоминал, повстанцы живыми в плен к коммунистам, как правило, не сдавались. Каждый партизан старался как можно дороже продать свою жизнь и, когда дело доходило до рукопашной, он дрался до тех пор, пока остервенелые энкаведисты не пронизывали его штыками насквозь. Героическое упорство и железная стойкость повстанцев были ошеломляющими. Каждое, даже незначительное, продвижение вражеских войск в горах, покупалось ими ценой большой крови. Но силы были слишком неравны. Потери восставших росли с каждым днем и часом. В июне 1935 года, в боях за Вачи, погибли смертью храбрых следующие герои: С. Василенко, Ш. Вачнадзе, А. Макибов и Абдул Магома со всем своим отрядом, состоявшим из 420 дидойцев. Всего в битве за Вачи повстанцы потеряли около 1 500 человек убитыми и тяжело ранеными. Противник, если учесть его роль атакующего и удобство позиций восставших, должен был потерять не менее 2—3 тысяч человек. Опять-таки подчеркиваю, что данные даю приблизительные, за их абсолютную точность поручиться не могу. В это время Абу-Бекир с Александровым вынуждены были пересмотреть план кампании. Ими было решено в целях предоставления возможности семьям партизан эвакуироваться в Грузию и Аз. ССР, организовать

преграждение пути войскам НКВД к перевалам, а также попытаться удержать в своих руках часть Самурского хребта, чтобы предупредить атаки противника на местность Дюльты-Даг с двух сторон. Кроме того, они приняли меры к тому, чтобы укрепить все аулы за Ботлихом, расположенные в сторону Большого Кавказа на высоте более 4 000 метров над уровнем моря, чтобы защищать их до последней возможности, выматывая силы противника. И, наконец, было решено ни в коем случае не сдавать Гуниб. Гуниб, как уже известно читателю, был центром восстания. Его символическое значение было огромно. С падением Гуниба сопротивление горцев и в других местах Дагестана могло бы ослабеть или вообще прекратиться. Пока еще Гуниб был в руках восставших, борьба продолжалась с неослабеваемой силой и энергией.

10 июля 1935 года началась осада Гуниба. Крепость Гуниб, выстроенная примерно на уровне трех четвертей Гунибской горы, окружена голыми сланцевыми скалами. Выше крепости расположен центральный аул, так называемый «Верхний Гуниб», где в то время и находилась штаб-квартира повстанцев и где помещались отборные и испытанные в боях отряды партизан, которые являлись боевым резервом крепости. Комендантом крепости Гуниб был Амир Якубов. Всей обороной твердыни Гуниб руководил сам Абу-Бекир. Александров в это время находился в Тлярата, где подготавливал этот горный район к последней обороне. В ночь с 25 на 26 июля враг решил лобовой атакой овладеть Гунибом. Сконцентрировавшись в большом количестве на подступах к твердыне, солдаты устремились, карабкаясь по скалам и узким козьим тропам, к крепости. Осажденные притихли. Желтый свет дагестанской луны равнодушно освещал всю местность, где должен был вот-вот закипеть бой. Крепость молчала. И только когда на маленьких плато стали обрисовываться в лунном сиянии силуэты энкаведистов, повстанцы открыли огонь. Каждый партизан старался не тратить патронов даром. Враг нес огромные потери, но на смену убитым, как злые духи ночи, появлялись другие. Волна за волной настойчиво, как неизбежное, ползли серые шинели. Перестрелка усиливалась. Правда, огонь энкаведистов был почти бесполезен. Они стреляли в скалы и камни и сами не видели, откуда несется свинец, поражающий их насмерть. Всю ночь длился жестокий бой за крепость. Только ранним утром большевики прекратили свои атаки, убедившись в их бесполезности. В отместку за ночную неудачу они открыли ураганный артиллерийский огонь по крепости и аулу. Три дня, не смолкая, била советская артиллерия по укреплениям повстанцев. На четвертый день большевики опять пошли на штурм крепости. Бесконечные цепи солдат на этот раз с трех сторон атаковали Гуниб. Твердыня доблестно защищалась. После шестичасового боя большевики вынуждены были откатиться назад, оставляя на скалах большое количество своих убитых и раненых.

Прошло больше месяца. Был жаркий август. Знамя восстания всё еще реяло над Гунибом. Все попытки коммунистической власти взять это орлиное гнездо с налета не удалась. Большевики вынуждены были вести правильную осаду крепости, теряя при этом время, чего они опасались больше всего. Зато на других участках фронта общая ситуация для восставших становилась неблагоприятной. Под напором во

много раз превосходящих сил противника восставшие, теряя пядь за пядью родную землю, вынуждены были отходить к границам Грузии. 17 августа, после жарких схваток, пал Дюльгы-Даг. Со стороны Ботлиха большевики, несмотря на ожесточенное сопротивление, продвигались к Тинди. Дело близилось к роковой развязке. Все приготовления в Тлярате к последнему бою были закончены. Не теряя связи с Тинди и той частью Аварии, где еще шли схватки с напирющим со всех сторон противником, Александров делал всё от него зависящее, чтобы задержать продвижение врага к перевалам. Но тающим партизанским отрядам с каждым днем становилось все труднее и труднее удерживать напор регулярных армейских частей НКВД.

В захваченных противником районах расправа большевиков с населением была страшной. Как правило, мужчины до шестидесятилетнего возраста, попадавшие им в руки, арестовывались и отправлялись в города Приморского Дагестана, где над ними начиналось следствие, сопровождаемое допросами с пристрастием. Если большевикам удавалось установить какое-либо участие отдельных лиц в восстании или хотя бы сочувствие последнему, то такие лица были судимы ревтрибуналом и в большинстве случаев получали стандартные десять лет, а иногда и «высшую меру социальной защиты» (расстрел). Социально же опасные, если даже против них и не было никаких улик, всё равно были судимы и получали по приговору тройки НКВД пять-десять лет отдаленных концентрационных лагерей. В некоторых местах коммунисты арестовывали и женщин, если устанавливали их прямое участие в восстании. Тут считаю нужным указать, что в некоторых партизанских отрядах были и женщины. Особенную активность они проявляли при защите аулов и кишлаков. Лично я хорошо знал нескольких из этих героинь, которые были осуждены за участие в восстании: Кэфи Раджапкези, приговоренную к расстрелу, Лили Бектарову, приговоренную к 10 годам и Фатьму Алахвердову — к 5 годам. А сколько их еще было, которых я не знал лично! . . . Или тех, которые погибли без имени, или, наконец, тех, которые сумели бежать? Во всяком случае, можно сказать с полной уверенностью, что в Дагестанском восстании 1934—35 гг. погибло большое количество женщин, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу.

5 сентября 1935 года, после кровопролитных уличных боев, длившихся около 8 дней, пал Гуниб. Дорогой ценой купили большевики эту твердыню. Многими сотнями чужих жизней заплатила советская власть за свою победу. В битве за Гуниб сложил свою умную голову вождь восстания, бесстрашный и хладнокровный Абу-Бекир. Смерть его была героической, как и вся его прекрасная жизнь. Произошло это так: после того как крепость и почти весь верхний Гуниб оказались в руках врага, и им оставалось лишь завладеть старинной башней, увенчивающей природой созданную цитадель, осажденные забаррикадировались в верхних комнатах башни, отчаянно отстреливаясь от энкаведистов. Солдат скапливалось всё больше и больше. Весь двор и все комнаты первого и второго этажа уже кишели ими. Враги лихорадочно спешили покончить с последним оплотом повстанцев. И вдруг наступил момент, когда осажденные вдруг перестали стрелять. Торжествующие энкаведисты бросились наверх. Выломали дверь и ворвавшись

в помещение, они увидели там десятки убитых и умирающих защитников Гуниба. На крыше башни взвился красный флаг. Немедленно дали знать начальству, которое спешно прибыло. И в ту минуту, когда главные победители стали подниматься вверх по узкой лестнице, раздался оглушительный взрыв, и массивная старинная башня взлетела на воздух. Башня, служившая надежной защитой многим поколениям горцев, выполнила с честью свой долг перед родиной, похоронив в своих развалинах торжествующих победу энкаведистов. Этот последний «сюрприз» смертельному врагу Абу-Бекир подготовил заранее, собственноручно поднеся спичку к шнуру . . .

*

Нужно ли говорить о том, что после падения Гуниба и смерти Абу-Бекира пламя восстания пошло на убыль? 23 сентября большевиками был взят аул Тинди. Аул Тлярата еще держался, но это были его последние дни. Остатки разбитых партизанских отрядов просачивались в Грузию через горные перевалы, которые еще находились в руках повстанцев. Там они расформировывались и старались слиться с местным населением, что, кстати сказать, многим и удавалось. 25 сентября войска НКВД овладели Тляратой и неудержимым потоком хлынули к перевалам. Там закипели отчаянные бои. Последними боевыми операциями руководил Александров. Его правой рукой и официальным заместителем был Назим Гассанов.

11 октября вся территория Дагестана была уже в руках советской власти. Восстание, длившееся год и шесть месяцев, считая только активные действия, наконец, было ликвидировано. Нужно сказать, что о Дагестанском восстании 1934—35 гг. мало кто знал в других республиках и областях СССР, не говоря уж, конечно, о загранице. Смутные, неопределенные слухи носились, но подробности и детали коммунисты, пряча концы в воду, старались скрыть от мировой общественности. О том, что восстание имело такой грандиозный размах, не знали даже многие жители Приморского Дагестана. Тот, кто знал хорошо, вынужден был молчать по известной каждому причине.

Одним из доказательств размаха восстания и размеров его жертв служат сами советские данные. Так, например, в сборнике «Красный Дагестан», изданном в Махачкала в 1935 году, на стр. 6 напечатано: «Население Дагестана — больше миллиона, состоит из 32 народностей, говорящих на разных языках-наречиях . . .» Данные эти взяты из переписи населения 1928 года. А в Большой Советской Энциклопедии за 1952 год в томе 13 читаем: «Население Дагестана составляет по переписи 1939 года 930,5 тысяч человек». Спрашивается, как могло случиться, что население страны за 11 лет уменьшилось, по самым скромным подсчетам, на 120-150 тысяч человек, при том колоссальном приросте населения во всех республиках и областях, входящих в состав СССР, о котором непрерывно твердит советская власть? . . .

В конце моего очерка хотелось бы еще сказать несколько слов об оставшихся в живых крупных деятелях восстания. Так, например, Александров уцелел. Это я знаю достоверно из рассказа Н. Гассанова. Куда он делся и какова его дальнейшая судьба, мне неизвестно. А Панунцева я видел в последний раз в Армавире, во время войны, в 1942

году. Он рассказал мне, что в 1936-37 гг. ему приходилось в Баку, в Тифлисе и Батуме встречаться с некоторыми участниками восстания. Связь с А. Панунцевым с тех пор у меня была прервана и где он, и что с ним случилось дальше, я также не знаю. Но самое интересное — это судьба Гассанова. Ему, как и Александрову, так же удалось спастись во время разгрома. Он долго скрывался в Грузии, работал в шахтах в Храм-Гэс-Строе, получил там паспорт на другую фамилию и сумел скрыть следы своего участия в восстании. Когда началась война с немцами, он сумел до прихода немцев пробраться в Ростов. С приходом немцев он с самого начала, как возникло Власовское движение, примкнул к нему и с оружием в руках опять боролся против большевиков. В данное время он находится в Америке.

В довершение всего упомяну и о судьбе главного палача восстания — Алиева: он был арестован и расстрелян в качестве врага народа в 1937 г.

*

Дагестанское восстание — лишь одно из звеньев борьбы с коммунизмом в той цепи, которая возникла с первого же года захвата большевиками власти. Его великое значение в том, что оно своим опытом еще раз доказало, что народы, населяющие просторы России, едины в своей борьбе против общего врага, врага всего человечества — кровавого коммунизма.

Гуманизм в СССР

Заглавие настоящей статьи может показаться парадоксальным. Ведь основными чертами гуманизма принято считать человеколюбие, широкую образованность, почти неограниченную терпимость к «инакомыслящим», словом, всё то, чего нет и в полной мере быть не может в стране, где литература, как и вся жизнь народа, подчинены одной идее, одному контролю. И всё же явление, которое мы в последнее время там наблюдаем, трудно назвать другим именем. Оговорюсь тут же, что для меня не только гуманизм в СССР, то есть поневоле приблизительный и противоречивый, но и всякий вообще гуманизм отнюдь не является идеалом: мне уже приходилось подчеркивать отсутствие в нем Бога. Персонализм, любящий человека в Боге, принимает гуманизм, как результат векового приспособления религии к нуждам просвещенного человека. Выветренное, выхолощенное христианство, забывшее о своем огненно-верующем и нетерпимом строителе иудее и почти утратившее себя в своей влюбленности в эллинизм (в свою очередь обезвреженный, то есть не трагический) — вот чем стал в сущности гуманизм после того, как вытеснил окончательно средневековье. Много раз, особенно в нашем столетии, говорилось о кризисе гуманизма. Но он умирать не хочет, и когда мы узнаем его черты даже в таком затуманенном виде, каким он только и может быть в СССР, мы этому рады. Потому что даже гуманизм и даже такой всё же лучше зверской ненависти, ставшей главным чувством людей нашего века.

Предпосылая эти несколько строчек разбору «Литературной Москвы», сборника, о котором так много писали и говорили и там и здесь, за рубежом, я забочусь о ясности. Вспомним великие события русской литературы. Не говорю уже о произведениях гениев значения мирового. Не говорю даже о «Письмах Чаадаева», о Хомякове, о Герцене, явлениях крупнейших, но явно менее «всемирных», чем Пушкин, Толстой, Гоголь и равные им. В «Литературной Москве» нет и намека на исключительность такого порядка. О недостаточности и даже обреченности всех добрых усилий редакции и сотрудников говорят слишком пространно почти все страницы сборника. И всё же это событие, которого нельзя не отметить с уважением и симпатией.

«Литературная газета» пишет о работах Пленума Союза Советских Писателей: «Порой складывалось такое впечатление, что обсуждается не вся проза московских писателей 1956 г., а только сборник «Литературная Москва» и роман Дундичева».

О Дудинцеве писали и говорили без конца. Оставим его, хотя в связи с романом Каверина, нам придется о нем упомянуть. Обратимся к «Литературной Москве». Она и у нас, за рубежом, вызвала много откликов, иногда преувеличенно сочувственных. Попробуем прежде всего беспристрастно разобраться в обильном материале этого сборника.



Весь огромный том «Литературной Москвы», эти 800 страниц, из которых 250 набраны убористым петитом, как бы заключен в черную рамку двух некрологов. Между редакционным «венком на могилу» А. А. Фадеева и коллективным (за подписью многих писателей) заявлением о значении критических работ преждевременно скончавшегося М. Щеглова помещен весь другой материал: проза, стихи, очерки, статьи. Но и среди них — еще два некролога. Из одного, посвященного Ивану Катаеву, выписываю без комментариев следующие слишком красноречивые строчки: «В 1937 году, в расцвете творческих сил, он был арестован по ложному обвинению и погиб в заключении». Другой погибший — Марина Цветаева, стихам которой предпослана статья И. Эренбурга.

Присутствие смерти всегда углубляет жизнь. Среди бодрящихся членов пленума нашелся один (В. Бялик), заявивший: «Когда горьковская идея безумства храбрых сменяется идеей жалости и сострадания, это вызывает протест». Не оттого ли, что гуманизм без кавычек — «советскому гуманизму» партии тайно и явно враждебен?

Покончивший с собой А. Фадеев к жалости и состраданию не призывал. Скорее уж именно он «горьковскую идею безумства храбрых» усвоил и ей пытался служить. Был он романтиком в том же смысле, в каком были романтиками Горький и Маяковский. И о нем, как об этих двух более знаменитых писателях, слагается легенда. В условиях абсолютной несвободы «творящие миф» вносят в него то, о чем сами позволяют себе лишь мечтать. В мифе о Фадееве прежде всего решительно и даже резко отброшена казенная версия о самоубийстве «с пьяных глаз». Пил он будто бы в последние месяцы жизни мало, безумие в приступах белой горячки ему не грозило. Но уже давно, выражаясь языком Блока, душа его была «пьяным пьяна». Именно душа, это пустое место для крайних материалистов, была у Фадеева поражена недугом. Замечательнее всего то, что он и сам был буквально одержим коммунизмом. Был даже советским генералом от литературы и не только в смысле известности, но и в смысле власти, которую он давал чувствовать другим. Словом, доверие Сталина и какие-то премии он заслужил. Но тут-то и начинается трагедия. Подобно своим героям из «Молодой гвардии», он верил в коммунизм. Был у него и некий культ Сталина, восторг перед волей этого человека и, конечно, нежелание в нем разочароваться. И вдруг — шок, потрясение основ: сама партия развенчала фадеевского кумира. Если бы дело шло только о падении Сталина, Фадеев наверное не убил бы себя. Но, как ни двусмысленны маневры «обожаемой партии», они позволили на мгновение честно заблуждающемуся человеку увидеть правду. «И бездна нам обнажена... «и нет преград меж ней и нами» — вот что, по слову Тютчева, мог чувствовать Фадеев. От таких потрясений спасает только религия. Ее у Фадеева отнял коммунизм. Оставалось ему, как до того Маяковскому, одно: самоубийство.

Когда Блок обмолвился страшными словами: «выживают только подлецы», он, разумеется, не имел в виду одних лишь «примазавшихся к режиму». Его суд над человеком глубже и, как у всех настоящих поэтов, он — выше явлений временных. Но Фадеев и не был «примазавшимся к режиму». Вряд ли Блок назвал

бы такого человека «подлецом», да он и «не выжил». Это — натура цельная, действительность его сломала, а не согнула.

Обратимся к его посмертным страницам, напечатанным в «Литературной Москве». В его «Записных книжках» есть все следы настоящей литературной работы, то есть умения делать свое дело и любви к нему. Постоянно он себя подгоняет: «надо испробовать оба варианта», «кстати имя надо переменить, но на какое», «подумать о том, кто родители такого-то» и т. д. Вот какие проблемы его занимают: «сочетать толстовское — строение чувств — с умением Дюма — заинтересовать запутанностью событий» — или: «основываясь на собственных детских переживаниях, можно лучше показать его, Ченьювая, изнутри». Эта последняя запись — ключ к публикуемой в сборнике главе из романа «Последний из Удэге».

Замечу мимоходом, что и весь роман, над которым писатель работал всю жизнь, но которого так и не закончил, и публикуемая в «Литературной Москве» глава — вероятно очень понравились бы Гумилеву. При своем умении отбрасывать злободневное (в данном случае тайный и явный политический уклон) покойный создатель акмеизма наверно был бы рад усилению Фадеева опозитивировать детство человечества в его могучем первобытном соревновании с природой, в этих мощных и грубых проявлениях дикарской морали. Мне уже пришлось в «Гранях» говорить об акмеизме в связи с персонализмом. История назад не идет. Момент акмеизма вполне соответствовал здоровой реакции на крайности символизма, слишком «рвавшегося в облака», и тогда культ Адама (эта бодрость не искушенной и не развращенной жизни) как-то выправил болезненные бреды декадентства. Но в исторической нашей реальности всё передвинулось. Война и революция так основательно разделились с тем, против чего акмеизм восстал, что поэту стало неловко продолжать дело акмеизма. Древность праисторическая предстала не как процесс медленного освоения законов природы и дикой любви к ней, а как поиски Бога. У самого Гумилева, свободного от контроля какой бы то ни было партии, такие поиски уже не трудно проследить, хотя у него вера была тоже чуть-чуть примитивной. Но у «адамистов» типа Фадеева религиозное чувство подавлено чуждой всем формам религии доктриной. С этими оговорками воздадим должное мастерству покойного писателя. Хорош его крепкий язык, неторопливый эпически-мерный ход повествования, резкий и ясный рисунок опытного пера. Вот наудачу несколько образцов фадеевского стиля:

«Когда-то народ был велик. В песне говорилось, что лебеди, перелетая через страну, становились черными от дыма юрт». Или: «дули ветры с севера или северо-запада, холодные, малоснежные, земля промерзала на три четверти человеческого роста, а весной снова оттаивала». И тут же: «Неуловимо для одного человеческого поколения, но заметно для многих поколений подымался к небу берег океана. Выверченные в скалах водой и галькой шершавые котлы, в которых прапрадеды ловили руками маленьких крабов, когда еще сами были маленькими, эти котлы всё выше подымались над морем и были теперь недоступны для волн».

А вот еще несколько строчек из записных книжек:

«Вначале зажигается Венера, потом Юпитер» или: «Стожары — созвездие, в половину неба, много позже полуночи». Сколько трепета перед мирозданием, какое здоровое, необходимое для истинного писателя желание учиться чувству вселенной у самой вселенной — в этих мыслях для себя. А вот еще запись о технике писательского ремесла: «Использование Толстым приема смещения плоскостей без предварения в Хаджи-Мурате». По поводу этой записи Фадеева, точнее одного лишь слова, мне кажется справедливым напомнить о том, что в поэтическом Петербурге называли: «ослышка музы». Мне лично: «смещение» кажется

более находчивым образом, чем «смещение» — уж кто, кто, а Толстой не склонен был что-либо смешивать. Всё у него ясно до предела. А вот смещать, переиначивать, исправлять, перестраивать — это было в его могучей натуре преобразователя потребностью непреодолимой.

Продолжим чтение сборника. Перед нами центральная вещь, которой отведено целых 250 страниц. Это — третья часть трилогии «Открытая книга» В. Каверина, одного из редакторов «Литературной Москвы». Наша эпоха разучилась читать. Вряд ли многие прочли внимательно весь этот отрывок. А между тем, несмотря на то, что напечатанные в сборнике страницы несколько утомляют медицинскими терминами и вообще деталями медицинского мира, подобно тому как у Дудинцева утомляют подробности из мира техники, механики, — мне лично эта вещь Каверина кажется не менее, а кое в чем и более интересной, чем прославленное «Не хлебом единым». По многим причинам. Во-первых, у Каверина выше класс мастерства. Этим пренебрегать нельзя, особенно в советской России. За рубежом, в климате абсолютной свободы и среди непрерывно ищущих новизны и даже зарвавшихся в этих поисках западных собратьев по перу, мы уже, так сказать, перевалили за все эти «приемы остранения», которые еще продолжают пленять бывших учеников Шкловского, Замятина, Андрея Белого и даже, отчасти, Гумилева. Именно на западе мы поняли непревосходимую жизненность Пушкина, неизмеримо более трудную и технически, чем любые удачи искусства, напряженного только внешне. Эмигрантская литература в лучших своих образцах может оказаться в России литературой будущего. Но об этом я подробнее скажу в конце статьи. Не требуя от писателя того, чего он дать не мог или не хотел, мы должны быть благодарны Каверину за усилие несомненно творческое. В записках Власенковой, женщины-врача, от имени которой ведется рассказ, передана трагедия людей, бескорыстно посвятивших себя борьбе с эпидемиями и вообще с заразными болезнями, но конечно события войны, искусно показанные в отдалении сквозь серию дневников, случайных и неслучайных встреч, и просто в хронике тех лет, тему расширяют. Немного бы свободы автору, и получилась бы неприглядная правда нынешней России.

Из нашего далека (не только в пространстве, но и во времени) мы видим, быть может, еще яснее, чем сам Каверин, его связь с группой «Серрапионовых братьев», этих первых, тогда еще юных, литераторов-«попутчиков», так явно отличавшихся от тогдашних пролеткультовцев не только образованностью, но и желанием ее привить к новой литературе. Официально борьбы между этими просвещенными просветителями и теми, для кого литература началась с Ленина, не было. Но зигзагами через всю историю советской литературы шла кривая великой внутренней болезни пленной мысли и слова. Кто победил? Ни те, ни другие. Слишком многим пришлось поступиться бывшим попутчикам, чтобы не быть сосланными или просто «ликвидированными». Со своей стороны создатели литературы «великого октября», не раз высмеянные самими руководителями партии (талантливее всех делал это в свое время Троцкий), всё яснее понимали, что искусству слова надо учиться. Их напор, одним из эпизодов которого было растерзание рапповцами Маяковского, не ослабел, конечно, и поныне. Пожалуй теперь всё еще проще, еще яснее: с одной стороны, партия с ее нелитературными и литературными методами воздействия, с другой — советские гуманисты (без кавычек, разумеется). «Началась — и продолжалась до самой войны — та особенная полоса в моей жизни, — пишет Власенкова, — когда с жестокой последовательностью я старалась отстранить от себя всё, что отвлекало меня от дела науки». Героиня каверинского романа в этих строчках изображена ясно: наука для нее —

жизнь, действительность — помеха. «Но вот, продолжает она, в летний воскресный день 1941 года скрылась из глаз, как за крутым поворотом, прежняя налаженная жизнь... Из Москвы в Термез, из Термеза в Ташкент, потом Красноводск, Астрахань, Саратов. Лабораторный работник, занимавшийся изучением лекарств, я стала эпидемиологом, санитарным врачом»... «Главная трудность заключалась в том, что необходимо было предупредить возникновение болезней не только в городах и селах, среди оседлого, живущего в привычных условиях населения, а среди сотен тысяч людей, медленно двигавшихся на восток по железным и шоссейным дорогам».

В этих цитатах намечена не только личная трагедия Власенковой, но и трагедия России в годы второй мировой войны. Автор справедливо предполагает, что главные события этого великого потрясения еще живы в памяти современников, и поэтому о них говорят мало. Со времени Стендаля, гениально заменившего помпезные описания батальных картин ощущениями войны сквозь переживания маленького героя, этот прием, доведенный до небывалого совершенства Толстым, продолжает спасать писателей от банальности и патриотической фальши. Искусно пользуется им и Каверин. Повествование, отступая там и тут на короткое время назад (например, в 1939 год) ведет нас через годы: 1941, 42, 43 до 1956. За этот период Власенкова и, конечно, вся Россия переживают страшную эпопею не только военных и послевоенных ужасов. Автор записок мечтает обо всем «рассказать человечеству». Вот она, забота гуманистки в СССР; ей важно то, что железным коммунистам в сущности безразлично: для них ведь не всё человечество — желанный слушатель, а только та часть его, которая способна «активно включиться в строительство ленинского социализма».

Каверину удается заинтересовать нас описанием борьбы с эпидемиями. Гоголевский ужас перед неприглядностью невежественной уездной и деревенской России, конечно, не под силу советскому писателю. И не только потому, что Гоголь — гений, но и потому, что при «ненавистном царизме» писатель-пророк не рисковал жизнью, бросая всей стране: «над кем смеетесь, над собой смеетесь», а теперь советский обличитель должен дрожать, заслышав окрик наблюдателей из партии. И так уж Еремин в «Литературной газете» начальственно распек зазнавшегося писателишку. «В исповеди Власенковой, пишет Еремин, черты однобокости, субъективности, неполной достоверности, распределение света и теней произвольно». Что же сказал бы Еремин Гоголю о «распределении света и теней» в «Ревизоре» или «Мертвых душах»? Но оставим, пока это возможно, казенную критику. Всё равно ее нажим чувствуется во всем, что пишут сегодня на территории России. Отнеса на счет правительственного контроля уродские черты приспособления к нему всех без исключения активно действующих советских писателей, постараемся пореже вспоминать гениев прошлого века, этих гигантов воистину свободной, пророчески христианской литературы, теоретически возможной теперь лишь в эмиграции. Подчеркиваю, увы, по необходимости: теоретически, так как «человеческое, только человеческое» по бессмертному слову Ницше, в эмиграции бывает еще мельче, чем там. Но к этому мы вернемся в конце статьи.

Как страшна история эпидемий в Советской России! «Не умеем мы лечить раны. Умирают люди по нашей вине», говорит один из героев романа. Побольше бы таких признаний! У Каверина довольно писательской честности, чтобы нет-нет правду приоткрыть. Страхует себя от упреков, он заставляет Власенкову сказать: «в науке и не бывает легких побед». Препарат, которым герои романа так гордились, себя оправдал, но не сразу и не вполне. Все эти имена: «крустозин», «бактериофаг», звучащие для непосвященных, как медицинская загадка, таят в

себе слезы и даже кровь изыскателей, а самое сложное — впереди. Это в плане научном — кажущееся превосходство оксфордского пенициллина над «нашим препаратом», а в плане человеческой судьбы арест по ложному обвинению Андрея, ученого изыскателя, мужа Власенковой. Читатель, если он только выполняет свой читательский долг, то есть если не листает большое произведение третье через десятое, как это у нас случается делать не только рядовым читателям, но и ответственным критикам, читатель, повторяю, творчески сотрудничающий с писателем, наверно уже успел оценить усилие русских ученых. Этот желанный и ускользающий успех «нашего препарата» представляется ему всё же завоеванным, как, примерно, в бессмертном «Левше» Лескова, где простые русские кузнецы, не умея сделать то же, что сделано опытом превосходной английской техники, всё же по-своему делают чудо усилием своего природного гения. И разве не чудо в невыносимых условиях, угадываемых сквозь полупризнания Власенковой, эти догадки Дмитрия, брата ее мужа, и вообще какие-то серьезные результаты в труднейших поисках верного решения. Состязание между российским крустозином и английским пенициллином — захватывающее не только для Власенковой. Она так описывает свое состояние: «В «Казаках» Толстого есть прекрасные страницы, где Оленин, впервые приехавший на Кавказ, видит горы, и тонкий воздушный рисунок гор присоединяется ко всем его мыслям и чувствам: «И горы». Вот точно так же стоило и мне закрыть глаза, и передо мной появлялась светлая, просторная палата, где происходило наше в сущности очень странное состязание». Отметим мимоходом эту дань уважения Толстому, характерную не только для Каверина, но и для других участников сборника (у Фадеева мы уже это видели).

Но истинная трагедия, к которой эпиграфом я бы поставил уже процитированные мною слова редакции о гибели писателя Катаева, — арест Андрея, мужа Власенковой. Если бы он был только жертвой донощика и негодяя Скрыпаченко, советское бесправие было бы менее очевидным. Но губит Андрея и Крамов, заместитель наркома, вершина из вершин. Происходит нечто исключительно благоприятное для нашего оклеветанного героя: жена Крамова, ненавидящая своего мужа, тайно подбирает смятые замнаркомом листки, на которых он делал пометки по делу Андрея. Из этих пометок ясно, что Крамов поставил себе целью погубить заведомо невинного ученого. Разоблачительница, передав Власенковой компрометирующие мужа бумажки, кончает жизнь самоубийством. Власенкова пускает в ход бумажки, и Андрея возвращают из ссылки, а Скрыпаченко и сам Крамов отстранены от должности. Что с ними будет, нас не очень интересует. Поражает другое: ведь не приди Крамова к Власенковой, — он бы погиб. Словом, перед нами встает видение арестованных по воле самого Сталина врачей, которые могли быть выписаны в расход без всякой вины; да и вообще целая вереница печальных лиц, из которых лишь немногие удостоились теперь посмертной «реабилитации», глядит на нас сквозь эти строки. Разоблачение советского режима, быть может, и не было задачей Каверина. Он честно исполняет программу партии, милостиво и либерально позволившей «обнажать язвы бюрократизма». Но так как наш автор — художник, то и не удается ему замазать густой патиной поправок, оговорок и попыток возвеличить незримое, мудрое партийное руководство, — печальную правду о Советской России.

Пропустим пока стихи, о которых мы скажем особо. Следующая по очереди вещь, написанная прозой: «Сонет Петрарки», драма в трех действиях Н. Погодина. Об этой вещи почти не говорят. Написана она неплохо, с претензией на изящество в стиле Мариво. Но идиллия советского сановника, у которого тоже есть

сердце или точнее — способность влюбляться, вряд ли тема для настоящей драмы. Реверансы автора перед его высокопревосходительством вызывают скорее чувство неловкости. Вспомнился мне советский фильм «Трое на плоту», где тоже некий сановник показан, как все живые люди, добродушным, веселым и понимающим любовную драму своего друга детства. По контрасту же вспоминается «Толстый и тонкий» Чехова, где истинные соотношения между генералом и чинушей изображены с предельной правдивостью: едко и трагично. Идиллия Суходолова и Майи в драме «Сонет Петрарки» оттенена сценками сыска и доносительства, которыми занимается Клара, подруга Майи. Но добровольная сыщица получает отповедь от некоего добродетельного Павла Михайловича. Видимо, предательство, интриги, донос — до того привычное дело в Советской России, что на эту Клару автор много строк и времени не тратит. Идиллию Суходолова и Майи благословляет простой перевозчик на фоне горящей тайги. Эпиграфом ко всей этого рода литературе можно бы взять горьковское: «Море смеялось».

Совсем другого типа идиллия между Тимкой и Аполлинарией в рассказе «Под чистыми звездами» покойного Ивана Катаева. Тимка, деревенский Дон-Жуан на Алтае, ловкий, складный, непокорный, чем-то напоминающий Шолоховского Мелехова, натура беспокойная, восприимчивая. Он переживает потрясения от прочитанной книжки, от фильма. Он верит тому, что говорит, но сам не знает, что с ним будет завтра. Аполлинария — тип сильной девушки. Видит она своего Тимку насквозь и знает, что с ним «горя не оберешься». Но любовь ее к нему сильна, это Катаев дал почувствовать. Лицо у Аполлинарии, говорит автор: «иконописное, сказали бы раньше, рублевского века». Почему же этого не скажут при советской власти? Или Рублев перестал быть гордостью русского искусства? Или так далеко зашел страх перед властью, не поощряющей или точнее поощряющей через силу религиозный культ, что надо кривить душой и в этом?

«Хозарский орнамент» Юрия Нагибина — попытка художественно изобразить борьбу советской власти с невежеством глухого угла. Мецера — имя этого угла. Дед, хвастающий перед гостями особыми нравами Мецеры, в общем гордится тем, что ее обитатели год за годом истребляют богатства местной природы. Секретарь райкома объясняет ему вред таких обычаев. Вполне возможно, что эта сценка с природы отражает какую-то правду. Чеховская и бунинская деревня не стали же менее дикими в иных углах России. И почему бы, как раньше страдал от этого просветитель интеллигент, не пострадать теперь какому-то секретарю райкома? Но разве только добро и понимание несет райком в отсталые углы «глухой и грешной» России? Вот и вспомнились они невольно, слова Ахматовой:

Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

В благоустроенных странах Запада сколько раз вспоминаются эти слова эмигранту. А начнешь вчитываться в советские повести и рассказы, и, прорезая пелену всяческой неправды, замаячит перед глазами та самая, страшная и много-страдальная Россия, которой Ахматова покинуть не захотела по причинам высокого мужества: «не хочу спастись одна», а мы покинули, но и у нас мужество особое, эмигрантское.

Будем же вглядываться дальше в тот край. Перед нами «Свет в окне». И в самом деле это свет, хоть и слабоватый. Рассказ наделал много шума. Разносили его на пленуме почти с угрозами автору. Восхищались им у нас, в эмиграции. Мало же нужно теперь человеку для столь противоречивых чувств: немножко человечности, бледный свет почти легального гуманизма. Об этом рассказе того же Нагибина столько сказано, что не стоит приводить цитат из него. Посоветуем

прочесть его тем, кто этого еще не сделал. В порядке личного замечу, пожалуй, что именно Нагибин своими двумя рассказами вызвал у меня «тоску по родине». То есть не тоску по березкам и прочим особенно волнующим иных эмигрантов прелестям, а тоску совести, ту самую, о которой поют стихи Ахматовой. Но это чувство настолько для всех нас важное, с ним связаны такие важные решения в биографии каждого из нас, что лучше к этой теме вернуться после прочтения всего сборника. В нем ведь не только нагибинские строчки позволяют разглядеть лицо нынешней России. Вот, например, «Поездка на родину» Н. Жданова. И в этом рассказе советским партортодоксам не нравится «недуг уныния, разочарования в красоте и правде нашей жизни, в ближних своих». И об этом рассказе говорилось и писалось много. «Верно ли, нет ли с нами сделали?» с надеждой и ожиданием спрашивает солдатка Деревлева. Вопрос ее, конечно, остается без ответа, но вот уже после нагибинского героя, «внутри которого росло ощущение невыносимой гадливости к себе», — второй тип кающегося советского человека, словно ненавистный Ленину «интеллигентский хлюпик» неожиданно пробрался в бодрую управляемую партией литературу. Легко понять негодование литераторов, исполняющих партийные директивы.

Николай Чуковский грамотно и жестко рассказал отвратительную биографию мелкого спекулянта, не жалеющего никого, лишь бы нажиться, теряющего чувство меры и реальности и мерзко погибающего после ряда мерзких проделок. Этот Миша, уезжающий из Советской России в самом начале ее возникновения, возвращающийся в погоне за своим, убегающим от владельца товаром, грязно обманывающий отца и мачеху, снова бегущий из России с украденными у них деньгами, убитый другим обманщиком и рвачем на берегу Ледовитого океана, — не символ, не тип. Для того уровня, на котором действующее лицо становится типом, у Чуковского, если судить по рассказу «Бродяга», нет данных. Это не «жесткий талант», как сказано было о Достоевском, который умел буквально разорвать сердца ужасом и жалостью. Никакой жалости герой Чуковского не вызывает. Брезгливо и с досадой спрашиваешь себя: для чего это нам показано? Нелепая судьба Миши в лучшем случае напоминает рассказ Горького о маленьком человечке, которого отравили рахат-лукумом. Если в других рассказах сборника присутствует то, что люди верующие называют Провидением, а неверующие — судьбой, в рассказе Чуковского и судьба отсутствует. Не может быть судьбы у подобия человека, есть обусловленная его звероподобными качествами серия приключений с заранее очевидным концом.

«Жизнь в расщелку» — заглавие «мексиканских сцен», написанных двумя авторами: Е. Босняцким и А. Коробициным. Первый в кратком предисловии рассказывает, как второй стал писателем. Босняцкий, оказывается, Коробицина «открыл» и помог ему найти себя в литературе. «Сын русских революционеров, бежавших за границу из царской ссылки, А. Коробицин, пишет Босняцкий, родился в Аргентине. Язык его детства — испанский, друзья его детства — мальчишки бедных кварталов южноамериканских городов... Приехав домой в Советский Союз, молодой Коробицин стал моряком торгового флота».

В разных странах Запада есть немало детей русских эмигрантов, уехавших в разное время из России. Все эти дети, по большей части никогда не видевшие страны отцов, редко вспоминают о своем происхождении. Русские профессора за границей хорошо знают этот тип: славянские черты лица, фамилия несомненно русская, нередко на «ов», и — ни слова по-русски. В средних школах такие ученики, записываясь слушателями (русский язык почти повсюду необязателен), следят за уроками без внимания и отстают от других. Нужны особые обстоятель-

ства (очень заметное положение отца-эмигранта, настойчивая привязанность родителей к тому, чем была для них Россия), чтобы их дети, которых не отличишь от детей страны, где они родились и растут, захотели помнить о своем русском происхождении. Коробицин вспомнил. Но судя по его краткой биографии и по «Жизни в рассрочку» вспомнил он об этом главным образом по причинам порядка политического. От его страниц, быть может не без участия его учителя и соавтора Босняцкого, так явно «разит» яростью новообращенного коммуниста, что временами за него неловко. Написанные бойко и с претензией на оригинальность страницы эти то сбиваются на грубый памфлет, то на сценарий какого-то экзотического фильма. О том, что гангстеров и других негодяев в странах латинской Америки (как и в Соединенных Штатах) немало, все отлично знают. О том, что эти персонажи во всех оттенках, от героического и привлекательного до низкого и роботоподобного, могли восхищать молодежь, тоже известно. Но разоблачать «язвы капитализма», занимаясь описанием только таких персонажей, вряд ли достойно литераторов, из которых один считает себя опытным. Спросим, между прочим, опытного Босняцкого, хорошо ли он сделал, посоветовав своему напернику назвать свои сцены, перефразируя заглавие романа Селина. Как бы ни относиться к этому автору, вещь его: «Смерть в рассрочку» была событием в современной французской литературе. Ни слова, ни намека об этом у Босняцкого-Коробицина. Но перейдем к сути их коллективного творения. Фильм из жизни Родригеса принадлежит к разряду тех ярких, переполненных малыми эффектами картин, в которых постановщику хочется всеми средствами добиться цели. Цель — ослепить изобретательностью и талантом и, конечно, исподволь убить капитализм, превознося героя-интеллекта, прозревшего и порывающего с акулами любостыжания. Чего только не успели показать наши авторы: и гадину Хименеса и ему подобных, и быт Мексики, и любовную идиллию среди сцен традиционного бокса, ареста и прочее. С каким удовольствием, даже смаком, расписывается сцена избиения нашим героем какого-то янки, разумеется занимающегося чем-то отвратительным. Ну а в Советской России, хочется спросить Коробицина, не хочется вам никого бить, если уж вы так смело воюете против зла? Ведь вот избивает же муж Власенковой у Каверина клеветника Скрыпаченко, рискуя гораздо большим, чем рисковал ваш Родригес в стране всё же свободной. Кого хотите вы убедить даже в советской России, где скулодробительство не редкое явление в тюрьмах и лагерях, то есть в отношении людей не имеющих ни права, ни возможности защищаться, — что на Западе личность и ее права не ограждены законом? Поднявший руку на сильного бывает смельчаком и в Москве и где-нибудь в Мексике, но Андрей у Каверина чуть не погиб, посмеяв дать волю своему негодованию и своим рукам, а Родригес, как видно из ваших же сцен, попал в герои, посидев неделю в тюрьме. Немезида, говоря языком гуманистов, или возмездие по вере иудеев и христиан, карает за искажение правды, ибо «не в силе Бог, а в правде». В агит-фильмовых ваших сценках — правда искаженная, заведомо окрашенная в один цвет, а потому и художественно и по существу она лжива.

Продолжаем обзор прозы. На очереди — «Рычаги» А. Яшина. В этой вещи, которая разделяет с рассказом Нагибина «Свет в окне» первое место по количеству вызванных ими ругательных и восторженных отзывов, есть, как у Нагибина, грусть России. До такой степени, что и об этой вещи партийная критика говорит с гневом, обличая «глубокий пессимизм автора, его чисто негативное понимание происходящего в деревне. Казенщина, фальшь, лицемерие, которые являются якобы закономерными качествами хороших по своему деревенских партийцев, этих «рычагов» партии в колхозном строительстве», вот что будто бы пока-

зывает Яшин, если верить оценке критика «Литературной газеты» Еремина. Не будем с ним спорить. Дело не в нем и даже не в Яшине, а в советской деревне, о которой и сейчас слова Некрасова звучат, как будто сказаны они сегодня:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там во глубине России,
Там — вековая тишина.

Да, тишина эта слышна и сквозь разговоры героев Яшина, которые, наговорившись по всем правилам партийных ячеек, то есть по-казенному и как бы исполняя трудный долг, расходятся с облегчением. «Теперь что двадцатый съезд скажет!» — то и дело повторяли они», пишет Яшин. А нам опять вспоминается Некрасов:

Вот приедет барин, барин нас рассудит.

Мы знаем, что в старой деревне, как ее видел Некрасов, надежды на приезд барина были напрасны. Напрасны они, разумеется, и теперь, хотя рабоче-крестьянская власть, казалось бы, всё изменила не только внешне, но и в самой сути. Не могло же быть раньше этих партразговоров якобы самоуправляющихся крестьян. Но кому нужны эти разговоры? Что изменили они в бедности и ужасе деревни? До такой степени ничего, что наши четыре собеседника, пробарабанив заученную роль, на время своих политически-хозяйственных споров перестают быть людьми. Это — рычаги партии. «Господи, как грустна Россия», будто бы воскликнул Пушкин, слушая «Мертвые души». Видно есть могучая власть даже у малой доли правды, если она заставляет вспомнить тех писателей, которые за Россию сказали самое главное. Только те из советских авторов, которые глубоко и горестно вздохнули вместе с народом, не переставшим страдать, продолжают дело великих предшественников. Продолжают, конечно, лишь в меру своего личного таланта и пока их не приструнят. Но голос хора им вторит, им подпевает. Это — голос России, не советской, не эмигрантской, а идеальной, то есть верной своим величайшим учителям: долготерпению и страданию.

«Духовный диспут» С. Бондарина, несмотря на явный пропагандистски партийный уклон, тоже какую-то малую долю правды приоткрывает. Тема, сама по себе в советских условиях опасная, не углублена, не разработана, а главное не поднята автором до больших выводов, которых мы вправе ждать от спора религиозного, но уже одна возможность на такую тему писать — явление отрадное после всех попыток власти задушить ее.

Спор идет между проповедником Иннокентием, «бывшим кузнецом, потом монахом и расстригой» и «товарищем землемером». Слава об Иннокентии шла далеко по уездам, говорит автор, но не показывает, чем этот человек славу свою заслужил. Наоборот, землемер, от лица которого ведется рассказ, сам упивается своей властью над словом, доходя до таких, например, легкомысленных сопоставлений: «Почему-то я мгновенно вспомнил притчу о мальчике Христе, проповедовавшем перед мудрецами на ступеньках иерусалимского храма, в следующую минуту, опять обратясь к себе, я понял, что я уже начал говорить».

«Мы люди другой веры, говорит землемер, не Страшного суда, а людского».

«Как всегда, спор разделил людей, продолжает наш землемер, на каждую цитату Иннокентия у меня находилось две. Во мне всё работало: кровь, мысль и голос. Стихи из Пушкина, Беранже, Гейне звучали ничуть не бледнее апокалипсиса».

Надо подчеркнуть, что отношение землемера к своему оппоненту крайне либеральное. Никаких угроз, никаких намеков на то, что за одним из спорщиков — власть, а за другим — «крестьянская темнота». Поединок выигрывает землемер, но если бы в России и в самом деле такие споры не были явлением единичным, можно было бы сравнивать ее с Западом. Ведь и здесь у любого просвещенного краснбая, легко цитирующего любых поэтов, больше шансов на успех перед аудиторией, даже крестьянской, чем у какого-то монаха. В том-то и особенность либерального гуманизма, в котором мы в западных странах живем, что он со всеми умеет разговаривать. Гуманизм в СССР от своего западного собрата по существу мало чем отличается. Но так как там за него можно легко угодить в тюрьму, то и героизма в нем больше. Мирный тон землемера, его готовность обсуждать даже Апокалипсис, конечно, не нравятся кое-кому из его спутников. «Вроде как милостыню выпросили», говорит один из них, несмотря на то, что, благодаря поведению землемера, крестьяне доверху нагроулили подводы сборщиков мешками с зерном и мукой. «Всех их — к ногтю», добавляет этот сторонник крутых мер. Не будем сомневаться, что этот метод, а не либеральные речи землемера — характерен для споров власти с деревней в Советском Союзе. Но поблагодарим Бондарина за то, что он помечтал вслух о мирных средствах убеждения и особенно за его невысказанное признание, что религия в народе крепка.

Дальше в прозе: рассказы о зверях и птицах Б. Ямпольского. Эти беглые зарисовки, скорее приятные, а иногда и удачные, как бы — переход к отделу, названному «Очерки». В нем центральное место занимает «Деревенский дневник» Е. Дороша. «В предлагаемом читателю дневнике нет и строчки вымысла», такими словами начинает он свою неторопливую повесть. Охотно верим. Легко отбросить политические рассуждения, если после них остается всё же нечто живое и даже значительное. Как это «нечто» назвать? И снова не придумаешь другого названия: «любовь к России». Партийная критика Дороша хвалит за то, что он, обличая недостатки деревни, остается правоверным коммунистом. Мы склонны его хвалить за то, что этими своими заслугами перед партией он не погряз своего писательского дарования. Это — человек зоркий, даже сердечный.

«Трудно работает здешняя крестьянка, пишет он, куда труднее, чем мужчина. Я уже не говорю о том, что после войны мужчин в деревне мало, что большинство из них ходит в начальниках. Почти все мужские работы механизированы: пахота, сев, сенокос, уборка. А вот женские, — на том же сенокосе, где мужчины косят косилками, а женщины ворошат сено граблями и навивают стога вилами, в животноводстве, в овощеводстве, всякие подсобные работы, — механизированы в очень незначительной степени. Да еще и на своем огороде надо женщине поработать, и за скотиной ходить и обед готовить, и обстирать, обшить всю семью. Вот и глядит она к сроку годам старухой».

Любезный коммунистам и может быть сам коммунист Дорош в наш «индустриальный век» говорит то же о русской крестьянке, что говорил помещик Некрасов. Сколько удивительных строчек посвятил ей великий поэт. Повторяю, над всеми искренними описаниями России звучат пронзительно-жалобные, нисколько не обветшавшие песни Некрасова.

Дорош вообще особенно удачно пишет о женщинах в деревне. Маленький пассаж про девочку Гальку, ее мать и Валентину — прелесть (стр. 576—578). Глазами Натальи Кузьминичны, которая метко и едко, но без злобы судит местных женщин, мы видим их «мучительный, лукавый, многим женщинам сужденный путь». И Дорош, подобно Блоку, «не в силах упрекнуть» своих простоватых, но хитрых героинь.

«Все три факта «несоблюдения себя» женщиной и девушками я узнал в разное время, но вспомнились они сегодня, так как по радио передавали «Тупейного художника» Лескова, рассказ о страстной, чистой и верной любви. И подумалось, что очень нужны рассказы о любви, о верности, о таких вот разных «случаях».

Прекрасные слова! И еще один пример того, что стоит русскому писателю, даже подневольному (других в советской России, увы, нет) заговорить языком сердца, забыв на мгновение «партийное руководство», и сразу попадает он в русло великой русской литературы, вспоминая сам или заставляя вспомнить то или другое имя золотого века России.

«Потворство», живой, хоть и несколько переобремененный нравочениями очерк С. Синельникова посвящен эпизодам борьбы с пьянством. Борьба борьбой, но страшный мир «зеленого змия», этой российской Горгоны, видимо силен, как всегда. Если же судить по рассказам туристов и в особенности европейцев, живших в нынешней России долгое время, пьянство, в самой разнузданной форме, с хулиганскими выходками, с грубым молодечеством перед глазами робеющих миллионеров, характернейшее явление сел и пригородов даже вблизи столицы. У Синельникова побеждает разум, дисциплина, главным образом боязнь, «чтобы на людях больше не обиждали», а в действительности?..

«Шумят леса» И. Зыкова заслуживает той же симпатии и по тем же причинам, как «деревенский дневник» Дороша. Вот наудачу цитата:

«Кто ж не любит леса? Кому не приятен шелест листьев над головой? Протест против рубок — исконная традиция русской интеллигенции, на ней мы воспитались. Все мы с детства помним Некрасовское: «Плакала Саша, как лес вырубали», и каждый сочувствовал чеховскому доктору Астрову с его картой исчезающих лесов».

Опять — Некрасов, Чехов, их заветы, которых не вытравить, как не вырубить всех лесов. Разумеется, есть у советского писателя обмолвки, показывающие некий сдвиг сознания, в особенности там, где вопрос идет о вере. Подтрунивает Зыков над Пришвиным, советским классиком, которого любим и мы за его на редкость верное чувство природы. Зыков его почитает, но снисходительно иронизирует над стариковской мечтой о возможности преодолеть старость и победить смерть.

Слух к религии так же необходим, чтобы достойно говорить о ее великих тайнах, как слух к музыке, чтобы судить о ней. У Пришвина этот слух был, у огромного большинства других поднадзорных писателей его отшибло. Зыков — из их числа.

Перейдем к стихам. Есть среди них очень хорошие, почти все талантливы. Над всеми можно поставить знак: «сделано по традициям петербургского Цеха Поэтов». Только стихи Марины Цветаевой стоят особняком. О них и поговорим особо. Не знаю, радоваться ли мне, бывшему акмеисту, ничуть не отрекающемуся от своей литературной родословной, что традиция крепкой петербургской работы над словом оказалась устойчивее всякой другой: в этой выделке нет срывов, потому что нет риска, но риск риску — рознь. Есть благородный, не потому нарушающий привычную форму, что надо во что бы то ни стало поразить наивного читателя, а потому, что иначе нельзя. Когда Джойс или Виржиния Вульф даже в прозе разрушали все правила установленного жанра, так что у них не знаешь, где кончается дневник, где начинается рассказ, так сказать, объективный, у них это выходило само собой, и в разговорченных до основания приемах старого стиля возникал стиль воистину новый. То же бывало в поэзии, начиная с Данте и кончая «Морским кладбищем» Поля Валери, не то поэмой, не то гимном, не то

размышлениями в стихах. Ничего подобного у советских авторов, напечатавших грамотные и талантливые стихи в «Литературной Москве». Ямб от хорея они отличают и как! (не то, что Онегин); повторяю, аккуратные, под одну акмеистическую гребенку подогнанные эти стихи не грешат дилетантизмом, но грозная наша эпоха, — не лаборатория для «Опытов». Вспоминая эту книжку Брюсова, отнюдь не увеличившую его относительную славу мастера стиха, я хочу сказать, что умение писать стихи, если и спасает автора от дилетантизма, свирепствующего в самых низах советской и эмигрантской продукции, еще не делает его сочинений нужными ни читателю, ни ему самому. Рецепт Гумилева оказался более долговечным, нежели рецепты более задорных и менее преданных поэзии «измов», но... «поэтами рождаются». Есть ли эти, подлинные, среди авторов, чьи стихи обильно представлены в «Литературной Москве»? Разумеется, есть, уже потому что есть стихи Цветаевой. Но она не единственный поэт среди стихотворцев. Поговорим сначала о ней. Сравнение, точнее противопоставление ее стихов ахматовским напрашивается невольно. Обе, и к ним по справедливости надо присоединить своеобразнейшую и острую Зинаиду Гиппиус, подняли на большую высоту поэзию женскую. Она у Ахматовой, этой неоспоримой королевы стиха даже безотносительно к ее женским темам, достигает иногда уровня поэзии блоковской и пушкинской. Более лестного о русской поэтессе, кажется, не скажешь. «Когда в тоске самоубийства Народ гостей немецких звал», стихи огромного национального значения. Кто-то из партийных критиков задал вопрос по существу правильный: «Если заниматься Цветаевой, то разве не лучше заниматься Ахматовой — ведь это явление гораздо более крупное, чем Цветаева». Позволю себе с этим критиком согласиться с одной оговоркой: заниматься надо обеими. И таких поэтов, как Цветаева, у нас не так уж много, чтобы ими пренебрегать. Эренбург хорошо сделал, посвятив ей свои строчки в меру восторженные и в общем справедливые. Его собственные стихи, конечно, слабее его прозы, но его знание поэзии помогает ему в деятельности критика, достаточно независимого и авторитетного. За Цветаеву и вообще за последние его отзывы о стихах ему, конечно, досталось. «Эренбург уклоняется от исторически конкретного анализа и прямых идейных оценок», пишет Еремин, упрекающий критика за целый ряд «ничего не объясняющих и лишенных реального смысла выражений». Так как для правительственной критики в стране Советов поэзия — служанка партии, то и попытка напомнить о достоинстве и независимости поэта объявляется крамольной. Со времени гонений на Цех Поэтов в Петербурге прошло без малого сорок лет. Результаты: принципы Цеха победили и в поэтической критике и в стихотворчестве наиболее даровитых авторов, а гонения и зашугения продолжают.

Из стихов Цветаевой отмечу мое любимое: «Попытка ревности». Весь ее талант, вся находчивость и мастерство здесь — налицо. Одно время Цветаеву очень выдвигали писатели, заведомо поэзией не интересующиеся. Это — знак тревожный. Почтеннейшие ученые, не имеющие ни времени, ни данных для проникновения в тайны поэзии, были благодарны Цветаевой за яркость, за несходство с классиками. Однако того, что Боратынский сказал о своей музе, о Цветаевой не скажешь:

Но поражен бывает часто свет
Ее лица не общим выраженьем...

«Поражен» именно потому, что в повадке музы Боратынского нет ничего кричащего о ее оригинальности. Она, как Татьяна на балу, да и вообще в петербургский период своей жизни, — «верный снимок du comme il faut». Цветаева до та-

кой степени своей оригинальностью озабочена, так ее всеми доступными поэту средствами рекламирует, что критика в поэзии искушенная, признавая ее блестящее дарование, не может не сделать много оговорок о ее, так сказать, поэтическом воспитании. Не прекращающийся спор о стиле поэзии в Москве и Петербурге, во многом потерявший остроту из-за почти стершихся в общей беде границ, был не случаен. Стихи Цветаевой об этом напоминают. В них есть много того, что могло развиться только в климате московских аттракционов времен кубофутуризма и прочих слишком нескромных и шумных попыток завоевать улицу, которой до истинной поэзии дела нет. Интеллектуальные снобы, среди которых было немало людей замечательных в своей области (например, в философии), Цветаеву превознесли за недостатки. Широкая публика ее не знает. И оказалось, что за ее достоинства, за то, что в ее поэзии долговечно, любят ее только истинные ценители стихов, казавшиеся ее «врагами». Так было, так будет.

Я ничуть не ослеплен, как это вероятно ясно читателю из первых же строк этого отзыва о стихах, петербургской манерой писать их. Она грамотнее, эта манера, она предохраняет от скандальной безвкусицы и всех форм самообожания. Но поэтом стихотворца она не делает. Из авторов, работающих в манере петербургской, акмеистической, отметим прежде всего поэта Н. Заболоцкого. Я бы, не колеблясь, назвал его персоналистом. Это поэт неровный, но за его стихами есть всегда лицо живого человека. Он наверно считает себя неверующим, но сквозь его строчки брезжит тоска по вечности. Вечность же для истинного поэта не может быть пустотой. Бледные проблески того, что или вернее Кто заполняет вечность, нельзя не различить в подлинной поэзии. Персонализм, то есть чувство человека в Боге и любовь к труду земному, но благословенному, — конечно, — антипод коммунизма, где человек, в труде рабском, Бога и не хочет назвать. По этому в большевизме персонализм немислим. Но мы вправе его распознавать в поэзии, рождающейся от духа, а не от материи. В первом из четырех стихотворений Заболоцкого есть бессознательная перекличка с великими образцами мировой лирики. Начало и название: «Когда вдали угаснет свет дневной» напоминает начало знаменитейших строчек Пушкина: «Когда для смертного угаснет шумный день», а всё стихотворение с этим образом поэта, мечтающего о собрате, которого он «где-то там в другом конце вселенной»... «своей мечтой туманной» беспокоит, напоминает стихи Гейне про северную сосну, которой снится пальма в жарких краях. Не менее человечны стихи «Чертополох». В третьем стихотворении показана черта между талантом и живым сердцем. Этот выпад против людей искусства тоже персоналистичен: в самом деле, нельзя мириться с разрывом между призванием артиста и его качествами человека.

Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства.

Не понимает этого девочка, но поняли такие люди, как Платон, изгнавший поэтов из идеального государства. Оттого-то и любим мы с такой гордостью Пушкина, что гений не мешал ему быть добрым и «будить чувства добрые». Заболоцкий об этом слиянии человечности истинной и таланта тоскует. Прекрасный признак. Но отзывчивое сердце в этом мире — опасность, и Заболоцкий в четвертом стихотворении вздыхает:

И мне бы нужно в панцире встречать
Приход зимы, ее смертельный холод.

Странно, что Еремин в своей статье ни слова не сказал о Н. Тихонове. Ведь это всё же одна из советских знаменитостей. Разумеется, если сравнивать его известность, например, с известностью Пастернака, чувствуется в тихоновской что-то казенное. Но характерно, что и казенный критик о нем промолчал... на этот раз. Формально Тихонов — ученик Гумилева с едва заметным влечением к новаторству в стиле пишущих под Пастернака, Цветаеву и Маяковского. Мастерство у Тихонова несомненное, но оно редко радуется. Есть в нем какая-то угрюмая сосредоточенность человека с предвзятой идеей. Что «съело» этого даровитого стихотворца? Упрямая и программно-негнущаяся верность коммунизму? В стихах его, которым в «Литературной Москве» отведено больше места, чем стихам других авторов, есть острота. Ее меньше в разделе, названном не очень удачно «стихи иронические», хотя именно здесь она была бы более уместна. Стих крепко сделан. А чего-то главного нет. И задумываешься: Пастернак — в тени, а обаяние его лирики, часто спорной, куда сильнее. Об Ахматовой и говорить нечего. Ее молчание «звучит».

Признавая с удовольствием еще раз уровень поэтической грамотности и у других участников сборника, отметим у каждого какую-либо черту, вызывающую недоумение или удивление. В элегантном стихотворении В. Соколова о чайке на спичечной коробке противопоставлены мрачный пессимист и чувствительный мечтатель. Пессимист не ждет «ни машины, ни божьих ангелов». Оптимист ждет машину. О Божьих ангелах, конечно, даже мечтателю-оптимисту думать страшновато (не из-за Божьего Суда, а из-за партийной цензуры). Зато чайку, хоть она всего лишь на спичечной коробке и изрезана ножом пессимиста, оптимисту жаль.

В несколько суховатых строчках А. Суркова — ошибка в цитате из Пушкина: «В обитель тихую трудов и мирных нег» звучит не так, как пушкинское: «В обитель дальнюю». Целые трактаты написаны о благозвучии Пушкина, непонятно, как не только Сурков, но и редакция не услышали подмены райской мелодии «тель-даль» звуков пушкинских — какофонией «тель-тих» звуков, приписанных ему Сурковым. По этому поводу заметим, что и в статье Эренбурга о Цветаевой цитата из Анненского искажена: надо — «А в скрипке эхо всё держалось», напечатано: «А в скрипке это всё держалось». Искажение и смысловое и звуковое.

Три стихотворения Ю. Нейман, которой многого не прощает партийная критика, интересны и сами по себе и неожиданной ошибкой против коммунизма. Ее упрекают за то, что в первом стихотворении о событиях 1941 года она говорит:

В год затемнения и маскировки
Мы увидали ближних без личин.

Разумеется, такое «преступление» в советских условиях непростительно. Второе стихотворение приятно женским лиризмом. Третье — опять неожиданный вызов «любимой идеологии любимой партии», так как человек, оказывается, «идет, чтоб достигнуть и снова идти», а надо бы сказать, что он идет для завоевания навсегда социалистического рая на земле. Нейман нужно работать над словарем. Такие выражения, как «крутой накат событий» не на высоте ее возможностей.

У К. Вашенкина есть сходство с эмигрантским поэтом, покойным Штейгером. Последний острее, но есть приятная находчивость и у Вашенкина, есть и человечность и даже то, что можно назвать голосом совести. «Из стихов о Монголии» Е. Долматовского — песни другого жанра, описательно-военно-правовучительного.

Местами находчиво и ловко сделанные эти стихи отмечают средний уровень стихотворений «Литературной Москвы». Чуть-чуть повыше в смысле лиризма, не

в смысле техники, стихи М. Соболя. В. Семакина партийная критика умудрилась пробраться за невиннейшие строчки:

От вечерней до утренней зорьки
снится пчелам несобранный мед,
Ты найди его в чем-нибудь горьком,
а в шиповнике каждый найдет.

Крамольным уклоном оказалось желание искать мед в горьком, то есть в упадочном пессимистическом и т. д. Как не вспомнить строчки Блока:

«Человеческая глупость, безысходна, величава» . . .

А. Марков в восьми строчках дал как бы образ живого чувства, говоря о незнакомой крестьянке, бегло и удачно зарисованной, что она:

«Человеком хорошим была».

Я. Акима тоже ругают за гуманизм безобиднейший. Как может он предпочитать свой заштатный городок Галич великим достижениям советской столицы и в особенности как смеет воспевать слепого в метро и девочку с зеленеющими ветками березок в руках, предпочитая эти упадочные образы величию московского метро. Ответ на недоумение казенной критики есть у Акима:

А мне казалось, что свершится чудо,
И девочка слепого старика
На землю зрячим выведет отсюда.

Стихи С. Боброва подвергаются презрительной критике. Мы считаем их умелыми и выше среднего уровня советского производства. Стихотворение на тему строительства А. Кудрейко не вызывает желаний о нем говорить особо. Оно — в линии поэтической грамотности и только. У С. Михалкова в его восточной басне есть примитивное остроумие, уместное для этого жанра. Листая толстый том, мы пропустили стихи С. Маршака, С. Кирсанова и К. Мурзиди. Но мы при первом чтении их заметили. Скажем о них несколько слов. С. Маршак известен, как автор детских стихов, нередко удачных, как переводчик и как автор лирических стихов. В этом последнем качестве он и представлен в сборнике. Стихотворение «Бор», которым восторгается партийная критика, как хрестоматийным, ритмически и по сдержанной энергии напоминает «Лес» Гумилева, подчеркивая, насколько покойный автор «Огненного столпа» был крупнее и оригинальнее большинства идущих по его пути. Расстрелянный большевиками Гумилев формально царит в нынешней советской поэзии, но о нем, конечно, никто не смеет сказать ни слова. У С. Кирсанова в стихотворении «Черновик» есть не только претензия на оригинальность, но и явная склонность искать непроторенные дорожки. К. Мурзиди в своем стихотворении «смело» ополчается на какого-то бюрократа-председателя, выполняя либеральное задание партийной верхушки. Мы уже видели такие опыты в прозе «Литературной Москвы»: благонадежная, правительством поощряемая революционность никого не обманывает. Да Мурзиди и не шутит:

Скажи ему, партия, это
Взволнованным словом поэта.
А слово не тронет души,
Строжайшим решением скажи.

На этом «рады стараться» мы и закончим не без грусти обзор отражений гуманизма в советской лирике. Два слова еще об отделе «Статьи, дневники, заметки». Там, кроме статьи Эренбурга о Цветаевой и ее стихов (о них и о статье-предисловии к ним мы уже говорили) немало интересного материала. Статью по-

койного М. Щеглова следовало бы прочесть и нашим зарубежным критикам. Это — один из образцов вдумчивого и строгого отношения к разбираемой теме. Работа профессионально честная, кое в чем образцовая. Вынесем за скобки советскую лояльность автора. Останется главное: борьба с «бесконфликтностью», драмы и повести, с зазнайством, с некомпетентными вершителями судеб литературы. Против этих последних критики «Литературной Москвы» открыли ураганный огонь. Л. Чуковская на метких и остроумных примерах, как бы продолжая дело Корнея Чуковского (может быть она его дочь?), показывает невежество и претенциозность редакторов. А. Крон разносит администрацию театров, которая позволяет себе исправлять и направлять драматурга. Два слова — о дневниках Ю. Олеси. Этот интереснейший писатель, автор «Зависти», занимателен и в размышлениях о современниках и современной литературе. И его страницы, как другие этого отдела, — ценный вклад в борьбу за литературную грамотность. Всё это утешительно, как превосходство просвещения над самыми низкими формами обскурантизма. Дальнобойные орудия просвещенной советской критики буквально громят бессмертную отечественную Чухлому, весь ее мощный мир глупости, безграмотности, бюрократизма. Натиск такой силы выражает, конечно, тайное недовольство не только литераторов, но и широких слоев населения. Кто же организует отпор этому натиску? В докладе Суркова на пленуме — объяснение. Напоминая, какие вопросы «не дискуссионные», то есть даже не подлежат обсуждению, он следует «ленинским принципам партийного руководства литературой». К. Симонов со своей стороны говорит о диктатуре пролетариата, хозяйке всех и вся в стране советов.

Если в России прошлого века действовали три силы: церковь, государство и пророк, — в нынешней, советской, государство пожрало и церковь и пророка, — культ Христа заменен культом правящей партии, а пророки литературы — казенными писателями. В этих условиях и новые веяния не могут быть более сильными, чем в «Литературной Москве», и порождают они всего лишь гуманизм, то есть бледное, самое себя обрекающее на бессилие свободомыслие, эту тень тоже мало утешительного гуманизма западного. Оттого-то, закрывая сборник, в котором с максимальным дружелюбием, вниманием и беспристрастием мы старались отметить всё талантливое и живое, мы невольно повышаем требования к литературе эмигрантской, возвращаясь к тому, с чего начата настоящая статья. Что же она, эта эмиграция, случайное убежище для потерпевших кораблекрушение или сила, призванная восполнить страшный пробел в колоссальной вдруг приосмиревшей пророческой литературе? Откуда у нас на свободе такое измельчание тем, такое засилие формально-эстетической суеты или невежества? Россия со времен революции, то есть уже сорок лет, разорвана на две части. Есть несомненно две России, как есть после второй мировой войны две Германии: западная и восточная. Эмиграция — это Россия западная. Без своей огромной, но порабощенной половины, она — ничто. Но и та, восточная, с ее ленинскими принципами несвободы, — ничто без свободного слова и мысли эмиграции. Политические деятели эту ответственность сознают, а мы, литераторы? Где наш «единый фронт»? Где та живая идея, в которой злоба дня, как это нам завещано XIX веком, не подавлена великой целью и не подавляют ее? Где высшая из свобод, религиозная, в союзе с ответственным, то есть не анархически и нигилистически, а сознательно свободным искусством? Нигилизм в Советской России, при невозможности других форм протестов, — уродская форма свободы: «я сам по себе». В эмиграции нигилизм — недомыслие или предательство. Персонализм ненавидит «искусство для искусства» не меньше, чем безграмотность и бездарность, которые

по-детски ломают глупую без тайной пружины игрушку искусства. Персонализм утверждает неразрывность искусства с деятельностью духовно-гражданственной. По самому смыслу своему эмиграция персоналистична, то есть она должна быть не только хранительницей, но и проповедницей духовной полноты. Борьба за духовно-культурные ценности слита с борьбой политической. Свобода — главное условие истинного искусства. Другими словами, у нас нет никаких оснований снижать требования, которые ставили самим себе величайшие русские писатели прошлого века, умевшие связать в одно духовно-просветительную работу с борьбой за право на лучшую жизнь.

Пушкинское: «чувства добрые я лирой пробуждал», некрасовское: «сейте разумное, доброе, вечное» и толстовское: «не могу молчать» напоминают о борьбе с худшим в себе, то есть о борьбе морально-религиозной и о борьбе политической в самом высоком значении этого слова.

В эмиграции мы не только имеем право, мы обязаны делать то, чего нельзя делать там. Это — соби́рание не земли русской, а ее духовного имущества вокруг знамени, как прежде, как при Пушкине, всемирного, как при Толстом и Достоевском, религиозного. Гуманизм, разумеется, явление очень отрадное в борьбе, которую внутри России ведет за последнее время не только интеллигенция и народ, но даже некоторые из еще недавно считавших себя коммунистами и связанных лишь внешними узами с партией, наиболее совестливых и честных людей. Но пока над ними всеми висит непреодолимое давление политики, сознательно ограничившей свободу, милосердие и право чувствовать и говорить за свой страх и риск, — мы, эмигранты, вряд ли преувеличим значение нашей судьбы, утверждая свою необычайно важную и ответственную роль. На крайних аванпостах нашего западничества, в странах Запада, мы должны помочь пробуждающемуся гуманизму спасти себя от сомнения в себе самом и дать ему и будущей России религиозно-углубленную идею претворения муки в преодоление земных мук.

Погорельщина

*Не железом, а красотой купится русская радость.
Николай Клюев*

Много и долго спорили о пути России: светит ли свет для нее только в европейском окошке — или «у ней особенная статья». Говорили и говорят о скифах и геополитических основах еще не основавшейся самобытности...

А, вместе с тем, как-то мало обращают внимания на тот разительный факт, что вот самобытной иконописью Новгорода и Суздаля интересуются не только русские, но и иностранцы; что и архитектурой русской интересуются иностранцы не позже семнадцатого столетия. Новая же русская европеизированная живопись и архитектура никого, кроме самих русских, не интересует.

В литературе русской для Запада интересными оказались как раз гении и таланты самобытные — «почвенник» Достоевский, Лев Толстой, сейчас заинтересовались Лесковым. «Западники» же, и вообще-то в русской литературе больше декларировавшие, чем творившие, известны вне России узкому кругу специалистов. Разве что Тургенев, когда-то на мгновение заинтересовавший европейских литераторов.

В музыке же больше всего знают Мусоргского, руссеешего и своеобразнейшего. Любят Чайковского, но своеобразия его не ощущают — подкупает слушателей надрыв патетической симфонии и повышенная эмоциональность пятой.

Возьмешь любой сводный труд по истории живописи, по истории музыки, по истории мировой литературы. И как-то горько станет: нет в них места России. Есть даже Чехия и Польша, кое-кто даже Румынию для полноты вставил, а вот о России — только иной раз об иконописи, о Мусоргском, Прокофьеве и Стравинском, о Толстом и Достоевском. И то — чаще всего в самом конце, мелким шрифтом. Обидно. А потом, как рассудишь, поймешь и нашу в том вину: ведь интересуются все — и это справедливо — отнюдь не эпигонами, отнюдь не иностранными повторами знакомых образцов, а только своеобразным, только самостоятельным. Прилежных подражателей поощряют, обнадеживают: — Здорово работаешь, молодец! Далекое пойдти сможешь, — и, скрывая в кулак позевоту, спешат отойти...

Когда-то Константин Леонтьев говорил: «культура есть не что иное, как своеобразие», а мы все время стремились только не отстать от последней европейской моды. Мы только подкрякивали: «после Пруста и Джойса нельзя писать по-старому», тогда как забывали начисто, что после Толстого и Достоевского как раз нужно было писать по-особому, не по-джойсовски, а по-русски.

Трудно представить себе тот сокрушительный вред, какой принесло нашей культуре наше европейское идолопоклонство!

Уже протопоп Аввакум печаловался о грехопадении нашей иконописи. «По поупущению Божию умножися в нашей русской земли иконнаго письма неподоб-

наго изуграфы... Пишут Спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедра толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишь сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя. Христос же Бог наш тонкостны чюства имея все, якоже и богословцы научают нас».

Еще до Петра это было, еще Симон Ушаков, царский изограф, принес на Русь италяно-плотняную живопись, материализовав почти бесплотные видения новгородских иконописателей и Андрея Рублева. А было в древней иконописи то «видение Лица», которого не знает религиозная живопись Запада.

Дело отнюдь не в заимствованиях. Дело отнюдь не в элементах культуры, общих всей иудейской и христианской культуре. Ведь фрески Кахрие-Джами, XIV в., фрески того же века в Мистре — напоминают нам фрески и иконы того же времени — и следующего столетия — в новгородских, псковских и владимиро-суздальских храмах; стенопись Спаса-Нередицы, 1199 г., напоминает Византию, а в далеком французском городке Берзе-ла-Вилье «романская» фреска «Христос в славе» нудит вспомнить того же Христа в славе из огромной и многозначительной композиции Страшного Суда в том же новгородском Спаса-Нередицком храме. И написана эта романская французская фреска в начале того же XII века. Но общность истоков, общность даже в разработке отдельных тем, не мешает самобытности и органичности национальной культуры. И, в дальнейшем, все более и более расходятся пути культур, становятся все более самобытными эти национальные культуры, то и дело, впрочем, заимствуя друг у друга что-либо себе на потребу. Но заимствуя ровно столько, сколько в состоянии переварить национальный организм. Переварить и переработать.

«Древняя Русь возжигает пламя своей культуры непосредственно от священного огня Византии, из рук в руки принимая, как свое драгоценнейшее достояние, Прометеев огонь Еллады», — так писал по поводу русской иконописи о. Павел Флоренский. Искусство глубоко спиритуалистическое, искусство глубочайшего дыхания и высокого религиозного напряжения, абсолютно чуждое материалистическому пафосу позднего итальянского Возрождения. Никакого натурализма, никакой эмоциональности, никакого психологизма. Их и не может быть — русского коробит, когда мир идеальный, просветленная плоть рисуются «по плотскому умыслу», когда тяжкая лестница с натуральнейшими каменными ступенями наполнена пышнотельными балетными ангелами, а Иаков почивает в вылощенной пустыне... Разве это — «сон Иаковль и Видение Лествицы»?! Хорошо расчесанные и элегантные святые, ангелы и архангелы — это не воспринимается нами, как подлинная церковная иконопись — простая, суровая, но радостная, живущая своею собственной жизнью, а не отраженной земной.

И еще: Лик Христов нигде не был отражен так глубоко и целокупно, как в русской фреске и иконе XII-XV вв. Невольно вспомнишь слова В. В. Розанова: «Западное христианство, которое боролось, усиливалось, наводило на человечество «прогресс», устраивало жизнь человеческую на земле, — прошло совершенно мимо главного Христова. Оно взяло слова Его, но не заметило Лица Его. Востоку одному дано было уловить Лицо Христа... И Восток увидел, что Лицо это — бесконечной красоты и бесконечной туги. Взглянув на Него, Восток уже навсегда потерял способность по-настоящему, по-земному радоваться, по-просту — быть веселым; даже только спокойным и ровным. Он разбил вдребезги прежние игрушки, земные недалекие удовольствия, — и пошел, плача, но и восторгаясь, по линии этого темного, не видного никому луча, к великому ис-

точнику «своего Света»... . . . Только с русским народом, с русским пустынно-ком Христос «уродился»: на Западе же Его лишь «знают». Разница большая»... .

Можно сказать смело: кроме некоторых «византийских» фресок и икон, на Западе просто нет Лица Иисусова и Лица Приснодевы. Мы видим огромную трагедийную силу Искупления, мы видим нестерпимое горе Матери-Девы, но все это — человеческое, быть может, сверхчеловеческое, но не то, к чему нас приучила византийская фреска, русская икона... .

Никакой раздвоенности религиозного сознания иконописателя: «Да тем молюся вам от всея души моя, любимицы мои, не пребываем в дводушии, да не прогневаем благого Владыцы, якоже и они непокоривии, но воздадим хвалу благому Владыце, и иже тако о нас смотреть, и вся нам изобилия подаеть, не помня немощей наших» (преп. Феодосий Печерский). Целокупное сознание, сугубо индивидуальное, благодаря отсутствию уравнительного и позитивно утилитарного индивидуализма последних веков. Спиритуализм русской фрески и иконописи XII—XV вв. отнюдь не исключает ее не плотности, а вещиности: это — не бесплотный идеализм, это подлинный духовный реализм. Недаром детали иконного письма легко сводимы к немногим, но тщательно выбранным элементам «лепоты земной»: лещадам золотистых скал, буревым взвихреньям птичьих стай, тутим складкам крещатых фелоней, плавному движению подхватывающих младенца материнских рук-заботниц... .

«Виденье Лица» богомазы берут
То с хвойных потемок, где теплится трут,
То в глуби озер, где ткачиха-луна
За красном янтарным грустит у окна.
Егорию с селезня пишется конь,
Миколе — с крещатого клена фелонь,
Успение — с перышек горлиц в дупле,
Когда молотьба и покой на селе.

(«Погорельщина»)

«Ангел простых человеческих дел» просветляет материальную действительность иконного русского быта, пронизанного самой западушною божественностью. И как это просто — на фреске 1199 г. в Спасе Нередицком, фреске, изображающей Крещение Господне, — спешат маленькие человечки раздеться, чтобы окунуться в Иисусом в ту же крещальную струю; спешат скинуть через голову рубаху, разуться: как бы поспеть... .

И какой чисто новгородской практической мудростью веет от старого храма XII века «во имя Уверения неверного апостола Фомы!» В язвы ран Христовых вложить персты — убедиться со всей реальностью, когда дух-то уже верит, уже знает о Воскресении Христовом... .

Не пошла русская живопись по прекрасному пути иконописи Новгорода-Суздаля-Владимира... .

Отвернулась от самобытного пути развития и русская музыка. Староуспенские, старокиевские, знаменные распевы — все это осталось лишь в качестве достояния немногих ученых, да старообрядческих головщиков. Только в последние десятилетия заглянули в эту сокровищницу национального мелоса Римский-Корсаков и С. Танеев, Кастаньский и Чесноков. Но заглянули мимоходом, не делая из этого более, чем экскурсии в диковинную область ладов и иных, неевропейских построений. Вернее, построений может быть и европейских, но не укладывающихся в прокрустово ложе мажора и минора, как, впрочем, не укладываются в него и григорианские гласы. Танеев думал, что уродливое развитие рус-

ской музыки, ее неорганическое развитие, объясняется тем, что Россия просто-напросто перескочила совершенно необходимый этап в развитии каждой национальной школы музыки — период контрапунктической разработки народной песни. Но уже Серов подметил, что русская народная песня, по существу, не полифонична, а строго диатонична, что, конечно, прямо исключает механическое перенесение законов европейской полифонии, европейского контрапункта на русскую почву. В русской народной песне и — еще более — в русском знаменном распеве «ведущими» являются слова, а не мелодии. По пути воскрешения ладов пошел Римский-Корсаков («Салтан», «Китеж»), по пути омузыкаления речевых интонаций — Мусоргский (в особенности в «Женитьбе»). Мусоргский писал про эту свою неоконченную оперу: «... Женитьба — это посильное упражнение музыканта, или правильнее, не-музыканта, желающего изучить и постигнуть изгибы человеческой речи в том ее непосредственном, правдивом изложении, в каком она передана гениальнейшим Гоголем». Несмотря на всю свою мелодическую гениальность, такое же преклонение перед словом и у Бородина. Вспомним, хотя бы, его романс «Для берегов отчизны дальней». Это отнюдь не музыкальная декламация — это омузыкаленное слово, нацело лишенное элементов декламационной патетики. Но даже русская церковная музыка не пошла по национальному пути ладов и бережного, сторожкого отношения к слову. Итальянщина Березовского и Бортнянского, итало-немецкий Обиход, упражнения львовых и веделей, ужасающая безвкусица литургии Чайковского... Слово, и притом Слово Божие, оказалось только материалом для итальяноподобных сладостных арий и ариозо, слово неразлично, плохо слышимо, презрено для сомнительной красоты мелодий... Огромное дарование Глинки полузадавлено итальянщиной. Иностраный камзол придушил и национальные элементы в творчестве Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского, Танеева. Дело не в отсутствии гения — они несомненны, наши гении и дарования, — дело в механическом перенесении элементов чужой, хотя бы и великой, культуры. Хорошо сознавал это Мусоргский: «За шумихой условных, квазихудожественных приемов, безусловных и, следовательно, вовсе не художественных форм, человечество упрямо само себя, добровольно и даже с наслаждением, едва ли не безвозвратно упрямо, п. ч. «не взойти никогда солнцу с запада». Мне сдается, что за редкими исключениями, люди не терпят видеть себя какими они в самом деле бывают; естественно влечение людей, даже самим себе, казаться лучшими. Но в том-то и юродство, что минувшие и настоящие — теперешние художники, показывая людям людей же, лучше чем они суть, изображают жизнь хуже чем она есть. Непримиримые стареверы гнут, что это необходимо для яркости красок; переходчивые, качаясь как маятник, пошептывают, что задачи искусства еще недостаточно выяснились... Штука проста: художник не может убежать из внешнего мира, и даже в оттенках субъективного творчества отражаются впечатления внешнего мира. Только не лги — говори правду. Но эта простая штука тяжела на подъем. Художественная правда не терпит предвзятых форм; жизнь разнообразна и частенько капризна; заманчиво, но редкостно создать жизненное явление или тип в форме им присущей, не бывшей до того ни у кого из художников. Тут уж старуха нянька не поможет стать на ножки...; нет, сам художник стань на ноги»...

Великий и самобытный, национально русский реализм. Да, реализм. Ибо писать натуралистически мистические реальности — не реализм, а пародия. Ибо механически вгонять в прокрустово ложе чужих музыкальных форм своеобразную национальную мелодику — не реализм, а семинарские хрии на заданную тему.

Получится или полнейшее уродство (как вся наша церковная музыка XVIII-XIX века), или талантливое эпитонство, более или менее удачное повторение чужого. И не будем судить тех, кто предпочитает оригиналы:

Несчастные! должны ль упреки несть
 ... За то, что смели предпочесть
 Оригиналы спискам?

То же в литературе. Слишком много элементов Запада захотели мы переварить в течение коротких двух столетий. В результате — у литературы русской — несварение желудка. Русская литературная культура не состоялась именно благодаря своей неорганичности и торопыжеству. У нас немало гениев, гениев первостатейных, — но литературы, как традиции, не состоялось. Вслед за гениями и огромными дарованиями у нас — провал в ничто, в боборыкинских и похуже. Средне приличного, литературно грамотного — нет вовсе. Начало это средне приличное образовываться — за счет, правда, катастрофического понижения гениальности отдельных литературных вершин — лишь в первые десятилетия нашего века, но революция разгромила и уничтожила ростки литературной культуры, как социального явления.

А может быть, и не могла не разгромить: станового хребта у этой культуры еще не образовалось: слишком была она неорганической. И мало национальной, мало почвенной, мало самобытной. Оставались в силе страстные сомнения Достоевского: «Господи, да какие же мы русские?.. Действительно ли мы русские в самом деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, притягательное впечатление? То есть, я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились — с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостью, другие, разумеется, со злобою на то, что мы не доросли до перерождения. ... Ведь не няньки же и мамки наши оберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор! Неужели же не вздор? А что если и в самом деле не вздор?»

И все, призывающие русских переродиться в русских европейцев, забывают, что переродиться можно только в обезличенных, как стершийся алтын, средних европейцев, в никому не интересный тип человека европейской улицы, высоко нравственного туземца-студента европейского университета. Все, кричащие о маскарade русских славянофилов и почвенников, о кафтане Константина Леонтьева, зипуне Ключева, — начисто забывают о просаленных кожаных коротких штанах баварцев, о шотландских мужских юбках, о национальных костюмах тирольцев, испанцев, венгров, голландцев... Там это не кажется маскарадом: это ведь Европа...

Огромное значение Николая Ключева именно в том, что он — мост, соединяющий наше время со смехливой огнепальной протопопа Аввакума. Он не надуманно,

не теоретизированно, а органически пришел к подлинно национальному, самобытному. Своеобычная словесная культура потаенных сект и староверчества, прологи и цветники дониконовского письма, радельные песни и Поморские ответы Денисова, старорусская церковная традиция — все это сочеталось в нем с высокой поэтической техникой русского XX века. Клюев часто злоупотребляет красочным словом, перегружает свои стихи образами и мыслями чрезмерно, — но и неудачи Клюева поучительны: он никак не укладывается в представление о поэзии, как лимонаде, как самодоволеющей игре, как простой эстетической побрякушке. С Клюевым в русскую поэзию вломилась совсем особая языковая стихия, совсем особая система образов, совсем особая, глубоко национальная система стиховой инструментовки. Какое огромное расстояние от первых стихов — блоковских перепевов, и до «Матери-Субботы», «Плача о Есенине», «Деревни», «Погорельщины»!

«Погорельщина» только читалась поэтом на дому у знакомых. Ходила в спусках. «Подпольное» чтение поэмы автором и послужило причиной его ареста и ссылки в Нарьм. Издана поэма быть не могла. Впервые она была опубликована в полном собрании сочинений поэта, выпущенном Чеховским издательством. Один из списков поэмы Клюев передал известному итальянскому профессору-слависту Этторе Ло-Гатто, в бытность последнего в России. Клюев завещал опубликовать эту поэму после его, Клюева, смерти. «Этторе Ло-Гатто, светлому брату» посвятил он несколько глубоко прочувствованных строк, даря итальянскому ученому рукописи трех своих поэм (в том числе «Погорельщины») и несколько книжек стихов: «Увы! Увы! Лютой немочью великая, непрощенная и неприкаянная Россия!»

Писана «Погорельщина», по свидетельству Иванова-Разумника и других, в 1926-1928 гг., может быть, немного позже, но никак не позже 1929 года, когда уже читалась на дому у многих друзей поэта. Поэма велика — в ней 954 строки. Инструментована она разнообразно — от широкого эпического сказа и свободной народной баллады — до мещанско-слободского романса и посадских куплетов. Перебои ритмов, то и дело врывающиеся в сказ или взволнованную лирическую песню. После замечательных по силе изобразительности и драматической напряженности кусков словесной ткани поэмы — нарочито пошловатые ламентации в стиле псевдонародной песни. Но эти куски дают колоритные пятна, и Клюев виртуозно обыгрывает эту «разномастность» материала. Противопоставление издавна один из излюбленных приемов Клюева, сдвиг разных эпох — давнее средство у Клюева — заставить особенно остро почувствовать «ступенчатый сброс» нашего времени: суд времен, суд Христов, незамечаемый почти никем из-за наплыва пошлости...

В избе гармоника: «накинув плащ с гитарой...»
 А ставень дедовский провидяще грустит...
 ...Под матицей резной (искусством позабытым)
 Валеты с дамами танцуют «валц-плезир»,
 А Сирия на шестке сидит с крылом подбитым,
 Щипля сусальный пух и сетуя на мир... (1918)

Русь кондовая, исконная, староверская. Русь мастеров своего дела — иконоников, пряж, гончаров, искусных плотников, резчиков-художников, кружевниц и пестунов земли — хлеборобов. Вся Русь эта — творимая повседельно и повседневно краса. «Изда — святилище земли», и в ней душа — кивот с иконами Рублева, Чирина, Парамщина, с древлей истовой лептой дониконовского письма, или изводов новых по древлим подлинникам:

Слышите ль, братья, поддонный трезвон —
 Отчие зовы запечных икон?!
 Кони Ильи, Одигитрии плат,
 Крылья Софии, Попраание Врат,
 Дух и Невеста, Царица предста
 В колесе житном отверзли уста!
 Ангел простых человеческих дел
 В персях земли урожаем вскипел.

(«Мать-Суббота», 1922)

Только это искусство, нерасторжимо связанное с жизнью, пронизывающее нас-сквозь быт, только красота самой жизни — и есть божественная цель этой жизни, есть кадило перед Богом. Только эта красота спасает мир, как вслед за Достоевским вторит Клюев.

Носителем этой национальной красоты является поддонная Русь, олицетворенная в поэме «Погорельщина» в образе далекого рыбацкого и земледельческого олонецкого погоста, деревни «Сиговый Лоб» или Сиговец, Великий Сиг тож. Живут в Сиговце мужики-кедры, резчик Олеха, иконник Павел, ваятель-гончар Силиверст, столпник-начетчик Нил, пряжи и кружевницы Арина, Проня, Степанида, Анастасия. Каждый до тонкости разумеет свое ремесло-художество. Одна из них — Настя — Анастасия Романовна — красавица и умелица, символ старой Руси. Неспроста дано ей имя Анастасии. Анастасия — Воскресение. Анастасия-Воскресение чрезвычайно чтится тайными сектами. Еще царь Иван Васильевич IV, в 1551 г., предлагал Стоглавому собору вопрос: «Да по погостам и по селам ходят лживые пророки, мужики и женки, и девки, и старые бабы, нагия и босья, волосы оторотив и распустя, трясутся и убиваются, и сказывают, что им является святые Пятница и Настасии, и велят им, чтобы оне заповедали христианам каноны завечати, оне же заповедают в среду и пяток ручного дела не делать, и женам не прясти и платья не мыти и камения не разжигати»... И Грозный предлагал собору решить: как с теми бабами поступать? (Стоглав, гл. 41, вопрос 21). Хлысты поют:

Ты Настасья, свет Настасья,
 Отверзай царски врата,
 Встречай батюшку Христа
 С милосердьем, со прощеньем
 И со светлым воскресеньем.

Были и хлыстовские богородицы-Настасьи. Имя дано со смыслом. Да и общество едва ли случайно — Романовна. Анастасия Романовна, жена Ивана Грозного, нередкая гостья в исторических песнях русского народа, а в поэме, посвященной трагедии послереволюционного крестьянства, поэт-крестьянин мог вполне упомянуть и Романовых... Встретивший революцию, как Жар-Птицу, как зарю обетованную, он каялся теперь в хуле на Бога и народ:

Псалтырь царя Алексея,
 В страницах убрусы, кутья,
 Неприкаянная Россия
 По уставам бродит кряхтя.
 Изодрана душегрейка,
 Опальный треплется плат...
 Теперь бы в сенцах скамейка,
 Рассказы про Китеж-град...

... Как в былом, всхрапнуть на лежанке...
 Только в ветре порох и гарь...
 Не заморскую ль нечисть в банке
 Отмывает тишайший царь?
 Не сжигают ли Аввакума
 Под вороний несметный грай?..
 От Бухар до лопского чума
 Польшаает кумачный май...

(«Львиный хлеб», 1922)

Кумачный май, разлившийся по голодным просторам умученной родины, кровавые святки революции, украденной кучкой «заморской нечисти» — в запломбированном вагоне прибывшей на Русь... «Отчураться бы от наслышки про железный неугомон», уйти с псалтырем царя Алексия, уйти в Невидимый Град Китеж от наступившего предъапокалипсического «римского века»: «Имя бо антихриста 666. Он был на 1000 лет связан; потом развязан и сие власть Римскую являет, возвратится бо на 1-е свое возлюбленное место и нача отступление папезено, егда исполнися 1555 лет бысть отступление Унитов к папе, иже предтеча антихристу наречеса, а по исполнении 1666 лет наста день Христов, день брани с диаволом; при антихристе бо с самим сатаню братися имут, иже и воцарится по Ефрему, во всем мире»... (Цветник Евфимия, основателя секты бегунов-странников).

Горе отрехшимся Христа! Горе коцунам!

От оклеветанных Голгоф
 Тропа к Иудиным осинам, —

грозит Клюев Есенину-богохулу («Львиный хлеб», 1922). Но и сам-то он хулил Духа Святаго; сам, как Петр, отрекался от Спаса:

Будет месяц как слезка светел,
 От росы чернобыльник сед,
 Но в ночи кукарекнет петел,
 Как назад две тысячи лет.
 Вспыхнет сердце — костер привратный,
 Озаря Терновый Лик...
 Римский век багряно-булатный
 Гладиаторский множит крик,
 И не слышна слеза Петрова —
 Огневая моя слеза...
 Осьпается Бога-Слова
 Живоносная бирюза,
 Нет итлы для низки и нити
 Победительных чистых риз...
 О распните меня, распните
 Как Петра, головою вниз!

(«Львиный хлеб», 1922).

За хулу на Духа, за растление самой Земли-Богородицы, за растление мощей — кровавыми слезами должна изойти земля русская. «Выпросил у Бога светлую Россию сатана, да же очервленит ю кровию мученической. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего Света, пострадать!» (Житие Аввакума).

Растлена земля русская. На распутьи дорог нагая и насильованная лежит

Анастасия. Пришла беда — отворяй ворота. Пришел «римский век багряно-булатный», пришла пагуба на землю-кормилицу,

Завывают избы волчьим воем,
И с иконы ускакал Егорий, —
На божнице змий да сине море!..

(«Погорельщина»).

Ни молитвы к Богородице, ни молитвы к такому близкому тоже Миколе-«парусов погонщику», — ничего не возвращает

... Егорья на икону —
Избяного рая оборону.

А змий иконный смёл со стола хвостом всю снедь — ушицу, духмяный хлеб, всяческую земную благодать... И вещают птицы нездешние, птицы райские — Синрин и Алконост — смерть мужикам-умельцам:

В тот год уснул навеки Павел, —
Он сердце в краски переплавил
И написал икону нам:
Тысячестолпный дивный храм,
И на престоле из смарагда,
Как гроздь в точиле винограда,
Усекновенная глава.
Вдали же никлые березы,
И журавлиные обозы,
Ромашка и плакун-трава.

За Олексием-резчиком приходят-приплывают «двое светлых братья,

Один Зосим, друтой Савватий,
В перстах златые копей...
Стал огнен парус у ладьи,
И невода многоочиты,
Когда сиянием повиты
В нее вошли озер Отцы.
«Мы покидаем Соловцы,
О, человече Алексие!
Вези нас в горнюю Россию,
Где Богородица и Спас
Чертог украсили для нас!»
Не стало резчика Олежи...

Не стало и основателей монастыря Соловецкого, покровителей Севера и молитвенников за него — Зосимы и Савватия. Покинули святые Русь дольную, отправились в Русь горнюю, в Небесный Вечный Град... Умирает кружевница Проня, увидев перед смертью вещей сон:

Сиговец змием полонен,
И нет подойника, ушата,
Где б не гнездились змеята...
... Повсюду посвисты и жала,
И на погосте кровью алой
Заплакал глиняный Христос...

Сжигаются на лопском погосте бежавшие туда, в потаенную келью, «стенный свекор с Силверстом»-гончаром. Вся тварь лесная собирается вокруг

обреченных гари-самосожжению праведников, молитвенно прощается с ними. Горит на диво срубленный погост, горят груды рублевских икон — Спас Мокрая Брада, Успение, Власий и сонм мужицких святых: не хотят отдаться они в руки нечестивые.

И великий голод начал глотать Россию-Сиговец, полоненный змием:

Тоскуют печи по ковригам
И шарит оторопь по ригам
Щепоть кормилицы-мучицы.
Ушли из озера налимы,
Поедены гужи и пимы,
Кора и кожа с хомутов,
Не насыщая животов...
... И синеглазого Васятку
Напредки посолили в кадку.
Ах, синеглазый селезень!..
Чирикал воробьями день,
Когда, как по грибной дозор,
Малютку кликнули на двор.
За кус говядины с печонкой
Сосед освеживал мальчонка,
И серой солью посолил
Вдоль птичьих ребрышек и жил.
Старуха же с бревна под балкой
Замыла кровушку мочалкой.
Опосле, как лиса в капкане,
Излилась лаем на чулане...

Людоедство, безумие, самосожжения, гибель Сиговца-Великого Сига — и с ним вместе всей пестрядиной исконной, поддонной Руси. И неумной тоской шарманки затнусила Русь, тальянкой посадских песен изливает она свою смертную тоску: ведь тальянка и самогон — «хозяев новых обиход», когда «дождем косым смывается со ставней узорчатая быль про ярото Вольгу»:

Ах, неспроста душа в ознобе
Матерой стаи чужой! —
Не ты ли, Пашенька, в сугробе,
Как в неотпетом белом гробе,
Лежишь под Чортовой Горой?!
Разбиты писанные сани,
Издок ретивый кореник, —

перекликается Клюев с тройкой «Мертвых душ» и «Карамазовых»...

Раствлились люди, растлвились деревни и города. Но нетленна краса самой земли, озер, лесов — самой русской земли. Земля для Клюева — издавна «Богородица наша земляца», и здесь он верен исконному русскому обоготворению земли, Земли-Богородицы, Души Мира, Софии. Он вторит и замечательным словам старицы — в рассказе Лебядкиной, в «Бесах» Достоевского: «Богородица что есть, как мнишь? — Великая Мать, отвечаю, упование рода человеческого. — Так, говорит, Богородица — великая мать-сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная — радость нам есть»... Земля священна. С пишущим эти строки шел этапом на Ухту, в лагерь НКВД, в 1936 г., судья-коммунист из глухого городишка Се-

вера, осужденный за то, что заставлял и обвиняемых, и свидетелей есть землю в знак их правоты: у лжесвидетелей мать-сыра земля в нутре ядом обернется... Земле-Богородице молятся в «Сказании о Невидимом Граде Китеже» Римского-Корсакова — Бельского. И вот серафимы земли и леса, лесные «Ангелы простых человеческих дел», сами решили молить за растленную землю русскую. Они, сосновые херувимы, понесли Иродиаде, дочери Ирода, дары народа русского: Спаса рублевских писем, «птицу-песню пером в зарю»: авось, смилуется дева блуда духовного, отойдет от Руси, даст Настасье-Воскресению воскреснуть! Иродиада — дочь или падчерица Иродова, по учению хлыстов-лазаревцев — старшая дьяволица, насылающая людям самые лютые трясовицы (см. у Мельникова-Печерского, собр. соч., изд. Маркса, т. 6, стр. 319-320).

Но тщетны мольбы лесных херувимов: город суетой и каменным воем закрутил сосновых ангелов, не признал их, сдал, как религиозный дурман, в милицию...

И песнописец Николай бредет в Невидимый Град, в «Нерукотворную Россию», бредет один, но другими путями — земными и небесными — грядут туда же толпы умученных, пытаных, с голодухи померших, замерзших на осклизлых и мертвящих путях нового и горчайшего смутного времени...

«Повесть и Взыскание о граде сокровенном Китеже» из «Книги глаголемой Летописец» (рукопись конца XVIII в.) свидетельствует: «Аще ли же который человек обещается истинно идти в него, а не ложно, и от усердия своего постытися начнет, и многи слезы пролиет, и пойдет в него, и обещается тако аще и гладом умрети, а из него не изыти, аще ины многи скорби претерпети, еше и смертию веждь яко спасет бог такового, яко стопы его вся изочтены и записаны будут ангелом, яко на путь спасения поиде... .. бежа бо той ... от блудницы вавилонския темныя и скверныя мира сего яко же святыи иоанн богослов во откровении книги своея написа о последнем времени глаголет, яко жена седя на звери седьмиглавом нага и безстудна. в руках же своих держит чашу полную всякия скверны. и смрада исполнена, и подает в мире сущим любящим сея».

Отчаявшиеся в спасении земли русской сосновые херувимы «Погорельщину», из жалости великой к люто страждущим людям, поддались сами соблазну — и Спаса рублевских писем, и песню русскую предлагали за чашу блуда: авось, насытятся алчущие и напьются жаждущие:

Чай, на песню Иродиада
Склонит милостиво сосцы,
Поднесет нам с перлами ладан,
А из вымени винограда
Даст удой вина в погребцы!

Но никакое соглашение с антихристом невозможно: оно не насыщает даже телесной, плотной пищей. Чорт обманывает — вместо хлеба — камень, вместо рыбы — змея...

И «Книга, глаголемая Летописец», учит о том, как Благодать Божия ведет человека в Невидимый Град Китеж, как «никто же бо никогда нигде оставлен от господя», «вся убо господь приемлет к нему приходящие с радостию и призывает, но яко же убо силы на небесех не видят лице божие. А егда грешник на земли покается, тогда ясно зрят лице христово силы вся небесных, и открывається слава божества его». В облаках грозowych Лик Божий, пока не кается падший, даже силы и престолы, и начала не видят тогда опечаленного Творца. Но открывается Лик Божий ласковым Христом — ради «единыя грешныя кающияся души». И «не нудит господь нуждею и неволею, но по усердию и по произволению сердца все строит господь человеку, егда не раздвоиным умом, и верою

несуменно обещается, и помышляти ничто же суетно в себе, или возвратится вспять, ... таковому господь открыет и управит его в таковое благоутишное пристанище, молитвами преподобных отец наших онех иже трудятся день и ночь непрестанно от уст их молитва яко кадило благоуханно, молят же ся и о хотящих спастися истинным сердцем, а не ложным обещанием, и хотящим спастися и молитися».

Но нет сейчас у человека ни веры целостной, всецелой, ни воли к спасению, ни даже власти над собственными органами своими. Уже Гоголь трагически показал этот распад человека: нос майора Ковалева не только отпал от него, но и служит по другому ведомству: мундир у него с другими пуговицами. Тоже и в «Погорельщине»: разбился взыскующий Града человек, распался на отдельные части, и лишь сердце его, грешное, но алчущее Града, заставило раскрыться алмазоты врата Обетованного Града Руси Горней:

Нерукотворную Россию
 Я, песнописец Николай,
 Свидетельствую, братья, вам.
 В сороковой полесный май,
 Когда линяет пестрый дятел,
 И лось рога на скид отпятил,
 Я шел по Унженским горам.
 Плескали лососи в потоках,
 И меткой лапою, с наскока
 Ловила выдра лососят.
 Был яр, одушевлен закат,
 Когда безвестный перевал
 Передо мной китом взыграл.
 Прибоем пихт и пеной кедров
 Кипели плескогорий недра,
 И ветер, как крыло орла,
 Студил мне грудь и жар чела.
 Оледенелыми губами,
 Над россомашьими тропами,
 Я бормотал: «Святая Русь,
 Тебе и каторжной молось!..
 Ау, мой ангел пестрядиный,
 Явися хоть на миг единый!»
 И чудо! Прыснули глаза
 С козиц моих, как бирюза,
 Потом, как горные медведи,
 Сошлись у врат из тяжелой меди.
 И постучался левый глаз,
 Как носом в лужицу бекас, —
 Стена осталась безответной.
 И око правое — медведь
 Сломало челюсти о медь,
 Но не откинулась веревя, —
 Лишь страж, кольчутый пламенея,
 Сиял на башне самоцветной.

Не открыл врат Невидимого Града и «сластолюбивый язык», и лишь сердце-голубь, разбившись в муке стремления горнего о сапфирный свод, растворило

«на восток врата запретного чертога». И открылась песенному духу нетленная краса Руси, краса градов и весей, исконная, поддонная, кондовая, народная краса, о которой тосковал еще неведомый певец «Слова о погибели Земли Русской»: «О светло светлая и украсно украшена земля Руськая! и многими красотами удивлена еси: озера многыми удивлена еси, реками и кладезьми месточестыньми, горами крутыми, холми высокими, дубравами чистыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, города великими, селы дивными, винограды обительными... Всего еси исполнена земля Руськая, о правоверная вера христианьская!»

Из мрака всплыли острова,
В девичьих бусах заозерья,
С морозным Устюгом Москва,
Валдай — ямщик в павлиньих перьях,
Звенигород, где на стенах
Клюют пшено струфокамилы,
И Вологда, вся в кружевах,
С Переяславлем белокрыльм.
За ними Новгород и Псков —
Зятья в кафтанах атласных...

И вся земля русская открылась в красе и силе нетленной певцу, заплакавшему кровавыми слезами покаяния:

«Моя родимая земля,
Не сетуй горько о невере,
Я затворюсь в глухой пещере,
Отрощу бороду до рук, —
Узнает изумленный внук,
Что дед недаром клад копил,
И короб песенный зарыл,
Когда дуванили дуван...

Спастись песнями о Горней России, омыть хулу на Духа Святого коробом песен о прошлом и будущем Родины, о Нетленном Граде — вот отныне задача всеми преследуемого, непечатаемого поэта-бродяги. И он заканчивает «Погорельщину» последней «липой с песенным сладким дуплом», «последней Ладой, Купавой из русского сада» — повестью о Лидде, Городе Белых Цветов, что стоит «На славном Индийском Помории», но сливается с Невидимым Градом Китежем русского народа. Город благочестивый и святой, он был только каменным и кипарисным, и не было в граде простой радости: полевых цветов. Не был Град святой уветливым и запазущным: ну, как Лидде не заплакать: нет в полях ее цветиков, ни лазоревых курослепиков! Но обложили град недруги, порубили воев и граждан лиддских, порубили саблями даже Богоматерь-Одипитрию, Путеларную Покровительницу Лидды стольной:

Только лик пригож и под саблями,
Горемычными слезками бабыими,
Бровью волжскою синеватою,
Да улыбочкою скорбно сжатою.
А где сеяли сита разбойные
Живописные вапы иконные,
До колен и по оси тележные
Выростали цветы белоснежные...

И в тоске о Граде Нетленном исходит душа поэта: смертными страданиями Град купил и Цветы Нетленности, и Радость Вечную: смертью смерть поправ...

Лидда с храмом белым,
 Страссотерпным телом
 Не войти в тебя!
 С кровью на ланитах,
 Сгибнувших, убитых,
 Не исчезть любя...
 ... Где ты город-розан, —
 Волжская береза,
 Лебединый крик,
 И ордой иссечен,
 Осиянно вечен,
 Материнский Лик?!

И много веков ходит на поклон к тому озеру, Светлояром зовоному, русский народ. И тиха гладь его, не нарушаемая ни лодкой рыболова, ни озорником-купальщиком. Нельзя рыбы ловить в озере том: заденешь церковные кресты и купола. А купаться — Боже борони! В святой воде озера одних соборов сколько. Но настанет Иванов день, канун его, и тысячи, десятки тысяч паломников соберутся на зеленых холмах, сплошь покрытых сосняком да ельником, мелким березняком, холмах-«горах», окружающих Светлояр. Рубить лес тот — строго заказано: вырос он на крестах-маковицах сокрытых под холмами церковей. Не подумай и землю вспахивать по-над озером: и под нею кресты и купола: святая мать-сыра земля:

Сад белый восковой и златобревный дом, —
 Берестяный предел, где отрок Пантелей
 На пролежни земли льет миро и елей...
 («Песнослов», 1919)

Тысячи паломников под Ивана Купала расположились прямо в лесу по-над озером на ночь. На столах — праздничная енедь. Бабы и девки изукрашились словно бы к Светлому Дню. На святые березки повешены целые косы многоцветных лент, бусы, монисты. На скорлужках и щепках спущены на озеро зажженные свечи. Кто куда: один пустит свечку к Празднику — к храму Ивана, другой — к Успенью, а тот — ко Знаменью или Борису-Глебу. А верные, приложившись к земле ухом, могут услышать и радостный перезвон колоколов китежских, несущийся из озера, коим покрывла Мать Божия свой верный град от погрома татарского.

А объявится тот град вновь в те дни, когда преисполнится чаша гнева Божия и чаша муки народа русского, и когда падшая Русь станет снова Русью Святой. И в кратком летописце китежском, что имеется в каждой кержацкой крепкой избе, прочтете вы все о граде том — о его чудесном сокрытии Покровом Пречистия Девы-Богородицы, о молитвах райски преображенного града за Землю Русскую и возрождение ее, Анастасии-Воскресении.

«... и сей град болший китеж невидим бысть и покровен рукою божиею, иже на конец века сего многомятежна и слез достойнаго, покры господь той град дланию своею и невидим бысть по их молению и прощению, иже достойне и праведне тому припадающих, иже не узрит скорби и печали от зверя антихриста, токмо о нас печалуют день и ночь. о отступлении нашем всего государства московского яко антихрист царствует в нем и вся заповеди его скверная и нечистыя, запустение града того поведает отцы»...

И бредут ко граду странники, взыскующие Града Божия, града невидимого, правды Божией. И бредут нищие и безродные, голодные и холодные, алчущие телесной и духовной пищи. И находят ее, и упокояется душа их.

Такой видели Русь и Невидимый Град великий песнопевец Римский-Корсаков, такой видел ее Нестеров, безымянные певцы и сказители. Видел такой Родину и Максимилиан Волошин в одной из немногих прекрасных поэм его — «Китеже»:

Святая Русь покрыта Русью грешной,
И нет в тот Град путей,
Куда зовет призывный и нездешний
Подводный благовест церквей.

Но никто не видел Града Невидимого с такой силой и непосредственностью, так страстно не взыскал его, как Николай Клюев:

Уму — республика, а сердцу — Китеж-град,
Где щука пестует янтарных окунят,
Где нянюшка-Судьба всхрапнула за чулком,
И покумился серп с пытливым васильком.
Где тайна, как полей синеющая таль... (1919)

Обернулась купальским светляком,
Укрылась крестиком из хвоинок...

(«Русь-Китеж», ок. 1918).

И, особенно, в «Погорельщине», огромном эпико-трагедийном полотне, сохраненном для русского читателя итальянским профессором-другом Клюева...

Изнемогающая в оковах, язвах и увечьях душевных и телесных, влачилась Русь к своему Невидимому Нетленному Граду, к своей просветленной мечте — мечте о преображенной в райский Китеж — за непомерные страдания и великую кровь — многогрешной Руси. Сквозь терния лесов, по невькорчеванным корягам, по незамоленным гатями торфяным болотам — бредет народ, проваливаясь по пояс в топи, еле-еле переходя вброд реки и речушки, бредет к белокаменным церквам Незакатного Града. Вот уже показались золоченые маковки соборов, вот уже многоцветно горят они на солнце... Еще одно усилие! — Но град исчезает снова и снова в кровавом гнилом тумане, и снова болят израненные ноги путников, а в душевных поддонных глубинах колокола все поют, все зовут, все влекут в вечность, в сияющий миг Осачны...

Тяжело, нестерпимо тяжело бывает на перепутьях кровавого исторического пути. Кровь застит глаза, все тише звучит голос совести, заглушенный громом битвы; горек хлеб раба на родной земле, горек и чужбинный хлеб для вольного или невольного пришельца-изгнанника. Может быть, еще тяжелее — духовное одиночество всех и каждого в такие времена. Еще тяжелее — обездуховленность, безверие, безволие, просто обездушенность:

А все за грехи, за измену зыбке,
Запечным богам Медосту и Власу.
Тошнехонько облил кровавый и глыбкий
Заре вышивать по речному атласу!..

(«Плач о Есенине», 1926)

Но все нужно перенести. И молиться молитвой Феодосия Печерского: «Да тем молюся вам от всея души моя... не пребываем в дводушии»: молиться о благодатном даре всецелого ведения, всецелой веры, цельного творчества жиз-

ни и красы ее. Ибо «не железом, а красотой купится русская радость», как написал однажды Клюев, посвящая книгу Панайту Истрати. Ибо «красота спасет мир», как всем сердцем верил Достоевский. Не красота эстетских побрякушек, не доморощенные джойсы и прусты, а та красота, которая заключается в нашем сказании о Монсальвате и Граале — в сказании о невидимом граде Китеже; та красота, которую издавна воспевает наша Церковь, называя Иисуса Сладчайшего облеченным в лепоту. Красота не в музеях и не на книжных полках, а в жизни, в душе, в быту, в обиходе, в Полноте Радости, в божественной Полноте.

Китеж наш — не Винета и не Кэр-Ис. Китеж — самобытен и национален. Чтобы стать европейцами — нужно перестать быть европейцами. Француз европеец лишь постольку, поскольку он не общеевропейец, а француз. Англичанин — тоже. Лишь забыв, что мы европейцы, мы станем культурными в подлинном смысле слова: самобытными. Только самобытное интересно для инобытного. Средний европеец, обезличенный и обездуховленный тем самым — интересен только себе и, разве что, такой же обезличенной жене своей.

Лучше пунш, чиновничья гитара,
Под луной уездная тоска...

Клюев — грешный, спотыкающийся, иногда бормочущий хулы, иногда поющий радельные песни, Клюев один из самых самобытных наших поэтов. Пусть не всегда они, песни, ему удаются. Но часто они — совсем своеобразны и превосходятны.

Мы, изгнанники, все дальше и дальше от родной земли нашей. Скоро совсем скроются за холмами даже умпостигаемые очертания ее. И кричит душа наша, как некогда певец Слова о Полку Игоре: «О русская земле! Уже за шеломянем еси!» И нам соприкосновение с поддонной Русью — «Погорельщиной» Клюева — особенно целительно.

ВОССТАНИЕ СОВЕСТИ

Я не претендую ни на что примерное и нахожусь далеко от всякой добродетели (кто-то содрогается во мне, когда вы пишете, что я человек справедливости: я — человек без справедливости, но человек, которого этот недуг мучает, вот и всё).

Альберт Камю

Встречаются в жизни люди, идеально воплощающие в себе самые типичные черты своей расы или же наиболее характерные черты знака Зодиака, под которым они родились. Так и в литературе встречаются писатели как бы концентрирующие в своем творчестве «дух эпохи», к которой они принадлежат. Таков Байрон на заре романтизма. Таков и Камю, быть может, наиболее яркий представитель проникнутого тревогой поколения середины XX века. Недаром в издаваемой в Париже коллекции книг, посвященной «классикам XX века» — первой в серии вышла несколько лет тому назад книга о Камю. Это — признание читателя, разыскивающего и находящего себя самого в творческих исканиях современников. Со стороны официальных кругов такого признания еще не поступило и вряд ли когда-либо поступит: власть имущие не любят дерзания мысли. Правда, в 1952 году шла речь о присуждении Нобелевской премии молодому Камю. В последний момент предпочли выдать ее другому французу, почтенному академику Франсуа Мориаку. Но Мориак пройдет и забудется, как прошли и забылись сотни академиков, а Камю останется в литературе и не будучи академиком *).

Камю, прежде всего, поэт, хотя ни одного стихотворения, насколько нам известно, и не написал. Но его произведения полны подлинных «поэм в прозе», незабываемо воспевающих любовь ко всему земному и преходящему, любовь к солнцу, ветру, волнам Средиземного моря, любовь полных жизни и языческой радости человеческих тел. Чутьем поэта Камю воспринимает всю тревогу нашей эпохи. Да и возможно ли вообще познание времени вне поэтической интуиции?

Камю также и моралист. Конечно, не в смысле проповеди каких-то моральных норм: Камю слишком хорошо сознает свое собственное несовершенство, чтобы обладать претензией проповедовать для других. Но Камю пытается дать мо-

*) Присуждение Нобелевской премии А. Камю в 1957 году приобретает совершенно другое значение, чем если бы эта премия была ему присуждена пять лет назад, в 1952 году.

В 1952 году эта премия была бы признанием литературного гения и гуманитарной мысли молодого писателя. В 1957 году эта премия является лишь признанием (с запозданием) уже и без этого всеми признанного писателя и мыслителя. Ничего нового к славе Камю она уже добавить не может.

ральную оценку событиям и людям. Пытается найти для самого себя линию поведения, наиболее отвечающую требованиям своей собственной совести. В этом смысле Камю — продолжатель великой традиции французских моралистов XVII и XVIII века, хотя и далек от их сухости. С моралистами роднит Камю также предельная чистота классического литературного стиля. Страстное поэтическое восприятие жизни в сочетании с блестящим языком изысканного моралиста: это Камю.

Поэт и моралист Камю завоевал себе славу мыслителя («Миф Сизифа» — 1943 г. и «Восставший человек» — 1951 г.), драматурга («Недоразумение» и «Калигула» — 1944 г., «Праведники» — 1950 г.), наконец, новеллиста («Иностранец» — 1942 г., «Чума» — 1947 г., «Падение» — 1956 г., и сборник повестей «Изгнание и Царство» — 1957 г.). Но этим не ограничивается многообразный талант писателя: первоклассный журналист и полемист, Камю дал десятки газетных статей, не устаревающих, несмотря на их злободневный характер, одаренный и вдохновленный докладчик, Камю неоднократно выступает перед самыми разными аудиториями. И о чем бы он ни говорил, невозможно, когда его слушаешь, оторваться от простого, но всегда глубокого и остроумного слова человека, который своими скромностью и достоинством завоевывает симпатию самых трудных слушателей.

Голос Камю — это голос совести. Но не самодовольной, уверенной в своей непогрешимости совести, а совести сомневающейся, страдающей, жаждущей правды, вечно тревожной. Совесть молодого поколения, слишком много пережившего, чтобы довольствоваться унаследованными от отцов жалкими полуправдами, чтобы не понимать, что именно в тревоге за судьбу человека и за его свободу — подлинное величие и значение переживаемых нами дней.



В начале тридцатых годов двадцатилетний Камю (родился он 7 ноября 1913 года в семье сельских рабочих, в Алжире), увлекаясь театром впервые проявил свой талант драматурга, постановщика и актера. В частности, в перенесенных на сцену «Братьях Карамазовых», он играл роль Ивана. Эта встреча молодого студента (Камю посещает курсы философского факультета) и актера-любителя с гением Достоевского оставит неизгладимый отпечаток на всем творчестве автора «Чумы». Недаром отправной точкой очерка «Миф Сизифа» является образ Кириллова: «существует лишь одна действительно серьезная философская проблема, это — самоубийство», пишет Камю¹). В этом же раннем очерке (автору тогда еще не было 30 лет) с новой силой возникает и карамазовское «всё позволено» как один из (временных, правда) итогов «абсурдного» мышления.

Центральная мысль всего творчества Камю, — это опять-таки карамазовская идея о том, как может быть совместимо бытие Бога с существованием зла в мире. На этом, пожалуй, можно было бы ограничить в данном случае указания на влияние Достоевского*), поскольку в развитии этих положений Камю идет своим собственным, уж никак не карамазовским, путем. Без всякой гордости, но с предельной честностью перед самим собой, Камю, в беседе с монахами-домини-

*) Влияние, оказанное Достоевским, Толстым и русским революционным движением начала этого века на Камю (героями пьесы «Праведники» являются Каляев и Дора Брильянт) — тема, заслуживающая особого внимания, и нужно надеяться, что найдет критик, который посвятит свои изыскания этому важнейшему вопросу, после того, как нашлись уже критики, изучившие влияние Достоевского на другого великого французского писателя, Анрэ Жида.

канцами (в 1948 г.) ставит вопрос следующим образом: «... я никогда не утверждал, что христианская правда обманчива, а лишь то, что сам я не смог в нее войти... Я всецело разделяю вместе с вами одинаковое отвращение ко злу. Но я не разделяю вашей надежды и буду продолжать бороться против мира, в котором дети мучаются и умирают...»²).

С необычайной художественной силой эта же самая мучительная мысль развита в драматическом диалоге между не верящим в Бога доктором Рье и священником, отцом Панелу. После долгих часов проведенных в госпитале, где оба бессильные помочь, наблюдали за предсмертной агонией ребенка, они встречаются во дворе. «Быть может, мы должны любить то, чего не можем понять», говорит Панелу. «Нет (страстно отвечает ему Рье), я иначе понимаю любовь. И я до смерти буду отказываться любить это творение, где дети подвергаются пыткам...» И тут же добавляет, более примирительно: «... мы трудимся вместе с вами во имя чего-то, что объединяет нас по ту сторону богохульств и молитв. И только это имеет значение...» На замечание Панелу о том, что, к сожалению, ему не удалось убедить доктора, Рье с новой страстностью отвечает «... и какое это имеет значение? То, что я ненавижу, это — смерть и зло, вы хорошо это знаете. И хотите вы или нет, но мы — вместе, чтобы страдать от них и бороться против них... Видите, сам Бог не может нас больше разъединить...»³).

Непримиримость Камю к мировому злу толкает его не на путь отчаяния, а на путь мужества: от восстания — к одиночеству, от одиночества — к утверждению солидарности и братства. Это — путь аскетизма, почти подвижничества, святости. И недаром один из героев «Чумы», Тарру, признается в том, что «можно ли быть святым без Бога, это единственная конкретная проблема, которую я знаю сегодня».

Неверие Камю — это душевная трагедия нашего поколения, и Камю прекрасно это сознает, когда вкладывает в уста отца Панелу слова о том, что вера — это благодать. И тут не приходится лицемерить: лучше честно признать, что лишен этой благодати, чем притворяться. Перефразируя слова Камю, можно было бы сказать о нем, что он — человек без веры, но человек которого этот недуг мучает. Имеет ли кто право осудить его за это? Недаром ставит он вопрос о «святости без Бога».

Залог святости — в постоянном усилии над собой. В постоянной борьбе против зла: «То, что естественно — это микроб. Остальное, здоровье, цельность, чистота, если хотите, это результат усилия воли, такой воли, которая никогда не должна останавливаться; те, кто хотя бы перестать быть чумными, познают такую крайнюю усталость, от которой их освободит лишь одна смерть»⁴). И недаром взгляд Камю таит в себе этот отпечаток усталости, который можно уловить на лицах тех, кто борется во имя того, чтобы побороть в себе микробы чумы, микробы зла.

*

В одной из своих последних новелл — «Ренегат»⁵) — на незабываемо ярких и сильных страницах Камю рисует судьбу человека, восставшего на борьбу со злом, но не имевшего достаточного запаса мужества и духовной силы. После жесточайших пыток, сломленный физически, «рэнегат» признает превосходство Зла и доходит до того, что, превращенный в жалкого раба, он готов добровольно отдать свои последние силы и даже жизнь во имя окончательного торжества этого Зла, изувечившего его и поработившего. В своем безумном бреде «рэнегат» позна-

ей вдруг, что он не только потерял Бога Любви, Которому изменил. но и право на человеческое братство. Зло не знает пощады, даже по отношению к тем, кто ему служит. Покорившийся Злу обречен на отчаяние.



Восстание против Зла является для Камю не столько доктриной, сколько линией поведения⁶). Отсюда и его отношение к истории: как бы мы ни мечтали в душе о беззаботных днях счастливой жизни, у нас нет выбора. И это, в первую очередь, относится к людям мысли, к людям творчества: «... не борьба делает из нас художников, а искусство заставляет нас быть борцами...»⁷) Борьбу эту Камю принимает не во имя абстрактного будущего, в оправдание которого он не верит, а во имя конкретного настоящего, во имя «страсти человеческой, за то, что имеется единственного и неповторимого в человеке»⁸). Больше того: Камю признает, что борьба эта не знает передышек, что ее нужно вести без конца, ради света и свободы, потому что история не застывает на месте ни в счастье народов, ни в их несчастьи⁹). Нет окончательных побед, как и нет окончательных поражений. Есть только непрерывная борьба, отказаться от которой мы не имеем права потому, что в ней и только в ней оправдание нашей жизни. Но эту борьбу мы можем вести лишь в одиночестве, поскольку опыт ее — индивидуальный, и ведем мы ее, прежде всего, в самих себе. Из этого одиночества каждого из нас рождается солидарность всех: «... потому что мы должны защищать право на одиночество каждого, мы больше никогда не будем одинокими...»¹⁰). Высшая ценность для Камю это — братство одиноких, спаянное чувством солидарности. Одиночество не ради себя самого, а одиночество ради служения страдающему человечеству, с которым Камю чувствует себя навек солидарным¹¹).



Зло неразрывно связано со всей человеческой жизнью, Зло — это страдание и несчастье. И все мы, в какой-то степени, его соучастники: «... человек не полностью виновен, поскольку он не начинал истории, но также и не окончательно невиновен, поскольку он ее продолжает...»¹²)

Тема виновности или невиновности человека, тема сугубо религиозная, одна из основных и самых мучительных тем в творчестве Камю. Вокруг нее построена и ранняя повесть «Иностранец», и позднейшая — «Падение». Мысль Камю развивается на протяжении последних лет в направлении от языческого утверждения всеобщей невиновности до христианского положения о всеобщей виновности, или на языке веры, всеобщей греховности. Длинная новелла «Падение» является по существу своему (позволим себе здесь еще раз перефразировать Камю) ответом на вопрос: «как можно быть грешником без Бога». Нужно признать, что новелла эта как по своему цинично-ироническому тону, так и по самой теме (исповедь-монолог знаменитого парижского адвоката, опустившегося до роли «советника» жуликов и преступных элементов подонков Амстердама, подробно рассказывающий о своем «падении» на основании того, что лишь «обвиняя себя, можно судить других») вызвала немало недоумения даже среди поклонников писателя. Единственное, на чем все сходились, это на признании стилистического совершенства повести, которого французская литература уже не знала, быть может, со времен Вольтера.

Самое большое недоумение вызвало в «Падении» ожесточенное самобичевание самого жалкого героя: все думали что я почтенный, достойный человек, все меня уважали, все... кроме меня самого. Так знайте же все мои слабости, мои подло-

сти, мои низости. Даже самые уважаемые среди вас, и те не стоят большего, чем я. С той только разницей, что они по-фарисейски скрывают пороки, в которых я откровенно и честно признаюсь... «Каждый человек свидетельствует о преступлении всех остальных, вот моя вера и моя надежда...»¹³).

Можно предположить, что «Падение» — это ночной облик творчества Камю. И, действительно, если «дневные» романы и повести писателя освещены ярким беспощадным солнцем Средиземного моря или родного севера Африки, то «Падение» переносит нас в прокуренные притоны туманного Амстердама. Монолог опустившегося адвоката не является, конечно, обязательно автобиографической исповедью. Но, должно быть, именно потому она вызвала столько недоумений, а иногда и возмущений, что никто из нас не может пройти мимо нее не затронутым: ведь сознательно или подсознательно, но каждый из нас воспринимает эту «исповедь», как свою собственную. Многие именно этого и не могут простить писателю: куда легче жить, не заглядывая в «ночную» глубину человеческой души.

Такие произведения как «Падение» далеко не способствуют нашему успокоению. Они вызывают чувство неудовлетворенности, сомнения и тревоги. Но одновременно они и служат предупреждением против упоения своим собственным достоинством, против увлечения благородством восстания. «Падение» в творчестве Камю это — своего рода «мemento мори» в назидание безумной гордыне человека.



В нашумевшей в свое время (1952 г.) полемике, которой суждено было положить конец многолетней дружбе двух крупнейших писателей, Камю, отвечая на нападки Сартра, заявил: «Если бы мне казалось, что правда находится на стороне «правых», я был бы там». Ответ этот не мог не вызвать возмущения добродетельного Сартра, который, как известно, считает своим долгом быть всегда «налево» (вплоть до сотрудничества с коммунистами), независимо от того, где находится правда.

Правда, как и достоинство человека, как и его свобода, несовместимы со злом. И если даже и трудно определить порою, с какой стороны она находится, можно смело утверждать, что она, — на стороне борьбы против насилия, порабощения и зла.

Правда Камю, это, в первую очередь, правда сегодняшнего дня: «подлинная щедрость по отношению к будущему заключается в том, чтобы всё отдать настоящему»¹⁴). Эта правда, быть может, относительная и неполная, но зато конкретная и живая. Это — правда любви к человеческому существу, такому, каково оно есть, с его слабостями и недостатками, но и со всем неповторимым и единственным, что ему присуще. Любовь — это прежде всего любовь к настоящему. Отрицание настоящего во имя будущего есть отрицание любви.

Чувство любви к мимолетному неотделимо от чувства щемящей порой тоски, от чувства трагичности перед приближением неизбежной смерти. Нет радости жизни без отчаяния жизни, говорит Камю. Все творчество писателя полно этими радостью и отчаянием, и жгучая тоска героя рассказа «Гость» — расплата за свою любовь к солнцу, небу, пескам этого уголка северной Африки, где по глупому недоразумению он обречен на погибель¹⁵).

В любви не только залог боли, но и залог счастья, каким бы оно ни было хрупким и невесомым. Инженер француз, посланный строить плотину, где-то в Южной Америке, познает его, когда, выполнив за другого непосильное обещание, он слышит в ответ от признательного туземца простые слова: «Садись с нами»¹⁶). Ласковое слово, улыбка, дружеское рукопожатие. Немного нужно человеку, что-

бы познать счастье хоть на одно мгновение. Но покупается оно дорогой ценой, — ценой любви.

На сложные и тревожные вопросы нашего века Камю не дает стандартных ответов. Да их и нет. Каждый из нас должен дать свой собственный ответ на основании своего собственного опыта. И самое большее, что мы можем сделать для других — это поделиться с ними своим опытом.

«Мысль, дошедшая до подлинной глубины, всегда скромна, — пишет Швейцер («Мыслители Индии»). — Единственной ее заботой является пламя правды, которое она поддерживает, чтобы горело оно самым жгучим и самым чистым огнем, не беспокоясь о том, докуда доходит эта правда...»

Трудно найти слова, которые могли бы лучше определить мысль молодого французского писателя, чье пламя правды горит самым чистым и самым жгучим огнем любви и тревоги.

1) „Le Mythe de Sisyphe“.

2) „L'incroyant et les chrétiens“ in „Actuelles“ tome I.

3) „La Peste“.

4) „La Peste“.

5) „Le Renégat“ in „L'Exil et le Royaume“.

6) „Robert de Luppé — „Albert Camus“ Editions Universitaires, Paris.

7) „Le témoin de la liberté“ in „Actuelles“ tome I.

8) „Le témoin de la liberté“ in „Actuelles“ tome I.

9) „Le Parti de la Liberté“ (Hommage à Salvador de Madariaga) in Revue „Monde Nouveau“ (Paris, Avril—Mai 1957).

10) „Le témoin de la liberté“ in „Actuelles“ tome I.

11) „Pourquoi l'Espagne“ in „Actuelles“ tome I.

12) „L'Homme Révolté“.

13) „La Chute“.

14) „L'Homme Révolté“.

15) „L'Hôte“ in „L'Exil et le Royaume“.

16) „La pierre qui pousse“ in „L'Exil et le Royaume“.

· Все вышеупомянутые произведения Камю вышли в свет в изд-ве Галлимар (Н.Р.Ф.) в Париже: Editions Gallimard — (N.R.F.) — Paris.

Атлантида и Америка по древним преданиям

Без малого 2500 лет прошло со времени появления в свет двух книг Платона: «Тимей» и «Критиас», в которых им был затронут, хотя и в довольно туманной форме, вопрос о существовании в прошлом (9000 лет до Солона) легендарного острова в Атлантическом океане, затерянного к Западу от Колонн Геркулеса (нашего Гибралтарского пролива).

В какой-то форме судьба этого острова была связана, по словам Платона, с не менее легендарной цивилизацией, будто бы занесенной отсюда в древний додинастический Египет и с существованием в том же отдаленном доисторическом прошлом дружеских и союзных связей между Египтом и еще более загадочными «Афинами».

Во все времена, от Платона до наших дней, этот вопрос не переставал занимать и волновать умы исследователей. Не менее 25 000 трудов — книг и статей было посвящено «Атлантиде» за истекшие 25 веков, отделяющих нас от времен Солона. Миф этот продолжает оставаться неразрешенным и в наши дни. Каждый год приносит новые исследования по тому же вопросу. Только за последние годы, особенно в странах германской культуры, вышел в свет ряд книг*), указывающих на неослабевающий по-прежнему интерес среди ученых и читателей к загадочному острову. Последний труд особенно привлек к себе внимание читателей и критиков. В печати появился ряд статей, посвященных этой книге. Среди них статья доктора F. Deich („Atlantis — angeklagt und freigesprochen“), помещенная в цюрихской газете „Die Weltwoche“ (№ 1112), от 4 марта 1955 г., была одной из наиболее заслуживающих внимания.

Так, в книге Otto Muckа приводится ряд доказательств, основанных на научных данных, заимствованных автором из самых разнообразных областей знания (геологии, палеонтологии, климатологии, океанографии, биологии, астрономии и т. д.). Всё это приводится им в подтверждение существования Атлантиды как острова еще в конце последней фазы Ледникового периода (за 12 000 лет до нашего времени) в районе Азорских островов.

Резюмируя его книгу, можем сказать, что главные доказательства существования и исчезновения Атлантиды сводятся к следующим пяти пунктам: 1) изме-

*) Wilhelm Brandenstein, „Grösse und Untergang eines geheimnisvollen Inselreiches“, Gerold Verlag, Wien, 1953; J. Spanuth Jürgen, „Das enträtselte Atlantis“, Union Verlag, Stuttgart, 1953; Otto H. Muck, „Atlantis gefunden“, Victoria Verlag, Stuttgart, 1954, и др.

нение направления теплого течения Гольфштрома из замкнутого и внутриокеанского в свободное, с направлением от Азорских островов в сторону Норвегии и смежных с ней частей Ледовитого океана; 2) присутствие на всем протяжении Атлантического океана подводного горного кряжа (в среднем, высотой в 2750 м.), установленное многочисленными промерами дна океана и достигающего 300—400 км в ширину, особенно на широте Азорских островов; 3) совпадение времени прекращения ледникового периода в Европе (примерно 9000—9500 лет до Солона) с датой (9000 лет), сохранившейся у Платона; 4) роль Саргассового моря (находящегося к юго-западу от Азорских островов, между ними и Антильскими островами), знаменитого своими зарослями плавучих водорослей, как главного места размножения европейско-американских угрей.

По мнению автора книги, до исчезновения Атлантиды, она (нужно думать, скорее реки, вытекавшие из нее!) была центром миграции угрей. С исчезновением Атлантиды угри стали перемещаться в том же направлении, следуя по течению Гольфштрома; 5) исчезновение Атлантиды вызвано падением гигантского Планетоида, происшедшего 5 июня 8496 года до Р. Х. в силу исключительной конъюнкции Земли, Луны и Венеры. Вес последнего (200 миллиардов тонн) и взрывчатая сила, равная действию соединенных вместе 15000 водородных бомб, были причиной почти мгновенного исчезновения с лица земли Атлантиды как острова.

Изменение направления Гольфштрома, прекращение ледникового периода в Европе и появление угрей у берегов и в устьях европейских рек было всё следствием исчезновения Атлантиды — мощного естественного заграждения, стоявшего на пути теплого течения Гольфштрома.

В нашей статье об Атлантиде («Русская Мысль» № 739 от 23 февраля 1955 г.) мы писали, что строение дна Атлантического океана и его асейсмичность к западу от среднеатлантического подводного кряжа, — «убеждают нас в том, что если Атлантида и существовала как остров, исчезнувший вследствие землетрясения, то она могла находиться только где-то между Гибралтарским проливом и Азорскими островами». Здесь, в стыке двух сейсмических осей: средиземноморской и среднеатлантической, — океан бывает ареной довольно значительных землетрясений.

В том, что в прошлом Азорские острова могли быть невралгическим пунктом Атлантиды, мы не можем не согласиться с О. Муком.

Что же касается собственно среднеатлантического кряжа или вала, „Crête médiane de l'Atlantique“, как его называют французы, или „Dolphin Rücken“ немцев, от названия американского судна „Dolphin“, производившего промеры глубин в океане, то его направление, данное на карте в „Weltwoche“ не вполне соответствует его настоящему положению, установленному на основании сейсмических данных.

Проходя к югу от экватора, почти везде на долготе 10-15°W, на экваторе он круто поворачивает влево до 35°W, и, описывая дугу между экватором и 40°N, он достигает сперва 45°W на 20°N, и затем 25°-35°W лишь на 40°N. Известно, что Гольфштром расщепляется на 40°W и 45°N, т. е. несколько северо-западнее, что не вполне соответствует положению Азорских островов (между 37°5N, 25°W и 39°7N, 32°W).

Нужно думать, что подобного рода заграждение в форме естественного барьера не могло быть достаточным препятствием для теплых течений, так как нам известно, что в периоды потепления, характерного для междуледниковых фаз (Günz-Mindel, Mindel-Riss I, Riss I-Riss II, Riss II-Wurm, и т. д.) не только

средиземноморская фауна, но и фауна Северного моря насчитывала в своем составе много форм теплых морей.

Нужно думать, что если нечто подобное и существовало, что могло задерживать приток теплых течений к северо-востоку, то только в периоды понижения уровня вод в океане, т. е. в период оледенения.

Вот почему только тщательный промер дна океана в районе Азорских островов может что-нибудь дать в подтверждение или в опровержение высказываемых догадок о возможном местонахождении Атлантиды в районе этих островов.

Что касается срока окончательного исчезновения льдов в Европе, то он был установлен с большой точностью, благодаря остроумному методу так называемых варв (hvarf) шведского ученого de Geer. Это — периодически повторяющиеся прослойки сезонных отложений в водах ледниковых озер, в дельтах рек и на морском побережье, наносимые водами, вытекающими из-под льдов в период их подтаивания.

Подобного рода чередующиеся прослойки, скопляющиеся сотнями и тысячами в водах небольших озер, собирающихся впереди головных морен и образующиеся за счет размывания субстрата ледникового наслоения, большей частью трансгрессивны, т. е. выдвинуты вперед в отношении более старых отложений (глин). В зимнее время этих отложений не наблюдается. Последнее обстоятельство и позволяет пользоваться этими естественными природными записями ледниковых лет почти с математической точностью.

Таким путем было установлено, что со времени окончания ледникового периода до XX века после Р. X. прошло около 16 500 лет. Считают в 7 500—8 000 лет (до Р. X.) срок, истекший со времени окончательного исчезновения ледников. Примерно тогда же (8 500 лет до Р. X.) имело место окончательное затопление Ламанша до Па-де-Кале. С этого времени шло постепенное улучшение климата и повышение температуры до своего оптимума в 5 тысячелетии до Р. X. (средняя температура в июле: 18°5); в Балтийском море с атлантической фауной типа *Littorina littorea* и *Tapes* чувствовалось влияние теплых океанских течений. Затопление Атлантиды, относимое О. Муком к 9 500 г. до Платона, т. е. за 12 000 лет до нашего времени, казалось бы вероятным и правдоподобным, но тут же автор приписывает гибель этого же острова разрушительному действию упавшего на него планетоида. Последнее событие имело, будто бы, место 5 июня 8496 г. до Р. X.

Помимо довольно фантастического характера этой гипотезы, которую нельзя проверить экспериментальным путем, несколько напоминающей гипотезу Турнера, согласно которой образование Тихого океана стало как бы результатом зарубцевания на теле Земли разрыва, вызванного Луной при своем отделении от Земли в бесконечно отдаленные времена (!) — она как будто бы таит в себе неувязку примерно в одну тысячу лет. При чтении книги создается впечатление, что испеление острова случилось много позже его затопления? Что касается истории с угрями, то тут трудно что-нибудь возразить, не зная, было ли отмечено их присутствие в европейских водах раньше, в другие межледниковые периоды. С другой стороны, не следует забывать, что почти на всем протяжении эволюции жизни на нашей планете отмечалось большое сходство между европейскими и северо-американскими формами. Начиная с Кембрия и до Третичного периода у них было много общего. Различие было скорее видового, чем родового характера, и для объяснения этого геологи выдвигали самые разнообразные гипотезы: 1) существование в прошлом, затопленных ныне, земель между двумя группами континентов; 2) наличие сообщения вдоль берегов, особенно на севере,

омываемых неглубокими морями; 3) смещение одних континентов в отношении других и прочие.

Как бы то ни было, поиски затонувшей «Атлантиды» в океане многого для науки дать не могут. Легенда «Атлантиды» как острова навсегда останется тайной. Но есть нечто, что всё-таки может в ней интересовать. Это — тайна первобытного знания, если можно так сказать, сопоставленная с достижениями современной науки, в рамках общего мировоззрения, одинаково доступного пониманию древнего человека и мыслителя наших дней. Здесь нам нужно снова вернуться к первоисточнику, т. е. к гипотетической «Атлантиде» Платона, и постараться путем сопоставления этого текста с другими, вышедшими из-под пера позднейших греческих философов и географов, найти нечто новое, общее для них всех, проливающее свет на прошлое легендарного острова или чего-то другого, скрывающегося за ним в пространстве и во времени.

Вот что мы читаем об Атлантиде у Платона в «Тимее» (25):

«В те времена можно было пересекать это море с одного края до другого. В нем был остров спереди от пролива, именуемого колоннами Геркулеса. Остров был по величине более значителен, чем Ливия и Азия вместе взятые. В те времена путешественники могли переплывать с одного острова на другие острова, и с них они могли достигать и самого материка, находившегося на противоположном берегу этого моря, вполне заслужившего свое имя. В действительности, по эту сторону пролива, о котором идет речь, имелось нечто вроде гавани, суживающейся при входе в нее; с другой же стороны, снаружи от нее, это было море в полном смысле слова, и землю, которая его окружала, можно было назвать континентом, в узком смысле этого слова. Именно здесь, на этом острове Атлантиде, ее владыки создали большое и замечательное во всех отношениях государство. Это последнее господствовало над всем островом и над многими другими островами и частями континента. Сверх того, с нашей стороны, они держали под своей властью Ливию до Египта и Европу до Тиррении».

В «Критиасе» Платон дает описание самого острова и излагает детально политические и военные отношения, существовавшие между населением острова Посейдона (Атлантидой) и греко-египетской федерацией народов, существовавших за 9000 лет до Солона, посетившего Египет около 650 г. до Р. Х. и информированного жрецами в Саисе обо всем, что касалось Атлантиды. Затем Платон снова возвращается к географическому положению этого таинственного острова.

«Остров этот, как мы уже говорили, пишет он, был тогда (т. е. за 9000 лет до Солона) по своей величине больше Ливии и Азии, вместе взятых (под Азией надо понимать здесь то, что называется теперь «Малой Азией» — Н. Д.). Теперь же, после того, как его поглотили морские воды, после землетрясения, от него не остается ничего, кроме непроходимого ила, представляющего огромные препятствия для мореплавателей, которые пускаются отсюда (?) в плавание, в сторону открытого моря» («Критиас», 108).

Далее мы читаем («Критиас», 118—120), что самое государство на острове имело 3000 стадий (550 км.) в длину и 2000 стадий (360 км.) в ширину, что оно было расположено к югу от моря и было укрыто от северных ветров. Климат в стране был умеренный.

Со слов тех же египетских жрецов, остров обладал неисчислимыми минеральными богатствами. В земле его добывались все легко и трудно поддающиеся обработке металлы, не исключая золота и орихалка, занимающего второе место по ценности. Там встречались все крупнейшие породы млекопитающих вплоть до слонов. Среди плодов, наиболее заслуживающих внимание, был один — дре-

весного происхождения, который мог одновременно служить пищей, напитком и жировым веществом. Большинство ботаников угадывает в нем плод кокосовой пальмы, область произрастания которой всегда находилась в Индийском океане и в Восточной Азии, равно как и других видов растений, перечисляемых Платоном. Это обстоятельство заставляло многих ученых искать Атлантиду скорее в Тихом, чем в Атлантическом океане. Но ни одно из данных Платоном указаний не было достаточно веским, чтобы позволить ученым установить с безусловной точностью истинное местонахождение этого острова.

*

Следует отметить, что греческие географы стали лишь много позднее обозначать Атлантическим океаном всё водное пространство, находящееся между Европой и Африкой — с одной стороны, и Америкой — с другой. В III—IV вв. до Р. Х., как видно из трудов Дикайарха (330 г. до Р. Х.) и Эратосфена, название «Атлантическое море» скорее относилось к южной части нынешнего индо-тихоокеанского пространства, т. е. к нынешнему южноазиатскому водному простору.

Сопоставляя всё вышеизложенное, мы, прежде всего, поражаемся явным несоответствием одних данных с другими при описании Платоном размеров острова. С одной стороны, будучи больше вместе взятых Ливии и Азии (в указанных выше пределах), он должен был бы быть на несколько тысяч километров длиннее. С другой стороны, укладываясь в нечто, имеющее какие-нибудь 1500 км. в окружности, он был бы величиною с Исландию, Хоккайдо или северную половину Новой Зеландии.

Если же «Атлантида» была равна по величине вместе взятым Ливии и Азии, она должна была бы, казалось, заполнить всё пространство Атлантического океана между двумя противоположными группами материков, примерно на широте Антильских островов.

Современная наука ни в какой степени не подтверждает наличия следов такого острова-материка между указанными двумя группами континентов. Цоколь Атлантического океана имеет не одинаковое магматическое строение по обе стороны от среднеатлантического подводного кряжа, легко наносимого на карту на основании сейсмических очагов. Эти последние, падая в большинстве случаев примерно на одни и те же места, дают возможность проследить почти непрерывную цепь эпицентров по всей длине Атлантического океана между островами Шпицберген и Буве, огибающую далее Южную Африку и переходящую в Индийский океан.

Общее очертание этой кривой примерно то же, что и контуры обеих групп континентов, расположенных к востоку и западу от указанной линии. Вся западная половина Атлантики от этой кривой — абсолютно асейсмична. Дно океана в этой части Атлантики чисто «океаническое» в магматическом отношении (базальт), тогда как дно части океана, прилегающей к европейскому и африканскому континентам имеет характер «эпиконтинентальный» (гнейс и гранит). Это убеждает нас, и мы подчеркиваем еще раз, что если Атлантида и существовала как остров, исчезнувший вследствие землетрясения, то она могла находиться где-то между Гибралтарским проливом и Азорскими островами, ввиду того, что и район Канарских островов тоже асейсмичен. Этим самым гипотетические размеры Атлантиды уже сильно уменьшаются.

*

Оставляя, таким образом, открытым вопрос об Атлантиде как об исчезнувшем острове, позволим себе процитировать другой текст, заимствованный у Плу-

тарха (50—139 гг. после Р. Х.), относящийся к какому-то неизвестному острову или материку, очень возможно тождественному с вышеописанным островом у Платона.

«Далеко от нас, читаем у Плутарха в „Oeuvres morales“, (т. IV, стр. 468), в море расположен остров Огигия, находящийся в пяти днях плавания к западу от Великобритании. В сторону летнего солнечного заката имеются еще три других острова. По преданиям варваров (туземцев!) этой страны, Сатурн, по приказу Юпитера, находится в заточении на одном из этих островов. Будучи поставлен своим отцом стражем над островами и над прилегающим к ним морем, именуемым Сатурновым, он обосновался немного ниже (южнее!) их».

«Они (туземцы) утверждают, что большой материк, охватывающий океан, находится примерно в пяти тысячах стадий от острова Огигия и несколько ближе к другим островам. Там можно плыть только на веслах, потому что выход в море на судах медленен и труден, вследствие большого количества ила, наносимого в море многочисленными реками, вытекающими с материка и впадающими в море, куда они несут много отложений, которые загружают морское дно, что заставляло прежде думать, что море было покрыто льдами. Берега континента, по их словам, заселены греками (!), которые живут вдоль залива, по величине не уступающего Палус Мэотидес (Азовское море), исходный пункт которого в точности соответствует такому же в Каспийском море (!). Они считают себя жителями земли, имеющей характер материка, а не островитянами, потому что земля, на которой они живут, окружена морем. Спутники Геркулеса, оставленные в той стране и смешавшиеся с проживавшим там племенем Сатурна, вывели из состояния полной темноты греческую нацию, почти целиком угасшую и задушенную в условиях законов, обычаев и языка варваров, и вернули ей ее былой блеск. Вот почему с этого времени Геркулес стал там наиболее чтимым божеством, после которого первое место занимает Сатурн».

«Когда звезда Сатурна, которую мы называем Фэнон, и которая на этом острове носит имя Никтюр, вступает в созвездие Тельца, что случается каждые 30 лет, они задолго готовятся к торжественному жертвоприношению и к долгому морскому путешествию, которое должны проделать на судах, приводимых в движение веслами, те, кого жребий предуготовил к выполнению этого поручения, и которое требует от них продолжительного пребывания в некоторой чужеземной стране».

«По отплытии и после того как каждый из них пережил целый ряд разных приключений, те из них, кому посчастливилось избежать опасностей в море, высаживаются на островах, лежащих с противоположной стороны, где живут люди греческой национальности и где в течение месяца они видят солнце, заходящее не более, чем на один час в сутки. Там, в течение всей ночи, мрак мало напоминает темноту и скорее производит впечатление сумерек».

«По истечении 90-дневного срока пребывания в этой стране, где местные жители принимают их с большим почетом, рассматривают их как нечто неприкосновенное и воздают им в этом положении все, что полагается, путешественники снова вручают свою судьбу морским волнам и возвращаются на свои острова. Оставленные же являются единственными жителями этих мест, не считая тех, кто туда прибыл до них. После того, как они прослужат 13 лет (30!) в качестве служителей культа Сатурна, им предоставляется право вернуться на родину, но большинство из них предпочитает остаться на острове, — одни по привычке, другие потому, что находят там в изобилии, без труда и усилий, всё, что им необходимо для их жертвоприношений, для отправления публичных празднеств и для

поддержания тех из них, которые посвящают весь свой досуг изучению философии и литературы. Они говорят, что в климатическом отношении, и с точки зрения легкости воздуха, остров исключительно благоприятен».



Несколько дальше Плутарх снова возвращается к тому же вопросу (стр. 471).

«Иностранец, у которого я заимствовал всё вышеизложенное, был завезен на этот остров. Он был мирным служителем культа божества (почитаемого на острове) и одновременно ревностным учеником астрономии в течение всего времени своего пребывания на острове. Он усовершенствовался в этой области в пределах максимальных достижений, сделанных там в геометрии. Из отдельных философских наук он больше всего уделял внимание физике. Он испытывал сильное желание побывать и ознакомиться с Большим островом; этим именем они обозначают континент, на котором живем мы. По истечении 30 лет и после того, как новые служители культа заступили его место, он простился со своими друзьями и пустился в путь, имея в своем распоряжении минимум возможностей для передвижения по морю; но в его золотых сосудах было достаточно продовольствия для всего путешествия. Чтобы рассказать здесь все его приключения, описать все народы, у которых он побывал, передать те иероглифы, с которыми ему приходилось иметь дело, и раскрыть все те тайны, в которые он был там посвящен, мне не хватило бы и целого дня, если бы я захотел изложить вам со всеми подробностями, как он это делал сам, потому что ничто не ускользнуло из его памяти».

Мы дословно восстановили здесь текст Плутарха ввиду его исключительной важности. Из него видно, что дело идет здесь об островах, находящихся между Исландией и Ньюфаундлендом. Речь идет, по-видимому, о полярных областях Гренландии, бывшей, как известно, более доступной для мореплавателей в самом начале нашей эры, чем теперь, благодаря более мягкому климату, господствовавшему в течение нескольких веков.

Быть может, мы имеем здесь дело с чем-то большим, а именно с рекой и заливом св. Лаврентия, которые здесь в какой-то степени сопоставляются автором с Азовским и с Каспийским морями.

Короче говоря, это — североамериканский континент, который Плутарх нам рисует как бы в тумане, и который облакает в миф. Этот необозримый материк Сатурна встает перед нами во всем его сказочном величии. Это — Америка норманов и каких-то затерявшихся в ней «греков», быть может заброшенных туда в момент кораблекрушений, во время странствований в поисках «последней земли» (Ultimae Thulae).

«Греками» могли быть финикийцы или какие-нибудь другие соплеменные грекам или их предкам индоевропейцы.

Короче говоря, таким представлялся грекам во II веке после Р. Х., где-то по ту сторону легендарной Атлантиды, «Новый Свет».



После того, как мы установили существование второго изолированного континента, известного древним, было бы интересно задать себе вопрос: существовали ли какие-нибудь сношения между обитателями этих двух «континентов», помимо случайных морских поездок, имевших иногда место вдоль Арктических островов, между Великобританией и Гренландией?

В этом отношении текст Теопомпа, грека, писавшего около 398 г. до Р. Х., заслуживает особого внимания.

Он ведет свой рассказ от имени некоего Силена, информатора Мидаса, фригийского царя. Мы читаем у Теопомпа (F. H. G. frag. 76, стр. 289):

«По словам Силена, Европа, Азия и Ливия — это острова, омываемые океаном со всех сторон, но есть континент, который находится за пределами этого мира. Он производит на свет не только крупных животных, но и людей ростом в два раза крупнее наших и живущих в два раза дольше, чем у нас. Они ведут жизнь отличную от нашей и подчиняются законам не имеющим ничего общего с нашими. У них много больших городов, среди которых особенно выделялись два, именованные: Махимон, иначе говоря, «воинственный», и Еусебэ, или «благочестивый».

«В то время как жители этого последнего города (государства!) вели мирный образ жизни и питались плодами своей земли, которые она производила в изобилии, не заставляя жителей прибегать к хлебопашеству, другие, жители «воинственного» государства, были постоянно в войне между собою и со своими соседями; они почти всегда оканчивали свою жизнь в боях, пораженные камнями и оружием из сухого дерева, но никогда — оружием из железа. Их запасы золота и серебра были неистощимы; золото стоило у них дешевле, чем у нас железо».

«Рассказывают, что однажды около 10 000 000 этих островитян попытались пересечь через океан, наводнить наши острова и распространиться повсюду в стране гипорбореев. Они неоднократно слышали разговоры о богатстве этих народов, но, увидев собственными глазами и убедившись в их бедности и варварстве, они разочаровались и отказались углубляться дальше в их страну. Но что всего замечательнее и всего важнее, это — последние, самые крайние по месту жительству люди, которые назывались меропами и населяли многочисленные и крупные города. На самом краю этой земли находится место, носящее имя Аностос (то есть, откуда нет возврата), и которое является как бы бездной. Ночь и день, как явление нормального порядка и как мы их себе представляем, не в состоянии передать ни характера, ни равномерности освещения, царящего там. Это своего рода состояние оледенелости воздуха, смешанного с тусклым отражением багровой зари, которое постоянно как бы держится неподвижно в пространстве. Две реки медленно несут свои воды поблизости от этих негостеприимных мест. Одна из них зовется Эдонэ (река «Радости» или «Забвения»), другая носит имя Люпэ (река «Печали»). Вдоль каждой из этих рек растут густые леса платанов (!), и каждый из них имеет свои особые качества».

«Леса, растущие по берегам реки «Печали», производят плоды, которые, если кто-либо отведаст их, вызывают у него слезы в таком изобилии, что несчастный иссыхает целиком от потоков слез, чахнет и умирает на месте (?)».

Напротив, леса, растущие по реке «Радости», имеют преимущество по сравнению с лесами по реке «Печали». Они производят другие плоды. У вкушившего их они вызывают чувство отвращения ко всякой неумеренности; они его погружают в состояние полнейшего забвения, освобождая его от ощущения приближения старости; возвращая его сперва в условия зрелого возраста, затем переносят как бы во времена молодости, и, наконец, в период раннего детства; этим они как бы растворяют его в самом себе, не дав ему даже почувствовать пережитых им метаморфоз».

Такова была легенда, переданная Теопомпом со слов Силена — неизвестно, с чертами лица явно выраженного монгольского типа. Всё заставляет думать, что здесь дело шло о каком-то переселении многочисленных племен, вышедших из Аляски, прошедших через северные полярные области Сибири и добравших-

ся, в конце концов, до крайнего запада, в более культурные и богатые места европейского материка.

Имя меропов или меропейцев, живших там, как бы подтверждает это предположение. Слова «Мегреб» или «Мерев», обозначающие «Запад» или «закат», в некоторых языках почти созвучные со словом «Европа», которым мы пользуемся для обозначения нашего континента, еще более усиливают это впечатление. Злесь «Европа» была синонимом «Запада». Другое слово, перелеланное на греческий лад (Аностос), где «тс/ст» весьма вероятно эмфатического происхождения, соответствует, по-видимому, какому-то шипящему звуку в языке, из которого оно было заимствовано (например, «Ш» или «Щ»).

Не исключается возможность, что здесь шла речь о чем-то близком с «а-ноштос», по идее стоящем в ряду с тем, что у славян, например, принято называть «полунощным». Это вполне гармонирует с арктическим, полярным характером этих стран.

Имена рек (Элонэ и Люпэ) были, быть может, отголоском таких имен, как «Эриланум-Роланум», — с одной стороны, «Эльба-Лаба» — с другой. Известно, что миф о Фазтоне и о слезах, проливаемых сестрами Гелиоса, оплакивающими каждодневно исчезновение их брата-Солнца, слезами, превращающимися на месте в «электрон», т. е. янтарь, встречающийся на побережья Балтики, были тесно связаны у древних с именами этих двух рек.

Исходя из этого предположения, мы как бы одним прыжком переносимся к исходному пункту отправления этих переселенцев.

Есть основание предполагать, что «Махимон» и «Эусебэ» — также слова, заимствованные и перелеланные на греческий лад; они служили в оригинале где-то, на неизвестном материке, обозначением каких-то государств. Первое принадлежало какому-то воинственному народу таинственного североамериканского континента; второе — одному из его соседей, культивировавших науку и философию.

Всё, что говорилось о железе и золоте, только усиливает это впечатление. За отсутствием более веских доказательств можно предположительно допустить, что первое («Махимон») соответствовало Мексике или Мехико, второе («Эусебэ») — одному из наиболее цивилизованных племен Центральной Америки, скорее всего, киччи или майя, уроженцев Юкатана и Гватемалы.



Из приведенных выше текстов мы видим, что в свете греческих исторических традиций, за туманной далью легендарного острова Платона, обрисовывается не менее таинственный материк, который обладает всеми данными быть тем, что мы называем теперь американским континентом.

После того как мы позволили себе его локализовать, если можно так выразиться, в пространстве, независимо от того, был ли он только загадочным островом или чем-то большим, что скрывалось за этим последним, нам остается постараться локализовать его и во времени: установить момент разрыва культурных сношений между обоими полушариями, который мог быть вполне связан с наступлением значительного похолодания в Восточной Сибири.

Известно, что после последней фазы ледникового периода полюс холода постепенно перемещался из Норвегии в сторону Верхоянска.

В четвертом-пятом тысячелетии до Р. Х., в период фландрийской морской

трансгрессии, климат средней и северной Европы был значительно мягче современного климата даже Скандинавии. Это обстоятельство могло способствовать массовым перемещениям населения из Америки в сторону Европы как морским путем, через Гренландию, так и сухопутным, через Сибирь.

Наступившее затем охлаждение в Сибири ускорило темп переселений. Рассказ, переданный Теопомпом, был последним отголоском этих массовых миграций.

Подобного рода локализование во времени стало, в некоторой степени, возможным благодаря идее Л. Филиппова, астронома Алжирской обсерватории.

Л. Филиппов опубликовал в феврале 1931 г. свою статью под названием «Как я установил дату исчезновения Атлантиды», напечатанную по-французски в «Атлантис».

Его идея резюмируется вкратце следующим образом: «Сопоставление двух разных текстов книги Манетона, в которой Атлантида фигурирует под именем «Терра сериадиака», с книгой Пирамид дает нам приблизительную дату, с которой связана знаменитая катастрофа, описанная Платоном. Согласно с приведенным выше текстом, это последнее событие произошло в те времена, когда первый Тот, которому удалось избежать последствий катастрофы, привез в Египет первоначальные сведения тех научных знаний, которые были уже до того известны жителям Атлантиды, благодаря чему он стал одним из богов, наиболее почитаемых в Египте».

Принимая во внимание, что введение нового религиозного культа в Египте обычно приурочивалось к моменту прохождения точки весеннего равноденствия из одного зодиакального знака в другой, и так как знак, отвечавший Тоту, приходился на созвездие Рака, то весьма просто вычислить время вступления и прохождения точки весеннего равноденствия через упомянутое созвездие; а это, в свою очередь, позволяет приблизительно установить интересующую нас дату. Результаты вычислений дают 8180 до Р. Х., как момент вступления точки весеннего равноденствия в зодиакальный знак Рака, и 6400 год до Р. Х., как момент ее выхода и перехода в следующий за ним знак Близнецов. Таким образом, появление Тота в египетском пантеоне падает на 8180 год до Р. Х., и исчезновение Атлантиды должно было бы произойти между 8180 и 6400 гг. до Р. Х.

«Большее уточнение этой даты стало возможным, благодаря сопоставлению египетских сведений со сведениями, появившимися по другую сторону Атлантического океана, а именно — с текстом из Попол-Вух».

«Было очевидно, что катастрофа, о которой шла речь в книге Совета Кичче (Quichés), была та же, что и отмеченная в египетских текстах, так как и та и другая помещались под тем же зодиакальным знаком Рака, который значится в летописной записи Попол-Вух под именем Praesepe. Поэтому окончательное установление даты исчезновения Атлантиды не представляло уже дальнейших трудностей. Оставалось только вычислить дату совпадения точек весеннего равноденствия с Praesepe Cancrī. Исходя из основных числовых данных Ньюкомба и пользуясь формулой прецессий, при условии знания характера соответствующего перемещения главной звезды в Praesepe Cancrī (звезды E этого созвездия), можно было установить, что 7256 год до Р. Х. был искомым моментом прохождения точки весеннего равноденствия через Praesepe и был, следовательно, годом исчезновения Атлантиды Платона».

Интересно сопоставить эту дату с данными д-ра Otto Muck'a — 8496 г. до Р. Х. — упомянутую в первой части нашей статьи.



После всего вышеизложенного остается сказать несколько слов о значении и происхождении самого слова, давшего название как водному пространству Атлантического океана, так и некоторым землям и народам, находившимся на его побережья (Атлас, Атланты и т. д.). Где искать разгадку этих слов?

Чтобы подойти вплотную к этому вопросу, надо сопоставить ряд имен и понятий, на первый взгляд, казалось бы, не имеющих ничего общего между собой, но которые при сравнении вносят некоторую ясность.

Что прежде всего бросается в глаза, это их космополитичность. Один и тот же корень встречается в словах Европы, Азии, Африки и Америки. В большинстве случаев подобным словом обозначают устья, дельты или гирла больших рек, а также речные наносы при впадении рек в море, которые имеют обычно геометрическую форму треугольника, нижнее течение всякой большой реки, и позднее (а может быть и раньше!) всё течение реки.

Так, в Бразилии мыс Аталая находится недалеко от впадения в океан реки Амазонки. Верхнее течение одной из двух образующих ее рек Маранон и Ваупес (Рио Негро) носит еще и сейчас имя Итилла. В Аргентине испанское название реки Ла Плата было, возможно, в первоисточнике нечто вроде: Аталла! Не исключена возможность, что в Северной Америке название залива и реки св. Лаврентия, выходящей из озера Онтарио, есть англоязыченное и испорченное туземное название этого озера. Итил было хазарское название Волги, или, по крайней мере, ее нижнего течения, от места слияния с Камой. Названием Атилькуза (от венгерского Кёз — место перехода) обозначалась в мадьярских хрониках приднепровская часть нижнего течения Днепра в районе его излучины. Истер означало нижнее течение Дуная, называемое у нас гирлами. То же самое и в Египте: нижнее течение Нила, имеющее в районе Дельты явно выраженную форму треугольника, носило, по всей вероятности, одноименное название. Превращенное по-гречески в «дельту», оно стало одновременно обозначением и всякой речной дельты и четвертой буквы греческого алфавита, имеющей ту же геометрическую форму — треугольника. Паталена (П-атал-ена) означало в древности наименование нижней части реки Инда. Того же происхождения, быть может, и Патна, в приморской провинции Бехар (несколько выше общей дельты рек Ганга и Брамалутри).

Не исключена возможность, что и самое название «Италия», служившее в древности лишь обозначением южной части Апеннинского полуострова, возникло от формы страны, суживающейся в южной части и принимающей в Сицилии геометрическую форму дельтовидного треугольника. Точно также во Франции город Арлес находится там, где река Рона начинает разветвляться на рукава; к востоку, в том же районе, находится городок Истрес на берегу одного из лиманов; а в Голландии — в устье Рейна, один из рукавов его носит название Йссель, и город Тиль находится также на одном из рукавов Рейна. В устье Эльбы находится город Альтона. В Ликии, в Малой Азии, на побережье, в районе вековых наносов, находится древний город Аттала. Возможно, что от того же слова или аналогичного понятия берет свое название и нижнее течение реки Тигра в Месопотамии: Селас, Селлас, Делас. Не исключена возможность, что здесь, как и в других случаях, была некоторая связь этих имен с обо-

значением числа «три» (3) в семитских языках, как, например, «тсалатса» (в арабском), «саллас» (в эфиопском), что вполне соответствует треугольной форме устьев больших рек. «Дритте» в немецком языке или «три» в русском, как и обозначение того же числа в других индоевропейских языках почти тождественны с именем «Трит-он», служившим в древности названием озера «Шоттед-Джерид» в Тунисе, в районе Малого Сырта, или моря «Атала», бывшего в прошлом как бы дельтой большой североафриканской реки неизвестного происхождения. В свое время (в 1927 г.) вопрос о существовании «Атлантиды» Платона в этих местах был предметом оживленных споров на страницах журнала „*Petermanns Mitteilungen*“ (Буркхарт и Герман).

В них, если не впервые, то более обстоятельно, чем когда-либо «Атлантида» была сопоставлена с одним из исчезнувших островов озера Тритонис, так называемого «моря Атала» или «Аталовым морем» в стране Атлантов (по еврейской книге «Юбилей»).

Отсюда можно допустить, что под Атал-Етиль-Итиль-Итыл, откуда и Атлас, Атланты и пр., скрывалось некоторое общее понятие в первобытном (доисторическом) языке общего этнического субстрата в обоих полушариях; например, в языке аймара (Перу, Боливия) айтыл (айтыл-тата) означает приводить в волнение, поскольку дело идет о море или лагуне; в амарийском языке (Эфиопия) — аттала — отложение и наносы, образующиеся со временем в жидкости. В переносном смысле оно получило значение чего-то широкого, глубокого и высокого (в латинском языке *alt-us* (*lat-us*), *tal-us*; во французском языке *talus* «наклон рва»; в немецком — *Thal* — «долина реки»). Самая форма Атлантического океана, с одной стороны — широкого водного пространства, а с другой — довольно узкого, по сравнению с остальными океанами, этот род межконтинентального рукава, растянутого на протяжении многих тысяч километров, как нельзя лучше соответствует данному ему наименованию.

Нет ничего удивительного, что у Эрамосфена то же наименование перешло на часть Индийского океана, собственно, на Бенгальский залив. Узкий рукав, растянувшийся на тысячи километров от Австралии и Новой Гвинеи до Индии, род пролива между Зондскими островами (Лемюридами древних географов) и Малайским полуостровом (Малакский пролив), как бы выливается здесь в Бенгальский залив у берегов Индии; последний имеет дельтовидную форму, по сравнению с остальным очертанием этого узкого водного межостровного пространства.

В связи с этим должен быть поставлен вопрос о географических открытиях древних финикийцев и других. Где был предел их достижений? Сказочные страны — Пунт, Панхей, Офир, Танутрия и прочие, трехлетние рейсы флотоводцев царей Соломона и Хирама тирского к неизвестным берегам на восток от Индии, путешествие вокруг Африки, предпринятое в царствование фараона Нехао (XXVI династии), говорят в пользу того, что эти возможности были значительно больше, чем теперь думают. Совершенное в 1947 году норвежским капитаном Тором Хейердалем на плоту «Кон-Тики» путешествие между Перу и архипелагом Туамоту, притом в самых примитивных, почти первобытных условиях, сделанное с определенной целью, неопровержимо доказало возможность подобного рода передвижений и в древности.

Не так давно закончившееся другое путешествие (между 8 ноября и 7 декабря 1954 г.) трех полинезийцев, совершенное на пароме в 7 м., под брезентовым парусом с минимумом удобств, как и первое, сделанное ими между островами

Пасхи и Таити (расстояние в 3700 км.) в наиболее пустынной части Тихого океана, еще раз доказало возможность заселения Южной Америки со стороны Полинезии или наоборот.

Сходство во многих отношениях (язык, религия, социальный уклад и прочее), существующее между народами Южной Америки, полинезийцами, сумерийцами и древними египтянами сможет пролить свет на взаимоотношения народов в далеком прошлом, за много тысяч лет до Р. Х. То же положение и на крайнем севере Атлантического океана, куда, как мы знаем, не раз добирались греческие мореплаватели и их предшественники. Никто не знает, как далеко доходили они в поисках своей *Ultimae Thulae*, и что понималось у них под этим названием.

Если допустить, что и это латинизированное название того же происхождения, что и все вышеупомянутые, что и за ним скрывается какое-то «устье большой, полноводной реки», то, сопоставляя его с Тюлла (Тюллан), легендарным городом на севере, прародиной американских толтеков, можно задать себе вопрос, не было ли и то и другое условным обозначением реки и залива св. Лаврентия, докуда, быть может, добирались «греки» Плутарха в поисках таинственного заатлантического материка, считавшегося царством Сатурна.

О свободе

Вступлени е

Милый друг, то, о чем я хочу рассказать тебе, — не сказка, не легенда и не быль. Это не вещь, поражающая наше воображение; не замечательное событие; не история жизни великого человека. Этого нигде не случилось, — ни в жизни, ни в фантазии. Этого нельзя показать на карте, нельзя положить на весы и выразить цифрой. И, однако, без этого ничто на свете не было бы так, как оно есть. Оно везде и нигде, — и как свет, в котором мы видим очертания вещей, но который сам невидим, потому что он составляет условие видимости, — оно примешалось ко всему, что существует, и, не будучи вещью, вошло в каждую вещь, и, не будучи событием, вошло в каждое событие, в каждую жизнь, во все предания, легенды и сны мировой истории.

Милый друг, то, о чем я хочу рассказать тебе, это попросту — значение одного слова. Это немного — слово. Но среди тысяч слов, которые мы употребляем невнимательно и небрежно, бывают особые и исключительные слова. Прежде всего — имена тех, кого мы любим. Эти слова составляют наше личное достоинство, мир не знает о них, и они проходят вместе с нами. Но кроме них существуют еще другие слова: это — слова-символы, слова-знамена, слова-звезды. Есть слова, которые преследуют человечество, тревожат и не дают покоя. Они перерастают все те значения, которые мы им приписываем, и не укладываются ни в какие формулировки.

Как звезды горят на небе человеческой мысли высокие и царственные слова: Бог и Мир, Любовь и Разум, Милосердие и Справедливость, Добро и Истина. Что же означают они? Когда-то Платон требовал «повернуть глаза души», чтобы понять их. Они внушали трепет. Самым высоким и страшным из них было имя Бога, — и предкам нашим запрещалось произносить его вслух.

Но, в конце концов, мы привыкли ко всем словам. Мы свели высокие слова с неба на землю, каждое из них приспособили к своим нуждам. И Бог стал для нас событием, затем лишь легендой и сказкой, любовь — физиологическим переживанием, а бесконечность — игрушкой философской мысли. Мы перестали бояться слов, и среди тех, которые мы унизили и затоптали в грязь больше других, было слово СВОБОДА.

Об этом слове мы и будем говорить, ибо оно находится в особом отношении ко всем другим. Оно их содержит в себе, как небо содержит в себе все звезды, или как мировое пространство — все небесные тела. Ибо что такое Любовь и Милосердие, Справедливость, Искания Правды и Счастья? — Это особые формы

Свободы. В каждом из этих путей духа выражается Свобода человека. Одним этим словом покрываются и охватываются необозримые дали мировой истории.

Но конкретный смысл этого слова беспрерывно ускользает от нас, и в каждом поколении мы начинаем сначала поиски Свободы. Мудрецы Востока искали ее в Нирване. Мудрецы Запада — в святости христианской Любви. Спиноза называл ее именем *Amor Dei Intellectualis**), Платон ее искал «по ту сторону всякой сущности», а Бергсон дал ей имя *élan vital***). Много имен для обозначения одной свободы! Простые люди не понимали этих имен, но когда всем казалось, что след ее заглох в повседневной жизни, Свобода являлась, видимая всем, в красном цвете знамен восстания, и вела толпы на штурм Бастилии. «Свобода, — говорили нам одни, — это Революция!» «Свобода, — говорили другие, — это абсолютная независимость тех, кому ничего не надо!» «Травы в поле не растут тише ее!» Но вдруг она являлась в громах Синая и обрушивалась на головы тех, кто бежал от нее.

Так что же такое С в о б о д а ?

Та, о которой я хочу рассказать тебе, не хочет поразить тебя ужасом и не требует, чтобы ты снял пред ней обувь и преклонил колена. Она не угрожает тебе и не скрывается от тебя. Она, как товарищ, касается твоего плеча и говорит обыкновенным понятным голосом.

Голос свободы — твой собственный внутренний голос.



Свыше ста лет тому назад жил в Германии человек, о котором говорят, что он был величайшим в ряду великих мыслителей Европы. Сложный и трудный процесс философской мысли тысячелетий в уме этого человека — Георга Вильгельма Фридриха Гегеля — был приведен к заключительному синтезу, и из этого синтеза выросло новое начало.

Величайшим словом средних веков был Бог, величайшим словом нового времени Наука, а величайшим словом Гегеля — Идея. На вопрос, что такое Идея, что такое Абсолютный Смысл? — у него не было другого ответа, как показ бесконечного превращения, процесса перехода одной формы в другую, одной стадии Смысла в другую, ибо только в этом движении, в этом разворачивании Смысла Идея существует как целое. Всё, что постигает опыт и разум человека во всей бесконечности имен и форм, оказывается звеньями цепи, необходимыми моментами в логической связи целого.

Это был панлогизм — титаническая попытка объять мыслью весь мир, всё богатство существующего во внутренней логической связи его частей.

То, что один человек мог поставить себе такую задачу, свидетельствует о том, что время, в которое он жил, было временем подведения итогов и потребности инвентаризации накопленных богатств на решающем историческом переломе. Мысль человеческая дошла до вершины. Предстоял спуск в поступательном движении к новым социальным и политическим целям. В те времена носителями универсальной мысли были очень маленькие люди — не так, как в наше время, когда политики и организаторы мирового масштаба выглядят жалкими пигмеями в области духа. Великий мыслитель Гегель был очень маленьким человеком. Прошло всего одно столетие, — и его «синтез» принадлежит прошлому, но полет и размах его мысли остается для нас несравненным.

Почему выбрал Гегель слова «Идея» и «Разум»? В его время эти слова были

*) Любовь к Богу, коренящаяся в разуме, «умная» любовь.

**) Жизненный порыв.

не только цеховыми инструментами ученой касты, но и знаменем Просвещения. Теории Просвещения привели к Революции; свобода Мысли — к мысли о Свободе. Для Гегеля вся история человечества была историей свободы. Более того, «История» и «Свобода» в последнем счете совпадают. История есть история становления Свободы. Творить Историю — значит осуществлять Свободу; и только свободный человек знает, что такое история.

Что нам думать об этом? Мы — поколение, выросшее на крови, среди неслыханного уничтожения человека. Мы — жертвы истории более, чем ее живые органы. Что нам Свобода? Поэтому, с величайшей осторожностью, мы начинаем с того, что свобода есть слово — только слово. Но с настойчивостью, за которой скрывается надежда, мы хотим знать, что скрывается за этим словом. Мы стали скромнее. Нам, пережившим лагеря смерти и еще не пережившим лагеря рабства, — нам не по плечу ни панлогизм абстрактной мысли, ни оптимизм всеобщей разумности. Но это особое слово «свобода» мы хотим исследовать со всех сторон. В эпоху атомной энергии мы ищем и находим в этом слове странное и непрекращающееся излучение, чудесный источник — родник бесконечной силы. Человек умирает легко и проходит бесследно. Но свобода не умирает с нами. Нельзя устранили ее ни казнями, ни лагерями. То, что мы, люди — носители абсолютного Смысла — было известно и до Гегеля. Мы в это верим, но не знаем, в чем этот смысл. Итак, поставим конкретное слово «Свобода» вместо непосильного бремени «Абсолютной Идеи». Попробуем объять весь мир не абстрактной мыслью, а в границах видения Свободы.

И если когда-то учил нас немецкий гехеймрат, что «всё существующее разумно», а «всё разумное существует», — то мы, которые с этим согласиться не можем, поставим в начале нашего исследования другой тезис: Всё, что существует, по своему движется к свободе, ищет ее и борется за нее. Во всем, что существует, есть свобода. Свобода есть жизнь в ее высочайшем проявлении.

И еще об одном наставнике свободы я хочу напомнить. Город, в котором он жил, разрушен, переименован и заселен людьми, далекими от свободы. Но профессор Иммануил Кант был ее верным почитателем. Он только хотел ее удержать в известных границах, наподобие людей, бывающих религиозными раз в неделю в церкви, но не позволяющих религии вмешиваться в повседневную жизнь. Свобода есть нечто потустороннее, — учил профессор. Прежде всего он изгнал ее из мира природы. Природа вся — царство необходимости. «Свободен, как ветер» — иллюзия.

Бродячий ветер неволен, — и закон
Его летучему дыханью положен.

Свобода — слово, но наш профессор верил в цифру. Свобода — не предмет знания, которое, как он учил, с необходимостью квантифицирует мир. Свободы нет не только в мире положительного знания и математической закономерности, но и в мире истории и в психической действительности человека. Ибо всё, что происходит с нами, в конце концов, подлежит причинному объяснению. С железной необходимостью выводится настоящее из прошлого, и будущее — из настоящего. Что же остается для свободы? — Она пребывает за порогом действительности, как потусторонний признак. Да, это была мысль: во всем мире только человек — носитель свободы, а в самом человеке несвободны его тело, которое принадлежит природе, его поступки и переживания, связанные с телом. Что же остается, если исключить факты человеческой жизни из царства свободы? Остается воля человека — свобода как практический постулат воли. Воля не есть знание, и в

плане действия воля себя сознает свободной, несмотря на то, что для знания всё происходящее с человеком оказывается плодом необходимости. Для теоретика нет свободы. Но для человека, который действует, не теоретизирует, а принимает решения, Свобода есть атрибут и внутреннее определение его воли.

Это было остроумно, хотя и не каждому понятно. Но свобода, которую таким образом выгнали из мира знания в мир практики, не хотела держаться в указанных границах. Ибо таково свойство свободы: она нарушает все границы, проникает туда, где ее не ждут. Поэтому с нашей стороны будет благоразумнее, если мы не будем пытаться ограничивать понятие свободы, не будем отрывать теорию от практики и человека от мира. Может ли свобода быть определением одной только воли? — Нет, чтобы воля была свободна, должен быть свободен весь человек. А как может быть свобода человека исключением в мире? Если нет свободы вокруг человека, как может быть свободен он один, запертый в тиски враждебной стихии?

Итак, дадим свободе широкую дорогу. Откроем ей настежь все двери, весь мир. Начнем с доверия к универсальному характеру свободы.

Откуда родится в нас потребность и голод свободы? — Когда-то в лесах далекого севера я видел бедных невольников и вокруг них мир вещей, изуродованных так страшно, что судьба их кричала о спасении. Там я понял, что кроме свободы философов, которую, как драгоценный камень, шлифуют в лабораториях мысли, есть в мире бессловесное отчаяние тех, кто сам не в состоянии охватить своего несчастья, что потребность в свободе — так же груба, ясна и ощутима, как ощущение стреноженной лошади, и так же безотчетна, как путь зерна в земле.

И с тех пор мысль о свободе неразрывна для меня с мыслью о людях и вещах. Как легким нужен воздух, глазам — свет солнца, голодным — хлеб, скрипачу — смычок и скрипке — мелодия, — так надо, чтобы дела свободы, открыть двери тюрем, вывести из заключения миллионы, спасти уничтоженные книги, воскресить мысли, убитые в зародыше, обновить энергию, подавленную нечеловеческим гнетом, для того, чтобы каждый из нас — и мир вокруг нас — приблизились к своему назначению, к тому, чем каждый может и должен быть. Нельзя мыслить понятие свободы абстрактно, в отрыве от действительности и внутренней реальности.

Здесь каждое усилие мысли, аналитической или интуитивной, укрепляет внутренний подъем и мятеж, изменяет или проясняет самое существо нашей жизни. Для того, чтобы мысль могла постичь свободу, она сама должна быть свободна.



И еще раз: в начале исследования свобода для нас только слово. Все без исключения слова живой речи служат в процессе их употребления мыслящему и деятельному человеку, как акты, мысли и действия. Но те же слова, рассматриваемые отдельно и сами по себе, превращаются в имена.

Каждое слово можно рассматривать, как имя. Но что значит «имя»?

Славянское «имя» связано с «иметь»; германское Name связано с nehmen*); еврейское kinuj связано с kinian i lehaknot. «Имя» везде означает приспособление, с помощью которого человеческий дух имеет — овладевает и присваивает себе не только абстрактные понятия и образы, но и самую реальность, на которую направлена мысль. Имени соответствует предмет мысли — оно, как фо-

*) Брать.

нарь, освещает его и делает видимым. Слово — единица человеческого языка. Но в каждом слове есть «имя», а в каждом имени то, что именуется, как в каждом луче света находится то, что в нем открывает глаз человека, одаренного зрением.

Есть люди слепые к свободе. Она им не светит, как бы часто они ни повторяли это слово. Но для нас «свобода» — сигнал и луч света во мраке мировой ночи. Свобода для нас — и м я. Не имя абстракции, наподобие термина, который весь исчерпывается своим определением, а имя, подобное имени живого существа, неисчерпаемое в своем содержании.

Именем «свобода» называется нечто более важное, чем жизнь всего, подверженного смерти. Это бесконечный процесс, которого касается человеческая мысль, не будучи в состоянии исчерпать его в абстрактном определении.

Свобода есть имя того, что нам наиболее близко и дорого. Одно из имен, которые в процессе истории были наречены человечеству, в его движении вперед. Homo Liber*) как и Homo Sapiens**) — это имена того, что в человеке составляет тайну и глубокий смысл его существования. С именем Свободы он входит в историю. И пусть мы выговариваем это имя плохо, неверно. Пусть мы еще неясно и смутно понимаем, что оно значит. Всё же то, что мы называем этим именем, — нам ближе, чем мудрость тысячелетий, и дороже всех сокровищ мира. — Почему? Потому что решающий опыт тысячелетий научил нас, что там, где нет свободы, там нет и мудрости и нет счастья, нет любви и нет правды, нет Бога и, в конечном счете, нет также и человека.

О НЕГАТИВНОЙ СВОБОДЕ

В начальной стадии анализа свобода является нам как результат освобождения. Нельзя объяснить, что такое свобода, тому, кто сам никогда не испытал насилия и не боролся против него. С другой стороны, свобода имеет для человека простой и очевидный смысл, не нуждающийся ни в каких объяснениях. Начало и отправной пункт свободы — в нужде и стеснении, в ущербности жизни, вызванной внешней силой.

Для человека, который сидит в тюрьме, простой смысл свободы заключается в том, чтобы выйти из нее. Свобода — за тюремной оградой. Для человека, который тонет и захлебывается, с легкими, наполненными водой, — свобода в том, чтобы выйти на берег. Для человека, которого душат, свобода заключается в том, чтобы оторвать от горла пальцы врага, — для него быть свободным значит дышать. В этой простейшей форме познают свободу все живые существа, стесненные в нормальном процессе жизни — и прежде, чем первобытные обитатели лесов и пещер научились мыслить, они уже боролись за свободу в элементарных и безотчетных актах самообороны.

Свобода проясняется впервые, следовательно, не как фактическое состояние и достояние человека, а как предел стремления, как то, чего не хватает, как желаемое и объект желания и цель усилия, как мечта и образ. Здесь дело обстоит так же, как со «здоровьем», которое оценить может только больной или человек, знающий о болезни. Узник драматически переживает свое освобождение в первые часы или дни. Но, по мере того, как он отдаляется от места своего заключения и перестает о нем помнить, с его свободой происходит то же, что со звездами на исходе ночи: она меркнет и становится невидимой. Она входит в естественный про-

*) Свободный человек.

**) Познающий человек.

цесс его жизни и растворяется в нем. Человек больше не интересуется своей свободой, не отдает себе в ней отчета и не думает о ней. Чем полнее реализована свобода в жизни нормального человека, тем меньше он ее сознает. Чтобы выделить эту скрытую свободу, нужна новая угроза — снова нужно дожидаться ночи, когда проясняются звезды. Перспектива, с которой человек начинает замечать и живо ощущать наличие или отсутствие в его жизни этого «ингредиента», это — ночь страдания или то сумеречное состояние духа, о котором писал Гёте:

Кто хлеба своего не ел в тоске и печали,
Тот вас не знает, небесные силы.

И отсюда становится понятным тезис, что свобода никому не дается готовой: надо непрерывно бороться за нее. Нет свободы без акта освобождения: она всегда — достижение. И это достижение по природе вещей всегда неполно, несовершенно и неокончательно. Вся жизнь — борьба за освобождение. Бывает, что узник получает свободу без малейшего усилия со своей стороны, и она для него — счастливый случай. Но даже и такой «баловень судьбы» непременно возьмет с собой, в новую жизнь, память своих лишений и надежд, память внутреннего сопротивления и противоречия, и только эта память придаст смысл его освобождению. Раб не может быть освобожден внешне, пока он не освободился внутренне, т. е. пока он не осознал своего рабского состояния, как унижительного и вынужденного. Если же нет у него этого сознания, то никакая внешняя перемена его положения не сделает его свободным внутренне. Тому, кто не ощущает своего бесправия, не помогут новые права, и он всегда перетолкует их в добавочную милость и подачку судьбы.

Доказательством свободы никогда не является то, что человек доволен своим состоянием и не протестует: во многих случаях такое довольство — знак двойного рабства, не только внешнего, но и внутреннего. Человек, который, находясь в концентрационном лагере, оправдывает его, потому что он сыт и устроен лучше других, — настоящий раб. Воспитанник диктатуры, лишенный ею не только основных человеческих прав, но и потребности в правах, прославляющий свое состояние, как величайшую свободу, — доведен до предела унижения. Известно, что люди, переходящие из глубины варварских и нечеловеческих условий в мир относительной свободы, переносят эту перемену с трудом. Им нужно время, чтобы привыкнуть. В первое время они испытывают удивление, недоверие, страх. Люди, прошедшие коммунистическую или гитлеровскую выучку, относятся с искренним презрением к обилию партий и мнений на Западе. Известен страх, который свобода внушает людям, проведшим много лет в тюрьме или казарме. Такие люди входят в свободу, как в мелкую воду у берега, ноги их цепляются за привычное дно. Но в тот момент, когда дно уходит из-под ног, и надо начать плавать — обнаруживается разница между теми, кто плавать не умеет и умеет. Для того, кто не умеет плавать, свобода движения в воде не существует, и если он тонет — берег становится для него условием свободы. Отсюда двусмысленность в употреблении этого слова: для американца русский политический режим есть рабство, но русский колхозник, перенесенный в американские условия, не сразу почувствует себя свободным: ему надо сначала «научиться плавать», т. е. сделать некоторое усилие, чтобы привыкнуть к новым условиям. Итак, верно, что свобода связана всегда с активным усилием человеческого духа, даже если освобождение приходит извне.

Но вернемся к элементарным ситуациям, с которых начинается история борьбы за свободу. Дикарь, которому хищный зверь преградил дорогу, прилагает все

усилия, чтобы восстановить то положение, в котором он находился до встречи с хищным зверем. Человек, которому связали руки, хочет вернуть свободу движения, которой он обладал раньше. Антиципация свободы наступает на сравнительно поздней ступени. Первая ступень — это воспоминание свободы. Для человечества, на заре его развития, свобода — возвращение, как для тонущего — берег, к которому он стремится, всегда тот самый берег, от которого он удалился, а для задыхающегося воздух, которого ему не хватает — тот самый, которым он дышал. Как счастлив и богат должен быть человек, чтобы для него свобода стала движением к новому и неизвестному! Для огромного большинства свобода даже и в наши времена сводится к доступности благ, хорошо известных и пережитых в прошлом (хотя бы только частично или урывками) — благ потерянных или отобранных вражеской силой.

Первый исторический миф свободы, таким образом, с необходимостью обращается к прошлому. Тоска и потребность освобождения для бесчисленных одиночек в бесчисленных перипетиях их жизни обобщается в миф и локализуется в прошлом. Представления о золотом веке или рае Библии помещают свободу в прошлое. Они видят в ней не результат освобождения, не достижение, не триумф борющегося человеческого духа, а некоторое идеальное и первоначальное состояние, утерянное нами. Рассмотрим эту первую историческую версию райской свободы. Она наивна, ибо относится к младенческим временам человеческого духа. Но из нее и по ее следам развивается впоследствии вся европейская мифология свободы.

В раю люди живут в состоянии детской невинности, не опасаясь ни вторжения врага, ни стихийного бедствия. Это состояние «пред потопом» и «пред изгнанием». Люди работают в раю — возделывают свой сад, но это — работа легкая (по терминологии советских лагерей Адам в раю был работником третьей категории, «облегченный труд»). В раю нет законов, все делается *sponse sua, sine lege**), в силу естественной гармонии природы, человека и Бога. Люди в раю не знают ни страдания, ни нужды, ни стыда, ни преступления. Но есть в раю запрет.

Свобода преступить запрет и тот поразительный факт, что в раю имела «запретная зона», — делают трагическим это первое видение человеческой свободы. Рай не был бы раем, если бы люди в нем не обладали этой свободой преступить запрет. И подобно тому, как не труд сам по себе, а его чудесная легкость и непринужденность характеризовали райское состояние, так же и не запрет вкушать от плодов познания, а возможность, играя, преступить его была особенностью райской свободы. Эту свободу человечество вынесло из рая, как самое свое драгоценное состояние. Адам должен был «соблазниться» яблоком, чтобы человечество через грех послушания поднялось от райской, детской свободы на высшую ступень творческой, взрослой свободы.

Призрачное, как во сне, видение рая еще не равняется социальной утопии. Покинув библейский рай, люди не помышляют вернуться туда. Но как долго может память человечества хранить это предание чисто пассивно? Уже одно то, что она хранит его веками в своем воображении, является началом борьбы за возвращение в рай. Человек свободен вернуться в рай, он верит в то, что рай ждет его.

Проходят века, и пророки провозглашают новый социальный идеал, веру в возвращение Царства Божия на землю. Наступит время, когда народы забудут войну, перекуют мечи в орала и вернуться в состояние райской гармонии. Тогда

*) Свободным решением, без закона.

волк будет жить вместе с ягнёнком, вол со львом, и малое дитя будет водить их.

Но едва родился пророческий идеал, как христианство выносит рай за пределы мира. Пророки маленького народца были оптимистами: их представление о свободе было простодушной идиллией затерянных в иудейских горах поселян, в стороне от большой дороги мировой истории. Учителя христианства лучше знали историческую действительность, в мировом империальном захвате Рима, Византии, Европы... У них не было наивных надежд, в противоположность еврейскому мессианству они знали, что рай на земле недостижим. Христианская свобода, как ее рисуют Августин и, тысячу лет спустя, Лютер — это внутреннее состояние святости, праведности, освобождения от власти и соблазнов этого мира. «Царство Божие не от мира сего» — это значит, что свобода на земле недостижима. Христианство отрицает рай на земле, свобода для него означает уход и преодоление мира. Христиане верили не в рай Исаии, а в близкий конец мира. Историческая действительность показывает нам с достаточной убедительностью, что возможен ад на земле, но рай — социальная утопия пророков — был снят христианством с порядка дня на добрых 1800 лет, пока утопический и сверхутопический «научный» социализм XIX века не воскресил в новой форме надежды на рай на земле.

Какой же выход находит себе голод райской свободы в течение тысячелетий европейской истории? Нет дороги обратно в потерянный рай, но есть компромисс, среднее решение между полным отсутствием и полным торжеством свободы. Свобода — гость. Для нее отводятся особые дни в календаре, отмеченные красным, выходные дни, торжественные occasions, дворцы для баловней судьбы, храмы искусства, храмы культа. Праздник — эрзац свободы. В огромных городах, где миллионная скученная масса ведет существование полуневольников, есть люди, вся жизнь которых — праздник (так, по крайней мере, кажется тем, кто придавлен и лишен радости жизни). Но для массы тоже нужна свобода, хотя бы раз в неделю, на «викэнд». Праздник — прорыв свободы в подневольную жизнь, пусть временное, но освобождение от пут, которыми связана обыденная жизнь. Надо различать между «праздником» и «днем отдыха». Отдых — физиологическая необходимость, и «право на отдых», которое устанавливает советская конституция, только подчеркивает принудительность труда, который невозможен без пауз. Поэтому люди отдыхают даже в лагерях рабского труда, где нет никаких праздников. Праздник — напоминание о том, что люди рождены для свободы. Не временное отсутствие внешнего принуждения, а позитивный момент возвращения к себе, к нормальной полноте жизни, экзамен человеческой способности быть свободным — вот что делает праздник манифестацией свободы в жизни масс. И это всё, что сохраняется в жизни от райского предания и пророческих уверений: разрозненные брызги свободы, островки, просветы в другую жизнь, редкие мгновения полноты жизни, увековеченные человеческим гением. И наподобие праздников, установленных известной программой — семейных, национальных, гражданских и религиозных — знает история неповторимые праздники свободы, как извержения вулкана, блестящие импровизации свободы в жизни масс и эпизоды личной жизни, когда вся она переполняется светом, и слово «свобода» перестает быть загадкой. Расшифровать эту свободу — удел немногих, но опыт ее, в большей или меньшей степени, дан каждому.

*

После того, как человечество испытывает все варианты «райской свободы», помещая ее то в прошлом, то «в конце времен», то по ту сторону времени, — насту-

пает очередь той концепции свободы, которую можно назвать океанской. Эта океанская свобода является мифом либерализма, т. е. секулярным и трезвым представлением о жизни как о поприще, на котором каждый борется, побеждает и терпит крушение на свой риск. Свобода здесь — не естественная или потусторонняя гармония, а столкновение частных интересов, самоутверждение личности или социальной группы.

Задолго до того, как Дарвин открыл естественный отбор в борьбе за существование всего живого, родилась океанская свобода на развалинах средневекового общества, во времена Ренессанса, когда Рай теологов и мистиков окончательно разбился на тысячу осколков. Правом вырваться из оков Церкви и Государства, правом сильной и самостоятельной личности стали тогда пользоваться не только угнетенные, но и угнетатели. Это была свобода кондотьеров и флибустьеров, отважных предпринимателей, строителей новых миров не только в географических и социальных измерениях, но и в области духа. Над этой океанской свободой, весьма далекой от идиллии, светят вечные звезды, но каждый волен держать свой путь по звездам, как ему угодно.

И как дополнение и условие этой опасной свободы открытого моря, без которой творческая натура европейца не могла бы найти себе удовлетворения, существует берег — гавань для потерпевших крушение, организация помощи и безопасности в государственных и общественных учреждениях. Эта океанская свобода отличается от произвола джунглей тем, что она, как море — с сушей, граничит с твердым порядком Государства и Общества, назначением которых является страховать человека от катастроф и риска свободы.

Чем для Колумба была гавань, которую он оставлял за собой, но всегда мог в нее вернуться, тем для Галилея был авторитет Государства и Церкви, которые, в свою очередь, для маленького человека во всех его приключениях являлись исходным пунктом существующего порядка. Государство берет на себя социальные гарантии свободы, сперва для ограниченного круга лиц правящей касты, потом для третьего сословия, и, наконец, — для всех. История парламентской демократии и, в наши дни, Welfare State*), — это история того, как на берегу Океанской Свободы человека и борьбы за его полное самоопределение, моральное, духовное, национальное, политическое и экономическое, выросла огромная гавань Государства, с его доками и маяками, с его континентальными удобствами и контрольным аппаратом.

Государство — это организация порядка, а когда в этой организации переходят известную границу, оно превращается в организацию насилия. Существует теория, что каждый государственный порядок основан на насилии, что насилие есть сущность государства. Эта теория двусмысленна: иногда ее поддерживают анархисты, как форму протеста против государства, а иногда — теоретики диктатуры и любители деспотии. Она выворачивает наизнанку действительное отношение. В действительности, не порядок вытекает из «добрého» насилия, а насилие — всегда и неизменно из дурного порядка, и каждый установленный в обществе порядок тем хуже, чем больше требуется насилия для его поддержания. Порядка, который был бы настолько плох, чтобы целиком основывался на насилии, или настолько хорош, чтобы целиком исключал насилие, — нет в мире и быть не может.

Любое государство приводит в движение огромные механизмы. Всё зависит от

*) Государство-«благотворитель», при котором граждане могут требовать, чтобы государство их содержало.

того, какой цели служат эти механизмы. Пока мы не теряем из виду океанской перспективы, механизмы государств, как подъемные краны в гавани, не мешают нашей свободе. Наоборот, без них невозможен океанский рейс Человечества навстречу свободе. Но постепенно, рядом с океанской свободой, уже не как ее корректив или необходимое условие, а как ее отрицание, начинает складываться новый миф о материковой, континентальной свободе.

Надо ли удивляться, что массы, которым океанская свобода либерализма не дала ни хлеба, ни мира, ни безопасности, ни духовного удовлетворения, в конце концов, возмутились против нее? Жертвы войны, погромов и унижительной нужды, прошедшие сквозь колониальный гнет, расовые преследования и все формы политического произвола, разочаровались в морских перспективах. Энгельс в XIX веке еще издевался над лассалевским (в основе гегелевским) понятием «Свободного Государства»: «чем свободнее государство, тем бесправнее его граждане; мы заинтересованы в своей собственной свободе, а не в освобождении Государства». Это еще был подход либералистический. Но в XX веке люди на берегу отвернулись от моря и начали себя спрашивать: зачем починять аварии, когда можно их предупредить? Зачем выходить в открытое море и рисковать бурей, когда можно на суше построить свободное общество не по образцу корабля на волнах, а по образцу фабрики на твердой земле, по разумному плану?

Это — миф континентальной свободы: она не в столкновении интересов и борьбе партий, а в согласовании интересов и подчинении коллективу. Только коллективная воля может быть по-настоящему свободна, в ней спасение, и только она в состоянии защитить жертвы от насилия грубой эксплуатации. Коллективная воля не только возможна, она необходима: это доказывает «научный» социализм. Носитель свободы — пролетариат: он совершит прыжок из царства необходимости в царство свободы, по знаменитому слову Маркса. Надо овладеть государством. Надо перенести его с берега моря в глубину континента и передать ему все ресурсы, чтобы оно могло удовлетворить все потребности. В тотальном государстве всё будет делаться по плану, каждый займет свое место; и эта невиданная социальная гармония создаст на земле новый Рай: царство Разума и мирного Труда.

Миллионы людей, которые принимают сегодня этот социалистический миф, знают, конечно, как далека действительность в стране «победившего социализма» от идеала свободы. Они знают, что в действительности существуют политический террор, концентрационные лагеря и нужда. Но это так же мало мешает им верить в советский рай, как христианам рабство и феодальное угнетение мешали верить в Царство Небесное, а людям нового времени мешает верить в демократический прогресс зрелище наших социальных дефектов.

Во всех трех вариантах свободы — райской, океанской и континентальной — мы имеем дело не с описанием действительности, а с социальной утопией, т. е. с идеальным представлением о том, как должна выглядеть и когда-нибудь будет выглядеть свобода. Костры инквизиции не мешают проповедникам христианской любви; концентрационные лагеря Советского Союза насколько не смущают тех, кто возлагает надежды на коммунизм; и ни один западный демократ не перестал верить в достоинство и гордость человека оттого, что в предместьях фабричных городов Европы люди живут в норах и унижительной нищете. По-разному понимают свободу средневековые монахи, советские чекисты и люди свободной мысли...

И, однако, есть нечто общее во всех трех типах.

Советский рай, который видят глаза социалистических «реалистов», стоящих спиной к низменной действительности советской жизни, питается источниками библейской и христианской веры. Это — наивное представление о всеобщем счастье и всеобщей гармонии. В раю Адама Бог, природа и люди жили в состоянии полной гармонии. В предполагаемом раю коммунизма тоже должно быть достигнуто состояние полной гармонии между коллективом и личностью, природой и культурой, разумом и инстинктом. В раю Адама была «запретная зона». В раю ЧК-МГБ запретов еще больше, но за искусствителями и искусственными устанавливается строгий надзор, и... непокорные не выйдут из пределов этого «рая». В эти запретные зоны мысли и действия, в эту гармонию волков и овец не верит демократическое сознание западного мира, с его океанской перспективой бесконечной борьбы противоречий, с его решительным неверием в земной рай и не менее решительным сопротивлением каждой форме ада на земле. Но общим для всех рассмотренных форм свободы является то, что все они выражают свободу негативную.

Негативная свобода сопротивляется конкретному насилию. В основе, это — все та же первичная реакция человека в осаде врага, в плену и под непосредственной угрозой. Негативная свобода это — отталкивание от очень определенной и наглядной ситуации. Ее сила в отрицании зла. Таков гневный протест пророков: «Горе тем, кто устанавливает несправедливые законы и пишет жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных, чтобы вдов сделать добычей и ограбить сирот! Омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро! Если захотите и послушаетесь, будете вкушать блага земли! (Исаия). За этим следует протест христианства против телесной смерти и грубой силы... Следует грандиозное и по сей день незавершенное, продолжающееся состояние маленького человека против бесправия, нужды и эксплуатации... Лютера против индугенций... Парижского народа против Бастилии... Рабочих против голодной зарплаты... Евреев против гетто... Негров против суда Линча... Чем грубее насилие, тем очевиднее смысл слова «свобода». Райский сад — освобождение от знойной и бесплодной пустыни. Бесклассовое общество — конец классовой борьбы и угнетения. Индивидуальный анархический протест проявляется в бесконечном богатстве форм — на то он и «индивидуален», но за всеми формами, будет ли это смелость Колумба, еретическая дерзость открывателя новых путей, нищенская проповедь или наглый вызов обществу — скрывается желание сбросить с себя путы, власть рутины, узость существования. Историю Человечества можно рассматривать, как историю бесконечного ряда освобождений, которые, однако, не могут сложиться в одно окончательное освобождение, потому что одной негативной свободы, разрушающей прошлое, недостаточно, чтобы покорить настоящее и будущее.

Мало того. Никогда отдельный человек или общество не представляют лучшей добычи для врага — для нового врага — тогда, когда они только что сбросили старое ярмо. Наполеон подстерегает Французскую Революцию, Гитлер — «Пробужденную Германию», а Ленин со Сталиным — развал царской России. Во всех случаях революционных взрывов освобождаются огромные силы, сносятся вековые плотины, и бесформенная энергия масс устремляется по новому руслу, которого никто не может предвидеть. Нельзя понять энтузиазма вчера мятежных, а сегодня укрощенных масс, готовых умирать в защиту самых омерзительных проявлений деспотизма и новой тирании, если не принять во внимание этот импульс негативной свободы, восторг вчерашней победы и потребность действия, которую искусно заставляют служить своим целям диктаторы и политические

карьеристы. С освобождением народов от очевидного ига, с уничтожением той или иной формы социального зла, достигается та отрицательная свобода, которая сама по себе еще не предохраняет от опасности в будущем и оставляет открытыми все возможности к добру и злу. Раб имеет только одного господина, и корабль на якоре — одно определенное место в гавани. Но раб, который освободился от крепостного состояния, тем самым превращается в приманку враждебных сил со всех сторон, и корабль в открытом море всегда находится под угрозой бури. Здесь кончается первый акт драмы свободы и начинается второй.

О ПОЗИТИВНОЙ СВОБОДЕ И ЕЕ ОТРИЦАТЕЛЯХ

Проблема позитивной свободы родится в тот момент, когда внешние обстоятельства достаточно благоприятны, когда элементарные потребности самообороны не диктуют человеку целиком его линии поведения, и он получает возможность, исходя «из себя», устанавливать и решать жизненные вопросы.

Свободен, по определению Спинозы, тот, кто существует в силу одной необходимости своей природы и в себе самом находит источник своих действий. („Ea res libera dicitur, quae ex sola suae naturae necessitate existit et a se sola ad agendum determinatur“). Увы, это определение никак не может относиться к живым людям, которые всегда взаимодействуют с окружающим миром, несомненно зависят от него и никогда и ничего не начинают с самого начала и от себя. Каждый из нас только продолжает нечто, что он уже нашел в окружающей и внутренней действительности. Мир человека — царство середины. Всегда было нечто до него и будет после него — во времени, в самоопределении духа и реальности его существования. Никто из нас не свободен сам по себе, а только по отношению к тому, что находится в нем и вокруг него. Вне этих отношений слово «свобода» ничего не значит.

В «Исповеди» Л. Толстого жизнь человека сравнивается с птицей, которая пролетает через освещенную комнату из темноты в темноту. Это сравнение поражает страхом смерти, ощущением мгновенности жизни и полной своей неисторичностью. Оно очень далеко не только от ощущения нормального человека, но и от объективного положения вещей, т. к. то, что нас со всех сторон окружает — совсем не мрак, а огромные исторические перспективы, отчасти открытые нашему знанию, и в глубину которых далеко проникает наша активность. Мы — участники мирового процесса. Для слабого и усталого человеческого сердца возможно сравнение, что оно, как всполохнутая птица, мечется в поисках гнезда. Положение же человека в поисках свободы — другое. Иной темп — не стремительно и слепого полета, а долгого и упорного, терпеливого и систематического исследования и движения; иная трасса — не из мрака во мрак, а из прошлого, освещенного светом знания, к будущему, которое нам не принадлежит, но в которое мы проецируем свою жизнь; иная цель. Ибо проблема свободы не есть проблема «смысла жизни», которого еще ни один философ не был в состоянии «объяснить» потерявшим этот смысл, и тем менее сам его выдистиллировать в лаборатории мысли. Свобода есть самоопределение человека во всей цельности его деятельного существа, а не абстрактное определение.

Основной факт самопознания человека — это его локализация. Например, он находит себя в первой половине XX столетия, в определенных географических, национальных, классовых и физиологических условиях. Исследование этих границ поглощает значительную часть человеческой жизни. Ребенок не отдает себе в них отчета. Ощущение потенциального богатства жизни в молодости

отодвигает все границы неопределенно далеко. «Что еще может со мной быть? Что я могу еще сделать? Как выглядит соседняя улица, страна? Чему учат мудрецы? Как звучит Девятая симфония Бетховена, которой я еще не слышал?». Только постепенно, с годами, выясняется для человека, что он «пойман» — заключен в границы, из которых не может выйти. Никогда не увидят его глаза того, что видели глаза поколений, живших до него, с какой бы яркостью и тоской он ни представлял себе этого прошлого... И также не дано ему вмешаться в толпу, которая через столетие будет фланировать по улицам его родного города. Он исключен из участия в той жизни и реальности, которая, однако, так близка и интересна его мысли, его воображению. Абсурд связанности именно с этим телом, с этим, а не другим отрезком времени имеет, однако, и свою положительную сторону, ибо в данных границах ставит человека перед фактически неисчерпаемым, необозримым и до конца нереализуемым богатством возможностей. Жизнь — процесс и движение. Остановиться нельзя. Даже только отдаться на волю времени нельзя, ибо мы — участники времени, мы его реализуем и не можем быть пассивны по отношению к нему. Даже во сне не прекращается активность человеческой жизни. Необходимость человеческого существования заставляет человека быть свободным, — и в тот момент, когда он побеждает внешнее ущемление и стеснение своей жизни, встает пред ним грандиозная проблема внутренней свободы, которую можно определить как свободу развития, роста, раскрытия потенциальных сил, или, иначе, как проблему реализации возможностей, вытекающих из его положения. Только часть этих возможностей будет реализована. Быть свободным значит в максимальной степени взять на себя ответственность за ту или иную реализацию, в максимальной степени приблизить определение своей жизни к самоопределению.



Это — задача огромная. Для людей, впервые отдающих себе в ней отчет, — устрашающая и перерастающая их душевные силы. Естественно поэтому, что человек стремится снять с себя бремя свободы и переложить ответственность за свое поведение и существование на внешние силы. Первая позиция человека перед лицом своей свободы — это фатализм и детерминизм.

Фатализм можно определить как незавершенный и непродуманный до конца детерминизм, а детерминизм — как последовательный, завершенный и беспощадный фатализм. Учение греков об «Ананке» — о судьбе, против которой человек бессилён, или непоколебимая уверенность людей Востока в неотвратимости исторического предопределения — «Кисмет» Ислама, или убеждение в том, что без воли Божией и волос не упадет с головы человека, — всё это разные проявления языческого, магометанского, христианского фатализма. Напрасно вмешиваться в ход событий, ибо наше вмешательство не внесет ничего нового. Это — оправдание пассивности, ибо с этой точки зрения, прежде чем человек начинает задумываться о своей свободе, за него и без него всё уже решено высшей силой, и не о чем беспокоиться. Если бы камень был одарен сознанием, он бы считал, что падает свободно. Люди, которым кажется, что они свободно выбирают себе пути своего поведения, имеют не больше оснований считать себя свободными, чем такой камень. В действительности, падение камня происходит по определенным законам. Имея все данные, мы можем вычислить траекторию падения камня и, в принципе, поведение человека, его реакции и исторические судьбы. Судьба человека решается за спиной человека. Можно сказать Богу или Природе, как бы мы ни назы-

вали то, что стоит за нашей спиной, «да будет воля Твоя» с фаталистической покорностью.

Но если правда, что все без исключения действия и переживания человека определены извне и вытекают как необходимые следствия из своих причин, то нельзя удержаться на позиции фатализма. Активизм и динамизм общественной инициативы, своеволие и мятеж укладываются в эту схему всеобщей необходимости так же превосходно, как и фаталистическая резигнация. Наивному фаталисту кажется, что он может переложить на «судьбу» или «историческую необходимость» ответственность за будущее и спрятаться в раковину социального индифферентизма. Но детерминист следует за ним по пятам во все закоулки его частного существования.

Революционная воля и страстный фанатизм одних так же выражают историческую необходимость, как пассивная расслабленность и бездеятельность других. Воодушевление не проходит оттого, что человек уясняет себе глубокий объективный смысл своих действий, наоборот, оно еще увеличивается от сознания законов и причин, приводящих человека в движение.

Фаталист отдается на волю судьбы, не понимая ее. Ему кажется, что высшая необходимость не нуждается в его понимании. И в этой готовности признать, что всё уже улажено без него, в этой слишком легкой покорности тому, что происходит за его спиной, есть уловка: это кажущееся смирение позволяет фаталисту стать спиной к Высшей Необходимости и в сознании своего ничтожества делать что ему угодно! Детерминист не дает ему отделаться такой дешевой ценой. Детерминист хочет точно знать, что такое необходимость. Согласно классической формуле — свобода есть осознанная необходимость.

Пользуясь терминологией концентрационного лагеря, можно сказать: «Фаталисты» это — «отказчики», люди, которые уклоняются от назначенной им функции и прячутся от работы. «План всё равно будет выполнен, даже если я и увернусь от участия», рассуждает фаталист. «Детерминисты» это — нарядчики, следящие за тем, чтобы никто не ленился, не отсутствовал, выгоняющие на работу тех, кому положено работать, награждающие тех, кому по исторической необходимости полагается быть награжденными, и расстреливающие тех, кому по исторической необходимости полагается быть расстрелянными.

Внутри концентрационного лагеря есть свой карцер и своя свобода. Быть в лагере «свободным» — значит привести себя в полное соответствие с его законами. «План» требует полного участия в работе всех без исключения, и это полное участие в реализации исторического плана составляет истинную свободу лагерного человека. Там никому не позволено стоять спиной к предписаниям начальства.

Эта концепция «лагерной свободы» представляет собой одну из самых трагических уловок человеческого сознания. Раб, осужденный на покорность, не станет свободнее оттого, что осознает необходимость своей ситуации. Наоборот, в этом осознании выразится добавочное смирение человеческого духа, окончательное приятие ярма на шею. Учение о том, что осознанная необходимость равняется свободе — одно из самых коварных средств укрощения свободного духа. Совершенно верно, что есть границы, которые нам не дано перешагнуть; есть пути, которые для нас неизбежны. Но понять — это еще не значит стать свободным. И еще меньше приближает нас к свободе метод, который велит искать в природе вещей «стену, через которую нельзя перескочить», чтобы к ней прислониться, — и «высшую необходимость», чтобы к ней приспособить свое существование.

Изобретатели и проповедники учения, что свобода есть не что иное, как осоз-

нанная необходимость, всегда и неизменно исходили из двух предпосылок:

Первая — моральная — что необходимость не может не быть принята каждым нормальным и здоровым человеком к радостному исполнению. Понять «высшую необходимость» — значит, тем самым, прекратить против нее всякое сопротивление. Пример: христианское учение о том, что «всякая власть от Бога». Гегелевское — «всё действительное разумно». Можно с такой верой и дальше оставаться рабом, с радостью подставлять врагу вторую щеку — во имя высшего разума и права соучастия в высшей свободе.

Вторая — политическая предпосылка заключается в невинном расчете на то, что историческая или высшая необходимость действует в твою пользу и служит твоим целям. Она не только твой господин, но и твой союзник. Одних, непонятливых, историческая необходимость осуждает на смерть и страдания, других, которые проникли в ее секрет, ведет вперед, как попутный ветер.

Каждый раз, когда мы слышим эту версию о свободе, как о осознанной необходимости, мы открываем за ней апломб и агрессивность карьеристов истории, самонадеянность удачников, людей на подъеме, которые свой успех расценивают как мировую необходимость. Эту «психологическую атаку» первыми начали в истории те, кто объявил о своем «союзе» с Богом и на своих знаменах начертали: «С нами Бог». Когда же поблекло религиозное сознание, то заменили этот лозунг другим: «С нами историческая необходимость», или еще нагляднее и проще: «С нами товарищ Сталин, с нами Партия».

Историческая необходимость для одних превратилась в колесницу богини Кали, под колеса которой в исступлении бросаются любовники смерти, а для других, и их большинство, в пассажирский поезд, где занимают места по билетам. Только безумцы бросаются под поезд, когда есть полная возможность занять в нем место машиниста истории, кочегара, проводника, кельнера в вагон-ресторане, пассажира мягкого или жесткого класса, а на худой конец — хоть безбилетного «зайца». Назначение теории — объяснить нам историческую необходимость. Назначение воспитания — научить любить историческую необходимость и преклоняться пред ней колени, как пред Богом. Когда покорение внешней необходимости становится внутренней потребностью, можно сказать, что достигнута свобода. Тот свободен, кто привел себя в согласие с законами природы и истории, кто себя отождествил с ними.

Таким образом понятия свобода не прибавляет ничего к природной и исторической необходимости, но она сопровождает ее и отражает ее. Свобода человека есть необходимость природы в переводе на язык человеческого переживания. Материализм отнюдь не отрицает термина свободы, не вычеркивает этого слова из своего словаря. Но он психологизирует свободу, т. е. видит в ней определенное психическое переживание. Он отрицает свободу переживаний, но, понимает, не отрицает переживания свободы и даже придает ему большое значение. Спиноза, который выразил материализм в теологической терминологии (*Deus sive Natura**), определяет переживание свободы как *амор деи интеллектуалис***). «Амор» — психологическое определение свободы, которая сводится к осознанию и к преодолению слепых аффектов, к пониманию своего положения в мире и к душевной гармонизации себя с мировым целым, место которого занял в XIX веке исторический процесс.

Итак, что же такое материалистическая свобода? Это — медиум человеческого сознания, через который обязательно проходит процесс природы, чтобы прев-

*) Бог не трансцендентный Творец, а производящая природа.

***) Любовь к Богу, коренящаяся в разуме, «умная» любовь.

ратиться в культурный и исторический процесс. Но если закралась ошибка в расчете свободы наших теоретиков, и поезд необходимости, на который они сели, сходит с рельс или привозит их на совершенно другую станцию? Что тогда? Тогда, в момент поражения, как и в момент победы, зависимость их от исторической необходимости остается полной и безусловной. Но, в то же время, наступает для них минута испытания: сохранить свое переживание свободы они могут только ценой самоотречения, ценой известного маневра, который непредвиденное поражение осмысливает как необходимую ступень, как часть будущей победы.

Политический арестант, которого пытаются, чтобы заставить говорить, конечно, не свободен и не воображает себя свободным в минуту пытки. Но если он молчит, несмотря на то, что несколько слов могли бы принести ему освобождение, это значит, что в нем действует внутренняя свобода: быть в согласии с делом, которому он служит. Его «партия» может быть разбита в данный момент, но он черпает силу в том, что будущее принадлежит ему, то будущее, которое для него (в чем он себе отдает полный отчет) никогда не станет настоящим. Свобода, следовательно, и в этом случае продолжает оставаться актом отождествления с тем сверхличным, что называется «мой народ», «социальная революция», «человечество» — актом растворения своего «я» в некоторой внешней силе, которая силой необходимости должна победить. «Мое поражение — этап на пути к победе моего дела», с этой мыслью умирают мученики и герои, свобода которых строится на психологии победы.

Христиане, умиравшие мученической смертью на арене Колизея, евреи, шедшие во времена инквизиции на «кидуш-гашем», патриоты, жертвовавшие жизнью для освобождения родины, — совершали свои подвиги свободно. Как же объясняет их подвиги детерминизм? Он не отрицает их свободы, но объясняет ее не силой идеалистического порыва, который торжествует над закономерностью природы и инстинктом животного самосохранения, а как раз наоборот: полной неважностью и слабостью личного существования, несамостоятельностью человеческого «я». Для Спинозы это — «модус» бесконечности, нечто не имеющее, само по себе, никакой реальности. Для Маркса личность — носитель классового самознания, целиком детерминированная коллективом. Немудрено, что личность жертвует собой во имя коллектива: с точки зрения детерминизма, это так же естественно и необходимо, как падение камня на землю в соответствии с законом притяжения. Личность, если она только знает, что такое коллектив, не смеет не жертвовать для него собой; когда в тылу фронта отступающей армии ставят заградительные отряды, расстреливающие бегущих, то этим доводят до сведения забывчивых, что такое коллектив, и приходят на помощь в борьбе с человеческой слабостью. Страх при этом — только средство воспитания, а конечная цель — научить жертвовать собой по собственному свободному расчету. Камень падает на землю сам собой; человеку надо иногда подсказать направление.

Возьмем в качестве примера отнюдь не гипотетический случай: водворение в лагерь старого большевика Карла Радека. Мы не знаем и никогда не узнаем, как чувствовал и вел себя в советском концлагере этот советский трибун, который когда-то писал, что в будущем обществе люди будут называть друг друга даже не «товарищ», а «сотворец». В лагере перед этим «сотворцом» расстиралось два пути: либо восстать против силы, которая его унизила, — и тогда это был бы бунт, — открытый или скрытый бунт, в котором выразилась бы неукротимая свобода человека, вопреки софистике и психологическим ухищрениям; либо смириться, признать неважность своей личной судьбы, ничтожество своих личных стремлений

к свободе, ради которых он когда-то стал революционером, и которые привели его к поражению, признать свое рабство законным результатом той самой исторической необходимости, которой он служил всю свою жизнь. Два противоположных пути: «я свободен, потому что палачи не могли сломить моего духа» и «я свободен, потому что всецело одобряю палачей и солидаризируюсь с ними, даже в том случае, когда сам оказываюсь их жертвой».

Этот второй путь вытекает, очевидно, из логики детерминизма. Люди, не понимаящие, почему заслуженные большевики с такой легкостью как один человек оплевывали себя на московских процессах, забывают, что они были коммунистами, т. е. людьми, воспитанными в известных принципах. «Партия всегда права», — они могли бороться за право представлять партию, но для них «коллектив» и люди, представляющие его политически и организационно, всегда должны были оставаться высшим выражением авторитета, а добровольное подчинение неизбежному — высшей формой свободы. Одним внешним насилием нельзя объяснить самоочернения обвиненных, если забыть, что все они были людьми определенного духовного типа, врагами той свободы, которая выражается в отрицании права палача на верховное законодательство, и потому все были предназначены к тому поведению, которое нас так поразило на суде.

Из психологического определения свободы как специфического душевного состояния или самочувствия человека, если прибавить к нему еще и материалистическое понимание необходимости, получается одно любопытное следствие: свобода есть функция диктатуры.

Это положение приобрело грозную реальность в наши дни. Оно — логический вывод из двух фальшивых предпосылок: 1) если можно свести свободу к переживанию известного рода; и 2) если все переживания подчиняются установленной материальной необходимости. Тогда единственным выводом, который можно сделать отсюда, будет: можно фабриковать массовую свободу, как фабрикуют сукно или оберточную бумагу. Это лишь вопрос сырья, машин и «массовой организации труда». Если «быть свободным» значит «считать себя свободным», то можно добиться этого воспитательного эффекта, воздействуя на психику всеми техническими средствами диктатуры. Теоретически это не труднее, чем заставить человека сознаться в несовершенном преступлении. Если материализм прав, то можно вызвать в человеке любое душевное переживание, в том числе переживание «вины» или переживание «свободы». В Советском Союзе происходит сейчас практическая проверка правильности материализма. Биологи в лабораториях стараются произвести жизнь, а весь Советский Союз превращен в школу, где искусственно фабрикуется «свобода».

С этой целью людям прививаются, начиная с детского возраста, определенные понятия о необходимости, существующей в природе и коллективной жизни; им внушается императивно и через все каналы материального воздействия тяжесть их жизни с этими необходимыми природными и историческими процессами. Им внушается, что сознание их это — сознание класса, который с исторической необходимостью идет к победе. Люди тренируются в сознании, что в их жизни отсутствуют эксплуатация и ложь, и что они «счастливы».

Гитлеризм был не менее грандиозным экспериментом фабрикации «немецкой свободы», когда людям внушалось, что их жизнь служит реализации торжества германской расы и лучшей крови. При условии тоталитарного воспитания, действительно, достигаются результаты, когда люди в массе начинают чувствовать себя «свободными» (вопреки своей самой очевидной и позорной несвободе), находясь в положении автоматов, управляемых извне во всех своих реакциях и

мнениях. Секрет их «свободы» — согласие с определенной теорией необходимости и сознание, что они принадлежат к лагерю победителей. Это согласие и это сознание могут в определенных политических условиях быть навязаны человеку до такой степени, что он перестает отдавать себе отчет в их навязанности. Таким образом достигается парадоксальный результат: та свобода, которая вначале определялась как «осознанная необходимость» победы, под конец превращается в бессознательную и подневольную кондицию побежденных. С одинаковым энтузиазмом и гордостью жертвы тоталитарного насилия «свободно» солидаризируются с любым режимом, который их подвергает материалистической процедуре «освобождения», и через некоторое время то, что на первых порах вызывало противодействие, усваивается, превращается в привычку и становится естественным выражением жизни.

Именно это и имел в виду Ленин, когда писал, что «когда все научатся управлять и будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и контроль», тогда «необходимость соблюдать несложные основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой».

Фраза «когда все научатся управлять», конечно, не имела смысла «когда все станут членами Политбюро или Центрального Экономического Управления». По мнению учеников Ленина, советское общество «уже сейчас находится на такой стадии вызревания коммунизма, когда вся масса принимает постоянное и непосредственное участие в управлении страной»*).

Для советских граждан, следовательно, «необходимость соблюдать несложные основные правила», о которой говорил Ленин, уже стала привычкой (или, по крайней мере, этого ждут от них), и это называется в Советском Союзе «свободой».

Конечно, бесцельно говорить выдрессированным жертвам тоталитарного насилия, и еще меньше их дрессировщикам, что их «свобода» — фальсификат. Это их ни в чем не убедит. Только исторический провал и очевидный неуспех может поколебать в сознании наци или коммуниста уверенность в том, что историческая необходимость — на его стороне. Вопреки учению детерминизма, свобода *н*е есть психическое переживание, которое можно искусственно вызвать в человеке, воздействуя на его материальную природу, а некоторое объективное состояние, которое именно тем и характеризуется, что человек не подлежит до конца контролю и распоряжению, откуда и от кого бы они ни исходили. Попытки изнасиловать свободу человека или внушить ему, что свобода есть нечто иное, каким бы временным успехом они ни сопровождались, осуждены историей и не выдерживают испытания свободной мысли.

Перейдем к оценке детерминизма, т. е. учения о том, что всё заранее предопределено, и будущее следует из настоящего с такой же «железной» неизбежностью, как настоящее из прошлого. По этому воззрению, идеальный ум, которому в данный момент было бы известно расположение всех частиц материи, их взаимное расположение во вселенной, скорость и другие данные, мог бы предсказать их положение в следующий момент, и поскольку материя «производит» дух — будущее ему было бы открыто целиком. Такой идеальный ум ничего не мог бы изменить в мире; но он был бы его верным отражением в сознании. Мы бесконечно далеки от идеального знания; но чем больше мы знаем, тем меньше чувствуем себя свободными. Тем меньше остается в нашей жизни для случайного-

*) Степанян, в «Вопросах философии», № 2, 1951, стр. 21.

сти, для своевольного «так!». Свобода, по этому воззрению, есть иллюзия, основанная на незнании, попросту — на человеческом невежестве.

Заметим, что это философское учение, несмотря на его абстрактность и кажущуюся несвязанность с проблемами текущего дня, составляет опасное оружие в руках политической диктатуры. Например, если речь идет о свободе слова, детерминизм доставляет аргументы против нее: «Свободы слова не бывает вообще. Это иллюзия! Нет прессы или литературы, которые были бы независимы, а потому незачем и особенно настаивать на ней, и если мы не разрешаем писать свободно, то это потому, что за нами — наука, и мы, в согласии с исторической необходимостью, направляем течение слова по тем каналам, по которым оно должно течь в данном историческом периоде».

В наш технический век каждому ясно, что машина увеличивает могущество человека. Почему же владельцы машин создали на земле царство страха? Потому что детерминизм не ограничивается конструированием машины; он хочет конструировать по образцу машины и самого изобретателя, и хозяина машины. Детерминизм есть, по замыслу, супермеханическая теория. В конце концов, он опирается в живое противоречие, и тогда его последний аргумент и последнее испытание — сила. Жизнь не укладывается в схему: ее насилуют. Где же источник насилия? — конечно, не в самой схеме, а в живых и свободных людях.

Против детерминизма свидетельствует то обстоятельство, что само это учение принимается совершенно свободно, и потому опровергает себя одним фактом своего существования. Нет никакой логической необходимости принимать детерминизм. Действительность, с которой мы имеем дело, детерминирована только до известной границы, где начинается то, что можно назвать непроницаемостью опыта.

Опыт налицо, но он непроницаем для нашей аналитической мысли и каузального объяснения до конца. Не только в нашей практической жизни, но и в процессе теоретического анализа и научного экспериментирования, мы очень скоро доходим до границы, где обнаруживается основа анализа в том, что анализируем, основа эксперимента в том, что принято как данное, условие мысли — в неисчерпаемом для нее предмете мысли, и условие акта в том, что можно назвать состоянием. Детерминизм свойствен научной мысли, и нет сомнения, что если бы мир был создан учеными, он был бы детерминирован насквозь. Однако тот практически и теоретически неисчерпаемый и бесконечный мир, в котором мы живем, не является плодом теоретической конструкции. Детерминизм характеризует собой научный подход к миру не более, чем скромность и такт научного исследователя, которые удерживают его от превращения науки в дикое изуверство.

Любая научная теория, любое наблюдаемое явление или внутреннее переживание опираются или незаметно переходят или неразличимо сливаются с иррациональным фоном или основой бытия. В конечном счете, «знать» значит «описывать», а каждое описание приводит нас к неопишаемому, и всё, что существует, выходит за пределы описания.

На определенной ступени, как мы знаем, становится невозможным измерение материальных данных по чисто техническим основаниям: фиксируя микромеханические явления, мы, тем самым, вмешиваемся в их протекание и их изменяем. Это заставило современную микромеханику перейти от установления необходимости явлений к статистическим методам, согласно теории вероятности. Если в объяснении природы детерминизм имеет свои границы, то еще больше он ограничен в объяснении исторических и культурных процессов, где вообще ничего нельзя предсказать с абсолютной достоверностью, и каждая схема имеет весьма

условный и общий характер. Единственный закон истории, действительно неопровержимый, заключается в том, что она (история) в своей реальной полноте необъяснима до конца и не укладывается ни в какую схему. Нам могут возразить, что техническая неосуществимость стопроцентного детерминизма (напр., невозможность произвести точный учет микромеханических данных, ибо каждое измерение вносит деформацию) еще не означает, что самая идея строжайшей необходимости неверна. Возможно, что мир подчиняется строжайшей закономерности, даже если мы по техническим причинам никогда не будем в состоянии узнать, как она функционирует... Однако необходимость этого рода, навеки остающаяся за пределами нашего знания и, начиная от известной черты, непроницаемая для него, — напоминает нам пути Господни, которые неисповедимы. Более того: не только технический аргумент о дефективности знания свидетельствует против теории детерминизма, но и то, что нам положительно известно о природе мирового процесса.

Детерминизм притязает на то, чтобы остановить время. Тезис, что в каждый данный момент существует (всё равно, может или не может наука фиксировать этот момент) для идеального ума сумма мирового бытия как замкнутая материальная система, превращает время в ряд «расположений», вытекающих одно из другого. Такой тезис противоречит не только нашим возможностям, но и природе времени. «Остановить время», чтобы произвести полный учет того, что заключает один момент мирового времени, мы не можем не только потому, что наши инструменты не годятся для такой цели — «руки коротки» для подобной гигантской задачи, — но и потому, что сама цель совершенно нелепа. Время есть иррациональная текучесть или сверхрациональная текучесть, которую так же нельзя разделить на ряд диспаратных состояний, как нельзя линию сложить из математических точек. Время остановиться не может, время не ждет, и всё, что мы можем сделать, в роли активных участников времени, это — плыть с ним, но мы не можем ни сами поставить себя вне потока времени, ни претендовать на то, чтобы детерминировать его до конца. Необходимость проявляется во времени, но не господствует над временем и не исчерпывает его никогда. Время в его целостности больше, чем то, что физическая теория фиксирует в своих формулах под буквой t , и выходит за границу той «длительности», о которой нам рассказал Бергсон. Всегда остается в каждой рациональной схеме остаток непредвиденного, непредвидимого, невыводимого, наступающего независимо от расчета. Вот этот остаток и составляет нашу свободу, или — в других случаях — свободу сил нам непонятных или нам враждебных. Как бы далеко ни заходил детерминизм природы, открытый нашему знанию, или детерминизм исторический, который мы устанавливаем нашими сознательными и рассчитанными действиями, он всегда уравнивается с одной стороны, индетерминизмом природы, над которым мы не можем восторгаться ни теоретически, ни практически, а с другой — индетерминизмом духа, который нас заставляет действовать всегда и постоянно в силу свободного решения, а не рабского автоматизма сознания.

Это значит, что в каждой ситуации сознания возможно практически поступить «иначе». Только по отношению к прошлому, уже происшедшему, невозможно «иначе», и оно поэтому может быть постулировано и показано как «необходимое» — без опасения, что с его стороны придет протест, и без надежды на то, чтобы этим образом прошлого исчерпать всю ту динамику, которая в нем была, когда оно было «настоящим». В настоящем и по отношению к будущему деятельное сознание свободно. Поэтому теории, отрицающие свободу, принуждены непре-

менно отрицать самостоятельность, даже самую ограниченную, сознания или, шире, психического и духовного бытия. Отрицание свободы — не вывод, а предпосылка теорий, утверждающих, что «материя определяет сознание», т. е. господствует над ним, или что сознание есть «эпифеноменон» или «отражение» чего-то другого. Это пренебрежение к сознанию очень ясно выражается в известном примере с камнем: «Если бы камень был одарен сознанием, он бы тоже думал, что падает свободно». В этом примере очень наивно предполагается, что если бы камень был одарен сознанием, то это было бы ничего не меняющее добавление, призрачное приложение к тому, что для своего бытия не нуждается в сознании и потому совершенно безразлично к присутствию или отсутствию сознания. Такое сознание, конечно, не может быть свободно, потому что оно целиком находится вне бытия, как тень находится вне предмета, и не может на него действовать. Правильно сказать, что если бы камень был одарен сознанием, то он перестал бы быть камнем. И тогда его падение не было бы падением этого камня, оно происходило бы иначе, в других условиях и по другой траектории. Иным было бы его прошлое и иным исходный пункт падения. Сознание нельзя прибавить к материальному процессу как нечто постороннее и ничего не меняющее в его направлении и содержании. Так понимать природу сознания — значит вполне произвольно, т. е., в конечном счете, опять-таки свободно, предрешать вопрос о существовании свободы в мире.

Именно по этому пути и идет ленинская теория «зеркальности» сознания — прежде всего, зеркальности познания, но как следствие — любого содержания познания. Если дан предмет, зеркало и законы оптики, то отражение в зеркале не свободно, а необходимо вытекает из данных предпосылок. Ленин недаром настаивает на «теории отражения»^{*}). Не только наше познание отражает (материальную) действительность, но и наши чувства, идеи, стремления отражают ее или, согласно другой формуле — Маркса, — «надстроены» над ней. Можно сломать зеркало и разрушить «надстройку», — материальная действительность этим не будет нарушена. В мире, понятом таким образом, не может быть никакой духовной свободы. Материальные процессы, включая экономику, подчинены железной необходимости, а то, что называется «свободой», переносится «вовнутрь зеркала» как простое отражение материальных процессов на определенной ступени.

В наше время освобождения колоссальной энергии масс во всем мире уже оказывается нецелесообразным применять старую технику подавления свободы открытым насилием и страхом. Враги свободы в наше время не пренебрегают и открытым террором; но на первое место выдвигается эта своеобразная политическая «оптика»: достаточно урегулировать основные материальные факты определенным образом, — и в зеркале сознания их неизбежным и необходимым отражением явится «свобода». Когда выстроится здание экономического и политического властвования, то «свобода», в качестве одной из общественных идей, прибавится к нему как «надстройка». Неумно и невыгодно — ибо опасно — открыто грубое лишение масс свободы. Их поэтому следует убедить, что это лишь — «отражение» или «надстройка», род иллюзии, идеологическая побрякушка; «немецкая свобода», «пролетарская свобода», — ничуть не хуже и даже гораздо лучше всего того, что известно под именем свободы во всем остальном мире.

— «О свободе не беспокойтесь — говорят массам диктаторы, присвоившие

^{*}) ссылаясь при этом на Энгельса: «Энгельс говорит о копиях, снимках, изображениях, зеркальных отображениях вещей . . .» («Материализм и эмпириокритицизм», стр. 216).

себе монопольное право определять смысл слов, — ваше теперешнее состояние и есть свобода, равной которой нет в мире; если кому-нибудь из вас кажется иначе, то это только потому, что его сознание еще плохо отражает действительность, но это поправимо: владея в полной мере материальными условиями вашей жизни (от детского сада до концентрационного лагеря включительно), мы беремся выправить любой дефект вашего сознания».

О ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СВОБОДЕ И ЕЕ УСЛОВИЯХ

Первое, что мы устанавливаем о положительной свободе, — это то, что она несводима к субъективному переживанию.

«Быть свободным» — это больше, чем «чувствовать себя» свободным. Сказать **б о л ь ш е**, — значит тем самым установить, что психологический статус свободы во всяком случае принадлежит ее содержанию, но он ее не исчерпывает и не может заменить ее объективного определения. В противовес афоризму о падающем камне, который будто бы чувствовал себя свободным, если бы был одарен сознанием, — мы не можем сказать, что творец гениальной музыки Бетховен сохранил бы свою свободу даже если бы все его произведения были результатом бессознательного творчества. Разумеется, так же невозможно наделить камень сознанием, как вычеркнуть сознательность из творчества Бетховена; и однако в первом случае отсутствие свободы не сводится к отсутствию сознательности, а во втором — свобода творчества не тождественна с его сознательностью. Свобода есть глубокое онтологическое определение, она не только переживается, она **е с т ь**. В таком мире, где царствует абсолютный детерминизм, ее не могло бы быть. Поэтому не только наша способность задумываться о ней, ставить вопрос о свободе, но и самая возможность быть свободным обусловлена наличием в мировом процессе чего-то, что нарушает необходимое сцепление вещей — **н а л и ч и е м** случайности.

Проследим теперь, как свобода становится возможной, благодаря вторжению случая в ткань мировой необходимости. Свобода никогда не есть дело случая. Но как условием дыхания является воздух, так становится условием свободы тот разрыв детерминизма, который мы обнаруживаем в случайности. Чем резче и грубее давит на нас необходимость, тем более острые формы принимает психологическая реакция: надежда на счастливую случайность, вера в религиозное чудо, вплоть до вызова, вплоть до тертуллиановского «Credo, quia absurdum est*»). Человеческая потребность в свободе отшатывается от абсолютного детерминизма, бежит от него и видит для себя шанс в присутствии случайности в мире. Итак, что же такое случай?

Возьмем как пример железнодорожную катастрофу. Движение поезда к пункту катастрофы образует с точки зрения инженера-механика причинный ряд, стадии которого слагаются в одно непрерывное и осмысленное целое. Но в определенном моменте происходит случай, т. е. в причинный ряд $A=B=C=D\dots$ или в необходимую, заранее рассчитанную последовательность движения поезда врывается посторонний факт, который осложняет положение, приводит к разрыву первоначального причинного ряда. Под паровоз попал грузовик. То, что он именно в данный момент оказался на рельсах, — тоже с необходимостью вытекает из причинной линии движения грузовика. Паровоз и грузовик оба неслучайно оказались в одном и том же пункте, и на стыке двух необходимостей образовался случай, т. е. приводящее и внешнее обстоятельство, подобное вторжению ножа в здоровое тело. Случай, коротко говоря, есть

*) «Верно, ибо абсурд» (лат.).

совпадение обстоятельств. не прелусмотренное заранее и не вытекающее из тенденции развития рассматриваемого процесса. Это не мешает тому, что «случай» в некоторых условиях может оказаться «благоприятным». Но для того, чтобы использовать «благоприятный случай», уже должна быть налицо свобода в развитии рассматриваемого процесса.

Случайность и необходимость связаны. Одно без другого не существует. Необходимость познается нами через причинность. Число причинных рядов, которые нами могут быть прослежены или созданы нашими действиями — бесконечно. И каждый такой причинный ряд на всем своем протяжении соприкасается с потенциальной бесконечностью «случаев». Он погружен в стихию случайности, как палка, которую мы опускаем в воду. Понятно, что из всех входящих обстоятельств мы замечаем только те случаи, когда причиняется заметная деформация, отклонение от первоначального развития.

Рассматривая в каждом отдельном случае механизм такого отклонения, мы в нем открываем свою причинность, необходимое сцепление элементов следствий, — т. е. обнаруживаем в «случае» необходимость. Не было необходимо для меня, чтобы во время прогулки кирпич с крыши упал на мою голову. Но раз это случилось, то эффект падения кирпича на голову наступает со всей механической и физической необходимостью.

Возьмем более «крупный» пример. Была ли необходима гибель 6 миллионов евреев во Вторую мировую войну? Был ли это случай? Ни то, ни другое. Здесь особенно ярко является перед нами невозможность подводить под понятие чистой необходимости или чистой случайности крупные исторические события. Гибель третьей части еврейского народа не была необходима и еще менее была случайна. В историческом процессе, который привел к этой катастрофе, необходимая связь и случайные совпадения сочетаются в одно целое; но люди, которые в нем действовали, не были детерминированы до конца. Гитлер свободно принял свое решение об истреблении евреев; сталинский «ребен» свободно принял решение не оказывать вооруженного сопротивления.

Еще яснее становится дело, если мы возьмем пример из будущего. Мы не знаем, разразится ли третья мировая война. И однако, в данный момент нет у нас права утверждать, что этот вопрос уже предрешен, независимо от нашего знания или незнания, в силу исторической необходимости, господствующей над нашими действиями. Третья мировая война, если она разразится, не будет ни делом исторической необходимости, ни тем менее случайностью. Есть правительства и общественные силы, которые свободны задержать ее, или ускорить ее, или сделать ее невозможной. Наша свобода вмешаться в ход событий основана на том, что их необходимость всегда оставляет место для интервенции новых и независимых факторов, случайность нельзя ни устранить из истории, ни подчинить необходимости: свободен тот, кто использует каждый шанс, который дает ему случайность, чтобы реформировать внешнюю необходимость и воздействовать на нее.

Отношение между необходимостью и случаем можно назвать д и а л е к т и ч е с к и м: каждая необходимость опирается на элементы случайности, и каждая случайность приводит нас снова к необходимости. Любая необходимость во времени принимает линейную форму А—В—С—Д..., но мир, в котором она действует, представляет собой континуум, в каждой точке которого нечто происходит не-необходимо, и от каждой случайности возможен переход к ее необходимым условиям и следствиям.

Это и есть онтологическая структура, которая делает возможной свободу:

ибо в мире, где все до конца было бы детерминировано, свобода так же не могла бы проявиться, как в мире, где все было бы случайно.

Событие А необходимо, если оно разворачивается из уже существующих условий единственным образом; случайно, если оно вторгается в протекающий процесс со стороны. Нет в мире ни абсолютной, всепоглощающей необходимости, ни абсолютной оторванной случайности. Свобода заключается в преодолении каждой данной необходимости и каждой данной случайности.

Пилот самолета, поднимаясь на воздух, дает ему то или иное направление свободно, господствует над механизмами, не будучи сам детерминирован до конца. Но если бы все его движения были «случайны», не связываясь в одно намеренное целое, он бы никогда не мог привести свой самолет к намеченной цели.

Свобода, следовательно, не есть ни конформизм по отношению к природной или исторической необходимости, ни царство случая, при котором была бы невозможна реализация какого бы то ни было сложного единства. Свобода — закон и порядок, не вытекающий из диктовки слепых и враждебных сил. Этот закон и порядок выражают внутреннюю необходимость целого в частях. Детерминизм свободы не имеет ничего общего с детерминизмом и необходимостью часового механизма и математической закономерности. Часовой механизм не свободен. Свободен человек, который им пользуется — в той мере, в какой он, сознательно или бессознательно, ставит себе цели и подчиняет им свое поведение.

Целесообразность — условие свободы. В мире, где нет целей, не могло бы быть свободы. Свобода есть, прежде всего, отношение целого к своим частям. Необходимость свободы есть взаимная зависимость частей в целом, — это необходимость ц е л е в а я.

Возьмем самый простой пример. Когда принято решение составить словарь, то оно принято свободно, и в этом случае словарь есть выражение человеческой свободы, но место каждого отдельного слова в нем не будет случайно, а выражает принцип, положенный в основу составления словаря.

Таким образом, в основании свободы лежит не только диалектика необходимости и случайности, но и диалектика целого и части. Каждый из нас свободен постольку, поскольку в любом своем жизненном проявлении выражает некоторое целое. Это правильно по отношению к отдельным нашим актам, предприятиям, ко всей нашей жизни, к жизни народов и сложным процессам истории. Целое живет в части — в противном случае часть выпала бы из целого. Там, где это происходит, — и часть действительно обособляется от целого, — она больше не свободна, и ее отношение к «целому» выражается тогда в подавленности и рабстве, в бунте, отрицании и ненависти. Где нет свободы, наступает распад некоторого целого. И наоборот, где наступает распад, — личности, общества, народа или исторического движения, — это значит, что утрачен живой импульс свободы. Деспотия, подавляя свободу, заменяет ее насилием; в этом случае наносится ущерб органической целостности и правде жизни ради механического и лживого единства. Протестуя против этого мнимого единства, мы выражаем тот импульс свободы, который в нем подавлен. История каждой революции, религиозной или социальной, показывает, как из обособления рождается новый мир, и как из ущерба свободы в каждом новом мире снова является протест и обособление. Свобода никогда не сводится к одному только отрицанию. В конечном счете, свобода есть интегрирующая сила мироздания, присутствующая в каждой его живой клетке, в каждой его живой части.

Основная трудность в понимании свободы — ее отношение к материальным процессам, изучаемым положительными науками. Не значит ли, что существование свободы нарушает права науки и отвергает замкнутость и независимость научного объяснения? Может ли свобода передвинуть хоть один атом, а если нет, то зачем она людям техники и науки, конструкторам новых вещей?

В действительности, свобода человеческого разума лежит в основании науки и даже в основании того псевдонаучного извращения, которое называется «спциентифизмом». Без нее не было бы ни разложения атома, ни новых элементов, ни чудес техники. Чтобы отрицать свободу, уже надо быть свободным. Материальный мир известен нам в ничтожной мере и в нераздельном единстве с тем, что не укладывается в схему естественнонаучного объяснения и нерационально из общих формул. Детерминизм в объяснении природных процессов абстрагирует от свободы и потому никогда не будет в состоянии объяснить до конца реальности, «объяснить» в том смысле, который имеет это слово для практического и творческого человека. Свободное сознание человека не отрицает научного объяснения мира, не противоречит ему, но и не удовлетворяется им. Свободная мысль человека, проникая в тайны природы, не находит в них ключа, открывающего тайны культуры. Мир свободных людей так относится к миру лаборатории, реторты и статистических данных, как симфония Бетховена ко всему, что может сказать о ней психофизиолог, математик и техник. Нет сомнения, что Бетховен создал свои симфонии в согласии со всеми законами психофизиологии и механики, но утверждая, что он их создал с о б о д н о, мы тем самым утверждаем, что вдохновение Бетховена несводимо к мозговой работе и невыводимо из нее ни в настоящем, ни в какой бы то ни было будущей стадии развития наук о природе. Наука, которая бы позволила устранить момент свободы из творчества Бетховена — не существует.

Глубоко проникнутый сознанием тотальности законов природы, человек, если он верит в Бога, переносит свободу в область религиозных постулатов, а если он — воинствующий материалист, то перетолковывает свободу в иллюзию сознания и побочный продукт материи. Философ, человек рациональной мысли, обязан брать данные науки и живого опыта в их единстве: для него природа и свобода, природа и дух должны быть совместимы, приведены к мирному сожительству.

Требования единства природы и духа никто не выразил сильнее, чем Спиноза, который просто поставил между ними знак равенства: «Deus sive Natura» и провозгласил, что «ordo et connexio rerum idem atque est ordo et connexio idearum»^{*)}.

Однако, под «порядком и связью идей», которые совпадают с «порядком и связью вещей», подразумеваются у Спинозы не наши индивидуальные и исторически преходящие переживания или мысли, а потенциально в них скрытая и через них достигаемая вечная истина, идеальное мышление мира. С этим метафизическим параллелизмом нам нечего делать; реальность нашего существования в него не укладывается; нельзя построить историю в виде двух параллельных рядов, где «вещи» следуют своему порядку, а «идеи», параллельным образом, своему порядку, наподобие двух рельс железной дороги. В частности, жизнь тела не параллельна жизни сознания, хотя и дана в полном единстве с ним. Ни практически, ни теоретически нельзя уложить это единство в

^{*)} Порядок и связь вещей есть также порядок и связь идей (лат.).

два «параллельные» ряда, — и оно принимает форму взаимодействия, т. е. взаимозависимости и переплетенности телесных и психических процессов. «Порядок и связь», устанавливаемые естественными науками, никоим образом не тождественны с «порядком и связью» психической жизни и высших духовных процессов. Свести одно к другому невозможно, растворить одно в другом невозможно, но и отделить одно от другого невозможно. Можно было в свое время уларом палки по голове Дарвина не допустить появления его «Происхождения видов», — но после того, как это произведение написано, нельзя понять его как следствие чисто материальной деятельности мозга Дарвина. Материя и Дух — две абстракции или две перспективы реальности. Вопрос о «примате» материи или духа разрешается *п р и м а т о м с в о б о д ы*, пронизывающей все без исключения процессы, материальные и духовные, а свободу надо понимать как самоопределение целого, несводимое к механическому и внешнему принуждению. *Ordo et connexio rerum* не то же самое, что *ordo et connexio idearum*, но нельзя понять их отдельно, ибо они не существуют отдельно. Потенциально *ordo et connexio rerum* включает в себя и делает возможным *ordo et connexio idearum*, но при условии свободного развития целого.

Будущее всегда в какой-то неполной и условной мере предвидимо в настоящем; но это одно еще не делает нас ни рабами, ни распорядителями исторической необходимости. Необходимость граничит со свободой; нет ничего неизбежнее смерти, но человек даже смерть принимает свободно, и никакой анализ механизма самоубийства не может устранить из него компонент свободы.

Никто из нас до конца не свободен. Все мы находим себя как часть в великом Целом, которое одно абсолютно свободно. Но быть реальной, действительной, настоящей частью Целого, — значит соучаствовать и в его свободе. Каждый из нас несет в себе частицу мировой свободы, реализуемой в пределах индивидуального существования и исторической действительности.

Многим мешает стать на точку зрения свободы наивный аргумент натурализма: человек рождается и умирает, а природа остается. Природа была до человека. Было время, когда не было сознательной жизни в природе, пока не появилось сознание или ощущение в качестве свойства материи. Значит, природа для своего бытия не нуждается в сознании, тогда как сознание нуждается в бытии природы. Бытие определяется сознанием, и никакая «свобода» не может изменить этой основной зависимости.

Мы называем этот аргумент наивным потому, что он вполне произвольно разрывает целостность мирового процесса и пробует «остановить время» наподобие библейского Иисуса Навина, который велел остановиться солнцу, пока он не закончит победы над врагом.

Попробуем перенестись воображением в то отдаленное прошлое, когда не было жизни на земле. Что показывает нам воображение? Статический образ газообразных масс или пустынных лесов?.. Наше воображение будет ограничено до глупости, до абсурда, если удовлетворится такой картиной. Мы знаем, что неуправляемый динамический ход вещей не позволил природе оставаться на этой ступени, разбил кажущуюся статику, и силой исторического процесса «масса газов» или туманностей с их атомными и молекулярными процессами, как их изучает наука, развернулась в то, что есть и продолжает творчески расти. Именно то статическое состояние «только материи», определяемой законами механики и лучеиспускания и оказалось в перспективе времени тем, что не могло существовать само по себе. Ограничение нашего воображения образом бездушной природы очевидным образом насилует свидетельство природы. Исто-

рия, если мы возьмем ее в целом, а не в абстрактном разрезе одной прошлой эпохи, показывает нам, что природа не могла обойтись без высших форм жизни, без человека и его сознания. Природа без человека — как прошлое без настоящего. Мы, с нашей верой, идеями и творческой способностью, не «надстройка» природы, не случайное или временное добавление к ней, не «попутчики» природы, а то, без чего она непонятна и остается жалким обрубок. В нас исполняется природа и перерастает сама себя. Как нельзя понять настоящего, отвлекаясь от прошлого и будущего, так нельзя понять и прошлого, отвлекаясь от настоящего и будущего. Аргумент: «Post hoc ergo propter hoc»*) становится глубоко реакционным, если понимать его в том смысле, что все определяющие силы явлений идут из прошлого. Природа или «материя» не создала сознания, и сознание, дух или психика, не «создали» природы. Здесь неприменимы категории «создания» или «произведения», позаимствованные наивно из технологического процесса. Сознание пробилось, как огненный язык, из природы; оно не повторяет, не отражает, а борется с ней и воздействует на нее; вместе они образуют одно творческое целое. Свобода есть основное онтологическое определение мирового процесса. Как нельзя понять взрослого, не зная его детства, так нельзя и детства понять без отношения к взрослости. И как нельзя сказать, что взрослость человека есть «свойство» его детства или какая-то особенная форма его детства, или «надстройка» над его детством, — так же нельзя сказать, что развитие жизни и культуры на земле есть исключительная заслуга материальной закономерности, особая стадия развития «материи».

Мы называем свободным творческий путь истории потому, что в нем каждая наблюдаемая необходимость оказывается принадлежностью объемлющего целого и ступенью становления и роста. Аналогичным образом, можно в жизни ребенка, вырастающего в творца новых ценностей и качеств, установить любую меру ежедневной вынужденности и зависимости от внешней среды, сделать самый тщательный учет внешних и внутренних условий его развития, — само это развитие остается, тем не менее, поприщем свободы в силу неустрашимой связи с тем, что лежит вне контроля и учета, с элементом мировой случайности. Мы можем сколько угодно открывать в новом старое, сводить неизвестное к известному, постулировать абсолютную зависимость будущего от элементов, данных в прошлом, — каждый новый факт нашей жизни, каждый новый день нашего времени бросает вызов нашей свободе и противоречит тезису о теневом, подвластном и вторичном характере нашего существования. Можно подавить свободу, — уничтожить же ее в мире нельзя. Можно теоретически «заслонить» свободу, — реальность пробьется вопреки всем теориям. Можно как идеалист Соловьев восклицать:

Милый друг, иль ты не знаешь,
Что все видимое нами, —
Только отблеск, только тени
От незримого очами —

и можно как материалист Ленин провозглашать, что «мир есть вечно движущаяся и развивающаяся материя, которую сознание отражает», — это не изменит факта, что «видимое нами» ничуть не менее реально, чем «незримое», а сознание не просто «отражает» материю, а перерастает ее, и в своих пределах имеет ту несводимую и неистребимую оригинальность, которую мы называем свободой.

*) «После этого, следовательно по причине этого» (лат.).

ПОЗИЦИЯ СВОБОДЫ

Попробуем теперь выяснить конкретно, в чем заключается «позиция свободы».

Словом этим обозначается некоторое *о т н о ш е н и е*.

Не существует никакой свободы «самой по себе», помимо отношения свободного существа к тому, что его окружает. Определение «свободный» — пусто, пока мы не установили, в отношении к кому или чему свободен предмет нашего рассмотрения.

Свобода предполагает субъект не в меньшей мере, чем «знание» или «любовь». С той разницей, что отношение свободы не интенционально, как знание, не транзитивно, как любовь. Адам «знает» Еву. Адам «любит» Еву. Но независимо от этих и других отношений, выражаемых в языке винительным падежом, Адам «свободен» в отношении Евы. Подобно тому, как нельзя обладать без предмета знанием и любить без предмета любовью, так же не может Адам быть свободен иначе, как определенным образом по отношению к определенному «нечто».

Мы можем иначе выразить ту же мысль, сказав, что каждая свобода определенного А локализирует его в известной связи А—В. Нет свободы в пустоте. Далее, эта связь необратима. Если А свободно в отношении В, это не значит, что В свободно в отношении А. И не каждая связь свободна. Поэтому мы спрашиваем себя, что делает связь свободной. Каким должно быть отношение, чтобы его субъект не только мог «называть» себя или «считать» себя, но и действительно *б ы т ь* в данной связи свободным?

И вот три признака свободы.

Во-первых: свобода быть «против» — противосвобода, — *Gegenfreiheit*. Ее мы имели в виду, говоря об отрицательной свободе, указывая, что самое элементарное ее проявление заключается в сопротивлении очевидному насилию. Если связь или отношение, в котором человек пребывает, доминирует над ним до того, что он не может выйти из него, то он и не свободен. Быть в данной связи свободным значит иметь возможность из данной связи выйти. Это железное правило свободы. Оно применимо к арестанту, заключенному в тюрьме, так же как к небесному телу, движущемуся по определенной орбите. Они оба несвободны, потому что объективно не могут изменить своего положения. Арестованный еще может быть освобожден или бежать, тогда как несвобода физических, астрономических тел абсолютна.

Здесь выясняется нам сущность материализма как учения об абсолютной универсальной несвободе: согласно этому учению абсолютная истина отражает объективную закономерность природы, — связь явлений природы признается здесь высшей связью, из которой нет выхода. Познание есть только «отражение», и культура — только производная функция материальных процессов. Ужас, который испытывало человеческое сознание от этой перспективы абсолютной несвободы, и его несогласие примириться с ней — издавна приводили к религиозному протесту, в основе которого лежит вера в то, что никакая «объективная необходимость» не окончательна. Есть нечто, что над ней господствует и с помощью чего мы можем выйти из нее — «спастись».

В отчаянных попытках отрицать необходимость смерти, неизбежность страдания и бессильной ограниченности — этого тройного проклятия человеческого существования — проявляется протест свободы. И это больше, чем элементарный страх пред неприятным и страшным: этот животный страх человек в состоянии преодолеть и преодолевает его часто. Человеку свойственно «играть» со смертью и опасностью, но в возмущение приводит его состояние пригово-

ренности и неизбежности. В этом возмущении у ж е выражается его свобода, специфическая *condition humaine**). Но прежде чем она проявилась в действии, она уже меняет его духовный облик и самосознание.

Но, в конце концов, единственное полное доказательство пр о т и в о с в о б о д ы заключается в действительном выходе из данной связи. Человек имеет основание считать себя свободным, если он уверен в том, что от него зависит выйти из данного отношения, и его пребывание в нем добровольно, а не фатально. Поэтому свобода каждого сознательного существа непременно включает в себя момент противопоставления, момент самовыделения и утверждения своей особенности и самостоятельности в данной исторической и реальной ситуации. Быть свободным в этом смысле значит быть способным на коренное изменение. Очевидно, что в этой постоянной конститутивной predisположенности к изменению, в этой противосвободе коренится весь динамический и поступательный характер мирового процесса, в его добре и зле.

Второй аспект свободы, который мы можем назвать в н у т р и с в о б о д о й, *Infreiheit*, выражается в естественном нахождении себя среди окружения. Это сожительство с миром, доброе соседство и гармония входят в статус положительной свободы как непреременный минимум. Каждый из нас может быть собою только под условием соприсутствия и содействия многих других факторов. В мифе о рае эта *Infreiheit*, внутрисвобода, выражена особенно ярко, ибо в раю все вещи совместимы в высочайшей степени. Рай Библии — это идеально доброе соседство всех живых существ, природы и Бога. Равви из «Пирке-Абот», который на вопрос «что важнее всего в жизни?» ответил «Добрый сосед» — дал мудрый и глубокий ответ.

Где есть А, непременно имеются и В и С, и Д... Только на низшей ступени свобода строится на антагонизме, на взаимной враждебности вещей. Важнее то, что А всегда находится м е ж д у другими элементами, без которых его бы не было.

Просыпаясь утром, мы находим себя в четырех стенах своей комнаты. То, что мы смогли проснуться и начинаем новый день жизни, уже предполагает бесконечное число условий, которые нами не осознаются или только частью известны нам. Должны существовать страна и город, миллионы живых существ, которые своим существованием, даже без прямого отношения ко мне, делают возможной мою свободу (или, в других условиях, делают ее невозможной). Проходя по улице, в толпе, я естественно и произвольно соразмеряю мои движения с движениями тех, кто идет мне навстречу или рядом со мной. Никакие антагонизмы, — никакие конфликты с окружением не касаются этой моей основной и доброй совместимости с миром. Эта совместимость с вещами есть моя свобода по отношению к ним. Абсолютное отсутствие ее равняется выпадению из мира — смерти и небытию.

Как только эта совместность или соучастие в окружающем начинают нам быть в тягость, как только зависимость от внешнего мира начинает деформировать наше существование, — свобода идет на убыль. Ибо свобода в этом смысле ничего другого не значит, как безущербная принадлежность к целому. Невольник тоже принадлежит к тому общественному целому, которое его поработило, но эта принадлежность ему дорого обходится, она деформирует его действительное существование. «Внутрисвобода», о которой мы говорим, есть равновесие и мир между внешним и внутренним, между носителем свободы и его *Mitwelt*.

*) Человеческое положение (лат.).

Есть в этой свободе естественность процесса дыхания. Мы дышим не потому, что кто-нибудь «заставляет» нас дышать, и не потому, что мы «обязаны» дышать, а потому, что в этом состоит жизнь нашего тела. Наша *Infreiheit* нуждается в воздухе. Без него нет свободы. Называя человека «Зоон Политикон», Аристотель дал общественное определение его свободы. Но человек не только общественное животное, он и «Зоон спиритуале» в мире духа и «Зоон натурале» в мире природы, и «Зон темпорале», реализующее себя в контексте и перспективе времени между прошлым и будущим. «Внутрисвобода», *Infreiheit* всегда выражается в способности к некоторому конкретному единству, за пределами которого грозит *Unfreiheit*, несвобода.

Наглядный пример этой «внутрисвободы» дает жизнь гражданина на род и н е. Понятия родины и свободы связаны. Не надо быть патриотом и националистом, чтобы быть свободным в силу одного факта пребывания на родине. Родиной духа (которая не всегда, но чаще всего совпадает с той страной, где человек родился и вырос) является именно то окружение, в котором мы естественно и без усилия, просто и легко чувствуем и находим себя свободными. Первоначально для ребенка или для примитивного существа дана известная среда — семьи, рода, племени, полиса, — и когда эта среда географически и исторически принимает определенные и для нас привычные очертания — мы называем ее родиной. В любви и в потребности родины выражается «внутрисвобода» человека.

Но этого еще мало. Есть и третий аспект свободы. Когда Муций Сцевола, герой древнего мира, хладнокровно кладет руку на раскаленные угли, он свободен сделать это. И однако он принуждает свое тело. Ибо нет никакой внутрисвободы человека в огне. Люди, добровольно выбирающие огненную смерть мучеников инквизиции или фанатиков известных сект, демонстрируют этим свою «противосвободу», господство над телом. Через борьбу и победу, через преодоление внешних и внутренних препятствий ведет дорога к примирению, к равновесию с внешним миром. Но этим еще не исчерпывается статут свободы. Как третий момент приходит « с о - с в о б о д а ».

Обозначим этим именем такое отношение А и В (поля свободы), когда А не только сосуществует с В, но и вступает с ним в положительную связь, в такую связь, которая становится для него источником новой силы и содержания. Рядом со свободой плыть против течения и по течению, существует еще свобода войти в течение, стать самому тем потоком, который тебя несет и увеличивает энергию и размах твоей жизни. Это — активная свобода товарищества, братский совместный порыв, когда каждое отдельное существование поддерживается другими и вдохновляется другими, получает от них новое содержание, с ними сливается в одно целое и в этом целом находит себя более свободным и богатым, чем прежде. Это — та свобода, которую дает соучастие в большом и общем деле.

Свобода — это треугольник, три стороны которого являют собой три признака свободы: быть против, — быть внутри, — и быть за одно. Из принципа *Gegenfreiheit* выводится автономия. Из принципа *Infreiheit* следует справедливость, т. е. представление о гармонии и порядке, в котором каждая вещь имеет свое место. Место, которое ей принадлежит, где она существует наилучшим для себя и для целого образом. *Mitfreiheit* же приводит нас к любви, взаимопроникнутости и братству, которое больше, чем «доброе соседство», но не противится ни отдельности вещей, ни их автономии.

Здесь одна и та же свобода проявляется трижды. Все три момента нужны для ее полноты. Нельзя пожертвовать ни одним из них. Если мы зачеркнем возможность противоречия, самостоятельность и автономию, то носитель свободы потеряется в окружающем, и внешние силы растворят его в себе. Свобода примет форму тотального деспотизма. Если мы откажемся также и от *Mitfreiheit*, от созвучания с окружающим миром, от того вдохновения, источник которого извне, то мы доведем свою терпимость ко всему окружающему до степени безразличия, до филистерского конформизма и обеднения жизни, предел которого — полусонное прозябание, покой трупа на кладбище.

Позиция свободы включает в себя все три признака, и мы не можем отказаться ни от одного из них, не нарушая двух других. Свобода заключается в единстве всех трех признаков, которые не только не исключают себя взаимно, но друг друга требуют, не могут обойтись один без другого. Явление свободы д и а л е к т и ч н о. Диалектика свободы заключается в том, что самостоятельность и автономия носителя свободы есть необходимое условие для его выступления в мире и достижения высшего единства.

Отрицает свободу тот, кто видит в мире только «факты», — факты настоящего, связанные с фактами прошлого и будущими фактами причинной связью, дающей в сумме все содержание Универсума. При таком подходе время само превращается в «факт» высшего порядка, содержащий все другие, и именно поэтому недоступный нам во всем своем объеме. Однако, объективный порядок мира во времени не есть «факт», а бесконечный и переходящий границы рациональной мысли процесс становления. И свобода не есть простая возможность или абстрактная способность. Совершенно так же, как нельзя прийти к понятию эластичности или гибкости пружины, наблюдая ее в состоянии неподвижности, так не можем мы ничего узнать об эластичности и гибкости своего собственного существования, о п о т е н ц и а л ь н о й свободе, пока она не раскроет себя в прошлом, которое прошло через стадии будущего и настоящего, прежде чем окончательно отодвинуться в прошлое. Единство «против», «внутри» и «заодно» в позиции свободы становится понятно, как единство актуального с потенциальным и объективного времени с переживаемым.

Поясним это на примере. Если я возвращаюсь домой с работы, то моменты: «я сажусь в автобус» — «я открываю дверь своей квартиры» — «я зажигаю свет в коридоре» — следуют один за другим, один после другого в порядке объективного времени. И, однако, в переживании каждый из них дан сперва как антиципация будущего, потом как переживание настоящего, потом как воспоминание прошлого. Объективное время движется из прошлого к будущему, тогда как в переживании порядок обратный: будущее непрерывно становится настоящим и уходит в прошлое. Только в этом противоречии и через него существует реальная полнота бытия, несводимая к одному следованию моментов в объективном времени или одному превращению потенциального будущего в потенциальное прошлое через медиум настоящего. В м е с т е они образуют целое. Свобода есть постоянная открытость настоящего будущему, которую только «пост фактум» мы элиминируем, конструируя нашу детерминистическую и супермеханическую, абстрактную и неживую схему мирового процесса, — препарат «научного» и технического ума.

(Окончание следует)

Доктрина революции в холодной войне

I.

В холодной войне, как и в горячей, может быть только две фундаментальных доктрины: наступательная и оборонительная.

Наступательная предполагает наличие ясно поставленной цели. Оборонительная не имеет собственной цели. Она стремится, прежде всего, к выработке эффективной оборонительной тактики, построенной на ясном понимании замысла противника и на правильной оценке не только его сил, но и его природы.

Мировой коммунизм ставит перед собой совершенно определенную цель: создание всемирного коммунистического государства, охват всего мира единой тотальной властью. Соответственно этому замыслу стратегическая доктрина коммунизма есть ярко выраженная наступательная доктрина.

Коммунисты всегда ощущают себя в состоянии борьбы с некоммунистическим миром, и мир отличается для них от войны не стратегически, а лишь тактически. «Мирное сосуществование социализма и капитализма» в устах коммунистического руководства означает такое положение вещей, когда коммунисты могут вести политическую агрессию, не наталкиваясь при этом на сопротивление своих жертв.

Демократический строй, напротив, уже в самом своем замысле является строем упорядоченного мирного процветания. Агрессия любого нетоталитарного государства есть всегда агрессия лимитированная. В период войны или подготовки к войне демократическое государство может руководствоваться наступательной доктриной. Но как только поставленная цель достигнута, эта доктрина отбрасывается как ненужная, и наступает период мира, понимаемого как отказ от борьбы, как сосуществование на основе договоров, выгодных обеим договаривающимся сторонам. Отношения между государствами в период мира в демократическом понимании суть отношения между союзниками.

В Казабланке, Каире, Сан-Франциско, Тегеране, Ялте и даже Потсдаме руководители демократических государств именно так представляли себе мир, наступивший после побед над Германией и Японией. Это представление лишь постепенно рассеялось в результате советской политики в восточной Европе и заменилось идеей «холодной войны». Это новое, еще не вполне устоявшееся понятие определяет собой современную картину мира.

Для руководителей мирового коммунизма «холодная война», казалось бы, не принесла ничего нового. Это понятие лишь дало более ясное имя той политике, которую они вели в течение тридцати лет. Сталин, по-видимому, так и не понял значения появления этого имени.

Но в области мысли слово имеет творческую силу. Наименование означает начало существования.

С понятием «холодная война» коммунистические государства перестали восприниматься как возможные партнёры для заключения взаимовыгодных сделок; их начали рассматривать как потенциальных противников, ежеминутно готовых нарушить мирное равновесие сил. То, что коммунисты, на своем условном языке, еще в двадцатых годах обозначили как «мирное сосуществование советского государства с его капиталистическим окружением», с опозданием в четверть века было расшифровано и переведено на язык действительности как «холодная война».

Всю опасность этого перевода коммунистическое руководство осознало только после смерти Сталина. Судорожные попытки превратить «холодную войну» обратно в «мирное сосуществование» объясняются, конечно, не только этим, но отчасти и этим.

II.

Объявление холодной войны, т. е. осознание наличной ситуации как борьбы двух разнородных систем, очень быстро повело к образованию двух лагерей в этой «войне»: «Лагерь мира, лагеря народных демократий», возглавляемого СССР, и «Свободного мира», возглавляемого США.

«Лагерь мира, лагеря народных демократий» или, иными словами, силовое поле коммунизма, политически единообразен и четко организован воедино общеобязательной доктриной и элементарным принуждением. По существу его следует рассматривать как единое государство, ведущее единую политику. Трудности и трения внутри этого лагеря должны рассматриваться как внутривнутриполитические трудности и трения.

Понятие «Свободного мира», напротив, понятие двусмысленное и неопределенное. Оно изобретено коммунистической пропагандой с целью представить все некоммунистические страны как антикоммунистические. Пропагандно оно, может быть, и полезно, но в стратегическом анализе ситуации должно быть расшифровано. В том виде, в каком оно фигурирует в антикоммунистической агитации, оно — пропагандная фикция. Но когда под ним имеется ввиду мир, неподвластный коммунизму, оно оказывается собирательным понятием, охватывающим (разумеется, за исключением коммунистических организаций) три борющиеся между собой тенденции: 1) к уничтожению коммунизма, 2) к удержанию его в однажды достигнутых им пределах, 3) к переключению «холодной войны» на «мирное сосуществование». Эти тенденции сказываются в разное время с разной силой как во внутри-, так и во внешнеполитической жизни и определяют собой политическое лицо отдельных организаций, партий, правительств и целых государств. В международном плане понятие «свободного мира» охватывает как США с их военно-политическими союзниками, так и державы, отнюдь не желающие ссориться с коммунистами, причем позиция того или иного государства определяется в значительной мере соотношением сил между антикоммунистическими и, назовем их условно, «нейтралистскими» тенденциями.

Так, например, у сильного союзника США — Великобритании — нередко проявляются тенденции к прекращению борьбы с коммунизмом в то время, как

в Испании или в Китае непримиримость к коммунизму сильнее, чем в самих США.

«Стороной», субъектом в ведении «холодной войны» являются только первые две тенденции (узурпирующие себе право говорить от имени всех). Государства же, партии и круги, стремящиеся к нейтралитету и мирному сосуществованию, служат в настоящее время ближайшим стратегическим объектом борьбы, в значительной мере определяющим её тактику.

В плане междугосударственных отношений государства, враждебные коммунизму, организованы, в основном, по классическим схемам международного сотрудничества в формах более или менее рыхлых блоков, пактов и договоров, обеспеченных, в конечном счете, экономической и военной мощью Америки.

Не входящие в эту систему некоммунистические государства, независимо от их желаний и стремлений, практически представляют собой спорное поле между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Вместе с рядом общественных кругов и целых держав, в большей или меньшей степени втянутых в американскую систему блоков и опеки, они стремятся в той или иной форме вернуть мир к состоянию «мирного сосуществования». (Что «мирное сосуществование» — фикция, полезная коммунистам, и что «холодная война» есть именно перевод этой фикции на язык реальных понятий, не доходит до их сознания).

Это стремление открывает коммунизму ряд ценных тактических возможностей. И объективно носители идей «мирного сосуществования», совершенно независимо от того, что они думают и чувствуют, являются союзниками коммунистов:

- они придают вес фикциям коммунистического «миролюбия и национальной политики советского государства», отождествляя Россию с СССР, а страны «народных демократий» рассматривая как временных союзников России;

- воспринимая тоталитарную экспансию коммунизма как национально-ограниченный российский или китайский империализм, они создают предпосылки для дипломатической игры, парализующей борьбу с коммунизмом, и превращающие её в борьбу то с воображаемой Россией, то с воображаемым Китаем;

- в своем стремлении «сохранить нейтралитет между Россией и Америкой» они практически открывают двери для коммунистической инфильтрации, результат которой зависит лишь от внутреннего состояния данной страны и некоммунистического мира в целом.

Что мировой коммунизм в своем ведении холодной войны руководствуется наступательной доктриной, ясно из самой его природы.

Какой доктриной руководствуется его противник, вопрос куда более сложный. «Свободный мир», как мы только что видели, — понятие собирательное. Нам надо, следовательно, говорить прежде всего о доктрине США, как, очевидно, господствующей, и о доктринах их союзников, т. е. о сложной системе договоров, блоков и пактов, созданных в противовес «лагерю мира».

Доктрина США строится на оборонительном принципе. США вошли в холодную войну, прежде всего, с целью защиты Америки, руководствуясь своими национальными интересами в классическом понимании этого термина. Япония, Корея, Тайвань, Филиппины, так же как и Атлантический пакт, в системе американской стратегии — звенья обороны США.

На основе оборонительной доктрины строится и система союзов, направленная против коммунистического мира. Входящие в них державы, за исключением Китая и Кореи, преследуют оборонительные цели и как в военном, так и в политическом отношении руководствуются оборонительными доктринами. Их оборонительные интересы, однако, влияют на доктрину США в сторону её расширительного толкования. В этом толковании оборона американского континента начинается практически на границах коммунистических государств. Стратегически эти державы ставят перед собой задачу втянуть в систему своей обороны максимальное число некоммунистических держав, захватить в свою сферу влияния весь свободный мир и превратить его в тот готовый к отпору единый организм, о котором, выдавая чаемое за сущее, уже говорит антикоммунистическая пропаганда. Оставаясь оборонительной, политическая доктрина США приобретает в результате — тактически наступательный характер, но не по отношению к коммунизму, а по отношению к тому спорному полю, которое представляют собой нейтральные страны. (Отметим, что это положение вещей и составляет единственное, но вполне реальное основание для разговоров об «американском империализме».)

В этом виде американская доктрина была осознана уже к концу сороковых годов и получила название «доктрины Трумана» или «доктрины сдерживания» (Containment doctrine). Она является основной стратегической доктриной «свободного мира» и в настоящее время.

Эта доктрина, совершенно соответственно указанным выше основным политическим тенденциям, подвергается двухстороннему давлению. Во-первых, со стороны последовательно антикоммунистических, главным образом общественных кругов как в самих США, так и в других государствах и, во-вторых, со стороны «нейтралистски» настроенных кругов и держав, либо вообще не желающих втягиваться в систему, в конечном счете, всё-таки американской обороны, либо участвующих в ней только в меру своих узконациональных интересов.

Первые настаивают на усилении наступательных моментов в антикоммунистической политике США, а в пределе — на замене оборонительной стратегии наступательной. Вторые затрудняют отстройку «системы обороны свободного мира», стремясь занять независимую позицию между США и СССР.

Практическая политика США складывается как равнодействующая этих двух тенденций, не оказывая на них, сама по себе, почти никакого влияния. Усиление и ослабление этих тенденций зависит, главным образом, от поведения коммунистического мира в целом и, в особенности, правительства СССР. Реальная крупная уступка последнего, вероятно, сломала бы всю систему «доктрины сдерживания».

Коммунистическая тактика ведения холодной войны сводится поэтому к дозированию миролюбивых жестов и надежд на её прекращение. Практически, за исключением актов прямых агрессий, в последние годы производимых всегда не СССР, а красным Китаем (Корея, Тибет, Индокитай) она разыгрывается как оборона, с задачами недопущения окончательного становления американской системы, создания в ней прорывов и нарушений и сохранения максимального числа «нейтральных» держав. (Создание нейтральных государств в Индокитае, нейтрализация в Австрии, советская политика в Азии и на арабском Востоке.)

Мы приходим, таким образом, к выводу, который может показаться парадоксальным: сторонники доктрины сдерживания, при принципиальном оборонительной установке, ведут тактическое наступление, лимитированное лишь границами «народно-демократических» государств; руководители мирового ком-

мунизма, при принципиально наступательной доктрине, находятся тактически в обороне. Влияние, которое они могли бы оказать на развитие политики американского блока, не может быть ими использовано, так как это использование должно было бы быть оплачено, по меньшей мере, сокращением их наступательной базы. Переход же к наступлению грозит потерей этого влияния, так как агрессивное поведение СССР автоматически ведет к опасному ослаблению сил, противодействующих наступательным тенденциям в политике Соединенных Штатов.

В результате усилия как коммунистических, так и антикоммунистических сил в свободном мире растрчиваются на взаимное сдерживание. Холодная война приняла характер борьбы, определяемой тактическими целями при малоподвижных фронтах. Мировая политическая инициатива не может быть схвачена ни той, ни другой стороной, очевидно, до тех пор, пока какая-либо крупная ошибка противника или какой-либо новый фактор не создаст возможности, по меньшей мере, крупного тактического прорыва.

Этим новым фактором, мне кажется, могло бы стать антикоммунистическое революционное движение.

III.

Анализ внутривнутриполитической ситуации в Советском Союзе и его сателлитах показывает, что:

а) взаимоотношения между властью и населением должны быть обозначены как враждебные. Большинство населения хотело бы смены власти.

б) положение на верхах коммунистических партий и правительств должно быть обозначено как неустойчивое. В коммунистическом руководстве всё время идет внутренняя борьба.

в) в странах «народных демократий» имеются более или менее значительные остатки движений сопротивления, а в СССР начатки революционного движения, направленные на полное уничтожение коммунизма.

Эти движения, однако, лишены возможности развития, достаточного для того, чтобы использовать недовольство народа и борьбу внутри коммунистического руководства. В условиях тоталитарной диктатуры у них нет и не может быть достаточно четко отработанной идеологии, способной показать каждому борцу общественный строй, идущий на смену коммунизму (политическая программа), и непосредственные цели и методы борьбы (стратегия и тактика) или, иными словами, указать каждому антикоммунисту во имя чего, что, когда и как он должен делать. Эти силы лишены, далее, организационного центра, способного спокойно и без помех руководить движением, и материально-технических ресурсов, необходимых для ведения конкретной борьбы.

В некоммунистическом мире имеются, однако, тоже силы, кровно заинтересованные в полном уничтожении коммунизма и способные, следовательно, дать революционному движению то, чего ему не хватает. Эти силы, как мы только что видели, оказывают систематическое давление на доктрину холодной войны в сторону усиления в ней наступательных элементов. Их усилия парализуются противоположно направленным давлением «нейтралистских» и «мостостроительных» кругов и политикой стран, преследующих исключительно узконациональные интересы. Их идейные и материальные ресурсы и возможности их влияния растрчиваются практически на поддержание фронтов холодной войны в том состоянии, в каком они сейчас находятся, и не могут оказать решающего влияния на её дальнейшее развитие.

Безусловно, антикоммунистические силы как внутри коммунистического блока, так и вне его до сих пор не имеют собственной стратегической доктрины. В силу этого они разбединены, а действия их определяются случайно открывающимися возможностями, недостаточно целеустремлены и малоэффективны. Но по самой своей природе эти силы способны принять всерьез только наступательную доктрину в борьбе с коммунизмом.

Наступательная антикоммунистическая доктрина возможна в различных вариантах:

а) Вариант систематического идеологического, политического, экономического и военного давления на коммунистический блок, с целью постепенного отторжения от него отдельных его частей, будь то в форме независимых коммунистических государств, наподобие Югославии, будь то в форме демократической их перестройки.

б) Вариант военного вмешательства, с целью либо полного уничтожения России и русского народа как главной силы коммунизма, либо, напротив, восстановления России как национального государства и оплота антикоммунизма, в результате проделанного над нею страшного коммунистического опыта.

в) Вариант революционного свержения коммунистической власти, в опоре на революционные силы внутри коммунистического блока.

Вариант «а» неоднократно обсуждался уже в дискуссии по американской «доктрине сдерживания». Он не может, однако, рассматриваться как полноценный стратегический вариант, потому что, не разрешая проблемы полной ликвидации коммунизма как такового, он в то же время не дает и возможности поставить себе ясно определенные ограниченные цели. Когда, как и какое из государств-сателлитов должно быть оторвано от СССР и какова должна быть его дальнейшая судьба, должно, очевидно, решаться по обстановке.

В конечном счете, этот вариант должен расцениваться не как самостоятельная доктрина, а лишь как предельное развитие доктрины Трумана. Он направлен не на ликвидацию коммунизма и освобождение поработенных народов, а лишь на разрушение базы коммунистической агрессии. Его основная идея — это идея «обороны в наступлении». Называть такую доктрину «доктриной освобождения» нет достаточных оснований, а содержащийся в ней наступательный момент лишен морального оправдания.

Этот вариант становится полноценным только в том случае, если рассматривать его как один из тактических методов подготовки военного вторжения или революционного переворота.

Вариант военного вторжения, если правильна наша оценка мировой обстановки, останется, по крайней мере, вплоть до существенной перемены в этой обстановке, чисто теоретической идеей, на которой не стоит останавливаться.

Вариант революционного свержения коммунизма на всей его территории во имя замены рабства свободой, напротив, может дать единое практическое целеустремление непримиримо антикоммунистическим силам как внутри, так и вне коммунистического мира. Он ставит перед этими силами их собственную политико-стратегическую цель и требует от них собственной доктрины и тактики. В своем наступательном порыве он может быть полноценно противопоставлен наступательному характеру коммунистической стратегии. Он без большого труда может быть тактически увязан с американской концепцией холодной войны, не требует в ней никаких принципиальных изменений, а, следовательно, и отвлечения революционных сил для влияния на эту доктрину. Он открывает возмож-

ность образования третьей самостоятельной силы в холодной войне, на основе ее собственной самостоятельной доктрины, и намечает недоступные США оперативные возможности, способные, может быть, обеспечить крупный прорыв на заставшем в последнее время фронте.

IV.

Преимущества наступательной доктрины в любой борьбе не нуждаются в пояснениях. Но и требования, которые ставятся ею, высоки и только в редком случае могут быть удовлетворены полностью.

Наступательная доктрина предполагает ведь не только наличие ясно поставленной цели, но и решимость её достигнуть. Она строится на элементах целеустремленной инициативы и риска, на готовности мобилизовать и поставить на карту значительные, иногда все имеющиеся силы и средства, если есть шанс нанести решающий удар противнику.

Источник ее энергии — воля к радикальному изменению существующего порядка вещей и стремление навязать эту волю как своим противникам, так и своим союзникам. Такая доктрина может разрабатываться и применяться только в том случае, если поставленная цель, по крайней мере, на ближайший отрезок времени, воспринимается как главный смысл существования ее носителя.

Угроза коммунизма для большинства свободных государств в настоящее время является только потенциальной угрозой, а уничтожение коммунизма, как бы он ни был им неприятен, очевидно, не может стать главным смыслом их существования, по крайней мере, до тех пор, пока им открыта возможность вести с ним лишь холодную войну, не прибегая к чрезмерному напряжению своих психологических и материальных ресурсов. Доктрина сдерживания, направленная на сохранение существующего соотношения сил, в их положении естественна и целесообразна и не может быть принята только силами, для которых полное или частичное уничтожение коммунизма составляет жизненную необходимость и, следовательно, цель, ради которой они способны рискнуть самым своим существованием. Эти силы суть:

а) Антикоммунистические лица и организации и лица на территории коммунистических государств,

б) Правительства государств, территории которых частично захвачены коммунизмом,

в) Эмигранты из коммунистических стран,

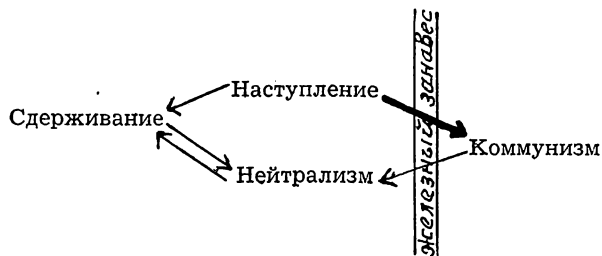
г) Отдельные лица и организации в некоммунистических странах, исповедующие принцип неделимости свободы.

В оборонительной атмосфере ведущейся в настоящее время холодной войны эти силы чувствуют себя глубоко неудовлетворенными. Они не видят реальных перспектив освобождения и не могут поэтому использовать накопившийся в коммунистическом мире огромный революционный потенциал.

Они могут быть удовлетворены и, следовательно, полноценно использованы в холодной войне лишь на основе наступательной доктрины, предпочтительно в революционном ее варианте.

Революционная доктрина, вернее, ее носители, если хотя бы часть этих сил захотела руководствоваться ею в своей политической деятельности, может, мне кажется, собрать достаточно сил для того, чтобы стать решающим фактором в холодной войне, фактором, устремленным к наступлению на коммунизм и полностью минующим спорное поле нейтралистских и сосуществовательных тенденций.

Схематически это может быть изображено следующим образом.



(Тонкие стрелки обозначают направления существующих давлений.
Толстая стрелка — наступательное революционное давление.)

Отношения между носителями наступательной доктрины и коммунистами, само собой разумеется, будут непримиримо враждебными.

Отношения между ними и нейтралистами, вероятно, останутся недружелюбными; несмотря на отсутствие прямых точек соприкосновения, соперничество между этими двумя направлениями в вопросе влияния на поведение сторонников сдерживания скорее увеличится, чем уменьшится.

Решающими будут, однако, взаимоотношения между силами наступления и силами сдерживания. В принципе эти взаимоотношения несомненно будут дружественными, поскольку революционное давление на коммунизм, очевидно, облегчает задачу его сдерживания, а препятствия к внешней агрессии ослабляют престиж коммунистов не только вовне, но и внутри сферы их властвования.

На практике, однако, взаимоотношения между силами наступления и силами сдерживания будут осложняться тем, что с одной стороны:

— за прошедшие десять лет холодной войны сторонники сдерживания успели уже привыкнуть к монопольному решению всех связанных с ней вопросов, популяризовать свою доктрину как единственную возможную и ввести в обращение целый ряд представлений и терминов, непригодных для революционной борьбы;

— непропорциональное превосходство мощи США над мощностью любого из их союзников совершенно закономерно поставило их во главу антикоммунистической борьбы и позволяет им в силу этого рассматривать любое антикоммунистическое начинание как объект своей поддержки и опеки, а, следовательно, и как инструмент своей политики, построенной на доктрине сдерживания. С другой стороны:

— уже в силу доктринального расхождения сторонники наступательной идеи не могут допустить, чтобы их рассматривали и использовали лишь как элемент в системе чьей бы то ни было обороны, а в форме революционного движения они получают возможность отстройки собственного фронта борьбы, независимого от стратегии сдерживания и действующего порой даже вразрез с этой стратегией;

— революционное движение внутри коммунистических стран, как главный носитель идеи уничтожения коммунизма как такового, по самой своей природе нуждается в сочувствии и поддержке. В сочувствии и поддержке (причем материальная поддержка должна быть оправдана именно как демонстрация морального сочувствия) будут нуждаться и организаторы революционных сил в свободном мире. Положение, которое можно кратко обозначить формулой «поддержка без опеки», есть одно из важнейших условий успехов революционного движения.

Роль посредника, обеспечивающего именно такую поддержку, очевидно, должны будут взять на себя отдельные лица и организации в странах свободного мира, исповедующие принцип неделимости свободы не по политическим, а по моральным соображениям, и в силу этого являющиеся сторонниками наступательной доктрины освобождения, ибо главными носителями революционного движения будут, разумеется, не они, а представители народов, поработанных коммунизмом.

Преуменьшать значение их сил было бы, однако, большой ошибкой. Они уже сейчас, в гораздо большей степени, чем эмиграции и даже чем поделенные страны, влияют на политику свободного мира, не только уравновешивая влияние нейтраллистов и апологетов «мирного сосуществования», но и внося в самую оборонительную доктрину элементы полноценного понимания природы тоталитарной несвободы и коммунистической инфильтрации.

Их роль в революционном движении, в известном смысле, сравнима с ролью эмиграций из коммунистических стран. Если эмиграции можно рассматривать как неаккредитованных представителей своих народов в свободном мире, то и сторонников наступательной доктрины в странах свободного мира можно рассматривать тоже как неаккредитованных представителей поддерживаемого ими революционного движения. Именно их задача — обеспечить взаимопонимание и поддержку между политикой сдерживания и политикой революции. И есть все основания полагать, что они справятся с этой задачей, если в основу революционного движения будут положены ясные принципы, позволяющие им взять на себя роль его представителей.

V.

Совершенно очевидно, что в основе революционного движения должны лежать принципы, необходимые и достаточные для целеустремленного объединения всех возможных его участников. Принципы, с одной стороны, собирающие в кулак стратегически однородные силы, с другой — исключаящие ненужные противоречия и конфликты с господствующей в большей части некоммунистического мира оборонительной доктриной. Эти принципы суть:

1. Самостоятельность деятельности и пропаганды.

Сила революционного движения должна быть полностью устремлена на совершение революции. Борьба с коммунизмом вне пределов коммунистических государств является для них задачей второстепенной важности. Их влияние в некоммунистическом мире должно употребляться исключительно в целях разъянения их точки зрения и требования поддержки их борьбы как проявления самостоятельной политической доктрины, независимой в своих целях и методах и объединяющей только стратегически однородные силы.

Освещение и оценка мировых событий должны производиться с точки зрения революции за железным занавесом, а не с точки зрения обороны свободного мира от коммунистической агрессии; внимание должно быть сосредоточено на борьбе коммунистической власти с народом, а не на дипломатической игре свободного мира с коммунистическими правительствами.

Антикоммунистическое революционное движение должно выступать как самостоятельная политическая сила, гораздо более зависимая от положения и стремлений населения коммунистического мира, чем от политики некоммунистических стран. Причем выступать оно должно одинаково по обе стороны железного занавеса. Малейший разрыв между тем, что говорится для свое-

го народа или в своей собственной среде и тем, что говорится для остального мира, будет восприниматься как лицемерие и немедленно лишит революционеров их силы — борцов за правду.

2. Признание приоритета внутренних революционных сил.

Идеология революционно-освободительного движения лишь по техническим причинам разрабатывается и оформляется за рубежами коммунистического мира. И по содержанию и по форме она должна отражать стремления самих угнетенных народов, а отнюдь не их свободных представителей. Окончательная же судьба этих народов может быть решена только после освобождения путем демократического волеизъявления.

Свободные представители угнетенных народов, будь то эмигранты или граждане своего национального государства, должны рассматривать себя, прежде всего, как представителей своего народа, призванных обслуживать его освободительную борьбу, но отнюдь не навязывать ему свою волю. Революция будет совершена не путем вторжения извне, а путем восстания изнутри. Решающую роль в ней, следовательно, призвано сыграть население самих коммунистических стран. Именно его в первую очередь нужно увлечь революционной идеей.

Эти два принципа позволяют не только привлечь на свою сторону симпатии подъяремных народов, но, прежде всего, провести ясную грань между интересами наступательно-революционной и оборонительной доктрины и, следовательно, должны служить основой их взаимопонимания.

3. Отказ от мести.

Следует начисто отказаться от розысков виноватых в коммунистическом бедствии и от социальной или национальной персонификации коммунистического зла. Совершенно неважно, кто изобрел коммунизм и кто, когда и как способствовал ему и стал в результате его носителем и жертвой. Среди коммунистического населения есть немало людей, в силу тех или иных обстоятельств оказавшихся на службе коммунистической власти и оказывающих ей услуги, независимо от своего внутреннего к ней отношения.

Надо решительно и честно отказаться от мысли о какой бы то ни было расправе с ними. Уголовные преступления, конечно, должны преследоваться, но о декоммунизации в стиле послевоенной денацификации Германии не может быть и речи. Антикоммунистическая революция не смеет идти по путям коммунистической.

4. Отказ от реставрации прошлого.

Права и материальные ценности, погрязшие и уничтоженные коммунистической властью, не могут быть восстановлены. Лозунг революции несовместим с лозунгом реставрации.

Необходимо декларировать, что революционное движение не имеет в виду восстановить докоммунистические порядки и не намерено допустить ни эксплуатацию рабочего класса классом капиталистов, ни угнетения слабых народов более сильными народами. «Не во имя мести, а ради светлого будущего!» должно быть написано на знаменах революционного движения.

Оба эти принципа очень важны и для того, чтобы снять психологические перегородки между теми, кто вольно или невольно оказывал какие-либо услуги коммунизму или пользовался результатами его «реформ» и теми, кто никогда не имел с ним ничего общего. Тот факт, что составляющее основной кадр революции 900-миллионное население коммунистического мира в настоящее время работает на коммунизм, эксплуатируется коммунизмом, делает эти принципы совершенно необходимыми.

5. Утверждение национальной солидарности.

Революционное антикоммунистическое движение не может себе ставить также целью освобождение какого-либо одного из поработанных народов. Оно должно исходить из принципа неделимости свободы и направляться на освобождение всех.

Отсюда вытекает необходимость преодолеть национальную рознь и любые шовинистические настроения, взаимные претензии и обиды, во имя международной солидарности и братства в борьбе с общим угнетателем — коммунизмом.

Нужно начисто отказаться от непродуманного и вредного отождествления поработанных народов с их коммунистическими правительствами. В частности, необходимо решительно возражать против произвольного отождествления понятий «Россия» и «русский» с понятиями «СССР», «коммунистический» и «советский». Чрезвычайно важно вовремя остановить уже появляющееся в мировой печати употребление оборотов «китайское правительство» и «китайские интересы» там, где речь идет о правительстве Чжоу Энь-лая и представляемых китайской компартией интересах мирового коммунизма.

6. Утверждение социальной солидарности.

Наряду с идеей национального равенства, идея социальной справедливости является одной из руководящих идей нашего времени. Она должна входить интегральной частью и в революционно-освободительное движение. Революционная борьба против коммунизма, угнетающего всех без исключения, ведется всеми силами общества. Революционное движение должно носить не классовый, а общенациональный характер. Путь в него должен быть открыт всем. Лозунг национальной революции имеет в виду революционное свержение власти в интересах всей нации, а не какого-либо сословия или класса.

Эти два принципа представляют собой по существу лишь конкретизированную редакцию принципа неделимости свободы и должны, следовательно, служить основой связи и сотрудничества как между отдельными деятелями наступательной доктрины, так и между ними и свободным миром. Именно на основе высоких идей свободы и справедливости для всех революционное движение может ожидать и требовать сочувствия и поддержки от того мира, который гордо именует себя свободолюбивым.

Таковы, мне кажется, принципиальные основы, на которых можно построить способное к развитию и действию революционное движение. Разумеется, их можно и уточнять и дополнять. Но это уточнение и дополнение, по моему мнению, увело бы нас за пределы необходимого и достаточного.

В намеченном здесь виде они позволяют создать целый ряд тактических вариантов, отвечающих обстоятельствам, положению и особенностям отдельных революционных сил.

VI.

Все эти варианты, однако, неизбежно будут строиться на тактическом взаимодействии между внутренними антикоммунистами и их «партнерами» за рубежами коммунистического мира — эмигрантами и населением свободной части поделенных стран. И все они будут так или иначе выливаться в этапную программу, начинающуюся с пропагандной подготовки, «пропагандного вторжения» в коммунистический мир извне, с целью создания в нем революционной силы, способной действительно противопоставить себя коммунистической власти.

Даже вариант «дворцового переворота», заговора на верхах партии, армии или органов государственной безопасности, если он не будет строиться на чистой случайности, должен будет принять по меньшей мере желательность времени для некоторой пропагандной раскачки, подготовки стимулирующей консолидацию сил, на которые смогли бы опереться заговорщики.

Взаимодействие между революционными силами внутри и вне коммунистического мира есть, мне кажется, фундаментальная тактическая предпосылка революционной доктрины, на которой неизбежно будут строиться все возможные тактические варианты.

Успех революционной борьбы, в той мере, в какой он зависит от нашей воли, будет поэтому определяться нашей способностью наладить это взаимодействие и разрешить на его основе задачу, если можно так выразиться, «управляющего обслуживания» революции, согласно определенному этапному плану, начинающемуся с элементарной пропаганды и заканчивающемуся революционным восстанием консолидировавшихся в результате этой пропаганды антикоммунистических сил.

Задача этого «управляющего обслуживания», при любом его варианте, едва ли может быть положена в основу правительственной политики. Гораздо целесообразнее представляется мне отстройка самостоятельной революционной организации или, вернее, объединения революционных организаций, действующих на единой стратегической основе и пользующихся в той или иной степени как правительственной, так и общественной поддержкой.

Введение в борьбу всей мощи разделенных стран, вероятно, понадобится лишь для поддержки народных восстаний в заключительном, взрывном этапе революции.

В настоящем пропагандном ее этапе эта мощь должна играть лишь роль морального гаранта революционных сил и резерва материальных и технических средств для кадров революционного движения.

Я не убежден в возможности, а следовательно, и в своевременности попыток создать уже сейчас единый центр, объединяющий всех возможных носителей революционной доктрины. Координационное и пропагандное значение такого центра было бы, бесспорно, огромным. Но путь к нему, думается мне, лежит не через попытку посадить всех сразу за один стол.

Объединение, мне кажется, должно начинаться с билатеральных соглашений и связей между уже действующими организациями; практическая координация усилий, встречи и конференции по вопросам пропаганды, стратегии и тактики революционной борьбы, совместные выступления как за железным занавесом, так и в свободном мире — вот, мне думается, путь, который неизбежно приведет к созданию авторитетного центра. И приведет тогда, когда в нем явится не только пропагандная, но и рабочая необходимость.

Таковы общие контуры революционной доктрины холодной войны. Я прекрасно отдаю себе отчет, что это лишь контуры, и что в предлагаемой здесь идее многое осталось недоработанным и неясным. В частности, мне совершенно ясно,

что, указав лишь на исходный принцип взаимодействия, я, по существу, ничего не сказал о тактике.

Тактические идеи НТС, мне кажется, однако, достаточно полно изложены уже в целом ряде статей и пропагандных материалов; пересказывать их здесь не имеет смысла. В плане отстройки организованной революционной силы внутри коммунистического мира они сводятся к так называемой «молекулярной доктрине», предусматривающей отстройку децентрализованной, состоящей из крошечных ячеек-«молекул», организационной сети. В плане непосредственного воздействия на массы — к систематическому, максимально конкретизированному «пропагандному вмешательству» в текущие события в стране. Разумеется, наряду с этими идеями могут использоваться и другие тактические возможности и варианты.

Но, независимо от вопросов тактики, основные положения изложенной здесь стратегической концепции, мне кажется, едва ли могут быть опрокинуты. Быть может, в силу целого ряда отнюдь не доктринальных обстоятельств, эта доктрина никогда не сможет быть реализована. Вероятно, не все ее возможные участники и носители окажутся способными применить ее в практике своей антикоммунистической борьбы. Но едва ли кто-нибудь станет оспаривать,

— что ведение антикоммунистического наступления есть, прежде всего, дело тех сил, которые кровно заинтересованы не в сдерживании, а в уничтожении коммунизма,

— что это наступление должно носить революционный характер, то есть ставить себе целью политическую революцию на территориях, охваченных коммунизмом,

— что остальные народы и государства имеют законное право придерживаться оборонительной доктрины и поддерживать революционное движение ровно в той мере, в какой они исповедуют принцип неделимости свободы,

— что ведение революционной борьбы должно строиться как общее дело всех угнетенных народов и руководствоваться высокими принципами свободы и справедливости для всех,

— что тактика этой борьбы должна строиться на взаимодействии между внутренними и внешними революционными силами и что, в силу условий тоталитарного режима, инициатива, а, следовательно, и управление достается на долю сил внешних,

— что на первом этапе наступления основной задачей является внесение в сознание угнетенных народов идеи революционного освобождения и отстройка на коммунистической территории действенной революционной силы,

— что заключительной фазой революционного процесса будет, вероятно, восстание, которому нужно обеспечить максимальную внешнюю поддержку.

Такова основная стратегическая идея НТС. Его политическая программа, тактика его борьбы, его внутренняя структура, взаимоотношения между ним и другими организациями, его достоинства и недостатки, его пределы и возможности определяются этой идеей. Больше у нас ничего нет. Ни территории, ни прав, ни средств, ни даже достаточных кадров.

И, вместе с тем, НТС — это живая демонстрация справедливости слов великого китайского идеалиста Сун Ят-сена: «Из понимания природы явления обычно возникает сперва идея. По мере уяснения идеи — является вера. А вера рождает силу. Так доктрина должна вытекать из идеи, идея должна вызывать веру, а вера, в свою очередь, стать источником силы, способной реализовать доктрину».

Реорганизация управления промышленностью

Н. С. Хрущев в своем докладе 7 мая 1957 года на VII сессии Верховного совета СССР «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством» сказал: «Чтобы успешно двигаться вперед, надо не цепляться за устаревшие формы и методы работы и руководства, а всемерно поддерживать и развивать новые, что настоятельно выдвигается жизнью. Таким звеном, за которое теперь нам следует ухватиться, чтобы привести в действие новые мощные рычаги в развитии нашего народного хозяйства, является дальнейшее совершенствование организации управления промышленностью и строительством. Вопрос этот, товарищи депутаты, уже назрел и требует неотложного решения». (Разрядка здесь и дальше моя. — Д. С.).

Затем он спросил: «Возникает законный вопрос: можно ли при нынешних огромных масштабах производства и грандиозных задачах на будущее оставить старые формы и идти вперед по линии дальнейшего дробления технического, экономического и административного управления, создавая в центре новые специализированные министерства и управления?»

И сам же отвечает: «Нет, нельзя».

В этом содержится признание, что управление промышленностью зашло в тупик. Управленческий аппарат непомерно возрос, окостенел, обезличился. Руководство приняло формальный характер. Никакие окрики, угрозы, репрессии, закливания не помогают. Всё разбивается о бездушную машину бюрократизма.

Невольно вспоминается заявление представителей американского профсоюзного движения, которое они сделали несколько лет назад в Париже, на заседании Исполнительного комитета Международной конфедерации свободных профсоюзов. Обсуждался вопрос об отношении профессиональных организаций к социализму. Американские представители, с их обычным практическим подходом, заявили, примерно, так: «Мы пробовали себе представить картину, которая возникла бы при социализации нашего непомерно возросшего народного хозяйства. Мы приходили всегда в ужас от мысли — какой огромный, всепоглощающий аппарат нам нужно было бы создать, чтобы управлять всей этой машиной! Мы представляем себе, как этот аппарат омертвил бы всё наше хозяйство. Поэтому мы категорически против социализма».

Нельзя не согласиться с этим мнением. И оно, пожалуй, лучше всего объясняет, почему руководство советским хозяйством, которое как по своему объему, так и, особенно, по своему многообразию в несколько раз меньше американского, уже теперь зашло в тупик. И можно себе представить, как всеобщий хаос будет расти дальше с ростом народного хозяйства!

Интересно, что, как сказал Хрущев, уже «на первом этапе хозяйственного строительства в нашей стране были созданы такие органы государственного управления, как Высший совет народного хозяйства и совнархозы на местах...» Как известно, от них довольно быстро отказались ввиду их нежизненности, о чем Хрущев, конечно, умолчал, и ввели наркоматы, которые потом были заменены министерствами. Теперь круг замыкается новым возвращением к совнархозам. История этого «круга» такова: введенные наркоматы, а потом и министерства, имели тенденцию непрерывно дробиться и увеличиваться в своем числе. В 1941 году было уже 20 общесоюзных и 18 ссоюзно-республиканских наркоматов. После войны они растут дальше, и в марте 1946 года, при преобразовании их в министерства, цифры соответственно повысились до 30 и 19. Этот рост, а также и изменения министерств, продолжался до смерти Сталина и вызывал разговоры, насмешки и пересуды. 15 марта 1953 года, немедленно после смерти Сталина, происходит обратный процесс слияния, и число их сокращается с 50 до 25. Причем, из 30 министерств промышленности и строительства остается 12. (Маленковские реформы).

Но эта единовременная огромная реорганизация, которая по замыслу должна была внести какой-то порядок, окончилась провалом. Уже в августе того же года снова началось дробление, которое и продолжалось непрерывно вплоть до проведенной новой реформы. 26 апреля 1954 года первая сессия Верховного совета четвертого созыва вносит очередные изменения в злополучные статьи 70, 77 и 78 конституции СССР. Вновь записывается 24 общесоюзных и 22 союзно-республиканских министерств. В дальнейшем, наряду с дроблением и преобразованием, наступает новый административный зуд перевода министерств из общесоюзных в союзно-республиканские. В декабре 1955 года четвертая сессия Верховного совета вносит очередную поправку в конституцию и записывает 27 общесоюзных и 28 союзно-республиканских министерств, 2 государственных комиссии и 4 государственных комитета. Не меньшая вакханалия творилась в это же время и в союзных республиках. Н. Хрущев по этому поводу сообщил следующие данные:

«В каждой республике, промышленной области и в отдельных промышленных городах имеется большое количество промышленных предприятий, подчиненных многочисленным союзным, союзно-республиканским и республиканским министерствам и ведомствам. В Российской Федерации, например, промышленные предприятия подчинены 84 министерствам и ведомствам, в Украинской республике — 68 министерствам и ведомствам, в Казахстане — 53, в Туркмении — меньше, чем в других союзных республиках, но всё-таки 27 министерствам и ведомствам. Ясно, что при наличии такого количества министерств и ведомств очень трудно осуществлять специализацию и кооперирование производства, так как этому препятствуют ведомственные интересы многочисленных министерств и главков».

К этой безотрадной картине следует добавить, что отдельные министерства делились и снова сливались, как, например: министерства легкой и текстильной промышленности, министерство речного и морского флота, министерства нефтяной и угольной промышленности и др. Некоторые министерства возникали и исчезали, как, например, министерства промышленности средств связи, среднего машиностроения, кинематографии, хлопководства, вкусовой промышленности и др.

Все эти факты свидетельствуют, вероятно, о постоянном желании улучшить управление промышленностью, сделать его более или менее жизненным, но, в результате, бюрократическое море неизменно превращалось в безбрежный океан

и поглощало без следа все отважные и, казалось, полностью обоснованные мероприятия. Когда после смерти Сталина Маленков проводил свою реформу укрупнения министерств, он в своем выступлении на сессии Верховного совета СССР 16 марта 1953 года говорил:

«Мы исходим из того, что проведение в жизнь организационных мероприятий в области улучшения государственного и хозяйственного руководства... несомненно создаст лучшие условия для успешного разрешения стоящих перед нашей страной исторических задач... дальнейшему всемерному развитию социалистической промышленности».

Чтобы подкрепить жизненность своей реформы, он ссылается на Сталина:

«Надо сказать, что мероприятия по укрупнению ныне существующих министерств, по объединению в одном министерстве руководства родственными отраслями народного хозяйства, культуры, управления назрели не сегодня. Они уже длительное время при жизни товарища Сталина вместе с ним вынашивались в нашей партии и правительстве».

«Правда», в передовой от 18 марта 1953 года, оптимистически повторяет то же самое; радужно взирая на будущее:

«Прямым результатом укрупнения министерств должно явиться дальнейшее улучшение всей практики руководства предприятиями».

Всё, казалось, ясно, путь к оздоровлению найден, и успехи не за горами... Но уже через год — совершенно противоположное направление. Та же «Правда», в передовой от 28 апреля 1954 года, пишет:

«Верховный Совет СССР утвердил указы Президиума Верховного Совета о разукрупнении некоторых министерств. Это разукрупнение вызвано тем, что, как показал опыт, крупным министерствам, объединяющим много отраслей народного хозяйства и огромное количество различных предприятий, трудно осуществлять оперативное руководство этими предприятиями. Само собою разумеется, что при разукрупнении министерств должно быть обеспечено строгое проведение в жизнь линии на дальнейшее сокращение расходов на содержание государственного аппарата. Необходимо решительно сокращать переписку, раздутую отчетность, беспощадно искоренять бюрократизм, бумажный, канцелярский стиль руководства...»

Итак, реформа провалилась. Разукрупнение совершается быстро, а дальше следует новая попытка — реформа децентрализации. Власть, задыхаясь в тисках ею же созданного бюрократического спрута, пробует переложить ответственность за управление на союзные республики. Первые шаги к этому делались уже к концу 1954 года, но решительное преобразование началось с января 1956. 5 января «Правда» в передовой сообщила:

«В интересах приближения руководства к предприятиям и в целях дальнейшего развития экономики союзных республик за последнее время осуществлены важные мероприятия по усилению роли республиканских органов во всей экономической деятельности. В непосредственное подчинение союзных республик дополнительно передано большое количество предприятий тяжелой индустрии, легкой и пищевой промышленности, строительных организаций и совхозов. В результате ряд отраслей промышленности почти полностью, а многие отрасли промышленности в очень значительной степени находятся ныне в подчинении республиканских органов».

Но, как мы уже теперь знаем, и это мероприятие не имело успеха, что, конечно, можно было заранее предвидеть. РСФСР, которая производит две трети всей промышленной продукции Советского Союза и четыре пятых всей продук-

ции машиностроения СССР, имеет общую столицу с СССР — Москву. Таким образом, по территориальному признаку министерства могли только переехать с одной улицы на другую, да и то не всегда была в этом нужда.

Что же могло улучшить руководство? Министры пожиже — авторитет их послабее. Возникла новая, лишняя, инстанция, так как ответственность перед Советом министров СССР сохранялась. Произошло распыление научных и технических сил, понижение авторитетности руководства для предприятий и увеличение волокиты. В других же республиках, за исключением Украинской, отраслевые министерства стали управлять небольшим, доходившим до смешного, количеством предприятий, что препятствовало обеспечению нужными техническими кадрами, и всё руководство принимало формальный характер.

Насколько это мероприятие оказалось нежизненным, видно хотя бы из того, что передача министерств из общесоюзных в союзно-республиканские и образование республиканских министерств продолжались вплоть до мая 1956 г., т. е. вся реформа в законченном виде, не успев просуществовать и полгода, была сметена новой, на этот раз хрущевской «революцией» в управлении промышленностью. Такова краткая история возвращения в лоно свое — к обновленной и подкрашенной идее совнархозов.

Напомним также заодно о провале реформы по разделению Государственного планового комитета Совета министров СССР на Государственную комиссию по перспективному планированию и Государственную экономическую комиссию по текущему планированию народного хозяйства, а также о бесчисленных переменах в персональном составе министров.

Нет и не было никакого основания полагать, что новая реформа внесет улучшение, хотя бы уже потому, что и новые и старые мероприятия — все были направлены мимо цели. Они не затрагивали и не затрагивают самой основы системы. Рассмотрим, прежде всего, те характерные недостатки, которыми хронически больны у нас промышленность и строительство.

Молотов, в своем докладе на XVIII съезде партии, в марте 1939 года, говорил:

«В основных экономических районах Союза необходимо обеспечить комплексное развитие хозяйства, для чего в каждом из этих районов — организовать добычу топлива и производство таких видов продуктов как цемент, алебастр, химические удобрения, стекло, массовые изделия легкой и пищевой промышленности в размерах, обеспечивающих потребность этих районов. В каждой республике, в каждом крае и области должны производиться такие продукты питания как картошка, овощи... кондитерские изделия, пиво, а также такие промышленные изделия как галантерея, изделия швейной промышленности, мебель, кирпич, известь и т. д. . . Наконец, нельзя допустить в строительстве новых заводов такой узкой специализации, при которой предполагается с одного специального завода снабжать тем или иным видом продукции все районы страны...»

План требует решительного отказа от гигантомании в строительстве, которая стала прямо болячкой некоторых хозяйственников, требует последовательного перехода к постройке средних и небольших предприятий во всех отраслях народного хозяйства, начиная с электростанций...»

Вредители... распыляли средства между многими, сразу начинаемыми стройками; омертвляли капиталовложения, не заканчивая ни одной из начатых строек.

У нас до сих пор много бесхозяйственности, много перерасходов, безобразно велики потери сырья, растрачивается зря много топлива и электроэнергии, безобразно велики простои оборудования».

Через 13 лет на XIX съезде партии 5 октября 1952 года Маленков говорил, примерно, то же, но имелись и новые нотки:

«Необходимо указать на имеющиеся большие потери и непроизводительные затраты в промышленности... Еще плохо обстоит дело с использованием производственных мощностей. На многих предприятиях допускаются большие потери от бесхозяйственности и неэкономного расходования материалов, сырья, топлива, электроэнергии, инструмента и других материальных ценностей... Некоторые хозяйственные руководители из-за узковедомственных интересов, в ущерб интересам государства искусственно создают «резервы» в планах по себестоимости продуктов путем завышения норм расхода сырья и материалов...

Крупным недостатком в деле капитального строительства является распыление сил и средств по многочисленным строительным организациям, среди которых имеется большое количество мелких строительных организаций...

Многие железные дороги, парохозяйства и автомобильные хозяйства в результате невыполнения плана перевозок, больших простоев вагонов, судов и автомашин, перерасхода топлива и потерь от бесхозяйственности допускают значительные перерасходы средств и убытки... Аппарат заготовительных, торговых и сбытовых организаций непомерно раздут... Из-за недостатков в планировании заготовок имеют место нерациональные и чрезмерно дальние перевозки... Все еще велики административно-управленческие расходы... Покончить с безразличным отношением хозяйственных руководителей и партийных организаций к фактам бесхозяйственности и расточительства. Враги социализма... изображают социализм как систему подавления индивидуальности... Только за время после окончания Отечественной войны награждены орденами и медалями СССР 1 миллион 346 тысяч рабочих, ученых, колхозников, инженерно-технических работников и др.»

Впервые открыто сказано о главном пороке системы — о подавлении личной инициативы и о жалкой и смешной попытке оживить эту инициативу путем выдачи орденов.

Еще через три года Булганин, в своем докладе на пленуме Центрального Комитета КПСС 4 июля 1955 года, как никогда, со всей откровенностью и, пожалуй, цинизмом вскроет бесконечные и глубокие язвы хозяйственной жизни страны. Никакие кричащие цифры, разговоры о достижениях не могут смягчить основного — неискоренимых недостатков самой системы:

«Создаваемые нашими машиностроителями многие образцы машин и оборудования по своим техническим характеристикам отстают от лучших образцов, выпускаемых за границей.

...Предприятия министерства машиностроения и приборостроения изготовляют много устаревших машин, приборов и до сих пор не выпускают многих современных полиграфических, текстильных, трикотажных, обувных машин и оборудования для химической и пищевой промышленности.

...Почему министерство машиностроения и приборостроения питает столь сильную привязанность к отсталой технике? Очевидно, потому, что устаревшие образцы выпускать проще, спокойнее. Переход на выпуск новых изделий, перестройка технологического процесса требует большой работы, преодоления трудностей. Тут, чего доброго, и неприятностей наживешь. Не всем такая работа по душе».

Далее он перечисляет, приводя «красочные» примеры, целый ряд отстающих отраслей промышленности.

В его докладе звучит тревога в связи с отставанием от Запада:

«... Мы не можем, не имеем права забывать, что техника в капиталистических странах не стоит на месте, а под влиянием гонки вооружения, конкуренции и погони капиталистов за максимальными прибылями она в ряде отраслей продвинулась вперед».

Мы уже указывали, что Молотов возражал против узкой специализации предприятий, против гигантомании и требовал строить средние и небольшие предприятия во всех отраслях народного хозяйства, начиная с электростанций. Булганин, напротив, говорит о специализации, о кооперировании в промышленности и о крупных предприятиях, приводя примеры вопиющих недостатков в пользу своих мыслей. Приводим один из них: «Если в 1950 году удельный вес автомобилей в продукции Горьковского автозавода составлял 76 процентов, то в 1954 году он снизился до 67 процентов. Кроме автомобилей, этот завод изготавливает велосипеды, станки, кузнечно-прессовое, литейное и сварочное оборудование, мелкую электроаппаратуру, сельскохозяйственные машины, различного рода инструменты, электросварные трубы и многое другое. Ежемесячно завод изготавливает для себя десятки тысяч маслянок, которые с успехом могла бы делать любая артель».

Такая же картина и на Московском заводе им. Сталина. Получается, что мы имеем не автомобильные заводы, а заводы-универсалы».

Тут же он приводит разницу в себестоимости продукции при специализации, о которой Молотов в свое время, очевидно, не знал:

«Если на специализированном метизном заводе себестоимость болта размером 12 на 60 миллиметров составляет 10 копеек, то при изготовлении такого же болта в механических мастерских потребителей себестоимость его составляет 1 руб. 40 коп., то есть в 14 раз дороже. Для производства одной тонны болтов специализированный завод расходует 1100 килограммов металла, а неспециализированный 2 тысячи килограммов. Разве это не расточительство?».

Любой инженер знает, что все предприятия Советского Союза долгие годы занимались и продолжают заниматься этим расточительством по вине власти и планирующих органов.

При этом Булганин не забывает упомянуть и о встречных перевозках и дает такой любопытный пример исключительного безразличия самого руководства к хозяйственной деятельности страны, несмотря на получаемые ордена и медали:

«Серьезные ошибки, допускаемые при планировании кооперированных поставок, вызывают нерациональные перевозки. Например, Южноуральский машиностроительный завод Министерства тяжелого машиностроения по плану внутри министерской кооперации ежегодно изготавливает и отправляет с Урала, из города Орска на Украину, Ново-Краматорскому заводу 1300 тонн стального литья. В то же время Ново-Краматорский завод отправляет до полутора тысяч тонн стального литья на Урал, в Свердловск».

Много и давно говорилось и говорится о необходимости механизации производств, а между тем, общие цифры механизации, приведенные докладчиком, не весьма отрадны:

«Удельный вес рабочих, работающих вручную, составляет в лесозаготовительной промышленности 68 процентов, в угольной 44 процента, в черной металлургии 35 процентов, в строительстве 69 процентов».

Далее он отмечает «странную» черту: несмотря на введение значительного количества машин, производительность труда не растет (!?). Текучесть рабочей силы огромна. Прекрасный пример «сознательности» и заинтересованности рабочих в строительстве коммунизма. Вот цифры:

«В 1954 году на промышленных предприятиях только общесоюзных и союзно-республиканских промышленных министерств (без лесозаготовок) было принято 2 миллиона 923 тысячи рабочих, а выбыло за год 2 миллиона 802 тысячи рабочих, не считая рабочих, переведенных с других предприятий, в организованном порядке. На стройки в том же году принято 1 миллион 771 тысяча рабочих, а выбыло, также не считая переведенных, 1 миллион 453 тысячи рабочих».

Касаясь управления промышленностью, Булганин изрекает, что:

«Аппарат управления промышленностью, как и всем народным хозяйством, должен быть простым, экономным, минимальным по количеству работников, но деловым и гибким».

И тут же признается, что в Советском Союзе такого аппарата нет, приводя примеры бесхозяйственности. Так:

«В Южно-Курильском комбинате рыбы выловили на 13 миллионов рублей, а на зарплату израсходовали 22,5 миллионов рублей. В Северо-Курильском рыбокомбинате стоимость рыбной продукции составила 14 миллионов рублей, а фонд заработной платы — свыше 40 миллионов рублей».

«Министерства и ведомства создали непомерно много всевозможных снабженческих и сбытовых контор и баз, притом без всякого разбора — нужны они или нет. Например: в Куйбышеве зарегистрировано 107 различных сбытовых и снабженческих организаций, в Харькове — 103, в Горьком — 78, в Молотове — 62, в Ярославле — 48».

На XX съезде партии, в феврале 1956 года, Хрущев и Булганин в своих докладах повторили перечисленные выше недостатки и потребовали изжития их. В противоположность установкам Молотова, они повторили требование и о специализации и кооперировании производств.

Итак, на протяжении всей своей деятельности хозяйственная система обнаживает одни и те же недостатки, с которыми власть постоянно, упорно, но безнадежно борется. Безднадежность борьбы заключается в том, что эти недостатки являются производными самой системы, а потому и неистребимы. С течением времени, по мере роста объема хозяйства, росли и они и дошли, наконец, до такого предела, когда положение сделалось нетерпимым. Создалось то омертвление хозяйства, о котором так просто говорили упомянутые выше американские представители.

Два основных и решающих недостатка, которые делают всю систему порочной, остались и после «новой» Хрущевской реформы, а именно: 1) отсутствие личной инициативы и 2) отсутствие свободной конкуренции. К ним необходимо присоединить третий недостаток, который тесно связан с начальным замыслом системы — тотальное планирование. Все остальные недостатки проистекают из этих трех.

Невольно напрашивается сравнение с нормальными демократическими хозяйственными системами, которые, независимо от их объема, знают только одно министерство промышленности (или хозяйства, как его иногда более обобщенно называют). Министерство не вмешивается в жизнь предприятий. Его задача — благоприятствовать их работе, устранять возникающие в отдельных отраслях промышленности трудности и приходить в нужный момент на помощь. Предприятиям предоставлена полная свобода в личной инициативе, а конкуренция заставляет их быть творческими во всех отношениях.

Министерства, тресты и комбинаты советской системы дают на предприятия, сковывают их инициативу и создают им бесконечные препятствия. В качест-

ве дополнительных мешающих погонщиков выступают партийные и профсоюзные организации.

Какие же недостатки предполагал устранить Хрущев своей реформой? Ни много, ни мало, как все — и притом одним ударом! Свою реформу он рассматривал как панацею от всех бед. Но прежде чем перейти к разбору хрущевских надежд, отметим сразу, что уже сам переход от министерств к советам народного хозяйства есть неоспоримый чистейший регресс. Министерская система оправдала себя столетней практикой и распространена по всему миру. Она проста, стройна, обеспечивает единоначалие, авторитет и очерченную отрасль. Совнархоз, по своей структуре, страдает обезличкой и безответственностью. Единственным возглавителем и ответственным лицом всего совнархоза является председатель его, который, при всем желании, не может охватить все отрасли хозяйства и вникнуть в них, а потому должен ограничиться общим руководством по примеру председателя совета министров. Дальше идут начальники отраслевых управлений, которые являются только его помощниками (а не полномочными министрами), чем снижается их роль, авторитет и ответственность. Основа единоначалия резко нарушается, и руководство принимает формальный характер.

Вторым слабым моментом реформы является формальное, совпадающее с существующим административным, а не экономическое районирование. Этим уже в зародыше убита идея создания естественных экономических районов, что вызовет много неприятностей и осложнений. Об экономических районах много говорилось и до советской власти и при ней. Все понимали и понимают, что создание и развитие их есть дело большой государственной важности, и когда советы предпринимали в этом направлении нужные меры в западной и восточной Сибири, в Туркестане, на Урале и в других местах, то они против самой идеи вряд ли встречали какое-либо возражение со стороны. Другое дело, когда чисто административная единица только на основе зуда к реформе превращается в экономический район. Неизбежно проявится сильное стремление к автаркии, желание «закомбинировать» существующие предприятия и обеспечить себя «всем». Снова появятся многочисленные предприятия, не соответствующие требованиям современной техники и специализации.

Что же касается устранения недостатков «новой» реформой, то: ведомственные барьеры Хрущев считает главным злом. Они являются результатом тотального планирования, всеобщего засекречивания и бюрократизма. Но реформа их не устраняет, а лишь видоизменяет форму. Совнархозы во имя автаркии будут принуждать свои предприятия принимать не свойственные им заказы от предприятий данного района, чем еще больше будет ослабляться специализация, за которую так боится теперь Хрущев. Нарушится нормальное, технически обоснованное кооперирование, а предприятия будут ломать налаженный ход производств.

Предполагается сократить ступени управления. Совнархозы будут подчинены непосредственно республиканским министерствам. Но за союзным министерством сохраняется право отменять решения и постановления совнархозов. Повышаются права союзного и республиканского Госплана. Они должны не только планировать, но и осуществлять повседневный контроль за выполнением государственного плана и принимать в оперативном порядке меры через совнархозы и министерства по преодолению выявленного отставания отдельных экономических административных районов или отраслей. Между совнархозами и предприятиями часто будут стоять тресты или комбинаты. Таким образом, бюрократическая машина мало чем изменяется, предприятие по-прежнему остает-

ся скованным, а в дополнение усиливается партийный (и профсоюзный) контроль, который попортит много крови директорам.

Желание устранить разобщенность строительных организаций между министерствами, может быть, и законно. Хрущев жаловался, что каждая строительная организация создает свою производственную базу. Растут, как грибы, подсобные предприятия, склады снабжения. Механизмы и транспорт используются плохо. Но в свое время строительные организации были сконцентрированы. Тогда министерства жаловались, что им не дают возможности самим строить. Так идет шараханье из одной стороны в другую. Нужно только сказать, что необходимую концентрацию строительства можно провести и без общей реформы, как это уже сделала Москва. Пока жалоб нет, но надолго ли?

То же самое можно сказать и про автомобильный транспорт. Хрущев также указывал, что имеются тысячи мелких гаражей. 67 процентов автохозяйств имеют от одного до 4 автомобилей. Их, конечно, еще легче, чем строительные организации, можно объединить в крупные гаражи, и это тоже Москва сделала без особой реформы.

Отметим, что и укрупнение строительных предприятий и автомобильного транспорта являются поисками решения по принципу «наименьшего зла» в условиях общей порочной системы. В нормальных условиях наличие мелких строительных организаций, широкое распределение автотранспорта среди непосредственно им пользующихся предприятий является вполне нормальным, эффективным и желательным с точки зрения оперативности в работе. В условиях же планового хозяйства такие мелкие предприятия не выдерживают нагрузки тотального плана и отчетности по плановым показателям.

Булганин указывал, что на складах лежит новое неиспользуемое оборудование на 13 миллиардов рублей. Хрущев говорил, что на предприятиях не используется до 25 тысяч металлорезающих станков и тысячи всевозможных других машин при одновременной нужде в них на других предприятиях. Нужно думать, что процент неиспользования существующего оборудования после реформы возрастет, так как невозможно достигнуть внутрирайонной сопряженности, а районы будут еще больше разобщены, чем министерства, которые территориально всё же были расположены рядом в столицах.

«Министерства и ведомства в ряде случаев добивались строительства мелких электростанций», говорил Хрущев, «которые экономически невыгодны. Тысячи таких ведомственных электростанций дают до 30 процентов электроэнергии». Необходимо отметить, что постройки таких электростанций в прошлом поощрялись правительством, и мы приводили уже мнение Молотова по этому вопросу. Нужно предполагать, что строительство таких электростанций не прекратится, так как на этом будут настаивать совнархозы малоразвитых и неэлектрофицированных районов, и это во многих случаях, особенно комбинированного энерго- и теплоснабжения или возможности использования бросового топлива, экономически вполне оправдано. Проблема рациональной энергетики столь широка, что, конечно, не может быть уложена в примитивную однозначную схему и, во всяком случае, этот вопрос с реформой не связан.

Трудно предполагать, что новая реформа может сократить нерациональные перевозки, с которыми так долго и безуспешно борются. Районная ведомственность будет более живуча, чем министерская. Совнархоз для защиты своих предприятий сумеет доказать, что хотя имеются встречные перевозки, но они необходимы по техническим соображениям, особенно по соображениям специализации.

Совершенно непонятно, каким образом реформа принесет улучшение качества продукции! Контроль за качеством продукции больше, чем достаточен, и Хрущев даже недоволен этим. Вот что он сказал:

«По данным ЦСУ, потери от брака в промышленности за 1955 и 1956 годы составили около 6 миллиардов рублей. Это при том условии, что в союзной и республиканской промышленности имеются свыше 400 тысяч работников технического контроля. Контролеры и браковщики по отношению к основным производственным рабочим составляют, например, на Мичуринском заводе поршневых колен и на Первом подшипниковом заводе около 20%».

Хрущев надеется, что:

«Создание совнархозов даст возможность упорядочить материально-техническое снабжение и, вместо множества существующих в настоящее время в областях, краях и республиках параллельно действующих сбытовых и снабженческих контор и баз, создать единые органы, ведающие снабжением и сбытом».

Этот вопрос тесно связан с реформой, но больше нужно рассчитывать не на улучшение, а на ухудшение снабжения, так как отраслевые министерства могли более или менее обеспечить специализированное снабжение для своих предприятий со своих баз и подсобных предприятий, снабженческие базы совнархозов будут тонуть в номенклатурном море материалов и частей разнообразных по отраслям предприятий. Возродятся «толкачи» и не избежать простоев от недостатка снабжения. Хрущев говорил о прямых связях фабрик и заводов, о создании резервов сырья, металла, топлива и других материалов и изделий, он говорил о свободной продаже предприятиям, стройкам и организациям экономического района сырья материалов и изделий, потребляемых в небольших количествах. Это, конечно, могло бы принести некоторое улучшение в снабжении, но и эти неполные меры в жизнь проведены не будут, т. к. они затрагивают, хотя бы частично, но сущность системы.

Таким образом, улучшение строительного дела, лучшее использование автомашин и оборудования, сокращение нерациональных перевозок и сокращение брака в промышленности не связано с проводимой реформой, опасность дальнейшего строительства мелких электростанций еще увеличивается. Нет надлежащих доводов за улучшение материально-технического снабжения. Если не изменится система руководства, планирования и учета, то трудно ждать значительного сокращения управленческого аппарата.

Остается только одна положительная сторона реформы — приближение руководства к предприятиям. На это мы только укажем, что министерства остаются в столицах республик, совнархозы же не могут быть непосредственно у предприятий. Существовавшие же до сих пор тресты и комбинаты располагались, как правило, около предприятий.

Почему же вдруг понадобилась такая ломка, да еще спешная и среди года? Очевидно, главной причиной является опасение невыполнения 6-ой пятилетки. Недостатки сделались слишком наглядными. Какая-то реформа требуется. Остановились на проводимой. Но вряд ли и у авторов ее имеется полная уверенность в успехе, и во всяком случае единодушия в этом вопросе у руководства КПСС не было. Никто из членов президиума ЦК партии, кроме Хрущева, за реформу не выступал.

Можно привести два важных побочных довода за реформу. 1. В случае возникновения войны совнархозы могут стать при нужде самодовлеющими экономическими районами. При старой же системе уничтожение столиц вызвало бы полную дезорганизацию народного хозяйства.

2. Имеется страх перед интеллигенцией, которая в большом числе сосредоточилась в столицах. Люди сжились друг с другом. Стали смелее. Хорошо знают структуру власти и ее недостатки. Новая «гидра» поднимает голову. Проводить сталинскую чистку нет возможности, но произвести большую перегруппировку, удалить многих из столицы, а других сделать более послушными путем реформы можно.

Конечно, эти два довода — не решающие, но можно утверждать, что они явились тем дополнительным грузом, который перевесил чашу весов в сторону реформы. Так, в столице упорно говорят, что огромная концентрация интеллигенции в Москве опасна: она слишком много знает и слишком откровенно все критикует.

Чего стоит, например, приговор, который произнесен советской конструкторской деятельности, а с ней и всей системе, со стороны инженера Галицкого в романе «Не хлебом единым» В. Дудинцева. Он говорит, обращаясь к герою романа Лопаткину:

«Дмитрий Алексеевич! Я тут недавно статистикой занимался. Над нашей машиной трудились вы, Крехов с Антоновичем, ну и немножко я. Из сорока восьми узлов не пошел только один узел. Мы ахнули — всего только два процента! Девяносто восемь уложили в мишень! А над машиной Гипролита трудился целый институт. Два института! Академик, три доктора, два кандидата и целый отдел инженеров! Первую Авдиевскую машину сделали — полмиллиона затратили, и трубы вышли дороже, чем при ручном способе. На балансе завода повисли два миллиона убытка. Во второй раз полтора миллиона пустили в дело, и опять не вышло. Перерасход чугуна! А ведь разрабатывают, совещаются, обсуждают. Все солидно, с поклоном в сторону авторитетов. Тридцать три богатыря решают проблему, а у нас только четыре — и наша берет! Вот вам тема для диссертации — что такое монополия, почему все валится у нее из рук и чем она отличается от настоящего коллектива».

Всем известно, как в СССР медленно меняются конструкции автомобилей, тракторов, машин, станков и приборов. На всем лежит рука окостенения.

Весьма спорно, например, является ли реформа упрощением или усложнением управления, так как во главе остается Совет Министров СССР, Госплан СССР и министр финансов СССР. В Совет Министров СССР входят все председатели советов министров республик, которым некогда будет работать у себя на месте. По закону заместители председателя Госплана СССР и союзных республик и начальники отделов их могут быть возведены в ранги министров. Указом Президиума Верховного Совета СССР возведены в ранг министра СССР первый заместитель председателя Госплана А. Косыгин, заместитель председателя Госплана Хруничев, В. Зотов, И. Строкин и начальники отделов Госплана — А. Засядько, Е. Новоселов и Г. Хламов. Министры — без министерств!

То же будет происходить и в союзных республиках. Но там, кроме того, на основании республиканских законов, председатели Советов народного хозяйства могут вводиться в ранг министров и входить в состав совета министра республики. В РСФСР, например, — 70 председателей совета народного хозяйства. Очевидно, многие из них будут на правах министерств. Таким образом, число министров в целом вряд ли от реформы убавится.

Реформа прошла под флагом борьбы партийного аппарата с хозяйственным. Контроль партии над промышленностью усилился. Вряд ли директора будут этим довольны. Во время обсуждения реформы много говорилось о правах

директора (и мастера), но все пока ограничилось разговорами — права еще ограничались партийным контролем.

Реформа затронула сотни тысяч людей. Многие из них не только переменяли должность, но и вынуждены покидать насиженные квартиры в столицах и ехать в глубокую провинцию. Спешка, обычная неразбериха. Недовольных много. Пересудов еще больше.



Прошли месяцы после проведения реформы. И уже со всей наглядностью обнаруживаются всё те же пороки. Ведомственность отраслевого министерства сменилась еще более худшей ведомственностью территориального совнархоза.

Со всех сторон несутся жалобы о невыполненных договорных обязательствах. Уже возникли серьезные трудности в материально-техническом снабжении. Ослабла дисциплина по поставкам. С мест поступают тревожные сигналы о простоях, что еще более усилится при перестройке снабженческих органов в начале 1958 года. Срываются планы освоения новых машин. Наладившееся до известной степени кооперирование ломается из-за возникновения новых комбинаций. Происходят самовольные отказы от кооперативных связей. Нарушается плановое снабжение товарами широкого потребления за счет удовлетворения в первую очередь своего района.

Практика подтвердила опасения о распылении научных, проектных и руководящих технических сил. Многие специалисты не поехали на места. Для других сузился круг работы. Идут жалобы на недостаток специалистов на местах.

Бюрократизм и канцелярщина при возникшей всеобщей путанице и неразберихе усиливается с каждым днем. Все деловое тонет в бумажных потоках. Началось новое расширение штатов. Растет число подотчетных организаций. Растут формы отчетности.

Нет нужды перечислять дальнейшие результаты «новой» реформы. Наши предположения, высказанные еще в дни, когда реформа только начинала входить в практику жизни (эта статья была написана именно тогда), уже во многом оправдались. В заключение нужно сказать только одно: для страны эта очередная затея власти будет стоить и уже стоит новые миллиарды трудовых народных денег, а сам народ еще лишний раз убедится (в который?!), что не в реформах дело, а в полной смене существующей хозяйственной системы.

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ И ЖУРНАЛАХ

В ответ на книгу Краснова

На такую книгу, как «Незабываемое» Н. Н. Краснова младшего, внука генерала Краснова, недостаточно отозваться рецензией. Книга написана не во имя литературного успеха, а во имя судьбы родины. Участием в ее судьбе и надо отозваться. Краснов открыл не только страдания русских людей и жестокость советской власти, но и пройденный путь исторических потрясений, оголивших в человеке и мученика, и зверя, и героя. Эта книга показала: в какой преисподней порока и грубости может выжить дух человека; что за мнимой гуманностью и в культурной традиции скрывается иногда предательство; насколько человек близок и к добру и к злу.

Голос Краснова, голос давно нами не слышанный, голос чистый, не затемненный ни мстостью, ни личной горечью. Это не призыв к сведению счетов с врагом, а призыв одолеть его. Зов оглянуться на всё, всё понять и учесть, и пойти с верой навстречу грядущему. Автор говорит не от себя, а от народа, долю которого сам испытал, выжил и вырвался на свободу не с тем, чтобы насладиться ею, а чтобы открыто и зычно сказать миру правду за тех, кто вынужден молчать. Правду о том, что сорокалетний гнет не сломил жизненной силы русского народа, и не оправдался расчет тиранов на то, что в рабстве умрет дух свободы, что новое поколение примет рабство за естественную основу государства, будет развиваться по линии «соцреализма» и славить его.

Н. Н. Краснов. Незабываемое. Изд-во «Русская Жизнь», Сан-Франциско, 1957 г.

«Железный занавес» был спущен не только между СССР и внешним миром, но и в сознании каждого, выявив себя в недоверии человека к своей человечности. Но «Железный занавес» исторически не осуществим: запрудить жизнь доктринами и сдерживать насилием можно только до поры до времени. Краснов убежден и убеждает, что срок этот истек: «До смерти Сталина и Берии народ побуждали кричать «ура!» вместо «Караул», пишет он, и люди кричали «Ура» потому, что на зов помощи никто не отзывался».

«Уход со сцены такой преступной, но и такой большой фигуры, как Сталин, действительно в своем кулаке державшего и народ и партию, пустое место Берии, который достойно закончил плеяду типов от Дзержинского до своего преемника Ежова, поколебали, казалось бы незыблемые устои коммунистического террора. Ему пришлось отступить», пишет Краснов.

Несмотря на то, что нервные центры продолжают оставаться в руках партии, в самом организме страны идет брожение. Контроль нарушен. Оппозиция размывает запруды и тревожит самоуверенность власти, вынуждая ее к отступлению и заискиванию не только перед народом в целом, но и даже перед заключенными, (включая «контриков») бывшими еще недавно безропотными рабами «Исправительно-трудовых лагерей». Страх правительства и готовность идти на попятки выразились в таких новшествах, как разрешение «Совета актива» при каждом лагере.

«В него выбирали 12-15 человек заключенных открытым голосованием, и

они становились посредниками между начальством и нами. Выборы проводились в клубе, при большом стечении заключенных. Кандидатуры МВД терпели полный крах... Начальство молчало... в общем все было фиктивно: «Совет актива» мог передавать желаний, жалобы, но решающего голоса не имел».

Говорилось — «чем бы дитя ни тешилось... лишь бы работало». Но 20 миллионов работавших в ИТЛ, чьим потом и кровью построена мощь родины, не безобидное «дитя». Оно осознало, в каком долгу перед ним государство, и пришло время «хозяевам» ответить за всё содеянное. Сорок лет мытарств открыли глаза на многое и закаляли в борьбе за существование. Лагерникам Катюни и Воркуты после пережитого ада ни терять, ни бояться нечего. Они восстали. Сила этих восстаний была не разрушительной, а созидательной. Это был не отказ от работы, а полная готовность трудиться, но добровольно, не в качестве рабов, а в качестве строителей родины, которой народ гордится и в будущее которой верит. Показательно, что как только были «расконвоированы» бригады заключенных, трудоспособность возросла в несколько раз. Краснов приводит следующую статистику:

20 подконвойных бригад	работали	на 107%
10 бесконвойных	„	„ 270%

Перемены произошли не только в обращении с заключенными, но и в настроении людей, находящихся на воле, встречающих на улицах ведомых лагерников. Вместо злобы к «врагам народа» — соболезнование и даже угрозы по адресу работодателей.

Главной надеждой и опорой советского правительства всегда было молодое поколение, выросшее под красным знаменем и под звуки «Мы кузнецы и меч наш — молот», знавшие свое прошлое только искаженным пропагандой, рассчитанной на темную, задавленную страхом, разучившуюся думать массу. Но для проведения в жизнь своих проектов — внедрения марксизма-ленинизма в сознание народа и индустриализации стра-

ны — советское правительство дало массам хорошее образование, в полной уверенности, что учеба сослужит службу прогрессу страны, в форме отлитой самой властью. Народ же, получивший образование, читая и думая, стал понимать то, что понимать человеку в СССР не полагается. Русская масса, многие годы поглощенная заботой о том, как «достать гнилую кочерыжку калусты или горсточку соленой, вонючей камсы», довольствовалась очень немногим. Но едва освободившись от самых насущных нужд, она «начинает размышлять, и размышления заводят далеко. Гораздо дальше, чем этого хотели бы Никита Хрущев, весь ЦК, всё МВД», пишет Краснов. Вернуться к закреплению уже нельзя. Приходится идти по пути дальнейших уступок, тем открывая дорогу новым требованиям. Правительству СССР нужно «сосуществовать» с народом для укрепления тыла в случае войны, народу же нужен мир и «воля», и он, не задумываясь, пользуется сегодняшним днем, принимая его из кровавых лап своих «подобреших» правителей. Краснов считает, что если в России изъять коммунизм, то она «окажется страной, сделавшей гигантский шаг вперед».

«Не режим ведет к прогрессу, а народ тянется к нему. Прогресс же является одним из самых страшных врагов коммунизма. Имеющий очи — видит. Имеющий уши — слышит. Народ — слышит, и видит, и понимает».

Сталинская смена, валкая и смятенная внутренними партийными раздорами и борьбой за власть новоявленных претендентов, не из гуманности, конечно, а со страху идет на уступки, рассчитывая этим поднять свой международный престиж. В этих условиях крепнет национальная слитность всех слоев населения, от хлебороба до профессора и поэта, и вера, что будущее родины принадлежит народу.

«Отдушина... сразу же родила обильный плод... Русский гений, сдерживаемый красной уздой в течение десятилетий, прорвался и пёр наружу», пишет Краснов.

Разбуженное национальное чувство вернулось в сознание народа во время войны с Гитлером, когда самому Сталину пришлось к нему прибегнуть и для

патриотического подъема дать молодежи заглянуть в славную историю русского прошлого. Не рабы отстояли Сталинград, а свободные люди, испытанные исконной верой и любовью к родине. В Берлин входила русская армия, как полноправный член семьи союзников — ненавистников рабства. Кроме того, увидев во время войны жизнь других стран и придя в соприкосновение с иностранцами, русские люди ощутили всю глубину лжи советской пропаганды. Правда вступила в свои права. Краснов считает, что «монопольным» в СССР сейчас является только национальное единство народа. «Под красным плащом» автор книги обрел Россию, молодую и героическую, не ждущую освобождения от советского ига извне.

«Если освободиться будем, то сами и для себя», говорит народ. «Кому Россия нужна? Только нам — русачам».

Эта гордая независимость обладает глубокими корнями. Не только рознь в историческом прошлом, в культуре и государственном развитии между Россией и Западом лежит на пути единства, но и весь уклон сознания и темперамента русского человека чужд западному. «Славянская душа» (*âme slave*) была, есть и будет диכוиной для них; увлекательной в плане искусства, но неприемлемой в плане жизни. Союз во время последней мировой войны был спаян общей ненавистью к Гитлеру, и вызван страхом внешней опасности. Как только опасность миновала, укрепленная победой власть СССР обратилась в нового врага Запада. Фронт «холодной войны» был открыт, а опротивительность договоров была использована Сталиным для подрыва временно-миролюбивых отношений между русским народом и Западом. Требования Сталина выдать тысячи русских военнопленных («врагов народа») на расправу коммунистическому правительству Краснов называет «актом дальнего прицела». Предательством в Лиенце союзники не только нарушили свою гуманистическую традицию, но и запятнали международную репутацию, выдав верящих в их благородство русских патриотов на смерть и на каторгу правительству, в самой основе враждебному самим же союзникам. Советская власть казнила только главари, остальным смертный

приговор был заменен кому «сроком», а кому и бессрочной каторгой в Исправительно-трудовых лагерях в расчете на то, что обманутые мученики откроют остальным горькую правду о безжалостном и вероломном поступке союзников. Так правительство получило и даровой труд и самую действенную пропаганду для «холодной войны» против Запада, тоже даровую. С большой горечью описывает Краснов пережитое в Лиенце. Никакая грубость на родине от «подсоветских», но «своих», не оставила в сознании такого оскорбления и негодования, как жестокое равнодушие английского командного состава, выполнявшего требования Сталина. К этим трудно заживающим впечатлениям прибавляется и рознь социального состояния и интересов в настоящем: в то время как русский народ в глубинах сознания обретает веру в свою силу и рвется из-под коммунистического ига, готовый довольствоваться хотя бы насущным, Запад — зрелый, полноправный и благополучный — ищет только сохранить свой *status quo* и поглощен материалистическим расчетом. Иначе говоря, движение молодой России завоевательное, а у Запада — оборонительное. Цель у обеих сторон — одна: отстоять Человека от обезчеловечивания, но фазы движения и исторические условия — разные.

Идейная воспламененность русской молодежи, начинающей одолевать сорокалетнюю неволю, чужда западной массе, прижившейся к свободе и благополучию, как к неотъемлемым явлениям их жизни. Для них свобода перестала быть мечтой, побуждающей к борьбе и жертвам. Интересы большинства преимущественно поглощены материальными успехами. Индустриализация на Западе (особенно в США) революционна только в лаборатории. Она вошла в фазу вращающаяся в быт, где она является уже чисто коммерческим осуществлением. Ее развитие зависит от массового спроса, и потому она искусственно создает неограниченные материальные потребности, вытесняя тем из сознания широкой публики другие интересы.

Краснов, выросший на Западе, подчеркивает отличие переживаний молодой России от Запада:

«Я не думаю, что в любой стране, где

масса развлечений, свободная и уютная жизнь, люди так стремились бы к само-усовершенствованию, как в СССР».

Советская власть эту рознь с Западом всячески растравляет, боясь единения русского народа с другими свободными народами, и, по словам Краснова, «делает всё, чтобы народ забыл о помощи, которую Америка оказывала в годы голода и войны. Америка — пугало. Жупел войны, захватчики, торгаши, капиталистические акулы. Агрессоры... Кремлевскому синедриону нужно время и нужна опора... Они должны укрепить тыл, усмирить народ... внушить ему, что внешний мир, по ту сторону границы, кишит... заклятыми врагами».

Не один Краснов, а все понимают, что единение русского народа с Западом гибельно для расшатанного коммунистического тоталитаризма.

«Русский народ в СССР не желает, войны. Он в своем большинстве верит в возможность победы Запада на всех фронтах «холодной войны», пишет Краснов, но тут же предостерегает от ошибки, сделанной Гитлером: «Единственная точка соприкосновения народа с режимом возможна лишь тогда, когда народ извне ударят по патриотизму и национализму, в широком российском смысле этого слова. Тогда, в противовес всякой логике, народ добровольно скажет насильственно вколотенную в его мозги фразу: «А у нас всё лучше, чем у вас».

Для предотвращения такой роковой для всего мира ошибки, прежде всего, необходимо, чтобы в сознании Запада образ русского народа не сливался с «Красным Кремлем», а выделялся на фоне сорокалетнего поражения как образ мученика, работника и борца с ним. И одновременно необходимо парализовать клевету советского правительства на Запад, но не подобострастным воспеванием преимуществ и умалчиванием недостатков, а справедливой критикой их и полным признанием при этом ценностей и глубоко укорененных традиций гуманизма, мало заметных со стороны, на поверхности жизни, скрытых за внешностью благополучного существования, но от которых никто на Западе не пожелает отказаться. Даже те, кто живет «хлебом единым», идут умирать «за свободу». Здесь открывается возмож-

ность для боя русской эмиграции, рассеянной по всему миру, возможность стать толкователями того, что усиленно скрывается от русского народа, а именно, что культурный авангард Запада, глубоко встревоженный материалистическим уклоном сознания широких масс и его последствиями, открыто восстает против этого направления и пытается произвести сдвиг интересов в сторону, совпадающую с устремлениями молодой России. Вот это думающее и ведущее меньшинство и может завоевать доверие русского народа. Но, к сожалению, только небольшая часть российской эмиграции связана с ним. Большинство живет и судит Запад по обывательской массе и втягивается в ее существование.

«Россия вспахана и перепахана кровавыми коммунистическими пахарями... подготовлена именно как пахоть для посева мудрого и справедливого... Ни одна страна на нашей планете не воспринимает сегодня новый, разумный и демократический режим, как Россия... Молодая Россия ищет чистые, особо светлые пути... Думаю, что пока мир, свободный мир, не заинтересуется, не заглянет, не познакожится с этой частью народа в СССР, он не поймет, какими путями нужно идти для своего собственного спасения и где нужно искать своего потенциального союзника», — пишет Краснов.

Ясно и то, что укорененные традиции свободного мира обновились бы и ожили, соприкоснувшись с верой и идейностью духовно свободных, хотя физически еще закрепощенных русских борцов, и вместе могли бы отстаивать Человека от бесчеловечных доктрин и насилия.

Увы, кроме недоверия к Западу существует недоверие молодой России и к российской эмиграции, а также губительная вражда в среде самих эмигрантов. Об этом Краснов пишет резко:

«Российская политическая эмиграция, если она хочет считать себя таковой, должна встать на общий, единый путь абсолютного антикоммунизма... должна вести одним фронтом пропаганду защиты интересов маленьких Иванов и Петров, слитых в одно монолитное слово «русский народ»... Россия, закрепощенная в проволоках СССР, осталась Россией, и никто там разрываться на

части, дробиться и делиться не собирается... Все разделения русской эмиграции на крайние, средние и просто правых, на «левеющих» и левых, на «сепаратистов», свободных украинцев или вольных сибирцев вызывают ожесточенное негодование».

Доверие и уважение к героической фигуре автора «Незабываемого» заставляет выслушать эти упреки, задуматься и признать, что за сорок лет эмиграция больше ссорилась, чем единилась, и принесла много вреда общему делу отсутствием дальновидности, исторического масштаба и эмоциональной дисциплины. А именно эти качества отличали весь род Красновых. Если восьмидесятилетнему атаману Краснову еще в 1947 г. было ясно, что «реки вспять не идут», и он взошел на коммунистический эшафот с

крепкой и радостной верой в то, что «Россия была и будет, не в боярском наряде, а в сермяге и лаптях, но она не умрет», то неужели теперь, когда испытанная сорокалетними мучениями она открывает из-под красного плаща свое молодое и героическое лицо миру, не лучше стать ее ходатаем, чем тешить себя несбыточными мечтами о возвращении минувшего или, сидя на чужбине, в безопасности, измышлять, как перекрыть будущее родины на «себе-угодный» образец? Любовь к народу в прошлом, без любви к его будущему, не имеет жизненной силы. Нарушенная связь с ним может восстановиться только любовью к нему в настоящем.

К этому зовет книга Краснова младшего — «Незабываемое».

Николай Армазов

Об Адамовиче-критике

По поводу книги «Одиночество и свобода»

Не так давно издательство имени Чехова выпустило книгу Г. В. Адамовича «Одиночество и свобода». Книга эта имела вообще «хорошую прессу». Это была, кажется, первая настоящая книга, целиком посвященная русской зарубежной (эмигрантской) литературе. А также — первый прижизненно изданный видным эмигрантским критиком сборник критических статей: до войны ни самому Адамовичу, ни В. Ф. Ходасевичу, ни А. Л. Бему, ни В. В. Вейдле — называю наиболее видных и влиятельных критиков, но это относится и к другим — не удалось собрать в книгу хотя бы часть своих критических статей, хотя многие из них несомненно того заслуживали, и в нормальных условиях в России это давно было бы сделано. Только совсем недавно то же издательство имени Чехова выпустило посмертный сборник избранных критических статей Ходасевича, ку-

да вошли, впрочем, и его литературные воспоминания.

Книга Адамовича составила по большей части из ранее напечатанных, но часто значительно переработанных статей. Две из них носят общий характер: открывающая книгу статья «Одиночество и свобода» (в ней как бы задана в заглавии и тема самой книги, и главные темы эмигрантской литературы, как ее понимает Адамович) и замыкающая ее статья «Сомнения и надежды». В промежутке даны критические характеристики пятнадцати эмигрантских писателей — в большинстве «старших» (Мережковского, Шмелева, Бунина, Алданова, Зинаиды Гиппиус, Ремизова, Бориса Зайцева, Тэффи, Куприна, Вячеслава Иванова и Льва Шестова — последним посвящен общий и как бы «сравнительный» этюд). Из молодых находящихся в живых писателей отдельного этюда удостоился лишь Владимир Набоков-Сирин, которого, надо сказать, Адамович, из всех видных зарубежных критиков, всех дольше не замечал (причем в 1934 г., со-

Г. В. Адамович. Одиночество и свобода. Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1956.

вершенно вразрез с фактами, писал: «О Сирине наша критика до сих пор ничего еще не сказала. Дело ограничилось лишь несколькими заметками «восклицательного» характера», и к которому — после того, как он все-таки «заметил» его — отношение его всегда было двойственным: смесью удивления и отталкивания. В последнем этюде в книге объединены три писателя младшего поколения эмиграции — все три покойники: Борис Поплавский, Юрий Фельзен и Анатолий Штейгер.

Адамович как критик, как ценитель литературы пользовался и пользуется в эмиграции большим весом и влиянием. К его статьям — до войны в «Звене», в «Последних новостях», в «Современных записках», в «Числах», во «Встречах»; после войны в просоветских «Русских новостях», потом в «Новом Русском Слове», в «Опытах», в «Новом журнале», в «Русской мысли» — прислушивались, по ним равнялись, особенно в Париже. С Адамовичем многие не соглашались и не соглашались, с ним спорили и спорят, но оценки его как критика мне в печати не приходилось встречать, если не считать «Цветника» Марины Цветаевой, о котором ниже. Чему приписать его влияние? Верно, что его критические статьи об отдельных писателях — как настоящего, так и прошлого — почти всегда читаются с интересом. Из них всегда можно что-то извлечь, в них часто бывают верные, не вполне, может быть, оригинальные, но удачно и метко выраженные мысли. Но критике Адамовича недостает твердой историко-теоретической основы, и в этом среди эмигрантских критиков превосходит его перед ним таких критиков, как покойные В. Ф. Ходасевич и А. Л. Бем (последний, вероятно, совсем неизвестен новым эмигрантам — он был и ученым литературоведом, и критиком текущей литературы). Этим же превосходит Адамовича и В. В. Вейдле. Адамович — крайний импрессионист, с большой любовью к парадоксам. Того, кто внимательно следил за его критической деятельностью в эмиграции (а именно в эмиграции он стал критиком, выдвинувшись сначала в «Звене», а потом в «Последних новостях» и затем распространив свою деятельность на другие издания), не мо-

гут не поражать капризный субъективизм и непостоянство его суждений. Сейчас мало кто даже из старой эмиграции помнит, вероятно, (но едва ли забыл об этом сам Адамович), что в выходящем в 1926 г. журнале «Благонамеренный»*) была напечатана статья Марины Цветаевой «Поэт о критике», в которой наряду с мыслями спорными и парадоксальными было много верных и интересных. В виде приложения к статье Цветаева дала под названием «Цветник» подбор выдержек из критических статей Адамовича в «Звене» за 1925 год. Подбор этот должен был иллюстрировать и последовательность, и легковесность его критических высказываний. Не буду приводить примеров, но скажу, что в «антологии» Цветаевой из Адамовича было действительно много любопытного и неожиданного. Но еще более показательный и причудливый «букет» из критических отзывов Адамовича можно было бы составить, если бы собрать его высказывания об одних и тех же писателях на протяжении всего эмигрантского периода. Мало кто высказывался так противоречиво — порой диаметрально противоположно — о Пушкине (то сдаяая его в архив, то провозглашая его «беспорность», то говоря о «приблизительности» его стихов, то о их совершенстве), о Блоке, о Есенине, о Гумилеве. Возьмем для примера отзывы Адамовича о Есенине. В 1925 г. он писал: «Сейчас повсюду восхваляется Есенин, дряблый, вялый, приторный, слащавый стихотворец». И еще: «...Ничего русской поэзии Есенин не дал. Нельзя же считать вкладом в нее «Исповедь хулигана» или смехотворного «Пугачева»... Безотносительно же это до крайности скудная поэзия, жалкая и беспомощная» (за неимением под рукой «Звена» даю эти цитаты по статье Цве-

*) Журнал этот, называвший себя «журналом литературной культуры», выходил в Брюсселе под редакцией кн. Д. А. Шаховского, тогда молодого поэта и студента Лувенского университета, а ныне епископа Сан-Францисского. В журнале близкое участие принимали Ремизов и Цветаева. Сотрудничал в нем и кн. Д. П. Святополк-Мирский. Вышло всего два номера.

таевой). Писалось это, если и не после смерти Есенина, то в самом конце его творческого пути. А в 1950 г. тот же Адамович, противопоставляя Есенина Гумилеву, стихов которого он, мол, не любит (раньше он к Гумилеву относился иначе), писал в «Новом Русском Слове» (17 декабря 1950 г.): «Я очень люблю стихи Есенина (не все, главным образом последние) ... Есть в есенинской певучей поэзии прелесть незабываемая, неотразимая, если даже и признать, что были у нас в последние десятилетия поэты более замечательные и значительные».

Конечно, в ответ на это можно сказать, что критик волен менять свои мнения, что на протяжении 25 лет можно изменить взгляд на того или иного поэта, что таких примеров было много (хотя бы Белинский, причем в его случае срок был гораздо меньше). Надо заметить, однако, что столь коренное изменение взгляда на поэзию одного поэта («дряблый, вялый, приторный, слащавый стихотворец» и — «прелесть незабываемая, неотразимая») у человека зрелого, каким был в 1925 г. Адамович, к тому же еще поэта, автора двух хороших книг стихов, подразумевала бы какой-то глубокий внутренний переворот, изменение всего подхода к поэзии, всего внутреннего душевного строя или мировоззрения (так оно и было у Белинского). Это должно было бы отразиться на всех писаниях Адамовича, на всех его оценках. Но этого мы не видим и не чувствуем. Адамович с такой же легкостью менял свои оценки Есенина, Пушкина или Блока, с какой он в 1945 г. от последовательного антибольшевизма перешел к славословию Сталина (см. его французскую книгу «L'autre patrie»), а в 1949 г. опять стал антибольшевиком. Но его литературные оценки при этом не определялись даже этой политической сменой вех — и то и другое диктовалось капризом, прихотью. Да и «Цветник» Цветаевой показывает, что Адамович менял свои литературные мнения на протяжении гораздо более короткого времени. О том же свидетельствуют и некоторые более недавние высказывания. В последней книге «Опытов» (VII) имеется суждение о Есенине, плохо вяжущееся со словами о «незабываемой и неотразимой прелесть», сказанными

всего за шесть лет до того («...Мандельштам, у которого в одном пальце было больше мастерства, ума, чутья, чем во всем, что Есенин когда-либо написал и способен был написать...»).

У читателя при таких условиях не может не создаться впечатления каприза, легкомысленной прихоти. И сразу пропадает доверие к Адамовичу как критику. Недоверие усиливается, когда наряду с оценками тонкими и меткими натывается на такие, в которых Адамович попадает прямо пальцем в небо, — например, когда он заявляет на основании одного-двух стихотворений, что к поэзии В. Набокова «без Пастернака трудно подойти». С таким же успехом можно было бы говорить о близости Набокова к Маяковскому на основании стихотворения «О правителях» («Вы будете (как иногда говорится) смеяться, вы будете (как ясновидцы говорят) хохотать, господа...») ... Дело тут не в близости к Пастернаку или Маяковскому, а в необыкновенном даре переимчивости, которым обладает Набоков. Это одна из характерных черт его литературной физиономии, и с этим связано его тонкое искусство пародии.

После этого отдельные меткие и верные замечания Адамовича начинают казаться читателю более или менее случайными. Адамович при этом критик не только субъективный и капризный, но и небрежный. В этюде о Шмелеве, напечатанном в книге «Одиночество и свобода», своими рассуждениями о «Пути небесных» он выдает, что не потрудились дочитать до конца этот роман или же писал свою статью еще давно, до выхода второго тома, и не позаботился о пересмотре ее перед включением в книгу, а потому героиня шмелевского романа, Даринька, кончает у него монастырем. На редкость небрежен Адамович в цитатах: на стр. 30 книги у него ошибка в цитате из Блока, на стр. 39 — в знаменитой строчке из «Смерти» Баратынского, на стр. 147 — в цитате из Пушкина (о восторге и вдохновении), а на стр. 201 — из Мандельштама. Совершенно напрасно — в оправдание себе и З. Н. Гиппиус — Адамович называет стихотворение Цветаевой, которое было забраковано ими на конкурсе «Звена», «маловразуми-

тельным»: стихотворение это, впоследствии напечатанное, принадлежит как раз к простым и удобопонятным стихам Цветаевой. Из фактических ошибок Адамовича следует еще отметить, что он напрасно похоронил К. И. Зайцева (о котором он говорит, как об авторе книги о Бунине): став священником во время войны, а после войны приняв постриг, К. И. Зайцев проживает сейчас в Соединенных Штатах, в русском монастыре в Джорданвилле, под именем архимандрита Константина.

Со многими отдельными суждениями Адамовича легко соглашаешься, но это в большинстве случаев суждения мало оригинальные, более или менее принятые — наново (и часто удачно) формулированное, отстоявшееся общее мнение, которому Адамович — надо отдать ему справедливость — умеет придать видимость оригинальности. Зато некоторые другие вызывают на резкий отпор — например, крайне несправедливый отзыв о стихах Гиппиус и — попутно — Федора Сологуба: перечитав недавно «Сияния» Гиппиус, я никак не могу согласиться с хлесткой формулой Адамовича: «стихи ее извиваются в судорогах как личинки бабочек, которым полет обещан, но еще недоступен». А уж как далеко от истины такое суждение о стихах Сологуба: «сколько в них воды, и насколько ближе их журчанье к одностонно-унылому шуму крана, который забыли закрыть, чем к живому плеску ручья!» — не стоит и говорить. Впрочем, читая такие суждения, читатель невольно вспоминает «неотразимую прелесть» «вялого, дряблого» Есенина и спрашивает себя, что скажет о Сологубе Адамович через пять или десять лет.

Бьющим мимо цели надо признать определение Набокова как «дитяти эмиграции» и «певца беспечности». Спорным кажется и мнение о преобладании в творчестве Набокова темы смерти: более правильным представляется мне высказанное в свое время Ходасевичем мнение о том, что Набоков одержим темой творчества. Впрочем тут же, на стр. 222, Адамович дает довольно удачную общую характеристику Набокова (не слишком оригинальную).

Не буду вступать в полемику с Адамовичем по поводу его характеристики Бориса Поплавского: знаю, что в своей оценке покойного Поплавского он не один, а в весьма хорошем и авторитетном обществе. Я лично никогда не мог понять восторгов перед Поплавским — по этому и удивления перед его «Дневником» (кстати, Адамович значительно упрощает характеристику этого дневника, далеко не однозначную у Бердяева, на которого обычно ссылаются в подтверждение значительности «Дневника» как религиозного документа: именно в отношении религиозности Поплавского Бердяев делал очень существенные оговорки). Считаю Поплавского слабым и беспомощным поэтом (непонятно, как Адамович может ставить его «выше Белого!») — проза его, прибавлю, интереснее — я всегда полагал, что в основании репутации Поплавского, непонятной для многих, кто его лично не знал, должен был лежать какой-то личный шарм, какая-то магия личности. Между тем Бердяев писал об «отсутствии личности» у Поплавского, а Адамович характеризует его как человека достаточно жестоко. Не знаю к тому же, помнит ли Адамович сейчас, что однажды назвал одну статью Поплавского «хвастливой истерикой», а отрывки из романа «Домой с небес» — «плохой литературой».

В начале вводной статьи к своей книге Адамович говорит о том, что «пора бы, кажется, подвести итоги» эмигрантской литературе. Но настоящих итогов его книга не подводит: для этого в ней слишком много столь свойственных Адамовичу как критику, оговорок и оговорочек. Правда, он приходит к выводу, что «эмигрантская литература вышла с честью из испытания», а советская не оправдала возлагавшихся на нее надежд (не знаящим того можно пояснить, что сам Адамович стал особенно интересоваться советской литературой и «возлагать надежды» на нее как раз когда она начала проявлять признаки упадка — в конце 20-х и начале 30-х годов). Но все это общие места, ради которых не стоило огород городить с «подведением итогов». Заглавие книги недостаточно оправдано ни содержанием вводной статьи,

ни содержанием всей книги. Конечно, и свобода эмигрантской литературы, и ее одиночество — тоже общие места. Показательно, что о свободе Адамович говорит в связи с Борисом Зайцевым, писателем ему как раз во многом далеким и чуждым («Зайцев один из тех, кому свобода действительно оказалась нужна, ибо никак, никакими способами, никакими уловками не мог бы он там выразить того, что говорит здесь»).

Рядом с мало оригинальными, но поданными с претензией на оригинальность, мыслями Адамовича одна представляется действительно оригинальной, но и довольно странной: главный свой упрек зарубежной литературе Адамович бросает за то, что она, мол, не сумела наладить диалог с Советской Россией. Как такой диалог мог и должен был быть налажен, и почему в его «неудаче» повинна эмиграция, Адамович не объясняет, и мысль его остается читателю неясной. Он пишет: «... жаль становится все-таки, что диалога с советской Россией в эмигрантской литературе не наладилось. Или хотя бы — монолога, туда обращенного, без надежды и расчета на внятный ответ, с одним лишь вычитыванием между строк в приходящих оттуда книгах». Такой монолог, по словам Адамовича, у Шмелева звучал яснее, чем у других, но это был «монолог бедный мыслью, богатый лишь чувством, слишком запальчивый, возмущенно-заносчивый, с постоянными срывами в обывательщину, совсем не то, одним словом, что услышать хотелось бы». Далее Адамович говорит, что «более высокий тон» был взят Мариной Цветаевой, у которой тоже был слышен этот монолог. Но на все это можно ответить, что для диалога нужен собеседник, а Советская Россия (и советская литература) таким свободным собеседником быть не могла. Монологом же в каком-то смысле — в смысле обращенности к России, о которой говорит Адамович — была почти вся эмигрантская литература, а не одни Шмелев и Цветаева. Какого диалога хотел

Адамович и какого диалога не получилось, остается неясным. Даже сейчас, когда в советской литературе начинают раздаваться свободные голоса, начинается звучать тема свободного творчества, едва ли можно мечтать о настоящем диалоге: в лучшем случае можно говорить о какой-то подспудной переключке отдельных голосов (и здесь я имею в виду не роман Дудинцева и другие образцы нынешней «обличительной» литературы, но это уже тема для отдельной статьи).

В заключительной главе книги Адамович вновь касается вопроса об отношении эмиграции к советской литературе и к Советской России вообще. И тут опять много неясного, недосказанного, двусмысленного. Вопросы без ответов или ответы с бесчисленными оговорками. Недосказанность — отличительная черта поэзии Адамовича, отмеченная когда-то Зинаидой Гиппиус. Но одно дело — поэзия, а другое — критика и публицистика, в пределы которой вторгается здесь Адамович. И у того, кто читал французскую книгу Адамовича, написанную им в период его советофильства, неизбежно возникает, в связи с последней главой его русской книги, множество вопросов к нему.

Об Адамовиче часто говорят как об ученике Иннокентия Анненского. Его критические этюды сравнивают с «Книгами отражений» Анненского. Возможно, что свой импрессионизм Адамович заимствовал у Анненского. Анненский — вершина русской импрессионистической критики. У него много художественских прозрений, но много и спорного, и неверного. Но это был вообще период преобладания импрессионизма в критике. После выучки у формалистов — даже если их взглядов целиком не принимать и не разделять — такой субъективный импрессионизм нас уже не удовлетворяет. В критике Адамовича нет ни теоретической «базы», ни исторического кругозора. И к тому же Адамович все-таки не Анненский!

Глеб Струве

„Завтра будет“

В 1945 году, при взятии Кенигсберга советскими войсками, автор Тэо Г. Клейн попал в плен.

Он рассказывает о страшных годах своего мытарства по советским лагерям. Простыми и правдивыми словами он говорит о том, что пережил он, что пережили его товарищи по несчастью.

«Не думайте, — сказал Клейн в личной беседе, — что я описал все. Нет! Действительность во много раз страшнее. Но если бы я высказал все виденное и пережитое мною, то читатель с ужасом отвернулся бы и, может быть, не дочитал бы мое повествование, в лучшем случае решив, что преувеличиваю. Ведь это так удобно — уммышленно закрывать глаза и не видеть, не слышать и не знать того, что «мешает» жить».

В этой книге перед нами проходят люди: русские и немцы. Люди отрицательные и положительные по складу души и характера.

Советский майор Тухарин. Когда-то сам сосланный и теперь занимающий пост коменданта лагеря. Он стоит в воротах, когда пленные выходят и возвращаются с работы. Изю дня в день он «убивает в своем сердце человека». Но этот на вид жестокий и неприступный майор Тухарин играет по вечерам на рояле Чайковского и Моцарта. И этот же грозный начальник тайно снабжает военнопленных свечами, чтобы они в день Рождества Христова смогли бы украсить свою бедную елку в бараке.

Лейтенант Стаканов, герой Советского Союза. Развязный, самодовольный, самоуверенный. Он верит в прогресс и мировую революцию: Но вот он входит в хату старушки-крестьянки, которую должен допросить по делу Клейна. В углу, завешенная мешком, висит икона. Лампадка лежит на полу. Старушка, испугавшись неожиданного посетителя, не успела спрятать ее — она выпала из трясущихся рук. Стаканов снимает шапку, нагибается, поднимает лампад-

ку и вешает ее на место. Он приподнял мешок и его не видно за ним. Что делает он там, в углу? Ему не были нужны ни церковь, ни Христос. Но, может быть, там, за этим засаленным мешком, он встретился со своей юностью, потерянной в огне и крови. Может быть в нем проснулась вдруг тоска по этой юности? Кто знает, что происходит в душе другого человека? Может быть иному нужна лишь уроненная на пол лампадка, чтобы потрясти его до глубочайших основ души? Пусть стакановы нарочитой грубостью и бахвальством стараются затушевать впечатление. Незримо попавшее семя оставило неизгладимый след и оно будет расти и развиваться вопреки всем стараниям искоренить его.

Таня — русская девушка. «Белочка» — так называл ее Клейн. Хрупкая и нежная, она работает вместе с ним на хлебозаводе. В редкие часы, во время перерыва в работе, судьба дарит ей краткое радужное счастье-мечту. Безысходную любовь, в начале которой уже притаилась разлука. Она никогда не краля — теперь «Белочка» крадет для несчастных военнопленных. При обыске у нее обнаруживается кулечек с крупой. Ее арестовывают — где-нибудь за проволокой кончается и ее жизнь.

Многие проходят перед нами в этой книге.

Молодой солдат немец, глаза которого видели смерть и убийства — но ни сердцем, ни разумом не понимая их. Мальчик-ребенок, в котором умерла надежда, в котором, если бы о нем не заботились товарищи, умерла бы и вера.

Старший лейтенант немец, желавший быть героем. Измученный пребыванием в изоляторе, он предает своих товарищей и подписывает все, что у него выматывают на допросе.

И вот потрясающая судьба женщины немки, прошедшей всю преисподнюю. Она голодна и в лохмотьях. Это жалкое существо — уже почти не женщина. Но все же она цепляется за жизнь. Она платит за этот остаток жизни горькой ценой, платит унижениями, своим изнуренным телом. Она живет одной надеж-

дой встретить без вести пропавшего мужа, который любовью и пониманием излечил бы душевные раны и помог бы ей забыть прошлое. У Клейна не хватает мужества разбить последнюю надежду несчастной, сказать ей, что муж ее давно погиб в лагере.

Дети! По дорогам, по городам и селам бредут бездомные, беспризорные дети. Судьба забросила их далеко от родины в чужую страну. Они плетутся истощенные, голодные и в лохмотьях, с глазами, познавшими все пороки и все низины человеческой души.

И Клейну хочется сказать: «Идите домой, дети!» Но он не решается. Они высмеют его, спросят: «Домой? Что это — дом? Куда это — домой?»

И Клейн думает: Я не имею права этого сказать. Мы все виноваты в их бесцельном скитании. Я виноват, и те, которые вместе со мной томятся за колючей проволокой. Виноваты и те, кто

сейчас ходят на свободе. Виноваты победители и побежденные. Мы все виноваты, умевшие мыслить и творившие то, что нам воспрещал разум. Но кто — кто искупит эту нашу общую вину перед этими детьми и перед человеком?

О многом говорит эта книга: о жестокостях и издевательствах, о мучениях, страданиях и тоске. Но все же — это книга о человечности. Книга, говорящая о том, что под грубой солдатской формой, что в каждом другом, чуждом тебе существе — бьется сердце человека. Придет день — они скинут с себя эту форму, и руки их будут творить то, что им повелевает сердце.

Книга Клейна призывает нас, несмотря на горе и страдания, к пониманию и человеколюбию.

И она непреклонно требует от нас: *Стать такими, чтобы мочь свободно, открыто и честно смотреть друг другу в глаза.*

М. Шведова

Первая веха

Научная дисциплина, которая бы изучала большевизм в целом как явление, еще не создана, хотя на Западе уже и написано много по истории КПСС, по социологии советского общества и другим «смежным» дисциплинам. В будущем, вероятно, без большевизмоведения не обойдется: слишком значительно это явление в судьбах всего человечества.

Рецензируемые нами «Очерки большевизмоведения» появились на свет раньше, чем успела издаться сама дисциплина как некая стройная система. В этом и заслуга и творческая драма авторов «очерков».

Заслуга их и заслуга немалая в том, что они, образно выражаясь, проторили первый путь (так когда-то Огюст Конт проложил первую тропу в социологию).

Очерки большевизмоведения. Под редакцией Р. Редлиха, Институт изучения СССР при НТС. Изд-во «Посев», Франкфурт на Майне, 1956 г.

Авторы сборника, по существу поставили проблему большевизмоведения как творческое задание для настоящих и будущих исследователей, и это не может не вызвать благодарного чувства: в мире науки, как известно, постановка проблемы не менее важна, чем ее решение.

Но если методологический фундамент труда определен («систематический анализ природы большевизма с точки зрения его отношения к ценностям»), то задание, воздвигнутое на этом фундаменте, не расчислено с той же тщательностью — и это несомненная драма авторов «очерков».

Слишком часто исследовательская мысль переплетается с публицистикой. Публицистикой высокого уровня, но всё-таки публицистикой, место которой — не в научном труде. Слишком много «лирических отступлений», и, наконец, целая глава («Советский человек»), чрезвычайно интересная, несмотря на всю свою спорность, тематически вообще выпада-

ет из сборника, поскольку рядовой гражданин в СССР — объект воздействия большевизма, но никак не его носитель, и, следовательно, к миру большевизма методологически не может быть причислен.

Сборник открывается главой «Большевистские мифы и фикции». Глава ценна не только подробным перечислением, характеристикой и классификацией мифов и фикций большевизма. Важен и вывод, к которому в итоге своего анализа приходят авторы: «лежащее в замысле большевизма упразднение свободы означает не перестройку, а упразднение убеждений». На примере мифов и фикций, в которые не верит никто — ни народ, ни сама власть, но которые, тем не менее, обязательны, это и показывается. Значение мифов и фикций, — в их гипнозе, в их способности парализовать (до известной степени) «верхний ярус» человеческого сознания.

Ту же, по существу, цель преследует и «советский язык» (глава II сборника), «никому до конца не понятный и никем еще в этом аспекте не исследованный». Дело здесь не столько в новом словотворчестве (авторы показывают, что большевистское словотворчество мало привилось в русском языке, а новые словообразования, как правило, не имеют непосредственной связи с большевизмом), сколько в преднамеренном обеднении словаря и в «переосмыслении уже несуществующих слов».

Нравственный облик большевизма (этой теме посвящена III глава) выводится авторами из основного замысла большевизма, как замысла тотального властвования. «Аморальность носителей большевизма носит автоматический, принудительный характер. Она больше не результат заблуждения, но необходимое следствие приверженности ко злу, которая автоматически охватила большевизм, как только принудительное властвование стало верховным предметом его деятельности»... «Этика большевистской культуры есть этика зла, искаженная лишь чрезмерной приверженностью к ценности принудительной власти... Поставленный перед добром и злом человек «капиталистической» культуры при прочих равных условиях всегда склонен сочувствовать добру, больше-

вик же — злу, ибо зло ближе ему духовно, созвучнее ему, симпатичнее ему (в первоначальном греческом смысле слова), ибо оно не противоречит его жизненному идеалу, смыслу и цели его существования, тогда как добро ему противоречит».

Главе «Советское общество» посвящена добрая треть книги (109 страниц из 299). Следует, тем не менее, признать, что в этой главе больше описательной публицистики (пусть и на высоком уровне), чем строгого анализа.

Но даже и в том виде, в каком она подана, данная глава описывает советское общество сталинской эпохи, а с тех пор, как известно, многое изменилось. Ослабели обручи страха. Наметился процесс распада советского «актива», которому XX съезд (разумеется, помимо воли его строителей, спохватившихся и забывших отбой) показал внутреннюю непрочность власти. В недрах самого советского общества пробудились какие-то новые силы, отчасти «реформистские», отчасти революционные.

Поэтому главу о советском обществе приходится принять как известного рода исторический материал.

«Перед внешним миром, а в значительной степени и перед самим собой, советский человек никогда не бывает открытвенен». Этим утверждением начинается глава «Советский человек», наиболее спорная в «Очерках», несмотря на весь интерес попытки обрисовать психику «советского человека». Прежде всего: существует ли «советский человек» в природе? Можно ли обобщать, выискивать «среднее пропорциональное», имея объектом наблюдения двести миллионов человек? Не повторяют ли авторы (хотя и невольно и с другими выводами) методологическую ошибку иностранцев, рассуждающих о «русской душе»?

Нам кажется, например, что то приведенное нами утверждение, с которого начинается глава «Советский человек» и которое предопределяет общий характер всей главы, навеяна авторам периодом ежовщины, хотя и тогда находились герои, поплатившиеся именно за свою откровенность, и таких героев было немало.

А что же сказать о «советском челове-

ке» теперь, когда сама казенная печать пестрит примерами «нездоровых» и даже «демагогических» высказываний? Когда конная милиция в Москве разгоняет толпу, собравшуюся перед Домом Писателя, где обсуждался нашумевший роман Дудинцева? О том, что данная глава и тематически выпадает из сборника, мы уже говорили.

И все-таки, несмотря на указанные не-

достатки, «Очерки большевизмоведения», — книга исключительно ценная. Ее нельзя читать без большого внутреннего волнения (ведь это первая вежа на впервые прокладываемой тропе!), без ощущения всей ее нужности, без чувства благодарности к ее авторам, из которых мы, как главных, назовем Н. И. Осипова, Р. Н. Редлиха и Л. Д. Ржевского.

А. Неймирок

Комедия в советском театре

Автор большого, недавно вышедшего в английском переводе, труда о «комедии» в советском театре, Петр Ершов, предсудителен указывает в своем предисловии, что книгу его не следует рассматривать как «историю комедии в советском театре, а лишь как материалы к таковой».

Следует однако отметить, что несмотря на все возникающие трудности, связанные с нахождением указанных материалов за «железным занавесом», а равно и совершающуюся на наших глазах постоянную эволюцию театра в СССР, автором приведено такое исчерпывающее количество примеров, что, вопреки чрезмерной скромности Петра Ершова, его работу можно с полным основанием признать не только вообще «историей» комедии в СССР, но и образцовой, к тому же долженствующей служить в дальнейшем надежным и точным источником для всякого интересующегося становлением и развитием комедийной литературы в СССР.

Правильно указывая, что всегда следует помнить о зависимости советской литературы от политики, Ершов начинает свою работу с эпохи «смеха на развалинах», как он метко характеризует первые годы после совершившейся революции, когда, естественно, не было места для настоящего веселья в теат-

ре. На обломках былой России тогда раздавался лишь изредка смех «красного рашника», преемника былого «деда-балагура» народных гуляний, который в стиле псевдонародных частушек и песенок насмеялся над Государственной Думой, Колчаком, Деникиным... Автор дает любопытное указание, что в Славянском отделе Нью-Йоркской Публичной библиотеки имеется экземпляр редкого издания на гектографе «Красного Райка», революционной сатиры в народных песнях, изданного, видимо, в 1920 году, из которого он и приводит много характерных цитат в своем труде.

Первым замечательным опытом новой «демократической и революционной пьесы», как ее определил памятный народный комиссар того времени Луначарский, явилась «Мистерия-Буфф» Владимира Маяковского, в которой он пытался дать — по собственному выражению — «Эпическое, героическое и сатирическое изображение эпохи». Подражавшая едва ли не стилю Аристофана пьеса, соединявшая элементы мистерии с элементами «буффа», в качестве действующих лиц выводила социальные группы, резко разделенные классы общества, противопоставляя их друг другу, и завершила все утопической картиной будущего благоденствия в коммунистическом государстве.

Шумные, ударные и подчас остроумные фразы Маяковского оказались затем большое влияние на агитационный характер постановок, имевших место в

дальнейшем, на те «агитки», которые стали очередной формой советского комедийного театра, проводя выбрасываемые партией лозунги во время определенных этапов (нэп, коллективизация, значение кооперации, борьба с религией и т. д.). Дошло до того, что К. Мазовский в «Оформлении быта», агитационной пьесе, написанной в 1927 г., вынужден был ополчиться против чрезмерного развития «агиток» и злоупотребления этим жанром, как бы невольно воскрешая в памяти слова Гоголя: «Над кем смеетесь — над собою смеетесь».

*

Правда, уже раньше замечалось стремление некоторых, помнивших еще заветы дореволюционной драматургии писателей, уйти от слишком простого и общедоступного жанра «агитки» и возродить настоящую комедию нравов, отчасти под влиянием стиля, вошедшего снова в славу Сухово-Кобылина. Новая власть теперь чувствовала его как пострадавшего от царского режима, забывая, что главным образом невзгоды этого драматурга связаны были с темным делом убийства его любовницы, обвинение в котором, так и недоказанное, все же повлекло довольно долгое предварительное заключение автора трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина».

Одной из первых попыток создать пьесу на тему не изжитых и после революции буржуазных нравов была комедия Иваншина: «Уединенный домик», поставленная в МОНО в 1921 г. Дальше Эрдман, воодушеваясь гротескным методом, осуществленным в постановке «Смерти Тарелкина», выводит «обывателей», приспособляющихся к новым порядкам. Едкая сатира на нэп и порожденных им ловких дельцов отразилась в пьесах «Воздушный пирог» Бориса Романова и «Товарищ Цацкин» Поповского, попутно однако высмеивающих и самую власть, потерявшую будто бы уверенность в том, чего же ей самой добиваться, и не знающую, что «проводить».

Жилищный вопрос служит мишенью язвительных речей, рождающихся в пьесе Шкваркина «Вредный элемент». И здесь, как в ряде других произведе-

ний той эпохи, допускавшей под высокой рукой Луначарского, бывшего тогда наркомом просвещения, известную свободу в творчестве советских писателей, одновременно с героями комедий бичевались и недостатки режима.

В «Миллионе трезаний» Потехин рассказывал о поисках запрятанного при революции сокровища, не найдя которое, герой вешается на люстре. И только в этот момент, обрывая ее, обнаруживает уже ненужный ему, да кстати, и не имеющий цены, клад в упраздненных царских деньгах... «Филькина грамота» Раздольского разыгрывалась в слоях контрреволюционно настроенных бандитов и воров, а «Совбарышня Нина» А. Воинова повествовала о некой слишком предприимчивой девице, гонимой за советскими директорами грестов и открыто оправдывавшей свое поведение такими правдивыми, но явно антисоветскими рассуждениями: «да разве вы не видите, что происходит кругом вас? Люди рвут еду друг у друга изо рта, братья готовы убить один другого, а вы толкуете о чести!»

Большими и всегда животрепещущими в СССР вопросами оставались проблема брака и связанные с ним проблемы материнства и «жилплощади», которые послужили в свою очередь для содержания многих пьес. Из них можно назвать «Победу жизни» Кашперовой, пользовавшуюся успехом не только в СССР, но и за границей, талантливо написанную пьесу Катаева: «Квадратура круга», и, наконец, тоже проникшую за «железный занавес» пьесу Шкваркина «Чужой ребенок». Все три откликаются на проблемы, не получившие ответа в советских условиях, где брак, материнство и атеизм как будто были изгнаны из числа «проклятых» вопросов, но на самом деле продолжали волновать молодежь, постоянно сталкивавшуюся с ними и искавшую их разрешения. Крайне характерны для понимания настроения умов молодежи тех лет в СССР с одной стороны — слова героя «Квадратуры круга», утверждавшего, что в конечном итоге «регистрация брака не может повредить делу революции», а с другой стороны — ехидный вопрос одного из персонажей «Чужого ребенка», утверждающего, что «по документам мы

все — атеисты, ну а как же обстоит это на самом деле?»

Своего рода сводку всех волновавших молодежь вопросов дал в едко сатирическом преломлении Маяковский в своей комедии — фантазии «Клоп», в 1928 г. Здесь он, нападая на «обывательщину», одновременно развернул и картину бедности горизонтов комсомольцев, их духовного убожества, отсутствие идеалов и завершил все убийственным для режима утверждением, что необходимо дать людям возможность жить своей жизнью.

После введения «социалистического реализма» (в 1934 г.) действующими лицами комедий, написанных «с благословения начальства» (Сталина) стали теперь директора трестов и заводов, спецы и стахановцы, увлекающие за собою массы рабочих. Таковы герои пьес: Анаглобели — «Хорошая жизнь», «Шляпы» — Плетнева, «Мобилизации чувств» — Базилевского, «Девушки нашей страны» — Микитенко, героической индустриальной комедии «Истребители» — Зинаиды Шалой, «Чудесного сплава» — Кирсона и др. Во всех этих «комедиях» речь идет о достижениях коммунизма, о преимуществах коллектива над индивидуумом, о счастье ощущать локоть соседа в общей работе, и еще — о работе, работе и только работе, которую с таким увлечением выполняют новые «чудо-богатыри» советского строя, для которых самая любовь позволительна лишь постольку, поскольку она помогает труду.

Постройка метро послужила содержанием для комедии Яновского «Столица» и пьесы Арбузова, в которой поются дифирамбы комсомолу. Строительство канала отобразилось в «Аристократах» Погодина, а колхозные начинания служат сюжетом для пьес «Трактористы» Помешникова и «Богатая невеста» — плода коллективного творчества авторов известных «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова и не менее известного Катаева. Любопытно отметить в этих пьесах суждения колхозных красавиц, расценивающих претендентов на их руку по успешности их продовольственной «выделки». Пьесы эти, хотя и называются комедиями, заключают в себе немало тра-

гического. Смех в них искусственно стараются вызвать балагуры-«замавторы», от имени автора указывающие, когда надо смеяться, или же введенные творцами этих пьес искажения в словах, областные речения, наконец, просто клоунады отдельных действующих лиц, прерывающих своими выходками нудные рассуждения о трудовых задачах и успехах.

Строго придерживаясь несколько искусственно введенного автором разделения жанров, П. Ершов в отдельной главе говорит о так называемых «лирических» комедиях, в которых разрешаются вопросы психологические, связанные с внутренней жизнью героев, претерпевающих известные переживания и перемены в психике. Главным представителем этого направления является Константин Финн, автор ряда пьес, в которых он показывал, как герой его — обычно представитель интеллигенции, уже советской — как бы пресытившись работой на будущие поколения, начинает мечтать о личной жизни, о непосредственном пользовании благами ее (напр., в пьесе «Вздор» — первом его детище, и в «Свидании»).

В военные годы, ради достижения победы, партией был разрешен и даже подогреваем патриотизм, были пущены в обращение имена былых героев русской истории, восстановлены ордена и прославление находившихся до того в пренебрежении подвигов Минина, Пожарского, Дмитрия Донского или Александра Невского. Но на творчество комедийных авторов новые веяния так и не успели сказаться. В 1946 г. Жданов снова призвал к порядку «товарищей писателей», которым он «напомнил» о необходимости усилить борьбу с «буржуазной идеологией», а в качестве героев пьес выводить положительные типы партийцев, помогая тем развитию «лучших черт характера советского человека».

Не мудрено, что при такой установке скудное вообще по качеству писание комедий сошло вовсе на-нет, как это и было признано советскими критиками, указывавшими, что «комедия окончательно захирела. Нет ни лирической комедии, ни комедии нравов, ни героической...»

Александр Шик

Гонители и гонимые

Название книги — «Мартиролог русских писателей» как-то сразу ассоциируется с судьбой наших писателей в последние десятилетия. Однако под заголовком указаны годы: «1700—1900». Итак, речь в книге, оказывается, идет о преследовании русских писателей в XVIII и XIX веках.

Предисловие к книге помечено 1956 годом. В связи с этим читатель невольно ожидает встретить современное исследование, но, читая книгу, он сразу наталкивается на своеобразную архаичность.

Так, если раньше слово писатель и обозначало вообще пишущего человека, то сегодня оно неразрывно связано с художественной литературой. У Лясковского же наряду с Пушкиным встречаем, например, философов как В. В. Лесевич, философов-публицистов как Г. В. Плеханов, публицистов-политиков как П. Н. Ткачев, историков как Н. И. Костомаров...

Далее, согласно Лясковскому, писатели преследовались у нас за «прогрессивное направление мысли». От этого термина так и веет радикальной интеллигенцией конца прошлого века, не имевшей прямого отношения к художественному творчеству, к большой проблематике нашей литературы (недаром, например, Гоголь, Тютчев, Достоевский остались ею непонятыми), как и не имеет отношения к этой духовной традиции и современные «прогрессисты» — попутчики коммунистического тоталитаризма.

Вообще удивление как-то не покидает читателя, взявшегося за эту книгу.

Удивляешься подбору материала. Книга распадается, по существу, на две части — список «гонимых» с биографической справкой, поданный в конце, и четырнадцать более подробных портретных очерков, составляющие первую и основную часть книги. Среди этих очерков читатель встречает столь неравнозначные фигуры как И. Т. Посошков и Ф. М. Достоевский, А. И. Полежаев и И. С. Тургенев...

Александр Лясковский — Мартиролог русских писателей. Изд-во Библиофил; 349 стр. Берлин. 1956 г.

Удивляешься неясности понятия «преследование» («мартиролог» и есть ведь список преследуемых, гонимых).

Так, в мартириумы попал, например, Г. Р. Державин, благодетельствованный Екатериной II, бывший не только общепризнанным (а к тому же чуть ли не придворным) поэтом, но и человеком, сделавшим немалую государственную карьеру, нажившим приличное состояние и дожившим до глубокой старости, не зная тюрем и ссылок. Правда, бывали у него и неприятности, ибо характера он был неуживчивого и Екатерина говорила о нем, например, что он «не только грубил при докладах, но и бранился».

«Преследования» Д. С. Мережковского заключались, согласно автору, в том, что он был привлечен к суду за «дерзостное неуважение к Верховной власти», но судом было оправдан.

Очень сурово было «преследование» поэтессы княгини Е. П. Ростопчиной — ей был запрещен доступ во дворец.

Удивляешься и неясности того, кто был гонителем и где предел терпимости.

Так, в некоторых местах создается впечатление, что во всем виноваты российские монархи, но тут же Лясковский сообщает, что Александр III отдал в свое время распоряжение в соответствующие инстанции: «Прошу Вас Толстого не трогать».

Иногда кажется, что во всем виноваты чиновники, но Лясковский тут же пишет: «Петербургский генерал-губернатор, князь Суворов, в разговоре с осужденным на каторгу писателем Михайловым, выражал сожаление, что он не мог избавить его от кандалов, но постарался облегчить ему путь в Сибирь».

В очерке о гр. Л. Н. Толстом в качестве основного гонителя выступает церковь. Один из «гонителей», митрополит Антоний, пишет о Толстом следующее:

«Гр. Толстой, в многочисленных своих произведениях, в коих он выражает религиозные свои воззрения, явно показал себя врагом Православной Церкви. Единного Бога в трех лицах он не признает. Второе лицо Пресвятой Троицы, Сына Божия, называет простым человеком.

Кошунственно относится к тайне воплощения Бога Слова. Искажает священный текст Евангелия. Святую церковь порицает, называет ее человеческим установлением. Церковную иерархию отрицает и глумится над святыми таинствами и обрядами святой Православной Церкви. Таковых людей Православная Церковь торжественно, в присутствии верных чад своих, в Неделю Православия, объявляет чуждыми церковному общению».

Невольно спрашиваешь: неужели у Церкви можно отнять право исключать на таком основании своих членов?

Очередной мученик — это П. Н. Ткачев. Как известно, он был осужден по делу Нечаева. Это дело было связано с убийством студента Иванова, которое легло в основу фабулы романа «Бесы» другого мученика — Ф. М. Достоевского. Сам Нечаев был выдан швейцарским

правительством в качестве уголовного преступника, а на Ткачева Лясковский возлагает мученический венец.

Впрочем, довольно удивляться. В книге Лясковского много интересных данных. Историю нашей литературы он рассматривает под новым углом зрения — конфликта писателя с государством. У автора есть интересные мысли, много своеобразной благонамеренности, но достаточно ли этого в наше время, на фоне нашего трагического исторического опыта? Нам почему-то кажется, что появление этой книги было бы более уместным в том издательстве и в то время, когда появилась в Петербурге «Галерея шлиссельбургских узников», пройдя, кстати, сквозь тогдашнюю подчас слишком строгую, а подчас столь близорукую цензуру.

В. Гришин

Люди с уцелевшей душой

Виктор Робсман — бывший корреспондент «Известий», исколесивший всю нашу страну во время насильственной коллективизации, собственными глазами видевший те страшные бедствия, которые принес народу коммунистический режим, — ушел за границу, стал невозвращенцем и выпустил книгу «Царство тьмы», в которой и показал подлинную правду жизни народа под коммунистическим игом.

За рубежом уже вышло немало книг — и воспоминаний, и художественных произведений, — рисующих и облик режима, и жизнь закабаленного им народа, и, казалось бы, что может прибавить еще одна небольшая книжка?

А между тем, открыв ее, прочитав первый очерк, уже нельзя оторваться, и чем дальше читаешь ее, тем больше чувствуешь всю глубину бедствий и страданий, выпавших на долю народа.

В коротких очерках и рассказах, не

Виктор Робсман. Царство тьмы. Рассказы и очерки. 1956 г. Вашингтон. Издание книжного магазина В. П. Камкина.

стремясь поразить, удивить читателя, описывая события и факты, уже знакомые каждому, кто знает советскую действительность и помнит коллективизацию, Виктор Робсман сумел, однако, так сказать об этих фактах и событиях, так передать их сущность, заглянув одновременно в душу народа, что перед нами с новой силой встает его трагедия.

Вот на колхозном поле рождает женщина (рассказ «Весенняя посевная»). Вокруг собрались колхозники. Тут же бригадир отдает распоряжения.

«Я не против того, чтобы бабы рожали, — рассуждает он в то время, когда перед ним мучится женщина, — пускай рожают, только не в рабочее время. А то ведь они этим посевной план срывают...

... Он бросил нас и, быстро шагая через грядки, пошел разгонять женщин по местам.

... Толпа поредела, и теперь роженица была отовсюду видна. Она не кричала. Прикрытая тряпками со следами свежей крови, женщина все так же неподвижно лежала на голой земле и из глаз ее, как из раны, сочились слезы; она плакала

тихо, совсем беззвучно, мелкими выстраданными слезами, прижимая к груди мертвого ребенка».

Немногими сжатými строками, иногда с тонким юмором, звучащим смехом сквозь слезы, сумел Виктор Робсман нарисовать широкие полотна поистине эпических бедствий, беспросветной нужды и страданий, которые принес России коммунизм.

В том же рассказе «Весенняя посевная» есть такие строки:

«Утром нас увезли в Смелу на сахарный завод. Мужики нам завидовали, точно мы ехали на курорт. Там люди жили сытнее и удобнее, получали хорошие пайки, в выходные дни мылись мылом в общественной бане, стариков и детей брили наголо, чтобы не вшивели, и клопов там тоже было меньше».

Так же в немногих строках, в запоминающемся художественном образе, показывает Виктор Робсман отношение народа к власти как к враждебному началу, от которого — добра не дождешься:

«Маленький бритый мужичок, весь в заплатах, вез меня по плохой дороге в село Скелетово (на Медитополющине), превращенное большевиками в колхоз имени Октября. Всю дорогу я объяснял упрямому мужику, что еду я по делам службы, а не по своей доброй воле, что я журналист и никого не приговариваю к расстрелу, но он во всем сомневался и ничему не верил».

Выдержка эта взята из рассказа «Голодная смерть», который кончается потрясающими в своей простоте и лаконичности словами, описывающими смерть девочки, умершей от голода:

«Умирала она тяжело, в страшных му-

ках, катаясь по полу, призывая на помощь Бога».

✱

После советского царства тьмы и нищеты, вырвавшемуся из этого «царства», даже Иран кажется полным благополучия и покоя, главное покоя и тишины, которых не знает человек в царстве тьмы.

С симпатией и теплым юмором, свойственным ему, говорит Виктор Робсман об Иране и иранцах.

Вот казарма пограничного поста (очерк «Побег»), где придется провести беглецам первую ночь. У закрытых ворот, сидя на корточках, дремлет часовой.

«По его ленивым движениям было видно, что он скучает, и в то же время очень дорожит своим бездельем. Ему было хорошо, покойно, и он с удовольствием думал о том, что ему хорошо, и не хотел ничем нарушить свое спокойствие».

Вот сам начальник поста, который был «человеком вполне смирным; даже я бы сказал добрым и отзывчивым; он плакал, когда кого-нибудь жалел».

Черты подлинной человечности в этих простых, чужих ему людях не случайно так привлекают Виктора Робсмана, как не случайно взят им из Гоголя эпиграф, кончающийся словами: «О, пусть же сама любовь будет мне вдохновением!»

Вся книга Виктора Робсмана проникнута подлинной любовью к человеку, к людям, даже в царстве коммунистической тьмы сохранившим свет души. Поэтому, очевидно, и последний очерк, заканчивающий книгу, назван Виктором Робсманом: «Люди с уцелевшей душой».

В. Самарин

Юбиляр — Московский университет

По инициативе проф. М. М. Новикова, бывшего ректора Московского университета, в Нью-Йорке был создан организационный комитет в составе представителей шести научных и общественных организаций, для устройства празднования двухсотлетия существования старейше-

го российского университета, основанного в день св. мученицы Татьяны 12 (25) января 1755 года. В результате этого празднования и родился аннотируемый сборник, в который вошла запись десяти речей и сообщений, состоявшихся на разных собраниях в юбилейном году.

Общий обзор истории и значения Московского университета дал его последний свободный избранный ректор проф. М. М. Новиков. Характеристику историко-филологического факультета в начале XX века дал проф. М. Поливанов, а двум из трех его отделений — философскому и историческому были посвящены выступления проф. Н. Лосского и проф. М. Карповича. Воспоминания проф. Л. С. Розенталя посвящены, в основном, медицинскому факультету. Очерк, трактующий о значении Московского университета в истории российской медицины дал д-р Г. И. Альтшуллер. Воспоминаниям об университете (в частности, физико-математическому факультету) посвящено и выступление Л. Сабанеева. Ряд статей в сборнике посвящен более общим темам. Так, проф. Н. Арсеньев выступил на тему «Московский университет и духовное лицо русской культуры»; К. И. Солнцев на тему «Университет и правительственная политика»; проф. Н. С. Тимашев на тему «Потомство юбиляра».

Академический уровень Московского университета был несомненно очень высок. Многие профессора университета заслуженно пользовались мировой славой. Но, пожалуй, даже не эта сторона сборника привлекает наибольшее внимание читателя. Сборник нельзя рассматривать как подробное историческое исследование и не в этом его значение.

Кстати, говоря о научной работе в Московском университете, хочется вспомнить небольшую книжечку одного из авторов сборника, проф. М. М. Новикова, вышедшую в том же издательстве, в которой он как бы подводит итог своей научной деятельности*). В конце этой книги читатель найдет список научных работ и крупных статей, посвященных специальным вопросам, включающий 125 названий. Этому списку мог бы позавидовать не один коллега магистро естественного факультета.

Быть может, наиболее замечательное в Московском университете, а отчасти и у его «потомства», ибо, по существу, все наши университеты в той или иной мере

вышли из Московского, это его дух, его атмосфера. Н. С. Арсеньев пишет об этом, например, так:

«Атмосфера умственной ответственности, умственной открытости, уважения к чужому мнению, совместное — иногда с совершенно разных точек зрения, исходящее из разных предпосылок — искание истины; это и есть атмосфера духовной свободы, без которой нет полноценной научной деятельности (которой нет теперь в Советской России), и которая так воспитывающе действует на человека. Это и была духовная атмосфера Московского университета».

У Л. Сабанеева читаем:

«Университет вообще — Московский в частности, как старейший, — как-то больше говорил сердцу, чем Академия Наук. Университет раточал науку, раздавал ее всем, тогда как «академики» эгоистически ею сами занимались, никому не предлагая. Именно таково было в те годы настроение, к которому подбавлялось еще то, что реакция университета на общую жизнь была всегда несравненно живее и эффективнее, чем фактически никогда не существовавшая реакция Академии. Считая, что в те годы главная демаркационная линия в России проходила между «Обществом» и «Государством», надо признать, что Академию причисляли — правильно или неправильно — к Государству, а Университет — к Обществу».

К. И. Солнцев пишет по этому поводу:

«Огромная Москва любила его, жила им и гордилась не меньше какого-нибудь маленького немецкого городка, целиком поглощенного своим университетом. Ничего, что иногда охотнорядцы и будочники поколачивали своих студентов. Университет тянулся к обществу, сливался с ним».

Можно по-разному относиться к заостренной политичности нашего дореволюционного студенчества. Она, несомненно, шла во вред чисто академической работе, в ней были элементы излишнего и вредного радикализма. Но был в ней и своеобразный этос служения, чувство ответственности за судьбы своей страны — и это нельзя не приветствовать.

Политические моменты авторы сборника трактуют отнюдь не по узким шаблонам ультраправого эпитета «рассад-

*) М. М. Новиков — Полстолетия научной деятельности. All Slavic Publishing House, Нью-Йорк, 1956 г. 80 стр.

ник вольнодумства» и крайне левого определения университета как «жертвы кровавого царизма». Так, К. И. Солнцев, цитируя ломоносовское «понеже науки требуют вольности», рисует постепенный путь университета к автономии, отмечая при этом как ошибки царского правительства, так и ошибки радикальной общественности.

Жаль, что история Московского университета как бы прекращается в сборнике 1917 годом. Лишь несколько строк посвящает настоящему Московскому университету Л. Сабанеев, заканчивая их меланхолическим «Иной век, иные люди!». Несколько больше останавливается на этом вопросе Н. С. Тимашев, но он дает скорее сравнительный очерк развития высшего образования в царской России и Советском Союзе, чем зарисовки того духа, который характерен для современных российских профессуры и студенчества. Вместе с тем, несмотря на всю тоталитарную направленность коммуни-

стической власти, во всех российских высших учебных заведениях и, быть может, в особенности, в ломоносовско-шуваловском детище сохранилась связь с тем не столько старым, сколько вечным, что определит дальнейшие пути высшего образования в России. Двухсотлетие же старейшего нашего университета, могло бы, как нам кажется, послужить предлогом не только для воспоминаний, но и для некоторой устремленности в будущее.

В заключение отметим, что все статьи сборника снабжены кратким резюме на английском языке.

А. Сольский

«1755—1955. Двухсотлетие Московского университета. Празднование в Америке». All Slavic Publishing House, Нью-Йорк, 1956 год. Редакционная коллегия: М. М. Новиков (председатель), К. Г. Белоусов, А. А. Гольденвейзер, Г. И. Новицкий, В. А. Юревич. 150 стр.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ХРОНИКА

(АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ 1957 ГОДА)

Заявление Министерства иностранных дел СССР по поводу совещания на Бермудских островах президента США Эйзенхауэра и премьер-министра Великобритании Макмиллана.

1 апреля, «Правда» № 91

*

Опубликовано сообщение «В Министерстве иностранных дел СССР» об обмене нотами между СССР и Японией по вопросу о запрещении испытаний атомного и водородного оружия.

2 апреля, «Правда» № 92

*

Речь Н. С. Хрущева на совещании работников сельского хозяйства центрально-черноземных областей в г. Воронеже 3 апреля 1957.

5 апреля, «Правда» № 95

*

5 апреля закрылся Второй Всесоюзный съезд советских композиторов (Речь Д. Г. Шепилова на съезде — см. «Правда» № 94).

6 апреля, «Правда» № 96

*

Речь Н. С. Хрущева на совещании работников сельского хозяйства Горьковской, Арзамасской, Кировской областей, Марийской, Мордовской и чувашской АССР 8 апреля 1957 г. в городе Горьком.

10 апреля, «Правда» № 100

*

Сообщение о начале работы в г. Дубны, Московской области, крупнейшего в мире синхрофазотрона, разгоняющего

потоки протонов до энергии в 8,3 миллиарда электровольт.

11 апреля, «Правда» № 101

*

В Москве подписан протокол о товарообороте между СССР и Китайской Народной Республикой на 1957 год.

11 апреля

*

Совместное заявление правительств Китайской Народной Республики и Польской Народной Республики (Чжоу Эньлай и Юзеф Циранкевич в Пекине 11 апреля 1957 г.).

12 апреля «Правда» № 102

*

Заявление о переговорах между делегациями КПСС и Албанской партии труда (Н. Хрущев, Э. Ходжа, Москва, 17 апреля 1957 г.) и Совместная Советско-Албанская декларация (Н. А. Булганин-Махмет Шеху).

18 апреля, «Правда» № 108

*

О государственных займах, размещаемых по подписке среди трудящихся Советского Союза (Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 апреля 1957 года).

20 апреля, «Правда», 110

*

В Москве 20 апреля закончилась XI сессия Академии медицинских наук СССР. Президентом Академии избран проф. А. Н. Бакулев, вице-президентом:

профессора Н. В. Давыдовский, П. Г. Сергеев и В. Д. Тимаков.

✱

Обмен нотами между Советским Правительством и Правительством США, Великобритании и Франции.

21 апреля, «Правда» № 111

✱

Речь тов. Н. С. Хрущева на празднике открытия памятника В. И. Ленину в деревне Кашино.

22 апреля, «Правда» № 112

✱

Присуждение Ленинских премий 1957 года.

22 апреля, «Правда» № 112

✱

Послание Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина премьер-министру Великобритании Гарольду Макмиллану по поводу ракетного оружия и международного положения.

24 апреля, «Правда» № 114

✱

Нота Советского Правительства Правительству Федеративной Республики Германии об опасности атомного вооружения для дела мира.

28 апреля, «Правда» № 118

✱

Совместное Советско-Австрийское коммюнике о пребывании в Австрии Первого заместителя Председателя Совета Министров СССР А. И. Микояна.

28 апреля, «Правда» № 118

✱

Заявление Министерства иностранных дел СССР по поводу положения в Иордании.

30 апреля, «Правда» № 120

✱

Президиум Верховного Совета СССР назначил Первого Заместителя Председателя Совета Министров СССР тов. Первухина Михаила Георгиевича Министром среднего машиностроения СССР.

3 мая, «Правда» № 123 (Хроника)

✱

Новые предложения Советского Правительства по вопросу о разоружении (памятная записка).

3 мая, «Правда» № 123

✱

Ответ премьер-министра Дании Х. К.

Хансена на послание Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина по вопросу о НАТО.

4 мая, «Правда» № 124

✱

Президиум Верховного Совета СССР назначил тов. Кузьмина Иосифа Иосифовича Председателем Госплана СССР и Первым Заместителем Председателя Совета Министров.

✱

Президиум Верховного Совета СССР освободил тов. Байдакова Николая Константиновича от обязанностей Председателя Госплана СССР в связи с его новым назначением.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР тов. Байбаков Н. К. назначен Председателем Госплана РСФСР и Первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР.

5 мая, «Правда» № 125

✱

Письмо посла СССР в ФРГ А. А. Смирнова федеральному Канцлеру К. Аденауэру по вопросу опасности атомного вооружения для мира.

5 мая, «Правда» № 125

✱

О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством (Доклад тов. Н. С. Хрущева на УП сессии Верховного Совета СССР)

8 мая, «Правда» № 128

✱

Сообщение о встрече между делегациями ЦК КПСС и ЦК Коммунистической партии Германии.

8 мая, «Правда» № 128

✱

Закон о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством.

Закон о внесении изменений и дополнений в текст Конституции СССР.

Москва, Кремль, 10 мая 1957

11 мая, «Правда» № 131

✱

Беседа Н. С. Хрущева с главным редактором американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Гэрнером Кэтледжем 10 мая 1957 года.

14 мая, «Правда» № 134

*

Постановление Совета Министров СССР о выпуске Государственного займа развития народного хозяйства (выпуск 1957 года).

Совместное Советско-Монгольское заявление о переговорах в Москве с 10 по 15 мая 1957 г. и заявление о переговорах между делегациями КПСС и Монгольской народно-революционной партией от 14 мая.

17 мая, «Правда» № 137

*

Доклад тов. В. Гомулки на IX пленуме ЦК ПОРП «Узловые проблемы политики партии» (с сокращениями).

19 мая, «Правда» № 139

*

Послание Председателя Совета министров СССР Н. А. Булганина Председателю Совета Министров французской Республики Ги Молле.

21 мая, «Правда» № 141

*

Коммюнике об итогах поездки К. Е. Ворошилова в Индонезию.

Джакарта, 19 мая 1957 г.

21 мая, «Правда» № 141

*

Совещание работников сельского хозяйства северо-западных районов РСФСР в Ленинграде.

22 мая, «Правда» № 142

*

Обмен памятными записками между Правительствами СССР и Японии по вопросу о прекращении испытаний ядерного оружия.

23 мая, «Правда» № 143

*

Речь Н. С. Хрущева в Ленинграде 22 мая 1957 г. — «В ближайшие годы догнать США по производству мяса, масла и молока на душу населения».

24 мая, «Правда» № 144

*

Президиум Верховного Совета СССР назначил министрами СССР: первого заместителя председателя Госплана СССР тов. Косыгина А. Н.; заместителей председателя Госплана СССР т. т. Хруничева М. В., Зотова В. П. и Строкина Н. И.;

начальников отделов Госплана СССР т. т. Засядько, Новоселова Е. С. и Хламова Г. С.

25 мая, «Правда» № 145 (Хроника)

*

Нота Советского Правительства Правительству ФРГ от 23 мая 1957 г., с приглашением на новые переговоры.

25 мая, «Правда» № 145

*

Заявление ТАСС по поводу положения в Иордании.

26 мая, «Правда» № 146

*

Письмо ЦК КПСС и Совета Министров СССР — О дальнейшем развитии овцеводства и увеличении производства шерсти.

26 мая, «Правда» № 146

*

Коммюнике о посещении Председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошиловым Китайской Народной Республики.

Пекин, 26 мая 1957 г.

27 мая, «Правда» № 147

*

Соглашение между Правительством СССР и Правительством Венгерской Народной Республики о правовом статусе советских войск, временно находящихся на территории Венгерской Народной Республики.

*

Совет Министров СССР постановил образовать Государственный Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. Председателем Комитета назначен Д. И. Чесноков.

28 мая, «Правда» № 148

*

Указом Президиума Верховного Совета СССР Министерство сельского хозяйства СССР и Министерство Совхозов СССР объединены в одно союзно-республиканское министерство — Министерство сельского хозяйства СССР.

Министром сельского хозяйства СССР назначен тов. Мацкевич Владимир Владимирович.

31 мая, «Правда» № 151

*

1 июня в Москве закончил работу

второй пленум Правления Союза художников СССР.

2 июня в Москве открылись Всесоюзная сельскохозяйственная и Всесоюзная промышленная выставки 1957 года.

Опубликованы новые правила приема в ВУЗ'ы (2 июня).

Беседа Н. С. Хрущева с корреспондентами американской радиотелевизионной компании «Коломبيا Бродкастинг Систем» 28 мая 1957 г.

4 июня, «Правда» № 155

*

Организован Союз работников кинематографии СССР. Председателем Организационного Бюро Союза назначен Пырьев А. (8 июня).

Состоялся VI пленум ВЦСПС (12 июня).

Советско-финляндское коммюнике. Хельсинки, 12 июня 1957 г.

13 июня, «Правда» № 164

*

Приветствие Верховному Совету Башкирской АССР, Совету Министров БАССР и Башкирскому Обкому КПСС по случаю 400-летия со дня добровольного присоединения Башкирии к Русскому государству — от Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ЦК КПСС.

14 июня, «Правда» № 165

*

«Целинный урожай зовет!» — Обращение ЦК ВЛКСМ к комсомольцам и комсомолкам, ко всей советской молодежи с призывом выделить 270-300 тысяч добровольцев на уборку урожая.

14 июня, «Правда» № 165

*

Документы сессии Всемирного Совета Мира в Коломбо (о. Цейлон) (Призыв ко всем правительствам немедленно прекратить ядерные испытания).

Ответ премьер-министра Великобритании Г. Макмиллана на послание Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина (ТАСС).

18 июня, «Правда» № 169

*

К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа — речь Мао Цзэ-дуна от 27 февраля 1957 г.

19 июня, «Правда» № 170

*

Юбилейные празднества в Ленинграде в связи с 250-летием города (22 июня).

*

Заявление Министра иностранных дел СССР А. А. Громыко на пресс-конференции в Москве 25 июня 1957 г. — «Американские поклонники «холодной войны» и гонки вооружений бряцают оружием».

26 июня, «Правда» № 177

*

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Федеративной Республики Германии.

29 июня, «Правда» № 180

*

Беседа Н. С. Хрущева с главным редактором японской газеты «Асахи-Симбун» г-ном Томоо Хироока (18 июня 1957 г.).

30 июня, «Правда» № 181

*

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

22—29 июня с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Пленум обсудил вопрос об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.

Пленум принял соответствующее постановление, которое сегодня публикуется.

Пленум вывел из состава членов Президиума ЦК и из членов ЦК КПСС т. т. Маленкова, Кагановича, Молотова; снял с поста Секретаря ЦК КПСС и вывел из состава кандидатов в члены Президиума ЦК и из состава членов ЦК т. Шепилова.

Пленум избрал Президиум ЦК КПСС в следующем составе:

Члены Президиума: т. т. Аристов А. Б., Беляев Н. И., Брежнев Л. И., Булганин Н. А., Ворошилов К. Е., Жуков Г. К., Игнатов Н. Г., Кириченко А. И., Козлов

Ф. Р., Куусинен О. В., Микоян А. И., Су-слов М. А., Фурцева Е. А., Хрущев Н. С., Шверник Н. М.;

Кандидаты в члены Президиума: т.т. Мухитдинов Н. А., Поспелов П. Н., Коротченко Д. С., Калнберзин Я. Э., Кириленко А. П., Косыгин А. Н., Мазуров К. Т., Мжаванадзе В. П., Первухин М. Г.

Пленум пополнил состав Секретариата, избрав Секретарем ЦК КПСС т. Куусинена О. В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.

Пленум Центрального Комитета КПСС на заседании 22—29 июня 1957 года рассмотрел вопрос об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова, образовавшейся внутри Президиума ЦК КПСС.

В то время, когда партия под руководством Центрального Комитета, опираясь на всенародную поддержку, ведет огромную работу по выполнению исторических решений XX съезда, направленных на дальнейшее развитие народного хозяйства и непрерывный подъем жизненного уровня советского народа, на восстановление ленинских норм внутривнутрипартийной жизни, ликвидацию нарушений революционной законности, на расширение связи партии с народными массами, развитие советской социалистической демократии, на укрепление дружбы советских народов, проведение правильной национальной политики, а в области внешней политики — на разрядку международной напряженности в целях обеспечения прочного мира; и когда достигнуты уже во всех этих областях серьезные успехи, о которых знает каждый советский человек, — в это время антипартийная группа Маленкова, Кагановича и Молотова выступила против линии партии.

С целью изменения политической линии партии эта группа антипартийными, фракционными методами добивалась смены состава руководящих органов партии, избранных на Пленуме ЦК КПСС.

Это не явилось случайностью.

В течение последних 3—4 лет, когда

партия взяла решительный курс на исправление ошибок и недостатков, порожденных культом личности, и ведет успешную борьбу против ревизионистов марксизма-ленинизма как на международной арене, так и внутри страны, когда партией проведена большая работа по исправлению допущенных в прошлом извращений ленинской национальной политики, — участники раскрытой теперь и полностью разоблаченной антипартийной группы постоянно оказывали прямое или косвенное противодействие этому курсу, одобренному XX съездом КПСС. Эта группа по существу пыталась противодействовать ленинскому курсу на мирное сосуществование между государствами с различными социальными системами, ослаблению международной напряженности и установлению дружественных отношений СССР со всеми народами мира.

Они были против расширения прав союзных республик в области экономического и культурного строительства, в области законодательства, а также против усиления роли местных Советов в решении этих задач. Тем самым антипартийная группа противодействовала твердо проводимому партией курсу на более быстрое развитие экономики и культуры в национальных республиках, обеспечивающему дальнейшее укрепление ленинской дружбы между всеми народами нашей страны. Антипартийная группа не только не понимала, но и сопротивлялась мероприятиям партии по борьбе с бюрократизмом, по сокращению раздутого государственного аппарата. По всем этим вопросам они выступали против проводимого партией ленинского принципа демократического централизма.

Эта группа упорно сопротивлялась и пыталась сорвать такое важнейшее мероприятие, как реорганизация управления промышленностью, создание Совнархозов в экономических районах, одобренное всей партией и народом. Они не хотели понять, что на современном этапе, когда развитие социалистической промышленности достигло огромных масштабов и продолжает быстро расти при преимущественном развитии тяжелой индустрии — необходимо было найти новые, более совершенные формы

управления промышленностью, раскрывающие большие резервы и обеспечивающие еще более мощный подъем советской индустрии. Эта группа зашла настолько далеко, что даже после одобрения указанных мер в процессе всенародного обсуждения и последующего принятия Закона на Сессии Верховного Совета СССР — она продолжала борьбу против реорганизации управления промышленностью.

По вопросам сельского хозяйства участники этой группы обнаружили непонимание новых назревших задач. Они не признавали необходимости усиления материальной заинтересованности колхозного крестьянства в расширении производства продуктов сельского хозяйства. Они возражали против отмены старого, бюрократического порядка планирования в колхозах и введения нового порядка планирования, развязывающего инициативу колхозов в ведении своего хозяйства, что дало уже свои положительные результаты. Они настолько оторвались от жизни, что не могут понять реальной возможности, позволяющей в конце этого года отменить обязательные поставки сельскохозяйственных продуктов с дворов колхозников. Проведение этой меры, имеющей жизненное значение для миллионов трудящихся Советской страны, стало возможным на основе большого подъема общественного животноводства в колхозах и развития совхозов. Участники антипартийной группы вместо поддержки этой назревшей меры выступили против нее.

Они вели ничем не оправданную борьбу против активно поддержанного колхозами, областями, республиками призыва партии — догнать в ближайшие годы США по производству молока, масла и мяса на душу населения. Тем самым участники антипартийной группы продемонстрировали барски пренебрежительное отношение к насущным жизненным интересам широких народных масс и свое неверие в огромные возможности, заложенные в социалистическом хозяйстве, в развернувшееся всенародное движение за ускоренный подъем производства молока и мяса.

Нельзя считать случайным, что участник антипартийной группы т. Молотов, проявляя консерватизм и косность, не

только не понял необходимости освоения целинных земель, но и сопротивлялся делу подъема 35 миллионов гектаров целины, которое приобрело такое огромное значение в экономике нашей страны.

Т.т. Маленков, Каганович и Молотов упорно сопротивлялись тем мероприятиям, которые проводил Центральный Комитет и вся наша партия по ликвидации последствий культа личности, по устранению допущенных в свое время нарушений революционной законности и созданию таких условий, которые исключают возможность повторения их в дальнейшем.

В то время, как рабочие, колхозники, наша славная молодежь, инженерно-технические и научные работники, писатели, вся интеллигенция единодушно поддержали мероприятия партии, проводимые на основе решений XX съезда КПСС, когда весь советский народ включился в активную борьбу за претворение в жизнь этих мероприятий, когда наша страна переживает мощный подъем народной активности и прилив новых творческих сил, — участники антипартийной группы остались глухими к этому творческому движению масс.

В области внешней политики эта группа, в особенности т. Молотов, проявляла косность и всячески мешала проведению назревших новых мероприятий, рассчитанных на смягчение международной напряженности, на укрепление мира во всем мире.

Тов. Молотов в течение длительного времени, будучи министром иностранных дел, не только не предпринимал никаких мер по линии МИДа для улучшения отношений СССР с Югославией, но и неоднократно выступал против тех мероприятий, которые осуществлялись Президиумом ЦК для улучшения отношений с Югославией. Неправильная позиция т. Молотова по югославскому вопросу была единогласно осуждена Пленумом ЦК КПСС в июле 1955 г. — «как не соответствующая интересам Советского государства и социалистического лагеря и не отвечающая принципам ленинской политики».

Тов. Молотов тормозил заключение государственного договора с Австрией и дело улучшения отношений с этим государством, находящимся в центре Ев-

ропы. Заключение договора с Австрией имело важное значение для разрядки общей международной напряженности. Он был также против нормализации отношений с Японией, в то время как эта нормализация сыграла большую роль в деле ослабления международной напряженности на Дальнем Востоке. Он выступал против разработанных партией принципиальных положений о возможности предотвращения войн в современных условиях, о возможности различных путей перехода к социализму в разных странах, о необходимости усиления контактов КПСС с прогрессивными партиями зарубежных стран.

Тов. Молотов неоднократно выступал против необходимых новых шагов Советского правительства в деле защиты мира и безопасности народов. В частности, он отрицал целесообразность установления личных контактов между руководящими деятелями СССР и государственными деятелями других стран, что необходимо в интересах достижения взаимопонимания и улучшения международных отношений.

По многим из этих вопросов мнение т. Молотова поддерживалось т. Кагановичем, а в ряде случаев т. Маленковым. Президиум Центрального Комитета и Центральный Комитет в целом терпеливо поправляли их, боролись против их ошибок, рассчитывая, что они извлекут уроки из своих ошибок, не будут настаивать на них и пойдут в ногу со всем руководящим коллективом партии. Но они продолжали оставаться на своих неправильных, неленинских позициях.

В основе позиций т.т. Маленкова, Кагановича и Молотова, расходящейся с линией партии, лежит то обстоятельство, что они находились и находятся в плену старых представлений и методов, оторвались от жизни партии и страны, не видят новых условий, новой обстановки, проявляют консерватизм, упорно цепляются за изжившие себя, не отвечающие интересам движения к коммунизму формы и методы работы, отвергая то, что рождается жизнью и вытекает из интересов развития советского общества, из интересов всего социалистического лагеря.

Как в вопросах внутренней, так и в вопросах внешней политики они явля-

ются сектантами и догматиками, проявляют начетнический, безжизненный подход к марксизму-ленинизму. Они не могут понять, что в современных условиях живой марксизм-ленинизм в действии, борьба за коммунизм проявляются в претворении в жизнь решений XX съезда партии, в настойчивом проведении политики мирного сосуществования, борьбы за дружбу между народами, политики всемерного укрепления социалистического лагеря, в улучшении руководства промышленностью, в борьбе за всесторонний подъем сельского хозяйства, за изобилие продуктов, за широкое жилищное строительство, за расширение прав союзных республик, за расцвет национальных культур, за всемерное развитие инициативы народных масс.

Убедившись в том, что их неправильные выступления и действия получают постоянный отпор в Президиуме ЦК, который последовательно проводит в жизнь линию XX съезда партии, т.т. Молотов, Каганович, Маленков встали на путь групповой борьбы против руководства партии. Сговорившись между собой на антипартийной основе, они поставили перед собою цель изменить политику партии, вернуть партию к тем неправильным методам руководства, которые были осуждены XX съездом партии. Они прибегли к интриганским приемам и устроили тайный сговор против Центрального Комитета. Факты, вскрытые на Пленуме ЦК, показывают, что т.т. Маленков, Каганович, Молотов и примкнувший к ним т. Шепилов, став на путь фракционной борьбы, нарушили Устав партии и выработанное Лениным решение X съезда партии «О единстве партии», в котором говорится:

«Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри партии и во всей советской работе и добиться наибольшего единства при устранении всякой фракционности, съезд дает Центральному Комитету полномочия применять в случаях нарушения дисциплины или возрождения или допущения фракционности все меры партийных взысканий, вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, исключение из партии. Условием применения к членам ЦК, кандидатам в ЦК и членам Контрольной

Комиссии такой крайней меры должен быть созыв Пленума ЦК с приглашением всех кандидатов в ЦК и всех членов Контрольной Комиссии. Если такое общее собрание наиболее ответственных руководителей партии двумя третями голосов признает необходимым перевод члена ЦК в кандидаты или исключение из партии, то такая мера должна быть осуществляема немедленно».

Ленинская резолюция обязывает Центральный Комитет и все партийные организации неустанно крепить единство партии, давать решительный отпор любому проявлению фракционности и групповщины, обеспечивать работу действительно дружную, действительно воплощающую единство воли и действия авангарда рабочего класса — Коммунистической партии.

Пленум ЦК с огромным удовлетворением отмечает монолитное единство и сплоченность всех членов и кандидатов в члены ЦК, членов Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, единодушно осудивших антипартийную группу. В составе Пленума ЦК не было ни одного человека, который поддержал бы эту группу.

Оказавшись перед лицом единодушно осуждения Пленумом ЦК антипартийной деятельности группы, когда члены Пленума ЦК единодушно потребовали вывода членов группы из ЦК и исключения из партии, они признали наличие сговора, вредность своей антипартийной деятельности, обязались подчиняться решениям партии.

Исходя из всего изложенного выше и руководствуясь интересами всемерного укрепления ленинского единства партии, Пленум ЦК КПСС постановляет:

1. Осудить, как несовместимую с ленинскими принципами нашей партии, фракционную деятельность антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова.

2. Вывести из состава членов Президиума ЦК и из состава ЦК т.т. Маленкова, Кагановича и Молотова; снять с поста секретаря ЦК КПСС и вывести из

состава кандидатов в члены Президиума ЦК и из состава членов ЦК т. Шепилова.

✱

Единодушное осуждение Центральным Комитетом партии фракционной деятельности антипартийной группы т.т. Маленкова, Кагановича, Молотова послужит дальнейшему укреплению единства рядов нашей ленинской партии, укреплению ее руководства, делу борьбы за генеральную линию партии.

Центральный Комитет партии призывает всех коммунистов еще теснее сплотить свои ряды под непобедимым знаменем марксизма-ленинизма, направить все свои силы на успешное решение задач коммунистического строительства.

(Принято 29 июня 1957 г. единогласно всеми членами Центрального Комитета, кандидатами в члены Центрального Комитета, членами Центральной Ревизионной Комиссии при одном воздержавшемся — в лице т. Молотова).

4 июля 1957 г. «Правда» № 185

✱

Сообщение в разделе «Хроника» об освобождении Президиумом Верховного Совета СССР т.т. Маленкова Г. М., Кагановича Л. М. и Молотова В. М. и отпостов министров и заместителей Председателя Совета Министров.

Президиум Верховного Совета СССР назначил тов. Павленко Алексея Сергеевича Министром электростанций СССР.

5 июля, «Правда» № 186

✱

Сообщение в разделе «Хроника» о назначении Президиумом Верховного Совета СССР тов. Косыгина Алексея Николаевича Заместителем Председателя Совета Министров СССР и об освобождении СССР тов. Первухина Михаила Георгиевича от обязанностей первого Заместителя Председателя Совета Министров СССР и тов. Сабурова Михаила Захаровича от такого же поста.

6 июля, «Правда» № 187

✱

Приветствие Президиума Верховного Совета, Совета Министров и ЦК КП СССР Верховному Совету Кабардино-Балкарской АССР, его Совету Министров и обкому КПСС, в связи с 400-лети-

ем добровольного присоединения Кабарды к России.

6 июля, «Правда» № 187

*

Заявление Правительства СССР в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки условий соглашения о перемирии в Корее.

7 июля, «Правда» № 188

*

Визит в Чехословакию советской Партийно-Правительственной делегации во главе с Хрущевым Н. С. и Булганиным Н. А. с 8 по 17 июля.

8—16 июля, «Правда» № 189—198

*

О назначении Министром СССР начальника отдела Госплана СССР, тов. Ишкова Александра Акимовича.

11 июля, «Ведомости Верховного Совета СССР» № 16 (883)

*

Нота Советского Правительства Правительству ФРГ (Москва, 6 июля 1957 г.) в ответ на ноту ФРГ от 8 июня 1957 г.

9 июля, «Правда» № 190

*

Коммюнике о пребывании Партийно-Правительственной делегации Советского Союза в Чехословацкой Республике.

17 июля, «Правда» № 198

*

Визит Его Величества короля Афганистана Мухаммед Захир Шаха в СССР (с 17 по 31 июля).

17—31 июля, «Правда» №№ 198—212

*

Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР на 1957 год за первое полугодие. (Сообщение ЦСУ при Совете Министров СССР).

20 июля, «Правда» № 201

*

Сообщение в разделе «Хроника» о назначении Президиумом Верховного Совета СССР тов. Максарова Юрия Евгеньевича Председателем Государственного научно-технического комитета Совета Министров СССР.

21 июля, «Правда» № 202

*

Сообщение Совета Министров СССР о границах советских внутренних вод в районе залива Петра Великого (от устья реки Тюмень-Ула до мыса Поворотный),

с запрещением свободного плавания иностранных судов и полетов иностранных самолетов в этом районе, кроме случаев входа иностранных судов в открытый порт Находка и выхода из него по фарватеру, объявленному в извещениях мореплавателям.

21 июля, «Правда» № 202

*

Переговоры между Правительственными делегациями СССР и Федеративной Республики Германии (начало переговоров).

24 июля, «Правда» № 205

*

Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобразовании Главного управления по делам экономических связей со странами народной демократии в Государственный Комитет Совета Министров СССР по внешним экономическим связям. Председатель Комитета назначен т. Первухин М. Г. с освобождением его от обязанностей министра среднего машиностроения. Министром среднего машиностроения назначен т. Славский Ефим Павлович, с освобождением его от обязанностей начальника Главного управления по использованию атомной энергии при Совете Министров СССР.

25 июля, «Правда» № 206 (хроника)

*

Ответ Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина на послание премьер-министра Великобритании г. Макмиллана.

25 июля, «Правда» № 206

*

Переговоры между Правительственными делегациями Советского Союза и Сирийской Республики.

26 июля, «Правда» № 207

*

Открытие в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 28 июля.

29 июля, «Правда» № 210

*

Совместное коммюнике, подписанное К. Е. Ворошиловым и королем Афганистана Мухаммедом Захир Шахом 30 июля 1957 г. в Москве о советско-афганских отношениях.

31 июля, «Правда» № 212

*

О развитии жилищного строительства в СССР, — постановление ЦК КПСС

и Совета Министров СССР (от 31 июля).
2 августа, «Правда» № 214

✱

Заявление Министерства иностранных дел СССР (по поводу Берлинского заявления трех западных держав от 29 июля 1957 года).

3 августа, «Правда» № 215

✱

Сообщение о встрече делегаций ЦК КПСС и Правительства Союза ССР и ЦК СКЮ и Правительства Федеративной Народной Республики Югославии.

4 августа, «Правда» № 216

✱

Коммюнике о пребывании в Советском Союзе Правительственной делегации Сирийской Республики (Москва, 6 августа 1957 г.).

7 августа, «Правда» № 219

✱

Указ о признании утратившими силу указов Президиума Верховного Совета СССР. (30 Указов времени 1939—1951 гг.).

8 августа, «Ведомости Верховного Совета СССР № 17(884)

✱

Визит Партийно-Правительственной делегации Советского Союза в Германскую Демократическую Республику (7—14 августа).

8—14 августа, «Правда» №№ 220—227

✱

Закрытие в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 11 августа.

12 августа, «Правда» № 224

✱

Советско-иранское соглашение об использовании пограничных рек (сообщение ТАСС).

13 августа, «Правда» № 225

✱

Совместное заявление о переговорах Партийно-Правительственной делегации СССР с делегациями СЕПГ и Правительства Германской Демократической Республики (Хрущев-Микоян и Ульбрихт-Гротеволь).

14 августа, «Правда» № 226

✱

Приветствие ЦК КПСС Всесоюзному

Центральному Совету Профессиональных Союзов (по случаю их 50-летия)

20 августа, «Правда» № 232

✱

Заявление ТАСС по поводу событий в Омане.

21 августа, «Правда» № 231

✱

50-летие советских профсоюзов (торжественный пленум ВЦСПС и приветствие пленума ЦК КПСС).

21 августа, «Правда» № 231

✱

Указ Президиума Верховного Совета СССР — об образовании Комиссии советского контроля Совета Министров СССР (с упразднением в связи с этим союзно-республиканского Министерства государственного контроля СССР).

23 августа, «Ведомости Верховного Совета СССР» № 18(885)

✱

Сообщение ТАСС об успешном использовании межконтинентальной баллистической ракеты и испытаниях ядерного и термоядерного оружия.

27 августа, «Правда» № 239

✱

Заявление Советского Правительства в связи с переговорами о разоружении.

29 августа, «Правда» № 241

✱

Создание Оргкомитета Союза писателей РСФСР (председатель — Соболев Л. С.).

30 августа, «Правда» № 242

✱

Сообщение в разделе «Хроника» о назначении Президиумом Верховного Совета СССР тов. Молотова Вячеслава Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Монгольской Народной Республике.

31 августа, «Правда» № 243

✱

Обмен письмами между главами Правительственных делегаций Советского Союза и Федеративной Республики Германии.

4 сентября, «Правда» № 247

✱

Коммюнике о переговорах с Сирийской делегацией с 28 августа по 3 сентября в Москве.

4 сентября, «Правда» № 247

✱

Обмен нотами между Советским Правительством и Правительствами США, Великобритании и Франции по вопросу о положении на Ближнем и Среднем Востоке.

5 сентября, «Правда» № 248

✱

Совет министров СССР назначил тов. Емельянова Василия Семеновича начальником Главного управления по использованию атомной энергии при Совете Министров СССР.

8 сентября, «Правда» № 251 (Хроника)

✱

Нота Советского Правительства Правительству Федеративной Республики Германии.

Москва, 7 сентября 1957 г.

9 сентября, «Правда» № 252

✱

Указ Президиума Верховного Совета СССР об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям (с приложением перечня законодательных актов, утративших силу).

12 сентября, «Правда» № 255

✱

Послание Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина премьер-министру Турции А. Мендересу.

14 сентября, «Правда» № 257

К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции (1917—1957).

Тезисы Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

15 сентября, «Правда» № 258

✱

Совместная декларация о югославско-польских переговорах (ТАСС) с 10 по 16 сентября между Тито и Гомулко.

18 сентября, «Правда» № 261

✱

Меморандум Советского правительства о частичных мероприятиях в области разоружения.

21 сентября, «Правда» № 264

✱

Выступление главы советской делегации А. А. Громыко на пленарном заседании XII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 1957 года.

21 сентября, «Правда» № 264

✱

Сообщение ТАСС: В соответствии с планом боевой подготовки Советской Армии и Военно-морского флота в Советском Союзе были проведены взрывы атомных и водородных зарядов в различных видах вооружения. Учение войск проходит успешно. В целях безопасности населения взрывы проводились в безлюдной местности и на большой высоте.

25 сентября, «Правда» № 268

✱

О разработке перспективного плана развития народного хозяйства СССР (на 1959—65 гг.) — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

21 сентября, «Правда» № 269

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

25—27 апреля — Конгресс за права и свободу в России, в Гааге (Голландия).

✱

Резолюция Конгресса со 133 требованиями народа к власти см. «Посев» № 17-18 от 5 мая 1957 г.

✱

1—7 июля — Съезд Совета НТС.

Сообщение Председателя Союза

С 1 по 7 июля 1957 г. состоялся съезд Совета Союза. Присутствовало 14 членов Совета.

Повестка дня содержала следующие пункты: положение на родине; положение в остальных поработанных коммунизмом странах; положение в свободном мире; внешняя политика будущего Российского Государства; вопрос переименования Союза и обсуждение проекта нового Устава Союза.

В связи с чисткой на верхах КПСС Совет принял краткий документ: «Совет НТС о борьбе за власть в КПСС». В день газетных сообщений о ходе событий Председатель Союза сделал соответствующее заявление западной прессе.

Обсудив результаты референдума Руководящего Круга по вопросу о переименовании Союза, Совет Союза принял решение переименовать организацию в «Народно-Трудовой Союз (российских солидаристов)», сокращенно «НТС», и принял резолюцию о наименовании Союза.

Совет Союза подробно рассмотрел проект нового Устава Союза и решил продолжить работу над ним.

✱

Совет НТС о борьбе за власть в КПСС

1. В нашей стране продолжается разложение коммунистической системы властвования, т. к. противоречие между тоталитарной системой и коллективной формой управления неснимаемо.

14 июля 1956 г. Совет НТС, анализируя положение в стране, в своей резолюции заявил: «Неустойчивость власти неустраима. Фракционная борьба внутри властвующего ядра партии перешла в перманентное состояние».

Тогда же Совет указал: «Это неизбежно приведет к включению партийного актива во фракционную борьбу, что вызовет дальнейшее ослабление диктатуры».

Победа одной фракции над другой в ходе непрекращающейся борьбы неизбежно влечет за собой расширение круга лиц, включенных в фактическое руководство, что для тоталитарного режима означает ослабление власти.

2. Временный компромисс, достигнутый в период XX съезда КПСС между фракцией Молотова и фракцией Хрущева, не выдержал последствий Венгерской революции.

Фракционная борьба по вопросам децентрализации, международной коммунистической тактики и сохранения коммунистического блока от развала, отразившаяся, в частности, в противопоставлении тезисам Мао Цзэ-дуна от 28 февраля 1957 г. тезисов группы Молотова в редакционной «Коммуниста» № 3 за 1957 г., закончилась победой фракции Хрущева.

Фракционная борьба из-за методов сохранения и укрепления власти привела к поражению группировки, не желавшей разделить власть с более широким кругом партийного руководства. Однако и временно победившая группа Хрущева является по существу такой же группой сталинцев, как и отстраненная от власти группа Молотова.

3. Попытки после Венгерской революции затормозить освободительные процессы в России натолкнулись на сопротивление народных масс, реформистских течений и революционных сил.

Группа Хрущева, спекулируя на народном недовольстве и изображая Молотова и его группу как единственных виновников попытки возврата к сталинщине, переложила ответственность на эту группу, и, таким образом, ликвидировала одну из конкурирующих в борьбе за власть фракций.

4. У власти нет сил взять назад сделанные уступки.

«Всякая попытка возродить методы сталинской эпохи вызывает новые междоусобные схватки внутри компартий и новые акты народного возмущения... Народы на каждую такую попытку от-

вечают усилением борьбы за свободу, как единственную гарантию против произвола однопартийной диктатуры. Процесс разрушения коммунистического режима необратим» («Совет НТС по поводу событий в Польше и Венгрии», 26 октября 1956 г.).

Попытка контрнаступления власти на народ, начатая как реакция на Венгерскую революцию, закончилась неудачей. Это вызовет дальнейшее отступление власти.

5. Новая расстановка сил в ЦК КПСС влечет следующие последствия:

а) *внутри страны* — вынужденные частичные уступки народу, необходимые для нейтрализации его во время происходящей внутрипартийной борьбы;

б) *в коммунистическом блоке* — попытки консолидации на базе сговора автономных правящих слоев коммунистических государств;

в) *в свободном мире* — попытки добиться прекращения активной борьбы с коммунизмом, путем «мирного наступления», использующего иллюзии, созданные удалением части сталинцев.

Революционное движение, используя эту расстановку сил и ее последствия, займет новые позиции в борьбе за свободу России.

*

13—16 сентября — IX Политическая Конференция еженедельника «Посев» во Франкфурте на Майне («Посев» № 38-39 за сентябрь 1957 г.).

ОТ РЕДАКЦИИ

К великому сожалению редакции, этот номер, посвященный 80-летию писателя, по техническим причинам не успел выйти из печати при жизни Алексея Михайловича Ремизова.

*

15 ноября этого года вышел первым изданием на итальянском языке роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». При ознакомлении с романом, редакция к своему удовольствию установила идентичность стихов, помещенных в начале этого номера журнала, под заглавием «Стихи из России», со стихами, содержащимися в романе «Доктор Живаго». По причине того, что большая часть журнала к ноябрю была уже отпечатана, редакция не имела возможности внести соответствующие изменения.

Редакция считает необходимым хоть подобным образом сообщить читателям имя автора стихов, распространяющихся в рукописном виде по России.

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Е. Р. Романов**
Заместитель главного редактора **Н. Б. Тарасова**

Редакционная коллегия:
А. Н. Артемов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко, А. С. Светов.

Адрес редакции журнала «Грани»:
Possev-Verlag, Frankfurt/M., Merianstr. 24-a

Druck: Possev-Verlag, V. Goraschek K. G., Frankfurt Main.

Обращение российского антикоммунистического издательства «Посев»

К ДЕЯТЕЛЯМ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ ПОРАБОЩЕННОЙ РОССИИ

Доводим до сведения писателей, поэтов, журналистов и ученых, не могущих опубликовать свои труды у нас на родине из-за партийной цензуры, — что российское революционное издательство «П О С Е В», находящееся в настоящее время во Франкфурте на Майне, предоставляет им эту возможность.

Беллетристические произведения, сборники стихотворений, статей и научные труды могут быть изданы отдельными книгами.

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи принимает редакция журнала литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли «Г Р А Н И».

Политические и публицистические статьи охотно будут приняты в редакцию еженедельника общественно-политической мысли «П О С Е В», голоса российского революционного движения.

Антикоммунистические материалы пропагандного характера могут быть изданы в виде листовок и отдельных брошюр или же использованы в ряде революционно-фронтных изданий, как, например, в газетах «Вахта свободы», «Правда солдата», «Посев» (уменьшенного формата), сборник «Наши дни».

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «П О С Е В»

1. Редакции журнала «Г Р А Н И», газеты «П О С Е В» и фронтных изданий пропагандно-революционного характера принимают рукописи, подписанные псевдонимами.

2. Вышеназванные редакции, как и само издательство, обязуются немедленно **п е р е п е ч а т ы в а т ь** присланные рукописи на своих пишущих машинках, чтобы уничтожить малейшую возможность установить личность автора по почерку или по шрифту машинки. После

перепечатки рукописи будут уничтожены. Издательство «П О С Е В» гарантирует, что ни одна рукопись не попадет в чужие руки.

3. Все права на рукописи автор передает издательству «П О С Е В», включая сюда разрешение переводить их на иностранные языки и печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «П О С Е В».

4. Издательство «П О С Е В» обязуется откладывать на имя автора (указанный псевдоним) гонорар в соответствии с установленными в редакциях журнала и газет правилами. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

Примечание: В связи с этим, во избежание возможных недоразумений и затруднений, издательство «П О С Е В» обращается с просьбой к авторам вместе с рукописью присылать и свой пароль, по которому автор легко сможет доказать свою идентичность с псевдонимом, данным им в рукописи.

5. Чистый доход от издания беллетристических произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных языках поступает в размере 40% в пользу автора. Остальные 60% предназначаются в фонд издательства «П О С Е В» для расширения печатной базы и покрытия расходов по изданию тех политических материалов (книг, брошюр, листовок), которые, играя важную роль в борьбе с коммунистической властью, не могут принести коммерческого дохода. В это же понятие входит бесплатное распространение в СССР через подпольные каналы НТС (Народно-Трудового Союза) целого ряда книг. в том числе и произведений данного автора.

6. В том случае, когда присланная в издательство «П О С Е В» рукопись по своему профилю или по политической направленности не сможет быть помещена в вышеуказанных изданиях, издательство «П О С Е В» обязуется пересылать ее в те печатные органы за границей, которые будут соответствовать политическому профилю данной рукописи. Научные труды в аналогичном случае будут пересылаться издательством как в русские научные, так и иностранные журналы.

7. Не принятые по каким-либо причинам рукописи по обязательству издательства «П О С Е В» в перепечатанном виде будут храниться до того времени, пока автор не найдет возможным затребовать их обратно.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР В ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»?

А) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.

Б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

В) Через членов различных многочисленных делегаций: научных, спортивных, артистических и прочих, выезжающих организованным порядком из СССР за границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

Г) Через иностранных туристов, посещающих СССР: артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к иностранному коммунисту или к «сочувствующему» подхалиму коммунистической власти.

Д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение осторожности, т. к. за помещениями иностранных посольств ведется наблюдение со стороны МГБ.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Frankfurt am Main
Merianstrasse 24 a**

**Издательство «П О С Е В»
Франкфурт на Майне
Мерианштрассе 24 а**

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

1. Из рук в руки.

Члены НТС имеются во всех европейских странах. Почти каждый пароход или делегация из СССР встречаются ими не только в Европе, но и на других континентах: в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной Африке и пр.

В связи с этим, приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с членом НТС и передать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

2. По почте.

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издательства «П О С Е В» и бросить в любой почтовый ящик любого (некоммунистического) государства.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной или рискованной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом варианте оплачивает получатель — издательство «П О С Е В».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ

**ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ,
АРТИСТЫ!**

ПИШИТЕ В СВОБОДНОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ!

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию возлагается историей ответственнейшая задача — стать свободным рупором нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!

За свободную Россию!

С дружеским приветом

Издательство «П О С Е В»

Редакция с прискорбием отмечает смерть писателя

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА РЕМИЗОВА,

долголетнего сотрудника журнала

Цена 9 марок (9 DM)
